ДЕНИ ДИДРО

МОНАХИНЯ •
ПЛЕМЯННИК РАМО •
ЖАК-ФАТАЛИСТ
И ЕГО ХОЗЯИН

Библиотека
всемирной литературы

Серия первая *

Литература Древнего Востока
Античного мира
Средних веков
Возрождения
XVII и XVIII веков

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Бээкман В. Э.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Гафуров Б. Г.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Ибрагимов М.
Иванько С. С.
Кербабаев Б. М.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Сомов В. С.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федоренко Н. Т.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. И.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ДЕНИ ДИДРО

МОНАХИНЯ

•

ПЛЕМЯННИК РАМО

•

ЖАК-ФАТАЛИСТ И ЕГО ХОЗЯИН

ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1973

Вступительная статья и примечания
Л. Воробьева

И (Фр)
Д44

© Издательство «Художественная литература», 1973 г.

Иллюстрации
Л. Корчемкина

7—3—4
подп. изд.

© Издательство «Художественная литература», 1973 г.

ХУДОЖЕСТВО И ФИЛОСОФИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ДЕНИ ДИДРО

Имя Дидро навсегда слилось с самой сутью того восемнадцатого по счету века, который остался в памяти человечества как век французский. Передовые идеи Франции захватили тогда весь мир, и Дидро — символ ее духовной мощи.

Глава и идейный вождь энциклопедистов, беллетрист, драматург, теоретик искусства, просветитель-атеист и философ-материалист,— любого из этих высоких титулов, принадлежащих Дидро, хватило бы на целую человеческую жизнь. Революционер в искусстве и философии, он закладывал фундамент новых общественных идеалов и нового мировоззрения накануне буржуазной революции, чем и заслужил признательность не только современников, но и следующих поколений. Художественные идеи и приемы Дидро стали бродильным началом творчества Гете и Бальзака — по их собственному свидетельству. Как великого из великих материалистов и художников-реалистов французского Просвещения чтили его Маркс и Энгельс, а Ленин обратился к его философским работам в своем эпохальном труде «Материализм и эмпириокритицизм». Но Дени Дидро это не одни осуществления, это вопросы, проблемы. Многие из них и по сию пору ждут решения. Комета Дидро, проделывая гигантские эллипсы, возвращается к земной поверхности огненными метеоритами, которые высвечивают иное время, иную, полную напряженных конфликтов социальную жизнь.

Значение Дидро для современности связано с главной особенностью его творчества. Границы между художеством (литературой) и наукой (философией) в творчестве Дидро-энциклопедиста были условными и подвижными. Все средства эпохи были подчинены непримиримой борьбе с абсолютизмом, феодализмом и церковью и поэтому — слитны. Образы его романов — это способ раскрыть новый взгляд на мир, они пронизаны философской проблематикой. Поэт должен быть философом, заявлял

Дидро, ему должны быть ведомы пути человеческого духа, светлые и темные стороны, добрые и дурные явления человеческого общества. Напротив, его философские труды исполнены образностью, страстностью мысли и нередко представляют собой художественные произведения в высшем смысле слова. Теоретические диалоги «Разговор Даламбера с Дидро», «Сон Даламбера» и «Продолжение разговора» сам Дидро относил к тем «немногим произведениям», которыми он «любовался» именно в художественном смысле. Творчество Дидро не может быть понято как звено в цепи чисто художественного процесса. Синтетический подход к нему соответствует и первозданной его неразрывности, и тенденции нашего времени, исторически подготовленной не без участия Дидро.

Дени Дидро родился 5 октября 1713 года в городе Лангре (провинция Шампань), в семье зажиточного ножовщика. Сословная эта привилегия очень ценилась, и ремесло переходило от поколения к поколению два столетия.

А в 1715 году умер Людовик XIV, воспетый льстивыми современниками «Король-солнце», оплот и вершина французского абсолютизма. Финалом царствования явилась неудачная война за Испанское наследство (1701—1714), буквально разорившая страну. Смерть деспота породила едва ли не конституционные надежды. Но абсолютизм не собирался сдавать позиций, острый кризис системы затягивался.

После недолгого регентства наступило время Людовика XV (1723—1774), правнука предшествовавшего короля. Это был человек слабовольный и расточительный, проводивший время в празднествах и на охотах. Страной правили временщики и фаворитки, вроде маркизы Помпадур или графини Дюбарри, двор висел тяжелым камнем на шее народа.

Дворянство и духовенство — вместе едва один процент населения — забирали у крестьян свыше трети урожая. Сельское хозяйство, главная отрасль феодального производства, близилось к полному упадку. Голод стал явлением обыденным, веснами крестьяне питались травой. Помимо десятины церковь получала доходы и от собственных колоссальных угодий, что обеспечивало ее уверенное влияние на политику двора и правительства. Церковная аристократия бесстыдно воспринимала роскошества и вольный образ жизни светской.

Французская промышленность — при всех неблагоприятных условиях — все-таки развивалась. Возникали новые предприятия: суконные, шерстоваляльные, по выделке кож. Главное же, рылись каменноугольные шахты, строились чугуноплавильные и литейные заводы — грядущая мощь страны. Эксплуатация рабочих и ремесленников была самой жестокой. Дряхлые, но цепкие руки абсолютизма — через налоговый пресс, через всевозможные регламентации — лезли в карман торгово-промышленного капитала, а он штопал его прорехи только за счет народа. С другой

стороны, королевский двор непрерывно должал буржуазии; одни проценты составляли миллионы франков. И снова расплачивался народ.

Пир во время чумы не мог длиться бесконечно. Страна ответила крестьянскими восстаниями — в Нормандии, в Севеннах, в других областях. К 80-м годам волнения охватили районы Руана, Реймса, Парижа. Революционная волна нарастала, и третье сословие, возглавляемое национальной буржуазией, превращалось в единое политическое целое. Буржуазия тянулась к власти, ее бесправие не соответствовало ее экономической силе.

Прежде всего нужно было развенчать саму идею крепостничества, ограничить всеохватное влияние феодально-религиозной идеологии. Ни сожжение недозволенных книг, ни заключение в крепости и осуждение на каторжные работы пишущих и читающих — ничто не могло помешать триумфальному шествию Просвещения. Мир, по выражению Гегеля, был поставлен на голову. Здравый смысл, бесстрашный Разум, восставший против неразумного строя и неразумных идей, стал основой всех взглядов и действий третьего сословия накануне политического переворота.

Таким было время, отведенное жизни и деятельности Дидро. Ростки будущего по неизбежности прорастают из прошлого, и он не только уцелел среди неограниченного произвола, но и возвысился над ним.

Вначале проявились особенные черты его характера. Дени был старшим сыном, и в наследство от дяди его ожидало место церковного каноника, тоже своего рода фамильное сокровище. Восьмилетнего мальчика отдали в Лангрский иезуитский коллеж. Суровая дисциплина и свирепые нравы школяров нисколько не запугали его, он быстро научился давать отпор. Но иезуиты смотрели на поведение необычайно способного ученика уже сквозь пальцы, они увидели в нем будущую славу Ордена. Дени был тонзурован в двенадцать лет, а этого удостаивались немногие. Его отправили в Париж, в иезуитский коллеж д'Аркур.

Здесь отвращение к богословию обнаружилось открыто. Рассказывают, что в одной из разыгранных учащимися сценок Дидро взял на себя роль змея, соблазнившего Еву. Интерес его переключился на естественные науки: математику, физику, химию, физиологию. В конце концов он непреклонно заявил, что отказывается от духовной карьеры.

Однако юному Дидро не подошла и ни одна из тех социальных ролей, которые предлагал отец, включая ремесло предков-ножовщиков. Надеясь обуздать сына, отец прекратил высылку содержания. Но это не привело Дидро в уныние — наоборот. Он окунается в вольную жизнь, как рыба в воду, и около десяти лет поддерживает бренное существование домашними уроками и иными случайными заработками, временами испытывая жестокий голод и одеваясь в лохмотья. Главное занятие Дидро — чтение книг, и, по собственным словам, он жалел время на что-нибудь иное. Книги — это его счастье. Прежде других — произведения

философов: Бэкона, Декарта, Спинозы, Лейбница. Фундаментальные труды и новинки всех отраслей знаний и техники. Выдающиеся произведения художественного гения. В сознании Дидро, как в магическом кристалле, совмещались и сливались итоги духовного развития Европы XVI—XVIII столетий, и эрудицию такого рода нельзя было почерпнуть ни в одном коллеже или университете мира... Мнимая нерассудительность Дидро обернулась высшей рассудительностью: он ищет подлинное призвание жизни, в нем зреет идея энциклопедизма.

В 1743 году Дидро тайно обвенчался с дочерью купеческой вдовы Шампьон. От брака родилось несколько детей, и среди них — Мария-Анжелика (в замужестве г-жа Вандель), первый биограф своего отца. Семейные обязанности вынудили Дидро к более энергичным поискам денежных средств. Он занялся систематическими переводами с английского. А в 1748 году, совершенно неожиданно, по заказу всевластного временщика Филиппа Морепá, наперсника любовных похождений Людовика XV, Дидро в течение двух недель написал скабрезный роман «Нескромные сокровища», примыкающий к галантной литературе XVIII века. Позже он говорил, что готов скупить и сжечь все, какие можно найти, экземпляры. Но собственный приговор автора слишком суров. По мнению Д. И. Писарева, в романе проявилась незаурядная наблюдательность, неистощимая фантазия Дидро. Молодой лев показал свои когти: сатирические зарисовки быта и нравов знати воспринимаются как острые политические намеки. В романе «Нескромные сокровища» впервые заявил о себе новый беллетристический талант Франции.

Коренное направление ранней литературной деятельности Дидро — перепахивание собственного мировоззрения. Не так трудно, подобно Вольтеру (1694—1778), порвать с официальной религией и прийти к деизму, понимая под богом перводвигатель, который не вмешивается в дела созданной им природы. Гораздо страшнее расстаться с самой идеей бога, изжить в себе духовного раба. Будущий автор «Монахини» вступает в полосу мучительных внутренних борений. В «Философских мыслях» 1746 года он еще сдержанно высказался против аскетического подавления плоти и веры в чудеса. Но в «Письме о слепых в назидание зрячим» (1749) уже открыто обнаружил свой атеизм и отверг всякую философию, которая не опирается на показания чувств и противоречит рассудку.

Подобные занятия были отнюдь не безопасными. В послании к Вольтеру по поводу «Письма о слепых» Дидро уклончиво писал, что хотя и живет с атеистами в наилучших отношениях, но сам не атеист. Работы его выходят анонимно, с ложными выходными данными: Лондон, Амстердам. Однако на костре запылали «Философские мысли», последовал обыск, допросы, заключение в тюрьму. Общественное сочувствие на стороне Дидро. Среди многочисленных посетителей тюремной камеры — Жан-Жак Руссо; они во многом единомышленники.

После сорокадневного заключения Дидро был с триумфом освобожден: помогли и придворные знакомства. Он регулярно посещает салон ученого барона Поля Гольбаха, где собираются виднейшие умы — философ Гельвеций, академик-математик Даламбер, американский просветитель Франклин, английский писатель Стерн... Вместе с Даламбером Дидро принимается за издание «Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел» (35 томов за 30 лет, с 1751 по 1780 год). На протяжении многих лет жизни Дидро отдает этому грандиозному труду все свои духовные силы и материальные средства.

«Энциклопедия» представляет собой систематический свод достижений тогдашней науки, техники и производства, всех отраслей социальных знаний. Участие в ней принимали самые выдающиеся интеллектуальные силы тогдашней Франции: Вольтер, Монтескье, Гольбах, Гельвеций, Руссо, Кондильяк, Мабли, Кенэ, Тюрго, Бюффон... Новое материалистическое мировоззрение обосновывалось здесь фактами естествознания, а внятному суду разума подвергалось все существующее — и королевский деспотизм, и церковь, и религия. Последовали репрессии и запреты, но тома «Энциклопедии» выходили полулегально, собирая все новых подписчиков; полностью или частично они переводились на ряд европейских языков. И королевская власть оказалась бессильной, ибо во Франции возникло нечто беспрецедентное — общественное мнение.

Издание «Энциклопедии» буквально разорило Дидро. Предложение Екатерины II приобрести его библиотеку, оставив ее в пожизненное пользование и назначив Дидро хранителем, пришлось весьма кстати.

В глазах французских просветителей Россия, как отмечал Ф. Энгельс, была самой прогрессивной страной, отечеством либеральных принципов. Екатерине II удалось ввести в заблуждение весьма проницательные умы, в том числе и Вольтера. Именно в екатерининской России усмотрел он тот идеал философского государства, «просвещенной монархии», которое могло бы одновременно и обуздать «анархизм» масс, и обеспечить благо всех подданных. Но только Дидро решился отправиться на край света, в Россию; в этом сыграл свою роль и совет Вольтера бежать хотя бы на время из Франции.

Дидро пробыл в Петербурге с сентября 1773 года по март 1774 года. Он приехал с надеждой способствовать дальнейшему прогрессу «просвещенной монархии». Императрица встречалась с прославленным французом едва ли не каждый день, приветливо беседовала, покорно выслушивала советы ослабить крепостное право, ввести конституционно-представительное правление и гораздо меньше отвечала на расспросы касательно положения в стране, где уже разгоралось восстание Пугачева.

Обласканный Дидро выехал из России действительным членом Академии наук и почетным членом Академии художеств. Подозревал ли он, что Екатерина II достаточно иронически относилась к его радикальным

планам социального переустройства? Она говорила впоследствии, что теории, которые требуют все перевернуть «вверх дном», «невозможны». Ратуя за «просвещенную монархию», Дидро вкладывал в это понятие иное содержание, нежели Вольтер, сближал ее с демократической республикой и в «Смеси», навеянной беседами с Екатериной II, настаивал, что нехорош даже самый справедливый монарх, если власть его ничем не ограничена. Екатерина II знала, с кем беседует, но понял это и Дидро.

Симпатии Дидро в России сложились в ином кругу. Он замечал, что русский народ — это народ исторически восходящий, полный творческих сил, и на склоне лет принялся за изучение русского языка, чтобы в подлиннике ознакомиться с сочинениями Ломоносова, Сумарокова и Хераскова. Он стал идеологическим вдохновителем Радищева и одним из самых почитаемых мыслителей и художников для русской революционной демократии XIX века — для Чернышевского, для Писарева.

Дидро вернулся во Францию с подорванным суровым климатом здоровьем, но продолжал энергично работать, щедро передавая другим мысли и начинания. В феврале 1784 года у него открылось кровохарканье, болезнь быстро прогрессировала. Накануне кончины его посетил духовник из церкви св. Сульпиция и потребовал покаяния в еретических заблуждениях, что, по его мнению, «произвело бы благоприятное впечатление». Дидро ответил: «Я верю, господин кюре,— произвело бы благоприятное впечатление. Но признайтесь, это было бы бесстыдной ложью с моей стороны». Он умер 31 июля 1784 года, до последнего вздоха оставаясь убежденным атеистом.

Философским взглядам Дидро присущи такие особенности, без понимания которых невозможно проникнуть в существо его эстетической программы и художественного творчества.

С одной стороны, он возглавляет метафизический материализм XVIII века. Но с другой — постоянно подвергает сомнению механицизм.

Дидро в постоянных поисках самодвижения вещей; не называя ее по имени, он мечтает о диалектике. Ведь окончательный разрыв с идеей бога возможен только при исключении внешнего перводвигателя. Дидро-энциклопедист обращается к современной ему науке. Если движение непреложно, если оно неотделимо от материи, то и механическое движение — из внутреннего источника. В любом неподвижном теле, вплоть до молекулы, притаилась двигательная потенция; сама тяжесть воплощает не косность, а стремление к «местному движению». А органическая жизнь? Это эволюционный процесс, и, может быть, биологический вид человека тоже имеет свою историю. Сумасшедшая идея! В те времена она казалась современникам попросту беспочвенной фантазией. Но мысль Дидро шла дальше. Суть материи в действии и противодействии, в «постоянном брожении». При сохранении целого все явления, все вещи возникают, изменяются и исчезают.

Безусловно, соображения Дидро возникали в лоне метафизического материализма. Но он пошел дальше великих естествоиспытателей, дальше Ломоносова и Лавуазье, которые тоже высказывали диалектические догадки. Идеи Дидро устремлены к целостной теории развития на основе материализма. Почему же именно он, единственный среди единомышленников, сумел их высказать?

Естествознание еще не созрело для того, чтобы стать источником диалектики; еще разрозненны факты, неясны связи между вещами. Но Дидро не только мыслитель и ученый, он художник. Его видение человеческого мира, этой охваченной потрясениями борьбы практической и политической жизни, является не только философским, отвлеченным, но и художественно-образным, целостным.

Философ Дидро поистине мыслит живыми образами. Фортепьяно сошло с ума, оно вообразило, что не пианист, а оно само ударяет по собственным клавишам и вся гармония вселенной происходит в нем,— вот образ Дидро, воспроизведенный В. И. Лениным в «Материализме и эмпириокритицизме». Безоглядный эгоист считает, что он «одновременно любовник и возлюбленная, отец и ребенок, цветочная грядка и тот, кто ее топчет»,— вот образ из «Прогулок скептика», любимый самим Дидро. Здесь бездна иронии, здесь непринужденно высмеян солипсизм, абсурдное философское учение, которое полагает, что весь мир в сознании единственного человека. И наглядно раскрыта диалектическая идея: познание истины — не самоотражение личности, а процесс, который связывает внешний мир и ум человека.

Но еще важнее философская суть образов Дидро-художника. Мышление и обдумывание как непременное содержание человеческой жизни стало у него предметом художественного изображения. В «Жаке-фаталисте», в «Племяннике Рамо» жесты беседующих и спорящих, их движения, мимика и позы,— которые зачастую и не описаны, но в интонациях чувствуются очень живо,— пластично соответствуют движению, развитию мысли. Философия и художество оказываются сомкнутыми в кольцо постоянных взаимопереходов.

К реализму влекли Дидро и общественные симпатии. Как и другие энциклопедисты, он считает, что жизнь человека, его нравы и цели определяются окружающей природной средой. Ее воздействие на общественную жизнь преломляется в сознании законодателей: мнение правит миром. Так упрощенно-материалистический взгляд приводит к историческому идеализму. И все-таки этого достаточно, чтобы решить две насущные задачи: опровергнуть религиозную догму о предопределенности истории и обосновать ведущую роль разума в исторических преобразованиях. Роман «Жак-фаталист» станет пунктом их скрещения и решения.

Жизнь глазами художника — это бедствия народа и роскошества властвующей «шайки мошенников». Под натиском суровой реальности

слащавый идеал «просвещенной монархии» рассыпался во прах. В статье «Собственность» («Энциклопедия», т. XVIII) Дидро категорически заявил, что власть, основанная на насилии, насилием и свергается. Он все больше и больше склонялся к мысли об осуществлении народного суверенитета в форме республики (оставаясь, конечно, при этом на позициях чисто буржуазной революционности).

В одном лишь — но в каком принципиально важном! — отношении Дидро существенно противостоял другим энциклопедистам. Все они видели в частной собственности естественное и неотчуждаемое право человека, фундамент общественной жизни. Дидро сомневался в нормальности собственнических отношений, опасался господства богатеев, крупной буржуазии. В «Энциклопедии» он с симпатией отмечал нераздельность имуществ у обитателей острова Таити. Но он, конечно, не был утопическим социалистом и считал, что детские годы человечества ушли в прошлое навсегда. Мечтания французских утопических коммунистов Морелли и Мабли порой даже раздражали его, и не без оснований: они изолировались от реальной жизни и политической борьбы. Их пренебрежение к производительной силе науки, к развитию промышленности было реакционным. А требование аскетической бедности и яростный призыв отменить всякую собственность, когда назревал раздел феодальных латифундий во имя крестьянской собственности, попросту сбивали революционную инициативу. Убеждение Дидро, что состояние между гражданами должно распределяться сообразно их трудам, что следует стремиться к замене «духа собственности» «духом Общности» и подчинять личные интересы «инстинкту общественности», исторически было гораздо революционнее и конкретнее, чем догма утопистов.

Весь французский материализм, как засвидетельствовали Маркс и Энгельс, был необходимым звеном перехода от утопического к научному социализму [1]. Дидро и его соратники покончили с религиозными иллюзиями утопистов и выдвинули такой идеал «естественного человека», который сам творит свой мир, не подчиняясь никаким вышним силам. Но если труд, если «инстинкт общественности» являются необходимым условием человеческой жизни, достоинства и свободы, они-то и определяют этический и эстетический идеал. Здесь наиболее существенная связь социальных идей Дидро со смыслом и характером его художественного творчества. В целом оно относится к ярким страницам просветительского реализма. Но Дидро возвышается до отрицания язвы собственности, которую феодальный мир по наследству передал миру капитализма, и делает важный шаг к будущему критическому реализму.

В идеологической борьбе французского Просвещения искусство занимало столь значительное место, что возникло новое направление литературы идей — художественная критика. Эстетические взгляды Дидро

[1] См.: К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 2, с. 145.

в умозрительной форме изложены разве что в статье «Прекрасное» (1751). А в «Салонах» (1750—1780), в «Парадоксе об актере» (1773—1778, опубл. в 1830 году), в «Опыте о живописи» (1765) к читателю обращается уже художественный критик — заинтересованный наблюдатель и ценитель, знаток театра, поэзии, всех пластических искусств. Здесь Дидро наглядно подводил к обобщениям философского уровня.

Чтобы правильно оценить его новаторские эстетические идеи, надо определить их место в его собственном творчестве и в национальном художественном развитии. Их живая противоречивость родилась не от смешения разнородных принципов; сам художественный процесс во Франции XVII—XVIII столетий был противоречивым. Классицизм XVII века расчистил путь высоким идеалам гражданственности, воспел патриотизм и самопожертвование, выдворил библейскую мифологию за пределы искусства. Однако жесткий рационализм и палочная дисциплина «правил» (не смей, например, нарушать пресловутое триединство места, времени и действия в драматургии!) вызвали протест уже в пределах той эпохи. Стиль рококо периода Регентства (1715—1723) восстановил права человеческой чувственности в поэзии и прозе,— жизнерадостной, фривольной, эротической,— и в мягких светлых красках, в шаловливости рисунка, скульптурных завитков в живописи, графике и архитектуре. Протест настолько же яркий, насколько и легковесный. Будуарное аристократическое искусство рококо пришло вместе с выродившимся придворным классицизмом XVIII века к единому финалу: к убожеству интересов, к идейной пустоте. С гражданственностью искусства XVII века было покончено, Просвещению предстояло ее восстановить. Книга, сцена стали трибуной новых идей. Принципы просветительской литературы определил девиз Вольтера: «Разум и наука». В трагедиях, поэмах и философских повестях Вольтера, в «Персидских письмах» Монтескье художественно пропагандировались идеи низвержения абсолютизма и церкви, разумного переустройства общества. Но догмы классицизма еще тяготели над искусством. Реализм, ростки которого энергично пробивались в ранней просветительской литературе, ждал теоретического обоснования.

Первыми испытали ярый натиск Дидро эпигоны классицизма и апологеты рококо. Он подверг убийственному осмеянию подражание римской античности в «высоких» жанрах, которое уводило от жизни народа. Искусство, как и философия, должно спуститься с облаков на землю, в реальный мир. Пусть из понятия прекрасного будет устранен признак «величественности». Пусть не холодность, размерность, а естественность и серьезная страстность станут пафосом изображения. С другой стороны, в «Салонах» 1765 года Дидро учинил подлинный разгром живописи видного художника рококо Ф. Буше (1703—1770), изображавшего куртизанок в виде античных богинь.

Сердцевина эстетики Дидро в органическом соединении философского принципа отражения с социальным принципом демократизма. В «Салонах» 1767 года Дидро предписывал живописцам искать натуру «во вшивой Шампани, где налоги и барщина проявили всю свою ярость». Он требовал от искусства обобщения современной жизни, извлечения из нее подлинного, а не мнимого величия; это он называет «идеей массы» и усматривает в полотнах любимых своих мастеров жанрового реализма в живописи — Шардена, Грёза, Верне.

Дидро не принимал классицистского представления о том, что красота есть раз навсегда данная форма, некий абсолютный идеал. Он кратко определял красоту как соотношение. Предметы природы сами по себе ни прекрасны, ни безобразны, прекрасны лишь отношения пропорциональности, соответствия, гармонии и другие, в которых они находятся между собой. Красота относительна: прелесть тюльпана предстает в его соотношении с другими тюльпанами, достоинство человека — в определенном соотношении личных качеств и в отношении к другим людям. Выходит, что ни один предмет, ни один человек не выпадают из понятия красоты, из эстетической — положительной или отрицательной — оценки, и в этом снова проявляется демократизм эстетики Дидро.

Откуда черпает свое содержание искусство? Только из жизни или, говоря словами Дидро, из природы. «Первая модель искусства — природа»,— утверждает он и призывает «подражать природе». Однако в это требование правдивости искусства влагается совсем не тот смысл, какой оно имело в эстетике Буало. Красота у Дидро сливается с истиной. «Красота в искусстве,— писал он в «Беседах о «Побочном сыне»,— имеет то же основание, что истина в философии. Что такое истина? Соответствие наших суждений созданиям природы. Что такое подражательная красота? Соответствие образа предмету». При этом подражание отнюдь не понимается как зеркальное отражение. Иерархически строя классификацию различных видов искусств — архитектуры, скульптуры, живописи, музыки, поэзии — по принципу все более точного и совершенного «подражания» природе, Дидро подразумевает, что сама природа, жизнь, остается выше искусства, и копия воспроизводит оригинал не полностью. А раз искусство не может буквально повторить природу, значит оно определенным образом перерабатывает ее отражение, «раскрывает истину через сплетение редких и чудесных обстоятельств». К тому же в искусстве мы видим природу, «освещенную солнцем художника», то есть пропущенную через его творческое сознание. Так явственно проступает реалистическая тенденция эстетической концепции Дидро.

Важнейшее значение он придает содержательности искусства. Всякое произведение должно быть выражением одной большой идеи, должно быть поучительно для читателя или зрителя. Иначе оно останется немым. В «Опыте о живописи», глубокие догадки которого о взаимодей-

ствии и гармонии цветов, о живописной выразительности вызвали восторг Гете, Дидро проницательно усмотрел за профессиональным совершенством другое, более важное качество художника — «чувство нравственности». Едины не только истина и красота, они слитны с добродетелью. Мысль эта пришла к просветителям из античности, но у Дидро приобрела революционный смысл. Добродетель, писал он, соединяет мудрость с огнем, а красоту со страстным отрицанием. Задачу передовой литературы и театра он увидел в том, чтобы быть трибуной и школой добродетели. Задача искусства — «клеймить всеми почитаемый порок и устрашать тиранов», не более и не менее.

Неподвижные абстрактные «характеры» классицизма не удовлетворяли Дидро,— он исходил из индивидуальности, то есть из представления о том, что телесная (чувственная) и мыслительная природа человека находятся в единстве. При этом характер тесно связан с общественной средой, с положением человека в обществе. Дидро даже требовал, чтобы в драматургии «на первый план выдвинуто было положение, а характер стал аксессуаром». Он советовал драматургу и актеру сталкивать положения с характерами, «сталкивать интересы». А поскольку общественная среда каждый день создает новые положения и новые интересы, получается, что движение жизни вызывает движение характеров. Понятие об общественном положении и общественной среде как о важнейших факторах, формирующих характер человека, было новаторством в эстетике. В полемике с канонами классицизма Дидро поставил проблему характера в литературе как подлинный реалист и диалектик.

Художественное творчество Дидро это в каком-то смысле экспериментальная лаборатория его художественных воззрений. И прежде всего в драматическом жанре.

Творчество Дидро тяготело к театру. Философские диалоги, диалогические романы и повести были зародышем, зачатком театрального действа. В его представлении театр — это трибуна всей нации, трибуна новых идеалов, школа нравов. Но для того, чтобы выполнить такую роль, театр должен показать нового героя — обыденного человека, представителя третьего сословия. Драма создается для народа, утверждал Дидро. Народу не нужна ни трагедия, ни комедия в старом смысле этих слов, ему нужен жанр промежуточный, преодолевающий недостатки обоих — «серьезный жанр», иначе говоря, бытовая драма.

В 1755 году Дидро написал пьесу «Побочный сын, или Испытание добродетели», действие которой протекает в обстановке незамысловатых домашних интриг. Традиционный классический стих заменен прозой; возвышенные декламационные интонации — разговорными; введены элементы пантомимы. Но что это? Где обещанный переход от общественных положений к характерам? Если исключить несколько живых эпизодов и удачных штрихов, то на сцену вышли условные носители социаль-

ных обязанностей. Положительная героиня «Побочного сына» Констанция произносит патетические монологи высокого общественного смысла, рассчитанные на душевный отклик публики, а получается ходульно, натянуто, наконец, просто смешно. И все это решительно не соответствует теоретическим предсказаниям о сути серьезного жанра. Несколько более высокий уровень драмы «Отец семейства» (1756), которая вызвала восхищение самого Вольтера, не восполнил ущерба от провала «Побочного сына». Неужели не хватило таланта? Нет, причина неуспеха была не в этом. Теоретические схемы, хотя бы и правильные, не поддавались прямому воплощению в образы, дидактизм и моральная риторика подавляли художественность. Но было и более существенное обстоятельство: не так-то просто поэтизировать добропорядочного буржуа, подчиненного все-таки идеалу наживы, и перекроить его в возвышенного гражданина! Фальшь драматического творчества Дидро проистекала из идейной фальши. Теория драмы, завещанная новым поколениям, оказалась значительнее его собственного творческого опыта драматурга.

Иное дело — художественная проза.

Романы, повести и рассказы Дидро, составившие его славу как художника, создавались импровизационно, по следам живой жизни. В этом был его гениальный отдых. Дидро вряд ли предвидел, какой глубокий отклик получит его проза в истории французской и мировой литературы.

Ничто не возникает вне традиции. Предшественниками Дидро были Пьер Мариво (1688—1763) и аббат Прево (1697—1763), знаменитый автор «Манон Леско», создатели жанра психологического романа во французской литературе. Необходимо упомянуть и английского прозаика Сэмюеля Ричардсона (1689—1761), автора семейных романов в письмах «Памела» (1741) и «Кларисса Гарлоу» (1748), которого Дидро ставил выше всех современных писателей за правдивое изображение душевной жизни героев, за достоверность обстановки и деталей и высокую нравственность авторской позиции. С другой стороны, учителем Дидро-романиста был Анри Лесаж (1668—1747), чья приключенческая эпопея «История Жиля Бласа из Сантильяны» (1715) давала широкую картину народной жизни, где, как в калейдоскопе, сменялись сатирические эпизоды и положения. И все-таки Дидро не был прямым последователем никого из них и даже автора философских повестей, своего любимого Вольтера. Он порвал с традициями приключенческого «плутовского» романа и романа мемуаров и предложил новые, свободные формы художественной прозы, полемичные, как и все у Дидро.

Можно сказать без риска преувеличения: Дени Дидро — французский романист следующего века, его слава начинается со времен Стендаля. Помещенные в настоящем томе романы «Монахиня» и «Жак-фаталист» были впервые опубликованы на французском языке в конце XVIII века, после смерти автора, а повесть-диалог «Племянник Рамо» —

даже в 1823 году. Но в рукописных списках проза Дидро стала известна многим современникам и во Франции, и за ее пределами.

В России в 1872 году готовились к выпуску в Петербурге, в типографии К. Неклюдова, «Романы и повести Д. Дидро в 2-ух томах» в переводе В. Зайцева. Однако первый том так и не был подготовлен к печати, а том второй, куда входил роман «Жак «Фаталист» и его барин», оказался в том же 1872 году уничтожен по постановлению царского Комитета министров. «Монахиня» и «Племянник Рамо» увидели свет на русском языке только в советское время.

Замысел «Монахини» (1760) вызревал постепенно под влиянием сенсационных разоблачений тайн, скрытых за монастырскими стенами, случаев дикого изуверства, особенно участившихся в конце 50-х годов XVIII века, во время очередного столкновения между сторонниками ортодоксальной римской церкви и янсенистами. Монастырский быт стал предметом общественного обсуждения, Дидро принял в этом самое активное участие.

На жанр «Монахини», несомненно, повлияла «Жизнь Марианны» Пьера Мариво, которая выходила в 1731—1741 годах отдельными выпусками и, вызвав острый интерес читающей публики, снова оживила традиционный жанр записок. Главная героиня, от лица которой ведется рассказ,— девица из низших сословий, наделенная чистотой помыслов и поступков,— как бы иллюстрировала популярную в то время идею, что врожденное нравственное благородство преобладает над благородством происхождения. Дидро также придал своему роману форму записок, адресованных героиней своему покровителю. Неприязнь Дидро к мемуарам всякого рода широко известна, чем же объяснить его выбор? В начале романа его героиня Сюзанна Симонен должна преодолеть застенчивость, чтобы писать с возможной откровенностью и простодушием. И действительно, непосредственность интонации в «Монахине» поразительна. Это вовсе и не мемуары в обычном смысле слова, не описание событий, более или менее окрашенное личным отношением, а горячая *исповедь,* новый жанр светской литературы, зачинателем которого является Дидро и который прославится потом «Исповедью» Руссо.

Сюжет «Монахини» вычерчен рукою самой жизни: незаконнорожденную дочь адвоката насильственно запирают в монастыре. Мать ненавидит ее и требует, чтобы Сюзанна, исчезнув из мирской жизни, искупила грех своего рождения. Так начинается ее монастырский крестный путь — путь издевательств, попрания человеческого достоинства, чудовищных преследований, ибо приспособиться к лицемерию и задавить свою правдивость, свою волю к свободе она так и не смогла. После смерти родителей она обращается в суд, ссылаясь на отсутствие свободы при произнесении обета. Дело проиграно. Сюзанна в другой обители, где

нравы не столь жестоки, но где ее подстерегает развращенность настоятельницы. И она бежит из монастыря.

Читатель ни на мгновение не расстается с сестрой Сюзанной и видит все события ее глазами. Внешний облик ее будто и недостаточно определенен, но целостное ощущение духовного света и чистоты растет от страницы к странице. Именно в устах такого человека уместна нравственная оценка безнравственной монастырской жизни.

Сюзанна трогательна, но не беспомощна. При видимой мягкости это сильный, несгибаемый характер. Осознав ничтожество той школы лицемерия и искусного обольщения, где монахини «поносят мир, который они любят, но которого не знают», она упорно ищет выход. Преследования,— она поняла это,— возбуждают в ней только чувство противоречия. Ее не пугают ни хлеб и вода, ни карцер и вообще никакие физические муки. Гораздо страшнее одиночество. И еще сильнее — отвращение к монашеству. Стоит оценить то, с какой недюжинной смелостью отвечает Сюзанна на вопрос викария, согласна ли она принять постриг: «Нет, сударь, нет!»

Стремление и любовь к свободе — вот основа и разгадка всех действий и поступков Сюзанны. Она проявляет нерасчетливость и небрежение к собственности; материальные мотивы, которые заставили пойти на предательство ее мать, ей совершенно неведомы. Не «бес в нее вселился», как думают окружающие монахини, в ней выросла высшая потребность в свободе. Этого не может понять никто: ни ведущий ее дело адвокат, ни ее подруга, сестра Урсула, ни, конечно, все остальные монахи, монашки, церковники. Ей не верила мать, не верят и собственные сестры.

Известное сомнение может возникнуть и у современного читателя: а способен ли был столь мрачный мир породить такую свободную душу? Побудительным толчком к написанию «Монахини» послужила история некоей Маргариты Деламар, которая попала в монастырь после скандального расторжения брака, под угрозой исправительного дома для женщин легкого поведения. Оставшись единственной наследницей родительского состояния, она возбудила судебное дело о расторжении обета бедности и выходе из монастыря. Суд отказал в иске, битва за наследство была проиграна, но Маргарита никуда не бежала. Она пожизненно осталась в обители, ей нечего было делать на свободе. Эта будничная концовка кажется более естественной и более соответствующей коренной идее Дидро, что чувства и интересы личности определяются потребностями человека. А Сюзанна? Не навязана ли ей автором идеализированная потребность в свободе? Нет, она совсем не надуманна. Сюзанна бежит от реальных опасностей, от растления духа и тела. Она никак не может согласиться с отведенной ей социальной ролью, ее характер и окружающая обстановка резко контрастируют, заставляют искать выхода, бороться. Изображение такого характера в развитии — и есть реализм.

Сюзанна — незаконнорожденная, и положение это выбрано Дидро не случайно. Он подхватил декларацию Мариво, что «низкое» происхождение — не клеймо каторжника, а принадлежность к высшим сословиям — не обязательная грамота благородства. Для тех, кто обладает нравственным превосходством над окружающими, кто способен незаурядно мыслить, Дидро требует иной судьбы, чем та, которая предопределена сословным неравенством и общественными установлениями.

Глубина суждений Сюзанны растет от страницы к странице. Монахини — настоящие рабыни, и прозрение этого ведет ее к поистине «еретическим» размышлениям: может ли бог, создавший человека, допустить, чтобы его запирали в келье? Нужны ли вообще монастыри, где обитают ненависть, отвращение и истерия, где живут рабство и деспотизм? Нет, грань между философским и художественным логизированием в «Монахине» осталась неперейденной. Вопрошения Сюзанны — это и взлет ее измученной, негодующей мысли, и ее предел, потолок. Особенности здравого смысла девушки мотивированы узким жизненным опытом, складом характера, даже предрассудками. Смела она отчасти потому, что не вполне сознает, с какими колоссальными общественными силами сталкивается ее бунт. Ее мечтания не идут дальше добродетельной семейной жизни. Образ Сюзанны — это, конечно, образ нового человека, новой женщины, ее ум и характер — нового, невиданного склада. Но больше в тенденции, за пределы которой Дидро-реалист не хочет, а главное, не может его вывести. Он решает сложнейшую художественную задачу создания характера *исключительного в своей обыденности:* типического народного характера.

Какова среда, каковы положения, в которых движется этот характер? Сложны и разнообразны типы монастырского мира, хотя, конечно, наделены менее богатой внутренней жизнью, чем Сюзанна. Реалистическое мастерство Дидро раскрывает тайну их нравственного уродства: дело не в отдельных лицах, не в их добрых или злых задатках, а в ненормальных обстоятельствах, которые, порождая разную реакцию в разных душах, одинаково калечат их.

Эти итоги романа определяются не какой-либо идейной преднамеренностью, а жизненной достоверностью описанного. Родная сестра Дидро была монахиней и сошла с ума; у брата, надевшего священническую сутану, резко изменился приветливый прежде характер; возлюбленная Даламбера, мадемуазель Леспинас, бежала из монастыря. Да и сам автор «Монахини» тоже не зря побывал в иезуитских коллежах. Поле действия романа было известно Дидро не только по чужим рассказам и по истории Маргариты Деламар; он сам жил жизнью своих героев. Сначала увидеть, потом писать — вот подлинные слова Дидро. Именно он принес в творческую лабораторию реализма инструмент личного наблюдения. В романе «Монахиня» Дидро-художник вносит поправки в

представления Дидро-философа об окружающей среде и ее роли в формировании человеческой личности. Он не отказывается от убеждения, что корень общественных неурядиц в дурном законодательстве и деспотизме, а воля добросовестного законодателя может поправить многое. Но среда, но положения, в которых оказались персонажи «Монахини» и которые формируют их характер, охватывают все виды жизнедеятельности, а не только юрисдикцию и политику. Из этих пределов человек поистине вырваться не может. В чем же тогда его свобода?

Материализму XVII—XVIII веков присущи два противоположных суждения: свободы воли не существует, человек полностью определяется обстоятельствами; человек воздействует на обстоятельства, изменяет их, его воля свободна. Эта философская дилемма, эта коллизия, которая приводила в ярость не одного Дидро, но которой метафизический материализм не в состоянии был разрешить, мучительно вторглась и в его художественное творчество. Сюзанна Симонен сталкивается с монастырской средой в самых различных положениях. И каждый раз сопротивляется ее требованиям, изменяясь, не изменяет себе в иных условиях борьбы. Поэтому характер ее полнокровен и активен. Дидро открывает здесь новый, реалистический способ построения характера — через сравнение последовательных состояний, через самоанализ героя, через утрату иллюзий. Это завет критическому реализму XIX века. Но вот Сюзанна вне монастыря, она попала на парижское «дно», в обстановку вечной нищеты и труда. Она не потеряла веры в бога и людей, но не знает, что предпринять, и смиренно ждет благоприятного поворота событий. Недаром сюжетное завершение романа выливается в скороговорку. Переселив героиню из одной клетки в другую, более обширную, не знает, что делать с нею, и автор: свобода бунтующей воли прежней монахини утеряна, среда подавила свободу — круг замкнулся.

Проблемы, поставленные Дидро, выходили за рамки развенчания монастырского быта. Образ монастыря, связанного многообразными нитями со всем строем феодального общества, вырастает в романе до образа извращенной цивилизации XVIII века. Изображенное писателем частное проявление деспотизма воспринималось современниками как символ губительности всякого деспотизма. Сюзанна только сопротивлялась обстоятельствам, а не время ли радикально их изменить? К тому же героем романа оказалась женщина, и вставал другой вопрос: а возможна ли без ее освобождения социальная свобода вообще?

Мы можем повторить вместе с современной французской критикой, что «Монахиня» — это одна из самых яростных и сильных книг, один из самых впечатляющих реалистических романов не только французской, но и мировой литературы. Образ Сюзанны — прототип ряда образов бунтующих женщин,— у Жорж Санд, у Герцена и Чернышевского, у Любена Каравелова и других выдающихся писателей мира.

В 1773 году, вскоре по возвращении из России, Дидро закончил роман «Жак-фаталист и его Хозяин», где проблема свободы человека была поставлена более глубоко и всесторонне, чем в «Монахине». После написания «Монахини» прошло тринадцать лет, а недавние беседы с «просвещенной монархиней» Екатериной II особенно заострили социальный радикализм Дидро.

«Жак-фаталист» — диалогическое повествование широкого жанра, которое включает в себя вставные эпизоды и бытовые рассказы, начиная с истории г-жи де Ла Поммере — одной из лучших новелл в литературе XVIII века — и вплоть до анекдота, до хлесткого афоризма. Это такое повествование, в котором динамичные сцены непринужденно переходят в философские раздумья, а сквозная фабула почти не улавливается. Прием «двойного отражения» — самой жизни и мнений персонажей о ней — подчинен определенной цели: безжалостного суда над действительностью. И художественная целостность повествования, его драматизм определяются именно столкновением этих напряженных мнений, которые и сами едва ли не живые существа. «Я не пишу романа»,— заявил Дидро на страницах «Жака-фаталиста», и в каком-то смысле это верно.

Пестрые картины реального мира — «положения», говоря языком Дидро,— причудливо совмещены здесь в образе «большой дороги», по которой от трактира к трактиру едут верхом Жак и его безымянный Хозяин. Мало-помалу образ дороги раскрывается в их спорах, в подстерегающих их случайностях, в рассказах из жизни продувных монахов, знатных дам, вспыльчивых дуэлянтов и, наконец, простого люда — короче, всех сословий Франции. Большая дорога загадочна, здесь никто ничего не знает, не понимает причин происходящего. Вопрос-рефрен о судьбе двух героев: Откуда, куда и зачем они едут? — влечет за собой ответ-рефрен: Ниоткуда, никуда и ни за чем. В конце концов все же выясняется, что Жак стремился к своей возлюбленной, а Хозяин жаждал отомстить за попранную честь. Но в этом ли подлинный смысл столь длительного путешествия? Ищущая мысль подводит героев повествования к таким открытиям, каких они и не чаяли. Хаос большой дороги постепенно проясняется: это такая дорога, где «вследствие скверной администрации и нищеты число злоумышленников сильно выросло»; это дорога неправедных судов и лукавых церковников; дорога рабов. Там «у каждого своя собака»: «министр — собака короля, правитель канцелярии — собака министра, жена — собака мужа или муж — собака жены...». И четвероногие собаки «совершеннее, чем люди». Большая дорога — это образ феодальной Франции, бредущей в никуда, как душевнобольной человек, у которого голова и тело в полном разладе.

В разладе как будто и Жак с Хозяином, их социальные роли противоположны. Хозяин безымянен, но и Жак — не только имя собственное: в устах аристократов это имя означало «мужлан», с оттенком непокор-

ства; «Жакерией» звалась крестьянская война против помещиков и церкви во Франции XIV века. Однако постепенно выясняется, что у этих антагонистов много общего. Главные герои романа — не просто слуга и хозяин, их взаимоотношения не однолинейны.

В образе Жака легче всего увидеть французского потомка Санчо Пансы и параллель Жилю Бласу, воплощение оптимизма, жизнерадостности и юмора французского народа. Перипетии романа дают к этому основания. Но при всем том сходство Жака с героями приключенческих романов чисто внешнее. Прежде всего, это персонаж интеллектуальный. Жак — философ, и философ говорливый. Кляп во рту украшал его с детства,— так взрослые ограждались от его непрестанной болтовни. Но Жак совсем не пустозвон и, если исключить фаталистический припев: «Так предначертано свыше»,— никогда не повторяется. Он любитель метких и парадоксальных афоризмов, с удовольствием выслушиваемых его Хозяином. И самое-то удивительное, что Жак не только самородок-мыслитель, он обладает основательными философскими познаниями и с успехом пускает их в ход, когда надо обосновать практические суждения — о жизни и смерти, главное, о жизни.

Сначала может показаться, что Хозяин — это «безличный атрибут энергичного слуги». Ничего интересного собой он будто и не представляет. В его жизни «три главных занятия: нюхание табака, часы и Жак». Он капризен в своем безделье, вспыльчив и трусоват. И хотя обойтись без Жака-слуги и Жака-собеседника совсем не может, постоянно соблюдает дистанцию и способен поколотить для острастки. Но вскоре мы узнаем, что это «страстный, увлекающийся, любознательный человек», который тоже, хотя и с некоторым промедлением, способен извлекать из путешествия жизненные уроки. Мнения Жака и Хозяина переплетаются, скрещиваются и, наконец, сходятся, раскрывая потаенный смысл обоих образов. Всадники и их лошади — это две пары друзей, подсказывает Дидро на первых же страницах романа. Хозяин тоже философ и в надменности своей вначале мнит себя более проницательным и глубоким мыслителем, чем Жак. В припевке Жака «все предначертано свыше» ему видится легкий и удобный способ задобрить судьбу, высказать покорность року, и он снисходительно подтрунивает над слугой. Но спор о совмещении свободы воли с железной силой обстоятельств, словесная дуэль, которую они ведут с переменным успехом, слишком серьезна, чтобы отделаться шутками. Всадники скачут все дальше, к опасному пределу.

Жак утверждает, что судьбы людей заранее записаны в «великом свитке»,— он фаталист. Но Жак и пантеист, он пребывает в убеждении, что между физическим и духовным миром нет различий, и скептически относится к идее загробной жизни — вот какую еретическую мысль заронил ему в голову некий армейский капитан, поклонник Спинозы!

А как же быть, в таком случае, с афоризмом «все предначертано

свыше»? Предначертано свыше? Великие слова, иронизирует Хозяин, уж не записано ли в великом свитке, что Жак в такой-то день сломает себе шею? Не записана ли там и такая мелочь, что кто-то кого-то сделает рогоносцем? И наставительно укоряет Жака, когда тот в очередной раз готов воспрепятствовать злу: зачем же вмешиваться, если зло предначертано свыше? Значит, не предначертано, значит, «внутри себя я свободен», заключает Хозяин. Но Жаку ничего не стоит опровергнуть его самоуверенность. Вопреки всякому благоразумию Хозяин полюбил низменную женщину, и мошенник де Сент-Уэн запутал его в векселях, заставил признать своим чужого ребенка. «Три четверти нашей жизни, сударь, мы проводим в том, что хотим и не делаем... И делаем, когда не хотим». Под давлением фактов Хозяин соглашается с Жаком. И вот перед читателем как будто предстают уже два поклонника фатализма. Но с окончательным мнением торопиться не следует.

Художественная ткань «Жака-фаталиста» сложна прежде всего в философском смысле. От первой до последней страницы роман полемичен. Дидро спорит здесь с самим Вольтером, и в споре этом, как у Жака с Хозяином, некоторые уступки служат трамплином для непререкаемых утверждений и отрицаний. Да, именно Вольтер в «Кандиде» высмеял ложность «предустановленной гармонии» Лейбница (якобы уравновешение в мире добра и зла) и разоблачил пассивность фатализма; он подверг осмеянию само Провидение, разделив случайные пути жизни и главное направление прогресса. Да, это Вольтер призывал «возделывать свой сад» и видел в свободном творческом труде единственный выход из житейских противоречий. Здесь он провозвестник свободы. Но почему же Вольтер утверждал, что опыт свидетельствует о существовании бога и что если бога нет, то его надо выдумать, чтобы держать «анархические» массы в узде? Почему труд превращается у него только в моральное средство борьбы против развращенности, скуки и бедности, а переделка мира самими тружениками отодвигается в тень? Дидро-художник сумел решить ту дилемму свободы, перед которой стал в тупик Дидро-философ: человеческая деятельность, конечно, определяется обстоятельствами, но она же и изменяет обстоятельства. Опровергая Хозяина, Жак удивительно непоследователен: он каждый раз пытается предупредить несчастье и лишь потом изворачивается, как подлинный софист. А когда случается поистине черное дело, Жак страстно восклицает: «Небо хочет! Никогда не знаешь, что оно хочет и чего не хочет, да оно и само, быть может, не знает». Фразеология сама по себе, оказывается, ничего не значит. И название романа тоже иронично: Жак вовсе не фаталист. Он не приемлет покорности судьбе, но отвергает и «свободное», то есть стихийное течение жизни. Он всегда и во все вмешивается, иначе совесть его замучает.

Жак презирает собственную болтовню, если она не ведет к действию. Он сам называет себя «подлым негодяем», который носит ливрею

«вместо того, чтобы вернуться к земледелию, самому полезному и почетному занятию». Работа, труд — вот о чем тоскует Жак, и в этом урок для его Хозяина, прозревающего жизненное величие своего слуги. Когда чернь принимается рассуждать, все погибло, говорил Вольтер; все спасено, утверждает Дидро, не скрывая любви к своему незнатному герою.

В конце романа Хозяин хотел бы еще раз отстегать слугу за его проделки, но поздно — лопнул ремень. Да и какой он хозяин, если обокраден и нищ, как и Жак? Им просто необходимо стать открытыми единомышленниками и друзьями, и Хозяин окончательно признает умственное и моральное превосходство Жака, он понимает, что все «великие свитки» будут перечеркнуты только тогда, когда слуги станут диктовать господам. «Это я его лакей»,— прозревает Хозяин, и Жак завершает переворот в их отношениях знаменательной сентенцией: «Жак правит своим Хозяином». Мы будем первыми, про которых это скажут, а затем начнут повторять про тысячи других, гораздо лучших, чем мы с вами». Вот идейная формула единства здоровых сил нации накануне политического переворота и призыв к решительным действиям.

Так ли, впрочем? Сентенции и действия героев могут показаться запутанными, недостаточно определенными. Но костры ведь еще горят, и Бастилии стоят прочно. На всякий случай Дидро прямо подсказывает недальновидному читателю: «Будьте осмотрительны, если не хотите в разговоре Жака с Хозяином принять правду за ложь, а ложь за правду. Я вас должным образом предупредил, а дальше умываю руки».

«Жак-фаталист» обозначил существенный поворот в развитии Дидро как художника. Разрыв с традицией здесь еще более резкий, чем в «Монахине», и приемы индивидуализации совсем иные. Внешние приметы персонажей преднамеренно оставлены в тени (хотя встречаются и живописные портреты, вроде, например, портрета красивой трактирщицы); подлинную пластику обнаруживает идейно нацеленная мысль. Идеи — это и есть настоящие герои Дидро в «Жаке-фаталисте», но персонажи не привязаны к ним жестко и ни в коем случае не являются их символами или иллюстрациями. Среда («положения») и характеры обусловливают зарождение и проявление мнений, их обмен и шлифовку; идеи действуют только в людях, через людей. И — великое мастерство художника! — пластика мысли вызывает ощущение физической пластичности. Уроки драматургических неудач не остались бесплодными. То, что сопротивлялось сценическому воплощению, уложилось в чуждую всяким канонам и штампам, всякой предрешенности форму *романа-диалога*. Впрочем, нетрудно представить сценическую интерпретацию «Жака-фаталиста» в современном интеллектуальном театре.

Роман-диалог у Дидро воплощает в себе новый аспект реализма — реализм идей, который, в свою очередь, обрел новое свойство — сознательную оценку действительности и приговор над ней.

Форма романа-диалога вполне этому соответствует, здесь отвергнута внешняя занимательность ранней просветительской прозы, Дидро неустанно пародирует подробные описания действующих лиц и обстановки, поскольку они оторваны от динамики повествования, а особенным насмешкам подвергается прокрустово ложе сюжета. Концовка произведения пунктирна: Жак обретает жену, Хозяин убивает де Сент-Уэна, а читателю, который требует именно такого рода событий, и жаловаться не на что... Отступления от фабулы, скачки и перебивы, пусть даже, пользуясь выражением Дидро, «неудобоваримый винегрет»,— вот что дает возможность построения драмы идей. Цепи сброшены, фабульность перестает затемнять истинный смысл повествования.

В концовке Дидро смешливо отвергает обвинение в плагиате: очень близки художественные приемы «Жака-фаталиста» и романа английского писателя Лоренса Стерна «Тристрам Шенди» (1763). Но не в общении ли с Дидро почерпнул сам Стерн новые художественные идеи?

Гете прочитал рукопись «Жака-фаталиста», не отрываясь, и отозвался о романе как о «поистине первоклассном произведении», «очень тонком и изящном кушанье».

Вершиной художественной прозы Дидро является небольшая философская повесть «Племянник Рамо», написанная почти одновременно с «Жаком-фаталистом». Дидро уделил этому произведению исключительное внимание и использовал в нем все свои предшествующие художественные завоевания, придав им особую утонченность и блеск.

Всякая фабульность отброшена здесь, даже как вспомогательное средство. Содержание произведения составляет оживленный разговор, который развертывается в одной из кофеен Пале-Рояля, между анонимным Философом и приживальщиком в богатых домах, безымянным Племянником композитора Рамо. Философ высказывается в соответствии с просветительскими идеями разума, добродетели, человечности. Собеседник обрушивает на него целые потоки парадоксов, цинизма и пошлости. Внешность Философа остается неизвестной читателю. Внешность Племянника — зыбка и переменчива. Философ видит его не впервые, и каждый раз иным: то он худ, как чахоточный, то жирен и упитан, то в рваных штанах и грязном белье, то напудренный и завитой — все зависит от благорасположения богатых покровителей. Эта изменчивость внешнего облика вполне соответствует главному, что интересует Дидро,— разорванности сознания его персонажа, которое как бы в самом себе содержит любую противоположную мысль, любую антитезу. Рассказы, сплетни, суждения Племянника Рамо представляют собою причудливую смесь возвышенного и низменного, хотя низменное явно преобладает.

Двойное лицо, разорванное сознание. И отрицание всякой морали, полнейший нравственный релятивизм. Стоит ли пребывать в бедности,

когда вокруг тьма глупцов, которые могут подкормить? Тут уж никакой брезгливости, тут нужен «ум круглый, как шар, а характер гибкий, как ива». Выгодно быть правдивым — говори правду, выгодно фальшивить — фальшивь. Добродетель, утверждает он, вовсе не заложена в природе человека, это опасная выдумка философов, равносильная отвращению к богатству. Пороки и есть практические добродетели, счастливо обладая ими, можно «держать ноги в тепле». Но вот беда — Племяннику Рамо не удалось стать крупным злодеем. И он с такой завистью обсуждает красоты преступлений, что душу Философа охватывает «отвращение и ужас».

Племяннику Рамо ведомы все способы существования среди знатных и богатых. Сначала лесть. Даже грубую лесть «потребляют большими глотками, а правду — по каплям», надо только умеючи притворяться искренним и скрывать подлинные мысли. Потом шутовство: забавляй тех, кто тебя кормит, а сам забавляйся над ними исподтишка. Племянник Рамо давно открыл, что чванство высших есть оборотная сторона низости покровительствуемых. Но, в конце концов, даже король — шут своего шута. Знание этого и есть жалкая месть холопа. Лишенный всяких средств к существованию, Племянник вынужден пресмыкаться, он готов целовать туфлю своего очередного благодетеля, лишь бы получить пристанище и кусок хлеба. Но это не мешает ему пылко ненавидеть сильных мира сего. Червяк ползет, и я ползу,— говорит он,— когда нам не мешают, «но мы выпрямляемся, когда нам наступят на хвост; мне наступили на хвост, и я выпрямился». Приживальщик мстит обществу, цинично разоблачая его постыдные тайны. И в этом бунте проявляются остатки человеческого.

В эпоху общественного распада цинизм — как дрожжи: вызывает брожение мысли и способствует обнажению подлинного лица общества. Мысль циника может быть глубоко проницательной. Племянник Рамо понимает суть общества, в котором живет. «Золото — все, а остальное без золота — ничто». «Кто богат, не может себя обесчестить, что бы он ни вытворял»,— вот каковы его афоризмы, которые относятся не к отдельным лицам, а ко всему порочному обществу. Он, не затрудняясь, срывает покровы со всех священных иллюзий. Картина нравов абсолютистской Франции, которую столь убедительно рисует остроумный циник, тревожит ум Философа своей непреложностью. Что правда, то правда, и трудно поверить, что здесь помогут благие пожелания. Поможет ли и «великая кутерьма»? Дух собственности поистине есть дух морального падения; социологические догадки Дидро обрели в «Племяннике Рамо» художественную, живую убедительность. Революция была еще впереди, но на горизонте уже вставал мрачный силуэт капиталистического общества, черты которого Дидро угадал в разложении общества феодального и предсказал устами шута. Основа буржуазной морали — лицемерие,

и, требуя нравственности от окружающих, лицемер оставляет полную свободу для себя. Циник же правдив в самооценках, не терпит грубого принуждения и хочет быть мерзавцем сознательно. Таков Племянник Рамо. Хоть на время, он полностью откровенен и требует того же от других, возвышаясь тем самым и над ними, и над самим собой. Парадоксальный характер. Абсолютное его извращение, по словам Гегеля (в «Феноменологии духа»), есть его торжество; бесстыдство получает значение величайшей истины. И добродетель терпит полное поражение со стороны «диковинного» типа, по-мефистофелевски соединяющего апологию всех смертных грехов с их внутренним пониманием.

Беспомощность нравственной позиции Философа перед циническими разоблачениями Племянника Рамо — это своего рода самокритика просветительского разума, сознание его ограниченности перед нарастающими противоречиями и сложностями жизни. В этой повести, замечал далее Гегель, Дидро отводит себе жалкую роль благонамеренной личности, «честное сознание» которой есть «необразованное бессмыслие». Приговор Гегеля чрезмерно суров, и не повлияла ли на него извечная враждебность идеализма материалистическому учению? Ведь хотя отождествлять Дидро с его персонажем так уверенно и нельзя, но именно в логике спора Философа с шутом, через сложное отношение его к своему собеседнику, раскрываются все более глубокие слои внутренней жизни последнего. Точные реплики Философа высекают из принципиальной безнравственности Племянника Рамо искры задавленной и затаенной человечности, которые, конечно, тут же угасают в грязных потоках цинизма. Философ жалеет своего собеседника, и в этой жалости есть доля и его торжества. Положение Племянника Рамо, в сущности, безвыходно. Остро ощущая враждебность всех социальных сил и не в состоянии примкнуть ни к одной из них, он не находит для себя иной роли, кроме унизительной роли артистичного шута.

Органическая связь философии и художества у Дидро в «Племяннике Рамо» предстает особенно наглядно. Философские и социальные идеи этой повести не могут быть постигнуты вне понимания характера Рамо, а сам характер — вне жизненной философии его носителя. Вот почему Маркс и Энгельс увидели в «Племяннике Рамо» образец глубокой диалектики. Первым среди всех мыслителей и писателей нового времени Дидро сумел в художественном типе Племянника Рамо раскрыть внутреннюю логику и динамику собственнических отношений и психологии, которые неизбежно приводят к отчуждению человечности от человека. Перед лицом чистогана люди внутренне раздваиваются, они исповедуют «два евангелия», надевают «костюм арлекина». Мораль становится непрочной, относительной, под давлением новых общественных сил утопическое сознание терпит крах. Но торжествует правда о новой действительности. Дидро писал в одной из публицистических статей: «Перед

моим взором встают наши потомки со счетными таблицами в карманах и с деловыми бумагами под мышкой. Присмотритесь получше, и вы поймете, что поток, увлекающий нас, чужд гениальному». Это его собственный — не Племянника — прямой вывод.

«Племянник Рамо» — произведение в XVIII веке несвоевременное, плод тайных раздумий великого писателя и мыслителя. Но зато какое богатство влияний на последующее художественное развитие! Можно сказать, что это первое произведение критического реализма, где изображен многосторонне развернутый реалистический характер. Нить от Дидро тянется к Бальзаку, к Достоевскому — мастеру изображения драмы интересов через драму чувств и идей. И Маркс, познакомившись с «Племянником Рамо», назвал Дидро своим любимым прозаиком [1].

Дидро было тесно в своем веке, тесно оказалось и в следующем. Он писал для будущего народа. «Если мы хотим, чтобы философы прогрессировали, доведем народ до уровня философов» — одна из глубочайших его мыслей.

Превознося писания эстетов времен Дидро, некоторые буржуазные литературоведы современной Франции хотели бы отодвинуть в тень его великое творчество. Позиция Дидро ясная, недвусмысленная. Экзистенциалисты же, увековечивая впервые описанное им разорванное сознание, пытаются сделать из него своего предшественника. Но Дидро никак не укладывается в эти ложные рамки. Именно он показал исторические истоки такого сознания и, значит, предрек его будущую гибель. В наше время Дидро принадлежит социалистической демократии. «Коммунистическая партия,— писал Морис Торез,— продолжатель и законный наследник всех лучших традиций Франции, подлинный представитель ее культуры, наследник тех великих мыслителей — от Рабле до Дидро и Ромена Роллана, которые боролись за свободу человека» [2].

Л. ВОРОБЬЕВ

---

[1] «К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве», т. 2. М., 1967, с. 545.
[2] Морис Торез. Сын народа. М., 1950, с. 200.

ПЕРЕВОД Д. ЛИВШИЦ и Э. ШЛОСБЕРГ

От ответа маркиза де Круамар — если только он мне ответит — зависит все, что последует в дальнейшем. Прежде чем написать ему, я решила узнать, что он собой представляет. Это светский человек, который создал себе имя на служебном поприще; он немолод, был женат, у него есть дочь и два сына, которых он любит и которые платят ему нежной любовью. Он знатного рода, весьма образован, умен, отличается веселым нравом, любовью к искусству и, главное, оригинальностью. При мне с похвалой отзывались о его доброте, порядочности и безукоризненной честности, и, судя по горячему участию, с каким он отнесся к моему делу, и по всему, что мне о нем говорили, я не сделала ошибки, обратившись к нему. Однако трудно рассчитывать, чтобы он решился изменить мою участь, совершенно меня не зная, и это заставляет меня побороть самолюбие и решиться начать эти записки, где я рисую, неумело и неискусно, какую-то долю моих злоключений со всем простодушием, присущим девушке моих лет, и со всей откровенностью, свойственной моему характеру. На тот случай, если когда-нибудь мой покровитель потребует — да, может быть, мне и самой придет в голову такая фантазия,— чтобы эти записки были закончены, а отдаленные события уже изгладятся из моей памяти,— этот краткий перечень их и глубокое впечатление, которое они оставили в моей душе на всю жизнь, помогут мне воспроизвести их со всей точностью.

Отец мой был адвокатом. Он женился на моей матери, будучи уже немолодым, и имел от нее трех дочерей. Его состояния было более чем достаточно, чтобы основательно обеспечить всех трех, но для этого его привязанность должна была бы равномерно распределяться между нами, а я при всем желании не могу

воздать ему эту хвалу. Я, безусловно, превосходила сестер умом и красотой, приятностью характера и дарованиями, но казалось, что это огорчало моих родителей. Те преимущества, которыми одарила меня природа, и мое прилежание превратились для меня в источник горестей, и, чтобы меня так же любили, пожили, прощали и баловали, как моих сестер, я с самого раннего возраста желала быть похожей на них. Если, случалось, моей матери говорили: «У вас прелестные дочери!» — она никогда не относила этих слов на мой счет. Иногда я бывала сторицей вознаграждена за ее несправедливость; но похвалы, полученные мною, так дорого обходились мне, когда мы оставались одни, что я готова была предпочесть равнодушие и даже обиды. Чем больше знаков расположения выказывали мне посторонние, тем больше доставалось мне, когда они уходили. О, сколько раз я плакала оттого, что не родилась некрасивой, тупой, глупой, тщеславной — словом, со всеми недостатками, помогавшими моим сестрам снискать любовь родителей! Я спрашивала себя — откуда подобная странность в отношении ко мне отца и матери, в остальном людей честных, справедливых и благочестивых? Признаться ли вам, сударь? Некоторые слова, вырвавшиеся у отца в порыве гнева,— а он был горяч,— некоторые обстоятельства, подмеченные мною в разные периоды, пересуды соседей, болтовня прислуги — все это заставило меня заподозрить одну причину, которая, пожалуй, могла бы несколько оправдать их. Быть может, у отца имелись кое-какие сомнения по поводу моего рождения; быть может, я напоминала матери о совершенном ею проступке и о неблагодарности человека, которому она доверилась сверх меры,— кто знает? Но если даже эти подозрения и не вполне обоснованы, то чем я рискую, открывая их вам? Вы сожжете это письмо, а я обещаю сжечь ваш ответ.

Мы появились на свет одна вслед за другой и стали взрослыми все три одновременно. Представились подходящие партии. За старшей сестрой начал ухаживать очень милый молодой человек; вскоре я заметила, что нравлюсь ему, и догадалась, что сестра все время была лишь предлогом для его частых визитов. Я поняла, сколько бед может навлечь на меня это предпочтение, и предупредила мать. Пожалуй, это был единственный поступок в моей жизни, который доставил ей удовольствие, и вот как меня отблагодарили за него: дня четыре спустя или несколько позже мне сообщили, что для меня готово место в монастыре, и отвезли меня туда на следующий же день. Дома мне жилось так плохо, что это событие ничуть меня не огорчило, и я отправилась в

монастырь св. Марии — мой первый монастырь — с большой охотой. Между тем, не видя меня более, возлюбленный моей сестры забыл обо мне и стал ее супругом. Его зовут г-н К., он нотариус в Корбейле; они очень не ладят между собой. Вторая сестра вышла замуж за некоего г-на Бошона, торговца шелками в Париже, на улице Кенкампуа, и живет с ним довольно хорошо.

Когда мои сестры оказались пристроены, я решила, что теперь вспомнят и обо мне и что я не замедлю выйти из монастыря. Мне было тогда шестнадцать с половиной лет. Сестрам дали порядочное приданое, я рассчитывала на такую же участь, и голова моя была полна самых радужных надежд, как вдруг меня вызвали в приемную монастыря. Там меня ждал отец Серафим, духовник моей матери; он был прежде и моим духовником, и это облегчило ему возможность без стеснения открыть цель своего прихода: она заключалась в том, чтобы убедить меня принять монашество. Я громко вскрикнула, услыхав это странное предложение, и твердо заявила, что не чувствую никакой склонности к духовному званию. «Тем хуже,— сказал отец Серафим,— ибо ваши родители совершенно разорились, выдав замуж ваших сестер, и оказались в таком стесненном положении, что вряд ли смогут уделить что-либо вам. Подумайте, мадемуазель: вам придется либо навсегда остаться здесь, либо уйти в какой-нибудь провинциальный монастырь, где вас примут за скромную плату и откуда вы сможете выйти только после смерти ваших родителей, а эта смерть может наступить еще не скоро...» Я стала горько сетовать и пролила море слез. Настоятельница была предупреждена; она ждала меня за дверью приемной. Я была в неописуемом смятении. Она спросила у меня: «Что с вами, дорогое дитя? (Она лучше меня знала, что со мной.) На вас лица нет! Я никогда еще не видала подобного отчаяния. На вас страшно смотреть! Уж не потеряли ли вы вашего батюшку или вашу матушку?» Бросившись в ее объятия, я чуть было не ответила: «Ах, если бы это было так!» — но сдержалась и только воскликнула: «Увы! У меня нет ни отца, ни матери, я несчастная девушка, которую они ненавидят и хотят похоронить здесь заживо». Она выждала, пока пройдет первый порыв отчаяния, и дала мне успокоиться. Затем я более вразумительно рассказала ей о том, что мне сообщили. Казалось, она пожалела меня; соболезнуя, она одобрила мое решение ни в коем случае не принимать звания, к которому у меня не было ни малейшей склонности, обещала просить за меня, увещевать, ходатайствовать. О сударь, вы даже представить себе не можете, как

коварны эти настоятельницы монастырей! Она и в самом деле написала несколько писем. Она показала мне ответные: ведь она отлично знала наперед, что ей напишут. Лишь много времени спустя я научилась сомневаться в ее чистосердечии. Между тем день, который был назначен мне для решения, наступил, и она явилась сообщить мне об этом с отлично разыгранной грустью. Сначала она стояла молча, потом уронила несколько слов сострадания, из которых я поняла все остальное. Разыгралась еще одна сцена отчаяния. Больше мне не придется описывать вам их: умение обуздывать свои чувства — великое искусство монахинь. Затем она сказала — и, право, мне кажется, она действительно плакала при этом: «Итак, вы покинете нас, дитя мое! Дорогое дитя, больше мы не увидимся с вами!..» Она прибавила еще несколько слов, но я не слушала ее. Я упала на стул и сидела неподвижно, молча, потом вскочила и прижалась к стене, потом бросилась к настоятельнице и, рыдая, излила скорбь на ее груди. «Вот что,— сказала она,— почему бы вам не сделать одной вещи? Выслушайте меня, но только не говорите никому, что этот совет дала вам я. Я рассчитываю на ваше безусловное молчание, ибо ни в коем случае не хочу, чтобы впоследствии кто-нибудь мог упрекнуть меня за это. Чего от вас хотят? Чтобы вы стали послушницей? Пусть так! Почему бы вам и не стать сю? К чему это вас обязывает? Ни к чему — только пробыть у нас еще два года. Неизвестно, кому суждено умереть, кому — жить. Два года — немалый срок: мало ли что может случиться за это время?» К этим коварным словам она присоединила столько ласк, выказала столько дружеского участия, столько лживой нежности, что я поддалась уговорам. «Знала я, что нынче было, но что грядущее сулило?»

Итак, она написала моему отцу; ее письмо было составлено превосходно — о, как нельзя лучше! Мое горе, мою скорбь, мои жалобы — ничего она не утаила, и, уверяю вас, тут и более проницательная девушка была бы введена в заблуждение. Однако в конце письма говорилось все же о моем согласии. И с какою быстротой все было готово! Назначение дня обряда, шитье монашеского платья, наступление часа церемонии — теперь мне кажется, что все эти события следовали одно за другим без всяких промежутков.

Забыла вам сказать, что я увиделась с отцом и матерью, что я сделала все возможное, чтобы тронуть их сердца, но они оказались непреклонны. Некий аббат Блен, доктор Сорбонны, подготовлял меня, а епископ Алепский совершил надо мной обряд. Обряд этот и сам по себе не принадлежит к числу веселых, а в

этот день он был особенно мрачен. Хотя стоявшие вокруг монахини старались меня поддержать, колени мои подгибались, и я двадцать раз готова была упасть на ступени алтаря. Я ничего не слышала, ничего не видела, была в каком-то оцепенении. Меня вели, и я шла. Меня спрашивали, и кто-то отвечал за меня. Наконец этот жестокий обряд окончился. Посторонние удалились, и я осталась посреди паствы, к которой меня только что приобщили. Товарки окружили меня. Они обнимали меня и говорили друг другу: «Посмотрите, посмотрите, сестрицы, как она хороша! Как это черное покрывало подчеркивает белизну ее кожи, как идет к ней эта повязка, как округляет щеки, как оттеняет лицо! Как красивы в этой одежде ее стан и руки!..» Я едва слушала их, я была безутешна. Все же, надо сознаться, я вспомнила их льстивые слова, когда осталась одна в своей келье. Я не смогла удержаться, чтобы не проверить их в маленьком зеркальце, и мне показалось, что в них была доля справедливости. К этому дню приурочены особые торжества; ради меня их сделали еще более пышными, но я обратила на них мало внимания. Однако окружающие притворились, будто не замечают моего равнодушия, да еще попытались и меня самое убедить в том, что я в восторге. Вечером после молитвы ко мне в келью явилась настоятельница. «Право, не знаю,— сказала она, посмотрев на меня,— почему вы питаете такое отвращение к этой одежде. Она к вам очень идет, и вы в ней прелестны. Сестра Сюзанна — премиленькая послушница, и за это ее будут любить еще больше. А ну, пройдитесь немного. Вы держитесь недостаточно прямо, не нужно так горбиться...» Она показала, как надо держать голову, ноги, руки, талию, плечи. Это был настоящий урок Марселя — урок монастырского изящества, ибо у каждого сословия есть свои нормы изящного. Затем она села и сказала: «Ну, а теперь поговорим серьезно. Вы выиграли два года. Ваши родители могут еще переменить решение, но, может быть, вы сами пожелаете остаться здесь, когда они захотят взять вас отсюда,— это не так уж невозможно».— «Сударыня, об этом нечего и думать».— «Вы долго были среди нас, но вы еще не знакомы с нашей жизнью. В ней, конечно, есть свои горести, но она не лишена и отрады...»

Вы, сударь, отлично представляете себе, что еще она могла наговорить мне о мире и монастыре. Об этом написано много, и везде одно и то же,— благодарение богу, мне давали читать целый ворох дребедени, где монахи восхваляют свое звание, которое они хорошо знают и ненавидят, понося мир, который они любят, но не знают.

Не стану подробно описывать вам мое послушничество Никто не смог бы выдержать его, если бы строго соблюдались все правила; в действительности же это наиболее приятный период монастырской жизни. Наставница послушниц — всегда самая снисходительная из всех сестер. Ее задача — скрыть от вас все тернии монашества: это школа самого тонкого и самого искусного обольщения. Она сгущает окружающий вас мрак, убаюкивает вас, усыпляет, вводит в заблуждение, завораживает, Наша наставница как-то особенно заботилась обо мне. Не думаю, чтобы нашлась хоть одна душа, молодая и неопытная, которая смогла бы противостоять этому зловещему искусству. И в миру есть бездны, но я не представляю себе, чтобы к ним вели столь отлогие склоны. Стоило мне чихнуть два раза кряду — и меня освобождали от церковной службы, работы, молитвы. Я ложилась раньше других, вставала позднее, устав не существовал для меня. Вообразите, сударь, в иные дни я даже мечтала о той минуте, когда посвящу себя богу. В миру не было такой скандальной истории, о которой бы нам здесь не рассказывали. Истинные факты искажались, сочинялись небылицы, а за ними следовали бесконечные хвалы и благодарения богу, ограждающему нас от этих оскорбительных происшествий.

Между тем час, приход которого я иногда торопила в своих мечтах, приближался. Теперь я начала задумываться; я почувствовала, что мое отвращение к монашеству проснулось вновь, что оно растет, и решила признаться в нем настоятельнице или наставнице послушниц. Эти женщины жестоко мстят за те неприятные минуты, какие мы им доставляем, ибо не надо думать, что им мила разыгрываемая ими роль лицемерок и те глупости, которые они вынуждены нам повторять. В конце концов это так им надоедает, становится таким скучным! И все же они идут на это, идут ради какой-нибудь тысячи экю, которая достается их монастырю. Вот та основная цель, ради которой они лгут всю жизнь и готовят простодушным девочкам муки отчаяния на сорок, на пятьдесят лет,— а быть может, и вечную гибель. Ибо нет сомнения, сударь, что из ста монахинь, которые умирают, не достигнув пятидесяти лет, ровно сто губят свою душу, а другие, оставшиеся в живых, тупеют, теряют рассудок или впадают в буйное помешательство, ожидая смерти.

Как-то раз одна из таких помешанных убежала из кельи, где ее держали под замком. Я увидела ее. Вот начало моего счастья или же несчастья — в зависимости от того, как вы, сударь, поступите со мной. Никогда я не видела ничего ужаснее! Она была растрепана и почти раздета; она волочила за собой желез-

ные цепи; глаза ее блуждали; она рвала на себе волосы, била себя кулаком в грудь, бегала, выла; она осыпала себя и других самыми страшными проклятиями; она пыталась выброситься из окна. Меня охватил ужас, я дрожала с головы до ног. В судьбе этой несчастной я увидела свою судьбу, и у меня в сердце внезапно созрело решение скорее умереть, тысячу раз умереть, нежели подвергнуть себя такой участи. Окружающие поняли, какое влияние могло оказать на меня это происшествие, и решили предотвратить его последствия. Мне наговорили об этой монахине множество лживых нелепостей, противоречивших одна другой: она будто бы уже была не в своем уме, когда ее приняли в этот монастырь. Однажды — она переживала тогда критический возраст — ее сильно напугали, и ей стали являться привидения; она вообразила, что имеет общение с ангелами; она начиталась зловредных книг, которые и помутили ей рассудок; она наслушалась проповедников чрезмерно строгой морали, которые так сильно напугали ее судом божьим, что ее потрясенный ум пришел в полное расстройство, и теперь ей чудятся дьяволы, ад и геенна огненная; все они, монахини, просто несчастны из-за нее: ведь это неслыханный случай — иметь в своем монастыре подобную личность; и не помню уж, что еще... Все это не оказало на меня никакого действия. Безумная монахиня то и дело приходила мне на память, и я вновь и вновь клялась себе не произносить никакого обета.

Но вот настал день, когда я должна была доказать, что умею держать данное себе слово. Как-то утром, после ранней обедни, настоятельница вошла ко мне в келью. Она держала письмо. Лицо ее выражало печаль и уныние, руки были бессильно опущены, словно тяжесть этого письма была чрезмерна для них. Она смотрела на меня; казалось, слезы готовы были брызнуть из ее глаз. Она молчала, я тоже. Она ждала, чтобы я заговорила первая. Я едва не сделала этого, но удержалась. Наконец она спросила, как я себя чувствую, не слишком ли затянулась сегодня служба, не кашляю ли я: вид мой показался ей не совсем здоровым. На все это я отвечала: «Нет, матушка». Она продолжала держать письмо в опущенной руке. Задавая мне эти вопросы, она положила его на колени и слегка прикрыла ладонью. Наконец, направив разговор на моих родителей и видя, что я так и не спрашиваю, что за листок у нее в руке, она сказала: «Вот письмо...»

При этих словах сердце мое забилось, губы задрожали, и я спросила прерывающимся голосом:

— От матушки?

— Вы угадали. Вот, прочтите...

Немного оправившись, я взяла письмо. Сначала я читала его довольно твердым голосом, но с каждой строчкой страх, негодование, гнев, досада, различные страсти сменялись в моей душе, и у меня менялся голос, менялось выражение лица, я делала нервные движения: то я едва держала этот листок кончиками пальцев, то хватала так, словно хотела разорвать, то с силой сжимала в руке, словно собираясь скомкать и отшвырнуть подальше от себя.

— Ну что же, дитя мое, что мы ответим на это?

— Сударыня, вы знаете сами.

— Да нет же, не знаю. Обстоятельства неблагоприятны: ваше семейство понесло убытки. Дела ваших сестер расстроены, и у той и у другой есть дети. Ваши родители исчерпали свои средства, выдав дочерей замуж, а теперь разоряются, чтобы поддержать их. Они не смогут прилично обеспечить вас: вы стали послушницей, что было связано с большими расходами. Этим шагом вы дали им пищу для определенных надежд. В миру распространился слух о вашем будущем пострижении. Впрочем, вы можете по-прежнему рассчитывать на мою помощь. Я никогда еще никого не вовлекала в монашество насильно: это — звание, к которому нас призывает бог, и очень опасно примешивать свой голос к его зову. Я не стану пытаться взывать к вашему сердцу, если ему ничего не говорит благодать господня. До сих пор мне никогда не приходилось упрекать себя в чужом несчастье; ужели я захочу начать с вас, дитя мое, когда вы так дороги мне? Я не забыла, что первый шаг вы предприняли именно после моих уговоров, и не допущу, чтобы этим злоупотребили, принудив вас к чему-либо помимо вашей воли. Итак, давайте подумаем, обсудим это вместе. Хотите вы стать монахиней?

— Нет, сударыня.

— Вы не чувствуете никакой склонности к духовному званию?

— Нет, сударыня.

— Вы не подчинитесь воле ваших родителей?

— Нет, сударыня.

— Кем же вы хотите быть?

— Кем угодно, только не монахиней. Я не хочу быть ею и не буду.

— Хорошо, вы не будете монахиней. Давайте обсудим ответ вашей матушке...

Мы обменялись кое-какими мыслями. Она написала и показала мне письмо, которым я осталась очень довольна. Между

тем ко мне поспешили направить монастырского духовника; ко мне прислали ученого богослова, того самого, который напутствовал меня перед тем, как я сделалась послушницей; меня поручили особому попечению наставницы; я увиделась с его преосвященством епископом Алепским; мне пришлось вести длинные споры с разными богомольными женщинами, которые вмешались в мое дело, хотя я совсем их не знала; у меня шли бесконечные беседы с монахами и священниками; приезжал отец, сестры присылали мне письма, последней явилась мать,— я выдержала все. Тем не менее день моего пострига был назначен. Чтобы получить мое согласие, было сделано решительно все; когда же убедились, что добиться его невозможно, решили обойтись и без него.

С этого момента я была заперта в келье; мне предписали молчание, разлучили меня со всем миром, предоставили самой себе, и я поняла, что решено было распорядиться мною помимо моей воли. Я отнюдь не собиралась сдаваться! Я была готова ко всему, и все ужасы, настоящие или мнимые, которые мне преподносили, не могли меня поколебать. Однако мое положение было достойно жалости. Я не знала, сколько времени может продлиться мое заточение, и еще меньше знала, что будет со мной, когда оно окончится. В этом состоянии неизвестности я приняла одно решение, о котором вы можете судить, как вам будет угодно, сударь. Я никого больше не видела — ни настоятельницы, ни наставницы и послушниц, ни товарок. Я попросила передать первой, будто бы согласна выполнить волю родителей; в действительности же я намеревалась положить конец этим преследованиям, предав дело огласке, и публично заявить протест против готовившегося надо мной насилия. Итак, я сказала, что они хозяева моей судьбы и могут располагать ею по своему усмотрению, что я стану монахиней, раз таково их требование. Весь монастырь возликовал; снова вернулись ласковые речи, а с ними лесть и соблазнительные обещания. Мое сердце вняло гласу божию. Я создана для состояния совершенства более, чем кто-либо. Это было неизбежно, этого ждали все; нельзя исполнять свои обязанности так примерно и с таким усердием, если они не являются истинным вашим призванием. Наставница послушниц никогда еще не видела ни у одной из своих учениц столь ярко выраженной склонности к монашеству, она была чрезвычайно удивлена моими странностями, но всегда говорила настоятельнице, что надо проявить твердость — и все пройдет, ибо у лучших монахинь бывают такие минуты: это внушение злого духа, который удваивает свои усилия, когда видит, что

добыча от него ускользает; что я избавилась от него и теперь меня ждут только розы, ибо обязанности монашеской жизни будут переноситься мною тем легче, чем сильнее я преувеличивала их трудность; что тяжесть ярма, которую я внезапно почувствовала, является милостью неба, которое воспользовалось этим средством, чтобы его облегчить... Мне казалось несколько странным, что одна и та же вещь исходит и от бога и от дьявола, смотря по тому, с какой стороны монахиням вздумается на нее посмотреть. В религии есть много таких несообразностей, и часто, утешая меня, одни говорили, что мои мысли являются наваждением дьявола, а другие — что они внушены мне богом. Одно и то же зло исходит либо от бога, который испытывает нас, либо от дьявола, который нас искушает.

Я вела себя с большой осторожностью и считала, что могу отвечать за себя. Я виделась с отцом — он холодно говорил со мной. Виделась с матерью — она поцеловала меня. Получила поздравительные письма от сестер и от многих других лиц. Мне стало известно, что напутственное слово произнесет некий г-н Сорнен, викарий церкви св. Роха, а г-н Тьерри, канцлер университета, примет мой обет. До кануна знаменательного дня все шло хорошо, за исключением одного обстоятельства: я узнала, что церемония будет совершена тайно, что пригласят очень немногих и двери церкви будут открыты только для родственников. Тогда, через привратницу, я пригласила всех своих друзей и подруг, живших по соседству; кроме того, мне разрешили написать кое-кому из знакомых. Вся эта толпа, которой никто не ожидал, не преминула явиться; пришлось впустить ее, и собрание оказалось именно таким, какое было мне нужно для осуществления моего замысла. Ах, сударь, какую ночь я провела накануне этого дня! Я вовсе не ложилась. Я сидела на кровати и призывала на помощь бога. Я поднимала руки к небу и молила его быть свидетелем совершаемого надо мной насилия. Я представляла себе свою роль у подножия алтаря, представляла себе девушку, громко протестующую против обряда, на который она как будто сама согласилась, скандал среди присутствующих, отчаяние монахинь, гнев родителей. «О боже, что со мной будет?..» Когда я произнесла мысленно эти слова, силы вдруг оставили меня, и я без сознания упала на подушку. Этот обморок сменился ознобом, у меня дрожали колени, зубы стучали. За ознобом последовал страшный жар, в голове у меня помутилось. Не помню, как я разделась, как вышла из кельи, но меня нашли в одной сорочке распростертой на полу у дверей настоятельницы, без движения и почти без признаков жизни. Все это

я узнала впоследствии. Утром я очнулась в своей келье. Вокруг моей кровати стояли настоятельница, наставница послушниц и так называемые сестры помощницы. Я была совершенно без сил. Мне задали несколько вопросов, поняли по моим ответам, что я не имею никакого представления о том, что произошло, и ничего мне не сказали. Меня спросили, как я себя чувствую, тверда ли я в своем святом решении и ощущаю ли в себе силы перенести волнения этого дня. Я ответила утвердительно, и против всеобщего ожидания обряд не был отменен.

Все было подготовлено еще накануне. Зазвонили колокола, возвещая всему миру, что сейчас появится еще одна несчастная. У меня снова забилось сердце. Пришли одевать меня. Этот день — день облачения. Сейчас, когда я вспоминаю всю эту церемонию, мне кажется, что в ней могло быть нечто торжественное и очень трогательное, если бы речь шла о молоденькой и неопытной девушке, не увлекаемой никакими иными склонностями. Меня привели в церковь, отслужили обедню. Добрый викарий, предполагавший во мне смирение, которым я отнюдь не обладала, сказал мне длинную напутственную речь, где не было ни одного слова, которое бы не шло вразрез с истиной. Как нелепо было все, что он говорил о моем счастии, о благодати, о моем мужестве, рвении, усердии и всех тех добрых чувствах, которыми он меня наделял. Противоречие между его похвалами и тем поступком, который я собиралась совершить, смутило меня, и я начала колебаться; но это колебание длилось недолго. Я лишь острее ощутила, что во мне нет тех качеств, какие требовались, чтобы сделаться хорошей монахиней. Наконец страшная минута наступила. Когда надо было стать на то место, где я должна была произнести обет, у меня подкосились ноги. Две товарки взяли меня под руки, голова моя упала на плечо одной из них, я еле передвигала ноги. Не знаю, что происходило в душе присутствующих, но перед ними была юная умирающая жертва, которую влекли к алтарю; со всех сторон до меня доносились вздохи и рыдания, но среди них не было слышно вздохов и рыданий моих родителей,— я твердо уверена в этом. Все встали, некоторые из молодых девушек взобрались на стулья и держались за перекладины решетки. Наступило глубокое молчание, и священник, возглавлявший мое пострижение, сказал:

— Мария-Сюзанна Симонен, обещаете ли вы говорить правду?

— Обещаю.

— По доброй ли воле и желанию находитесь вы здесь?

Я ответила: «Нет»,— но сопровождавшие меня монахини ответили за меня: «Да».

— Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

С секунду я колебалась; священник ждал, и я ответила:

— Нет, сударь.

Он повторил:

— Мария-Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет целомудрия, бедности и послушания?

Я ответила более твердым голосом:

— Нет, сударь, нет.

Он остановился и сказал:

— Придите в себя, дитя мое, и слушайте меня внимательно.

— Отец мой,— сказала я ему,— вы спрашиваете, даю ли я богу обет целомудрия, бедности и послушания. Я хорошо расслышала вас и отвечаю: «Нет».

Затем, повернувшись к присутствовавшим, среди которых раздался довольно громкий шепот, я знаками показала, что хочу говорить. Шепот прекратился, и я сказала:

— Господа, и в особенности вы, батюшка и матушка, беру вас всех в свидетели...

При этих словах одна из сестер задернула решетку занавесом, и я увидела, что продолжать бесполезно. Монахини окружили меня, осыпая упреками. Я слушала их, не говоря ни слова. Меня отвели в келью и заперли там на ключ.

Здесь, в одиночестве, отдавшись своим мыслям, я начала успокаиваться душой. Я еще раз обдумала свой поступок и ничуть не раскаялась в нем. Я решила, что после той огласки, которой я добилась, меня не смогут надолго оставить здесь и, пожалуй, не посмеют отдать в другой монастырь. Я не знала, что меня ожидает, но, по моему убеждению, ничто не могло быть хуже необходимости стать монахиней помимо воли. Довольно долгое время со мной никто не разговаривал. Женщины, приносившие мне еду, ставили ее на пол и молча уходили. Месяц спустя мне принесли мирскую одежду, и я сняла с себя монастырскую. Явилась настоятельница и велела мне следовать за ней. Я дошла с ней до монастырских ворот. Здесь я села в экипаж, где меня ожидала моя мать. Она была одна. Я села на переднее сиденье, и карета тронулась. Некоторое время мы сидели друг против друга, не произнося ни слова. Глаза мои были опущены, и я не смела взглянуть на нее. Не знаю сама, что происходило в моей душе, но вдруг я бросилась к ногам матушки. Я не говорила ни слова, только рыдала и задыха-

лась. Она сурово оттолкнула меня. Я не поднялась с колен, у меня пошла носом кровь. Несмотря на сопротивление, я схватила ее руку; орошая ее слезами и лившейся кровью, прижимаясь к ней губами, я целовала ее и говорила: «И все-таки вы моя мать, все-таки я ваша дочь...» Она ответила (оттолкнув меня еще суровее и вырвав руку): «Встаньте, несчастная, встаньте». Я повиновалась, села на свое место и спустила чепец на лицо: в звуке ее голоса было столько властности и твердости, что мне захотелось укрыться от ее взгляда. Слезы и кровь, которая текла у меня из носа, смешались вместе, струились по рукам, и, сама того не замечая, я была вся залита ими. Из нескольких произнесенных матерью слов я поняла, что запачкала ей белье и платье и что она сердится на это. Мы приехали домой, и меня тотчас же отвели в заранее приготовленную маленькую комнатку. На лестнице я снова бросилась к ногам матери, схватила ее за платье, но она только обернулась в мою сторону — это было все, чего я добилась,— и взглянула на меня, причем поворот ее головы, губы, глаза выразили такое негодование, которое я не в силах передать вам, но которое вы можете себе представить.

Я вошла в свою новую тюрьму, где пробыла полгода, ежедневно умоляя, как о милости, разрешить мне поговорить с матерью, увидеться с отцом или написать им. Мне приносили пищу, убирали комнату. По праздникам служанка сопровождала меня к обедне, а потом снова запирала. Я читала, вышивала, плакала, иногда пела, и так проходили дни. Одно лишь тайное чувство поддерживало меня — чувство, что я свободна и что моя судьба, как тяжела она ни была, еще может перемениться. Однако было решено, что я стану монахиней, и я стала ею.

Такая бесчеловечность, такое упорство со стороны родителей окончательно подтвердили мои подозрения относительно обстоятельств моего рождения: я никогда не могла найти иных причин, чтобы оправдать их. Очевидно, мать боялась, как бы в один прекрасный день я не заговорила о разделе имущества и не потребовала своей доли наследства, как бы внебрачная дочь не оказалась на одной доске с законными дочерьми. Однако тому, что было всего лишь догадкой, вскоре предстояло превратиться в уверенность.

Находясь под домашним арестом, я плохо выполняла церковные обряды, но все же в канун больших праздников меня посылали на исповедь. Я уже рассказывала вам, что у меня и у матери был общий духовник. Я поговорила с ним, описала ему всю суровость, с какой обращались со мной в течение последних трех лет. Он знал об этом. С особенной горечью и обидой жало-

валась я ему на мать. Этот священник поздно принял духовный сан и еще не утратил человеколюбия. Он спокойно выслушал меня и сказал:

— Дитя мое, не порицайте свою мать, а лучше пожалейте. У нее добрая душа. Уверяю вас, она поступает так помимо воли.

— Помимо воли! Да кто же может ее принудить? Разве не она произвела меня на свет? И какая же разница между сестрами и мной?

— Большая.

— Большая! Я совершенно не понимаю вашего ответа.

Я начала было сравнивать себя с сестрами, но он прервал меня и сказал:

— Довольно, довольно. Ваши родители не страдают пороком бесчеловечности. Постарайтесь терпеливо переносить вашу участь, это поможет вам снискать хотя бы милость господню. Я увижусь с вашей матушкой и, уверяю вас, употреблю все свое влияние на нее, чтобы помочь вам...

Этот ответ «большая» явился для меня лучом света. Теперь я более не сомневалась в том, что догадки по поводу моего рождения были справедливы.

В ближайшую субботу, к концу дня, около половины шестого вечера, приставленная ко мне служанка поднялась ко мне и сказала: «Матушка приказывает вам одеться...» Через час: «Матушка велит вам ехать со мной». У подъезда я увидела экипаж, в который мы и сели — служанка и я. Я узнала, что мы едем в Фельянский монастырь, к отцу Серафиму. Он нас ждал. Он был один. Служанка удалилась, и я вошла в приемную. Я села, с тревогой и любопытством ожидая его слов. Вот что он мне сообщил:

— Мадемуазель, сейчас вы узнаете разгадку сурового обращения с вами ваших родителей. Я получил на это разрешение от вашей матушки. Вы рассудительны, у вас есть ум, твердость, вы сейчас уже в таком возрасте, когда вам можно было бы доверить тайну даже и в том случае, если бы она не имела к вам прямого отношения. Я давно уже уговаривал вашу матушку открыть вам то, что вы узнаете сегодня, но она никак не могла решиться на это: трудно матери признаться в тяжком грехе своему ребенку. Вам известен ее характер — ей нелегко примириться с унизительностью некоторых признаний. Она полагала, что ей и без того удастся осуществить свои намерения касательно вас, но она ошиблась и расстроена этим. Сейчас она решила последовать моему совету и поручила мне сообщить вам, что вы не дочь господина Симонена.

— Я это подозревала,— ответила я быстро.

— Теперь, мадемуазель, подумайте, взвесьте, судите сами, может ли ваша матушка без согласия — или даже с согласия — вашего отца приравнять вас к другим дочерям, в то время как вы вовсе не сестра им; может ли она признаться вашему отцу в проступке, относительно которого у него и без того уже немало подозрений?

— Но кто же мой отец?

— Этого мне не открыли, мадемуазель. Ясно одно — что вашим сестрам даны огромные преимущества перед вами, что приняты все возможные меры предосторожности: брачные контракты, изменение состава имущества, добавочные условия, фидеикомисы и другие средства, чтобы свести к нулю причитающуюся вам по закону часть на тот случай, если бы когда-нибудь вы обратились в суд, желая ее получить. Если вы лишитесь родителей, вам достанется очень мало. Вы отказываетесь от монастыря. Быть может, настанет день, когда вы пожалеете, что не находитесь там.

— Этого никогда не будет, сударь; я ничего не требую.

— Вы не знаете, что такое лишения, труд, нищета.

— Зато я знаю цену свободы и гнет монашеского звания, когда к нему нет влечения.

— Я сказал вам все, что должен был сказать. Теперь, мадемуазель, вам надлежит самой хорошенько обдумать это...

Он встал.

— Еще один вопрос, сударь.

— Сколько вам будет угодно.

— Знают ли сестры то, о чем вы мне сообщили?

— Нет, мадемуазель.

— Как же они могли решиться ограбить сестру? Ведь они-то считают меня своей сестрой?

— Ах, мадемуазель, деньги, деньги! Ведь без денег им бы не сделать таких выгодных партий! Каждый думает о себе в этом мире, и я не советую вам рассчитывать на них в случае смерти родителей. Не сомневайтесь, они будут до последнего гроша оспаривать у вас и ту жалкую долю, которую вам придется делить с ними. У них много детей; этого предлога будет вполне достаточно, чтобы довести вас до полной нищеты. К тому же сейчас они бессильны, все дела в руках их мужей. Если бы у ваших сестер и было некоторое чувство сострадания, то помощь, оказанная вам помимо мужей, превратилась бы в источник семейных раздоров. Я знаю немало подобных случаев — случаев, когда покинутым детям, а иногда даже и законным,

помогают в ущерб домашнему миру. И, право, мадемуазель, хлеб, полученный таким путем, очень горек. Поверьте же мне — помиритесь с родителями и сделайте то, чего, очевидно, ждет от вас матушка: примите монашество. Вам будет выделена небольшая пенсия, которой вам хватит если не на вполне обеспеченное, то, во всяком случае, на сносное существование. К тому же не скрою от вас, что явное невнимание к вам со стороны вашей матери, ее упорное желание снова запереть вас в монастырь и еще кой-какие обстоятельства — не припомню сейчас, какие именно, в свое время они были мне известны — произвели на вашего отца точно такое же впечатление, как и на вас: если прежде у него были сомнения относительно вашего рождения, то сейчас у него их нет, и, даже не будучи посвященным в тайну, он не сомневается в том, что вы являетесь его дочерью лишь постольку, поскольку закон считает вашим отцом лицо, являющееся законным супругом вашей матери. Вы добры и благоразумны, мадемуазель. Обдумайте же то, что вы только что узнали.

Я встала и залилась слезами. Видимо, и сам отец Серафим был растроган. Он кротко возвел глаза к небу и затем проводил меня. Я подозвала приехавшую со мной служанку, мы снова сели в экипаж и вернулись домой.

Был уже поздний час. Ночью я думала о том, что мне открыли, думала об этом и весь следующий день. Итак, у меня не было отца. Упреки совести отняли у меня и мать. Были приняты все предосторожности, чтобы я не могла претендовать на права законнорожденной; мне предстоял домашний плен, весьма и весьма суровый; никакой надежды, никакого выхода. Быть может, если бы со мной объяснились раньше, сразу же после замужества сестер, и оставили меня дома, где продолжали бывать знакомые, нашелся бы человек, которому мой характер, ум, внешность, мои способности показались бы достаточным приданым. Такая возможность не была упущена и сейчас, но моя выходка в монастыре сильно осложняла дело: трудно представить себе, чтобы девушка семнадцати — восемнадцати лет могла пойти на такую крайность без исключительной силы воли. Мужчины очень хвалят это качество, но, как мне кажется, охотно мирятся с отсутствием его у тех, на ком они предполагают жениться. И все же надо было испробовать этот выход, прежде чем искать другой. Я решилась откровенно поговорить с матерью и попросила у нее свидания, на которое и получила согласие.

Это было зимой. Мать сидела в кресле перед камином. Лицо ее было сурово, взгляд неподвижен, она словно окаменела. Я по-

дошла к ней, бросилась к ее ногам и попросила простить мне все мои вины.

— Я прощу вас, если увижу, что вы заслуживаете прощения,— ответила она.— Встаньте. Мужа нет дома, и вам вполне хватит времени, чтобы высказаться. Вы видели отца Серафима и знаете наконец, кто вы и чего можете от меня ждать. Надеюсь, что вы не собираетесь всю жизнь карать меня за мой проступок, который я и так уж достаточно искупила. Итак, мадемуазель, чего вы хотите от меня? Что вы решили?

— Матушка,— ответила я,— я знаю, что у меня ничего нет и что я не должна ни на что претендовать. Я вовсе не хочу увеличивать ваши мучения, какого бы рода они ни были. Быть может, вы нашли бы меня более покорной вашей воле, если бы раньше познакомили меня с некоторыми обстоятельствами, о которых мне трудно было догадаться, но теперь я знаю их, знаю, кто я, и мне остается лишь вести себя в соответствии с моим положением. Меня больше не удивляет разница в вашем отношении ко мне и к моим сестрам. Я признаю, что это справедливо, и подчиняюсь, но ведь все-таки я ваша дочь, вы носили меня в своем чреве и, надеюсь, никогда не забудете об этом.

— Пусть бог меня накажет,— с живостью воскликнула она,— если я не признавала вас своей дочерью, насколько это было в моей власти!

— Верните же мне свое расположение, матушка,— сказала я ей,— позвольте мне снова быть с вами, верните мне любовь того, кто считает себя моим отцом.

— Еще немного,— ответила она,— и он приобретет такую же уверенность относительно вашего рождения, как вы и я. Когда он осыпает вас упреками в моем присутствии — а это случается беспрестанно,— эти упреки, эта суровость по отношению к вам направлены против меня. Не ждите же от него нежных отцовских чувств... И кроме того,— сказать ли вам всю правду? — вы напоминаете мне такую гнусную измену, такую неблагодарность со стороны другого человека, что мысль об этом для меня невыносима. Он все время стоит между вами и мною, он ненавистен мне, и эта ненависть распространяется на вас.

— Как? — вскричала я.— Неужели я не могу надеяться, что вы и господин Симонен будете обращаться со мной хотя бы как с чужой, посторонней девушкой, которую вы приютили из милосердия?

— Мы оба не способны на это. Дочь моя, перестаньте отравлять мне жизнь. Не будь у вас сестер, я знала бы, как посту-

пить, но у вас их две, и у обеих большие семьи. Поддерживавшая меня страсть давно угасла, и совесть вновь вступила в свои права.

— Однако тот, кому я обязана жизнью...

— Его нет больше. Он умер, не вспомнив о вас, и это еще наименьшее из его злодеяний...

Тут лицо ее исказилось, глаза засверкали негодованием, она хотела продолжать, но не могла произнести ни слова — так дрожали ее губы. Не вставая со стула, она закрыла лицо руками, чтобы скрыть от меня клокотавшие в ней чувства. Несколько минут она сидела в такой позе, потом встала и молча зашагала по комнате. Наконец, с трудом удерживаясь от слез, сказала:

— Он — чудовище! Если вы не задохнулись в моем чреве от тех мук, которые он причинил мне, тут нет его заслуги; но бог сохранил нас обеих, чтобы дочь искупила грех матери. Дитя мое, у вас нет ничего и никогда не будет. То немногое, что я могу для вас сделать, я делаю тайком от ваших сестер. Таковы последствия слабости. Однако я надеюсь, что мне не в чем будет себя упрекнуть, когда я буду умирать. С помощью строгой экономии я скоплю для вас вклад в монастырь. Я нисколько не злоупотребляю снисходительностью мужа, а просто изо дня в день откладываю, что могу, из щедрых подарков, которые он мне делает время от времени. Я продала свои драгоценности, и он разрешил мне располагать вырученной суммой по моему усмотрению. Я любила играть в карты — и не играю больше. Я любила театр — и лишила себя этого развлечения. Я любила общество — и живу затворницей. Я любила роскошь — и отказалась от нее. Если вы примете монашество, как того желаем мы с господином Симоненом,— ваш вклад будет плодом моих каждодневных лишений.

— Но, матушка, ведь у вас в доме еще бывают состоятельные люди. Быть может, найдется человек, которому я понравлюсь настолько, что он даже не потребует сбережений, предназначенных вами для моего устройства.

— Теперь об этом нечего и думать, ваша выходка вас погубила.

— Неужели беда непоправима?

— Непоправима.

— Но если я и не найду супруга, неужели так необходимо, чтобы я заперлась в монастыре?

— Необходимо, если только вы не захотите продлить мои муки и угрызения совести до той минуты, когда я закрою глаза

навек,— а она неотвратима. В этот страшный миг ваши сестры будут у моей постели. Судите сами, смогу ли я видеть вас рядом с ними! Поймите, как мучительно будет для меня ваше присутствие в эти последние мгновенья! Дочь моя,— ибо вы все же моя дочь, хотя и помимо моей воли,— ваши сестры законным путем получили имя, которое вам дано моим преступлением; не огорчайте же свою мать, она ведь скоро угаснет. Дайте ей спокойно сойти в могилу, и тогда, готовясь предстать перед великим судией, она сможет сказать себе, что загладила свою вину, насколько это было в ее силах, сможет надеяться, что вы не внесете раздоров в дом после ее смерти и не будете отстаивать права, которых не имеете.

— Матушка,— сказала я,— будьте спокойны на этот счет. Пригласите стряпчего. Пусть он составит акт об отказе от наследства, и я подпишу все, что вам будет угодно.

— Это невозможно: дети не могут сами лишать себя наследства. Такое наказание может исходить лишь от родителей, имеющих веское основание для своего гнева. Если бы богу угодно было призвать меня к себе завтра, мне пришлось бы завтра же пойти на эту крайнюю меру и открыться мужу, чтобы действовать сообща с ним. Не вынуждайте меня на эту откровенность: он возненавидит меня за нее, а вам она не принесет ничего, кроме позора. Если вы переживете меня, то останетесь без имени, без средств, без положения. Несчастная! Скажите мне, что с вами будет? Какие мысли должна я унести с собой в могилу? Итак, мне придется сказать мужу... сказать, что... что вы не его дитя... О дочь моя, если бы довольно было броситься к вашим ногам, чтобы добиться от вас... но нет, вы бесчувственны, у вас каменное сердце — сердце вашего отца.

В эту минуту появился г-н Симонен. Он увидел волнение своей жены; он любил ее; он был вспыльчив. Он остановился на пороге и, бросив на меня грозный взгляд, сказал мне:

— Уйдите!

Будь он моим отцом, я бы не послушалась его, но он им не был.

Обращаясь к слуге, который держал свечу, г-н Симонен добавил:

— Скажите ей, чтобы она больше не появлялась здесь.

Снова я оказалась запертой в моей маленькой темнице. Я начала обдумывать то, что мне сказала мать. Упав на колени, я просила бога вразумить меня. Долго молилась я, приникнув лицом к полу. Обыкновенно мы вопрошаем небо лишь в тех случаях, когда не знаем сами, на что решиться, и редко быва-

ет, чтобы голос свыше не посоветовал нам уступить. Именно такое решение и было принято мною. «Они хотят, чтобы я стала монахиней. Быть может, такова и божья воля. Хорошо, я стану монахиней! Если непременно нужно, чтобы я была несчастна, то не все ли равно, где это будет?..» Я попросила служанку сообщить мне, когда отца не будет дома. На следующий же день я стала просить мать дать мне возможность переговорить с нею. Она велела передать мне, что обещала г-ну Симонену не делать этого, но что я могу написать ей, и прислала мне карандаш. Итак, я написала на клочке бумаги (впоследствии этот роковой листок был найден и использован против меня как нельзя лучше): «Матушка! Я очень сожалею, что причинила вам столько огорчений. Простите меня за них, я намерена положить им конец. Распоряжайтесь мною, как вам будет угодно. Если ваша воля — видеть меня монахиней, то да будет это и божьей волей...»

Служанка взяла это послание и отнесла матери. Минуту спустя она вернулась и с восторгом вскричала:

— Ах, мадемуазель, зачем же вы тянули так долго, когда одного вашего слова довольно было, чтобы осчастливить ваших родителей и вас самих. У вашего батюшки, у вашей матушки такие лица, каких я ни разу не видала у них, с тех пор как живу в доме. Они постоянно ссорились из-за вас. Благодарение богу, больше мне этого не придется видеть...

Я слушала ее, а сама думала о том, что только что подписала свой смертный приговор. И это предчувствие оправдается, если вы, сударь, не поможете мне.

Несколько дней прошло без всяких новостей. Но вот как-то утром, часов около девяти, дверь с шумом распахнулась, и вошел г-н Симонен в халате и ночном колпаке. С тех пор как я узнала, что он мне не отец, его присутствие внушало мне только страх. Я встала и присела перед ним. Мне казалось, что у меня два сердца. О матери я не могла думать без сострадания и без слез. Не то было по отношению к г-ну Симонену. Несомненно, что отец внушает нам такое чувство, какого не испытываешь ни к кому в мире. Его не сознаешь, пока не окажешься, подобно мне, лицом к лицу с человеком, который долго носил и только что утратил это священное имя. Другим никогда не понять этого чувства. Если бы в ту минуту вместо г-на Симонена передо мной была моя мать, мне кажется, я была бы совершенно иной.

— Сюзанна,— обратился он ко мне,— узнаете вы эту записку?

— Да, сударь.

— По доброй ли воле вы написали ее?

— Мне приходится ответить: да.

— И вы намерены выполнить то, что в ней написано?

— Да, намерена.

— Вы предпочитаете какой-нибудь определенный монастырь?

— Нет, все монастыри для меня одинаковы.

— Хорошо.

Вот что я ответила; но, к несчастью, мои слова не были записаны. В течение двух недель я оставалась в полном неведении относительно того, что творилось вокруг меня. Кажется, за это время родители обращались в разные монастыри, но вследствие огласки, которую получил мой поступок в первом монастыре, меня нигде не хотели принимать.

В Лоншане оказались менее требовательны: должно быть, туда дошел слух о том, что я хорошая музыкантша и что у меня есть голос. Родители сильно преувеличили передо мной затруднения, которые им пришлось преодолеть, и милость, которую оказал мне этот монастырь, принимая меня. Они даже заставили меня написать настоятельнице. Я не предвидела тогда последствий этой письменной улики. По-видимому, они потребовали ее от меня, опасаясь, как бы в будущем я не пожелала расторгнуть мой обет, и хотели иметь документ, где бы моей собственной рукой было засвидетельствовано, что я даю его добровольно. Не будь этой причины, каким образом письмо, адресованное настоятельнице, могло впоследствии попасть в руки моих зятьев? Но лучше поскорее закрыть глаза на это, иначе г-н Симонен предстанет предо мной таким, каким я не хочу его видеть: его уже нет в живых.

Меня отвезли в Лоншан. Мать проводила меня туда. Я не стала просить позволения проститься с г-ном Симоненом; сказать правду, я вспомнила о нем только дорогой. В монастыре меня ждали. Сюда уже дошел слух и о моей истории, и о моих талантах. Никто ничего не сказал мне о первой, зато все поторопились убедиться, стоило ли приобретение тех трудов, какие были на него затрачены. После длинной беседы о безразличных вещах,— ибо, разумеется, после того, что со мной произошло, мне не стали говорить о боге, о призвании, об опасностях мирской жизни или о сладости жизни монастырской, передо мной не отважились произнести ни слова из того благочестивого вздо-

ра, каким обычно заполняются первые минуты,— итак, после длинной беседы о посторонних вещах настоятельница сказала мне: «Мадемуазель, вы играете, поете. У нас есть клавесин. Не хотите ли перейти в приемную?» На душе у меня было тяжело, но не время было выказывать свое нежелание. Мать прошла вперед, я последовала за ней; настоятельница с несколькими монахинями, привлеченными любопытством, замыкала шествие. Это было вечером; принесли свечи, я села за клавесин. Я долго наигрывала, перебирая в памяти множество музыкальных отрывков и не находя ничего подходящего. Между тем настоятельница торопила меня, и я запела, без всякого умысла, по привычке, одну арию, которая была хорошо мне знакома: «Печальные сборы, бледные факелы, день ужаснее ночи» и т. д. Не знаю, какое это произвело впечатление, но я пела недолго: меня прервали похвалами, и я была очень удивлена, что заслужила их так быстро и так легко. Мать поручила меня заботам настоятельницы, дала мне поцеловать руку и уехала.

И вот я в другом монастыре в качестве испытуемой, и притом проходящей испытание по доброй воле. Но вы, сударь, вы ведь знаете все, что произошло вплоть до настоящей минуты,— каково же ваше мнение обо всем этом? Большая часть этих фактов совсем не была упомянута, когда я хотела расторгнуть свой обет: одни — потому, что их нельзя было подкрепить доказательствами, другие — оттого, что они вызвали бы ко мне отвращение, не принеся при этом никакой пользы. Люди увидели бы во мне лишь жестокосердную дочь, которая, чтобы добиться свободы, бесчестит память своих родителей. Налицо были улики *против* меня, фактов же, говоривших *в мою пользу*, нельзя было ни привести, ни доказать. Я вовсе не хотела, чтобы у судей возникли подозрения относительно обстоятельств моего рождения. Некоторые лица, совершенно непричастные к закону, советовали мне привлечь к делу духовника моей матери, который был прежде и моим духовником. Этого нельзя было сделать, и даже будь это возможно, я бы этого не допустила. Кстати, чтобы не забыть сказать вам, сударь, и чтобы вы, руководясь желанием помочь мне, не упустили этого из виду: я думаю — если только вы не подадите мне лучшего совета,— что надо молчать о том, что я пою и играю на клавесине; одного этого было бы вполне достаточно, чтобы открыть мое местопребывание. Кичиться этими талантами — значит потерять

безвестность и безопасность, которых я ищу. Девушки, находящиеся в моем положении, не умеют играть и петь,— значит, и я не должна выставлять напоказ это умение. Если мне придется покинуть родину, вот тогда я сделаю это источником своего существования. Покинуть родину? Скажите, почему эта мысль так пугает меня? Потому, что я не знаю, куда ехать. Потому, что я молода и неопытна. Потому, что я боюсь нищеты, людей и порока. Потому, что я всегда жила взаперти и вне Парижа считала бы себя затерянной в мире. Быть может, все это и не так, но это то, что я чувствую. Сударь, я не знаю, куда ехать, не знаю, кем стать; это зависит от вас.

В Лоншане, как и в большинстве других монастырей, настоятельницы меняются через каждые три года. Когда меня привезли сюда, эту должность только что заняла некая г-жа де Мони. Я не могу передать вам, как она была добра, сударь, но именно ее доброта и погубила меня. Это была умная женщина, хорошо знавшая человеческое сердце. Она была снисходительна, хотя в том не было ни малейшей надобности: все мы были ее детьми. Она замечала лишь те проступки, которых ей никак нельзя было не заметить, или настолько серьезные, что закрыть на них глаза было невозможно. Я говорю беспристрастно, так как неукоснительно выполняла свои обязанности, и она отдала бы мне только должное, подтвердив, что я не совершила ни одного проступка, который заслуживал бы наказания или прощения. Если она оказывала кому-нибудь предпочтение, то оно было вполне заслуженным. Не знаю, удобно ли будет после этого сказать вам, что она нежно полюбила меня и что я заняла не последнее место среди ее фавориток. Я знаю, что это большая похвала мне, и похвала эта значит гораздо больше, чем вы можете себе представить, не будучи с ней знакомым. Фаворитками остальные монахини называют из зависти любимиц настоятельницы. У г-жи де Мони был, пожалуй, лишь один недостаток, который я могла бы поставить ей в упрек: дело в том, что любовь к добродетели, благочестию, искренности, к кротости, к дарованиям и к честности она проявляла совершенно открыто, хотя и знала, что те, кто не мог претендовать на эти качества, тем самым были унижены еще сильнее. Она обладала также способностью, которая, пожалуй, чаще встречается в монастырях, нежели в миру,— быстро узнавать человеческую душу. Редко случалось, чтобы монахиня, не понравившаяся ей с самого начала, понравилась бы ей когда-нибудь впоследствии. Меня она полюбила сразу, и я сейчас же почувствовала к ней полное доверие. Горе тем монахиням, к

которым она не была расположена. Они неминуемо оказывались злыми, ничтожными женщинами и сами сознавали это. Она первая заговорила о том, что произошло со мной в монастыре св. Марии. Я откровенно рассказала ей все, как говорю вам, поделилась всем, о чем только что написала вам: ни обстоятельства моего рождения, ни мои горести — ничто не было забыто. Она сочувствовала мне, утешала, внушала надежду на лучшее будущее.

Между тем срок моего испытания истек, пришло время стать послушницей — и я надела покрывало. Свое послушничество я отбывала без особого отвращения. Эти два года я описываю бегло, потому что в них не было для меня ничего печального, если не считать тайного чувства, говорившего мне, что шаг за шагом я приближаюсь к принятию звания, для которого вовсе не создана. Время от времени это чувство вспыхивало во мне с особенной силой, но я тотчас же прибегала к моей доброй настоятельнице, и она обнимала меня, просветляла мою душу, приводила разумные доводы, а под конец всегда говорила: «А разве другие звания лишены шипов? Ведь каждый ощущает только свои. Пойдемте, дитя мое, преклоним колена и помолимся...»

Тут она простиралась ниц и молилась вслух с таким умилением, с таким красноречием, кротостью, одушевлением и жаром, словно ее вдохновлял сам дух божий. Ее мысли, выражения, образы проникали вам в самое сердце. Сначала вы просто слушали ее, затем, постепенно увлекаясь, сливались с ней, душа замирала, и вы разделяли ее порыв. У нее вовсе не было намерения пленять вас, но, несомненно, происходило именно это; вы уходили от нее с пылающим сердцем, радостное восхищение отражалось на вашем лице, и что за сладостные слезы вы проливали! Такое же чувство испытывала и она сама; оно долго жило в ней, и вы сберегали его в своем сердце. Не я одна испытала это; это испытали все монахини. Некоторые говорили мне, что понемногу такое утешение сделалось для них величайшим наслаждением, что оно превратилось для них в потребность, и, пожалуй, мне недоставало лишь более длительной привычки, чтобы почувствовать то же, что они.

Однако с приближением дня пострига меня стала охватывать такая глубокая тоска, что моя добрая настоятельница не знала, что делать. Дар утешения покинул ее, она сама мне в этом призналась. «Не знаю, что со мной происходит,— сказала она.— Когда вы приходите, мне кажется, что бог удаляется от меня и глас его умолкает. Тщетно я воспламеняю

себя и ищу мыслей, тщетно стараюсь возбудить свою душу: я чувствую себя обыкновенной, ограниченной женщиной, я боюсь говорить...» — «Ах, матушка! — отвечала я ей.— Какое ужасное предзнаменование! Что, если это сам бог приказывает вам молчать?..»

Как-то раз, чувствуя себя более неуверенной и подавленной, чем когда бы то ни было, я вошла в ее келью. Сначала мое появление смутило ее: должно быть, в моих глазах, во всем моем существе она прочитала, что глубокое чувство, которое я носила в себе, было ей не по силам, и не хотела бороться, не будучи уверенной в победе. Тем не менее она начала убеждать меня и мало-помалу воспламенилась. По мере того как моя скорбь затихала, ее пыл возрастал; внезапно она упала на колени, я сделала то же. Мне показалось, что я готова разделить ее порыв, я этого хотела. Она произнесла несколько слов, потом вдруг умолкла. Напрасно я ждала: она ничего больше не сказала, встала и залилась слезами. Взяв меня за руку, она прижала меня к себе. «Милое дитя,— сказала она,— какое ужасное действие оказали вы на меня! Конечно, святой дух удалился, я чувствую это. Идите, и пусть бог говорит с вами сам: ему не угодно изъявить свою волю моими устами...»

И в самом деле, с ней произошло что-то непонятное. Внушила ли я ей неверие в ее силы, которое так и не рассеялось больше, вселила ли в ее душу робость или действительно прервала ее общение с небом,— но дар утешения так к ней и не вернулся. Накануне дня пострига я пошла повидаться с нею; она была так же печальна, как я. Я заплакала, она тоже. Я упала к ее ногам, она благословила меня, подняла, поцеловала и отослала со словами: «Я устала жить, мне хочется умереть. Я просила бога, чтобы он не дал мне увидеть этот день, но на то нет его воли. Идите, я поговорю с вашей матерью, я проведу ночь в молитве; помолитесь и вы, но потом ложитесь в постель, приказываю вам это».

— Позвольте мне помолиться вместе с вами,— попросила я.

— Вы можете пробыть со мной с девяти до одиннадцати часов, не дольше. Я стану на молитву в половине десятого, вы сделаете то же, но в одиннадцать часов вы оставите меня молиться одну, а сами пойдете отдыхать. Идите, милое дитя, я буду бодрствовать перед господом остаток ночи.

Она хотела молиться, но не могла. В то время как я спала, эта святая женщина прошла по коридорам и, стучась в каж-

дую дверь, стала будить монахинь, предлагая им бесшумно спуститься в церковь. Когда все монахини собрались там, она призвала их обратиться к небу с молитвой за меня. Сначала молились молча, потом настоятельница погасила свечи, и все вместе прочитали *«Miserere»* — все, кроме настоятельницы, которая распростерлась у подножия алтаря и, жестоко истязая себя, повторяла: «О господи! Если ты покинул меня за какую-нибудь совершенную мной вину, то даруй мне прощение. Я не прошу тебя вернуть отнятый у меня дар, но обратись сам к этой невинной, которая спит, в то время как я взываю здесь к тебе, моля о ней. Господи, наставь ее, наставь ее родителей и прости меня».

На следующий день рано утром она вошла в мою келью. Я не слышала ее шагов, я еще не проснулась. Сев на край моей постели, она осторожно положила руку мне на лоб и посмотрела на меня: беспокойство, смятение и скорбь сменялись на ее лице, и такою я увидела ее, открыв глаза. Она ничего не сказала мне о том, что произошло ночью, только спросила, рано ли я легла. Я ответила:

— Когда вы мне приказали.

— Спали ли вы?

— Крепко спала.

— Так я и думала... Как вы чувствуете себя?

— Прекрасно. А вы, матушка́?

— Увы! Я никогда не была спокойна перед постригом любой из послушниц, но ни за одну из них я не тревожилась так, как за вас. Как бы мне хотелось, чтобы вы были счастливы?

— Если вы всегда будете любить меня, то я буду счастлива.

— Ах, если бы все дело было только в этом! Вы ни о чем не думали ночью?

— Нет.

— Ничего не видели во сне?

— Нет.

— Что происходит сейчас в вашей душе?

— Я отупела. Я повинуюсь своей участи без отвращения и без охоты. Я чувствую, что необходимость увлекает меня, и отдаюсь течению. Ах, матушка, я вовсе не ощущаю той тихой радости, того трепета, той грусти, того сладостного смятения, какое иногда замечала у других в подобные минуты. Я ничего не понимаю, я не могу даже плакать. Этого хотят, так надо — вот единственная мысль, которая приходит мне в голову... Но вы молчите?..

— Я пришла не для того, чтобы разговаривать с вами, а для того, чтобы видеть и слышать вас. Я жду вашу матушку. Постарайтесь не волновать меня. Пусть чувства накопятся в моей душе. Когда она будет полна, я покину вас. Мне надо помолчать: я знаю свое сердце — это вулкан, который извергается только раз, но извергается с силой, и не на вас должна обрушиться его лава. Полежите еще немного, я буду смотреть на вас. Скажите мне несколько слов и дайте получить здесь то, за чем я пришла. Я уйду, и бог довершит остальное...

Я умолкла и, откинувшись на подушку, протянула ей руку. Она сжала ее в своей. Видимо, она размышляла, и размышляла глубоко. Она силилась держать глаза закрытыми, но время от времени открывала их, возводила к небу и снова переводила взгляд на меня. Она начала волноваться. В ее смятенной душе то бурлили, то утихали страсти. Поистине, эта женщина была рождена, чтобы стать прорицательницей: об этом говорили ее внешность и характер. Когда-то она была прекрасна, но годы, сделав дряблой и морщинистой ее кожу, лишь придали ее лицу еще больше достоинства. Глаза у нее были небольшие, но, казалось, они всегда смотрят либо в глубь ее души, либо, проникая сквозь окружающие предметы, различают где-то там, вдали, прошлое или будущее. Время от времени она с силой сжимала мне руку. Внезапно она спросила, который час.

— Скоро шесть.

— Прощайте, я ухожу. Сейчас придут облачать вас, я не хочу быть при этом, это отвлечет меня от моих мыслей. У меня сейчас одна забота — сохранить сдержанность в первые минуты.

Не успела она выйти, как вошли наставница послушниц и мои товарки. Они сняли с меня монашескую одежду и надели мирскую: вы, наверно, знаете этот обычай. Я не слышала, о чем говорили вокруг меня, я превратилась в автомат. Я не замечала ничего окружающего и только по временам судорожно вздрагивала. Мне говорили, что я должна делать, и я это делала, причем нередко приходилось по нескольку раз повторять мне одно и то же, ибо с первого раза я не понимала. Нельзя сказать, что я думала о другом,— нет, просто я была слишком поглощена тем, что творилось в моей душе. В голове я ощущала сильную тяжесть, словно от избытка размышлений. Тем временем настоятельница беседовала с моей матерью. Я так никогда и не узнала впоследствии, что произошло при этом свидании, длившемся очень долго. Мне только сказали,

что, уходя, моя мать была так взволнована, что не могла найти дверь, а настоятельница вышла, сжимая голову руками.

Но вот зазвонили в колокола, и я спустилась в церковь. Собрание было малочисленно. Не знаю, хорошо или плохо было напутственное слово, с которым ко мне обратились,— я не слыхала его. Со мной делали все, что хотели, в продолжение всего этого утра, совершенно выпавшего из моей жизни. Не знаю, сколько времени оно длилось, не знаю, что я делала, что говорила. Должно быть, мне задавали вопросы, и, должно быть, я отвечала; я произнесла обет, но ничего не помню об этом и сделалась монахиней так же бессознательно, как сделалась когда-то христианкой. Во всем обряде пострига я поняла не больше, чем в обряде крещения, и, по-моему, разница между ними единственно в том, что один дарует благодать, а другой только обещает ее. Правда, я не высказала протеста в Лоншане, как сделала это в монастыре св. Марии, но, скажите мне, сударь, разве вы считаете, что теперь я более связана, нежели тогда? Отдаю себя на ваш суд. Отдаю себя на суд божий. Я была в такой глубокой прострации, что, когда несколько дней спустя мне заявили, что я участвую в хоре, я не поняла, что это значит. Я спросила — правда ли, что я постриглась; попросила показать мне подпись, поставленную под данным мною обетом. Окружающие были вынуждены присоединить к этим доказательствам свидетельство всей общины и нескольких посторонних лиц, присутствовавших на церемонии. Я много раз обращалась к настоятельнице с вопросом: «Неужели это правда?» — и все время ждала, что она ответит мне: «Нет, дитя мое, вас обманывают...» Ее неоднократные подтверждения не убеждали меня, я не могла постичь, как это, проведя целый день, столь бурный, столь богатый необычайными и разнообразными событиями, я не помню ни одного из них, не помню лиц женщин, прислуживавших мне, лица священника, произносившего напутственное слово, лица человека, который принимал мой обет. С меня сняли монашескую одежду и надели мирскую — вот единственное, что я припоминаю. Начиная с этой минуты, я была буквально невменяема. Понадобилось несколько месяцев, чтобы я вышла из такого состояния, и именно длительности этого периода выздоровления, если его можно назвать так, я приписываю глубокое забвение всего происшедшего: так бывает с людьми, которые перенесли долгую болезнь; они как будто бы рассуждали вполне здраво, приобщились святых тайн, а выздоровев, не сохранили ни о чем ни малейшего воспоминания. Мне пришлось видеть в монастыре подобные примеры,

и я сказала самой себе: «Должно быть, именно это случилось со мной в день моего пострига». Однако остается узнать — исходят ли эти действия от человека и участвует ли он в них, хотя и кажется, что это так?

В том же году я понесла три значительные утраты: умер мой отец, или, вернее, тот, кто считался им,— он был немолод, много работал; умерла настоятельница, и затем умерла моя мать.

Достойная монахиня задолго почувствовала приближение смертного часа. Она наложила на себя обет молчания и приказала принести в свою спальню гроб; она утратила сон и проводила дни и ночи, размышляя и записывая свои мысли: после нее осталось пятнадцать «Размышлений», которые представляются мне образцом душевной красоты. У меня сохранился список. Если когда-нибудь вам захочется ознакомиться с мыслями, внушенными предсмертным часом, я перешлю их вам. Они озаглавлены: «Последние минуты сестры де Мони».

Перед смертью, лежа в постели, она велела одеть себя. Ее причастили и соборовали. В руках она держала распятие. Это было ночью, свет больших восковых свечей озарял мрачное зрелище. Мы со слезами окружили ее, келья огласилась рыданиями. Вдруг глаза умирающей засветились, и, внезапно приподнявшись, она заговорила. Голос ее звучал почти так же громко, как прежде, когда она была здорова. Утраченный дар вновь вернулся к ней. Она упрекнула нас за слезы, которые мы проливали, как бы завидуя ожидавшему ее вечному блаженству. «Дети мои,— сказала она,— ваша скорбь вводит вас в заблуждение. Вот там, там,— она указала на небо,— буду я служить вам. Глаза мои будут неустанно устремлены на эту обитель, я буду молиться за вас, и мои молитвы будут услышаны. Подойдите же все, чтобы я могла обнять вас, примите мое благословение и мой прощальный привет...» Вот последние слова, которые произнесла перед кончиной эта удивительная женщина, оставившая по себе бесконечную скорбь и сожаления.

Моя мать умерла в конце осени, вскоре после поездки к одной из дочерей. У нее было много горя, здоровье ее было сильно расшатано. Я так и не узнала от нее ни имени моего отца, ни истории моего рождения. Наш общий духовник передал мне по ее поручению небольшой сверток, зашитый в кусок полотна. В нем были пятьдесят луидоров и записка. Вот что я прочла в ней:

«Дитя мое, здесь очень немного, но совесть не позволяет мне располагать большей суммой; это остаток того, что мне удалось скопить благодаря скромным подаркам господина Симонена. Живите праведно, это вернее всего может дать вам счастье — даже и в этом мире. Молитесь за меня. Ваше рождение — это единственный большой грех, совершенный мною; помогите же мне искупить его, и пусть за те добрые дела, которые совершите вы, господь простит мне то, что я произвела вас на свет. Главное — не нарушайте покоя семьи, и хотя образ жизни, который вы ведете, принят вами не столь добровольно, как я этого желала, бойтесь изменить его. Зачем я сама не была заперта в монастыре всю мою жизнь! Мысль о том, что через минуту я должна буду предстать пред грозным судией, не так пугала бы меня. Дитя мое, помните, что участь вашей матери в мире ином во многом зависит от вашего поведения в этом мире: всевидящий бог в своем правосудии зачтет мне все добро и все зло, которые вы совершите. Прощайте, Сюзанна, не требуйте ничего от ваших сестер: они не в состоянии помочь вам. Ни на что не надейтесь со стороны отца; он опередил меня, его уже озарил великий свет, он меня ждет, и мое присутствие будет для него менее страшно, нежели встреча с ним — для меня. Еще раз прощайте. О, несчастная мать! О, несчастная дочь! Приехали ваши сестры, и я недовольна ими: они всё хватают, всё тащат; на глазах у умирающей матери они заводят ссоры из-за денег,— это меня удручает. Когда они подходят к моей постели, я отворачиваюсь: я не хочу видеть эти два создания, в которых бедность вытравила все естественные чувства. Они жаждут завладеть тем немногим, что я оставляю; они задают врачу и сиделке неприличные вопросы, показывающие, с каким нетерпением они ждут минуты, когда меня не будет и они станут хозяевами всего, что меня окружает. Не знаю, каким образом, но у них возникло подозрение, что у меня под матрацем спрятаны какие-то деньги. Они делали все возможное, чтобы заставить меня подняться, но, к счастью, сегодня пришел мой доверенный, и вот я вручаю ему этот сверток вместе с письмом, которое он пишет сейчас под мою диктовку. Сожгите письмо, и когда узнаете, что меня уже нет в живых,— а это будет скоро,— отслужите обедню за упокой моей души и повторите ваш обет: ибо я по-прежнему желаю, чтобы вы оставались монахиней. Мысль о том, что вы можете очутиться в миру, без помощи, без поддержки, такая молодая, окончательно нарушила бы покой моих последних минут».

Отец мой умер 5 января, настоятельница — в конце того же месяца, а мать — на следующее рождество.

Место матушки де Мони заступила сестра Христина. Ах, сударь, какая разница между ними! Я уже говорила вам, что за женщина была первая. Вторая была мелочна, ограниченна, суеверна. Она увлекалась новыми религиозными течениями, совещалась с сульпицианцами и иезуитами. Она возненавидела всех любимиц своей предшественницы, и монастырь сразу наполнился раздорами, враждою, злословием, доносами, клеветой и гонениями. Нас заставили заниматься вопросами богословия, в которых мы ровно ничего не смыслили, признавать религиозные формулы, участвовать в нелепых обрядах. Сестра де Мони никогда не одобряла способов покаяния, изнуряющих плоть. К себе она применила их лишь дважды в жизни: первый раз — накануне моего пострига и второй — при других, сходных обстоятельствах. Она говорила, что эти способы покаяния не исправляют от каких-либо недостатков, а лишь порождают гордыню. Она хотела, чтобы ее монахини чувствовали себя хорошо, чтобы у них было здоровое тело и ясный дух. Вступив в должность, она прежде всего отняла у сестер все власяницы и плети, запретив и впредь держать их у себя, а также запретила примешивать к пище золу и спать на голых досках. Сестра Христина, напротив, вернула каждой монахине ее власяницу и плеть и отняла у всех Ветхий и Новый завет. Фаворитки прежней королевы никогда не бывают в милости у ее преемницы. Я была безразлична, если не сказать больше, новой настоятельнице по той причине, что меня нежно любила ее предшественница, и я не замедлила ухудшить свою участь поступками, которые вы припишете либо безрассудству, либо стойкости, в зависимости от точки зрения, с какой вы посмотрите на них.

Во-первых, я открыто предалась скорби, которую вызвала во мне смерть сестры де Мони, при каждом удобном случае восхваляла ее и проводила сравнение между нею и новой настоятельницей — сравнение, которое всегда было не в пользу сестры Христины. Я рисовала картины жизни монастыря в прежние годы, напоминала о мире, каким мы тогда наслаждались, о снисходительности, какую нам выказывала сестра де Мони, о пище,— как духовной, так и телесной,— которую нам предоставляли, и восторгалась добродетелью, чувствами и характером прежней настоятельницы. Во-вторых, я сожгла свою власяницу и выбросила плеть, побуждая к тому же и своих товарок, причем некоторые из них последовали моему примеру. В-третьих, раздобыла себе Ветхий и Новый завет. В-четвертых, отвергла всякое сектантство, называя себя христианкой и отказываясь принять имя янсенистки или молинистки. В-пятых, строго

замкнулась в рамках монастырского устава, не отступая от него ни в ту, ни в другую сторону и, следовательно, не выполняя никаких дополнительных повинностей, ибо и обязательные казались мне чрезмерно трудными: я соглашалась сесть за орга́н только в праздник, пела только в хоре, не разрешала злоупотреблять моей услужливостью и музыкальными талантами и выставлять меня напоказ чуть ли не ежедневно. Я прочла и перечла монастырский устав, я выучила его наизусть. Если мне приказывали сделать что-нибудь такое, что было не совсем ясно выражено в уставе, или вовсе в нем отсутствовало, или же казалось мне противоречащим ему, я решительно отказывалась выполнить приказание. Я показывала книгу и говорила: «Вот обязательства, принятые мною. Никаких других я на себя не брала».

Мои речи увлекли кое-кого из товарок. Власть старших оказалась сильно ограниченной, они не могли больше распоряжаться нами, как рабынями. Не проходило почти ни одного дня без какой-нибудь бурной сцены. Во всех сомнительных случаях товарки советовались со мной, и всегда я вставала на защиту устава и против деспотизма. Вскоре я приобрела репутацию бунтовщицы, и, пожалуй, в какой-то степени я действительно играла эту роль. То и дело в монастырь приглашались старшие викарии архиепископа, и меня вызывали на суд, где я защищала себя и своих товарок, причем ни разу не случилось, чтобы меня признали виновной, ибо доводы разума всегда оказывались на моей стороне. Невозможно было обвинить меня и в нарушении моих обязанностей, так как я выполняла их самым тщательным образом. Что до небольших поблажек, которые всецело зависят от настоятельницы, то я никогда и не просила о них. Я никогда не появлялась в приемной; не имея никаких знакомств, я никогда не принимала гостей. Но я сожгла свою власяницу и выбросила плеть, я посоветовала и другим сделать то же, я не хотела слушать разговоров ни об янсенизме, ни о молинизме, независимо от того, хвалили эти теории или осуждали. Когда меня спрашивали, подчиняюсь ли я уставу, я говорила, что подчиняюсь церкви; на вопрос, признаю ли я папскую буллу, я отвечала, что признаю Евангелие. Как-то раз обыскали мою келью и нашли там Ветхий и Новый завет. Мне случалось вести неосторожные беседы по поводу подозрительной близости нескольких фавориток между собой. Настоятельница имела долгие и частые свидания с глазу на глаз с одним молодым священником, и я раскрыла и причину их и предлог. Словом, я делала все, чтобы вызвать к себе страх и ненависть, чтобы по-

губить себя, и в конце концов добилась своего. На меня больше не жаловались церковным властям, а просто решили сделать мою жизнь невыносимой. Остальным монахиням запретили общаться со мной, и вскоре я осталась одна. У меня было несколько подруг — очень немного. Настоятельница догадалась, что они постараются найти способ потихоньку нарушить запрет и, не имея возможности беседовать со мной днем, будут приходить ко мне ночью или в неурочное время. Нас выследили. Застали меня сначала с одной, потом с другой. Этот неосторожный поступок превратили бог знает во что, и я была наказана самым бесчеловечным образом: меня заставили в течение нескольких недель простаивать церковную службу на коленях, отдельно от всех, на клиросе; питаться хлебом и водой; сидеть взаперти в келье; выполнять самую грязную работу. С теми, кого сочли моими сообщницами, обошлись не лучше. Когда нельзя было найти за мной вину, ее выдумывали. Мне давали одновременно несколько несовместимых приказаний и наказывали за то, что я не выполнила их. Передвигали часы церковной службы, часы трапез, нарушали без моего ведома весь монастырский распорядок, в результате чего, несмотря на все мои старания, я каждый день оказывалась виноватой, и каждый день меня наказывали. У меня есть мужество, но какое мужество может устоять против немилости, одиночества, преследований? Дошло до того, что мои мучения превратились в игру, в забаву для пятидесяти объединившихся между собой женщин. Я не в состоянии передать во всех подробностях их злобные выходки. Мне мешали спать, бодрствовать, молиться. То у меня крали что-нибудь из моего платья, то у меня пропадал ключ или молитвенник, то не запиралась вдруг дверь. Мне мешали хорошо выполнить заданную работу, портили то, что уже было хорошо сделано мною. Мне приписывали слова, которых я не говорила, и поступки, которых я не совершала. На меня взваливали ответственность за все на свете, и моя жизнь превратилась в цепь истинных или вымышленных проступков и в цепь наказаний.

Мое здоровье не вынесло столь длительных и столь жестоких испытаний. Я впала в уныние, грусть и тоску. Вначале я еще пыталась порой искать душевную силу и покорность судьбе у подножия алтаря и, случалось, находила там и то и другое. Я металась между смирением и отчаянием, то подчиняясь всей суровости моей доли, то стремясь освободиться от нее с помощью какого-нибудь решительного средства. В монастырском саду был глубокий колодец. Сколько раз подходила я к нему!

Сколько раз заглядывала в него! Рядом стояла каменная скамья. Сколько раз сидела я на ней, опустив голову на край колодца! Сколько раз, охваченная смятением, я вскакивала, внезапно решив положить предел моим мукам! Что удерживало меня в то время? Почему я предпочитала тогда плакать, кричать, топтать ногами свое покрывало, рвать на себе волосы, царапать лицо ногтями? Если бог не дал мне погубить себя, то почему же он допустил все остальное?

То, что я скажу сейчас, может показаться вам очень странным, и все же это чистая правда: так вот, я нисколько не сомневалась, что мои частые прогулки к колодцу были замечены моими жестокими врагами, и они льстили себя надеждой, что когда-нибудь я выполню намерение, жившее в глубине моего наболевшего сердца. Когда я направлялась в сторону колодца, они намеренно отходили от него и смотрели в другую сторону. Много раз я находила садовую калитку открытой в часы, когда ей полагалось быть на запоре, и, как ни странно, это случалось именно в те дни, когда меня наказывали особенно тяжко. Свойственную моему характеру горячность они довели до предела и теперь считали, что я повредилась в уме. Однако, как только я догадалась, что этот способ уйти из жизни был, если можно так выразиться, услужливо подсказан моему отчаянию, что меня словно за руку ведут к этому колодцу, всегда готовому меня поглотить, я перестала о нем думать и начала искать другие пути. Стоя в коридоре, я измеряла высоту окон; вечером, раздеваясь, я бессознательно испытывала прочность моих подвязок; бывали дни, когда я отказывалась от пищи. Я спускалась в трапезную и сидела там, прислонясь спиной к стене, опустив руки, закрыв глаза и не притрагиваясь к подававшимся мне блюдам. Меня охватывало полное забытье, и я даже не замечала, как все монахини уходили и я оставалась одна.

Они нарочно удалялись совершенно бесшумно и оставляли меня там, а потом я бывала наказана за то, что пропустила молитву. Таким образом мне внушили отвращение ко всем почти способам самоубийства, так как мне казалось, что окружающие не только не противодействуют этому, но, напротив, всячески идут мне навстречу. Видимо, нам не хочется, чтобы нас выталкивали из этого мира, и, быть может, меня уже не было бы в нем, если б кто-нибудь делал вид, что хочет меня удержать. Возможно, что человек лишает себя жизни, желая привести в отчаяние своих близких, и что он сохраняет эту жизнь, когда видит, что смерть только обрадует их. Чувства, которые волнуют при этом нашу душу, неуловимы. В самом деле, насколько я

Монахиня

могу припомнить свое состояние там, у колодца, мне кажется, что мысленно я кричала презренным женщинам, которые уходили, чтобы помочь преступлению: «Сделайте один шаг в мою сторону, выкажите малейшее желание меня спасти, подбегите, чтобы меня удержать, и вы можете быть уверены, что явитесь слишком поздно!» Право, я жила только потому, что они хотели моей смерти. Яростное желание вредить, мучить может быть утолено в миру. В монастырях оно ненасытно.

Такова была моя жизнь, когда, перебирая в памяти прошлое, я пришла к мысли о том, чтобы расторгнуть обет. Сначала я думала об этом только вскользь. Одинокая, всеми покинутая, без поддержки, как могла я осуществить этот замысел, столь трудно исполнимый даже и с посторонней помощью? Тем не менее эта мысль несколько утешила меня. Я успокоилась и немного пришла в себя. Я избегала теперь лишних мучений и более терпеливо переносила те, которым подвергалась. Перемена эта была замечена и вызвала удивление. Злобные выходки немедленно прекратились: так останавливается преследующий вас трусливый враг, неожиданно оказавшись лицом к лицу с вами. Скажите, сударь, почему среди прочих пагубных мыслей, возникающих в уме доведенной до отчаяния монахини, ей никогда не придет в голову поджечь монастырь? Я ни разу не подумала об этом, и другие тоже, а ведь нет ничего легче: нужно только в ветреный день оставить зажженную свечу на чердаке, в дровяном сарае, в коридоре. В монастырях никогда не бывает пожаров, а ведь в этих случаях двери отворяют настежь, и — спасайся кто может!.. Не потому ли это, что мы боимся подвергнуть опасности себя и тех, кого любим, и не желаем прибегать к помощи, которая будет оказана нам наравне с теми, кого мы ненавидим? Впрочем, эта последняя мысль слишком утонченна, чтобы быть верной.

Когда мы находимся во власти какого-нибудь стремления, оно начинает казаться нам вполне разумным и даже осуществимым, а это придает необычайную силу. Я все обдумала в две недели,— мой ум работает быстро. С чего начать? Надо написать обстоятельную записку и отдать ее кому-нибудь на прочтение. И то и другое было небезопасно. С тех пор как во мне совершился переворот, за мной стали наблюдать еще внимательнее, чем прежде. С меня просто не спускали глаз; каждый мой шаг сейчас же становился известен, каждое слово взвешивалось. Со мной снова стали искать сближения, стараясь выпытать что-

либо: меня расспрашивали, проявляли напускное сострадание и дружеские чувства; заговаривали о моей прежней жизни, слегка журили и охотно извиняли; выражали надежду на лучшее поведение и сулили более приятное будущее, а между тем под разными предлогами входили днем и ночью в мою келью, внезапно и бесшумно приоткрывали полог кровати, а затем уходили. У меня появилась привычка спать одетой. У меня появилась и другая — писать свою исповедь. В один из установленных дней я пошла к настоятельнице и попросила у нее чернил и бумаги. Она не отказала мне в этом. Итак, я стала ждать дня исповеди, а пока что составляла то, что задумала. Это было краткое изложение тех самых событий, о которых я написала и вам, только с вымышленными именами. Но я совершила три оплошности: во-первых, сказала настоятельнице, что мне надо о многом написать, и под этим предлогом попросила у нее больше бумаги, чем полагалось обычно; во-вторых, занялась моей запиской и забросила исповедь и, в-третьих, не написав исповеди и не подготовившись к этому религиозному обряду, пробыла в исповедальне очень недолго. Все это было замечено и навело на мысль, что полученная мною бумага была использована не на то, на что я просила. Однако если она ушла не на исповедь,— а это было очевидно,— то какое же употребление сделала я из нее?

Не зная, что вызвала такую тревогу, я все же почувствовала, что не следует оставлять при себе столь важный документ. Сначала я хотела зашить его в подушку или в матрац, спрятать в своем платье, зарыть в саду, бросить в огонь. Вы не можете себе представить, как я спешила его написать и в каком оказалась затруднении, когда он был готов. Я запечатала его, спрятала на груди и пошла в церковь, когда уже раздавался колокольный звон. Охватившее меня беспокойство сквозило в каждом моем движении. Мое место было рядом с одной монахиней, которая относилась ко мне по-дружески. Мне не раз случалось ловить на себе ее взгляды, полные сострадания; она не говорила со мной, но было видно, что ей жаль меня. Несмотря на огромный риск, я решила доверить ей мои записки. Улучив момент, когда во время молитвы все монахини опускаются на колени и кладут земные поклоны, так что их совсем не видно за спинками скамеек, я незаметно вынула из-за лифа платья свою бумагу и протянула ей позади себя. Она взяла ее и спрятала на груди. Эта услуга была значительнее всех тех, какие она оказывала мне прежде, а их было немало: в течение многих месяцев она, стараясь не выдавать себя, устраняла все мелкие

препятствия, которые монахини ставили на моем пути, чтобы помешать мне выполнять мои обязанности и получить право наказать меня за это. Она стучала в дверь моей кельи, когда пора было выходить, исправляла то, что портили, шла вместо меня звонить или петь в хоре, когда это было нужно, оказывалась повсюду, где должна была находиться я. Все это делалось без моего ведома.

Хорошо, что я отдала записки. Когда мы сошли с клироса, настоятельница сказала: «Сестра Сюзанна, идите за мной...» Я пошла за ней. Остановившись в коридоре у одной из дверей, она сказала: «Вот ваша келья. Вашу прежнюю займет сестра Иеронима...» Я вошла, и она вместе со мной. Мы обе сидели молча, как вдруг появилась монахиня: она принесла одежду и положила ее на стул. «Сестра Сюзанна,— сказала мне настоятельница,— снимите ваше платье и наденьте это...» Я сделала это в ее присутствии, причем она следила за каждым моим движением. Сестра, принесшая мне платье, стояла за дверью. Она снова вошла, собрала ту одежду, которую я сняла, и вышла. Настоятельница последовала за ней. Мне не сказали, зачем все это было нужно, и я ни о чем не спрашивала. Между тем они обыскали каждый уголок моей кельи, распороли подушку и матрац, перетрогали все, что только можно было потрогать, побывали везде, где ступала моя нога: в исповедальне, в церкви, в саду, у колодца, у каменной скамьи. Я видела только часть этих поисков, об остальном я могла лишь догадаться. Они ничего не нашли, но это не ослабило их уверенности в том, что я что-то прячу. В течение нескольких дней они продолжали выслеживать меня,— ходили за мной по пятам, подсматривали,— но безрезультатно. Наконец настоятельница решила, что истину можно узнать только от меня самой. Однажды она вошла ко мне в келью и сказала:

— Сестра Сюзанна, у вас есть недостатки, но вы никогда не лжете. Скажите мне правду: на что вы употребили всю ту бумагу, которую я вам дала?

— Сударыня, я уже сказала вам.

— Этого не может быть, потому что вы попросили у меня много бумаги, а в исповедальне пробыли одну минуту.

— Это правда.

— Так на что же вы употребили ее?

— Я уже сказала вам это.

— Хорошо! Поклянитесь мне святым обетом послушания, который вы принесли богу, что это так, и я поверю вам, несмотря ни на что.

— Сударыня, вам не дозволено требовать клятву по такому маловажному поводу, а мне не дозволено давать ее. Я не стану клясться.

— Вы обманываете меня, сестра Сюзанна, и сами не знаете, к чему это может привести вас. На что вы употребили полученную от меня бумагу?

— Я уже сказала вам.

— Где она?

— У меня ее нет.

— Что вы с ней сделали?

— То, что обычно делают с такими записями, когда они больше не нужны,— выбросила их.

— Поклянитесь мне святым обетом послушания, что вы употребили всю бумагу на запись вашей исповеди и что у вас ее больше нет.

— Сударыня, повторяю вам: этот второй вопрос столь же маловажен, как первый, и я не стану клясться.

— Поклянитесь,— сказала она,— или...

— Я не стану клясться.

— Не станете?

— Нет, сударыня.

— Значит, вы виновны!

— В чем я могу быть виновной?

— Во всем. Вы способны на все. Вы нарочно восхваляли мою предшественницу, чтобы унизить меня. Вы не признавали обычаев, которые она упразднила, правил, которые она отменила, несмотря на то, что я сочла нужным восстановить их. Вы взбунтовали всю общину, вы нарушали устав, сеяли раздор в умах, не выполняли ни одной из своих обязанностей, вынуждали меня наказывать вас и наказывать тех, кого вы совратили,— а это для меня тяжелее всего. Я могла принять против вас самые суровые меры, но я щадила вас, думая, что вы признáете свою вину, поймете, чего от вас требует ваше положение, и покоритесь мне. Вы не сделали этого. В вашей душе происходит что-то недоброе. Вы что-то замышляете. В интересах монастыря я должна знать, что именно, и, ручаюсь вам, я узнаю это. Сестра Сюзанна, скажите мне правду.

— Я уже сказала вам.

— Сейчас я уйду, но бойтесь моего возвращения... Вот я сажусь... даю вам еще одну минуту, решайтесь... Или ваши бумаги, если они еще существуют...

— У меня их больше нет.

— ...или клятву, что в них не было ничего, кроме вашей исповеди.

— Я не могу дать вам ее.

Мгновенье она молчала, потом вышла и вернулась с четырьмя монахинями из числа своих фавориток. У них был дикий и свирепый вид. Я бросилась к их ногам, умоляя о милосердии, но они кричали все разом:

— Никакого милосердия! Только не допускайте, сударыня, чтобы она разжалобила вас! Пусть отдаст бумаги или пусть отправляется в карцер...

Я обнимала колени то у одной из них, то у другой; я говорила, называя их по именам:

— Сестра Агнеса, сестра Юлия! Что я вам сделала? Зачем вы восстанавливаете против меня нашу настоятельницу? Разве я так поступала с вами? Сколько раз я заступалась за вас! Вы уже забыли об этом. И ведь вы были виновны тогда, а я сейчас ни в чем не виновна.

Настоятельница смотрела на меня, не шевелясь, и повторяла:

— Отдай свои бумаги, несчастная, или открой, что в них было.

— Сударыня,— говорили монахини,— перестаньте упрашивать ее, вы слишком добры, вы ее не знаете. Это непокорная душа, которую можно обуздать только с помощью крайних мер. Она сама вынуждает вас к ним — тем хуже для нее.

— Матушка,— говорила я,— я не сделала ничего такого, что могло бы прогневать бога или людей, клянусь вам.

— Это не та клятва, какой я требую от вас.

— Она, наверное, послала старшему викарию или архиепископу жалобу на вас, матушка, на всех нас. Одному богу известно, как она расписала монастырские порядки. Дурному легко верят. Сударыня, надо обезвредить эту тварь, если вы не хотите, чтобы она навредила всем нам.

— Вот видите, сестра Сюзанна! — добавила настоятельница.

Я резко поднялась с места и сказала ей:

— Я все вижу, матушка. Я чувствую, что погибаю; но не все ли равно, когда это будет — минутой раньше или минутой позже? Делайте со мной что хотите, дайте волю их ярости, дайте пищу своей несправедливости...

И я протянула им руки. Монахини тут же схватили их. Они сорвали с меня покрывало, бесстыдно содрали одежду. На груди у меня нашли миниатюрный портрет прежней настоятельницы.

Его сорвали с меня, и сколько я ни молила позволить мне поцеловать его в последний раз, мне отказали в этом. Мне швырнули какую-то рубаху, сняли чулки, накинули на меня мешок и так, с обнаженными ногами и головой, повели по коридорам. Я кричала, звала на помощь, но колокол громко звонил, предупреждая, чтобы никто не смел появляться. Я взывала к небу, я упала на пол, и меня волокли насильно. Когда я очутилась у подножия лестницы, ноги и руки у меня были окровавлены, а все тело в ушибах. Я была в таком состоянии, что могла бы тронуть каменное сердце. Тем не менее громадным ключом была отперта дверь тесного и темного подземелья, и меня бросили на полусгнившую от сырости циновку. Я нашла там кусок черного хлеба, кружку с водой и еще грубую лохань для определенных целей. Край циновки, свернутый валиком, заменял подушку. На плоском камне стояли череп и деревянное распятие. Первым моим побуждением было лишить себя жизни. Я стискивала руками горло, раздирала зубами платье, испускала ужасные крики. Я выла, как дикий зверь, билась головой об стену, я была вся в крови. Я старалась довести себя до такого состояния, чтобы силы оставили меня, и это не замедлило случиться. Так я провела три дня и думала, что мне уже никогда не выйти на свободу. Каждое утро являлась одна из моих мучительниц и говорила:

— Покоритесь настоятельнице — и вы выйдете отсюда.

— Я ничего не сделала и не знаю, чего от меня хотят. О сестра Сен-Клеман, ведь есть же бог...

На третьи сутки, около девяти часов вечера, дверь отворилась, и вошли те же самые монахини, которые привели меня сюда. Расхвалив доброту настоятельницы, они сообщили, что она прощает меня и сейчас меня выпустят на свободу.

— Поздно,— ответила я им,— оставьте меня здесь, я хочу умереть в этих стенах.

Они все же подняли меня и потащили. В моей келье я увидела настоятельницу.

— Я спросила у бога, как мне поступить с вами, и он тронул мое сердце: ему угодно, чтобы я сжалилась над вами, и я повинуюсь. Станьте на колени и попросите его простить вас.

Я встала на колени и сказала:

— Господи, я прошу тебя простить мне мои грехи, как ты просил за меня, когда был на кресте.

— Какая гордыня! — вскричали они.— Она сравнивает себя с Иисусом Христом, а нас — с иудеями, распявшими его.

— Посмотрите не на меня, а на себя,— сказала я,— и судите сами.

— Это еще не все,— продолжала настоятельница.— Поклянитесь святым обетом послушания, что никогда никому не расскажете о том, что произошло.

— Как видно, то, что вы сделали, очень дурно, если вы требуете от меня клятвы хранить молчание. Никто не будет знать о происшедшем, кроме вашей совести, клянусь вам в этом.

— Клянетесь?

— Клянусь.

После этого они сняли с меня ту одежду, которую дали мне несколько дней назад, и позволили надеть прежнее платье.

Я простудилась в сыром подземелье. Вся моя пища за последние дни состояла из нескольких капель воды и кусочка хлеба. Жизнь моя была в опасности, все тело болело, я думала, что мучения, которые я перенесла, окажутся для меня последними. Однако именно кратковременность действия этих бурных потрясений и показывает, сколько сил заложено природой в молодом организме: я пришла в себя очень быстро, и когда снова начала выходить, оказалось, что наша община была уверена в том, что все это время я проболела. Я снова стала присутствовать на богослужениях и заняла свое место в церкви. Я не забыла о своих записках, не забыла и о молоденькой сестре, которой отдала их. Я была убеждена в том, что она не злоупотребила моим доверием, но понимала, что она не может спокойно хранить у себя такой документ. Через несколько дней после моего выхода из карцера, когда я стояла на клиросе,— это было в такой же самый момент, как тогда, когда я отдала ей бумагу, то есть когда мы опустились на колени и, наклоняясь друг к другу, сделались невидимыми со стороны за спинками скамеек,— я почувствовала, что меня осторожно дергают за платье. Я протянула руку, и мне сунули записку, в которой было всего несколько слов: «Как я беспокоилась за вас! Что же я должна делать с этой ужасной бумагой?..» Прочитав записку, я скатала ее в комок и проглотила. Все это происходило в начале великого поста. Приближалось время, когда желание послушать церковное пение привлекает в Лоншан как хорошее, так и дурное общество Парижа. У меня был прекрасный голос: он почти не пострадал. Нигде так не пекутся о своей выгоде, как в монастырях: со мной стали обходиться немного лучше, я начала пользоваться несколько большей свободой. Сестры, которых я учила петь, могли теперь беспрепятственно общаться со мной. Та, которой я доверила свои записки, также принадлежала к их числу. Свобод-

ные часы мы проводили в саду; как-то раз, отведя ее в сторону, я заставила ее петь и, пока она пела, сказала ей:

— У вас много знакомых среди мирян, у меня же никого нет. Друг мой, я не хочу подводить вас и готова скорей умереть, чем навлечь на вас подозрение в том, что вы оказали мне эту услугу. Вас это может погубить, а меня все равно не спасет. Впрочем, если бы даже ваша гибель и могла спасти меня, я ни за что не согласилась бы на спасение, купленное такой ценой.

— Не будем говорить об этом,— ответила она.— Что надо сделать?

— Надо переправить эту бумагу в надежные руки, какому-нибудь искусному адвокату, но так, чтобы он не знал, из какого монастыря она исходит, а потом получить ответ. Вы передадите мне его в церкви или где-нибудь в другом месте.

— Кстати,— сказала она,— что вы сделали с моей запиской?

— Будьте покойны, я проглотила ее.

— Будьте покойны и вы: я позабочусь о вашем деле.

Надо заметить, сударь, что, пока она говорила, я пела, а пока отвечала я, пела она, так что наш разговор все время перемежался пением. Эта молодая особа все еще находится в монастыре, и ее судьба, сударь, в ваших руках. В случае, если бы обнаружилось все, что она сделала для меня, нет таких мучений, каким бы ее не подвергли. Я не хочу, чтобы она попала из-за меня в карцер; уж лучше мне самой снова очутиться там. Сожгите эти письма, сударь. Если вы прочтете их с таким же интересом, какой вам угодно было проявить к моей судьбе, то, право, нет надобности хранить их.

(Вот что я писала вам в то время. Но, увы, ее нет более, я осталась одна...)

Она не замедлила исполнить свое обещание и сообщить мне об этом нашим обычным способом. Наступила страстная неделя.

Послушать нашу вечернюю службу приехало множество народу. Я пела настолько хорошо, что вызвала бурные аплодисменты, те неприличные аплодисменты, какими публика награждает комедиантов в ваших театральных залах и какие никогда не должны были бы раздаваться в храмах господа бога, особенно в торжественные и мрачные дни, посвященные памяти его сына, распятого на кресте ради искупления грехов рода человеческого. Мои юные ученицы были хорошо подготовлены, некоторые из них обладали недурным голосом, почти все — выразительностью и изяществом исполнения, и мне показалось, что публика слу-

шала их с удовольствием, а община была удовлетворена успехом моих стараний.

Как вам известно, сударь, в чистый четверг святые дары переносятся из дарохранилища на особый престол, где они остаются до утра пятницы. В этот промежуток времени монахини, поодиночке или парами, подходят к этому престолу поклониться святым дарам. Вывешивается табличка, где каждой монахине указан ее час. Как я обрадовалась, прочитав на ней, что сестре Сюзанне и сестре Урсуле назначено время от двух до трех часов ночи! Я пришла к алтарю в указанный час; моя подруга была уже там. Мы стали рядом на ступени алтаря, затем вместе простерлись ниц и в течение получаса предавались молитве. После этого моя юная подруга сжала мне руку и сказала:

— Может быть, нам никогда больше не представится случай говорить друг с другом так долго и так свободно. Богу известно, в какой тюрьме мы живем, и он простит, если мы отнимем у него часть времени, которое принадлежит ему целиком. Я не читала ваших записок, но нетрудно догадаться об их содержании. Скоро я получу ответ на них. Однако не думаете ли вы, что в случае, если этот ответ разрешит вам добиваться расторжения обета, вам нужно будет посоветоваться с людьми, знающими законы?

— Вы правы.

— Не кажется ли вам, что вам понадобится свобода?

— Вы правы.

— И что вам следует воспользоваться настоящим положением вещей, чтобы ее добиться?

— Я думала об этом.

— Так вы это сделаете?

— Возможно.

— Еще одно: ведь если начнется ваше дело, ярость всей общины обрушится на вас. Подумали ли вы о преследованиях, которые вас ожидают?

— Они будут не страшнее тех, какие я уже перенесла.

— Я ничего об этом не знаю.

— Простите меня. Но теперь никто не посмеет посягнуть на мою свободу.

— Почему же?

— Потому что я буду находиться под покровительством закона: меня нельзя будет прятать, я окажусь, так сказать, между миром и монастырем. Я смогу свободно говорить, свободно жаловаться. Я призову в свидетели всех вас. Никто не посмеет обидеть меня, если я смогу рассказать об этих обидах.

Мои враги будут бояться, как бы дело не приняло дурной оборот. Я была бы даже рада, если бы они стали теперь плохо обращаться со мной; но этого не будет. Уверяю вас, они поведут себя совершенно иначе. Меня начнут уговаривать, доказывать, что я причиняю вред и себе самой, и монастырю. Убедившись, что кротостью и обещаниями им не удастся достигнуть цели, они перейдут к угрозам, но прибегнуть к насилию не решатся.

— Когда видишь, как легко и как старательно вы исполняете свои обязанности, просто не верится, что вы питаете к монашеству такое отвращение.

— И все же я испытываю это чувство. Оно родилось вместе со мной и никогда меня не покинет. Все равно рано или поздно я оказалась бы дурной монахиней. Надо предотвратить эту минуту.

— Но если, на ваше несчастье, вы потерпите неудачу?

— Если я потерплю неудачу, то попрошу перевести меня в другой монастырь или же умру в этом.

— Прежде чем умереть, придется много выстрадать. Ах, друг мой, ваша затея пугает меня. Я боюсь и того, что ваш обет будет расторгнут, и того, что это вам не удастся. Если вы добьетесь своего, что станется с вами? Что будете вы делать в миру? Вы обладаете приятной внешностью, умом, талантами, но говорят, что все эти качества ничего не дают в соединении с добродетелью, а я твердо знаю, что вы никогда не расстанетесь с нею.

— Вы справедливы ко мне, но несправедливы к добродетели, а в ней — единственная моя надежда. Чем реже она встречается у людей, тем большее почтение она внушает.

— Все ее восхваляют, но никто и ничем не жертвует ради нее.

— Она одна ободряет и поддерживает меня в моем намерении. В чем бы меня ни упрекали, моя нравственность остается безупречной. Про меня, по крайней мере, не скажут, как говорят о большинстве других, что я порываюсь сбросить монашеское покрывало ради какой-нибудь необузданной страсти: я ни с кем не вижусь, никого не знаю; я прошу освободить меня потому, что пожертвовала своей свободой против воли. Читали вы мои записки?

— Нет. Я вскрыла пакет, который вы мне дали, так как на нем не было адреса и я имела все основания думать, что он предназначался мне, но первые же строчки вывели меня из заблуждения, и я не стала читать дальше. Какое счастье, что вы догадались отдать его мне! Минутой позже его нашли бы у вас... Однако срок нашего моления кончается; повергнемся ниц;

пусть те, которые придут нам на смену, застанут нас в подобающей позе. Попросите бога, чтобы он простил вас и указал вам путь. Я присоединю свои мольбы и воздыхания к вашим.

На душе у меня стало немного легче. Моя подруга молилась стоя, а я простерлась ниц и лежала, прижавшись лбом к нижней ступеньке алтаря и касаясь руками верхних. Кажется, никогда еще я не обращалась к богу с бóльшим жаром, никогда не находила в молитве такой отрады. Сердце мое сильно билось, я мгновенно забыла обо всем, что меня окружало. Не знаю, сколько времени я пробыла в таком положении, сколько еще могла бы пробыть здесь, но, должно быть, я представляла трогательное зрелище для моей подруги и двух монахинь, пришедших нам на смену. Когда я поднялась, думая, что, кроме меня, здесь никого нет, оказалось, что это не так — все три стояли сзади, проливая слезы. Не решаясь прервать меня, они ждали, когда я сама выйду из состояния восторженного исступления, в котором они меня застали. Я обернулась к ним. Если судить по тому впечатлению, которое я на них произвела, у меня, как видно, было в эту минуту какое-то особенное выражение лица. Они сказали, что я напомнила им нашу бывшую настоятельницу и что мой вид привел их в такой же трепет, в какой приводила она, утешая нас. Будь у меня хоть малейшая склонность к лицемерию или фанатизму и желание играть в монастыре какую-то роль, я не сомневаюсь, что роль эта вполне удалась бы мне. Мою душу легко возбудить, воспламенить, растрогать, и моя добрая настоятельница сотни раз говорила, обнимая меня, что никто не любит бога так сильно, как я, что у меня сердце живое, а у других оно из камня. И действительно, я с необычайной легкостью разделяла ее экстаз, и, когда она молилась вслух, мне случалось заговорить, продолжить нить ее размышлений и, как бы по вдохновению, высказать то, что она собиралась сказать сама. Остальные слушали ее молча или повторяли ее слова, я же прерывала ее, подсказывала или говорила вместе с нею. Во мне надолго сохранялось полученное впечатление, и возможно, что какая-то частица его снова возвращалась от меня к ней, ибо если по лицу других монахинь можно было угадать, что они беседовали с нею, то по ее лицу можно было понять, что она беседовала со мной. Впрочем, какое значение имеет все это, когда не чувствуешь призвания?.. Наше моление окончилось, мы уступили место вновь пришедшим, и я нежно обняла мою юную подругу, перед тем как расстаться с нею.

Сцена у алтаря наделала в монастыре много шуму. Добавьте к этому успех нашей вечерней службы в великую пят-

ницу: я пела, играла на органе, мне аплодировали. Какие вздорные умы у монахинь! Без всяких почти усилий с моей стороны я восстановила мир со всей общиной: теперь все заискивали передо мной, и настоятельница — первая. Кое-кто из мирян пожелал познакомиться со мной. Это настолько соответствовало моим замыслам, что я не стала отказываться. У меня побывали старший председатель суда, г-жа де Субиз и множество почтенных людей — монахи, священники, военные, судейские, богомолки, светские дамы. Среди этих лиц попадались и вертопрахи, которых вы называете «красными каблуками». Последних я быстро спровадила: я поддерживала лишь те знакомства, за которые никто не мог бы меня упрекнуть, остальные же уступила другим монахиням, на этот счет менее разборчивым.

Забыла вам сказать, что первым знаком благоволения ко мне было то, что меня снова поселили в моей келье. Я решилась попросить вернуть мне миниатюрный портрет нашей прежней настоятельницы, и мне не посмели отказать в этой просьбе. Он снова занял место у моего сердца и останется там, пока я жива. Каждое утро я прежде всего возношусь мыслью к богу, а затем целую этот портрет. Когда мне хочется молиться, но я чувствую, что душа холодна, я снимаю его с шеи, держу перед собой, смотрю на него, и он вдохновляет меня. Как жаль, что мы не знали святых, изображения которых выставляются для поклонения! Их воздействие на нас было бы гораздо сильнее, и мы не были бы так холодны, стоя перед ними или распростершись перед ними ниц.

Я получила ответ на мою записку. Ответ этот, который мне прислал г-н Манури, нельзя было назвать ни благоприятным, ни неблагоприятным. Прежде чем высказать свое мнение по моему делу, г-н Манури желал получить множество разъяснений, которые мне трудно было дать ему заочно. Поэтому я открыла ему свое имя и пригласила его приехать в Лоншан. Эти господа тяжелы на подъем, но все же он явился. У нас была длительная беседа, и мы условились относительно переписки; он обещал найти верный способ посылать мне свои запросы и получать от меня ответы. В то время как он занимался моим делом, я, со своей стороны, старалась расположить людей в свою пользу, заинтересовать их в своей участи и приобрести покровителей. Я открыла им свое имя и рассказала о моем поступке в монастыре св. Марии — первой обители, где я жила, о мучениях, которые мне пришлось вынести там, о протесте, заявлен-

ном мною, о страданиях, перенесенных в родительском доме, о моем пребывании в Лоншане, о принятии послушничества, о пострижении, о жестоком обращении со мною после того, как я дала обет. Меня жалели, предлагали мне помощь. Я попросила отложить проявление этих дружеских чувств до того времени, когда они смогут мне понадобиться, но пока не высказалась более ясно. В монастыре ничего не знали. Я уже получила из Рима разрешение ходатайствовать о расторжении обета; вскоре должен был начаться процесс, а здесь все еще были в полном неведении. Можете себе представить, каково было изумление настоятельницы, когда ей предъявили от имени сестры Марии-Сюзанны Симонен заявление о расторжении обета, а также просьбу разрешить ей снять монашескую одежду и выйти из монастыря, с тем чтобы располагать собой по своему усмотрению.

Разумеется, я предполагала, что встречу немало возражений — со стороны закона, со стороны монастыря, со стороны моих встревоженных зятьев и сестер: последние владели всем имуществом семьи, и, оказавшись на свободе, я могла бы претендовать на возвращение значительной его части. Я написала сестрам, умоляя их не чинить никаких препятствий моему уходу из монастыря, я взывала к их совести, напоминая о том, что обет был дан мною почти против воли. Я обещала им формально отказаться от каких-либо претензий на наследство, оставшееся после родителей. Я всячески старалась убедить их, что мой шаг не был продиктован ни стремлением к денежной выгоде, ни любовным увлечением. Я не заблуждалась относительно их чувств. Такого рода акт, составленный до расторжения обета, мог оказаться недействительным впоследствии, и у них не было никакой уверенности в том, что я подтвержу его, получив свободу. Да и было ли им удобно принять мое предложение? Как могли они оставить сестру без пристанища и без средств? Как могли воспользоваться ее имуществом? Что сказали бы окружающие? «А что, если сестра обратится к нам с просьбой о куске хлеба,— можно ли будет отказать ей? А вдруг она вздумает выйти замуж,— кто знает, что за человек будет ее муж? А если у нее будут дети?.. Нет, нет, надо всеми силами воспрепятствовать этой опасной попытке...» Вот что они сказали себе и что сделали.

Как только настоятельница получила официальное извещение о возбуждении мною дела, она сейчас же прибежала ко мне в келью.

— Как, вы хотите нас покинуть, сестра Сюзанна? — вскричала она.

— Да, сударыня.

— И собираетесь отречься от обета?

— Да.

— Разве вы дали его не по доброй воле?

— Нет, сударыня.

— Кто же принудил вас к этому?

— Все.

— Ваш отец?

— Да, отец.

— Ваша мать?

— Да, и она.

— Почему же вы не заявили об этом перед алтарем?

— Я почти не сознавала, что со мной происходит: не помню даже, присутствовала ли я при этом.

— Как можно говорить такие вещи!

— Я говорю правду.

— Полноте! Вы не слышали, как священник спрашивал вас: «Сестра Сюзанна Симонен, даете ли вы богу обет послушания, целомудрия и бедности?»

— Я не помню этих слов.

— Однако же вы ответили ему: «Да».

— Не помню.

— И вы воображаете, что люди поверят вам?

— Поверят или нет, но правда не перестанет от этого быть правдой.

— Дорогое дитя, подумайте сами, к каким злоупотреблениям могли бы повести подобные отговорки, если бы с ними стали считаться! Вы сделали необдуманный шаг, поддавшись чувству мести. Вы затаили в душе злобу из-за наказаний, к которым вынудили меня сами, и решили, что это достаточная причина для расторжения обета. Вы ошиблись: этого не допустят ни бог, ни люди. Подумайте, ведь нарушение клятвы — это величайшее из преступлений. Вы уже совершили его в своем сердце, а теперь собираетесь довести дело до конца.

— Я не нарушу клятвы, потому что не давала ее.

— Если даже вам и были нанесены некоторые обиды, то разве они не были потом заглажены?

— Не это заставило меня решиться.

— Что же?

— Отсутствие призвания, отсутствие свободной воли при произнесении обета.

— Но если у вас не было призвания, если вас принуждали, почему вы не сказали об этом, когда еще было время?

— Да разве это могло помочь мне?

— Почему вы не обнаружили такой же твердости, какую проявили в монастыре святой Марии?

— Да разве эта твердость зависит от нас? В первый раз я была тверда, во второй — дух мой ослабел.

— Почему вы не обратились к человеку, знающему законы? Почему не выразили протеста? Вы имели право заявить о своем отказе в течение суток.

— Да разве я знала об этих формальностях? А если бы и знала, то разве я в состоянии воспользоваться ими? Да и была ли у меня эта возможность? Сударыня, ведь вы сами заметили тогда мое умственное расстройство. Скажите — если я призову вас в свидетели, неужели вы поклянетесь, что я была в здравом рассудке?

— Да, я поклянусь в этом.

— Тогда, сударыня, не я, а вы будете клятвопреступницей.

— Дитя мое, вы вызовете ненужный скандал, и только. Заклинаю вас, придите в себя. Это в ваших же собственных интересах, в интересах всей обители. Такого рода дела никогда не обходятся без позорной огласки.

— Не я буду виновна в этом.

— Миряне злы. Они будут делать самые невыгодные предположения относительно вашего ума, сердца, нравственности. Могут подумать, что...

— Пусть думают что хотят.

— Будьте со мной откровенны. Если у вас есть какое-нибудь тайное недовольство, мы найдем способ устранить его причину, в чем бы она ни заключалась.

— Всю свою жизнь я была, есть и буду недовольна тем, что я монахиня.

— Быть может, дух-искуситель, который стережет нас на каждом шагу и старается погубить наши души, воспользовался чрезмерной свободой, предоставленной вам в последнее время, и внушил вам какую-нибудь пагубную склонность?

— Нет, сударыня. Вы знаете, что я нелегко даю клятвы; так вот, я призываю бога в свидетели, что сердце мое чисто и в нем никогда не было ни одного постыдного чувства.

— Это непостижимо.

— А между тем, сударыня, это так просто. Не все люди одинаковы. Вам нравится жизнь в монастыре, а я ее ненавижу. Бог даровал вам радости, связанные с монашеством, а мне он их не дал. Вы погибли бы в миру, здесь вам обеспечено спасе-

ние; а я погибла бы здесь и надеюсь спастись в миру: я дурная монахиня и останусь такою.

— Но почему же? Ведь никто не исполняет своих обязанностей лучше вас.

— Да, но я делаю это через силу и против воли.

— Тем больше ваша заслуга.

— Никто не знает лучше меня, чего я заслуживаю, и я вынуждена сознаться, что, несмотря на всю мою покорность, у меня нет никаких заслуг. Я устала от собственного лицемерия. Делая то, что другим приносит спасение, я ненавижу себя и гублю свою душу. Словом, сударыня, я считаю истинными монахинями лишь тех, кого удерживает здесь склонность к уединенной жизни и кто остался бы в монастыре даже в том случае, если б вокруг не было ни решеток, ни толстых стен. Я далеко не такова: тело мое здесь, но сердце отсутствует, и если бы мне пришлось выбирать между смертью и вечным затворничеством, я не колеблясь выбрала бы смерть. Таковы мои чувства.

— Как! Неужели вы без угрызений совести сбросите с себя это покрывало, эти одежды, посвящающие вас Иисусу Христу?

— Да, сударыня, так как я надела их необдуманно и против воли.

Я отвечала очень сдержанно, хотя сердце подсказывало мне совсем иные слова; оно кричало: «О, поскорее бы дожить до минуты, когда я смогу разорвать их и отбросить далеко прочь!..»

Тем не менее ответ мой ужаснул настоятельницу. Она побледнела, хотела что-то сказать, но губы ее дрожали, и она не находила слов.

Я большими шагами ходила взад и вперед по келье, а она восклицала:

— О господи! Что скажут наши сестры? О Иисусе, смилостивься над нею!.. Сестра Сюзанна!

— Да, сударыня?

— Так это ваше окончательное решение? Вы хотите покрыть нас позором, сделать себя и нас притчей во языцех, погубить себя?

— Я хочу выйти отсюда.

— Но если дело только в том, что вам не нравится этот монастырь...

— Монастырь, монашество, обеты!.. Я не хочу жить под замком ни здесь, ни где бы то ни было.

— Дитя мое, в вас вселился злой дух. Это он возмущает вас, внушает вам такие слова, приводит в исступление. Да, да, это так; посмотрите, в каком вы виде!

В самом деле — бросив на себя взгляд, я увидела, что мое платье было в беспорядке, нагрудник съехал почти на спину, покрывало сползло на плечи. Злые слова настоятельницы, произнесенные притворно ласковым тоном, вывели меня из себя, и я сказала ей с раздражением:

— Нет, сударыня, нет, я не хочу больше носить это платье, не хочу...

Говоря это, я все же делала попытки привести в порядок свое покрывало, но руки у меня дрожали, и чем больше я старалась поправить его, тем больше оно сбивалось на сторону. Тогда, потеряв терпение, я порывисто схватила его, сорвала с себя, бросила на пол и стояла теперь перед настоятельницей с одной только повязкой на лбу и с растрепанными волосами. Не зная, что делать,— остаться или уйти,— она ходила взад и вперед по келье, повторяя:

— О Иисусе, в нее вселился бес! Нет сомнения, в нее вселился бес!..

И лицемерная женщина осеняла себя крестом своих четок.

Я быстро пришла в себя и почувствовала все неприличие своего вида и всю неосторожность своих слов. Я постаралась по возможности овладеть собой, подняла с полу покрывало и надела его, потом обернулась к настоятельнице и сказала:

— Сударыня, я не сошла с ума, и в меня не вселился бес. Я стыжусь своей выходки и прошу вас простить меня за нее; но теперь судите сами, как мало подходит мне звание монахини и как правильно я поступаю, стараясь по мере сил избавиться от него.

Не слушая меня, она повторяла: «Что скажут люди? Что скажут наши сестры?»

— Сударыня,— сказала я,— вы хотите избежать огласки? Для этого есть средство. Я не забочусь о своем вкладе, я хочу только свободы. Я не прошу вас раскрыть передо мной двери монастыря, я прошу одного — сделайте так, чтобы сегодня, завтра, через несколько дней их дурно охраняли, и постарайтесь заметить мой побег как можно позже...

— Несчастная! Как смеете вы предлагать мне это?

— Я только даю совет, и добрая, разумная настоятельница должна была бы последовать ему в отношении всех тех, для кого монастырь — тюрьма. Для меня же он в тысячу раз страшнее тюрьмы, настоящей тюрьмы, где содержат преступников. Либо я выйду отсюда, либо погибну... Сударыня,— торжественно продолжала я, смело глядя на нее,— выслушайте меня: если закон, к которому я обратилась, обманет мои ожидания, то чувство

отчаяния — а я слишком хорошо знакома с ним — может толкнуть меня на... здесь есть колодец... в доме есть окна... повсюду есть стены... есть платье... которое можно разорвать... руки, которыми можно...

— Замолчите, несчастная! Я содрогаюсь! Как! Вы могли бы?..

— Если бы не было таких средств, которые помогают сразу покончить с житейскими невзгодами, я могла бы отказаться от пищи. Мы вольны есть и пить, а вольны и голодать... Если после того, что я вам сказала, у меня хватит мужества,— а вы знаете, что у меня его достаточно и что в иных случаях жить труднее, чем умереть...— вообразите себя перед судом божиим и скажите мне, кто после этого покажется господу более виновной — настоятельница или ее монахиня? Сударыня, я не требую обратно того, что дала обители, и никогда не потребую. Избавьте меня от злодеяния, избавьте себя от длительных угрызений совести, давайте придем к соглашению...

— Что вы говорите, сестра Сюзанна! Чтобы я нарушила первейшую свою обязанность, приложила руку к преступлению, приняла участие в кощунстве!

— Истинное кощунство, сударыня, совершаю я, совершаю его ежедневно, оскверняя презрением священные одежды, которые ношу. Снимите их с меня, я их недостойна, поплите в деревню за лохмотьями самой бедной крестьянки, и пусть двери монастырской ограды приоткроются для меня.

— А куда же вы пойдете искать лучшего?

— Не знаю куда, но нам плохо лишь там, где бог не хочет нас, а бог не хочет, чтобы я была здесь.

— У вас ничего нет.

— Это правда, но меньше всего я боюсь нужды.

— Бойтесь пороков, к которым она приводит.

— Мое прошлое — порука за будущее. Если б я хотела слушать голос греха, я была бы уже свободна, но я хочу выйти из этой обители либо с вашего согласия, либо с разрешения закона. Выбирайте...

Этот разговор длился долго. Вспоминая его, я краснею за нескромные и нелепые вещи, которые делала и говорила. Но их уже не вернешь. Настоятельница все еще восклицала: «Что скажут люди? Что скажут наши сестры?» — когда колокол, призывавший на молитву, прервал нас. Уходя, она сказала:

— Сестра Сюзанна, сейчас вы придете в церковь. Попросите бога, чтобы он тронул ваше сердце и вернул вам смирение, подобающее вашему званию. Спросите вашу совесть и доверь-

тесь тому, что она вам скажет: не может быть, чтобы она не стала упрекать вас. Освобождаю вас от пения.

Мы спустились вниз почти одновременно. Когда служба кончилась и все сестры уже собирались разойтись по кельям, настоятельница постучала пальцем по требнику и задержала их.

— Сестры мои,— сказала она,— призываю вас пасть к подножию алтаря и молить бога сжалиться над одной монахиней, которую он покинул. Она утратила склонность к монашеству, дух благочестия и готова совершить поступок, святотатственный в глазах бога и постыдный в глазах людей.

Не могу вам описать всеобщее изумление. В одно мгновение каждая, не двигаясь с места, окинула взглядом своих товарок, надеясь, что смущение выдаст виновную. Все упали ниц и молились молча. Это длилось довольно долго, затем настоятельница вполголоса запела «*Veni, Creator*» [1], и все тихо продолжали «*Veni, Creator*». После этого снова наступило молчание, настоятельница постучала по алтарю, и все разошлись.

Можете себе представить, какие разговоры пошли в монастырской общине. «Кто это? Кто бы это мог быть? Что она сделала? Что она собирается сделать?..» Эти догадки длились недолго. О моем прошении заговорили в миру. У меня перебывало множество посетителей. Одни упрекали меня, другие давали советы, некоторые одобряли, иные порицали. У меня было лишь одно средство оправдаться в глазах всех — рассказать о поведении моих родителей; но вы понимаете, какую осторожность я должна была соблюдать в этом вопросе. Только с несколькими искренне преданными мне людьми и с г-ном Манури, взявшимся вести мое дело, я могла быть вполне откровенна. Бывали минуты, когда меня охватывал страх перед грозившими мне мучениями, и тогда карцер, где я была заперта однажды, вставал в моем воображении со всеми его ужасами: я уже знала, что такое ярость монахинь. Я поделилась своими опасениями с г-ном Манури, и он сказал мне: «Разумеется, вам не избежать всякого рода неприятностей. Они у вас будут, и вы давно должны были подготовиться к ним. Надо вооружиться терпением и поддерживать себя надеждой на то, что они кончатся. Что до этого карцера, то я обещаю вам, что вы никогда больше не попадете туда. Это я беру на себя...» И действительно, через несколько дней он привез настоятельнице предписание вызывать меня в приемную, когда бы это ни потребовалось.

На следующий день после церковной службы общине было

---

[1] Приди, создатель *(лат.)*.

опять предложено молиться за меня. Монахини молились молча, а потом тихо пропели тот же гимн, что и накануне. На третий день — то же самое, с той лишь разницей, что мне было приказано стоять посреди церкви, а вокруг меня читали молитвы за умирающих и литании святым с припевом «*Ora pro ea*» [1]. На четвертый день состоялась нелепая церемония, показывающая взбалмошный нрав настоятельницы. После церковной службы меня положили в гроб посреди церкви, по бокам поставили свечи и кропильницу, покрыли меня саваном и прочли заупокойную молитву, после чего каждая монахиня, уходя, усердно кропила меня святой водой и говорила: «*Requiescat in pace*» [2]. Надо знать язык монастырей, чтобы понять угрозу, заключавшуюся в этих последних словах. Две монахини сняли с меня саван, погасили свечи и ушли, оставив меня промокшей до нитки. Мое платье высохло на мне, так как мне не во что было переодеться. За этим испытанием последовало другое. Собралась вся община, меня объявили проклятой богом, мой поступок — вероотступничеством, и всем монахиням, под страхом нарушения обета послушания, было запрещено разговаривать со мной, в чем-либо помогать мне, приближаться ко мне и даже прикасаться к вещам, которыми я пользовалась. Приказания эти выполнялись с точностью. У нас узкие коридоры; в некоторых местах двое с трудом могут разойтись там. Так вот, если какая-нибудь монахиня шла мне навстречу, она сейчас же возвращалась назад или же со страхом прижималась к стене, придерживая покрывало и платье, чтобы только не прикоснуться к моей одежде. Если надо было что-нибудь взять из моих рук, то я ставила эту вещь на пол, и ее брали тряпкой. Если же надо было передать какую-либо вещь мне, ее просто бросали. Когда какая-нибудь монахиня имела несчастье прикоснуться ко мне, она считалась осквернённой и шла на исповедь к настоятельнице, чтобы та отпустила ей этот грех. Лесть считается чем-то низменным и подлым; она становится жестокой и изобретательной, когда ее направляют на то, чтобы угодить одному человеку, придумывая унижения для другого. Как часто я вспоминала слова моей дорогой настоятельницы де Мони: «Дитя мое, среди всех этих девушек, находящихся среди нас, таких послушных, невинных и кротких, нет почти ни одной, да, ни одной, из которой я не могла бы сделать дикого зверя. Странное превращение! И оно происходит тем легче, чем раньше девушка попадает в келью и чем меньше она

---

[1] Молись за нее *(лат.)*.
[2] Да почиет с миром *(лат.)*.

знает жизнь. Эти слова удивляют вас, сестра Сюзанна? Упаси вас господь испытать на себе, насколько они правдивы! Знайте: хорошая монахиня — лишь та, которая пришла в монастырь, чтобы искупить какой-нибудь тяжкий грех».

Меня не допускали ни к какой работе. В церкви по обе стороны от меня оставляли по одному пустому сиденью. В трапезной я сидела за отдельным столом, и мне ничего не подавали. Я вынуждена была сама ходить на кухню и просить свою порцию. В первый раз сестра стряпуха крикнула мне:

— Не входите, отойдите подальше.

Я повиновалась.

— Что вам надо?

— Есть.

— Есть! Вы недостойны жить...

Иногда я уходила и оставалась целый день без пищи, иногда же требовала ее, и мне ставили на пол еду, которую постыдились бы дать скотине. Я со слезами подбирала ее и уходила. Если мне случалось последней подойти к двери, ведущей на клирос, она оказывалась запертой. Тогда я становилась на колени и ждала конца службы. Если запертой оказывалась садовая калитка, я возвращалась в свою келью. Между тем силы мои все убывали от недостаточности и дурного качества пищи, которую мне давали, а главное — от горя, причиняемого мне этими постоянными проявлениями бесчеловечности. Я почувствовала, что, если буду по-прежнему страдать молча, мне ни за что не дожить до конца моего процесса. Итак, я решила поговорить с настоятельницей. Полумертвая от страха, я все же подошла к ее двери и тихонько постучалась. Она отворила. Увидев меня, она отступила на несколько шагов с криком:

— Вероотступница, отойдите!

Я отошла.

— Дальше.

Я отошла дальше.

— Что вам надо?

— Ни бог, ни люди не приговаривали меня к смерти, поэтому я прошу вас, сударыня, приказать, чтобы мне дали жить.

— Жить! Да разве вы достойны жить? — сказала она, повторяя слова сестры стряпухи.

— Про то знает бог, и я предупреждаю, что, если мне будут отказывать в пище, я вынуждена буду подать жалобу лицам, принявшим меня под свое покровительство. Я нахожусь здесь лишь временно, до тех пор, пока не решится мое пребывание в монашестве, пока не решится моя участь.

— Идите,— сказала она,— не оскверняйте меня своим взглядом. Я распоряжусь...

Я повернулась и резко захлопнула дверь. Должно быть, она отдала соответствующее распоряжение, но мне отнюдь не стало легче, так как считалось заслугой не подчиняться ей в этом: мне швыряли самую грубую пищу, да еще портили ее, примешивая к ней золу и всякие отбросы.

Такую жизнь вела я, пока тянулся мой процесс. Вход в приемную не был мне окончательно запрещен, у меня не могли отнять права говорить с судьями и адвокатом, но, чтобы добиться свидания со мной, последнему неоднократно приходилось прибегать к угрозам. В этих случаях меня сопровождала одна из сестер. Она была недовольна, когда я говорила тихо, сердилась, если я задерживалась слишком долго, прерывала меня, опровергала, противоречила мне, повторяла настоятельнице мои слова, искажая их, истолковывая в дурном смысле, быть может, даже приписывая мне то, чего я вовсе не говорила. Дело дошло до того, что меня начали обворовывать, похищать мои вещи, забирать мои стулья, простыни, матрацы. Мне перестали давать чистое белье, моя одежда изорвалась, я ходила почти босая. С трудом удавалось мне добывать себе воду. Много раз приходилось самой ходить за ней к колодцу — к тому самому колодцу, о котором я вам говорила. Всю мою посуду перебили, и, не имея возможности унести воду домой, я должна была пить ее тут же на месте. Под окнами келий я должна была проходить как можно скорее, чтобы не быть облитой нечистотами. Некоторые сестры плевали мне в лицо. Я стала ужасающе грязна. Опасаясь, как бы я не пожаловалась на все это нашим духовникам, мне запретили ходить на исповедь.

Однажды в большой праздник — кажется, это был день вознесения — меня заперли на замок в келье, и я не смогла пойти к обедне. Быть может, я была бы совершенно лишена возможности посещать церковную службу, если бы не г-н Манури, которому сначала говорили, что никто не знает, где я, что я куда-то исчезла и не исполняю никаких обязанностей, подобающих христианке. Между тем, исцарапав себе руки, я все же сломала замок и дошла до двери, ведущей на клирос; она оказалась запертой, как это бывало всегда, когда я приходила не из первых. Я легла на пол, прислонившись головой и спиной к стене и скрестив на груди руки, так что мое тело загораживало дорогу. Когда служба кончилась и монахини начали выходить, первая

из них внезапно остановилась. Вслед за ней остановились и остальные. Настоятельница поняла, в чем дело, и сказала:

— Шагайте по ней, это все равно что труп.

Некоторые повиновались и начали топтать меня ногами. Другие оказались более человечными, но ни одна не посмела протянуть мне руку и поднять меня. Во время моего отсутствия у меня похитили из кельи мою молитвенную скамеечку, портрет основательницы нашего монастыря, все иконы, унесли даже и распятие. Мне оставили лишь то, которое было у меня на четках, но вскоре забрали и его. Таким-то образом я жила в голых четырех стенах, в комнате без двери, без стула,— я вынуждена была теперь либо стоять, либо лежать на соломенном тюфяке. У меня не было никакой, даже самой необходимой посуды, что вынуждало меня выходить ночью для удовлетворения естественной надобности, а наутро меня обвиняли в том, что я нарушаю покой монастыря, брожу, теряю рассудок. Так как келья моя больше не запиралась, ночью ко мне с шумом входили, кричали, трясли мою кровать, били стекла, всячески пугали меня. Шум доходил до верхнего этажа, доносился до нижнего, и те монахини, которые не состояли в заговоре, говорили, что в моей комнате происходят странные вещи, что оттуда слышны зловещие голоса, крики, лязг цепей, что я разговариваю с привидениями и злыми духами, что, должно быть, я продала душу дьяволу и надо бежать вон из моего коридора.

В монастырских общинах есть слабоумные; таких даже очень много. Они верили всему, что им рассказывали, не смели пройти мимо моей двери, их расстроенному воображению я представлялась чудовищем, и, встречаясь со мной, они крестились и убегали с криком: «Отойди от меня, сатана! Господи, помоги мне!..» Как-то раз одна из самых молодых показалась в конце коридора, когда я шла в ее сторону. Она никак не могла избежать встречи со мной, и ее охватил дикий ужас. Сначала она отвернулась к стене, бормоча дрожащим голосом: «Господи! Господи! Иисусе! Дева Мария!..» Между тем я приближалась. Почувствовав, что я рядом с ней, и боясь увидеть меня, она обеими руками закрыла лицо, ринулась в мою сторону, бросилась прямо ко мне в объятия и закричала: «На помощь! На помощь! Пощадите! Я погибла! Сестра Сюзанна, не причиняйте мне зла! Сестра Сюзанна, сжальтесь надо мной!..» И с этими словами она замертво упала на пол.

Все сбегаются на ее крики, ее уносят, и не могу вам передать, как извратили всю эту историю. Меня сделали настоящей преступницей, стали говорить, что мною овладел демон распут-

ства, приписали мне намерения и поступки, которые я не решаюсь назвать, а явный беспорядок в одежде молодой монахини объяснили моими противоестественными желаниями. Я не мужчина и, право, не знаю, что можно вообразить о женщине, когда она находится с другой женщиной, и еще меньше — о женщине, когда она одна. Однако у моей кровати сняли полог, ко мне в комнату входили в любое время, и, знаете, сударь,— должно быть, при всей их внешней сдержанности, при скромности их взглядов и целомудренном выражении лиц у этих женщин очень развращенное сердце: во всяком случае, они знают, что в одиночестве можно совершать непристойные вещи, я же этого не знаю и никогда не могла хорошенько понять, в чем они меня обвиняли, ибо они изъяснялись в таких туманных выражениях, что я совершенно не знала, что отвечать им.

Если я стану описывать эти преследования во всех подробностях, то никогда не кончу. Ах, сударь, если у вас есть дочери, то пусть моя судьба покажет вам, что нельзя позволять им вступать в монашество без сильнейшего и резко выраженного призвания к нему. Как несправедливы люди! Они разрешают ребенку распоряжаться своей свободой в таком возрасте, когда ему еще не разрешают распорядиться даже одним экю. Лучше убейте свою дочь, но не запирайте в монастырь против ее воли. Да, лучше убейте ее. Сколько раз я жалела, что моя мать не задушила меня, как только я родилась! Это было бы менее жестоко. Поверите ли вы, что у меня отняли требник и запретили молиться богу? Разумеется, я не подчинилась. Увы, ведь это было моим единственным утешением! Я воздымала руки к небу, испускала крики и дерзала надеяться, что их слышит единственное существо, которое видело все мое горе. Монахини подслушивали меня за дверью, и однажды, когда из глубины своего удрученного сердца я обращалась к богу, взывая о помощи, одна из них крикнула мне:

— Тщетно вы призываете бога: для вас его больше нет. Умрите в отчаянии и будьте прокляты...

Остальные добавили: «Да будет так с вероотступницей! Аминь!»

Но вот еще один факт, который, наверно, поразит вас больше, чем все остальное. Не знаю, что это было, злоба или заблуждение, но, хотя я не сделала ничего такого, что указывало бы на умственное расстройство или тем более на одержимость, монахини начали совещаться, не следует ли изгнать из меня беса. И вот большинством голосов было решено, что я отреклась от миропомазания и от крещения, что в меня вселился

злой дух и что это он удаляет меня от богослужений. Одна сообщила, что при некоторых молитвах я скрежетала зубами и содрогалась в церкви, что при возношении святых даров я ломала руки; другая добавила, что я топтала ногами распятие, перестала носить четки (которые у меня украли) и что я произносила такие богохульства, которых, право, не смею повторить перед вами. И все они твердили, что на мне видны козни дьявола, о чем необходимо сообщить старшему викарию. Так они и сделали.

Старшим викарием был в то время некто г-н Эбер, человек пожилой и опытный, резкий, но справедливый и просвещенный. Ему подробно рассказали о неурядицах в монастыре; нет сомнения, что неурядицы эти были велики, но если я и была их причиной, то причиной поистине невольной. Вы, конечно, понимаете, что в посланном ему донесении не были забыты ни мои ночные прогулки, ни мое отсутствие в хоре, ни суматоха, происходившая в моей келье; в нем было все — и то, что видела одна, и то, что слышала другая, и мое отвращение к святыням, и мои богохульства, и приписываемые мне непристойные поступки; а что касается приключения с молодой монахиней, то из него сделали настоящее преступление. Обвинения были так многочисленны и так серьезны, что при всем своем здравом смысле г-н Эбер не мог не поддаться этому обману хотя бы частично и решил, что в них значительная доля правды. Дело показалось ему достаточно важным, чтобы заняться им лично. Он предупредил о своем посещении и явился в сопровождении двух состоявших при нем молодых священников, помогавших ему в его трудных обязанностях.

Незадолго перед этим, ночью, кто-то тихо вошел в мою келью. Я ничего не сказала, выжидая, чтобы со мной заговорили, и чей-то тихий, дрожащий голос окликнул меня:

— Сестра Сюзанна, вы спите?

— Нет, не сплю. Кто это?

— Это я.

— Кто — вы?

— Ваша подруга. Я умираю от страха и рискую погубить себя, но хочу дать вам один совет, хотя и не знаю, поможет ли он вам. Слушайте: завтра или послезавтра к нам должен приехать старший викарий; вас будут обвинять, приготовьтесь защищаться. Прощайте. Мужайтесь, и да пребудет с вами бог.

Сказав это, она исчезла как тень.

Как видите, повсюду, даже в монастырях, есть сердобольные души, которые ничто не может ожесточить.

Между тем за моим процессом следили с горячим пристрастием; множество лиц обоего пола, разного общественного положения и состояния, с которыми я не была знакома, заинтересовались моей судьбой и ходатайствовали за меня. Вы, сударь, принадлежали к их числу, и, может быть, история моего процесса известна вам лучше, чем мне самой, так как к концу его я больше не имела возможности беседовать с г-ном Манури. Ему сказали, что я больна; он заподозрил, что его обманывают, и, предположив, что меня заперли в карцер, обратился к архиепископу, который не удостоил его выслушать, так как был предупрежден, что я безумная, а может быть, и нечто похуже. Тогда г-н Манури обратился к судьям, настаивая на выполнении приказа, согласно которому настоятельница была обязана предъявлять меня по первому требованию живой или мертвой. Началось препирательство между церковными судьями и светскими. Первые поняли, какие последствия мог иметь подобный случай, и, видимо, именно это ускорило посещение старшего викария. Обычно же эти господа не так уж торопятся вмешиваться в раздоры, постоянно происходящие в монастырях, так как по опыту знают, что их авторитет всегда можно обойти или подорвать.

Я воспользовалась предупреждением подруги и, призывая на помощь бога, старалась укрепить свой дух и подготовиться к защите. Я молила небо об одном — о счастье быть допрошенной и выслушанной без пристрастия, и я добилась этого счастья, но сейчас вы узнаете, какой ценой. Если в моих интересах было предстать перед моим судьей ни в чем не повинной и разумной, то моей настоятельнице было не менее важно, чтобы он увидел меня злобной, одержимой, преступной и безумной. И в то время как я удвоила свое молитвенное рвение, она удвоила свою жестокость. Теперь мне давали ровно столько пищи, сколько требовалось, чтобы не умереть с голода; меня измучили преследованиями и старались запугать еще больше; мне теперь совсем не давали спать по ночам; словом, было пущено в ход все, что могло подорвать здоровье и помутить рассудок. Вы не можете себе представить всю утонченность этих пыток. Судите по следующим выходкам.

Как-то раз, выйдя из кельи и направляясь в церковь или куда-то в другое место, я увидела, что на полу в коридоре валяются каминные щипцы. Я нагнулась, чтобы поднять их и положить в такое место, где их легко могли бы найти, но в полумраке не разглядела, что они были раскалены почти докрасна. Я схватила их и тотчас же выпустила из рук, но при падении они

содрали почти всю кожу с моей ладони. В тех местах, где я должна была проходить ночью, кто-то бросал на пол разные предметы, чтобы я споткнулась, или подвешивал их на уровне моей головы,— так что я постоянно ушибалась. Сама не понимаю, как это я не разбилась до смерти. Мне нечем было посветить себе, и приходилось идти, дрожа от страха, вытянув перед собой руки. Мне сыпали под ноги битое стекло. Я твердо решила рассказать обо всех этих издевательствах и до некоторой степени сдержала слово. Дверь в отхожее место часто оказывалась запертой, и мне приходилось спускаться с нескольких этажей и бежать в глубь сада, если калитка была отперта, а если нет... Ах, сударь, как злы эти женщины-затворницы, когда они уверены в том, что способствуют утолению ненависти своей настоятельницы, и верят, что, повергая вас в отчаяние, служат богу! Да, пора было приехать старшему викарию, пора было кончиться моему процессу.

То была критическая минута моей жизни. Подумайте только, сударь, ведь я совершенно не знала, какими красками расписали меня этому священнослужителю, не знала, что он приедет, любопытствуя увидеть девушку, которая одержима дьяволом или притворяется одержимой. Было решено, что только сильный страх может привести меня в такое состояние. И вот что придумали для этой цели.

В день посещения старшего викария, ранним утром, настоятельница вошла в мою келью. С ней были три монахини. Одна несла кропильницу, другая — распятие, третья — веревки. Громким и угрожающим голосом настоятельница сказала мне:

— Поднимитесь... Станьте на колени и поручите вашу душу богу.

— Сударыня,— сказала я,— прежде чем я исполню ваше приказание, нельзя ли мне спросить у вас, что со мной будет, что вы решили со мной сделать и о чем я должна просить бога?

Все мое тело покрылось холодным потом, я дрожала, у меня подгибались колени. Я с ужасом смотрела на трех зловещих спутниц настоятельницы. Они стояли в ряд, лица их были мрачны, губы сжаты, глаза закрыты. Голос мой прерывался от страха после каждого произнесенного слова. Так как все молчали, мне показалось, что меня не расслышали, и я повторила последние слова своего вопроса,— у меня не хватило сил повторить его весь целиком. Итак, слабым, замирающим голосом я переспросила:

— Какой милости должна я просить у бога?

Мне ответили:

— Просите его отпустить вам грехи всей вашей жизни. Говорите с ним так, как если бы вы готовились предстать перед ним.

Когда я услыхала эти слова, мне пришло в голову, что они обсудили дело между собой и решили избавиться от меня. Я слышала, что такие случаи и в самом деле бывали в некоторых мужских монастырях, что монахи судят, выносят смертный приговор и сами приводят его в исполнение. Правда, я не думала, что такой бесчеловечный суд когда-либо имел место хоть в одном женском монастыре; но было столько вещей, о существовании которых я не подозревала и которые все же происходили здесь! При мысли о близкой смерти я хотела вскрикнуть, но, хотя рот мой был открыт, из него не вылетело ни звука. Я с мольбой протянула к настоятельнице руки, и мое бессильное тело откинулось назад. Я упала, но мое падение было безболезненным. В подобные минуты — минуты смертельного страха — силы оставляют нас, ноги подкашиваются, а руки повисают,— словно человеческий организм, не будучи в состоянии защитить себя, старается угаснуть незаметно. Я потеряла сознание и способность чувствовать; я только слышала вокруг себя неясный и отдаленный гул голосов. Быть может, кто-то разговаривал; быть может, у меня звенело в ушах. Я не различала ничего, кроме этого гула, который продолжался довольно долго. Не знаю, сколько времени пробыла я в таком состоянии, но меня вывело из него внезапное ощущение холода; я вздрогнула и глубоко вздохнула. Я насквозь промокла, вода стекала с моего платья на пол: на меня была опрокинута большая кропильница. Полумертвая, лежала я на боку, в луже воды, прислонившись головой к стене, с приоткрытым ртом и с закрытыми глазами. Я хотела было открыть их и оглядеться, но какой-то густой туман обволакивал меня, и сквозь него мне мерещились чьи-то развевающиеся одежды, к которым я тщетно пыталась прикоснуться. Я шевельнула свободной рукой, той, на которую не опиралась, и хотела поднять ее, но она показалась мне слишком тяжелой. Однако мало-помалу моя смертельная слабость стала проходить. Я приподнялась и села, прислонясь спиной к стене. Обе мои руки лежали в воде, голова свесилась на грудь, я издавала невнятные, прерывистые, мучительные стоны. Во взгляде смотревших на меня женщин я прочитала такую непреклонность, что примирилась с неизбежным и не решилась молить их о пощаде.

Настоятельница сказала:

— Поднимите ее.

Меня взяли под руки и подняли.

— Она не хочет поручить себя богу,— продолжала настоятельница,— тем хуже для нее. Вы знаете, что вам надлежит делать. Кончайте.

Я подумала, что принесенные веревки были предназначены для того, чтобы удавить меня, и посмотрела на них глазами, полными слез. Я попросила дать мне поцеловать распятие,— мне отказали в этом. Я попросила разрешения поцеловать веревки,— мне поднесли их. Я нагнулась, взяла нарамник настоятельницы, поцеловала его и сказала:

— Господи, смилуйся надо мной! Господи, смилуйся надо мной! Милые сестры, постарайтесь не очень мучить меня.

И я подставила им шею.

Не могу вам сказать, что со мной было, что со мной делали. Нет сомнения, что те, кого ведут на казнь,— а я думала, что меня ведут на казнь,— умирают до совершения ее. Я очнулась на соломенном тюфяке, служившем мне постелью; руки мои были связаны на спиной, я сидела с большим железным распятием на коленях...

...Господин маркиз, я понимаю, какую боль причиняю вам сейчас; но вы пожелали узнать, заслуживаю ли я, хотя бы в малой степени, того сострадания, которого я жду от вас...

Вот когда я почувствовала превосходство христианской религии над всеми религиями мира. Какая глубокая мудрость заключается в том, что слепая философия называет «безумием креста». Что мог бы мне дать в этом моем состоянии образ счастливого законодателя, увенчанного славой? Передо мной был невинный страдалец, угасающий в мучениях, с пронзенным боком, с терновым венцом на челе, с пригвожденными руками и ногами,— и я говорила себе: «Ведь это мой господь, а я еще смею жаловаться!..» Я прониклась этой мыслью и почувствовала, что утешение воскресает в моем сердце. Я познала ничтожество жизни и была более чем счастлива, что теряю ее, не успев умножить свои грехи. И все же, вспоминая о своей молодости — мне не было еще и двадцати лет,— я вздохнула: я была слишком слаба, слишком разбита, чтобы дух мой мог восторжествовать над страхом смерти. Мне кажется, что, будь я вполне здорова, я могла бы встретить ее с большим мужеством.

Между тем настоятельница и ее спутницы вернулись. Они обнаружили во мне большее присутствие духа, чем ожидали и чем бы им хотелось видеть. Они поставили меня на ноги и закрыли лицо покрывалом. Две взяли меня под руки, третья под-

толкнула сзади, и настоятельница велела мне идти вперед. Я шла, не видя куда, но думая, что иду на казнь, и повторяла «Господи, смилуйся надо мной! Господи, поддержи меня! Господи, не покинь меня! Господи, прости, если я чем-нибудь прогневала тебя».

Меня привели в церковь. Старший викарий служил там обедню. Вся община была в сборе. Забыла вам сказать, что, когда я входила в дверь, три сопровождавшие меня монахини стиснули меня, начали изо всех сил толкать и подняли возню, делая вид, что я сопротивляюсь и ни за что не хочу входить в церковь, хотя в действительности ничего подобного не было: одна тащила меня за руку, другие держали сзади. Я едва стояла на ногах. Меня подвели к ступенькам алтаря и, сильно потянув за руки, поставили на колени, словно я отказывалась сделать это добровольно. Меня все время крепко держали, как будто я намеревалась убежать. Запели *«Veni, Creator»*, выставили святые дары, и викарий благословил присутствующих. Во время благословения, когда все кладут поклоны, одна из державших меня сестер как бы насильно пригнула мне голову к земле, а остальные надавили руками на плечи. Я ощущала все эти движения, но не могла понять, какова была их цель. Наконец все разъяснилось.

После благословения старший викарий снял ризу и, облаченный лишь в стихарь и епитрахиль, направился к ступеням того алтаря, где я стояла на коленях. Он шел между двумя священниками, повернувшись спиной к алтарю, где были выставлены святые дары, а лицом ко мне. Он приблизился ко мне и сказал:

— Сестра Сюзанна, встаньте.

Державшие меня сестры резко подняли меня, другие окружили, обхватив за талию, словно боясь, что я вырвусь. Он добавил:

— Развяжите ее.

Монахини не выполнили его приказания, показывая знаками, что неудобно и даже опасно оставлять меня на свободе. Однако я уже говорила вам, что викарий был человек крутого нрава. Он повторил твердым и суровым голосом:

— Развяжите ее.

Они повиновались.

Как только мои руки освободились от веревок, я издала такой громкий и мучительный стон, что старший викарий побледнел, а лицемерные монахини, стоявшие около меня, разбежались как бы в испуге.

Он овладел собой, и сестры снова подошли ко мне, делая вид, что дрожат от страха. Я продолжала стоять неподвижно, и он спросил:

— Что с вами?

Вместо ответа я протянула ему обе руки: веревка, которой я была скручена, впилась мне в тело почти до кости, и руки совсем посинели от застоя крови. Он понял, что мой стон был вызван внезапной болью, причиненной восстановлением кровообращения, и сказал:

— Снимите с нее покрывало.

Перед этим, незаметно для меня, мое покрывало в нескольких местах пришили к платью, и теперь, снимая его, сестры опять проявили замешательство и много ненужного усердия: им непременно хотелось, чтобы этот священнослужитель увидел меня одержимой, бесноватой или безумной. Однако, когда они начали сильно дергать, нитки кое-где порвались, а кое-где порвалось покрывало и платье, и все увидели меня.

У меня привлекательное лицо. Сильные страдания изменили его, но выражение осталось то же. Звук моего голоса способен растрогать; чувствуется, что его интонации правдивы. Все это вместе произвело на молодых помощников старшего викария сильное впечатление, и их охватила жалость. Что до него самого, то ему было неведомо это чувство. Справедливый, но далеко не мягкосердечный, он принадлежал к числу людей, которые рождены служить добродетели, но которым, к несчастью, не дано вкусить ее сладость. Они делают добро, движимые чувством долга, повинуясь доводам рассудка. Он взял рукав своей епитрахили, возложил его мне на голову и спросил:

— Сестра Сюзанна, верите ли вы в бога отца, сына и святого духа?

Я ответила:

— Верую.

— Верите ли вы в нашу матерь святую церковь?

— Верую.

— Отрекаетесь ли вы от сатаны и дел его?

Вместо ответа я внезапно рванулась вперед, громко вскрикнула, и кончик рукава епитрахили старшего викария соскользнул у меня с головы. Он вздрогнул, спутники его побледнели. Среди сестер произошло смятение: одни убежали, другие с шумом вскочили со своих молитвенных скамей. Он знаком приказал им успокоиться, а сам смотрел на меня, ожидая чего-то необычайного. Я успокоила его, сказав:

— Сударь, не случилось ничего особенного. Просто кто-то из монахинь больно уколол меня чем-то острым.

И, подняв глаза и руки к небу, я добавила, заливаясь слезами:

— Меня ранили в ту самую минуту, когда вы спросили, отрекаюсь ли я от сатаны и от его гордыни, и я прекрасно понимаю, зачем это понадобилось...

Настоятельница от лица всех монахинь заявила, что никто ко мне не прикасался.

Старший викарий снова возложил мне на голову край своей епитрахили. Монахини хотели подойти ближе, но он знаком приказал им отойти в сторону, а затем снова спросил у меня, отрекаюсь ли я от сатаны и его деяний, и я твердо ответила:

— Отрекаюсь.

Он велел принести распятие и дал мне приложиться к нему. Я приложилась к изображению Христа, к его ступням, рукам и к ране в боку.

Он приказал мне вслух воздать хвалу господу. Я поставила распятие на пол, опустилась на колени и сказала:

— Господи, спаситель мой, умерший на кресте за мои грехи и грехи всего рода человеческого! Я поклоняюсь тебе! Спаси меня заслугою мук, которые ты принял, пролей на меня каплю крови, которою ты истекал, дабы я очистилась ею. Прости меня, боже, как я прощаю всем врагам своим...

Затем он сказал мне:

— Исповедуйте веру.— И я исполнила это.

— Исповедуйте любовь.— И я исполнила это.

— Исповедуйте надежду.— И я исполнила это.

— Исповедуйте милосердие.— И я исполнила это.

Не помню точно моих выражений, но, должно быть, они были возвышенны, ибо я исторгла рыдания у некоторых монахинь, два молодых священника прослезились, а викарий с удивлением спросил у меня, откуда я взяла молитвы, которые только что произнесла.

Я ответила ему:

— Из глубины моего сердца. Это мои собственные мысли и чувства — призываю в свидетели бога, который внемлет нам всюду и присутствует на этом алтаре. Я христианка, я ни в чем не повинна. Если я совершила какие-нибудь прегрешения, о них знает один бог, и только он имеет право потребовать меня к ответу и наказать за них.

При этих словах старший викарий грозно взглянул на настоятельницу.

Монахиня

Вскоре эта церемония, во время которой хотели оскорбить величие бога, надругаться над всем святым и подвергнуть осмеянию служителя церкви, пришла к концу. Монахини удалились, и остались лишь настоятельница, я и молодые священники. Старший викарий сел и, вынув полученное им донесение с выдвинутыми против меня обвинениями, прочитал его вслух, задавая мне вопросы по всем содержавшимся в нем пунктам.

— Почему вы никогда не исповедуетесь? — спросил он.

— Потому, что мне препятствуют в этом.

— Почему вы никогда не причащаетесь?

— Потому, что мне препятствуют в этом.

— Почему вы не присутствуете ни на литургии, ни на других богослужениях?

— Потому, что мне препятствуют в этом.

Настоятельница хотела было вмешаться, но он прервал ее со своей обычной резкостью:

— Замолчите, сударыня... Почему вы выходите по ночам из своей кельи?

— Потому, что мне не дают воды, отняли у меня кувшин и посуду, необходимую для отправления естественных потребностей.

— Почему по ночам слышен шум в вашем коридоре и в вашей келье?

— Это делается для того, чтобы лишить меня покоя.

Настоятельница снова хотела заговорить, но он сказал ей во второй раз:

— Сударыня, я уже велел вам молчать. Вы ответите тогда, когда я спрошу вас... Что это за история с монахиней, которую вырвали из ваших рук и нашли лежащей без чувств в коридоре?

— Это результат страха, который внушили ей по отношению ко мне.

— Это ваша подруга?

— Нет, сударь.

— Вы никогда не входили в ее келью?

— Никогда.

— Вы никогда не делали ничего непристойного ни с нею, ни с другими?

— Никогда.

— Почему вас связали?

— Не знаю.

— Почему ваша келья не запирается?

— Потому, что я сломала дверной замок.

— Для чего вы сломали его?

— Для того, чтобы открыть дверь и присутствовать на богослужении в день вознесения господня.

— Значит, в этот день вы появлялись в церкви?

— Да, сударь.

— Сударь, это неправда,— вмешалась настоятельница,— вся община...

— Вся община удостоверит,— перебила я ее,— что дверь на клирос была заперта, что монахини нашли меня лежащей на полу у этой двери и что вы приказали им топтать меня ногами, причем некоторые сделали это,— но я прощаю их, прощаю и вас, сударыня, хотя вы и отдали такое приказание. Я пришла сюда не обвинять, а защищаться.

— Почему у вас нет ни четок, ни распятия?

— Потому, что у меня отняли их.

— Где ваш требник?

— У меня отняли его.

— Как же вы молитесь?

— Я молюсь сердцем и умом, хотя мне и запретили молиться.

— Кто же запретил вам это?

— Настоятельница.

Настоятельница снова хотела заговорить.

— Сударыня,— сказал он,— правда это или ложь, что вы запретили ей молиться? Да или нет?

— Я думала, и имела основание думать, что...

— Дело не в этом. Запретили вы ей молиться? Да или нет?

— Я запретила ей, но...

— Но,— повторил он,— но... Сестра Сюзанна, почему вы ходите босая?

— Потому, что мне не дают ни чулок, ни башмаков.

— Почему ваше белье и платье так ветхи и так грязны?

— Потому, что уже более трех месяцев мне не дают чистого белья, и я вынуждена спать в одежде.

— Почему же вы спите в одежде?

— Потому, что у меня нет ни полога, ни матраца, ни одеяла, ни простынь, ни ночной рубашки.

— Почему же это так?

— Потому, что у меня все отобрали.

— Вас кормят?

— Я прошу об этом.

— Так, значит, вас не кормят?

Я промолчала, и он добавил:

— Не может быть, чтобы с вами обращались так сурово, если вы не совершили какого-нибудь серьезного проступка, заслуживающего наказания.

— Мой проступок в том, что я не призвана быть монахиней и хочу расторгнуть обет, который был дан мною против воли.

— Только суд может разрешить этот вопрос, и каково бы ни было его решение, вы временно должны исполнять все монашеские обязанности.

— Сударь, никто не выполняет их более усердно, нежели я.

— Вы должны пользоваться теми же правами, что и ваши товарки.

— Это все, о чем я прошу.

— У вас ни на кого нет жалоб?

— Нет, сударь, я уже сказала вам: я пришла сюда не обвинять, а защищаться.

— Идите.

— Куда я должна идти, сударь?

— В вашу келью.

Я сделала несколько шагов, потом вернулась и простерлась у ног настоятельницы и старшего викария.

— Что такое? В чем дело? — спросил он.

Я показала ему голову, разбитую в нескольких местах, окровавленные ноги, посиневшие худые руки, грязную разорванную одежду и сказала:

— Взгляните!

Я слышу ваш голос, господин маркиз, ваш и большинства тех, кто прочитает эти записки. «Какие ужасные злодеяния, и как они многочисленны, разнообразны, непрерывны! Какая утонченная жестокость в душе монахинь! Это невероятно!» — скажут они, скажете вы, и я соглашусь с вами. Однако все это правда, и пусть небо, которое я призываю в свидетели, накажет меня со всей суровостью и осудит на вечные муки, если я позволила клевете омрачить легкой тенью хотя бы одну из этих строк. Несмотря на то, что я долгое время испытывала на себе враждебность настоятельницы и ясно видела, как сильно возрастает врожденная испорченность некоторых монахинь под влиянием этой враждебности, толкавшей их на злобные выходки и даже награждавшей за них,— чувство обиды никогда не помешает мне быть справедливой. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь, что все случившееся со мной никогда не случалось и, может быть, никогда больше не случится ни с кем другим.

Один только раз (и дай бог, чтобы этот случай был первым и последним!) провидению понадобилось — а пути его неисповедимы — обрушить на голову одной страдалицы всю сумму жестокостей, предназначенных, в силу его непостижимых велений, на долю бесконечного множества несчастных обитательниц монастырей — ее предшественниц и ее преемниц. Я страдала, я много страдала, но участь моих гонительниц кажется и всегда казалась мне еще более достойной сожаления. Я предпочитала и предпочитаю умереть, нежели поменяться ролями с ними. Мои муки кончатся,— ваша доброта дает мне надежду на это,— а воспоминание о совершенном преступлении, стыд и упреки совести не покинут их до смертного часа. Они уже осознали свою вину, не сомневайтесь в этом; они будут сознавать ее всю жизнь, и страх перед наказанием сойдет в могилу вместе с ними. И все-таки, господин маркиз, мое теперешнее положение плачевно и жизнь для меня — тяжкое бремя. Я женщина, дух мой слаб, как у всех женщин, бог может меня покинуть. Я уже не чувствую в себе ни силы, ни мужества выносить дальше то, что выносила до сих пор. Бойтесь, господин маркиз, как бы не наступила роковая минута. Сколько бы вы ни оплакивали тогда мою участь, сколько бы ни терзались угрызениями совести, это не поможет мне выйти из бездны: я упаду в нее, и она навеки закроется над несчастной, которую довели до отчаяния.

— Идите,— сказал старший викарий.

Один из священников подал мне руку, чтобы помочь подняться, и старший викарий добавил:

— Я допросил вас, сейчас я допрошу вашу настоятельницу и не уеду отсюда до тех пор, пока порядок не будет восстановлен.

Я вышла. Всех остальных обитательниц монастыря я застала в тревоге. Монахини стояли на пороге своих келий и переговаривались друг с другом. Как только я появилась, они сейчас же ушли к себе, и все двери, одна за другой, с шумом захлопнулись. Я вернулась в свою келью и, упав на колени у стены, стала молить бога вознаградить меня за сдержанность, с какой я говорила со старшим викарием, и открыть последнему мою невинность, открыть ему истину.

Я еще молилась, когда старший викарий, оба его спутника и настоятельница вошли в мою келью. Я уже говорила, что у меня не было ни коврика, ни стула, ни скамеечки для молитвы, ни полога у кровати, ни матраца, ни одеяла, ни простынь, ни-

какой посуды; дверь в келью не запиралась, а в окнах не было почти ни одного целого стекла. Я встала. Старший викарий остановился в изумлении и, бросив на настоятельницу негодующий взгляд, сказал ей:

— Ну, сударыня?

— Я ничего не знала,— ответила она.

— Не знали? Вы лжете! Разве был хоть один день, чтобы вы не заходили сюда? И разве не здесь были вы сегодня перед тем, как пришли в церковь?.. Сестра Сюзанна, отвечайте, была здесь сегодня ваша настоятельница?

Я молчала. Он не настаивал на ответе, но молодые священники стояли, опустив руки, понурив голову, устремив взор в землю, и вид их достаточно ясно говорил об испытываемом ими огорчении и изумлении. Затем все вышли, и я услыхала, как старший викарий сказал настоятельнице в коридоре:

— Вы недостойны оставаться в вашей должности. Вас следует сместить. Я подам жалобу епископу. Чтобы все это безобразие было устранено еще до моего отъезда.

И, направляясь к выходу, он добавил, качая головой:

— Это чудовищно. Христианки! Монахини! Человеческие существа! Это чудовищно.

После того со мной ни о чем больше не говорили, но мне принесли белье, платье, полог, простыни, одеяло, посуду, мой требник, Священное писание, четки, распятие; в окна вставили стекла; словом, было сделано все, чтобы уравнять мое положение с положением остальных монахинь. Выход в приемную был также разрешен мне, но только для деловых свиданий, связанных с моим процессом.

А дела мои шли плохо. Г-н Манури подал первую докладную записку, и она не произвела особого впечатления: в ней было слишком много рассуждений, слишком мало чувства и почти никаких доказательств. Нельзя полностью обвинять этого искусного адвоката. Я не разрешила ему набросить хоть малейшую тень на репутацию моих родителей. Я просила его щадить монашество и, главное, монастырь, в котором я находилась. Я не хотела, чтобы он изобразил моих зятьев и сестер в слишком непривлекательном виде. В мою пользу говорил только мой первый протест, провозглашенный весьма торжественно, но высказанный в другом монастыре и впоследствии нигде не возобновленный. Когда вы ставите защитнику такие ограничения, имея дело с противником, который в своем нападении ни с чем не считается, попирает правду и неправду, утверждает и отрицает с одинаковым бесстыдством и не отступает ни перед ложным

обвинением или подозрением, ни перед злословием, ни перед клеветой, вам трудно одержать победу. Ведь в судах, где привычка к надоевшим и скучным делам мешает внимательно отнестись даже к важнейшим, на такие процессы, как мой, всегда смотрят косо из политических соображений, опасаясь, как бы успех монахини, расторгающей обет, не вызвал такого же шага со стороны бесконечного множества других. Втайне люди чувствуют, что, если позволить дверям этих тюрем распахнуться перед одной несчастной, целая толпа других ринется к ним и попытается прорваться силой. Поэтому они стараются отнять у нас мужество и заставить покориться судьбе, убив всякую надежду на ее изменение. Мне кажется, однако, что в хорошо управляемом государстве следовало бы, напротив, затруднить вступление в монастырь и облегчить выход оттуда. И почему бы не приравнять этот случай к множеству других, когда малейшее несоблюдение формальностей делает недействительной судебную процедуру, даже если она правильна во всем остальном? Разве монастыри так уж существенно необходимы для всякого государственного устройства? Разве это Иисус Христос учредил институт монахов и монахинь? Разве церковь не может обойтись без них совершенно? Зачем нужно небесному жениху столько неразумных дев, а роду человеческому — столько жертв? Неужели люди никогда не поймут, что необходимо сузить жерло той бездны, где гибнут будущие поколения? Стоят ли все избитые молитвы одного обола, подаваемого бедняку из сострадания? Может ли бог, сотворивший человека существом общественным, допустить, чтобы его запирали в келье? Может ли бог, создавший его столь непостоянным, столь слабым, узаконивать опрометчивые его обеты? И разве могут эти обеты, идущие вразрез со склонностями, заложенными в нас самой природой, строго соблюдаться кем-либо, кроме немногих бессильных созданий, у которых зародыши страстей уже зачахли и которых по праву можно было бы отнести к разряду уродов, если бы наши познания позволяли нам так же легко и ясно разбираться в духовном строении человека, как в его телесной структуре? Разве мрачные обряды, соблюдаемые при принятии послушничества и при пострижении, когда мужчину или женщину обрекают на монашество и на несчастье,— разве они искореняют в нас животные инстинкты? И, напротив, не пробуждаются ли эти инстинкты, благодаря молчанию, принуждению и праздности, с такою силой, какая неведома мирянам, отвлекаемым множеством развлечений? Где можно встретить умы, одержимые нечистыми видениями, которые неотступно преследуют

их и волнуют? Где можно встретить глубокое уныние, бледность, худобу — все эти признаки чахнущей и изнуряющей себя человеческой природы? Где слышатся по ночам тревожные стоны, а днем льются беспричинные слезы, которым предшествует беспредметная грусть? Где природа, возмущенная принуждением, ломает все поставленные перед нею преграды, приходит в неистовство и ввергает человека в такую бездну разврата, от которой нет исцеления? В каком другом месте и печаль и злоба уничтожили все общественные инстинкты? Где нет ни отца, ни брата, ни сестры, ни родных, ни друга? Где человек, считая себя явлением временным и быстропреходящим, относится к самым нежным узам в мире, как путник относится к встреченным в пути предметам,— без всякой привязанности к ним? Где обитают ненависть, отвращение и истерия? Где живут рабство и деспотизм? Где царит неутолимая злоба? Где тлеют созревшие в тиши страсти? Где развиваются жестокость и любопытство? «Никто не знает истории этих убежищ,— говорил впоследствии г-н Манури в своей речи на суде,— никто не знает ее». «Дать обет бедности,— добавлял он в другом месте,— значит поклясться быть лентяем и вором. Дать обет целомудрия — значит обещать богу постоянно нарушать самый мудрый и самый важный из его законов. Дать обет послушания — значит отречься от неотъемлемого права человека — от свободы. Если человек соблюдает свой обет — он преступник, если он нарушает его — он клятвопреступник. Жизнь в монастыре — это жизнь фанатика или лицемера».

Одна девушка просила у родителей разрешения вступить в наш монастырь. Отец сказал, что он согласен на это, но дает ей три года на размышление. Девушке, которая была исполнена религиозного пыла, это условие показалось слишком тяжелым. Однако пришлось подчиниться. Ее призвание не обмануло ее, она снова пришла к отцу и напомнила, что три года прошли. «Вот и хорошо, дитя мое,— ответил он.— Я дал вам эти три года, чтобы испытать вас; надеюсь, что и вы не откажете дать мне столько же, чтобы мог решиться я сам». Это показалось ей еще более мучительным. Были пролиты слезы, но отец был твердый человек и настоял на своем. По прошествии шести лет она вступила в монастырь и там приняла постриг. Это была хорошая монахиня, простодушная, благочестивая, добросовестно выполнявшая свои обязанности; но случилось, что духовники злоупотребили ее искренними признаниями и донесли церковному суду о том, что происходило в монастыре. Наше монастырское начальство догадалось об этом: ее посадили под замок,

лишили возможности соблюдать религиозные обряды, и в конце концов она сошла с ума. Да и какой ум мог бы устоять против преследования пятидесяти женщин, которые с утра до вечера заняты единственно тем, что мучают вас? Еще до того матери этой затворницы расставили ловушку, ясно свидетельствующую о жадности, царящей в монастырях. Ей внушили мысль приехать в монастырь и посетить келью дочери. Она обратилась к старшему викарию, и он разрешил ей это. Она приехала, вбежала в келью. Каково же было ее удивление, когда она увидела лишь голые стены! Оттуда вынесли решительно все, рассчитав, что нежная и любящая мать не оставит дочь в таком положении. В самом деле, она заново обставила келью, купила дочери новое белье и платье, но заявила монахиням, что любопытство обошлось ей слишком дорого, что она не станет удовлетворять его в другой раз и что три-четыре таких посещений в год разорили бы остальных ее детей... Из тщеславия и стремления к роскоши родители приносят в жертву одних членов семьи, чтобы улучшить судьбу других. Монастырь — это темница, куда ввергают тех, кого общество выбросило за борт. Сколько матерей искупают одно тайное преступление другим, подобно тому как это сделала и моя мать!

Господин Манури подал вторую докладную записку, которая имела несколько больший успех. Хлопоты обо мне возобновились с новым жаром. Я еще раз обратилась к своим сестрам, обещая оставить в их полном и нерушимом владении наследство родителей. Был момент, когда мое дело приняло весьма благоприятный оборот, и я уже надеялась получить свободу. Тем горше оказалось мое разочарование. Дело разбиралось в суде и было проиграно. Это стало известно всей общине, а я еще ничего не знала. Началось какое-то оживление, суматоха, ликование, таинственное перешептывание, беспрестанные хождения монахинь к настоятельнице и друг к другу. Я трепетала, я не могла ни оставаться в своей келье, ни выйти оттуда. Ни одной подруги, к которой я могла бы броситься в объятия! О, это мучительное утро, утро суда! Я хотела молиться — и не могла; становилась на колени, стараясь сосредоточиться, начинала молитву, но мысли мои невольно уносились в суд: я видела судей, слышала речи адвокатов, обращалась к ним, прерывала моего защитника, так как мне казалось, что он плохо защищает мое дело. Я не знала в лицо никого из судей, но они вставали в моем воображении; одни были приветливы, другие мрачны, третьи

равнодушны. Трудно передать, в каком я была возбуждении, в каком смятении. Шум уступил место глубокой тишине. Монахини больше не разговаривали между собой. Мне показалось, что в хоре голоса их звучали более звонко, чем обычно,— во всяком случае, голоса тех, которые пели. Остальные не пели вовсе. По окончании церковной службы все разошлись в молчании. Я убеждала себя, что они так же взволнованы ожиданием, как и я, но в полдень шум и движение внезапно возобновились во всех углах. Двери начали открываться и закрываться, монахини ходили взад и вперед, вполголоса переговариваясь между собой. Я припала ухом к замочной скважине, и мне показалось, что, проходя мимо моей двери, все умолкали и шли на цыпочках. Я почувствовала, что проиграла дело, я больше не сомневалась в этом. Я стала метаться по келье. Я задыхалась, но не могла ни стонать, ни плакать; хватаясь за голову, я прижималась лбом то к одной стене, то к другой. Хотела было прилечь на постель, но мне помешало биение собственного сердца; да, я слышала, как стучало мое сердце, приподымая на груди платье. Таково было мое состояние, когда меня вызвали в приемную. Я спустилась по лестнице, но не решалась сделать ни шагу дальше. Монахиня, приходившая за мной, была так весела, что новость, приготовленная мне, не могла не быть печальной,— я сразу поняла это. И все же я пошла. У двери в приемную я вдруг остановилась и забилась в угол, я не могла совладать с собой. Наконец я вошла. В комнате никого не было. Я ждала. Лицу, вызвавшему меня, не разрешили войти в приемную до моего прихода: было ясно, что это посланный от моего адвоката, и, желая узнать, о чем мы будем говорить, монахини собрались, чтобы нас подслушать. Когда он вошел, я сидела, опустив голову на руку и облокотившись на решетку.

— Я от господина Манури,— сказал он.

— Чтобы сообщить мне, что дело проиграно? — спросила я.

— Сударыня, я ничего не знаю, но он передал мне это письмо, и когда он давал мне его, у него был очень удрученный вид. Я явился сюда немедленно, как он приказал.

— Дайте...

Он протянул мне письмо, и я взяла его, не меняя положения и не глядя на собеседника. Положив письмо на колени, я продолжала сидеть в той же позе.

— Ответа не будет? — спросил посланный.

— Нет,— ответила я.— Можете идти.

Он ушел, а я все еще сидела на прежнем месте, не в силах пошевелиться и не решаясь выйти из приемной.

В монастырях не дозволяется ни писать письма, ни получать их без разрешения настоятельницы. Ей показывают и те, которые получают, и те, которые пишут: следовательно, я должна была отнести ей это письмо. Я направилась к ее келье; путь туда показался мне бесконечным. Узник, выходя из своей камеры, чтобы выслушать смертный приговор, не мог бы идти медленнее, не мог быть более удручен, чем я в эту минуту. Наконец я все-таки оказалась у ее дверей. Монахини издали следили за мной; они ничего не хотели упустить из зрелища моего горя и моего унижения. Я постучала, мне отворили. У настоятельницы было несколько монахинь. Я видела только подол их одежд, так как не могла решиться поднять глаза. Дрожащей рукой я протянула ей письмо; она взяла его, прочитала и отдала мне. Я вернулась в келью, бросилась на постель, положила письмо рядом с собой и, не читая его, лежала так, не спускаясь к обеду, не делая ни одного движения, до самой послеобеденной службы. В половине четвертого удар колокола заставил меня сойти вниз. В церкви собралось уже несколько монахинь. Настоятельница стояла у входа на хоры. Она остановила меня и приказала мне стать на колени за дверью. Остальные монахини вошли туда, и дверь закрылась. После службы все монахини вышли. Я пропустила их, потом встала и пошла за последней.

С этой минуты я решила подчиняться всему, чего бы от меня ни потребовали. Они запретили мне посещать церковь, и я сама запретила себе появляться в трапезной и в рекреационной зале. Я всесторонне обдумала свое положение и увидела, что теперь единственный источник спасения — в моей полнейшей покорности и в той выгоде, какую монастырь мог извлечь из моих талантов. В течение нескольких дней обо мне как будто совсем забыли, и я была бы довольна, если бы так продолжалось и дальше. Ко мне приходили посетители, но единственным, кого мне разрешили принять, был г-н Манури. Войдя в приемную, я застала его в той же самой позе, в какой сама приняла его посланного: он сидел, уронив голову на руки и облокотившись на решетку. Я узнала его, но ничего ему не сказала. Он не решался ни взглянуть на меня, ни заговорить.

— Сударыня,— сказал он наконец, не меняя положения,— я писал вам; прочли вы мое письмо?

— Я получила его, но не прочла.

— Значит, вы не знаете...

— Нет, сударь, я знаю все, я догадалась о своей участи и покорилась ей.

— Как обращаются с вами после этого?

— Пока обо мне не думают, но прошлое говорит о том, какое будущее меня ждет. У меня одно утешение — лишившись надежды, которая поддерживала меня раньше, я не смогу выносить такие страдания, какие выносила до сих пор: я умру. Мой проступок не из тех, какие прощают в монастырях. Я не прошу у бога, чтобы он смягчил сердца женщин, во власть которых ему угодно было меня отдать; я прошу его только даровать мне силы переносить страдания, спасти меня от отчаяния и поскорее призвать к себе.

— Сударыня,— сказал г-н Манури со слезами на глазах,— будь вы моей сестрой, я и тогда не смог бы сделать больше...

У этого человека доброе сердце.

— Сударыня,— продолжал он,— если я смогу быть чем-нибудь вам полезен, располагайте мною. Я пойду к председателю суда, он считается со мной. Я пойду к старшим викариям и к архиепископу.

— Сударь, не ходите никуда, все кончено.

— А если бы можно было перевести вас в другой монастырь?

— К этому имеется слишком много препятствий.

— Какие же это препятствия?

— Трудно получить разрешение, затем надо сделать новый вклад или получить обратно старый из этого монастыря. Да и что ждет меня в другой обители? Мое собственное окаменевшее сердце, безжалостные настоятельницы, монахини, которые не лучше здешних, те же обязанности, те же мучения. Лучше уж кончить мою жизнь здесь: она будет короче.

— Но ваша судьба, сударыня, вызвала сочувствие многих почтенных людей, и большинство из них богаты. Если вы уйдете, оставив вклад, вас не будут удерживать силой.

— Возможно.

— Монахиня, которая выходит из монастыря или же умирает, увеличивает благосостояние тех, которые остаются.

— Право же, эти почтенные богатые люди уже забыли обо мне, и они очень холодно встретят вас, когда окажется, что надо внести вклад за их счет. Почему вы думаете, что эти миряне охотнее освободят из монастыря монахиню, не имеющую призвания, чем ревнители благочестия окажут помощь девушке, которая идет в монастырь по призванию? А легко ли вносят вклады даже и за таких? Ах, сударь, все оставили меня с тех пор, как процесс проигран, я никого больше не вижу.

— Сударыня, поручите мне это дело; в нем я буду счастливее.

— Я ни о чем не прошу, ни на что не надеюсь, ничему не противлюсь. Единственная остававшаяся мне надежда разбита. Если бы я хоть могла рассчитывать, что бог изменит меня и что склонность к монашеству займет в моей душе место утраченной надежды его оставить... Но нет, это невозможно: монашеская одежда приросла к моей коже, к моим костям и теперь давит меня еще больше. О, какая судьба! Быть навеки прикованной к монастырю и чувствовать, что всегда будешь дурной монахиней! Всю жизнь биться головой о решетку своей тюрьмы!

В этот момент я зарыдала. Хотела подавить рыдания, но не могла.

Господин Манури был удивлен.

— Сударыня, могу ли я задать вам один вопрос? — спросил он.

— Прошу вас, сударь.

— Нет ли какой-нибудь тайной причины для такого сильного горя?

— Нет, сударь. Я ненавижу затворничество, я ненавижу его и чувствую, что буду ненавидеть всегда. Я не смогу стать рабой всего того вздора, который заполняет день монастырской отшельницы: он соткан из пустых ребяческих выходок, которые я презираю. Я бы примирилась с ними, если бы только могла. Сотни раз я пыталась переломить себя, но это оказывалось свыше моих сил. Я завидовала счастливому недомыслию моих товарок, я просила о нем у бога, но тщетно: бог не хочет даровать мне его. Я все делаю плохо, говорю не то, что нужно; отсутствие призвания чувствуется во всех моих поступках. Это видит каждый. Я то и дело оскорбляю устои монашеской жизни, мою непригодность к ней называют гордыней, меня стараются унизить, число провинностей и наказаний вырастает до бесконечности, и целый день я мысленно измеряю высоту стен.

— Сударыня, не в моих силах разрушить эти стены, но я могу сделать другое.

— Сударь, не пытайтесь что-либо сделать.

— Вы должны переменить монастырь, и я позабочусь об этом. Надеюсь, что меня не лишат возможности видеться с вами; я еще зайду к вам, я буду извещать вас о каждом своем шаге. Уверяю вас — если только вы согласитесь, мне удастся вырвать вас отсюда. Дайте знать, если с вами будут обращаться слишком сурово.

Когда г-н Манури ушел, было уже поздно. Я вернулась к себе. Вскоре зазвонили к вечерне. Я пришла в церковь одна из первых и остановилась у дверей, не дожидаясь, чтобы мне сказали об этом. В самом деле, настоятельница пропустила всех и заперла дверь передо мною. Вечером, во время ужина, она знаком приказала мне сесть на пол посреди трапезной. Я повиновалась, и мне дали только воды и хлеба. Я поела немного, смочив хлеб слезами. На следующий день был созван совет. Всю общину пригласили на суд, и приговор был таков: лишить меня часов отдыха, обязать в течение месяца слушать богослужение за дверью, ведущей на клирос, есть — сидя на полу посреди трапезной, три дня подряд совершать публичное покаяние, повторить обряд принятия послушничества и вторично произнести монашеский обет, носить власяницу, поститься через день и подвергать себя бичеванию после вечерни. Во время произнесения этого приговора я стояла на коленях с опущенным на лицо покрывалом.

На следующее утро настоятельница вошла ко мне в келью с монахиней, несшей власяницу и то самое платье из грубой материи, которое надели на меня перед тем, как отвести в карцер. Я поняла, что это означает: я разделась — вернее, с меня сорвали покрывало, стащили одежду и надели это платье. Голова моя была непокрыта, ноги босы, длинные волосы падали на плечи; вся моя одежда состояла из власяницы, грубой рубахи и длинного платья, закрывавшего меня всю, от подбородка до пят. В таком одеянии я оставалась целый день и появлялась на всех церковных службах.

Вечером, находясь в своей келье, я услыхала, что к двери подходят монахини с пением литаний: шла вся община, выстроившись в два ряда. Они вошли, я встала, мне накинули на шею веревку, вложили в одну руку зажженную свечу, а в другую плеть. Одна из монахинь взяла конец веревки, втащила меня в середину между двумя рядами монахинь, и процессия двинулась к маленькой внутренней молельне, посвященной святой Марии. Направляясь ко мне, монахини тихо пели, теперь же они двигались молча. Когда мы вошли в молельню, освещенную двумя лампадами, мне приказали просить прощения у бога и у всей общины за произведенный скандал. Монахиня, которая привела меня на веревке, шепотом говорила мне требуемые слова, а я точно повторяла их за ней. После этого с меня сняли веревку и раздели до пояса. Мои длинные волосы, разбросанные по плечам, скрутили и откинули на одну сторону, переложили плеть, которую я несла, из левой руки в правую и начали петь *«Mise-*

rere». Я поняла, чего от меня ждали, и исполнила это. После *«Miserere»* настоятельница прочитала мне краткое наставление, лампады погасили, монахини удалились, и я оделась.

Придя в свою келью, я почувствовала острую боль в ступнях. Я осмотрела их: они были до крови изрезаны осколками стекла, которые эти злобные женщины нарочно разбросали на моем пути.

Таким же образом я публично каялась еще два дня, только в последний день к *«Miserere»* добавили псалом.

На четвертый день мне вернули монашескую одежду, причем это было сделано почти с такой же торжественностью, с какой этот обряд совершается публично.

На пятый день я повторила свои обеты. В течение месяца я исполняла всю остальную наложенную на меня епитимью, после чего мое положение снова стало почти таким же, как положение остальных членов общины: я заняла свое место в хоре и в трапезной и наравне с другими исполняла различные монастырские обязанности. Каково же было мое изумление, когда я увидела вблизи юную монахиню, которая принимала такое участие в моей судьбе! Мне показалось, что она почти так же изменилась, как я: она была ужасающе худа, бледна как смерть, губы у нее побелели, а взгляд потух.

— Что с вами, сестра Урсула? — шепотом спросила я.

— Что со мной?! — воскликнула она.— Я так люблю вас, а вы спрашиваете, что со мной! Пора было кончиться вашим пыткам. Еще немного, и я бы умерла, глядя на них.

Если в два последних дня моего публичного покаяния я не поранила себе ноги, это случилось только потому, что она позаботилась потихоньку подмести коридоры и отбросить в сторону куски стекла. В те дни, когда я сидела на хлебе и воде, она лишала себя половины своей порции и, завернув в салфетку, бросала пищу мне в келью. Когда кинули жребий, кому из монахинь вести меня на веревке, жребий пал на нее, и у нее хватило мужества пойти к настоятельнице и заявить, что она скорее умрет, чем выполнит такую постыдную и жестокую обязанность. К счастью, эта девушка была из весьма состоятельной семьи и получала щедрое пособие, которое расходовала по усмотрению настоятельницы. За несколько фунтов сахара и кофе она нашла монахиню, которая ее заменила. Не смею думать, что недостойную покарала десница божия, но она сошла с ума и сидит теперь под замком. Что касается настоятельницы, то она здравствует, управляет, мучает и чувствует себя превосходно.

Мое здоровье не могло устоять против столь длительных и столь тяжких испытаний: я заболела. И тогда со всей силой проявились дружеские чувства, которые питала ко мне сестра Урсула. Я обязана ей жизнью. Правда, жизнь, которую она старалась мне сохранить, не являлась для меня благом, она сама не раз говорила об этом; тем не менее не было такой услуги, которой она бы мне не оказала в те дни, когда ее назначали в лазарет. Да и в остальное время я не была заброшена, благодаря ее участию ко мне и небольшим подаркам, которыми она оделяла ухаживавших за мной монахинь, в зависимости от того, насколько я была ими довольна. Она просила разрешения ходить за мной и ночью, но настоятельница ей в этом отказала под предлогом, что она слишком слабого здоровья и что ей это будет не по силам. Это было для нее настоящим горем. Несмотря на все ее заботы, мне становилось все хуже и хуже. Я была при смерти, меня соборовали и причастили. За несколько минут до совершения этих таинств я попросила созвать ко мне всю общину, что и было исполнено. Монахини окружили мою кровать, среди них была и настоятельница. Моя юная подруга заняла место у изголовья и держала мою руку, обливая ее слезами. Полагая, что я хочу что-то сказать, меня приподняли и поддерживали в сидячем положении на двух подушках. Тогда, обратившись к настоятельнице, я попросила ее благословить меня, а также предать забвению совершенные мною проступки. Я попросила прощения у всех моих товарок за позор, который я на них навлекла. По моему желанию мне принесли множество мелочей, которые украшали мою келью или были в моем личном употреблении. Я попросила у настоятельницы разрешения распорядиться ими. Она согласилась. Я раздала их сестрам, которые служили ей пособницами в тот день, когда меня бросили в темницу. Я подозвала к себе монахиню, которая вела меня на веревке в день моего покаяния, и сказала, целуя ее и передавая ей мои четки и мое распятие:

— Милая сестра, поминайте меня в ваших молитвах и не сомневайтесь в том, что я не забуду вас, когда предстану перед богом...

И почему бог не призвал меня тогда к себе? Я шла к нему без всякой тревоги. Это такое великое счастье! И кому оно может выпасть на долю дважды? Кто знает, какой я буду в последнюю минуту,— а ведь она неизбежна. Пусть бог пошлет мне во второй раз те же страдания и дарует столь же спокойный конец. Я видела, как передо мной разверзлись райские врата, и верю, что так оно и было, ибо совесть не обманы-

вает в предсмертный час, а она обещала мне вечное блаженство.

После соборования я впала в какое-то летаргическое состояние. В течение всей ночи мое положение считали безнадежным. Время от времени ко мне подходили пощупать пульс. Я чувствовала, как проводили руками по моему лицу, и слышала голоса, звучавшие будто издали: «Конечности у нее уже совсем застыли... Нос похолодел... Она не дотянет до утра... Четки и распятие останутся вам...» И другой, разгневанный голос: «Уходите же, уходите, дайте ей умереть спокойно, достаточно вы ее мучили!..»

Сладостной была для меня минута, когда кризис миновал и я, открыв глаза, оказалась в объятиях моей подруги. Она не отходила от меня; провела всю ночь, ухаживая за мной, читая надо мной молитвы, давала мне целовать распятие и, отнимая его от моего рта, подносила к своим губам.

Увидев, что я широко раскрыла глаза, и услышав мой глубокий вздох, она подумала, что этот вздох — последний. Она начала кричать, называть меня ласкательными именами и молиться: «Боже, смилуйся над ней и надо мной! Боже, прими ее душу! Дорогой друг, когда вы предстанете перед господом, вспомните сестру Урсулу...» Я смотрела на нее с грустной улыбкой, роняя слезы и пожимая ей руку.

В это время прибыл г-н Бувар, монастырский врач. По отзывам, он прекрасно знал свое дело, но был деспотичен, надменен и резок в обращении.

Он грубо отстранил мою подругу, пощупал мне пульс и кожу. Его сопровождала настоятельница со своими фаворитками. Он задал несколько односложных вопросов о том, что со мной произошло, и сказал:

— Она поправится.

И, глядя на настоятельницу, которой, очевидно, его слова пришлись не по вкусу, повторил:

— Да, сударыня, она поправится; кожа в хорошем состоянии, жар уменьшился, и жизнь начинает светиться в ее глазах.

При каждом его слове радость озаряла лицо моей подруги, а на лицах настоятельницы и ее приспешниц отражалась досада, скрыть которую, несмотря на все старания, им не удавалось.

— Сударь, у меня вовсе нет желания жить.

— Тем хуже,— ответил он; потом что-то прописал и вышел.

Мне передавали, что во время летаргии я несколько раз говорила: «Дорогая матушка, я скоро буду с вами! Я вам все расскажу». Очевидно, я обращалась к своей бывшей настоя-

тельнице — я в этом не сомневаюсь. Я никому не оставила ее портрета; я хотела унести его с собой в могилу.

Прогноз г-на Бувара подтвердился: жар спал, обильный пот окончательно избавил меня от лихорадки. Не было больше сомнений, что я выздоровею. В самом деле, я поправилась, но выздоровление мое очень затянулось. Мне было суждено перенести в этом монастыре все горести, какие только можно испытать. Моя болезнь оказалась коварной. Сестра Урсула почти не покидала меня. Когда я начала набираться сил, она стала терять свои; пищеварение у нее расстроилось; после полудня она впадала в беспамятство, длившееся иногда по четверти часа. Тогда она была как мертвая, взор ее угасал, холодный пот выступал на лбу, собирался каплями и стекал по щекам; руки свисали, как плети. Только расшнуровав ее и расстегнув одежду, можно было несколько облегчить ее состояние. Когда она приходила в чувство, первой ее мыслью было отыскать меня, и я всегда оказывалась рядом с нею. Иногда же, сохраняя еще некоторые проблески сознания и чувства, она водила вокруг себя рукой, не раскрывая глаз. Это движение было достаточно красноречиво, и монахини, когда их касалась эта нащупывающая рука, которая безжизненно падала, не найдя того, кого искала, говорили мне:

— Сестра Сюзанна, она ищет вас; подойдите же к ней...

Я бросалась к ее ногам, клала ее руку к себе на лоб, и рука ее оставалась там до конца обморока. Когда она приходила в себя, то обращалась ко мне:

— Да, сестра Сюзанна, это мне суждено умереть, а вам — жить; я первая увижусь с нею, я буду ей говорить о вас, и она будет внимать мне со слезами. Если есть горькие слезы, то есть и сладостные, и если там, на небесах, любят, значит, там и плачут.

И, склонив голову ко мне на плечо, она заливалась слезами:

— Прощайте, сестра Сюзанна,— добавляла она,— прощайте, мой друг. Кто разделит с вами ваши горести, когда меня больше не будет? Кто, кто?.. Ах, дорогая подруга, как мне жаль вас! Я умираю, я чувствую, что умираю. Если б вы были счастливы, как мне горько было бы расставаться с жизнью!

Ее состояние пугало меня. Я говорила о ней с настоятельницей. Я хотела, чтобы Урсулу поместили в лазарет, чтобы ее освободили от церковных служб и от других тяжелых монастырских обязанностей, чтобы к ней пригласили врача, но мне постоянно отвечали, что это пустяки, что обмороки пройдут сами собой. А дорогая сестра Урсула ничего другого и не желала, как выполнять свой долг и во всем следовать установлен-

ному порядку. Однажды, побывав у заутрени, она больше не появлялась. Я решила, что ей очень плохо. Как только окончилась ранняя обедня, я побежала к ней. Она лежала совершенно одетая на кровати и сказала мне:

— Вот и вы, дорогой друг. Я была уверена, что вы поспешите ко мне, и ждала вас. Выслушайте меня. С каким нетерпением я ожидала вашего прихода! Мой обморок был таким глубоким и продолжительным, что я уже не надеялась прийти в себя и еще раз увидеть вас. Возьмите — вот ключ от моего иконостаса. Отоприте там шкафчик, снимите дощечку, которая делит надвое нижний ящик; за дощечкой вы найдете пакет с бумагами. Я никак не могла расстаться с ними, как ни опасно было хранить их и как ни мучительно было их перечитывать. Увы, буквы почти стерлись от моих слез! Когда меня не станет, вы эти бумаги сожжете...

Она была так слаба и в таком тяжелом состоянии, что не могла связно произнести и двух слов. На каждом слоге она останавливалась и говорила так тихо, что я с трудом слышала ее, хотя почти прильнула ухом к ее губам. Я взяла ключ, пальцем указала на иконостас; она утвердительно кивнула головой. Предчувствуя, что теряю ее, и не сомневаясь в том, что причиной ее тяжелого недуга была моя болезнь, пережитые ею огорчения и заботы, которыми она окружала меня, я в беспредельной скорби зарыдала. Я целовала ей лоб, глаза, лицо, руки, я просила у нее прощения, но мысли ее витали где-то далеко, и она не слышала моих слов. Одну руку она положила мне на лицо и гладила его. Мне казалось, что она меня не видит. Быть может, она даже думала, что я вышла, потому что вдруг она меня позвала:

— Сестра Сюзанна!

— Я здесь,— ответила я.

— Который час?

— Половина двенадцатого.

— Половина двенадцатого! Идите обедать. Идите и сразу же возвращайтесь.

Колокол ударил, нужно было покинуть ее. Когда я подошла к дверям, она снова меня окликнула, и я вернулась. С большим усилием она подставила мне щеки. Я поцеловала ее. Она взяла мою руку и крепко сжала в своей. Казалось, что она не хочет, не может расстаться со мной.

— Что делать, так, видно, нужно,— сказала она, выпуская мою руку,— так угодно богу. Прощайте, сестра Сюзанна. Дайте мне мое распятие.

Я вложила ей в руки распятие и ушла.

Все уже собирались встать из-за стола. Я обратилась к настоятельнице и в присутствии всех монахинь рассказала ей об опасном положении сестры Урсулы; я усиленно просила ее убедиться в этом лично.

— Ну, хорошо,— промолвила она,— придется ее навестить.

Она поднялась к Урсуле в сопровождении нескольких монахинь. Я следовала за ними. Они вошли в ее келью. Бедняжки уже не было в живых. Она лежала, вытянувшись на кровати, совсем одетая, склонившись головой на подушку. Рот был полуоткрыт, глаза закрыты; в руках она держала распятие. Настоятельница холодно на нее взглянула и сказала:

— Она умерла. Кто бы мог думать, что конец ее так близок! Это была превосходная девушка. Скажите, чтобы звонили в колокола, и наденьте на нее саван.

Я осталась одна у ее изголовья. Мне трудно описать вам мое горе, и все же я завидовала ее участи. Я подошла к ней, горько плакала, целовала множество раз, накрыла простыней ее лицо, черты которого уже начали изменяться. Потом я решила исполнить ее просьбу. Чтобы без помехи этим заняться, я подождала, пока все пошли в церковь. Тогда я открыла иконостас, сняла дощечку и нашла довольно большой сверток с бумагами, который и сожгла в тот же вечер. Эта девушка всегда была печальной; не помню, чтобы она когда-нибудь улыбнулась, за исключением одного раза во время своей болезни.

И вот я одна в монастыре, одна на всем свете, так как я не знаю ни единого живого существа, которое интересовалось бы мною. Об адвокате Манури я больше ничего не слышала. Я предполагала, что он натолкнулся на большие трудности или среди развлечений и дел совершенно забыл об услуге, которую обещал мне оказать. Я не очень досадовала на него. По своему характеру я склонна к снисходительности и могу все простить людям, кроме несправедливости, неблагодарности и бесчеловечности. Поэтому я оправдывала, как могла, адвоката Манури и всех мирян, которые проявили столько горячности в течение моего процесса и для которых потом я перестала существовать,— не сердилась и на вас, господин маркиз.

Неожиданно в монастырь прибыли наши церковные власти. Они приезжают, обходят все кельи, расспрашивают монахинь, требуют отчета как о духовном руководстве, так и о хозяйственном управлении монастырем и, в зависимости от отношения к своим обязанностям, либо устраняют неурядицы, либо увеличивают их.

Итак, я снова увидела почтенного и сурового г-на Эбера, а также его двух молодых сострадательных помощников. Должно быть, они вспомнили, в каком плачевном состоянии предстала я перед ними в первый раз. Их глаза увлажнились, и я заметила на их лицах умиление и радость. Г-н Эбер сел и велел мне сесть напротив него. Молодые священники поместились за его стулом; их взгляды были устремлены на меня.

— Ну, сестра Сюзанна,— спросил г-н Эбер,— как теперь обращаются с вами?

— Обо мне забыли, сударь,— ответила я.

— Тем лучше.

— Я и не желаю ничего другого, но должна просить вас об очень большой милости: позовите сюда мать настоятельницу.

— Зачем?

— Если к вам поступят на нее какие-нибудь жалобы, она не преминет обвинить в этом меня.

— Понимаю, но все же скажите, что вы о ней знаете.

— Умоляю вас, сударь, пошлите за ней; пусть она сама слышит ваши вопросы и мои ответы.

— Нет, скажите.

— Сударь, вы меня погубите.

— Не бойтесь. С нынешнего дня вы больше не под ее властью. Еще на этой неделе вы будете переведены в монастырь Святой Евтропии, близ Арпажона. У вас есть добрый друг.

— Добрый друг? Я такого не знаю.

— Это ваш адвокат.

— Господин Манури?

— Он самый.

— Я не думала, что он еще помнит обо мне.

— Он виделся с вашими сестрами, был у архиепископа, у старшего председателя суда, у ряда лиц, известных своим благочестием. Он внес за вас вклад в монастырь, который я вам сейчас назвал, и вам остается провести здесь всего несколько дней. Итак, если вам известны здесь какие-нибудь непорядки, вы можете, не навлекая на себя неприятностей, довести их до моего сведения. Вас к этому обязывает святой обет послушания.

— Я ничего не знаю.

— Как! Разве они не прибегали к особо крутым мерам по отношению к вам после того, как вы проиграли процесс?

— Они считали, и должны были считать, мой отказ от обета тяжким грехом и потребовали, чтобы я испросила прощение у господа.

— Но в каких условиях было испрошено прощение, вот что мне хотелось бы знать.

И, произнося эти слова, он покачивал головой и хмурил брови. Я поняла, что только от меня зависит отплатить настоятельнице, хотя бы частично, за все удары плетью, которые я нанесла себе по ее приказанию. Но это не входило в мои намерения. Старший викарий, убедившись, что он ничего от меня не узнает, удалился, предложив мне держать в тайне то, что сказал о моем переводе в арпажонский монастырь св. Евтропии.

Когда почтенный викарий вышел в коридор, оба его спутника обернулись и поклонились мне очень приветливо и ласково. Я не знаю, кто они, но да сохранит им господь их мягкосердечие и сострадательность, столь редкие у людей их звания и столь необходимые тем, кому вверяются слабости человеческой души и кто ходатайствует о милосердии божием.

Я полагала, что г-н Эбер занят тем, что утешает, расспрашивает или наставляет какую-нибудь другую монахиню, но он снова пришел в мою келью.

— Откуда вы знаете господина Манури? — спросил он меня.

— По моему процессу.

— Кто вам его рекомендовал?

— Супруга председателя суда.

— Вам, должно быть, часто приходилось совещаться с ним во время вашего дела?

— Нет, сударь, я с ним редко виделась.

— Как же вы сообщали ему нужные сведения?

— Несколькими записками, составленными мною собственноручно.

— У вас есть копии этих записок?

— Нет, сударь.

— Кто передавал ему эти записки?

— Супруга председателя суда.

— Каким образом вы познакомились с нею?

— Меня с нею познакомила сестра Урсула, моя подруга и ее родственница.

— Виделись ли вы с господином Манури после того, как проиграли процесс?

— Один раз.

— Не много. Он вам не писал?

— Нет, сударь.

— И вы не писали ему?

— Нет, сударь.

— Он, несомненно, известит вас о том, что он для вас сделал. Я требую, чтобы вы не выходили к нему в приемную и, если он напишет вам прямо или через посредство каких-либо лиц, отослали мне это письмо, не вскрывая его,— слышите ли, не вскрывая.

— Хорошо, сударь, я исполню все в точности...

Не знаю, к кому относилась подозрительность г-на Эбера — ко мне или к моему благодетелю, но я почувствовала себя оскорбленной.

Господин Манури приехал в Лоншан в тот же вечер. Я сдержала слово, данное старшему викарию, и отказалась говорить с моим адвокатом. На следующий день он секретно переслал мне письмо, я получила его и, не вскрывая, отправила г-ну Эберу. Это случилось, насколько я помню, во вторник. Я все время с нетерпением ждала, к чему приведут обещания старшего викария и хлопоты г-на Манури. Среда, четверг, пятница прошли без всяких новостей. Как тянулись для меня эти дни! Я вся дрожала при мысли, что встретилось какое-нибудь препятствие и все расстроилось. Я не получала свободы, но я меняла тюрьму, а это было уже немало. Одно счастливое обстоятельство порождает в нас надежду на второе, откуда, быть может, и возникла пословица: «Удача родит удачу».

Мне хорошо были знакомы товарки, которых я покидала, и нетрудно было предположить, что я кое-что выиграю, живя с другими узницами. Каковы бы они ни были, они не могли оказаться более злыми и более враждебно настроенными по отношению ко мне. В субботу утром, около девяти часов, в монастыре поднялась суматоха. Нужен сущий пустяк, чтобы взбудоражить монахинь. Они ходили взад и вперед, о чем-то шептались. Двери келий открывались и закрывались. В монастыре все это является, как вы могли уже сами убедиться, верным признаком чрезвычайных событий. Я была одна в своей келье. Сердце у меня сильно билось. Я прислушивалась у двери, смотрела в окно, металась, не зная, за что взяться. Я говорила себе, трепеща от радости: «Это приехали за мной, сейчас я вырвусь отсюда...» И я не ошиблась.

Ко мне явились две незнакомые женщины — монахиня и сестра привратница арпажонского монастыря. Они в нескольких словах ознакомили меня с целью своего приезда. В сильном волнении я собрала свои пожитки и бросила их как попало в передник привратницы, которая связала их в свертки. Я не выразила желания проститься с настоятельницей. Сестры Урсулы уже не было в живых, и я никого здесь не покидала. Спускаюсь,

мне открывают двери, осмотрев предварительно то, что я увожу с собой; сажусь в карету и пускаюсь в путь.

Старший викарий со своими молодыми помощниками, супруга председателя суда и г-н Манури собрались у настоятельницы арпажонского монастыря; они были предупреждены о моем отъезде из Лоншана. Дорогой монахиня расхваливала мне свой монастырь, а привратница добавляла, как припев, к каждой фразе: «Истинная правда...» Она была счастлива, что, когда посылали за мной, выбор пал на нее, и предлагала мне свою дружбу. Вот почему она доверила мне кое-какие секреты и дала несколько советов относительно того, как я должна себя вести. Эти советы были, очевидно, пригодны для нее, но никак не для меня.

Не знаю, видели ли вы арпажонский монастырь. Это четырехугольное здание, выходящее фасадом на большую дорогу, а задней стороной — на поля и сады. В каждом окне фасада виднелись одна, две или три монахини. Это обстоятельство больше говорило о порядках, царящих в монастыре, чем все рассказы монахини и сестры привратницы. По всей вероятности, они узнали нашу карету, потому что в мгновение ока все эти окутанные покрывалами головки скрылись. Я подъехала к воротам моей новой тюрьмы. Настоятельница вышла ко мне навстречу с распростертыми объятиями, обняла меня, поцеловала, взяла за руку и повела в монастырскую залу, куда несколько монахинь успели уже прийти, а другие прибежали потом.

Эту настоятельницу зовут г-жа ***. Не могу противостоять желанию описать ее вам, прежде чем продолжить рассказ. Это маленькая женщина, очень полная, но живая и проворная; она постоянно вертит головой, в одежде у нее вечно какой-нибудь беспорядок; лицо скорее привлекательное, чем некрасивое: глаза, из которых один, правый, выше и больше другого, полны огня и бегают по сторонам. Когда она ходит, то размахивает руками; когда собирается что-нибудь сказать, то открывает рот, не успев еще собраться с мыслями; поэтому она немного заикается. Когда сидит, то ерзает на своем кресле, будто что-то ей мешает. Она забывает все правила приличия: приподнимает свой нагрудник и начинает чесаться, сидит, закинув ногу на ногу. Когда она спрашивает вас и вы ей отвечаете, она вас не слушает. Говоря с вами, она теряет нить своих мыслей, замолкает, не знает, на чем остановилась, сердится, обзывает вас

дурой, тупицей, разиней, если вы не поможете ей найти эту нить. Порой она так фамильярна, что обращается на ты, порой надменна и горда, чуть ли не обдает вас презрением; но важность напускает на себя ненадолго. Она то чувствительна, то жестока. Ее искаженное лицо свидетельствует о сумбурности ее ума и неуравновешенности характера. Порядок и беспорядок постоянно чередуются в монастыре: бывают дни полной неразберихи, когда пансионерки болтают с послушницами, послушницы с монахинями, когда бегают друг к другу в кельи, вместе пьют чай, кофе, шоколад, ликеры, когда службы справляются с непристойной поспешностью. И вдруг, посреди этой сумятицы, лицо настоятельницы меняется, звонит колокол, все расходятся по своим кельям, запираются; за шумом, криками и суматохой следует самая глубокая тишина: можно подумать, что в монастыре все внезапно вымерло. И тогда за малейшее упущение настоятельница вызывает виновную к себе в келью, распекает ее, приказывает раздеться и нанести себе двадцать ударов плетью. Монахиня повинуется, снимает с себя одежду, берет плеть и начинает себя истязать. Но не успевает она нанести себе несколько ударов, как настоятельница, внезапно преисполнившись сострадания, вырывает из ее рук орудие пытки и заливается слезами; она сетует на то, что несчастна, когда приходится наказывать, целует монахине лоб, глаза, губы, плечи, ласкает и расхваливает ее: «Какая у нее белая и нежная кожа! Как она сложена! Какая прелестная шея, какие чудные волосы! Да что с тобой, сестра Августина, почему ты смущаешься? Спусти рубашку, я ведь женщина и твоя настоятельница. Ах, какая очаровательная грудь, какая упругая! И я потерплю, чтобы все эти прелести были истерзаны плетью? Нет, нет, ни за что!..»

Она снова целует монахиню, поднимает ее, помогает одеться, осыпает ласковыми словами, освобождает от церковной службы и отсылает в келью. Трудно иметь дело с такими женщинами: никогда не знаешь, как им угодить, чего следует избегать и что надо делать. Ни в чем нет ни толку, ни порядка. То кормят обильно, то морят голодом. Хозяйство монастыря приходит в расстройство. Замечания принимаются враждебно либо оставляются без внимания. Настоятельницы с таким нравом или слишком приближают к себе, или чересчур отдаляют; они не держат себя на должном расстоянии, ни в чем не знают меры: от опалы переходят к милости, от милости к опале неизвестно почему. Если разрешите, я приведу один пустяк, который может служить примером ее управления монастырем. Два раза в году она бегала из кельи в келью и приказывала выбросить в окно

бутылки с ликерами, которые там находила, а через три-четыре дня сама посылала ликер большинству монахинь. Вот какова была та, которой я принесла торжественный обет послушания,— ибо наши обеты следуют за нами из одного монастыря в другой.

Я вошла вместе с нею; она вела меня, держа за талию. Подали угощение — фрукты, марципаны, варенье. Суровый викарий стал меня хвалить, но она прервала его:

— Они были неправы, неправы, я это знаю.

Суровый викарий собрался продолжать, но настоятельница опять прервала его:

— Почему они захотели от нее избавиться? Ведь она — воплощение кротости, сама скромность и, говорят, очень талантлива...

Суровый г-н Эбер хотел было договорить то, что начал, но настоятельница снова его перебила и шепнула мне на ухо:

— Я люблю вас до безумия. Когда эти педанты уйдут, я позову сестер, и вы нам споете какую-нибудь песенку. Хорошо?

Меня разбирал смех. Суровый, г-н Эбер несколько растерялся. Оба молодых священника, заметив мое и его замешательство, улыбнулись. Однако г-н Эбер тут же оправился и вернулся к своей обычной манере обращения: он резко приказал настоятельнице сесть и замолчать. Она села, но ей было не по себе. Она вертелась на стуле, почесывала голову, поправляла на себе одежду, хотя в этом не было надобности, зевала, а старший викарий держал речь в назидательном тоне о монастыре, который я покинула, о пережитых мною невзгодах, о монастыре, куда я вступила, о том, сколь многим я обязана людям, которые приняли во мне участие. При этих словах я взглянула на г-на Манури; он опустил глаза. Беседа приняла более общий характер. Тягостное молчание, предписанное настоятельнице, прекратилось. Я подошла к г-ну Манури и поблагодарила его за оказанные услуги. Я дрожала, запиналась, не знала, как выразить ему мою признательность. Мое смущение, растерянность, мое умиление,— ибо я в самом деле была очень растрогана,— слезы и радость вперемежку, все мое поведение было более красноречиво, чем могли быть мои слова. Его ответ был не более связен, чем моя речь. Он был так же смущен, как и я. Не знаю точно, что он сказал, но я поняла, что он более чем вознагражден, если ему удалось смягчить мою участь, что он будет вспоминать о том, что сделал, с еще большим удовольствием, чем я сама, что судебные дела, которые его удерживают в Париже, не позволят ему часто посещать арпажонский мона-

стырь, но что он надеется получить от г-на старшего викария и г-жи настоятельницы разрешение справляться о моем здоровье и моем душевном состоянии.

Старший викарий не расслышал последних слов, а настоятельница ответила:

— Сколько вам будет угодно, сударь; она будет делать что захочет. Мы постараемся загладить зло, которое ей причинили.

И добавила совсем тихо, обращаясь ко мне:

— Дитя мое, ты очень страдала? Как осмелились эти твари из лоншанского монастыря обижать тебя? Я знала когда-то твою настоятельницу, мы вместе были пансионерками в Пор-Рояле. Она была у нас бельмом на глазу. Мы еще успеем наговориться, ты мне обо всем расскажешь...

При этих словах она взяла мою руку и похлопала по ней своей ладонью. Молодые священники также сказали мне несколько любезных слов. Было уже поздно. Г-н Манури простился с нами. Старший викарий и его спутники направились к г-ну М***, сеньору Арпажона, куда были приглашены, и я осталась одна с настоятельницей, но ненадолго. Все монахини, все послушницы и пансионерки прибежали толпой. В мгновение ока я была окружена сотней незнакомок. Я не знала, кого слушать, кому отвечать. Каких только тут не было лиц, о чем только тут не болтали! Однако я заметила, что мои ответы и я сама не произвели дурного впечатления.

Когда эти надоедливые расспросы наконец кончились и первое любопытство было удовлетворено, толпа стала редеть. Настоятельница выпроводила всех еще остававшихся у нее и пошла сама устраивать меня в моей келье. Она на свой лад проявила ко мне радушие. Указывая на иконостас, она сказала:

— Тут мой дружок будет молиться богу. Я прикажу положить подушку на скамеечку, чтобы она не поцарапала себе коленки. В кропильнице нет ни капли святой воды, сестра Доротея вечно что-нибудь забудет. Сядьте в кресло, посмотрите, удобно ли вам...

Болтая таким образом, она усадила меня, прислонила мою голову к спинке кресла и поцеловала в лоб. Затем подошла к окну удостовериться, легко ли подымаются и опускаются рамы, к кровати — задернула и отдернула полог, чтобы испытать, плотно ли он сходится. Внимательно осмотрела одеяло:

— Одеяло неплохое.

Взяла подушку и, взбивая ее, сказала:

— Дорогой головке будет на ней очень покойно. Простыни грубоваты, но таковы все в общине, матрацы хороши...

Покончив с осмотром, она подошла ко мне, поцеловала и ушла. Во время этой сцены я думала про себя: «Что за безумное создание!» — и приготовилась к хорошим и к дурным дням.

Я устроилась в своей келье, затем отстояла вечерню, поужинала и направилась в рекреационную залу. Некоторые из находившихся там монахинь ко мне приблизились, другие отошли в сторону. Первые рассчитывали на мое влияние у настоятельницы, вторые уже были встревожены оказанным мне предпочтением. Несколько минут прошло во взаимных похвалах, в расспросах о монастыре, который я оставила; монахини пытались распознать мой характер, вкусы, наклонности, убедиться, умна ли я. Вас прощупывают со всех сторон, расставляют ряд ловушек, с помощью которых приходят к весьма правильным выводам. Например, принимаются о ком-нибудь злословить и смотрят на вас, начинают что-нибудь рассказывать и ждут, попросите вы продолжать или не проявите любопытства; если вы скажете что-нибудь самое обыденное, вашими словами восхитятся, хотя все прекрасно понимают, что в них нет ничего особенного; вас намеренно хвалят или порицают; стараются выпытать ваши самые сокровенные мысли; интересуются вашим чтением, предлагают книги духовные или светские и отмечают ваш выбор; побуждают вас в какой-нибудь мелочи нарушить монастырский устав; поверяют вам свои секреты; упоминают о странностях настоятельницы. Все принимается к сведению, обо всем судачат; вас оставляют в покое и снова за вас принимаются; выведывают ваше отношение к вопросам морали, к благочестию, религии, к мирской и монастырской жизни — словом, решительно ко всему. В результате таких повторных испытаний придумывается характерный для вас эпитет, который в виде прозвища добавляют к вашему имени. Так, например, меня стали называть сестра Сюзанна Скрытница.

В первый же вечер меня посетила настоятельница. Она пришла, когда я раздевалась. Она сама сняла с меня покрывало, головной убор и нагрудник, причесала на ночь, сама меня раздела. Она наговорила мне множество нежных слов, осыпала ласками, которые меня слегка смутили, не знаю почему, так как я ничего дурного в них не видела, да и она также. Даже теперь, когда я об этом думаю, я не понимаю, что тут могло быть предосудительного. Тем не менее я рассказала все моему духовнику. Он отнесся к этой фамильярности,— которая казалась мне тогда, да и теперь кажется, вполне невинной,— с большой серьезностью и решительно запретил мне впредь допускать ее. Она поцеловала мне шею, плечи, руки, похвалила округлость

моих форм и фигуру, уложила в постель, подоткнула с двух сторон одеяло, поцеловала глаза, задернула полог и ушла. Да, забыла еще упомянуть, что настоятельница, предполагая, что я утомлена, разрешила мне оставаться в постели, сколько мне заблагорассудится.

Я воспользовалась ее разрешением. Это, думается мне, была единственная спокойная ночь, проведенная мною в монастырских стенах, а я почти их не покидала. На следующее утро, около девяти часов, кто-то тихо постучал в мою дверь; я еще лежала в постели. Я откликнулась, вошла монахиня. Довольно сердитым тоном она заметила, что уже поздно и что мать настоятельница просит меня к себе. Я встала, поспешно оделась и побежала к ней.

— Доброе утро, дитя мое,— сказала она.— Хорошо ли вы провели ночь? Кофе вас ждет уже целый час. Думаю, что он вам придется по вкусу. Пейте его поскорей, а потом мы побеседуем.

Говоря это, она разостлала на столе салфетку, подвязала меня другой, налила кофе и положила сахар. Другие монахини тоже завтракали друг у друга. В то время как я ела, она рассказала о моих товарках, обрисовала мне их, руководствуясь своей неприязнью или симпатией, обласкала меня, засыпала вопросами об оставленном мною монастыре, о моих родителях, о пережитых мною огорчениях. Хвалила, осуждала, болтая, что взбредет в голову, ни разу не дослушав до конца моего ответа. Я ей ни в чем не перечила. Она осталась довольна моим умом, моей рассудительностью, моей сдержанностью. Между тем пришла одна монахиня, потом вторая, потом третья, четвертая, пятая. Заговорили о птицах настоятельницы. Одна рассказала о странных привычках какой-то сестры, другая подсмеивалась над разными слабостями отсутствовавших. Все пришли в веселое расположение духа. В углу кельи стояли клавикорды, и я по рассеянности стала перебирать клавиши. Только что прибыв в монастырь, я не знала сестер, над которыми трунили, и не находила в том ничего забавного. Впрочем, если бы я и знала их, это не доставило бы мне удовольствия. Нужно обладать очень тонким юмором, чтобы шутка была удачной, да и у кого же из нас нет смешных сторон? В то время как все смеялись, я взяла несколько аккордов и мало-помалу привлекла к себе внимание окружающих. Настоятельница подошла ко мне и, похлопав по плечу, сказала:

— А ну, сестра Сюзанна, позабавь нас — сначала сыграй что-нибудь, а потом спой.

Я сделала то, что она велела,— исполнила две-три пьесы, которые знала наизусть, потом импровизировала немного, наконец, спела несколько строф из псалмов на музыку Мондонвиля.

— Все это прекрасно,— заметила настоятельница,— но святости мы имеем достаточно в церкви. Чужих здесь никого нет, это все мои добрые приятельницы, которые станут и твоими; спой нам что-нибудь повеселей.

— Но, может быть, она ничего другого не знает,— возразили некоторые монахини.— Она устала с дороги, нужно ее поберечь; хватит на этот раз.

— Нет, нет,— заявила настоятельница,— она чудесно себе аккомпанирует, а лучшего голоса, чем у нее, нет ни у кого в мире. (И в самом деле, я пою недурно, но скорее могу похвалиться хорошим слухом, мягкостью и нежностью звука, чем силой голоса и широтой диапазона.) Я не отпущу ее, пока она нам не споет что-нибудь в другом роде.

Слова монахинь меня задели, и я ответила настоятельнице, что мое пение больше не доставляет удовольствия сестрам.

— Зато оно доставит удовольствие мне.

Я не сомневалась в таком ответе и спела довольно игривую песенку. Все захлопали в ладоши, стали хвалить меня, целовать, осыпать ласками, просили спеть еще — неискренние восторги, продиктованные ответом настоятельницы. Между тем среди присутствующих монахинь не было почти ни одной, которая не лишила бы меня голоса и не переломала бы мне пальцев, если б только могла. Те из них, которые, быть может, никогда в жизни не слышали музыки, позволили себе сделать по поводу моего пения какие-то нелепые и язвительные замечания, но это не произвело на настоятельницу никакого впечатления.

— Замолчите! — приказала она.— Сюзанна играет и поет, как ангел. Я хочу, чтобы она приходила ко мне каждый день. Я сама когда-то *немного играла* на клавесине; она должна помочь мне припомнить то, что я знала.

— Ах, сударыня,— возразила я,— что раньше умел, того никогда полностью не забудешь...

— Ну хорошо, я попробую; пусти меня на свое место...

Она взяла несколько аккордов и сыграла какие-то пьески — шальные, причудливые, бессвязные, как и ее мысли. Но, несмотря на все недостатки ее исполнения, я видела, что у нее гораздо больше беглости в пальцах, чем у меня. Я ей об этом сказала, потому что люблю отмечать чужие достоинства и редко

упускаю такой случай, если только похвала не противоречит истине. Это так приятно!

Монахини разошлись одна за другой, и я осталась почти наедине с настоятельницей. Мы заговорили о музыке. Она сидела, я же стояла рядом с ней. Она взяла мои руки и, пожимая их, сказала:

— Она не только прекрасно играет, у нее еще самые прелестные пальчики на свете. Взгляните-ка, сестра Тереза.

Сестра Тереза опустила глаза, покраснела и что-то пробормотала. Однако — прелестные у меня пальцы или нет, права настоятельница или нет — почему это произвело такое впечатление на сестру Терезу? Настоятельница обняла меня за талию и, восхищаясь моей фигурой, привлекла меня к себе, посадила на колени, приподняла мне голову и попросила смотреть на нее. Она восторгалась моими глазами, ртом, щеками, цветом лица. Я молчала, потупив глаза, и переносила все ее ласки покорно, как истукан. Сестра Тереза была рассеянна, встревожена, она ходила взад и вперед по келье, трогала без всякой надобности все, что ей попадалось под руку, не знала, что с собой делать, смотрела в окно, прислушивалась, не стучит ли кто-нибудь в дверь.

— Сестра Тереза, ты можешь уйти, если соскучилась с нами,— предложила ей настоятельница.

— Нет, сударыня, мне не скучно.

— У меня еще тысяча вопросов к этой малютке.

— Не сомневаюсь.

— Я хочу знать всю ее жизнь. Как я могу загладить зло, которое ей причинили, если мне ничего не известно? Я хочу, чтобы она поведала мне все свои горести, ничего не скрывая. Я уверена, что у меня сердце будет разрываться и я заплачу, но это неважно. Сестра Сюзанна, когда же я все узнаю?

— Когда вы прикажете, сударыня.

— Я бы попросила тебя немедля приступить к рассказу, если у нас есть еще время. Который час?..

— Пять часов, сударыня,— ответила сестра Тереза.— Сейчас ударят к вечерне.

— Пусть она все-таки начнет.

— Вы обещали, сударыня, уделить мне минутку и утешить меня перед вечерней. У меня возникают такие мучительные мысли. Я бы так хотела открыть свою душу вам, матушка. Без этого я не смогу молиться в церкви, не смогу сосредоточиться.

— Нет, нет,— перебила ее настоятельница,— ты с ума сошла; брось эти глупости. Держу пари, что знаю, в чем дело. Мы поговорим об этом завтра.

— Ах, матушка,— молила сестра Тереза, упав к ногам настоятельницы и заливаясь слезами,— лучше сейчас.

— Сударыня,— сказала я настоятельнице, поднимаясь с ее колен, на которых еще сидела,— согласитесь на просьбу сестры, прекратите ее страдания. Я уйду; я еще успею исполнить ваше желание и рассказать все о себе. Когда вы выслушаете сестру Терезу, она перестанет болеть душой.

Я сделала шаг к двери, чтобы выйти, но настоятельница удержала меня одной рукой. Сестра Тереза схватила другую ее руку и, стоя на коленях, покрывала поцелуями и плакала.

— Право, сестра Тереза,— промолвила настоятельница,— ты мне очень докучаешь своими тревогами. Я тебе уже об этом говорила, мне это неприятно и стеснительно. Я не хочу, чтобы меня стесняли.

— Я это знаю, но я не властна над своими чувствами; я бы хотела, но не могу...

Тем временем я ушла, оставив настоятельницу с молоденькой сестрой.

Я не могла удержаться, чтобы не посмотреть на нее в церкви. Она все еще оставалась угнетенной и печальной. Наши глаза несколько раз встретились. Мне показалось, что она с трудом выдерживает мой взгляд. Что же касается настоятельницы, то она задремала в своем заалтарном кресле.

Службу закончили с необычайной быстротой. Церковь, по-видимому, не являлась излюбленным местом в монастыре. Сестры выпорхнули из нее, щебеча как стая птиц, вылетающих из своей клетки. Они побежали друг к другу, смеясь и болтая. Настоятельница заперлась у себя, а сестра Тереза остановилась на пороге своей кельи, следя за мной, словно желая узнать, куда я направлюсь. Я вошла к себе, и только несколько минут спустя сестра Тереза бесшумно закрыла дверь своей кельи. Мне пришло на ум, что эта молодая девушка ревнует ко мне, что она боится, как бы я не похитила того места, которое она занимает в душе настоятельницы, и не лишила ее благоволения нашей матушки. Я наблюдала за нею несколько дней подряд, и когда ее злобные вспышки, ее ребяческий страх и упорная слежка за мной, ее внимание ко всем моим действиям, старания не оставлять нас вдвоем с настоятельницей, вмешиваться в наши беседы, умалять мои достоинства и подчеркивать мои недостатки, а еще более ее бледность, ее тоска, слезы, расстройство ее здоровья и, возможно, даже рассудка убедили меня в правильности моих подозрений, я пошла к ней и спросила:

— Милый друг, что с вами?

Она мне не ответила. Мое посещение застало ее врасплох, она смутилась. Она не знала, что сказать и что делать.

— Вы недостаточно справедливы ко мне. Будьте со мной откровенны. Вы боитесь, чтобы я не воспользовалась расположением ко мне нашей настоятельницы и не вытеснила вас из ее сердца. Успокойтесь, это не в моем характере. Если мне посчастливится добиться какого-нибудь влияния на нашу...

— Вы добьетесь всего, чего пожелаете. Она вас любит. Она делает для вас в точности то, что вначале делала для меня.

— Ну так не сомневайтесь, что я использую доверие, которое она мне окажет, только для того, чтобы усилить ее нежное чувство к вам.

— Разве это будет зависеть от вас?

— А почему бы и нет?

Вместо ответа она бросилась мне на шею и сказала, вздыхая:

— Это не ваша вина, я знаю, я себе это все время твержу, но обещайте мне...

— Что я должна обещать вам?

— Что... что...

— Говорите, я сделаю все, что будет от меня зависеть.

Она замялась, закрыла руками глаза и проговорила так тихо, что я с трудом расслышала:

— Что вы будете как можно реже видеться с ней...

Эта просьба показалась мне столь странной, что я не могла удержаться, чтобы не спросить:

— А какое для вас имеет значение, часто или редко вижусь я с нашей настоятельницей? Меня нисколько не огорчит, если вы будете хоть все время проводить с ней. И вас тоже не должно огорчать, если я буду часто с ней видеться. Разве вам мало моего обещания не вредить ни вам, ни кому бы то ни было другому?

Отойдя от меня и бросившись на кровать, она мне ответила только следующими словами, произнесенными тоном глубокого страдания:

— Я погибла!

— Погибли? Но почему же? Вы, как видно, считаете меня самым злым существом в мире!

В эту минуту вошла настоятельница. Она заходила в мою келью, не застала меня там и безрезультатно обошла почти весь монастырь. Ей и в голову не пришло, что я могла быть у сестры

Монахиня

Терезы. Когда она об этом узнала от тех сестер, которых послала меня искать, то поспешила сюда. Какое-то смятение отражалось в ее глазах и лице, но она ведь так редко бывала в ладу сама с собой.

Сестра Тереза молчала, сидя на своей кровати; я стояла рядом.

— Матушка,— обратилась я к настоятельнице,— простите, что я зашла сюда без вашего разрешения.

— Конечно,— ответила она,— было бы лучше попросить у меня разрешения.

— Мне стало жаль милую сестру, я видела, что она очень сокрушается.

— Из-за чего?

— Сказать ли вам? А почему бы не сказать? Такая чувствительность делает честь ее душе и так убедительно говорит о ее привязанности к вам. Знаки вашего расположения ко мне задели в ней самые чувствительные струны. Она боится, чтобы я не заняла первого места в вашем сердце. Это чувство ревности, столь достойное, естественное и лестное для вас, дорогая матушка, причинило, как мне кажется, страдание сестре, и я пришла ее успокоить.

Выслушав меня, настоятельница приняла строгий и внушительный вид.

— Сестра Тереза,— сказала она ей,— я вас любила и еще люблю. Я ни в чем не могу пожаловаться на вас, и вам не придется жаловаться на меня, но я не желаю выносить таких исключительных притязаний. Откажитесь от них, если не хотите утратить то, что осталось от моей привязанности к вам, и если еще помните судьбу сестры Агаты...

Тут, повернувшись ко мне, она пояснила:

— Это высокая брюнетка, которую вы видели в церкви напротив меня. (Я так мало общалась с другими монахинями, так недавно еще появилась в этом монастыре, была таким здесь новичком, что еще не знала имен всех моих товарок.) Я любила Агату,— продолжала настоятельница,— когда сестра Тереза вступила в наш монастырь и когда я начала ее баловать. Сестра Агата стала так же волноваться, совершала те же безумства. Я предупредила ее, но она не исправилась, и тогда мне пришлось прибегнуть к суровым мерам, которые применялись слишком долго и которые совершенно не соответствуют моему характеру; все сестры вам скажут, что я добра и наказываю только скрепя сердце...

Затем, снова обратившись к сестре Терезе, она прибавила:

— Дитя мое, я не потерплю никаких стеснений, я вам об этом уже говорила. Вы меня знаете, не доводите меня до крайности...

Потом, опершись на мое плечо, сказала мне:

— Пойдемте, сестра Сюзанна, проводите меня.

Мы вышли. Сестра Тереза хотела последовать за нами, но настоятельница, небрежно обернувшись через мое плечо, тоном, не терпящим возражений, приказала:

— Вернитесь в свою келью и не выходите оттуда, пока я вам не разрешу...

Та повиновалась, хлопнула дверью, и при этом у нее вырвались какие-то слова, от которых настоятельница вздрогнула, не знаю почему, так как они были лишены всякого смысла. Я заметила ее гнев и стала просить ее:

— Матушка, если вы сколько-нибудь расположены ко мне, простите сестру Терезу. Она потеряла голову, она не знает, что говорит и что делает.

— Простить ее? Охотно; но что я от вас за это получу?

— Ах, матушка, я была бы счастлива, если бы у меня нашлось что-нибудь, что могло бы вам понравиться и вас успокоить.

Она потупила глаза, покраснела и вздохнула — ну совсем как влюбленный. Затем прошептала, бессильно опираясь на меня, словно готовая лишиться чувств:

— Подставьте ваш лоб, я его поцелую.

Я наклонилась, и она поцеловала меня в лоб.

С той поры, когда какой-нибудь монахине случалось провиниться, я заступалась за нее и была уверена, что ценою самой невинной ласки добьюсь ее прощения. Она целовала мне лоб, шею, губы, руки или плечи, но чаще всего губы; она находила, что у меня чистое дыхание, белые зубы, свежий и алый рот.

Право, я была бы просто красавицей, если бы хоть в малейшей степени заслуживала тех похвал, которые она мне расточала. Любуясь моим лбом, она говорила, что он бел, гладок и прекрасно очерчен; о моих глазах она говорила, что они сверкают, как звезды; о моих щеках — что они румяны и нежны; она находила, что ни у кого нет таких округлых, словно точеных, рук с такими маленькими, пухлыми кистями; что грудь моя тверда, как камень, и чудесной формы; что такой изумительной, редкой по красоте шеи нет ни у одной из сестер. Чего только она мне не говорила — всего не перескажешь! Какая-то доля правды все же была в ее словах. Многое я считала преувеличением, но не все.

Иногда, окидывая меня с головы до ног восторженным взглядом, какого я никогда не замечала ни у одной женщины, она восклицала:

— Нет, это величайшее счастье, что господь призвал ее к затворничеству! С такой наружностью, живя в миру, она погубила бы всех мужчин, которые встретились бы на ее пути, и сама погибла бы вместе с ними. Все, что делает бог, он делает к лучшему.

Мы подошли к ее келье; я собиралась покинуть ее, но она взяла меня за руку и сказала:

— Слишком поздно начинать ваш рассказ о монастырях святой Марии и лонпанском; но входите, вы сможете дать мне коротенький урок музыки.

Я последовала за ней. Вмиг она открыла клавесин, поставила ноты, придвинула стул — она ведь была очень подвижна. Я села. Опасаясь, как бы я не озябла, она сняла подушку с одного стула, положила ее передо мной, нагнулась к моим ногам и поставила их на подушку. Сперва я взяла два-три аккорда, а затем сыграла несколько пьес Куперена, Рамо и Скарлатти. Тем временем она приподняла мой нагрудник и положила руку на мое голое плечо, причем кончики ее пальцев касались моей груди. Казалось, ей было душно, она тяжело дышала. Рука, лежавшая на моем плече, вначале его сильно сжимала, потом ослабела, как бы обессиленная и безжизненная, голова ее склонилась к моей. Право, эта сумасбродка была наделена необычайной чувствительностью и сильнейшей любовью к музыке. Я никогда не встречала людей, на которых музыка производила бы такое странное впечатление.

Так проводили мы время бесхитростно и приятно, как вдруг распахнулась дверь. Я испугалась, настоятельница тоже. Ворвалась эта шалая сестра Тереза; одежда ее была в беспорядке, глаза мутны; она с самым пристальным вниманием оглядывала нас обеих, губы ее дрожали, она не могла произнести ни слова. Однако она тут же пришла в себя и бросилась перед настоятельницей на колени. Я присоединила свои просьбы к ее мольбам и снова добилась ее прощения. Но настоятельница заявила ей самым решительным образом, что это в последний раз, по крайней мере, за провинности такого рода, и мы вышли вдвоем с Терезой.

По дороге в наши кельи я сказала ей:

— Милая сестра, будьте осторожны, вы восстановите против себя нашу матушку. Я вас не оставлю, но вы подорвете мое влияние на нее, и тогда, к великому сожалению, я уже ни в чем

не смогу помочь ни вам, ни кому бы то ни было. Но скажите мне, что вас тревожит?

Никакого ответа.

— Чего опасаетесь вы с моей стороны?

Никакого ответа.

— Разве наша матушка не может одинаково любить нас обеих?

— Нет, нет,— с горячностью воскликнула она,— это невозможно! Скоро я стану ей противна и умру от горя. Ах, зачем вы приехали сюда? Вы здесь недолго будете счастливы, я в этом уверена; а я стану навеки несчастной.

— Я знаю, что потерять благоволение настоятельницы — это большая беда,— сказала я,— однако я знаю другую, еще большую беду — если такая немилость заслужена. Но ведь вы ни в чем не можете себя упрекнуть.

— Ах, если бы это было так!

— Если вы в глубине души чувствуете за собой какую-нибудь вину, надо постараться ее загладить, и самое верное средство — это терпеливо переносить кару.

— Нет, я не могу, не могу, да и ей ли карать меня!

— Конечно, ей, сестра Тереза, конечно же ей! Разве так говорят о настоятельнице? Это не годится, вы забываетесь. Я уверена, что нынешняя ваша вина более серьезна, чем все те, за которые вы себя корите.

— Ах, если бы это было так,— повторила она,— если бы было так!..

И мы расстались. Она заперлась у себя в келье, чтобы предаться своему горю, я же в своей, чтобы поразмыслить над странностями женского характера.

Таковы плоды затворничества. Человек создан, чтобы жить в обществе; разлучите его с ним, изолируйте его — и мысли у него спутаются, характер ожесточится, сотни нелепых страстей зародятся в его душе, сумасбродные идеи пустят ростки в его мозгу, как дикий терновник среди пустыря. Посадите человека в лесную глушь — он одичает; в монастыре, где заботы о насущных потребностях усугубляются тяготами неволи, еще того хуже. Из леса можно выйти, из монастыря выхода нет. В лесу ты свободен, в монастыре ты раб. Требуется больше душевной силы, чтобы противостоять одиночеству, чем нужде. Нужда принижает, затворничество развращает. Что лучше — быть отверженным или безумным? Не берусь решать это, но следует избегать и того и другого.

Я замечала, что нежная привязанность, которую возымела

ко мне настоятельница, растет с каждым днем. Я постоянно заходила в ее келью, или же она бывала в моей. При малейшем недомогании она отсылала меня в лазарет. Она освобождала меня от церковных служб, разрешала рано ложиться, запрещала присутствовать на заутрене. В церкви, в трапезной, в рекреационной зале она находила возможность выказать мне свою благосклонность. На молитве, когда встречался какой-нибудь задушевный, трогательный стих, она пела, обращаясь ко мне, или пристально на меня смотрела, когда пел кто-нибудь другой. В трапезной она всегда посылала мне какое-нибудь вкусное блюдо, которое ей подавали, в рекреационной зале обнимала меня за талию и осыпала приветливыми и ласковыми словами. Какое бы подношение она ни получала — шоколад, сахар, кофе, ликеры, табак, белье, носовые платки,— она всем делилась со мной. Чтобы украсить мою келью, она опустошила свою и перенесла ко мне эстампы, утварь, мебель и множество приятных и удобных вещиц. Я не могла выйти на минутку из своей кельи, чтобы, вернувшись, не найти какого-нибудь подарка. Я бежала благодарить ее, и она испытывала радость, которую трудно передать. Она меня целовала, ласкала, сажала к себе на колени, посвящала в самые секретные монастырские дела и уверяла, что жизнь ее в монастыре будет протекать во сто крат более счастливо, чем если бы она оставалась в миру,— только бы я любила ее.

Как-то раз после такого разговора она посмотрела на меня растроганными глазами и спросила:

— Сестра Сюзанна, любите вы меня?

— Как же мне не любить вас, матушка? Не такая же я неблагодарная.

— Да, конечно.

— В вас столько доброты!

— Скажите лучше: столько нежности к вам...

При этих словах она опустила глаза. Одной рукой она все крепче обнимала меня, а другой, которая лежала на моем колене, все сильнее на него опиралась. Она привлекла меня к себе, прижалась лицом к моему лицу, вздыхала, откинулась на спинку стула, дрожала; казалось, что она должна что-то доверить мне и не решается. И, проливая слезы, она сказала:

— Ах, сестра Сюзанна, вы меня не любите!

— Не люблю вас, матушка?

— Нет.

— Скажите же, чем я могла бы вам это доказать.

— Догадайтесь сами.

— Я стараюсь догадаться, но не могу.

Она сбросила свою шейную косынку и положила мою руку себе на грудь. Она молчала, я тоже хранила молчание. Казалось, что она испытывает величайшее удовольствие. Она подставляла мне для поцелуев лоб, щеки и руки, и я целовала ее. Не думаю, чтобы в этом было что-нибудь дурное. Между тем испытываемое ею наслаждение все возрастало; а я, желая так невинно доставить ей еще больше счастья, снова целовала ей лоб, щеки, глаза и губы. Рука, лежавшая раньше на моем колене, скользила по моей одежде от самых ступней до пояса, сжимаясь то здесь, то там. Запинаясь, глухим, изменившимся голосом настоятельница просила не прекращать мои ласки. Я подчинилась. И наконец настала минута, когда она — не знаю, от сильного удовольствия или от страдания,— побледнела как мертвая; глаза ее закрылись, тело судорожно вытянулось, губы, сначала крепко сжатые, увлажнились, и на них выступила легкая пена. Потом рот полуоткрылся, она испустила глубокий вздох. Мне показалось, что она умирает. Я вскочила, решив, что ей стало дурно, и хотела выбежать, чтобы позвать на помощь. Она приоткрыла глаза и сказала мне слабым голосом:

— Невинное дитя! Успокойтесь. Куда вы? Постойте...

Я смотрела на нее, ничего не понимая, не зная, оставаться или уходить. Она совсем открыла глаза, но не могла произнести ни слова и знаком попросила меня приблизиться и снова сесть к ней на колени. Не знаю, что со мной происходило; я была испугана, вся дрожала, сердце у меня сильно билось, я тяжело дышала, чувствовала себя смущенной, подавленной, взволнованной; мне было страшно; казалось, что силы меня покидают и что я лишаюсь чувств. Однако я бы не сказала, что мои ощущения были мучительны. Я подошла к ней; она снова знаком попросила меня сесть к ней на колени. Я села. Она казалась мертвой, я — умирающей. Мы обе довольно долго оставались в таком странном положении. Если бы неожиданно вошла какая-нибудь монахиня — право, она бы перепугалась. Она вообразила бы, что мы либо потеряли сознание, либо заснули. Наконец моя добрая настоятельница — ибо невозможно обладать такой чувствительностью, не будучи доброй,— стала приходить в себя. Она все еще полулежала на своем стуле, глаза ее были закрыты, но лицо оживилось, на нем появился яркий румянец. Она брала то одну мою руку, то другую и целовала их.

— Матушка, как вы меня напугали! — сказала я ей.

Она кротко улыбнулась, не раскрывая глаз.

— Разве вам не было дурно?

— Нет.

— А я думала, что вам стало нехорошо.

— Наивное дитя! Ах, дорогая малютка, до чего она мне нравится!

Говоря это, она поднялась и снова уселась на свой стул, обняла меня обеими руками, крепко поцеловала в обе щеки и спросила:

— Сколько вам лет?

— Скоро исполнится двадцать.

— Не верится.

— Это истинная правда, матушка.

— Я хочу знать всю вашу жизнь; вы мне ее расскажете?

— Конечно, матушка.

— Все расскажете?

— Все.

— Однако сюда могут войти. Сядем за клавесин. Вы мне дадите урок.

Мы подошли к клавесину. Уж не знаю, по какой причине, но у меня дрожали руки, ноты сливались перед глазами, и я не могла играть. Я ей об этом сказала, она рассмеялась и заняла мое место, но у нее вышло еще хуже: она с трудом держала руки на клавишах.

— Дитя мое,— сказала настоятельница,— я вижу, что вы не в состоянии дать мне урок, а я не в состоянии заниматься. Я слегка утомлена, мне нужно отдохнуть. До свидания. Завтра, не откладывая, я должна узнать все, что происходило в этом сердечке. До свидания...

Обычно, когда мы расставались, она провожала меня до порога и смотрела мне вслед, пока я по коридору не доходила до своей кельи. Она посылала мне воздушные поцелуи и возвращалась к себе только тогда, когда я закрывала за собой дверь.

На этот раз она едва приподнялась и смогла лишь добраться до кресла, стоявшего у ее кровати, села, опустила голову на подушку, послала мне воздушный поцелуй, глаза ее закрылись, и я ушла.

Моя келья была почти напротив кельи сестры Терезы; дверь в нее была отворена. Тереза поджидала меня; она остановила меня и спросила:

— Ах, сестра Сюзанна, вы были у матушки?

— Да,— ответила я

— И долго вы там оставались?

— Столько времени, сколько она пожелала.

— А ваше обещание?

— Я ничего вам не обещала.

— Осмелитесь ли вы рассказать мне, что вы там делали?

Хотя совесть ни в чем меня не упрекала, все же не скрою от вас, господин маркиз, что ее вопрос меня смутил. Она это заметила, стала настаивать, и я ответила:

— Милая сестра, быть может, мне вы не поверите, но вы, наверно, поверите нашей матушке. Я попрошу ее рассказать вам обо всем.

— Что вы, сестра Сюзанна,— с жаром прервала она меня,— упаси вас боже! Вы не захотите сделать меня несчастной. Она мне этого никогда не простит. Вы ее не знаете: она способна от самой большой нежности перейти к величайшей жестокости. Не знаю, что тогда будет со мной! Обещайте ничего ей не говорить.

— Вы этого хотите?

— Я на коленях молю вас об этом. Я в отчаянии, я понимаю, что должна покориться, и я покорюсь. Обещайте мне ничего ей не говорить...

Я подняла ее и дала ей слово молчать. Она поверила мне и не ошиблась. Мы разошлись по своим кельям.

Вернувшись к себе, я не в состоянии была собраться с мыслями; хотела молиться — и не могла, старалась чем-нибудь заняться, взялась за одну работу и оставила ее, принялась за другую, но и ее бросила и перешла к третьей. Все валилось у меня из рук, я ничего не соображала. Никогда еще я не испытывала ничего подобного. Глаза мои слипались; я задремала, хотя днем никогда не сплю. Проснувшись, я стала разбираться в том, что произошло между мною и настоятельницей, я тщательно проверяла себя, и после долгих размышлений мне показалось, что... но это были такие смутные, такие безумные и нелепые мысли, что я их отбросила. В результате я пришла к выводу, что настоятельница, должно быть, подвержена какой-то болезни; а потом мне пришла и другая мысль — что, по-видимому, болезнь эта заразительна, что она передалась уже сестре Терезе и что мне тоже ее не миновать.

На следующий день после заутрени настоятельница сказала мне:

— Сестра Сюзанна, сегодня я надеюсь узнать все, что вам пришлось пережить. Идемте.

Я последовала за ней. Она усадила меня в свое кресло рядом с кроватью, а сама поместилась на более низком стуле. Я выше ростом, и сиденье мое было выше, поэтому я несколько

возвышалась над ней. Настоятельница находилась так близко от меня, что прижала свои колени к моим и облокотилась на кровать.

После минуты молчания я начала свой рассказ:

— Хотя я еще очень молода, но перенесла много горя. Вот уже скоро двадцать лет, как я живу на свете, и двадцать лет, как страдаю. Не знаю, сумею ли я вам все рассказать и хватит ли у вас сил меня выслушать. Много выстрадала я в родительском доме, страдала в монастыре святой Марии, страдала в лоншанском монастыре — всюду были одни страдания. С чего начать мне, матушка?

— С первых горестей.

— Но рассказ мой будет очень длинным и грустным; я бы не хотела огорчать вас так долго.

— Не бойся, я люблю поплакать; лить слезы — такое чудесное состояние для чувствительной души. Ты, наверно, тоже любишь плакать? Ты утрешь мои слезы, а я твои, и, может быть, когда ты будешь рассказывать о своих страданиях, мы будем счастливы. Как знать, куда приведет нас наше умиление?

При последних словах она посмотрела на меня снизу вверх уже влажными глазами. Она взяла меня за руки и еще больше придвинулась ко мне, так что мы касались друг друга.

— Рассказывай, дитя мое,— промолвила она,— я жду, я чувствую самую настоятельную потребность растрогаться. Кажется, за всю свою жизнь я никогда еще не была до такой степени преисполнена сострадания и нежности...

И вот я начала свой рассказ, почти совпадающий с тем, что я написала вам. Невозможно передать впечатление, которое он на нее произвел; как она вздыхала, сколько пролила слез, как негодовала против моих жестоких родителей, против отвратительных сестер из монастыря св. Марии и из лоншанского монастыря. Я бы не хотела, чтобы на них обрушилась хоть малая доля тех бед, которые она им желала. Нет, мне не хотелось бы, чтобы хоть волос упал из-за меня с головы моего злейшего врага.

Время от времени она меня прерывала, вставала и прохаживалась по комнате, потом снова садилась на свое место. Иногда она поднимала руки и глаза к небу, потом прятала лицо в моих коленях.

Когда я ей рассказывала о сцене в карцере, об изгнании из меня беса, о моем церковном покаянии, она чуть не рыдала. Когда же я дошла до конца и умолкла, она низко склонилась к своей кровати, уткнулась лицом в одеяло, заломила руки и долго оставалась в таком положении.

— Матушка,— обратилась я к ней,— простите меня за огорчение, которое я вам причинила. Я вас предупреждала, но вы сами захотели...

Она ответила лишь следующими словами:

— Злые твари! Подлые твари! Только в монастыре можно до такой степени утратить человеческие чувства. Когда к обычному дурному расположению духа присоединяется еще ненависть, они переходят уже все границы. К счастью, я кротка и люблю всех своих монахинь; одни из них в большей, другие в меньшей степени уподобились мне, и все любят друг друга. Но как такое слабое здоровье могло выдержать столько мучений? Как эти маленькие руки и ноги не надломились? Как такой хрупкий организм все это выдержал? Как блеск этих глаз не угас от слез? Безжалостные! Скрутить эти руки веревками! — И она брала мои руки и целовала их.— Затопить слезами эти глаза! — И она целовала мои глаза.— Исторгнуть жалобы и стоны из этих уст! — И она целовала меня в губы.— Затуманить печалью это прелестное и безмятежное лицо! — И она целовала меня.— Согнать румянец с этих щек! — И она гладила мои щеки и целовала их.— Обезобразить эту головку, вырывая волосы! Омрачить этот лоб тревогами! — И она целовала мне голову, лоб, волосы...— Осмелиться накинуть веревку на эту шею и раздирать острием бича эти плечи!

Она приподняла мой нагрудник и головной убор, расстегнула верх моего одеяния. Мои волосы рассыпались по голым плечам, моя грудь была наполовину обнажена, и она покрывала поцелуями мою шею, плечи и полуобнаженную грудь.

Тут я заметила по охватившей ее дрожи, по сбивчивости ее речи, по блуждающим глазам, по трясущимся рукам, по ее коленям, которые прижимались к моим, по пылкости и неистовству ее объятий, что припадок у нее не замедлит повториться. Не знаю, что происходило со мной, но меня охватил ужас: я вся дрожала, была близка к обмороку. Все это подтверждало мое подозрение, что болезнь ее заразительна.

— Матушка, в какой вид вы меня привели? Если кто-нибудь войдет...

— Останься,— просила она меня глухим голосом,— никто сюда не придет.

Но я старалась встать и вырваться от нее.

— Матушка,— сказала я ей,— поберегите себя, не то приступ вашей болезни снова повторится. Разрешите мне покинуть вас...

Я хотела уйти, я этого хотела,— в этом сомнения нет,— но

не могла. Я чувствовала полный упадок сил, ноги у меня подкашивались. Она сидела, а я стояла; она потянула меня к себе; я боялась на нее упасть и ушибить ее. Я села на край ее кровати и сказала ей:

— Матушка, не знаю, что со мной; мне дурно.

— И мне тоже,— ответила она.— Приляг, это пройдет, это пустяки.

В самом деле, настоятельница успокоилась, и я тоже. Мы обе были в изнеможении: я опустила голову на ее подушку, она склонила голову на мои колени и прижалась к моей руке. В таком положении мы оставались несколько минут. Не знаю, о чем она думала, я же ни о чем не могла думать: я была совершенно без сил.

Мы обе хранили молчание; настоятельница первая нарушила его и сказала:

— Сюзанна, судя по тому, что́ вы мне говорили о вашей первой настоятельнице, она, по-видимому, была вам очень дорога.

— Очень.

— Она любила вас не больше, чем я; но вы ее больше любили... Не так ли?

— Я была очень несчастна, она утешала меня в моих горестях.

— Но откуда у вас такое отвращение к монастырской жизни? Сюзанна, вы от меня что-то скрываете!

— Вы ошибаетесь, матушка.

— Не может быть, чтобы вам, такой очаровательной,— а вы полны очарования, дитя мое, вы даже сами не знаете, как оно велико,— не может быть, чтобы вам никто не говорил об этом.

— Мне говорили.

— А тот, кто говорил, вам нравился?

— Да.

— И вы почувствовали склонность к нему?

— Нет, нисколько.

— Как, ваше сердце никогда не трепетало?

— Никогда.

— Сюзанна, разве не страсть, тайная или порицаемая вашими родителями, причина вашей неприязни к монастырю? Доверьтесь мне, я снисходительна.

— Мне нечего доверить вам, матушка.

— Но все же скажите, что вызвало в вас такое отвращение к монастырской жизни?

— Сама эта жизнь. Я ненавижу весь ее уклад, обязанности, которые возлагаются на нас, затворничество, принуждение. Мне кажется, что мое призвание — в другом.

— Но почему вам это кажется?

— Потому, что меня гнетет тоска, я тоскую.

— Даже здесь?

— Да, матушка, даже здесь, несмотря на всю вашу доброту ко мне.

— Быть может, в глубине вашей души рождаются безотчетная тревога, какие-нибудь желания?

— Нет, никогда.

— Верю; мне кажется, что у вас спокойный нрав.

— В достаточной степени.

— Даже холодный.

— Возможно.

— Вы не знаете мирской жизни?

— Я мало ее знаю.

— Чем же она привлекает вас?

— Не могу сама себе уяснить, но, вероятно, в ней есть для меня какая-то прелесть.

— Не сожалеете ли вы о свободе?

— Конечно; а может быть, о многом другом.

— О чем же именно? Друг мой, говорите откровенно. Хотели бы вы быть замужем?

— Я бы предпочла замужество моему теперешнему положению. Это несомненно.

— Откуда такое предпочтение?

— Не знаю.

— Не знаете? Скажите мне, какое впечатление производит на вас присутствие мужчины?

— Никакого. Если он умен и красноречив, я слушаю его с удовольствием; если он хорош собой, это не ускользает от моего внимания.

— И ваше сердце остается спокойным?

— До сих пор оно не знало волнений.

— Даже когда их страстные взгляды ловили ваши, разве вы не испытывали...

— Иногда я испытывала смущение; я опускала глаза.

— И ваш покой не был нарушен?

— Нет.

— И страсти ваши молчали?

— Я не знаю, что такое язык страстей.

— Однако он существует.

— Возможно.

— И вы не знакомы с ним?

— Не имею о нем понятия.

— Как! Вы... А ведь это очень сладостный язык. Хотели бы вы узнать его?

— Нет, матушка, для чего он мне?

— Для того, чтобы рассеять вашу тоску.

— А может быть, он усилит ее. И к чему может послужить этот язык страстей, если не с кем говорить?

— Когда пользуешься им, то всегда к кому-нибудь обращаешься. Конечно, это лучше, чем такая беседа с самим собой, хотя и последнее не лишено прелести.

— Я ничего в этом не смыслю.

— Если хочешь, дорогое дитя, я могу выразиться яснее.

— Не надо, матушка, не надо. Я ничего не знаю и предпочитаю оставаться в неведении, нежели узнать то, что, быть может, сделает меня еще более несчастной. У меня нет желаний, и я не стремлюсь иметь такие желания, которых не смогу удовлетворить.

— А почему бы ты не смогла удовлетворить их?

— Да как же?

— Так, как я.

— Как вы? Но ведь в этом монастыре никого нет.

— Есть вы, дорогой друг, и есть я.

— Ну, и что же я для вас? Что вы для меня?

— Какая невинность!

— Вы правы, матушка, я очень невинна и предпочла бы умереть, чем перестать быть такою, какая я есть.

Не знаю, почему последние мои слова произвели на настоятельницу неприятное впечатление; лицо ее вдруг изменилось, она стала серьезной, пришла в замешательство. Рука ее, которая лежала на моем колене, перестала его сжимать, потом она совсем убрала руку. Глаза ее были опущены.

— Что случилось, матушка? — спросила я ее.— Или у меня сорвалось какое-нибудь слово, обидевшее вас? Простите меня. Я пользуюсь свободой, которую вы сами мне предоставили. Я не взвешиваю того, что говорю вам, и даже если б я взвешивала свои слова, я бы иначе не выразилась, а может быть, сказала бы что-нибудь еще более неуместное. Предмет нашей беседы так чужд мне! Простите меня...

При последних словах я обвила руками шею настоятельницы и прильнула головой к ее плечу. Она порывисто меня обняла и нежно прижала к себе. Так мы оставались несколько

минут. Затем, обретя спокойствие, она с обычной сердечностью спросила:

— Сюзанна, вы хорошо спите?

— Прекрасно,— ответила я,— особенно в последнее время.

— И скоро засыпаете?

— Обычно довольно скоро.

— А когда вы засыпаете не сразу, о чем вы думаете?

— О моей прошлой жизни, о той, которую остается прожить; молюсь богу или плачу,— всего не перескажешь.

— А утром, когда вы рано просыпаетесь?

— Я встаю.

— Вы сразу встаете?

— Сразу.

— Не любите помечтать?

— Нет.

— Понежиться на подушке?

— Нет.

— Насладиться теплотой постели?

— Нет.

— Никогда?..

Она остановилась на этом слове, и не без основания. То, о чем она собиралась спросить меня, было дурно, и возможно, что я поступаю еще хуже, передавая это вам, но я решила ничего не утаивать.

— У вас никогда не являлся соблазн полюбоваться своей красотой?

— Нет, матушка. Я не знаю, так ли я хороша, как вы находите; но если бы я и была красива, то мною должны были бы любоваться другие, а не я сама.

— А у вас не являлась мысль провести рукой по этой чудесной груди, по бедрам, по животу, по этому крепкому телу, такому нежному и белому?

— О, никогда. Ведь это грешно, и если бы это случилось, я не знаю, как бы я в этом созналась на исповеди...

Не помню, о чем еще у нас шел разговор, как вдруг пришли доложить настоятельнице, что ее ожидают в приемной. Мне показалось, что посещение это ее раздосадовало и что она предпочла бы продолжать нашу беседу, хотя мы болтали о таких пустяках, что о них не стоило жалеть. Мы расстались.

Никогда еще община не переживала таких счастливых дней, как со времени моего вступления в монастырь. Казалось, что сгладились все неровности характера настоятельницы. Говорили, что благодаря мне она обрела душевное равновесие.

Она даже предоставила общине ради меня несколько дней отдыха; а в такие дни, называемые праздниками, стол бывает несколько лучше, чем обычно, церковные службы короче, и все время между ними отводится досугу. Но это счастливое время вскоре должно было кончиться для всех, как и для меня.

За только что приведенным мною эпизодом последовало множество ему подобных, но я их опускаю. Вот что случилось после первого из них.

Какая-то тревога охватила настоятельницу, она похудела, потеряла обычную жизнерадостность и покой. Следующей ночью, когда все уже спали и в монастыре воцарилась тишина, она встала с постели и, побродив по коридорам, подошла к моей келье. У меня чуткий сон, и мне показалось, что я узнала ее шаги. Она остановилась, по-видимому, прижалась лбом к моей двери, и шорох, которым все это сопровождалось, бесспорно разбудил бы меня, если бы я спала. Я молчала; мне послышались какие-то жалобные стоны и вздохи. Я вздрогнула, потом решила прочесть «*Ave*». Вместо того чтобы подать голос, кто-то легкими шагами удалился и через некоторое время снова вернулся. Вздохи и стенания возобновились, я опять прочла молитву, и шаги удалились во второй раз. Я успокоилась и уснула. Во время моего сна кто-то вошел ко мне, сел возле моей кровати и приоткрыл полог. Держа в руке маленькую свечу, свет от которой падал мне в лицо, вошедшая смотрела на меня в то время, как я спала,— так мне, по крайней мере, показалось, судя по ее позе, когда я открыла глаза. Это была наша настоятельница.

Я вскочила. Она заметила мой испуг и промолвила:

— Сюзанна, успокойтесь, это я...

Я снова положила голову на подушку.

— Матушка,— спросила я,— что вы здесь делаете в такой поздний час? Что вас сюда привело? Почему вы не спите?

— Я не могу уснуть,— ответила она,— и не усну еще долго. Меня мучают тяжелые сны. Стоит мне закрыть глаза, как страдания, перенесенные вами, представляются моему воображению: я вижу вас в руках этих бессердечных женщин, вижу ваши рассыпавшиеся по лицу волосы, ваши окровавленные ноги, вижу вас с факелом в руке и с веревкой на шее; мне кажется, что они собираются вас умертвить. Я вздрагиваю, вся трепещу, обливаюсь холодным потом; хочу прийти вам на помощь, испускаю крики, просыпаюсь и тщетно стараюсь снова заснуть. Вот что случилось со мной сегодня ночью. Я со страхом подумала, что это само небо предупреждает меня о беде, которая стряслась с моим другом. Я встала, подошла к вашим

дверям и прислушалась. Мне показалось, что вы не спите; вы что-то говорили, я ушла. Я снова вернулась, вы опять заговорили, и я опять ушла. Я вернулась в третий раз и, когда решила, что вы уснули, вошла к вам. Уже довольно долго я сижу возле вас и боюсь вас разбудить. Вначале я не решалась отдернуть ваш полог, хотела уйти из боязни нарушить ваш покой, но не могла удержаться от желания узнать, хорошо ли себя чувствует моя дорогая Сюзанна. Я смотрела на вас. Как вы прекрасны даже во сне!

— Вы так добры, матушка!

— Я озябла, но теперь я знаю, что мне нечего бояться за мою малютку, и думаю, что засну. Дайте мне вашу руку.

Я ей подала руку.

— Какой спокойный пульс, какой ровный! Ничто ее не волнует.

— У меня довольно спокойный сон.

— Какая вы счастливая!

— Матушка, вы еще больше озябнете.

— Вы правы; до свидания, дружок, до свидания, я ухожу.

Однако она не уходила и продолжала на меня смотреть. Две слезы скатились из ее глаз.

— Матушка,— воскликнула я,— что с вами? Вы плачете? Как я жалею, что рассказала вам о моих горестях!..

В ту же минуту она закрыла двери, погасила свечу и бросилась ко мне. Она заключила меня в свои объятия, легла рядом со мной поверх одеяла, прижалась лицом к моему лицу и орошала его слезами. Она вздыхала и говорила жалобным и прерывающимся голосом:

— Дорогой друг, пожалейте меня!..

— Матушка,— спросила я,— что с вами? Вы нездоровы? Что нужно сделать?

— Меня трясет,— прошептала она,— я вся дрожу, смертельный холод пронизывает все мое тело.

— Хотите, я встану и уступлю вам свою постель?

— Нет,— сказала она,— вам не нужно вставать, приподнимите немного одеяло, я лягу рядом с вами, согреюсь, и все пройдет.

— Матушка, но ведь это запрещено. Что скажут, если узнают об этом? Случалось, что на монахинь налагали епитимьи и за меньшие провинности. В монастыре святой Марии одна монахиня вошла ночью в келью к другой, к своей закадычной подруге, и не могу вам даже передать, как о ней дурно отзывались. Духовник несколько раз меня спрашивал, не пред-

лагал ли мне кто-нибудь ночевать со мной, и строго запретил допускать это. Я рассказала ему о том, как вы ласкали меня,— я ведь ничего дурного в этом не вижу,— но он совсем другого мнения. Не понимаю, как я могла забыть его наставления; я твердо решила поговорить с вами об этом.

— Друг мой,— сказала она,— все спят, и никто не узнает. Я награждаю, и я наказываю, и, что бы ни говорил духовник, я не вижу дурного в том, что подруга пускает к себе подругу, которую охватило беспокойство, которая проснулась и ночью, несмотря на холод, пришла узнать, не грозит ли опасность ее милочке. Сюзанна, разве вам в родительском доме не приходилось спать вместе с одной из ваших сестер?

— Нет, никогда.

— Если бы явилась такая необходимость, разве вы бы не сделали этого без всяких угрызений совести? Если бы ваша сестра, встревоженная, дрожащая от холода, попросила местечко рядом с вами, неужели вы бы отказали ей в этом?

— Думаю, что нет.

— А разве я не ваша матушка?

— Да, конечно; но это запрещено.

— Дорогой друг, я это запрещаю другим, вам же я это разрешаю и об этом прошу. Я только минутку погреюсь и уйду. Дайте мне руку.

Я дала ей руку.

— Вот потрогайте—я дрожу, меня знобит. Я вся заледенела.

И это была сущая правда.

— Ах, матушка, да вы заболеете. Подождите, я отодвинусь на край кровати, а вы ляжете в тепло.

Я примостилась сбоку, приподняла одеяло, и она легла на мое место. Как ей было плохо! Ее всю трясло как в лихорадке. Она хотела мне что-то сказать, хотела придвинуться, но язык повиновался ей с трудом, она не могла шевельнуться.

— Сюзанна,— прошептала она,— друг мой, придвиньтесь ко мне.

Она протянула руки. Я повернулась к ней спиной, она обняла меня и привлекла к себе; правую руку она подсунула снизу, левую положила на меня.

— Я вся закоченела, мне так холодно, что я не хочу прикоснуться к вам; боюсь, что вам это будет неприятно.

— Не бойтесь, матушка.

Она тотчас положила одну руку мне на грудь, а другой обвила мою талию. Ее ступни были под моими ступнями; я растирала их ногами, чтобы согреть, а матушка говорила мне:

— Ах, дружок мой, видите, как скоро согрелись мои ноги, потому что они тесно прижаты к вашим ногам.

— Но что же мешает вам, матушка, таким же образом согреться всей?

— Ничего, если вы не возражаете,— сказала она.

Я повернулась к ней лицом, она спустила с себя сорочку, а я расстегнула свою, но тут кто-то три раза громко постучал в дверь. Перепугавшись, я сразу соскочила с кровати в одну сторону, настоятельница — в другую. Мы прислушались. Кто-то возвращался на цыпочках в соседнюю келью.

— Ах,— воскликнула я,— это сестра Тереза. Она видела, как вы проходили по коридору и вошли ко мне. Она подслушивала нас и, наверно, разобрала то, что мы говорили. Что она подумает?

Я была ни жива ни мертва.

— Да, это она,— раздраженным тоном подтвердила настоятельница,— это она, я в этом не сомневаюсь; но я надеюсь, что она долго будет помнить свою дерзость.

— Ах, матушка, не поступайте с ней слишком строго.

— До свидания, Сюзанна,— сказала она мне,— доброй ночи; ложитесь в постель и спите спокойно, я вас освобождаю от заутрени. Пойду к этой сумасбродке. Дайте мне руку...

Я протянула ей руку через кровать. Она приподняла рукав моей рубашки и, вздыхая, покрыла поцелуями руку, с кончиков пальцев до плеча. Потом вышла, твердя, что дерзкой девчонке, осмелившейся ее обеспокоить, это даром не пройдет.

Я поспешно пододвинулась к другому краю кровати, поближе к дверям, и стала слушать: настоятельница вошла к сестре Терезе. У меня явилось сильное желание встать и, если сцена окажется очень бурной, пойти и заступиться за сестру. Но мне было так не по себе, я была так взволнована, что предпочла остаться в постели. Однако заснуть я не могла. Я подумала, что весь монастырь станет злословить на мой счет, что это происшествие, само по себе такое обыденное, разукрасят самыми неблаговидными подробностями, что здесь мое положение будет еще хуже, чем в Лоншане, где все обвинения были совершенно необоснованны, что наш проступок будет доведен до сведения начальства, что нашу настоятельницу сместят и нас обеих строго накажут. Я была настороже, с нетерпением ожидая, когда настоятельница выйдет от сестры Терезы. По-видимому, уладить это дело было не так-то легко, потому что она провела там почти всю ночь. Как я ее жалела! Она была в одной рубашке, босая и вся дрожала от гнева и холода.

Утром у меня был большой соблазн воспользоваться разрешением настоятельницы и остаться в постели, но потом я подумала, что этого не следует делать. Я поспешила одеться и первой оказалась в церкви, куда ни настоятельница, ни сестра Тереза не явились вовсе. Отсутствие Терезы доставило мне большое удовольствие: во-первых, потому, что я не смогла бы без смущения встретиться с ней; во-вторых, разрешение не приходить к заутрене говорило о том, что, по всей вероятности, она добилась от настоятельницы прощения и мне не о чем было беспокоиться. Я угадала.

Как только окончилась служба, настоятельница послала за мной. Я зашла к ней; она еще была в постели. Вид у нее был очень усталый, и она мне сказала:

— Мне нездоровится, я совсем не спала. Сестра Тереза сошла с ума. Если это еще раз с ней повторится, мне придется посадить ее под замок.

— Ах, матушка, никогда этого не делайте,— попросила я.

— Это будет зависеть от ее поведения. Она мне обещала исправиться, и я на это рассчитываю. А вы как себя чувствуете, дорогая Сюзанна?

— Недурно, матушка.

— Вы хоть немного поспали?

— Совсем мало.

— Мне говорили, что вы были в церкви. Почему вы так рано встали?

— Я бы плохо себя чувствовала в постели. И потом, мне показалось, что будет лучше, если...

— Нет, ничего неуместного в этом бы не было. Мне хочется подремать, я советую вам пойти к себе и тоже отдохнуть, если только вы не предпочитаете прилечь рядом со мной.

— Я очень вам благодарна, матушка, но привыкла быть одна в постели, иначе я не смогу заснуть.

— Ну так идите. Я не спущусь в трапезную к обеду, мне подадут сюда. Возможно, что я останусь в постели весь день. Приходите ко мне, у меня будут еще несколько монахинь, которых я к себе пригласила.

— А сестра Тереза тоже придет? — спросила я.

— Нет,— ответила она.

— Очень рада.

— Почему?

— Не знаю, но мне как-то страшно встретиться с ней.

— Успокойся, дитя мое. Поверь мне, это она боится тебя, а тебе нечего ее бояться.

Я покинула настоятельницу и пошла к себе отдохнуть. После обеда я снова вернулась к ней и застала в ее келье довольно многолюдное собрание, состоявшее из самых молодых и хорошеньких монахинь нашего монастыря. Остальные только навестили ее и ушли. Уверяю вас, господин маркиз,— вы ведь знаете толк в живописи,— что картина, представшая перед моими глазами, не лишена была прелести. Вообразите себе мастерскую, где работали десять — двенадцать девушек, из которых младшей лет пятнадцать, а старшая не достигла еще двадцати трех. На своей кровати полулежала настоятельница, женщина лет сорока, белая, свежая, пухлая, с двойным подбородком, мало портившим ее, с полными, будто выточенными руками в ямочках, с тонкими, длинными пальцами, с большими черными глазами, живыми и ласковыми, почти всегда полузакрытыми, словно их обладательнице слишком утомительно полностью их открыть, с алыми, как роза, губами, с белоснежными зубами, прелестными щеками, красивой головой, глубоко ушедшей в мягкую, пышно взбитую подушку. Руки, лениво вытянутые по бокам, покоились на подложенных под локти подушечках. Я сидела на краю кровати и ничего не делала; одна монахиня поместилась в кресле, держа на коленях маленькие пяльцы, некоторые уселись у окон и плели кружева, другие, устроившись на полу, на подушках, снятых со стульев, шили, вышивали, раздергивали по ниткам ткань или пряли на маленьких прялках. Тут были и блондинки и брюнетки, ни одна не походила на другую, но все были хороши собой. По характеру они были столь же различны, как и по наружности. Одни были невозмутимо спокойны, другие веселы, некоторые серьезны, задумчивы или грустны. Как я уже сказала, все, за исключением меня, работали. Нетрудно было определить, кто с кем дружит, кто к кому относится равнодушно или враждебно. Подруги поместились рядом или одна против другой. Работая, они болтали, советовались переглядывались; передавая булавку, иглу или ножницы, пожимали друг другу украдкой пальцы. Глаза настоятельницы останавливались то на одной, то на другой; одну она журила за слишком большое усердие, другую за праздность, ту за равнодушие, эту за грусть. Некоторым она приказывала показать ей работу, хвалила или отзывалась неодобрительно, поправляла кое-кому головной убор.

— Покрывало чересчур надвинуто... Чепец слишком закрывает лицо, недостаточно видны щеки. Складки эти плохо заложены.— И к каждой она обращалась либо с ласковым словом, либо с легким укором.

В то время как мы были заняты таким образом, я услышала легкий стук и направилась к двери.

Настоятельница крикнула мне вслед:

— Сестра Сюзанна, вы вернетесь?

— Конечно, матушка.

— Непременно возвращайтесь; я должна сообщить вам нечто очень важное.

— Я сейчас же вернусь...

За дверью стояла бедная сестра Тереза. Несколько минут она не могла произнести ни слова; я тоже молчала, потом спросила ее:

— Сестра, это меня вы хотели видеть?

— Да.

— Что я могу для вас сделать?

— Сейчас скажу. Я навлекла на себя немилость матушки. Я полагала, что она меня простила, и имела некоторые основания так думать. Однако все вы собрались у нее, кроме меня. Мне же приказано оставаться в своей келье.

— А вы хотели бы войти?

— Да.

— Может быть, вы желаете, чтобы я попросила разрешения у настоятельницы?

— Да.

— Подождите, дорогая моя, я сейчас пойду к ней.

— И вы в самом деле будете просить за меня?

— Конечно. А почему бы мне и не обещать вам этого? И почему бы не исполнить того, что обещала?

— Ах,—сказала она, нежно на меня взглянув,—я ей прощаю—да, я прощаю ей ее склонность к вам; вы наделены всеми достоинствами: изумительной душой и прекрасной наружностью.

Я с радостью готова была оказать ей эту маленькую услугу. Я вернулась в келью. Другая монахиня за это время заняла мое место на краю кровати; она наклонилась к настоятельнице, оперлась локтем на ее колени и показывала ей свою работу. Настоятельница, полузакрыв глаза, отвечала ей «да» и «нет», почти не глядя на нее. Она меня не заметила, хотя я стояла рядом. Мысли ее где-то витали. Однако вскоре она очнулась. Монахиня, занимавшая мое место, уступила мне его. Я села и, слегка наклонясь к настоятельнице, которая приподнялась на своих подушках, молча посмотрела на нее, словно хотела попросить о какой-то милости.

— Ну что,— спросила она,— в чем дело, Сюзанна? Что вам нужно? Разве я могу в чем-нибудь вам отказать?

— Сестра Тереза...

— Понимаю. Я очень недовольна ею, но сестра Сюзанна просит за нее, и я ее прощаю. Скажите, что она может войти.

Я побежала. Бедная сестричка ждала у дверей. Я пригласила ее войти. Она вошла, вся дрожа, с опущенными глазами. В руках она держала длинный кусок кисеи, прикрепленный к выкройке, который она выронила при первых же шагах. Я его подняла, взяла ее под руку и подвела к настоятельнице. Тереза бросилась на колени, схватила руку матушки, поцеловала ее, вздыхая, со слезами на глазах, потом взяла мою руку, вложила ее в руку настоятельницы и поцеловала обе. Настоятельница знаком позволила ей встать и занять любое место. Тереза воспользовалась ее разрешением. Подали угощение. Настоятельница встала с кровати, но не села с нами; она прохаживалась вокруг стола, клала руку на голову одной сестры, слегка ее запрокидывала и целовала в лоб; приподнимала нагрудник у другой, проводила ладонью по ее шее и несколько минут стояла позади нее, облокотясь на спинку кресла; переходила к третьей, гладила ее или подносила руку к ее губам. Едва прикасаясь к поданным сладостям, она угощала ими то одну, то другую. Обойдя таким образом весь стол, она остановилась рядом со мной и посмотрела на меня очень ласково и нежно. Остальные монахини, особенно сестра Тереза, потупили взор, словно боясь ее стеснить или отвлечь ее внимание. Когда покончили с угощением, я села за клавесин и стала аккомпанировать двум сестрам, которые пели очень недурно, со вкусом, не фальшивя, хотя у них и не было школы. Я тоже пела, аккомпанируя себе. Настоятельница села сбоку у клавесина; казалось, ей доставляло величайшее удовольствие слушать меня и смотреть на меня. Некоторые слушали стоя, ничего не делая, другие снова принялись за работу. Это был восхитительный вечер. После музыки все разошлись.

Я хотела уйти вместе с другими, но настоятельница остановила меня.

— Который час? — спросила она.

— Около шести.

— Сейчас ко мне зайдут некоторые монахини из нашего монастырского совета. Я обдумала то, что вы мне рассказали о вашем уходе из лонжанского монастыря, и сообщила им мое мнение. Они согласились со мной, и мы хотим обратиться к вам с предложением. Мы, безусловно, добьемся успеха, и это принесет кое-какие блага монастырю, да и вы не останетесь в убытке...

В шесть часов пришли члены монастырского совета; он состоит обычно из очень старых, совсем дряхлых монахинь. Я встала, они уселись, и настоятельница обратилась ко мне:

— Не говорили ли вы мне, сестра Сюзанна, что вкладом, внесенным в наш монастырь, вы обязаны щедрости господина Манури?

— Совершенно верно, матушка.

— Значит, я не ошиблась, и сестры из лоншанского монастыря продолжают владеть вкладом, внесенным вами в их обитель?

— Да, матушка.

— Они ничего вам не вернули?

— Ничего, матушка.

— Они вам не назначили никакой ренты?

— Никакой, матушка.

— Это несправедливо, о чем я и сообщила членам монастырского совета, и они полагают, так же как и я, что вы вправе предъявить лоншанским сестрам иск. Они должны либо передать этот вклад нашему монастырю, либо назначить вам соответствующую ренту. Средства, предоставленные вам господином Манури, который принял участие в вашей судьбе, не имеют никакого отношения к долгу лоншанских сестер, и не в их интересах он действовал, внося за вас вклад.

— Я тоже так думаю, но, чтобы в этом убедиться, самое простое было бы ему написать.

— Безусловно, и в случае, если он ответит в желательном для нас смысле, мы намерены сделать вам следующее предложение: мы предъявим от вашего имени иск к лоншанскому монастырю, примем на наш счет все издержки; они будут не очень велики — ведь, по всей вероятности, господин Манури не откажется взять на себя ведение дела. Если мы выиграем процесс, наш монастырь поделит с вами пополам самый вклад или ренту. Как вы на это смотрите, дорогая сестра? Вы не отвечаете? О чем вы задумались?

— Я думаю о том, что лоншанские сестры причинили мне много зла, и я была бы просто в отчаянии, если бы они вообразили, что я им мщу.

— Дело тут не в мести, а в том, чтобы потребовать от них то, что они вам должны.

— Еще раз привлечь к себе общее внимание!

— Об этом нечего беспокоиться: о вас почти не будет и речи. К тому же наша община бедна, а лоншанская богата. Вы будете нашей благодетельницей, по крайней мере, пока вы

живы. Конечно, мы постараемся сохранить вам жизнь не из этих побуждений, мы все вас любим...

И все монахини разом воскликнули:

— Как можно ее не любить? Она — само совершенство!

— Я могу в любую минуту умереть, а моя преемница, возможно, не будет питать к вам таких чувств, как я. О нет, она, конечно, не будет питать их! Вы можете почувствовать недомогание, у вас могут возникнуть какие-нибудь потребности; ведь так приятно располагать небольшими деньгами, чтобы облегчить жизнь себе и помочь другим.

— Дорогие матери,— сказала я,— этими соображениями нельзя пренебречь, раз они исходят от вас, но есть и другие, для меня более существенные. Впрочем, какое бы отвращение во мне это ни вызывало, я готова всем поступиться ради вас. Единственная милость, о которой я прошу вас, матушка,— это ничего не предпринимать, не посоветовавшись в моем присутствии с господином Манури.

— Что ж, это вполне уместно. Вы хотите ему сами написать?

— Как вам будет угодно, матушка.

— Напишите, и чтобы не возвращаться к этому вопросу дважды, ибо я не выношу такого рода дел,— мне становится скучно от них до смерти,— напишите ему сейчас же!

Мне дали перо, чернил и бумаги, и я тут же написала г-ну Манури, что прошу его оказать мне любезность и прибыть в монастырь, как только он будет располагать временем, что я опять нуждаюсь в его помощи и указаниях по важному делу. Совет заслушал это письмо, одобрил его, и оно было послано.

Господин Манури приехал через несколько дней. Настоятельница изложила ему суть дела, и он, ни минуты не колеблясь, присоединился к ее мнению. Моя щепетильность была признана нелепой. Было решено на следующий же день возбудить дело против лоншанского монастыря. Так и поступили. И вот, против моей воли, имя мое вновь стало упоминаться в прошениях, в докладных записках, на судебных заседаниях, и притом еще с добавлением таких подробностей, таких клеветнических измышлений, такой лжи и мерзости, какие только можно придумать, чтобы очернить человека в глазах его судей и вооружить против него общественное мнение.

Ах, господин маркиз, разве дозволено адвокатам клеветать, сколько им вздумается? Разве это должно остаться безнаказанным? Если б я могла предвидеть все огорчения, принесенные мне этим делом,— уверяю вас, что я никогда бы не согласилась

возбудить его. Лоншанские сестры дошли до того, что прислали нескольким монахиням нашего монастыря бумаги, оглашенные на суде и направленные против меня. И наши монахини беспрестанно являлись ко мне с расспросами о подробностях возмутительных событий, которые никогда не имели места. Чем больше я обнаруживала неведения, тем больше убеждались в моей виновности. Считали всё истиной, потому что я ничего не объясняла, ни в чем не признавалась и все отрицала. Ехидно улыбались, бросали туманные, но весьма окорбительные намеки, пожимали плечами, не веря в мою невинность. Я плакала, я была очень удручена.

Но беда никогда не приходит одна. Наступило время исповеди. Я уже рассказала духовнику о ласках, которыми настоятельница осыпала меня в первые дни. Он строго запретил мне допускать их. Но как отказать в том, что доставляет огромное удовольствие человеку, от которого всецело зависишь, если не видишь в этом ничего дурного?

Этот духовник должен играть большую роль в остальной части моих воспоминаний, поэтому мне кажется уместным познакомить вас с ним.

Это францисканец, зовут его отец Лемуан, ему не больше сорока пяти лет. Такое прекрасное лицо, как у него, редко встретишь. Кроткое, ясное, открытое, улыбающееся, приятное, когда он забывает о своем сане; но стоит ему о нем вспомнить, как лоб его покрывается морщинами, брови хмурятся, глаза смотрят вниз, и он становится суров в обхождении. Я не знаю двух таких различных людей, как отец Лемуан у алтаря и отец Лемуан в приемной, когда он один или когда он в чьем-нибудь обществе.

Впрочем, таковы все, принявшие монашеский обет, и даже я сама неоднократно ловила себя на том, что, направляясь к решетке приемной, я вдруг останавливаюсь, поправляю на себе покрывало, головную повязку, придаю надлежащее выражение лицу, глазам, губам, скрещиваю на груди руки, слежу за своей осанкой, за походкой, напускаю на себя смиренность и держу себя соответствующим образом более или менее долго, в зависимости от того, что за люди мои собеседники.

Отец Лемуан высокого роста, хорошо сложен, весел и очень любезен, когда не наблюдает за собой. Он очень красноречив. В своем монастыре он считается ученым богословом, а среди мирян — прекрасным проповедником. Он изумительный собеседник; чрезвычайно сведущ во многих, чуждых его званию,

областях. У него чудесный голос, он знает музыку, историю и языки. Он доктор Сорбонны. Хотя он сравнительно еще молод, но достиг уже высших степеней в своем ордене. Мне кажется, что он не интриган и не честолюбец. Он любим своими собратьями. Ходатайствуя о назначении настоятелем этампского монастыря, он полагал, что на этом спокойном посту он сможет, ничем не отвлекаясь, погрузиться в начатые им научные исследования. Просьба его была уважена. Выбор духовника — чрезвычайно серьезный вопрос для женского монастыря. Пастырем должен быть человек влиятельный и высоких душевных качеств. Было сделано все возможное, чтобы заполучить отца Лемуана, и это удалось, но только для особо важных случаев.

Накануне больших праздников за ним посылали монастырскую карету, и он приезжал. Нужно было видеть, в какое волнение приходила вся община, ожидая его, как все радовались, как, запершись у себя, готовились к исповеди. Чего только не придумывали, чтобы удержать его внимание как можно дольше!

Был канун троицы. Ждали его приезда. Я была сильно встревожена; настоятельница это заметила и стала меня расспрашивать. Я не утаила от нее причину моего волнения. Мне показалось, что она обеспокоена еще больше, чем я, хотя и делала все возможное, чтобы от меня это скрыть. Она назвала отца Лемуана чудаком, посмеялась над моими сомнениями, сказала, что отец Лемуан не может лучше судить о чистоте моих и ее чувств, чем наша совесть, и спросила, могу ли я себя упрекнуть в чем-либо. Я ответила ей отрицательно.

— Ну, хорошо,— сказала она.— Я ваша настоятельница, вы обязаны повиноваться мне, и я приказываю вам не упоминать ему об этих глупостях. Вам и на исповедь незачем идти, если у вас нечего ему сказать, кроме таких пустяков.

Между тем отец Лемуан приехал, и я все же приготовилась к исповеди; но многие, которым не терпелось поскорей оказаться в исповедальне, опередили меня. Мой черед приближался, когда настоятельница подошла ко мне, отозвала меня в сторону и сказала:

— Сестра Сюзанна, я обдумала то, что вы мне говорили. Возвращайтесь в свою келью, я не хочу, чтобы вы сегодня шли на исповедь.

— Но почему же, матушка? — спросила я.— Завтра большой праздник, в этот день все причащаются. Что подумают обо мне, если я одна не подойду к святому престолу?

— Это не имеет значения, пусть говорят что угодно, но вы ни в коем случае не пойдете к исповеди.

— Матушка,— взмолилась я,— если вы меня действительно любите, не подвергайте меня такому унижению, я прошу вас об этом как о милости.

— Нет, нет, это невозможно, вы мне причините какие-нибудь неприятности с этим человеком, а я этого совсем не желаю.

— Нет, матушка, уверяю вас.

— Обещайте же мне... Да нет, это совсем не нужно. Завтра утром вы придете ко мне и покаетесь. За вами нет такой вины, которую я бы не могла простить сама. Я отпущу вам грехи, и вы будете причащаться вместе со всеми сестрами. Ступайте.

Я ушла к себе и оставалась в своей келье, печальная, встревоженная, задумчивая, не зная, на что решиться—пойти ли к отцу Лемуану вопреки желанию настоятельницы, удовлетвориться ли ее отпущением грехов, приобщиться ли завтра святых тайн со всей общиной или же отказаться от причастия, что бы об этом ни говорили. Настоятельница пришла ко мне, побывав на исповеди, после которой отец Лемуан спросил ее, почему меня сегодня не видно, не больна ли я. Не знаю, что она ему ответила, но в заключение он сказал, что ждет меня в исповедальне.

— Идите туда, раз это необходимо,— сказала она,— но дайте мне слово молчать.

Я колебалась, она настаивала.

— Да что ты, глупенькая? Что дурного в том, чтобы умолчать о поступках, в которых не было ничего дурного?

— А что дурного, если о них сказать? — спросила я.

— Ничего, но это не совсем удобно. Кто знает, какое значение припишет им этот человек? Дайте мне слово.

Я все еще была в нерешительности; но в конце концов обещала ничего не говорить, если он сам не станет меня спрашивать, и направилась в исповедальню.

Я закончила исповедь и умолкла, но духовник задал мне ряд вопросов, и я ничего не скрыла. Какие это были странные вопросы! Даже и теперь, когда я о них вспоминаю, они мне совершенно непонятны. Ко мне он отнесся очень снисходительно, но о настоятельнице говорил в таких выражениях, что я содрогнулась от ужаса: он называл ее недостойной, распущенной, дурной монахиней, зловредной женщиной с развращенной душой и потребовал, под страхом обвинения в смертном грехе, чтобы я никогда не оставалась с ней наедине и не разрешала ей никаких ласк.

— Но, отец мой,— заметила я,— она ведь моя настоятельница, она может зайти ко мне, позвать к себе, когда ей вздумается.

— Я это знаю, хорошо знаю и очень скорблю об этом, дорогое дитя,— сказал он.— Хвала господу, до сих пор охранявшему вас от греха! Не дерзая выразиться более ясно — из боязни самому стать соучастником вашей недостойной настоятельницы и тлетворным дыханием, которое помимо моей воли исторгнут мои уста, смять нежный цветок, оставшийся свежим и незапятнанным лишь потому, что вас хранило до сих пор провидение,— я приказываю вам бежать от вашей настоятельницы, отвергать ее ласки, никогда не входить к ней одной, не пускать ее к себе, особенно ночью; соскочить с постели, если она войдет наперекор вашей воле, выйти в коридор, звать на помощь, если это будет необходимо; бежать к подножию алтаря, хотя бы вы были совсем раздеты, своим криком поднять на ноги весь монастырь и сделать все, что любовь к богу, страх смертного греха, святость вашего звания и забота о спасении вашей души внушили бы вам, если бы сам сатана предстал пред вами и преследовал вас. Да, дитя мое, сам сатана, ибо в образе сатаны я вынужден показать вам вашу настоятельницу; она погрязла в бездне греха и увлекает вас за собой, и вас вместе с ней поглотила бы эта бездна, если бы ваша невинность не повергла ее в ужас и не остановила ее.

Потом, возведя глаза к небу, он воскликнул:

— Господи, не оставь своими милостями это дитя... Повторите за мной: «*Satana, vade retro, apage, Satana*» [1]. Если эта несчастная станет вас расспрашивать, ничего не утаивайте, передайте ей мои слова, скажите, что лучше, если бы она вовсе не рождалась на свет или наложила на себя руки и низринулась одна в преисподнюю.

— Но, отец мой,— возразила я,— вы ведь сами только что исповедовали ее.

Он мне ничего не ответил, только, тяжко вздохнув, оперся руками на перегородку исповедальни и прислонил к ней голову, как человек, объятый скорбью. Несколько минут оставался он в таком положении. Я не знала, что думать, колени у меня подгибались, я была в таком смятении, в таком замешательстве, что и представить себе невозможно. Так чувствует себя путник, бредущий во мраке между безднами, скрытыми от его глаз, и потрясенный подземными голосами, кричащими ему со всех сторон: «Ты погиб!»

Потом, взглянув на меня спокойным и растроганным взором, он спросил меня:

---

[1] Сатана, отпусти, отойди, сатана *(лат.)*

— Вы совершенно здоровы?

— Да, отец мой.

— Вас не слишком измучит ночь, проведенная без сна?

— Нет, отец мой.

— Так вот, сегодня вы вовсе не ляжете спать и сразу же после вечерней трапезы пойдете в церковь, падете ниц перед алтарем и всю ночь проведете в молитве. Вы сами не знаете, какой опасности подвергались,— возблагодарите же бога, что он охранил вас от нее. А завтра вы подойдете к святому престолу вместе со всеми сестрами. Я налагаю на вас только одну епитимью — не подпускать к себе близко настоятельницу и решительно отвергать ее отравленные ласки. Идите. Я, со своей стороны, присоединю свои молитвы к вашим. Как я буду тревожиться за вас! Я понимаю все последствия советов, которые вам даю, но таков мой долг перед вами и перед самим собой. Бог наш владыка, и да свершится воля его!

Я лишь смутно припоминаю, сударь, все, что он мне тогда сказал. Теперь же, сопоставляя его речи, в том виде, в каком я передала их вам, с тем страшным впечатлением, которое они на меня тогда произвели, я вижу, насколько несравнимо одно с другим. И это происходит оттого, что изложение мое бессвязно, отрывочно, что многое уже изгладилось теперь из моей памяти, потому что суть его слов осталась для меня неясной, и я не придавала тогда — да и сейчас не придаю — никакого значения тому, на что он обрушивался с такой яростью. Почему, например, сцена у клавесина показалась ему столь странной? Разве нет людей, на которых музыка производит сильнейшее впечатление? Мне самой говорили, что под влиянием некоторых мелодий, некоторых модуляций я совершенно меняюсь в лице: в такие минуты я перестаю владеть собою, почти не сознаю, что со мной происходит. Так разве в этом есть какой-нибудь грех? Почему же это не могло случиться с моей настоятельницей, которая, несмотря на все ее сумасбродства, всю неровность ее характера, была, конечно, одной из самых чувствительных женщин на свете? Всякий сколько-нибудь трогательный рассказ заставлял ее проливать слезы. Когда я рассказала ей мою жизнь, это привело ее в такое состояние, что на нее было жалко смотреть. Разве ее сострадательность духовник также ставил ей в вину? А ночная сцена... Ее развязки он ожидал в смертельной тревоге... Действительно, этот человек был слишком строг.

Как бы то ни было, но я в точности выполнила все его предписания, неминуемые последствия которых он, несомненно, предвидел. Выйдя из исповедальни, я сразу же пала ниц перед

алтарем. Мысли мои путались от страха. В церкви я оставалась до ужина. Настоятельница, встревоженная моим отсутствием, послала за мной. Ей ответили, что я стою на молитве. Она несколько раз появлялась у дверей церкви, но я делала вид, что не замечаю ее. Зазвонили к ужину. Я пошла в трапезную, наскоро поела и после ужина сразу же вернулась в церковь. Вечером я не появилась в рекреационной зале, не вышла из церкви и тогда, когда наступило время расходиться по кельям и ложиться спать. Настоятельница знала, где я. Поздней ночью, когда все смолкло в монастыре, она спустилась ко мне. Ее образ, очерченный мне духовником, возник в моем воображении; меня охватила дрожь, я не решалась взглянуть на нее, я боялась, что увижу чудовище, объятое пламенем, и повторяла про себя: «*Satana, vade retro, apage, Satana.* Господи, охрани меня, удали от меня дьявола».

Она преклонила колена и, помолившись, спросила меня:

— Что вы тут делаете, сестра Сюзанна?

— Вы сами видите, сударыня.

— Знаете ли вы, который теперь час?

— Знаю, сударыня.

— Почему вы не вернулись к себе в положенный час отхода ко сну?

— Я хотела приготовиться к завтрашнему великому празднику.

— Значит, вы решили провести здесь всю ночь?

— Да, матушка.

— А кто вам это позволил?

— Это мне приказал духовник.

— Духовник не имеет права давать приказания, противоречащие уставу монастыря. Я вам приказываю идти спать.

— Сударыня, это епитимья, которую он на меня наложил.

— Вы замените ее другим богоугодным делом.

— Мне не предоставлен выбор.

— Полно, дитя мое, идемте. Ночной холод в церкви повредит вам; вы помолитесь в своей келье.

Она хотела взять меня за руку, но я отскочила в сторону.

— Вы бежите от меня? — спросила она.

— Да, матушка, я бегу от вас.

Святость места, близость бога, невинность моей души придали мне смелости, я решилась поднять на нее глаза, но, как только увидела ее, громко вскрикнула и побежала по церкви как безумная, крича: «Отыди, сатана!»

Она не пошла за мной, не двинулась с места, только кротко протянула ко мне руки и трогательным, нежным голосом проговорила:

— Что с вами? Откуда этот ужас? Остановитесь. Я не сатана, а ваша настоятельница, ваш друг...

Я остановилась, еще раз повернула к ней голову и убедилась, что была напугана причудливым образом, созданным моим воображением: свет церковной лампады падал только на кончики пальцев настоятельницы, остальное же было в тени, и именно это произвело на меня такое страшное впечатление. Немного придя в себя, я бросилась на заалтарную скамью. Она приблизилась ко мне и хотела сесть рядом, но я вскочила и поднялась в верхний ряд скамей. Так, преследуемая ею, я перебегала с одного места на другое, пока не оказалась у самого крайнего сиденья. Здесь я остановилась и начала молить ее оставить хоть одно свободное сиденье между нами.

— Хорошо, я согласна,— сказала она.

Итак, мы обе сели; нас разделяло одно сиденье. Тогда настоятельница обратилась ко мне:

— Можно ли узнать, сестра Сюзанна, почему мое присутствие приводит вас в такой ужас?

— Матушка, простите меня,— ответила я,— но я тут ни при чем, это исходит от отца Лемуана. Он изобразил мне нежные чувства, которые вы ко мне питаете, ваши ласки, в которых, должна признаться, я не вижу ничего дурного, в самых ужасающих красках. Он приказал мне избегать вас, не входить одной к вам в келью, покидать свою, если вы зайдете ко мне; он обрисовал вас истинным демоном. Всего не перескажешь, что он мне говорил по этому поводу.

— Значит, вы ему сказали?

— Нет, матушка, но я не могла уклониться от ответа, когда он сам стал меня спрашивать.

— И я стала чудовищем в ваших глазах?

— Нет, матушка, я не могу перестать любить вас, не могу не ценить вашей доброты ко мне и прошу не лишать меня ее и в дальнейшем, но я буду повиноваться моему духовнику.

— И вы больше не будете заходить ко мне?

— Нет, матушка.

— И не позволите мне навещать вас?

— Нет, матушка.

— Вы отвергнете мои ласки?

— Мне это будет нелегко, потому что я по природе ласкова и ценю всякую ласку, однако придется. Я обещала это моему

духовнику и поклялась у алтаря. Если б я могла передать, в каких выражениях он говорил о вас! Это человек благочестивый и просвещенный. Ради чего он станет указывать на опасность там, где ее вовсе нет? Ради чего станет отдалять сердце монахини от сердца ее настоятельницы? Но, должно быть, он видит в самых невинных поступках, моих и ваших, зерно тайной развращенности, которое, по его мнению, созрело в вас и грозит под вашим влиянием развиться во мне. Не скрою от вас, что, припоминая ощущения, которые иногда возникали у меня... Отчего, матушка, расставшись с вами и вернувшись к себе, я бывала взволнованна и рассеянна? Отчего я не могла ни молиться, ни заняться каким-нибудь делом? Отчего какая-то странная, никогда не испытанная тоска овладевала мною? Почему меня клонило ко сну? Ведь я никогда не сплю днем. Я думала, что вы подвержены какой-то заразительной болезни, которая начала передаваться и мне, но отец Лемуан смотрит на это совсем иначе.

— Как же он смотрит на это?

— Он видит в этом всю мерзость греха, вашу окончательную и мою возможную гибель. Разве я могу разобраться в этом?

— Полноте,— сказала она,— ваш отец Лемуан просто фантазер. Я уже не раз подвергалась таким нападкам с его стороны. Стоит мне только нежно привязаться к какой-нибудь сестре, почувствовать к ней дружеское расположение, как он тут же старается сбить ее с толку. Он чуть не довел до безумия бедную сестру Терезу. Это начинает мне надоедать. Я отделаюсь от этого человека. К тому же он живет за десять лье отсюда. Очень затруднительно посылать за ним; его никогда нет, когда он нужен. Но об этом мы поговорим в более подходящем месте. Вы, значит, не хотите подняться к себе?

— Нет, матушка, умоляю вас разрешить мне остаться здесь всю ночь. Если я не выполню свой долг, то не осмелюсь завтра приобщиться святых тайн со всей общиной. А вы, матушка, вы будете причащаться?

— Конечно.

— Значит, отец Лемуан ничего вам не сказал?

— Ничего.

— Почему же?

— Да потому, что у него не было повода говорить со мной об этом. На исповедь идут, чтобы покаяться в своих грехах, а я не нахожу ничего грешного в моей любви к такому прелестному ребенку, как сестра Сюзанна. Если я в чем-нибудь виновата, то только в том, что все свои чувства сосредоточила на ней одной, а должна была бы изливать их на всех без исключения се-

Монахиня

стер общины. Но это от меня не зависит, я не могу запретить себе видеть достоинства там, где они есть, и оказывать им предпочтение. Я прошу за это прощения у господа и не понимаю, почему ваш отец Лемуан решил, что я бесповоротно проклята богом за вполне естественное пристрастие, от которого так трудно уберечься. Я стараюсь обеспечить счастье всех сестер, но есть такие, которых я больше уважаю и люблю, чем других, потому что они более достойны любви и уважения. Вот и весь мой грех. Вы находите, что он очень велик, сестра Сюзанна?

— Нет, матушка.

— Ну тогда, дорогое дитя, прочтем каждая коротенькую молитву и подымемся к себе.

Я снова стала умолять ее разрешить мне провести ночь в церкви. Она согласилась с условием, что это больше не повторится, и ушла.

Я стала припоминать ее слова и просила господа просветить меня. Я крепко задумалась и, тщательно все взвесив, пришла к выводу, что люди, хотя и принадлежащие к одному полу, могут не совсем пристойно проявлять свои симпатии друг к другу, что отец Лемуан, человек непреклонных правил, возможно, допустил некоторое преувеличение, но что его совету избегать чрезмерной близости со стороны настоятельницы и самой проявлять большую сдержанность необходимо следовать,— и я дала себе в этом слово.

Утром, когда все монахини собрались в церкви, они застали меня на моем обычном месте. Они все приблизились к святому престолу во главе с настоятельницей, что окончательно убедило меня в ее невинности, не поколебав, однако, принятого мною решения. К тому же она привлекала меня в гораздо меньшей степени, чем я ее. Я не могла не сравнивать ее с моей первой настоятельницей. Какая разница между ними в отношении благочестия, серьезности, достоинства, ревностного исполнения долга, в отношении ума и любви к порядку!

За несколько следующих дней произошли два крупных события: первое — то, что я выиграла процесс против лоншанских монахинь, которых суд обязал выплачивать монастырю св. Евтропии, где я находилась, ежегодную ренту в соответствии с моим вкладом. Вторым событием была смена духовника. Об этом мне сообщила сама настоятельница.

Тем не менее я бывала теперь у нее только в сопровождении какой-нибудь монахини, и она тоже больше не приходила

ко мне одна. Она постоянно искала меня, но я ее избегала. Она это заметила и упрекала меня. Не знаю, что творилось в этой душе, но, по всей вероятности, что-то необыкновенное. Она вставала ночью и бродила по коридорам, особенно по моему. Я слышала, как она ходила взад и вперед, останавливалась у моей двери, жалобно стонала и вздыхала. Я вся дрожала и забивалась поглубже в постель.

Днем, где бы я ни находилась — на прогулке, в мастерской или в рекреационной зале, она украдкой целыми часами пристально смотрела на меня, стараясь, чтобы я ее не заметила.

Она следила за каждым моим шагом. Когда я спускалась, то находила ее внизу лестницы; когда поднималась, она ожидала меня наверху. Однажды она остановила меня, долго смотрела, не произнося ни слова, и слезы ручьем катились из ее глаз. Вдруг, бросившись наземь, сжимая руками мои колени, она воскликнула:

— Жестокая сестра, проси у меня жизнь, я отдам ее тебе, но только не избегай меня. Без тебя я не могу больше жить!..

У нее был такой вид, что мне стало жаль ее. Глаза ее погасли, она исхудала и побледнела. Это была моя настоятельница, и она была у моих ног. Она обнимала мои колени, прижималась к ним головой. Я протянула к ней руки, она схватила их и с жаром поцеловала, потом опять стала смотреть на меня. Я подняла ее. Она шаталась, ноги отказывались ей служить. Я проводила ее до кельи. Когда я открыла ей дверь, она взяла меня за руку и молча, не глядя на меня, тихонько потянула за собой.

— Нет, матушка,— сказала я ей,— я дала себе слово. Так лучше и для вас и для меня. Я занимаю слишком большое место в вашей душе, оно потеряно для бога, а в ней должен царить он один.

— Вам ли упрекать меня в этом?..

Говоря с ней, я старалась высвободить свою руку.

— Значит, вы не зайдете?

— Нет, матушка, нет.

— Вы отказываетесь, сестра Сюзанна? Вы не знаете, к каким это может привести последствиям,— нет, вы этого не знаете! Я умру из-за вас...

Последние слова возбудили во мне чувства, совершенно противоположные тем, на которые она рассчитывала. Я вырвала свою руку и убежала. Она обернулась, посмотрела мне вслед, потом возвратилась в свою келью, дверь которой оставалась открытой; раздались раздирающие душу стоны. Я их услышала. Они глубоко меня тронули. Минуту я колебалась, не зная, на

что решиться — уйти или вернуться к ней. Однако какое-то чувство отвращения заставило меня удалиться, хотя мне и больно было оставлять ее в таком состоянии: ведь по природе я очень отзывчива. Я заперлась в своей келье, мне было не по себе, я исходила ее вдоль и поперек, смущенная, растерянная, не зная, чем заняться. Я вышла, снова вернулась в келью и наконец решила постучаться к сестре Терезе, моей соседке. Она была поглощена беседой с другой молоденькой монахиней, своей подругой.

— Сестрица,— обратилась я к ней,— я очень сожалею, что приходится прервать вас, но прошу уделить мне несколько минут, мне нужно кое-что сказать вам.

Она последовала за мной в мою келью.

— Не знаю, что с нашей матерью настоятельницей,— сказала я ей,— но она очень сокрушается. Пойдите к ней; быть может, вы ее утешите...

Тереза ничего мне не ответила, оставила подругу у себя в келье, закрыла за собой дверь и побежала к настоятельнице.

Между тем состояние этой женщины ухудшалось со дня на день; она стала задумчивой и печальной. Веселью, не прекращавшемуся со дня моего прибытия в монастырь, сразу наступил конец. Все подчинилось самому строгому порядку: церковные службы совершались с подобающей торжественностью, посетители почти не допускались в приемную, монахиням запретили посещать друг друга; обряды выполнялись с самой неукоснительной точностью; монахини больше не собирались у настоятельницы, не лакомились у нее. Малейшие проступки сурово карались. Иногда кое-кто еще обращался ко мне, чтобы добиться прощения, но я наотрез отказывалась вступаться за провинившихся. Причина этой резкой перемены ни для кого не составляла тайны; старые монахини об этом не жалели, но молодые были в отчаянии. Они стали относиться ко мне враждебно, но я, убежденная в своей правоте, не обращала внимания на их недовольство и упреки.

Что касается настоятельницы, страданий которой я не могла облегчить, хотя всем сердцем ее жалела, то она от меланхолии перешла к благочестию, а от благочестия к бреду. Не стану описывать все перипетии ее болезненного состояния,— я потонула бы в бесконечных подробностях. Скажу только, что в начале своей болезни она то искала, то избегала меня. Иногда она относилась ко мне и к остальным с привычной ей мягкостью, иногда же внезапно переходила к безграничной строгости; она вызывала нас к себе и тотчас отсылала обратно; предоставляла

досуг, а минутой позже отменяла свои распоряжения, вызывала нас в церковь, и когда все, повинуясь ей, приходило в движение, снова ударял колокол, приглашая нас разойтись по кельям. Трудно представить себе царивший у нас хаос: день проходил в том, что мы то покидали свои кельи, то возвращались в них, то брались за требник, то откладывали его в сторону, ходили по лестницам вверх и вниз, опускали и поднимали покрывала. Ночь была почти такой же беспокойной, как день.

Некоторые монахини обращались ко мне и намекали на то, что при большей снисходительности и внимании к настоятельнице с моей стороны все вернется к обычному порядку — следовало бы сказать, к обычному беспорядку.

Я же с грустью им отвечала:

— Мне от души жаль вас, но скажите ясно, что я должна делать.

Одни из них отходили, опустив голову и не отвечая, другие давали мне советы, которые полностью противоречили советам духовника. Я говорю о том, которого сместили; что касается его преемника, то он еще не появлялся у нас.

Настоятельница не выходила больше по ночам. Она заперлась у себя и неделями не показывалась ни на богослужении, ни в трапезной, ни в рекреационной зале. Иногда же она бродила по коридорам или спускалась в церковь, стучала в двери к монахиням и жалобным голосом просила каждую:

— Милая сестра, помолитесь за меня...

Распространился слух, что она готовится к общей исповеди во всех своих грехах.

Однажды, сойдя первой в церковь, я увидела листок бумаги, прикрепленный к занавесу у решетки. Я приблизилась и прочла: «Дорогие сестры, молитесь за заблудшую монахиню, которая забыла свой долг и теперь хочет вернуться к богу...»

Я хотела было сорвать листок, но не тронула его. Несколько дней спустя появился другой листок, на котором значилось: «Дорогие сестры, призовите милосердие божие на монахиню, сознавшую свои заблуждения. Они велики...»

Затем появился еще призыв, гласивший: «Дорогие сестры, молите господа спасти от отчаяния монахиню, потерявшую веру в милосердие божие...»

Все эти призывы, отражавшие тяжелые муки этой мятущейся души, глубоко меня опечалили. Случилось однажды, что я как вкопанная остановилась у одного из этих воззваний, ста-

раясь понять, в каких это заблуждениях она себя винит, почему эту женщину обуял такой страх, в каких грехах она себя укоряет. Я вспоминала негодующие восклицания духовника, его выражения, стараясь уяснить себе их смысл, но мне это не удавалось, и я застыла на месте, поглощенная своими мыслями. Несколько монахинь смотрели на меня, переговариваясь между собой, и, кажется, думали, что и мне грозят те же ужасы.

Несчастная настоятельница появлялась теперь только с опущенным покрывалом. Она больше не вмешивалась в дела монастыря, ни с кем не говорила и часто совещалась с новым духовником, которого к нам назначили. Это был молодой бенедиктинец. Не знаю, он ли потребовал от нее тех истязаний плоти, которым она себя подвергала: она постилась три раза в неделю, бичевала себя, присутствовала на богослужении, сидя на самом дальнем месте. Отправляясь в церковь, мы проходили мимо ее дверей и заставали ее на пороге простертой ниц; она поднималась только тогда, когда все удалялись. Ночью она выходила из кельи в одной рубашке, босая. Если сестра Тереза или я случайно встречали ее, она отворачивалась и прижималась лицом к стене. Однажды, выйдя из своей кельи, я нашла ее лежащей ничком на полу, с раскинутыми руками.

— Идите, идите, шагайте по мне,— простонала она,— топчите меня ногами, я не заслуживаю ничего другого.

В течение ряда месяцев тянулась эта болезнь, и вся община успела за это время настрадаться и возненавидеть меня. Я не стану перечислять все огорчения, которые выпадают на долю монахини, возбудившей ненависть своего монастыря; теперь они уже хорошо известны вам. Мало-помалу я снова стала испытывать отвращение к моему званию. Ничего не скрывая, я поведала о своем отвращении и своих горестях новому духовнику. Его зовут отец Морель. Это человек с пламенной душой; ему около сорока лет. Он выслушал меня с видимым интересом и вниманием; пожелал узнать всю историю моей жизни, заставил рассказать с мельчайшими подробностями о моей семье, моих склонностях, характере, о монастырях, где я раньше была, и о монастыре, в котором я сейчас нахожусь, о том, что произошло между настоятельницей и мною. Я ничего от него не утаила. По-видимому, он не придал поведению моей настоятельницы по отношению ко мне такого значения, как отец Лемуан. По этому поводу он обронил лишь несколько слов. Он считал все это конченным навсегда. Особенно интересовался он моей затаенной неприязнью к монастырской жизни. По мере того как я раскрывала свою душу, и его доверие ко мне возрастало. Если я испо-

ведовалась ему, то и он полностью мне открылся. Его горести, о которых он мне рассказал, в точности совпадали с моими: он принял обет вопреки своей воле, он относился к своему сану с таким же отвращением и был достоин жалости не менее, чем я.

— Но как этому помочь, дорогая сестра? — добавил он.— Есть только одно средство — стараться облегчить наше положение, насколько это возможно.

Затем он сделал мне несколько наставлений, которыми руководствовался сам. Они были весьма мудры.

— Разумеется,— сказал он,— таким образом мы не избежим страданий, но все это укрепит в нас решимость переносить их. Люди, принявшие обет монашества, счастливы, если их крест кажется им заслугою перед богом. Тогда они радостно несут его; они сами идут навстречу тяжким испытаниям и тем более счастливы, чем горше и чаще эти испытания. Они как бы меняют счастье настоящего на счастье в будущем. Они обеспечивают себе блаженство на небесах, добровольно жертвуя счастьем на земле. После тяжких страданий они опять просят бога: *«Amplius, Domine!* Господи, усугуби наши муки!..» И эта мольба никогда не остается втуне. Но если такие страдания приходится претерпевать мне или вам, мы не можем ждать той же награды, у нас нет того, что только и придает им цену,— нет смирения. Это очень печально. Увы! Как могу я вдохнуть в вас добродетель, которой вы лишены, если ее недостает и мне? А без этого нам грозит погибель в будущей жизни после всех несчастий, испытанных в жизни земной. Среди нескончаемых молитв и покаяний мы почти с той же вероятностью осуждены на вечные муки, как и миряне, погрязшие в наслаждениях. Мы отреклись от земных радостей, они же ими пользуются. И после такой жизни нас ждут те же муки. Сколь прискорбно быть монахом или монахиней, не имея к тому призвания! А между тем такова наша участь, и мы не можем ее изменить. На нас наложили тяжелые цепи, мы осуждены потрясать ими без всякой надежды их порвать. Будем же стараться, дорогая сестра, влачить их и дальше. Идите, я еще приеду повидаться с вами...

Спустя несколько дней он снова приехал. Я встретилась с ним в приемной и поближе к нему присмотрелась. Он закончил рассказ о своей жизни, я — о своей. Бесконечное множество обстоятельств сближало нас и говорило о сходстве моей и его судьбы. Он подвергался почти таким же гонениям в родительском доме и в монастыре. Я не отдавала себе отчета, насколько описание его глубокой неудовлетворенности было малопригодно, чтобы рассеять те же чувства во мне самой; тем не менее его

рассказ произвел на меня именно такое действие. Мне кажется, что описание моего отвращения к монашеству подействовало и на него таким же образом. Наши характеры были столь же схожи, как и события нашей жизни. Чем чаще мы виделись, тем более усиливалась наша взаимная симпатия. Все превратности его судьбы совпадали с моими, история его переживаний совпадала с тем, что пережила я, история его души была историей моей души.

Наговорившись о себе, мы стали беседовать о других лицах, особенно о настоятельнице. Положение духовника обязывало его к большой сдержанности; тем не менее мне удалось понять из его слов, что теперешнее состояние этой несчастной женщины не может тянуться долго, что она борется с собой, но тщетно и что неминуемо случится одно из двух — либо она вернется к своим прежним склонностям, либо сойдет с ума. Любопытство мое было сильно возбуждено, мне хотелось узнать об этом побольше. Он мог бы разъяснить вопросы, которые у меня возникали и на которые я не находила ответа, но я не решалась задать их ему; я только набралась смелости и спросила, знаком ли он с отцом Лемуаном.

— Да,— ответил он.— Я знаком с ним; это достойный человек, очень достойный.

— Он неожиданно покинул нас.

— Знаю.

— Не можете ли вы сказать мне, почему это произошло?

— Мне было бы неприятно, если бы это получило огласку.

— Вы можете рассчитывать на мою скромность.

— На него подали жалобу архиепископу.

— Что же могли поставить ему в вину?

— Что он живет слишком далеко от монастыря, и когда бывает нужен, то его нет на месте; что он придерживается слишком строгой морали; что есть основания подозревать его в том, что он сторонник новых течений; что он сеет раздор в монастыре; что он старается духовно отдалить монахинь от их настоятельницы.

— Откуда вы это знаете?

— От него самого.

— Значит, вы с ним встречаетесь?

— Встречаюсь, и он неоднократно говорил мне о вас.

— Что же он вам говорил?

— Что вы достойны жалости, что он не может понять, как вы смогли перенести все те страдания, которые выпали на вашу долю. Хотя он имел возможность только один или два раза бесе-

довать с вами, он не считает вас способной примириться с монастырской жизнью, и у него явилась мысль...

Тут он вдруг замолчал. Я спросила:

— Какая же мысль?

— Это слишком секретная вещь,— ответил мне отец Морель,— чтобы я мог передать ее вам.

Я не настаивала.

— Ведь это отец Лемуан,— добавила я,— приказал мне держаться подальше от настоятельницы.

— И хорошо сделал.

— Почему?

— Сестра моя,— ответил он, и лицо его стало суровым,— придерживайтесь его советов и старайтесь всю жизнь оставаться в неведении относительно того, чем они вызваны.

— Но, мне кажется, если бы я знала, в чем заключается опасность, то проявила бы особенную осторожность, чтобы ее избежать.

— И, быть может, получилось бы как раз обратное.

— По-видимому, вы обо мне дурного мнения.

— О вашей нравственности и о вашей душевной чистоте я придерживаюсь того мнения, которого вы заслуживаете. Но, поверьте, есть пагубные знания, которые нельзя приобрести, не утратив самого ценного. Именно ваша невинность остановила настоятельницу. Будь вы более сведущи, она бы меньше вас щадила.

— Я не понимаю вас.

— Тем лучше.

— Но разве близость и ласки одной женщины могут представлять опасность для другой?

Ответа не последовало.

— Разве я уже не та, какою была в тот день, когда вступила в этот монастырь?

Отец Морель снова промолчал.

— Разве я перестану быть такой же в дальнейшем? Что дурного в том, чтобы любить друг друга, говорить об этой любви и выказывать ее? Это так сладостно!

— Вы правы,— сказал отец Морель, подняв на меня глаза, которые он держал опущенными в то время, как я говорила.

— Так, значит, в монастырях это случается часто? Бедная моя настоятельница, до какого состояния она дошла!

— Состояние ее плачевно, и я боюсь, что оно еще ухудшится. Она не создана для монашеского звания. Вот что случается рано или поздно, когда противодействуешь своим есте-

ственным склонностям; такая ломка человеческой природы приводит к извращенным страстям, тем более необузданным, чем более они противоестественны. Это своего рода безумие.

— Так она безумна?

— Да, она безумна, и это безумие будет усиливаться.

— И вы полагаете, что такая участь ждет всех, кто принял обет вопреки своему призванию?

— Нет, не всех; есть такие, которые умирают, не дожив до этого. У некоторых такой податливый характер, что в конце концов они приспосабливаются; смутные надежды некоторое время поддерживают иных.

— Какие же надежды могут быть у монахинь?

— Какие? Да прежде всего надежда расторгнуть свой обет!

— А если такой надежды уже нет?

— Ну, тогда остается надежда на то, что ворота монастыря когда-нибудь распахнутся, что люди откажутся от безрассудства и перестанут заточать в склеп юные создания, полные жизни; что монастыри будут упразднены; что в обители вспыхнет пожар, что стены темницы падут; что кто-нибудь придет на помощь. Такие мысли роятся в голове, их обсуждают; в саду на прогулке, не отдавая себе отчета, затворницы смотрят, очень ли высоки стены; находясь в своей келье, они берутся за перекладины оконной решетки и без определенной цели тихонько расшатывают их; если окна выходят на улицу, они смотрят туда, если слышатся чьи-либо шаги, сердце начинает трепетать. В тайниках души монахини вздыхают по избавителю; если поднимается переполох и шум от него доносится до монастыря, у них рождаются какие-то надежды; они рассчитывают на болезнь, которая позволит приблизиться мужчине или же создаст возможность поехать на воды.

— Да, правда, правда! — воскликнула я.— Вы читаете в глубине моей души. Я питала, я еще питаю такие иллюзии.

— А когда, поразмыслив хорошенько, они утрачивают эти иллюзии,— ибо благотворное опьянение, которым сердце туманит разум, время от времени рассеивается,— тогда они видят всю глубину своего несчастья, начинают ненавидеть себя, ненавидеть других, плачут, стонут, кричат, чувствуют приближение отчаяния. Одни монахини бросаются тогда к своей настоятельнице, припадают к ее коленям и ищут у нее утешения; другие простираются ниц в своей келье или перед алтарем и призывают на помощь небо; третьи рвут на себе волосы и раздирают одежды; четвертые ищут глубокий колодец, высокие окна, петлю и иногда их находят; пятые, промучившись долгое время, теряют

человеческий образ и подобие и навсегда остаются слабоумными; иные же, болезненные и хрупкие, томятся и чахнут; у некоторых мутится разум, и они впадают в бешенство. Наиболее счастливые — это те, которые способны воскрешать в себе свои прежние утешительные иллюзии и лелеять их почти до самой могилы: жизнь этих монахинь проходит в смене заблуждений и отчаяния.

— А самые несчастные,— добавила я, тяжело вздыхая,— это те, которые последовательно переживают все эти состояния. Ах, отец мой, на свое горе я слушала вас!

— Почему же?

— Я не знала себя; теперь я себя знаю, мои иллюзии скорее исчезнут. В минуты...

Я собиралась продолжить, но тут вошла одна монахиня, потом вторая, потом третья, четвертая, пятая, шестая — уж не знаю, сколько их собралось. Разговор стал общим. Одни смотрели на духовника, другие слушали его молча, потупив взор, многие, перебивая друг друга, засыпали его вопросами; все восторгались мудростью его ответов, я же забилась в угол и впала в глубокое раздумье. Посреди этих разговоров, во время которых каждая старалась выказать себя с наилучшей стороны и тем привлечь к себе внимание святого отца, послышались чьи-то шаги; кто-то медленно приближался, останавливаясь на пути и тяжело вздыхая. Все прислушались, и несколько монахинь прошептали:

— Это она, это наша настоятельница.

Все смолкли и уселись в кружок. Это в самом деле была наша настоятельница. Она вошла. Ее покрывало спадало до пояса, руки были скрещены на груди, голова опущена.

Прежде всего она заметила меня, сразу же высвободила из-под покрывала одну руку, закрыла ею глаза и, слегка отвернувшись, другой рукой сделала всем нам знак удалиться. В полном молчании мы вышли; она же осталась одна с отцом Морелем.

Я предвижу, господин маркиз, что вы составите себе дурное мнение обо мне; но если я не постыдилась совершить поступок, почему же мне краснеть, признаваясь в нем? Да и как выпустить в моем повествовании событие, которое отнюдь не осталось без последствий? Надо сказать поэтому, что у меня очень странный склад ума. Когда я касаюсь вещей, способных вызвать ваше уважение или увеличить ваше сочувствие ко мне, я пишу — хорошо или плохо, но с невероятной быстротой и легко-

стью, на душе у меня радостно, слов не приходится искать, из глаз текут сладостные слезы, мне кажется, что вы тут, рядом со мной, что я вижу вас и вы меня слушаете. Если же я вынуждена, напротив, показать вам себя в неблагоприятном свете, мысль моя затруднена, я не нахожу нужных выражений, перо еле движется, все это отражается даже на самом почерке, и я продолжаю писать, но втайне надеюсь, что вы не прочтете этих мест. Вот одно из них.

Когда все наши сестры разошлись... «Ну и что же тогда вы сделали?» Вы не догадываетесь? Нет, вы слишком честны для этого. Я спустилась на цыпочках и тихонько встала у дверей приемной, чтобы услышать их беседу. Это очень дурно, скажете вы... О да, бесспорно, это очень дурно, я сама себе это говорила. А мое смущение, предосторожности, принятые мною, чтобы не быть замеченной, ежеминутные остановки, голос совести, побуждавший меня при каждом моем шаге повернуть обратно,— все не позволяло мне в этом усомниться. Однако любопытство восторжествовало, и я пошла вперед. Но если дурно подслушивать разговор двух лиц, предполагающих, что они одни, то, быть может, еще хуже передавать вам этот разговор. Вот еще одно место из моей исповеди, написанное в надежде на то, что вы его не прочтете. Я знаю, что на это рассчитывать нельзя, но все-таки хочу этому верить.

Первые слова, услышанные мною после довольно долгого молчания, заставили меня содрогнуться. Вот они:

— Отец мой, я проклята богом...

Постепенно я успокоилась и стала слушать. Завеса, которая скрывала нависшую надо мной опасность, разорвалась, но тут меня позвали, пришлось идти, и я ушла. Увы! Я слышала слишком много. Какая женщина, господин маркиз, какая чудовищная женщина!..

На этом воспоминания сестры Сюзанны обрываются, и дальше следуют лишь краткие наброски, которые она, по-видимому, собиралась использовать, продолжая свое повествование. Настоятельница, как видно, сошла с ума; к ее бедственному положению следует отнести приводимые мною ниже отрывки.

После исповеди наступило для нас несколько спокойных дней. Радость вернулась в общину. Мне по этому поводу говорили немало лестных слов, которые я с негодованием отвергала.

Настоятельница перестала меня избегать. Она смотрела на меня, и, по-видимому, мое присутствие более не смущало ее. Я же старалась скрыть от нее отвращение, которое она во мне

возбуждала с той минуты, когда я, движимая любопытством, к счастью или на свою беду, ближе ее узнала.

Вскоре она замкнулась в себе, отвечала только «да» и «нет», бродила одна, отказывалась от пищи. Потом пришла в возбужденное состояние, у нее началась лихорадка, за лихорадкой последовал бред.

Когда она лежала в своей постели в полном одиночестве, ей казалось, что она видит меня; она разговаривала со мной, просила подойти ближе, обращалась ко мне с самыми нежными словами. Заслышав шаги около своей кельи, она восклицала:

— Это она проходит мимо! Это ее походка, я узнаю ее. Позовите ее!.. Нет, нет, не надо...

Как ни странно, она никогда при этом не ошибалась, никогда не принимала за меня другую монахиню.

Внезапно она разражалась хохотом, а через мгновение заливалась слезами.

Наши сестры молча стояли вокруг нее; некоторые плакали вместе с нею.

Вдруг она говорила:

— Я не была в церкви, не молилась богу... Я хочу встать с постели, хочу одеться, оденьте меня...

Если ей не позволяли сделать это, она просила:

— Дайте мне хоть мой требник...

Ей давали требник, она раскрывала его, перелистывала страницы и продолжала делать пальцем это движение даже тогда, когда уже не оставалось ни одной страницы; взгляд ее блуждал.

Как-то ночью она одна спустилась в церковь. Несколько сестер побежали за ней. Она простерлась ниц на ступенях алтаря и начала стонать, вздыхать и громко молиться, потом вышла из церкви и снова вернулась.

— Пойдите за ней,— сказала она,— у нее такая чистая душа! Это такое невинное создание! Если бы она соединила свои молитвы с моими...

Потом, обращаясь ко всей общине и повернувшись к пустым скамьям, она воскликнула:

— Уйдите, уйдите все, пусть она одна останется со мной. Вы недостойны приблизиться к ней. Если ваши голоса сольются с ее голосом, ваши нечестивые хвалы осквернят перед господом сладость ее молитвы. Ступайте, ступайте...

Она заклинала меня просить небо о помощи и прощении. Она видела бога. Ей казалось, что небеса, изборожденные молнией, разверзлись и грохочут над ее головой, разгневанные ан-

гелы спускаются с небес, бог взирает на нее, приводя ее в трепет. Она металась во все стороны, забивалась в темные углы церкви, молила о милосердии; потом прижалась лицом к холодному полу и замерла, охваченная свежестью сырой церкви. Ее, как труп, унесли в келью.

На следующее утро эта страшная ночь полностью изгладилась из ее памяти.

— Где наши сестры? — спросила она.— Я никого не вижу, я осталась одна в монастыре. Все меня покинули, и сестра Тереза тоже. Они правильно поступили. Сестры Сюзанны здесь больше нет, и я могу выйти, я ее больше не встречу. Ах, если бы ее встретить! Но ее больше здесь нет, не правда ли? Правда, что ее здесь больше нет? Счастлив монастырь, в который она вступила! Она все расскажет своей новой настоятельнице. Что та подумает обо мне? Разве сестра Тереза умерла? Я всю ночь слышала похоронный звон... Бедная девушка. Она погибла навеки, и в этом виновата я! Придет день, и мы встретимся лицом к лицу. Что я скажу ей? Что ей отвечу? Горе ей! Горе мне!

Некоторое время спустя она спросила:

— Наши сестры вернулись? Скажите им, что я очень больна... Приподнимите мою подушку... Расшнуруйте меня. Я чувствую какое-то стеснение в груди... Голова моя в огне... Снимите с меня покрывало... Я хочу умыться... Принесите мне воды. Лейте, лейте еще... Руки у меня белы, но с души пятен не смыть... Я хотела бы умереть, я хотела бы никогда не родиться — я не встретила бы ее.

Однажды утром несчастная в одной рубашке, босая, с растрепанными волосами, испуская вопли, с пеной у рта, стала метаться по своей келье, зажимая руками уши, закрыв глаза и прижимаясь к стенам...

— Отойдите от этой бездны. Слышите вы эти крики? Это ад, из этой пучины поднимается пламя, я вижу его, из самого огня доносятся невнятные голоса... Они призывают меня... Господи, сжалься надо мной... Бегите, звоните в колокола, созовите всю общину, пусть все молятся за меня, я тоже буду молиться... Но сейчас еще не вполне рассвело, сестры еще спят. Я всю ночь не сомкнула глаз. Я хотела бы уснуть, но не могу.

Одна из наших сестер сказала ей:

— Сударыня, вас что-то мучит. Доверьтесь мне; может быть, вам станет легче.

— Сестра Агата, выслушайте меня, подойдите ко мне... ближе... еще ближе... никто не должен нас слышать. Я вам открою все, но вы должны хранить мою тайну. Вы ее видели?

— Кого, сударыня?

— Ни у кого нет такой кротости, как у нее, не правда ли? Какая у нее походка! Сколько достоинства! Какое благородство! Какая скромность! Пойдите к ней, скажите... Нет, ничего не говорите, не ходите. Вы не сумеете приблизиться к ней, ангелы небесные охраняют ее, стоят, как стража, вокруг. Я видела их, вы их увидите, вы испугаетесь их так же, как испугалась я. Останьтесь... Если вы пойдете, что вы ей скажете? Придумайте что-нибудь такое, от чего бы ей не пришлось краснеть.

— Сударыня, не обратиться ли вам за помощью к духовнику?

— Да, да, конечно... Нет, нет, я знаю, что он мне скажет, я уже столько раз это слышала... О чем я буду говорить с ним?.. Если бы я могла потерять память!.. Если бы могла перейти в небытие или родиться вновь! Не зовите духовника. Лучше почитайте мне о страстях господа нашего Иисуса Христа. Мне становится легче дышать... Нужна только одна капля его крови, чтобы очистить меня от грехов... Видите, как она бьет ключом из его бока?.. Наклоните его святую рану над моей головой... Его кровь течет на меня и уходит, не оставляя следа. Я погибла!.. Уберите от меня распятие... Дайте мне его!..

Ей снова принесли распятие, она сжала его обеими руками и покрыла поцелуями.

— Это ее глаза, ее рот,— бормотала она.— Когда же я снова увижу ее? Сестра Агата, скажите ей, что я ее люблю. Хорошенько опишите мое состояние. Скажите ей, что я умираю...

Настоятельнице пускали кровь, делали ей ванны, но болезнь, казалось, лишь усиливалась от всех этих средств. Не смею описать вам все ее непристойные поступки, повторить бесстыдные слова, вырывавшиеся у нее в бреду. Она поминутно подносила руку ко лбу, словно стараясь отогнать какие-то назойливые мысли, какие-то видения; как знать, какие это были видения! Она зарывалась головой в постель, закрывала лицо простынями.

— Это искуситель,— кричала она,— это он! Какой странный облик он принял! Принесите святой воды; окропите меня... Довольно, довольно... Его больше нет.

Вскоре ее стали держать взаперти, но ее темница недостаточно охранялась, и ей удалось вырваться оттуда. Она разодрала свои одежды и бегала по коридорам совсем нагая; только концы разорванной веревки болтались на ее руках.

— Я ваша настоятельница,— кричала она,— вы все мне принесли обет послушания! Повинуйтесь же мне! Вы заперли

меня, подлые, вот награда за мои милости! Вы оскорбляете меня, потому что я слишком добра; впредь я не буду такой доброй... Пожар!.. Убивают!.. Грабят!.. На помощь!.. Ко мне, сестра Тереза!.. Ко мне, сестра Сюзанна!..

Но тут ее схватили и снова водворили в ее темницу.

— Вы правы,— говорила она,— увы, вы правы! Я сошла с ума, я это чувствую.

Порой казалось, что ее преследуют картины различных мук: она видела женщин с веревкой на шее, с руками, связанными за спиной, видела других — с факелом в руке; она была среди тех, которые совершали обряд публичного покаяния; ей представлялось, что ее ведут на казнь, она говорила палачу:

— Я заслужила свою участь, я ее заслужила, я ее заслужила. Ах, если б только эти муки были последними! Но вечно, вечно гореть в огне!..

Все, что я здесь пишу,— все это правда; а то, что я могла бы сказать еще, не уклоняясь от истины, либо выпало из моей памяти, либо заставило бы меня покраснеть, запятнав грязью эти страницы.

Прожив в таком плачевном состоянии еще несколько месяцев, настоятельница умерла. Какая смерть, господин маркиз! Я видела ее в последний час, видела эту страшную картину отчаяния и греха. Ей чудилось, что духи ада окружают ее, что они готовятся овладеть ее душой.

— Вот они, вот они,— говорила она глухим голосом, обороняясь от них распятием, которое она держала в руке, и размахивая им направо и налево. Она выла, она кричала:

— Господи, господи!..

Сестра Тереза вскоре последовала за ней. Нам назначили новую настоятельницу — старую, угрюмую и суеверную.

Меня обвиняют в том, что я околдовала ее предшественницу. Настоятельница этому верит, и мои горести возобновляются. Новый духовник также подвергается гонениям со стороны церковных властей и убеждает меня бежать из монастыря.

Мой побег решен. Между одиннадцатью и двенадцатью часами ночи я выхожу в сад. Мне бросают веревки, я обвязываюсь ими, они рвутся, я падаю. У меня все ноги в ссадинах и сильно ушиблена поясница. Вторая, третья попытка; меня под-

нимают на стену; я спускаюсь вниз. Каково же мое изумление, когда вместо дилижанса, в котором мне должно было быть предоставлено место, я увидела скверную извозчичью карету. И вот я по дороге в Париж с молодым бенедиктинцем. Я не замедлила убедиться по его непристойному тону, по допускаемым им вольностям, что нарушены все условия, о которых мы договорились. Тогда я пожалела о своей келье и поняла весь ужас своего положения.

Тут я опишу сцену в карете. Какая сцена! Что за человек! Я кричу. Извозчик вступается за меня. Ожесточенная борьба между извозчиком и монахом.

Приезжаю в Париж. Извозчик останавливается на маленькой улице, перед узкой дверью, которая ведет в темные и грязные сени. Хозяйка этого жилья выходит мне навстречу и помещает меня на самом верху, в скудно обставленной комнатушке. Ко мне заходит женщина, занимающая второй этаж.

— Вы молоды, вам, должно быть, скучно, мадемуазель. Спуститесь ко мне, у меня вы найдете приятное общество, мужчин и женщин. Не все дамы так прелестны, как вы, но почти все так же молоды. Мы веселимся на все лады, болтаем, играем, пьем, танцуем. Если вы вскружите головы всем кавалерам, клянусь вам, что дамы нисколько не рассердятся и не станут к вам ревновать. Приходите, мадемуазель...

Все это говорила особа средних лет с умильным взглядом, слащавым голосом и очень вкрадчивой речью.

Две недели пробыла я в этом доме, подвергаясь преследованиям вероломного монаха, похитившего меня, страдая от бурных сцен, происходивших в этом подозрительном месте, и выжидая удобной минуты для побега.

Наконец такой случай мне представился. Это произошло поздней ночью. Будь я вблизи от своего монастыря, я бы вернулась туда. Бегу куда глаза глядят. Меня останавливают мужчины, я в ужасе. Падаю без чувств от изнеможения на пороге свечной лавки; мне оказывают помощь. Очнувшись, вижу себя

на каком-то нищенском ложе. Вокруг меня стоят люди. Меня спрашивают, кто я такая. Не знаю, что я им ответила. Мне дают в провожатые служанку. Иду с ней, опираясь на ее руку. Пройдя довольно большое расстояние, девушка меня спрашивает:

— Вы, конечно, знаете, мадемуазель, куда мы идем?

— Нет, голубушка, не знаю. Должно быть, в приют для бедных.

— В приют? Разве у вас нет пристанища?

— Увы, нет.

— Что же вы такое натворили, если вас в столь поздний час выгнали из дому? Вот мы уже у ворот приюта святой Екатерины. Посмотрим, откроют ли нам. Так или иначе, не беспокойтесь: вы не останетесь на улице, вы переночуете со мной.

Возвращаюсь к хозяину свечной лавки. Служанка ужасается, увидев мои ноги: они все в ссадинах от падения при моем бегстве из монастыря. Провожу ночь в лавке. На следующий день вечером снова иду в приют св. Екатерины. Остаюсь там три дня, по истечении которых мне заявляют, что я должна отправиться в общегородской приют или же поступить на первое попавшееся место.

В приюте св. Екатерины меня подстерегают опасности со стороны мужчин и женщин. Сюда, как я после узнала, приходят развратники и городские сводницы за добычей.

Несмотря на грозящую мне нужду, грубые попытки соблазнить меня ни к чему не приводят. Я продаю свою одежду и приобретаю платье, более подходящее для моего положения.

Поступаю в прачечное заведение, где нахожусь и в настоящее время. Принимаю белье и глажу его. Работа очень тяжелая; кормят меня скверно, помещение и кровать очень плохи, зато ко мне относятся по-человечески. Муж — извозчик, жена его грубовата, но, впрочем, добрая женщина. Я была бы даже довольна своей участью, если б могла надеяться, что покой мой не будет нарушен. Узнаю, что полиция задержала похитившего меня монаха и передала его в руки церковных властей. Несчастный человек! Его следует еще больше пожалеть, чем меня. Его проступок наделал много шума, а вы не представляете себе, с какой жестокостью монахи расправляются за вину, полу-

чившую огласку. Тюрьма будет его пристанищем до конца дней. Таков будет и мой удел, если меня поймают; но монах проживет дольше, чем я.

Боль от падения дает себя чувствовать. Ноги распухли, я не могу сделать ни шагу. Работаю я сидя, потому что мне трудно стоять. Тем не менее я страшусь своего выздоровления. Какой я тогда найду предлог, чтобы не выходить из дому? И какие только опасности не ждут меня, когда я покажусь на улице! К счастью, у меня еще много времени впереди. Мои родственники не сомневаются в том, что я в Париже, и, бесспорно, принимают все возможные меры для моего розыска. Я хотела бы вызвать к себе на чердак г-на Манури, выслушать его советы и последовать им, но г-на Манури уже нет.

Я живу в постоянной тревоге. При малейшем шуме в доме, на лестнице или на улице мной овладевает страх, я вся дрожу, ноги у меня подкашиваются, работа валится из рук. Целые ночи я не смыкаю глаз, а если засыпаю, то меня мучают кошмары, я говорю во сне, зову на помощь, кричу. Не могу понять, как окружающие меня люди не разгадали еще, кто я.

Мой побег, по-видимому, уже всем известен. Я этого ждала. Вчера одна из моих товарок рассказала мне о нем с добавлением омерзительных подробностей и ряда соображений, способных привести в отчаяние. К счастью, она в это время развешивала мокрое белье и не заметила моего смущения, так как стояла спиной к лампе. Однако хозяйка увидела, что я плачу, и спросила:

— Мари, что с вами?

— Ничего,— ответила я.

— И надо же быть такой дурой,— заявила она,— чтобы лить слезы из-за дрянной, распутной монахини, которая забыла бога, втюрилась в какого-то паршивого монаха и убежала с ним из монастыря. Видно, уж очень вы жалостливы. Жила как у Христа за пазухой, пила, ела, молилась богу и спала. Чего ей вздумалось бежать? Попробовала бы она три-четыре раза пополоскать белье на реке, да еще в такую погоду,— тогда бы и монастырь показался ей сладок.

На это я ответила, что, должно быть, она немало выстрадала.

Лучше мне было промолчать, потому что тогда мне не пришлось бы услышать в ответ:

— Бросьте, это просто дрянь, которую бог накажет.

При этих словах я низко склонилась над своим столом и оставалась в таком положении, пока хозяйка на меня не прикрикнула:

— Мари, о чем это вы замечтались? Пока вы тут дремлете, работа стоит.

По духу я всегда была чужда монашеству, об этом с достаточной ясностью свидетельствует мой последний шаг, но в монастыре я привыкла к некоторым обычаям, от которых не могу отучиться. Например, когда зазвонят в колокола, я крещусь или преклоняю колена; когда постучат в дверь, я откликаюсь: *«Ave»*; когда меня спрашивают, мой ответ всегда кончается: «да, матушка», «нет, матушка», «нет, сестра». Если неожиданно приходит посторонний человек, я непроизвольно скрещиваю руки на груди и, вместо того чтобы сделать реверанс, низко кланяюсь. Мои товарки покатываются со смеху и думают, что я дурачусь, передразнивая монахинь. Однако невозможно, чтобы их заблуждение длилось без конца. Моя опрометчивость выдаст меня, и я погибну.

Господин маркиз, поспешите помочь мне. Вы, несомненно, меня спросите: «Укажите, что я могу для вас сделать?» Вот что: мои желания весьма скромны — мне нужно место горничной, кастеляншн или даже простой служанки, лишь бы мне жить в неизвестности, где-нибудь в деревне, в провинциальной глуши, у порядочных людей, которые чуждаются большого общества. Жалованье не имеет значения; безопасность, покой, хлеб и вода — вот все, что мне нужно. Будьте уверены, что моей работой останутся довольны. В родительском доме меня приучили к труду, а в монастыре — к послушанию. Я молода. У меня мягкий характер. Когда заживут мои ноги, у меня будет сил больше, чем нужно для исполнения моих обязанностей. Я умею шить, прясть, вышивать, стирать белье. Когда я была еще в миру, я сама чинила свои кружева и скоро верну себе прежнюю сноровку. Я все умею делать и не брезгую никакой работой. У меня есть голос, я знаю музыку и играю на клавесине настолько удовлетворительно, что сумею развлечь свою хозяйку, если она этого пожелает. Я даже могла бы давать уроки музыки ее детям, но боюсь, что это свидетельство тонкости моего воспитания меня выдаст. Если бы понадобилось причесывать мою хозяйку, то у меня есть вкус, я взяла бы несколько уроков и

скоро освоилась бы с этим нехитрым делом. Сударь, сносное место, если это будет возможно, или же любое место — вот все, что мне нужно. О большем я не мечтаю. Вы можете поручиться за мою нравственность; несмотря на всю видимость, я добродетельна, я даже благочестива. Ах, сударь, если бы меня не удержал бог, всем моим страданиям давно пришел бы конец и мне уже нечего было бы бояться людей. Сколько раз я подходила к глубокому колодцу в конце монастырского сада! И если я не бросилась в него, то только потому, что в этом отношении мне была предоставлена полная свобода. Не знаю, какая участь меня ждет, но если бы мне когда-нибудь пришлось вернуться в монастырь, каков бы он ни был,— я не ручаюсь за себя: повсюду есть колодцы. Господин маркиз, сжальтесь надо мной и избавьте себя самого от долголетних угрызений совести.

P. S. Я изнемогаю от усталости. Ужас охватывает меня, и покой от меня бежит. Эти воспоминания, написанные мною наспех, я только что перечла уже со свежей головой и заметила, что совершенно непроизвольно показала себя каждой своей строчкой столь же несчастной, какой я была на самом деле, но гораздо более достойной симпатии, чем я есть в действительности. Не считаем ли мы мужчин более равнодушными к описанию наших горестей, чем к изображению наших прелестей, и не кажется ли нам, что легче их пленить, чем растрогать? Я слишком мало знакома с ними и недостаточно себя изучила, чтобы в этом разобраться. Однако если господин маркиз, известный своей душевной чуткостью, придет к убеждению, что я обращаюсь не к его милосердию, а к его страстям,— что подумает он обо мне? Эта мысль меня тревожит. Поистине, он был бы очень неправ, вменяя в вину лично мне инстинкт, присущий всему нашему полу. Я женщина, быть может, немного кокетливая, право, не знаю. Но это вложено природой и совершенно безыскусственно.

ПЕРЕВОД А. ФЕДОРОВА

Vertumnis, quotquot sunt, natus iniquis.—
Horat., Lib. II, Satyr. VII [1]

Какова бы ни была погода,— хороша или дурна,— я привык в пять часов вечера идти гулять в Пале-Рояль. Всегда один, я сижу там в задумчивости на скамье д'Аржансона. Я рассуждаю сам с собой о политике, о любви, о философии, о правилах вкуса; мой ум волен тогда предаваться полному разгулу; я предоставляю ему следить за течением первой пришедшей в голову мысли, правильной или безрассудной, подобно тому как наша распущенная молодежь в аллее Фуа следует по пятам за какой-нибудь куртизанкой легкомысленного вида, пленившись ее улыбкой, живым взглядом, вздернутым носиком, потом покидает ее ради другой, не пропуская ни одной девицы и ни на одной не останавливая свой выбор. Мои мысли — это для меня те же распутницы.

Если день выдался слишком холодный или слишком дождливый, я укрываюсь в кофейне «Регентство». Там я развлекаюсь, наблюдая за игрою в шахматы. Париж — это то место в мире, а кофейня «Регентство» — то место в Париже, где лучше всего играют в эту игру; у Рея вступают в схватку глубокомысленный Легаль, тонкий Филидор, основательный Майо, там видишь самые изумительные ходы и слышишь замечания самые пошлые, ибо если можно быть умным человеком и великим шахматистом, как Легаль, то можно быть столь же великим шахматистом и вместе с тем глупцом, как Фубер или Майо. Однажды вечером, когда я находился там, стараясь побольше смотреть,

[1] Рожденный для горестных перемен.— Г о р а ц [и й], кн. II, Сатира VII *(лат.)*.

мало говорить и как можно меньше слушать, ко мне подошел некий человек — одно из самых причудливых и удивительных созданий в здешних краях, где, по милости божией, в них отнюдь нет недостатка. Это — смесь высокого и низкого, здравого смысла и безрассудства; в его голове, должно быть, странным образом переплелись понятия о честном и бесчестном, ибо он не кичится добрыми качествами, которыми наделила его природа, и не стыдится дурных свойств, полученных от нее в дар. Отличается же он крепким сложением, пылкостью воображения и на редкость мощными легкими. Если вы когда-нибудь встретитесь с ним и его своеобразный облик не остановит ваше внимание, то вы либо заткнете себе пальцами уши, либо убежите. Боги! Какие чудовищные легкие! Никто не бывает так сам на себя непохож, как он. Иногда он худ и бледен, как больной, дошедший до крайней степени истощения: можно сквозь кожу щек сосчитать его зубы, и, пожалуй, скажешь, что он несколько дней вовсе ничего не ел или только что вышел из монастыря траппистов. На следующий месяц он жирен и дороден, словно все это время так и не вставал из-за стола какого-нибудь финансиста или был заперт в монастыре бернардинцев. Сегодня он в грязном белье, в разорванных штанах, весь в лохмотьях, почти без башмаков, идет понурив голову, скрывается от взглядов; так и хочется подозвать его, чтобы подать милостыню. А завтра он, напудренный, обутый, завитой, хорошо одетый, выступает, высоко подняв голову, выставляет себя напоказ, и вы могли бы его принять чуть ли не за порядочного человека. Живет он со дня на день, грустный или веселый — смотря по обстоятельствам. Утром, когда он встал, первая его забота — сообразить, где бы ему пообедать; после обеда он думает о том, где будет ужинать. Ночь также приносит некоторое беспокойство: он либо возвращается пешком к себе на чердак, если только хозяйка, которой наскучило ждать от него денег за помещение, не отобрала у него ключ, либо устраивается в какой-нибудь харчевне предместья, где с куском хлеба и кружкой пива ожидает утра. Когда в кармане у него не находится шести су,— а это порою бывает,— он прибегает к помощи либо возницы своего приятеля, либо кучера какого-нибудь вельможи, предоставляющего ему ночлег на соломе рядом с лошадьми. Утром часть его матраца еще застряла у него в волосах. Если погода стоит мягкая, он всю ночь шагает вдоль Сены или по Елисейским полям. Когда рассветет, он снова появляется в городе, одетый сегодня еще со вчерашнего дня, а то и до конца недели не переодеваясь вовсе. Такие оригиналы у меня не в чести. Другие заводят с ними

близкое знакомство, вступают даже в дружбу; мое же внимание они при встрече останавливают раз в год, ежели своим характером достаточно резко выделяются среди остальных людей и нарушают то скучное однообразие, к которому приводят наше воспитание, наши светские условности, наши правила приличия. Если в каком-либо обществе появляется один из них, он, точно дрожжи, вызывает брожение и возвращает каждому долю его природной своеобычности. Он расшевеливает, он возбуждает, требует одобрения или порицания; он заставляет выступить правду, позволяет оценить людей достойных, срывает маски с негодяев; и тогда человек здравомыслящий прислушивается и распознает тех, с кем имеет дело.

Этого человека я знал давно. Он бывал в одном доме, двери которого ему открыл его талант. Там была единственная дочь; он клялся ее отцу и матери, что женится на дочери. Те пожимали плечами, смеялись ему в лицо, говорили, что он сошел с ума, и вот пришел час, когда я понял: дело слажено. Я давал ему те несколько экю, что он просил в долг. Он, не знаю каким образом, получил доступ в некоторые порядочные дома, где для него ставили прибор, но лишь под тем условием, что говорить он будет не иначе, как получив на то разрешение. Он молчал и ел, полный ярости; он был бесподобен, принужденный терпеть такое насилие. Если же ему приходила охота нарушить договор и он раскрывал рот, при первом же его слове все сотрапезники восклицали: «О, Рамо!» Тогда в глазах его искрилось бешенство, и он вновь с еще большей яростью принимался за еду. Вам было любопытно узнать имя этого человека, вот вы его и узнали: это Рамо, племянник того знаменитого Рамо, что освободил нас от одноголосия музыки Люлли, господствовавшего у нас более ста лет, создал столько смутных видений и апокалипсических истин из области теории музыки, в которых ни он сам, ни кто бы то ни было другой никогда не мог разобраться, оставил нам ряд опер, где есть гармония, обрывки мелодий, не связанные друг с другом мысли, грохот, полеты, триумфы, звон копий, ореолы, шепоты, победы, нескончаемые танцевальные мотивы, доводящие до изнеможения,— композитора, который, похоронив флорентийца, сам будет погребен итальянскими виртуозами, что он и предчувствовал и что делало его мрачным, печальным, сварливым, ибо никто, даже и красавица, проснувшаяся с прыщиком на губе, не раздражается так, как автор, стоящий перед угрозой пережить свою славу. Примеры тому — Мариво и Кребильон-сын.

Он подходит ко мне:

— Ах, вот как, и вы тут, господин философ! Что же вы ищете в этой толпе бездельников? Или вы тоже теряете время на то, чтобы передвигать деревяшки?.. *(Так из пренебрежения называют игру в шахматы или в шашки.)*

Я. Нет; но когда у меня не оказывается лучшего занятия, я развлекаюсь, глядя некоторое время на тех, кто хорошо умеет их передвигать.

О н. В таком случае вы редко развлекаетесь; за исключением Легаля и Филидора, никто не знает в этом толку.

Я. А господин де Бисси?

О н. В этой игре он то же, что мадемуазель Клерон на сцене: и он и она знают только то, чему можно выучиться.

Я. На вас трудно угодить, и вы, я вижу, согласны щадить лишь великих людей.

О н. Да, в шахматах, в шашках, в поэзии, в красноречии, в музыке и тому подобном вздоре. Что проку от посредственности в этих искусствах?

Я. Мало проку, согласен. Но множеству людей необходимо искать в них приложение своим силам, чтобы мог народиться гений; он — один из толпы. Но оставим это. Я целую вечность вас не видел. Я не вспоминаю о вас, когда вас не вижу, но мне всегда приятно встретить вас вновь. Что вы поделывали?

О н. То, что обычно делают люди, и вы, и я, и все прочие,— хорошее, плохое и вовсе ничего. Кроме того, я бывал голоден и ел, когда к тому представлялся случай; поев, испытывал жажду и пил иной раз. А тем временем у меня росла борода, и когда она вырастала, я ее брил.

Я. Это вы напрасно делали: борода — единственное, чего вам недостает, чтобы принять облик мудреца.

О н. Да, конечно,— лоб у меня высокий и в морщинах, взгляд жгучий, нос острый, щеки широкие, брови черные и густые, рот правильно очерченный, выпяченные губы, лицо квадратное. И если бы этот объемистый подбородок был покрыт густой бородой, то, знаете ли, в мраморе или в бронзе это имело бы превосходный вид.

Я. Рядом с Цезарем, Марком Аврелием, Сократом.

О н. Нет. Я бы лучше чувствовал себя подле Диогена и Фрины. Я бесстыдник, как первый из них, и с удовольствием бываю в обществе особ вроде второй.

Я. Хорошо ли вы чувствуете себя?

О н. Обычно — да, но сегодня не особенно.

Я. Что вы! Да у вас брюхо как у Силена, а лицо...

О н. Лицо, которое можно принять за противоположную

часть тела. Что ж, от печали, которая сушит моего дорогого дядюшку, его милый племянник, очевидно, жиреет.

Я. Кстати, видитесь ли вы иногда с этим дорогим дядюшкой?

Он. Да, на улице, мимоходом.

Я. Разве он не помогает вам?

Он. Если он кому и помог когда-нибудь, то сам того не подозревая. Он философ в своем роде; думает он только о себе, весь прочий мир не стоит для него ломаного гроша. Дочь его и жена могут умереть, когда им заблагорассудится, только бы колокола приходской церкви, которые будут звонить по ним, звучали *дуодецимой* и *септдецимой,*— и все будет в порядке. Так для него лучше, и эту-то черту я особенно ценю в гениях. Они годны лишь на что-нибудь одно, а более — ни на что; они не знают, что значит быть гражданином, отцом, матерью, родственником, другом. Между нами говоря, на них во всем следует походить, но не следует желать, чтобы эта порода распространялась. Нужны люди, а что до гениев — не надо их; нет, право же, не нужны они. Это они изменяют лицо земли, а глупость даже и в самых мелочах столь распространена и столь могущественна, что без шума не обойтись, если захочешь преобразовать и ее. Частично входит в жизнь то, что они измыслили, частично же остается то, что было; отсюда — два евангелия, пестрый наряд арлекина. Мудрость монаха, описанного Рабле,— истинная мудрость, нужная для его спокойствия и для спокойствия других: она — в том, чтобы кое-как исполнять свой долг, всегда хорошо отзываться о настоятеле и не мешать людям жить так, как им вздумается. Раз большинство довольно такой жизнью — значит, живется им хорошо. Если б я знал историю, я показал бы вам, что зло появлялось в этом мире всегда из-за какого-нибудь гения, но я истории не знаю, потому что я ничего не знаю. Черт меня побери, если я когда-нибудь чему бы то ни было научился и если мне хоть сколько-нибудь хуже оттого, что я никогда ничему не научался. Однажды я обедал у одного министра Франции, у которого ума хватит на четверых, и вот он доказал нам как дважды два четыре, что нет ничего более полезного для народа, чем ложь, и ничего более вредного, чем правда. Я хорошо не помню его доказательств, но из них с очевидностью вытекало, что гений есть нечто отвратительное и что, если бы чело новорожденного отмечено было печатью этого опасного дара природы, ребенка следовало бы задушить или выбросить вон.

Я. Однако же все подобные лица, столь сильно ненавидящие гениев, самих себя считают гениальными.

О н. Полагаю, что в глубине души они такого мнения, но не думаю, чтобы они решились признаться в этом.

Я. Да, из скромности. А вы так страшно возненавидели гениев?

О н. Бесповоротно.

Я. Но я помню время, когда вы приходили в отчаяние оттого, что вы только обыкновенный человек. Вы никогда не будете счастливы, если доводы «за» и «против» одинаково будут вас удручать; вам следовало бы прийти к определенному мнению и уже в дальнейшем придерживаться его. Даже согласившись с вами, что люди гениальные обычно бывают странны, или, как говорится, *нет великого ума без капельки безумия,* мы не отречемся от них; мы будем презирать те века, которые не создали ни одного гения. Гении составляют гордость народов, к которым принадлежат; рано или поздно им воздвигаются статуи, и в них видят благодетелей человеческого рода. Да не прогневается премудрый министр, на которого вы ссылаетесь, но я думаю, что если ложь на краткий срок и может быть полезна, то с течением времени она неизбежно оказывается вредна, что, напротив того, правда с течением времени оказывается полезной, хотя и может статься, что сейчас она принесет вред. А тем самым я готов прийти к выводу, что гений, описывающий какое-нибудь всеобщее заблуждение или открывающий доступ к некоей великой истине, есть существо, всегда достойное нашего почитания. Может случиться, что это существо сделается жертвой предрассудка или же законов; но есть два рода законов: одни — безусловной справедливости и всеобщего значения, другие же — нелепые, обязанные своим признанием лишь слепоте людей или силе обстоятельств. Того, кто повинен в их нарушении, они покрывают лишь мимолетным бесчестьем — бесчестьем, которое со временем падает на судей и на народы, и падает навсегда. Кто ныне опозорен — Сократ или судья, заставивший его выпить цикуту?

О н. Большой ему от этого прок! Или он тем самым не был осужден на смерть? Не был казнен? Не являлся беспокойным гражданином? Своим презрением к несправедливому закону не поощрял сумасбродов презирать и справедливые? Не был человеком дерзким и странным? Вы вот сами только что были готовы произнести суждение, мало благоприятное для людей гениальных.

Я. Послушайте, мой дорогой. В обществе вообще не должно было бы быть дурных законов, а если бы законы в нем были только хорошие, ему никогда бы не пришлось преследовать

человека гениального. Я ведь не сказал вам, что гений неразрывно связан со злонравием или злонравие — с гением. Глупец чаще, чем умный человек, оказывается злым. Если бы гений, как правило, был неприятен в обхождении, привередлив, обидчив, невыносим, если бы даже он был злой человек, то какой бы из этого, по-вашему, был вывод?

Он. Что его следует утопить.

Я. Не торопитесь, дорогой. Вы вот послушайте: ну, вашего дядюшку Рамо я не возьму в пример — он человек черствый, грубый, он бессердечен, он скуп, он плохой отец, плохой муж, плохой дядя; но ведь не сказано, что это — высокий ум, что в своем искусстве он пошел далеко вперед и что лет через десять о его творениях еще будет речь. Возьмем Расина. Он, несомненно, был гениален, однако не считался человеком особенно хорошим. Или Вольтер!..

Он. Не забрасывайте меня доводами: я люблю последовательность.

Я. Что бы вы предпочли: чтобы он был добрым малым, составляя одно целое со своим прилавком, подобно Бриассону, или со своим аршином, подобно Барбье, каждый год приживая с женой законное дитя,— хороший муж, хороший отец, хороший дядя... хороший сосед, честный торговец, но ничего более,— или же чтобы он был обманщиком, предателем, честолюбцем, завистником, злым человеком, но автором «Андромахи», «Британника», «Ифигении», «Федры», «Аталии»?

Он. Право же, для него, пожалуй, лучше было бы быть первым из двух.

Я. А ведь это куда более верно, чем вы сами предполагаете.

Он. Ах, вот вы все какие! Если мы и скажем что-нибудь правильное, то разве что как безумцы или одержимые, случайно. Только ваш брат и знает, что говорит. Нет, господин философ, то, что я говорю, я знаю так же хорошо, как вы знаете то, что говорите сами.

Я. Положим, что так. Ну так почему же первым из двух?

Он. Потому, что все те превосходные вещи, которые он создал, не принесли ему и двадцати тысяч франков, а если бы он был честным торговцем шелком с улицы Сен-Дени или Сент-Оноре, аптекарем с хорошей клиентурой, вел бакалейную торговлю оптом, он накопил бы огромное состояние, и пока он его накапливал, он бы наслаждался всеми на свете удовольствиями; потому что время от времени он жертвовал бы пистоль бедному забулдыге-шуту вроде меня, который его смешил бы, а порой

доставлял бы ему и милых девиц, а те развлекали бы его среди скуки постоянного сожительства с женой; мы чудесно бы обедали у него, играли бы по большой, пили бы чудесные вина, чудесные ликеры, чудесный кофе, совершали бы загородные поездки. Вот видите — я знаю, что говорю. Вы смеетесь? Но позвольте мне сказать: так было бы лучше для его ближних.

Я. Не спорю, лишь бы он не употреблял во зло богатство, приобретенное честной торговлей, лишь бы он удалил из своего дома всех этих игроков, всех этих паразитов, всех этих пошлых любезников, всех этих бездельников и велел бы приказчикам из своей лавки до смерти избить палками того угодливого человека, что под предлогом разнообразия помогает мужьям легче переносить отвращение, которое вызывается постоянным сожительством с женами.

Он. Да что вы, сударь! Избить палками, избить палками! В городе благоустроенном никого не избивают палками. Да это ведь честное занятие; многие люди, даже титулованные, ему не чужды. Да и как, по-вашему,— на что, черт возьми, употреблять богачу свои деньги, если не на отменный стол, отменное общество, отменные вина, отменных женщин — наслаждения всех видов, забавы всех родов? Я предпочел бы быть бродягой, чем обладать большим состоянием, не имея ни одного из этих удовольствий. Но вернемся к Расину. От этого человека прок был только людям, не знавшим его, и в такое время, когда его уже не было в живых.

Я. Согласен. Но взвесьте и вред и благо. Он и через тысячу лет будет исторгать слезы; он будет вызывать восхищение во всех частях земного шара; он будет учить человечности, состраданию, нежности. Спросят, кто он был, из какой страны, и позавидуют Франции. Он заставил страдать нескольких людей, которых больше нет, которые почти и не вызывают в нас участия; нам нечего опасаться ни его пороков, ни его недостатков. Конечно, лучше было бы, если бы вместе с талантами великого человека природа наделила его добродетелями. Он — дерево, из-за которого засохло несколько других деревьев, посаженных в его соседстве, и погибли растения, гнездившиеся у его подножия; но свою вершину он вознес к облакам, ветви свои простер вдаль; он уделял и уделяет свою тень тем, что приходили, приходят и будут приходить отдыхать вокруг его величественного ствола; он приносил плоды, чудесные на вкус, которые обновляются непрестанно. Можно было бы пожелать, чтобы Вольтер отличался кротостью Дюкло, простодушием аббата Трюбле, прямотой аббата д'Оливе, но раз это невозможно, взглянем на

вещи с точки зрения подлинной их ценности. Забудем на минуту о месте, которое мы занимаем во времени и в пространстве, и окинем взглядом будущие века, отдаленнейшие области и грядущие поколения. Подумаем о благе рода людского, если мы недостаточно великодушны, то, по крайней мере, простим природе, оказавшейся более мудрой, чем мы. Если вы голову Грёза обдадите холодной водой, то, быть может, вместе с тщеславием угасите и его талант. Если вы Вольтера сделаете менее чувствительным к критике, он уже не в силах будет проникнуть в душу Меропы. Он больше не будет трогать вас.

Он. Но если природа так же могущественна, как и мудра, почему она не создала гениев столь же добродетельными, как и великими?

Я. Да разве вы не видите, что подобным рассуждением вы опрокидываете весь мировой порядок и что если бы все на земле было превосходно, то и не было бы ничего превосходного.

Он. Вы правы. Главное, чтобы вы и я были среди живых и чтобы мы были — вы и я, а там пусть все идет, как заблагорассудится. По моему мнению, наилучший порядок вещей — тот, при котором мне предназначено быть, и к черту лучший из миров, если меня в нем нет. Я предпочитаю быть, и даже быть наглым болтуном, чем не быть вовсе.

Я. Все люди думают так, как вы, и, порицая существующий порядок, сами при этом замечают, что отказываются от собственного бытия.

Он. Это верно.

Я. Согласимся же принять всякую вещь такою, как она есть, посмотрим, чего она нам стоит и что нам приносит, и оставим в покое целое, которое мы знаем недостаточно, чтобы хвалить его или бранить, и которое, быть может, ни плохо, ни хорошо, если оно необходимо; так полагают многие порядочные люди.

Он. Я мало понимаю в том, что вы мне излагаете. Это, по всей видимости, что-то из философии; предупреждаю вас, что не имею к этому касательства. Знаю лишь одно: что мне хотелось бы быть другим, чего доброго — гением, великим человеком; да, должен признаться, такое у меня чувство. Каждый раз, как при мне хвалили одного из них, эти похвалы вызывали во мне тайную ярость. Я завистлив. Когда мне сообщают какую-либо нелестную подробность из их частной жизни, мне приятно слушать; это сближает нас, и мне легче переносить мое ничтожество. Я говорю себе: «Да, конечно, ты бы никогда не написал «Магомета» или похвального слова Мопу́». Значит, я ничтоже-

ство, и я уязвлен тем, что я таков. Да, да, я ничтожество, и я уязвлен. Всякий раз, как при мне играли увертюру к «Галантной Индии», всякий раз, как при мне пели арии *«Глубокие бездны Тенара»* или *«Ночь, бесконечная ночь»*, я с горечью говорил себе: «Ты никогда не создашь ничего подобного». Итак, я завидовал моему дяде, и если бы по смерти его в его папке оказалось несколько удачных фортепьянных пьес, я не знал бы колебаний — остаться ли мне самим собою или поменяться с ним местами.

Я. Если только это и печалит вас, то, право же, оно того не стоит.

О н. Это пустяки, это быстро проходит.

И он уже напевал увертюру к «Галантной Индии» и арию *«Глубокие бездны»*, а потом прибавил:

— Смутное сознание, которое живет во мне, говорит: «Рамо, тебе ведь очень хотелось, чтобы эти две вещицы были сочинены тобой; если бы ты сочинил эти две вещицы, то, верно, сочинил бы и две другие, а когда ты сочинил бы их некоторое количество, тебя играли бы, тебя пели бы повсюду. Ты бы высоко держал голову; ты сам в душе сознавал бы свое собственное достоинство; все показывали бы на тебя пальцем, говорили бы: «Это он сочинил те прелестные гавоты» *(И он уже напевал эти гавоты; потом с умиленным видом человека, преисполненного радости, от которой у него и слезы на глазах, он прибавил, потирая себе руки):* у тебя будет прекрасный дом *(и он руками показывал его размеры)*, прекрасная постель *(и он небрежно растягивался на ней)*, прекрасные вина *(которые он пробовал, щелкая языком)*, прекрасный экипаж *(и он заносил ногу, чтобы сесть в него)*, красавицы женщины *(к груди которых он уже прикасался и на которых сладостно смотрел);* сотня проходимцев будет каждый день воскурять тебе фимиам *(и он как будто уже видел их вокруг себя; он видел Палиссо, Пуансине, Фреронов — отца и сына, Лапорта; он слушал их, преисполнялся важности, соглашался с ними, улыбался им, высказывал им пренебрежение, презрение, прогонял их, звал назад, потом продолжал)*; и вот так утром тебе говорили бы, что ты — великий человек; в «Трех столетиях» ты прочитал бы, что ты — великий человек, вечером ты был бы убежден в том, что ты — великий человек, и великий человек Рамо засыпал бы под сладкий рокот похвал, который еще стоял бы у него в ушах; даже во время сна у него был бы довольный вид: грудь его расширялась бы, поднималась бы, опускалась бы непринужденно; он храпел бы как великий человек...»

Монахиня

И, все продолжая говорить, он разлегся на скамейке, закрыл глаза, изображая состояние блаженного сна, о котором мечтал. Вкусив на несколько мгновений сладость этого отдыха, он пробудился, потянулся, зевнул, протер себе глаза и еще искал взглядом вокруг себя низких своих льстецов.

Я. Так вы считаете, что человек счастливый спит по-особому?

О н. Еще бы не считать! Когда я, жалкое существо, возвращаюсь вечером на свой чердак и забираюсь на свое убогое ложе, я весь съеживаюсь под одеялом, в груди — стеснение, и трудно дышать; я будто и не дышу, а жалобно, еле слышно стону. А между тем какой-нибудь откупщик так храпит, что стены его опочивальни дрожат, всей улице на диво. Но сейчас огорчает меня не то, что я не храплю и сплю как мелкая, жалкая тварь.

Я. Это, однако, огорчительно.

О н. Гораздо огорчительнее то, что со мной произошло.

Я. Что же это?

О н. Вы всегда принимали во мне известное участие, потому что я — добрый малый, которого вы презираете, но который забавляет вас.

Я. Это правда.

О н. И я вам все расскажу.

Прежде чем начать, он испускает глубокий вздох и подносит ко лбу обе руки; затем снова принимает спокойный вид и обращается ко мне:

— Вы знаете, что я невежда, глупец, сумасброд, наглец, ленивец — то, что наши бургиньонцы называют отъявленным плутом, мошенником, обжорой.

Я. Что за панегирик!

О н. Этот панегирик верен во всех отношениях, в нем слова не изменишь; не возражайте, пожалуйста. Никто не знает меня лучше, чем я сам, а я еще не все вам рассказываю.

Я. Не буду вас гневить и соглашусь с вами во всем.

О н. Так вот: я жил с людьми, которые благоволили ко мне только потому, что я в удивительной степени был наделен всеми этими качествами.

Я. Странно! До сих пор я полагал, что эти качества всякий человек старается скрыть от самого себя или извиняет их в себе, а в других они вызывают у него презрение.

О н. Скрыть их! Да разве это возможно? Будьте уверены, что, когда Палиссо остается один и задумывается, он и не то говорит себе; будьте уверены, с глазу на глаз он и его коллега

признаются друг другу, что они превеликие мошенники! Презирать эти качества у других! Мои друзья были справедливее, и благодаря складу моего характера я имел у них исключительный успех: я катался как сыр в масле, меня чествовали, мое отсутствие тотчас вызывало сожаление; я был их маленький Рамо, их миленький Рамо, Рамо-сумасброд, паглец, невежда, ленивец, обжора, шут, скотина. Каждый из этих привычных эпитетов приносил мне то улыбку, то ласковое слово, то похлопывание по плечу, пощечину, пинок; за столом лакомый кусок падал мне на тарелку; когда вставали из-за стола, по отношению ко мне разрешали себе какую-нибудь вольность, на которую я не обращал внимания, потому что я ни на что не обращаю внимания. Из меня, со мной, передо мной можно делать все, что угодно, и я не обижаюсь. А милые подарки, которые сыпались на меня! И вот я, старый пес, я все это потерял! Я все потерял только потому, что один раз, всего лишь один раз в моей жизни, заговорил как здравомыслящий человек. О, чтобы это еще раз случилось со мной!

Я. Но в чем же дело?

Он. Это глупость, ни с чем не сравнимая, непостижимая, непоправимая.

Я. Что еще за глупость?

Он. Рамо! Рамо! Разве за такого человека принимали вас? Что за глупость — проявить немного вкуса, немного ума, немного здравого смысла! Рамо, друг мой, это научит вас ценить то, что сделал для вас господь и чего хотели от вас ваши благодетели. Недаром вас взяли за плечи, довели до порога и сказали: «Убирайтесь, олух, и не появляйтесь больше. Это существо претендует на ум, чуть ли не на благоразумие! Убирайтесь. У нас такого добра и без того хватает». Вы кусали себе пальцы, когда уходили; проклятый ваш язык — вот что бы вам следовало откусить! Вы это не сообразили — и вот вы на улице, без гроша, и неизвестно, где вам приткнуться. Вы ели все, что душе угодно,— и вот вы будете питаться отбросами; у вас были прекрасные апартаменты — и вот вы безмерно счастливы, если вам возвращают ваш чердак; у вас была прекрасная постель — и вот вас ждет солома либо у кучера господина де Субиза, либо у вашего приятеля Роббе; вместо того чтобы спать спокойным, безмятежным сном, коим вы так наслаждались, вы будете одним ухом слышать, как ржут и топчутся лошади, а другим внимать звуку в тысячу раз более несносному — стихам сухим, топорным, варварским. О, несчастное, злополучное существо, одержимое миллионами бесов!

Я. Но разве нет пути к возврату? И разве проступок, совершенный вами, столь уж непростителен? На вашем месте я бы отправился к этим людям. Вы для них более необходимы, чем думаете сами.

Он. О! Я уверен, что теперь, когда меня нет с ними и некому их смешить, они скучают зверски.

Я. Так я бы отправился к ним опять, я не дал бы им времени привыкнуть к моему отсутствию или найти какое-нибудь более достойное развлечение. Ведь кто знает, что может случиться?

Он. Вот этого я не опасаюсь. Это не случится.

Я. Как бы вы ни были хороши, кто-нибудь другой может занять ваше место.

Он. Навряд ли.

Я. Пусть так. Но все же я бы явился к ним с расстроенным лицом, с блуждающим взглядом, обнаженной шеей, взъерошенными волосами — словом, в том истинно плачевном состоянии, в котором вы находитесь. Я бросился бы к ногам божественной дамы, распростерся бы ниц и, не подымаясь с колен, сказал бы ей приглушенным голосом, сдерживая рыдания: «Простите, сударыня, простите! Я недостойный, я гнусный человек. Но то была злополучная минута, ибо вы ведь знаете, что я не привержен здравому смыслу, и я обещаю вам, что в жизни моей больше не проявлю его».

Забавно было то, что, пока я произносил эту речь, он сопровождал ее пантомимой: он простерся ниц, прижался лицом к земле, как будто держа при этом руками кончик туфли; он плакал; всхлипывая, он говорил: «Да, королева моя, да, я обещаю, я никогда в жизни его не проявлю, никогда в жизни...» Потом, поднявшись резким движением, он прибавил серьезно и рассудительно:

— Да, вы правы; я вижу, что это — лучший выход. Она добрая; господин Вьейар говорит, что она такая добрая... Я-то знаю тоже, что она добрая; но все же идти унижаться перед шлюхой, молить о пощаде у ног фиглярки, которую непрестанно преследуют свистки партера! Я, Рамо, сын Рамо, дижонского аптекаря, человека добропорядочного, никогда ни перед кем не склонявшего колени! Я, Рамо, племянник человека, которого называют великим Рамо, которого все могут видеть в Пале-Рояле, когда он гуляет, выпрямившись во весь рост и размахивая руками, вопреки господину Кармонтелю, что изобразил его сгорбленным и прячущим руки под фалдами. Я, сочинивший пьесы для фортепьяно, которых никто не играет, но которые,

может быть, одни только и дойдут до потомства, и оно будет их играть; я, словом — я, куда-то пойду!.. Послушайте, сударь, это невозможно *(и, положив правую руку на грудь, он прибавил)*: я чувствую, как во мне что-то поднимается и говорит мне: «Рамо, ты этого не сделаешь». Природе человека должно же быть присуще известное достоинство, которого никто не может задушить. Оно просыпается ни с того ни с сего, да, да, ни с того ни с сего, потому что выдаются и такие дни, когда мне ничего не стоит быть низким до предела; в такие дни я за лиар поцеловал бы зад маленькой Юс.

Я. Да послушайте, дружище, она же беленькая, хорошенькая, молоденькая, нежная, пухленькая, и это — акт смирения, до которого порой мог бы снизойти человек даже менее щепетильный, чем вы.

Он. Примем во внимание, что зад можно целовать в прямом смысле и в переносном. Расспросите на этот счет толстяка Бержье, он и в прямом и в переносном смысле целует зад госпоже Ламарк, а мне это, ей-богу, и в прямом и в переносном смысле одинаково не нравится.

Я. Если средство, которое я вам подсказываю, вам не подходит, наберитесь храбрости, чтобы вести жизнь нищего.

Он. Горько быть нищим, когда на свете столько богатых глупцов, на счет которых можно было бы существовать. И вдобавок это презрение к самому себе — оно невыносимо.

Я. Разве такое чувство вам знакомо?

Он. Знакомо ли оно мне! Сколько раз я говорил себе: «Статочное ли это дело, Рамо,— в Париже десять тысяч превосходных столов, накрытых каждый на пятнадцать или двадцать приборов, и ни один из этих приборов не предназначен для тебя. Есть кошельки, полные золота, оно течет направо и налево, и ни одна из монет не попадает к тебе! Тысячи мелких остроумцев, не блещущих ни талантами, ни достоинствами, тысячи мелких тварей, ничем не привлекательных, тысячи пошлых интриганов прекрасно одеты,— а ты будешь ходить голым! И ты до такой степени будешь дураком! Неужели же ты не сумеешь льстить, как всякий другой? Неужели ты не сумеешь лгать, клясться, лжесвидетельствовать, обещать, сдерживать обещание или нарушать его, как всякий другой? Неужели ты не мог бы стать на задние лапки, как всякий другой? Неужели ты не мог бы посодействовать интрижке госпожи такой-то и отнести любовную записку от господина такого-то, как всякий другой? Неужели ты не смог бы, как всякий другой, приободрить вот этого молодого человека, чтобы он заговорил с такой-то деви-

цей, а девицу убедить выслушать его? Неужели ты не мог бы дать понять дочери одного из наших горожан, что она дурно одета, что красивые сережки, немножко румян, кружева на платье в польском вкусе были бы ей как нельзя более к лицу? Что эти маленькие ножки вовсе не созданы для того, чтобы ступать по мостовой? Что есть некий красавец, молодой и богатый, у которого камзол с золотым шитьем, великолепная карета, шесть рослых лакеев и что он как-то мимоходом видел ее, нашел ее очаровательной и с тех пор не ест, не пьет, лишился сна и может просто умереть? «Но мой папенька?» — «Ну что там ваш папенька! Сперва он немножко посердится».— «А маменька, которая мне все внушает, чтобы я была честной девушкой, и твердит, что нет на свете ничего дороже девичьей чести?» — «Пустое!» — «А мой духовник?» — «Вы больше не увидите его, а если вам, по странной прихоти, все будет хотеться рассказать ему историю ваших забав, это вам обойдется в несколько фунтов сахара и кофе».— «Он человек строгий и даже отказался отпустить мне грехи из-за того, что я пела песенку «Приди в мою обитель».— «Это потому, что сегодня вам нечего ему дать, но когда вы явитесь перед ним в кружевах...» — «Так у меня будут кружева?» — «Разумеется, и всех сортов... Да еще красивые брильянтовые сережки...» — «Так у меня будут и брильянтовые сережки?» — «Да».— «Как у той маркизы, что покупает иногда перчатки в нашей лавке?» — «Такие точно... К тому же превосходная карета, запряженная серыми в яблоках лошадьми, два рослых лакея, негритенок, впереди — скороход; к тому же румяна, мушки, длинный шлейф».— «Чтобы ехать на бал?» — «На бал, в Оперу, в Комедию...» *(У нее уже сердце прыгает от радости... А ты вертишь в пальцах какую-то бумажку.)* — «Что это такое?» — «Так, пустяки».— «А мне сдается, что нет».— «Это записка».— «А для кого?» — «Для вас, если вы хоть немножко любопытны».— «Любопытна? Да, я очень любопытна. Взгляну-ка... *(Читает.)* Свидание? Это вещь невозможная».— «По дороге в церковь».— «Маменька всегда ходит со мной. Но ежели бы он пришел сюда пораньше утром, то я просыпаюсь первая и стою за прилавком, пока еще никто не встал». Он является, имеет успех; в один прекрасный день под вечер малютка исчезает, и мне отсчитывают мои две тысячи экю... Да возможно ли? Обладать таким талантом и быть без куска хлеба? Не стыдно тебе, несчастный?.. Мне вспоминается целая толпа мошенников, которые не стоили моего мизинца, а утопали в роскоши. Я носил сюртук из грубого сукна, а они были одеты в бархат; трость у них с золотым набалдашником в

виде клюва, а на пальце перстень с головой Аристотеля или Платона. А между тем кто они были такие? Жалкие музыкантики! Теперь же они — знатные господа. И вот я ощущал прилив смелости, душа окрылялась, ум приобретал гибкость, и я чувствовал себя способным на все. Но, видимо, такое счастливое расположение духа оказывалось мимолетным, ибо до сих пор я не продвинулся вперед. Как бы то ни было, вот вам содержание моих разговоров с самим собой, которые вы вольны истолковать, как вам будет угодно, лишь бы вы сделали из них тот вывод, что мне знакомо презрение к самому себе или угрызения совести, порожденные сознанием бесполезности тех талантов, которыми небо наделило нас. Это жесточайшая из всех мук. Лучше бы, пожалуй, вовсе не родиться на свет.

Я слушал его, и, по мере того как он разыгрывал роль сводника, соблазняющего девушку, моей душой овладевали два противоположных чувства — я не знал, уступить ли желанию расхохотаться или отдаться порыву гнева. Раз двадцать разражаясь смехом, я не давал разразиться негодованию; раз двадцать негодование, подымавшееся из глубины моего сердца, кончалось взрывами смеха. Я был ошеломлен такой проницательностью и вместе такой низостью, чередованием мыслей столь верных и столь ложных, столь полной извращенностью всех чувств, столь бесконечной гнусностью и вместе с тем столь необычной откровенностью. Мое состояние не ускользнуло от него.

— Что с вами? — спросил он.

Я. Ничего.

Он. Вы, как мне кажется, расстроены?

Я. Это так.

Он. Но что же, в конце концов, вы мне посоветуете?

Я. Изменить тему разговора. Ах, несчастный, как низко вы пали!

Он. Согласен с вами. Но все же пусть мое положение не очень вас беспокоит. Решив открыться вам, я вовсе не был намерен расстраивать вас. Пока я жил у тех людей, про которых рассказывал вам, я сделал кое-какие сбережения. Примите в расчет, что я не нуждался ни в чем, решительно ни в чем, и что мне много отпускалось на мелкие расходы.

Он снова стал бить кулаком по лбу, кусать себе губы и, вращая глазами, подымать к потолку блуждающий взгляд, потом заметил: «Но дело сделано; я кое-что успел отложить; с тех пор прошло некоторое время, а это означает прибыль».

Я. Убыль — хотите вы сказать?

Он. Нет, нет, прибыль. Мы богатеем каждое мгновение: если одним днем меньше осталось жить или если одним экю стало больше в кармане — все едино. Главное в том, чтобы каждый вечер легко, беспрепятственно, приятно и обильно отдавать дань природе. *O stercus pretiosum!* [1] Вот главный итог жизни во всех положениях. В последний час одинаково богаты все: и Самюэль Бернар, который, воруя, грабя и банкротясь, оставляет двадцать семь миллионов золотом, и Рамо, который ничего не оставит и лишь благотворительности будет обязан саваном из грубого холста. Мертвец не слышит, как звонят по нем колокола; напрасно сотня священников дерет себе горло из-за него и длинная цепь пылающих факелов предшествует гробу и следует за ним: душа его не идет рядом с распорядителем похорон. Гнить ли под мрамором или под землей — все равно гнить. Будут ли вокруг вашего гроба красные и синие сироты или не будет никого — не все ли равно? А потом — видите вы эту руку? Она была чертовски тугая, эти десять пальцев были все равно как палки, воткнутые в деревянную пясть, а эти сухожилия — как струны из кишок, еще суше, еще туже, еще крепче, нежели те, какие употребляются для токарных колес. Но я их столько терзал, столько сгибал и ломал! Ты не слушаешься, а я тебе, черт возьми, говорю, что ты будешь слушаться, и так оно и будет...

И, говоря это, он правой рукой схватил пальцы и кисть левой и стал выворачивать их во все стороны; он прижимал концы пальцев к запястью, так что суставы хрустели; я опасался, как бы он не вывихнул их.

Я. Будьте осторожны, вы искалечите себя.

Он. Не бойтесь, они к этому привыкли; за десять лет я с ними и не то проделывал! Хочешь не хочешь, а пришлось им к этому привыкнуть и выучиться бегать по клавишам и летать по струнам. Зато теперь все идет так, как надо...

И вот он принимает позу скрипача; он напевает *allegro* из Локателли; правая рука его подражает движению смычка; левая рука и пальцы как будто скользят по грифу. Взяв фальшивую ноту, он останавливается; он подтягивает или спускает струну; он пробует ее ногтем, чтобы проверить, настроена ли она; он продолжает играть с того места, где остановился. Он ногой отбивает такт, машет головой, приводит в движение руки, ноги, все туловище, как мне это порой случалось видеть на духовном концерте Феррари, или Кьябрана, или другого какого

[1] О драгоценный помет! *(лат.)*

виртуоза, корчившегося в тех же судорогах, являвшего мне зрелище такой же пытки и причинявшего примерно такое же страдание, ибо не мучительно ли видеть страдания того, кто старается доставить мне удовольствие? Опустите между мной и этим человеком занавес, который скрыл бы его от меня, раз неизбежно, чтобы он изображал осужденного на пытку! Если среди всего этого возбуждения и криков наступала выдержка, один из тех гармонических моментов, когда смычок медленно движется по нескольким струнам сразу, лицо его принимало выражение восторга, голос становился нежным, он слушал самого себя с восхищением; он не сомневался, что аккорды раздаются и в его и в моих ушах. Потом, сунув свой инструмент под мышку той самой левой рукой, в которой он его держал, и уронив правую руку со смычком, он спросил: «Ну как, по-вашему?»

Я. Как нельзя лучше!

Он. Мне кажется, неплохо; звучит примерно так же, как и у других...

И он уже согнулся, как музыкант, садящийся за фортепьяно.

Я. Прошу вас, пощадите и себя и меня.

Он. Нет, нет; раз вы в моих руках, вы меня послушаете. Я вовсе не хочу, чтобы меня хвалили неизвестно за что. Вы теперь с большей уверенностью будете одобрять мою игру, и это даст мне несколько новых учеников.

Я. Я так редко бываю где-нибудь, и вы только понапрасну утомите себя.

Он. Я никогда не утомляюсь.

Видя, что бесполезно проявлять сострадание к этому человеку, который после сонаты на скрипке уже был весь в поту, я решил не мешать ему. Вот он уже сидит за фортепьяно, согнув колени, закинув голову к потолку, где он, казалось, видит размеченную партитуру, напевает, берет вступительные аккорды, исполняет какую-то вещь Альберти или Галуппи — не скажу точно, чью именно. Голос его порхал как ветер, а пальцы летали по клавишам, то оставляя верхние ноты ради басовых, то обрывая аккомпанемент и возвращаясь к верхам. На лице его одни чувства сменялись другими: оно выражало то нежность, то гнев, то удовольствие, то горе; по нему чувствовались все *piano,* все *forte,* и я уверен, что человек более искушенный, чем я, мог бы узнать и самую пьесу по движениям исполнителя, по характеру его игры, по выражению его лица и по некоторым обрывкам мелодии, порой вырывавшимся из его уст. Но что всего было забавнее, так это то, что временами он сбивался, начинал

снова, как будто сфальшивил перед тем, и досадовал, что пальцы не слушаются его.

— Вот,— сказал он, выпрямляясь и вытирая капли пота, которые текли по его щекам,— вы видите, что и мы умеем ввести тритон, увеличенную квинту и что сцепления доминант нам тоже знакомы. Все эти энгармонические пассажи, о которых так трубит милый дядюшка, тоже не бог весть что; мы с ними тоже справляемся.

Я. Вы очень старались, чтобы показать мне, какой вы искусный музыкант; а я поверил бы вам и так.

Он. Искусный? О нет! Но что до самого ремесла, то я его более или менее знаю, и даже больше чем достаточно; разве нужно у нас знать то, чему учишь?

Я. Не более, чем знать то, чему учишься.

Он. Верно сказано, черт возьми, весьма верно! Но, господин философ, скажите прямо, положа руку на сердце,— было время, когда вы не были так богаты, как сейчас?

Я. Я и сейчас не слишком-то богат.

Он. Но летом в Люксембургский сад вы больше не пошли бы... Помните?

Я. Оставим это — я все помню.

Он. В сером плисовом сюртуке...

Я. Ну да, да.

Он. ...ободранном с одного бока, с оборванной манжетой, да еще в черных шерстяных чулках, заштопанных сзади белыми нитками.

Я. Ну да, да, говорите, что угодно.

Он. Что вы делали тогда в аллее Вздохов?

Я. Являл жалкое зрелище.

Он. А выйдя оттуда, брели по мостовым?

Я. Так точно.

Он. Давали уроки математики?

Я. Ничего не смысля в ней. Не к этому ли вы и вели всю речь?

Он. Вот именно.

Я. Я учился, уча других, и вырастил несколько хороших учеников.

Он. Возможно, но музыка не то, что алгебра или геометрия. Теперь, когда вы стали важным барином...

Я. Не таким уж важным.

Он. ...когда в мошне у вас водятся деньги...

Я. Весьма немного.

Он. ...вы берете учителя к вашей дочке.

Я. Еще нет; ее воспитанием ведает мать: ведь надо сохранить мир в семье.

Он. Мир в семье? Черт возьми, да чтобы сохранить его, нужно быть самому или слугой, или господином, а господином-то и надо быть... У меня была жена... царство ей небесное; но когда ей порой случалось надерзить мне, я бушевал, метал громы, возглашал, как господь бог: «Да будет свет!» — и свет появлялся. Зато целых четыре года у нас дома были тишь да гладь. Сколько лет вашему ребенку?

Я. Это к делу не относится.

Он. Сколько лет вашему ребенку?

Я. Да ну, на кой вам это черт! Оставим в покое мою дочь и ее возраст и вернемся к ее будущим учителям.

Он. Ей-богу, не знаю никого упрямее философов. Но все же нельзя ли покорнейше просить его светлость господина философа хоть приблизительно указать возраст его дочери?

Я. Предположим, что ей восемь лет.

Он. Восемь лет? Да уже четыре года, как ей надо бы держать пальцы на клавишах.

Я. А я, может быть, вовсе и не думаю о том, чтобы ввести в план ее воспитания предмет, берущий столько времени и приносящий так мало пользы.

Он. Так чему же, позвольте спросить, вы будете ее обучать?

Я. Если мне удастся, обучу правильно рассуждать — искусство столь редкое среди мужчин и еще более редкое среди женщин.

Он. Э! Пусть судит вздорно как угодно, лишь бы она была хорошенькой, веселой и кокетливой.

Я. Природа была к ней так неблагосклонна, что наделила ее нежным сложением и чувствительной душой и отдала ее на произвол жизненных невзгод, как если бы у нее было сильное тело и железная душа, а раз это так, я научу ее, если это мне удастся, мужественно переносить невзгоды.

Он. Э! Пусть она плачет, капризничает, жалуется на расстроенные нервы, как все другие, лишь бы она была хорошенькой, веселой и кокетливой! Но неужели и танцам не будет учиться?

Я. Не больше, чем надо для того, чтобы сделать реверанс, прилично себя держать, уметь представиться и иметь красивую походку.

Он. И пению не будет учиться?

Я. Не больше, чем надо для ясного произношения.

Оп. И музыке не будет учиться?

Я. Если б был хороший учитель гармонии, я бы охотно поручил ему заниматься с нею два часа каждый день в течение года или двух — не больше.

Он. А что будет взамен этих существенных предметов, которые вы упраздните?

Я. Будет грамматика, мифология, история, география, немного рисования и очень много морали.

Он. Как легко мне было бы доказать вам бесполезность всех этих познаний в обществе, подобном нашему! Да что я говорю — бесполезность? Может быть, вред! Но пока что я ограничусь лишь вопросом: не понадобится ли ей один или два учителя?

Я. Конечно.

Он. Ну вот и главное: что же, вы надеетесь, что эти учителя будут знать грамматику, мифологию, географию, мораль, которые они будут ей преподавать? Дудки, дорогой мой мэтр, дудки! Если б они владели всеми этими предметами настолько, чтобы им учить, они не стали бы учителями.

Я. А почему?

Он. Потому что они посвятили бы свою жизнь их изучению. Нужно глубоко проникнуть в искусство или в науку, чтобы овладеть их основами. Классические творения могут быть по-настоящему написаны только теми, кто поседел в трудах; лишь середина и конец рассеивают сумерки начала. Спросите вашего друга господина Даламбера, корифея математической науки, сможет ли он изложить ее основные начала. Мой дядя только после тридцати или сорока лет занятий проник в глубины теории музыки и увидел первые ее проблески.

Я. О сумасброд! Архисумасброд! Как это возможно, что в вашей дурной голове столь правильные мысли перемешаны с таким множеством нелепостей!

Он. Кто это может знать, черт возьми! Случай заносит их туда, и они там застревают. Как бы то ни было, когда не знаешь всего, ничего толком не знаешь; даже неизвестно, куда что ведет, откуда что приходит, где чему надлежит быть, что должно занять первое место, а что второе. Можно ли преподавать без метода? А откуда возникает метод? Знаете, мой философ, мне думается, что физика всегда будет жалкой наукой, каплей воды из необъятного океана, взятой на кончике иголки, песчинкой, оторвавшейся от альпийских гор. А поищите причины явлений! Право же, лучше бы ничего не знать, чем знать так мало и так плохо; и к этой-то мысли я и пришел, когда стал давать уроки музыки. О чем вы задумались?

Я. Я думаю о том, что все сказанное вами скорее остроумно, чем основательно. Но оставим это. Так вы говорите, что преподавали аккомпанемент и композицию?

Он. Да.

Я. И сами ничего не знали?

Он. Ей-богу, не знал, и вот поэтому-то оказывались учителя хуже меня — те, которые считали, будто знают что-то. Я, по крайней мере, не портил детям ни вкуса, ни рук. Так как они ничему не научились, то, когда переходили от меня к хорошему учителю, им ни от чего не нужно было отучаться, а это уже сберегало и деньги и время.

Я. Как же вы это делали?

Он. Как все они делают. Я приходил, в изнеможении опускался на стул. «Какая скверная погода! Как устаешь ходить пешком!» Я болтал, сообщал новости. «Мадемуазель Лемьер должна была готовиться к роли весталки в новой опере, но забеременела уже второй раз; неизвестно, кто ее будет заменять. Мадемуазель Арну только что бросила своего графчика; говорят, она уже торгуется с Бертеном. Графчик той порой нашел себе занятие — фарфор господина Монтами. В последнем любительском концерте одна итальянка пела как ангел. Этот Превиль — нечто неповторимое!.. Надо видеть его в «Галантном Меркурии»; сцена с загадкой неподражаема... А бедная Дюмениль не понимает больше ни того, что говорит, ни того, что делает... Ну, мадемуазель, возьмите ваши ноты».

Пока мадемуазель не торопясь ищет ноты, которые затерялись, пока зовут горничную, делают выговор, я продолжаю: «Эту Клерон просто не понять. Толкуют о весьма нелепом браке: это брак некоей...— как бишь ее? — та самая малютка, что была на содержании у... он еще наградил ее двумя или тремя детишками... она была на содержании также у других».— «Полноте, Рамо; вы заговариваетесь; да этого не может быть».— «Я вовсе не заговариваюсь: толкуют даже, что дело уже решено... Есть слух, будто умер Вольтер; тем лучше».— «А почему лучше?» — «Да уж наверняка он затевает какую-нибудь штуку; у него обычай — умирать за две недели до этого...»

Что прибавить еще? Я рассказывал еще какой-нибудь двусмысленный вздор, вынесенный из домов, в которых побывал.— ведь все мы большие сплетники. Я кривлялся, меня слушали, смеялись, восклицали: «Он всегда очарователен!» Тем временем ноты нашей девицы отыскивались под каким-нибудь креслом, куда их затащил, помяв и разорвав, мопс или котенок. Она садилась за клавесин; сперва она барабанила на нем одна, затем я

подходил к ней, сначала одобрительно кивнув матери. *Мать:* «Идет недурно; стоило бы только захотеть, но мы не хотим: мы предпочитаем тратить время на болтовню, на тряпки, на беготню, бог весть на что. Не успеете вы уйти, как ноты закрываются и уже не открываются до вашего возвращения; да вы никогда и не браните ее». Но так как что-то надо же было делать, я брал руки ученицы и переставлял их; я начинал сердиться, кричал: *«Sol, sol, sol,* сударыня, это же *sol!» Мать:* «Сударыня, или у вас совсем нет слуха? Я хоть и не сижу за клавесином и не вижу ваших нот, чувствую, что здесь надо *sol.* Вы причиняете столько хлопот вашему учителю; я поражаюсь его терпению; вы ничего не запоминаете из того, что он вам говорит, вы не делаете успехов...» Тут я немного смягчался и, покачивая головой, говорил: «Извините меня, сударыня, извините; все могло бы пойти на лад, если бы барышня хотела, если бы она занималась; но все-таки дело идет недурно». *Мать:* «На вашем месте я продержала бы ее целый год на одной и той же пьесе».— «О, что до этого, она от нее не отделается, пока не преодолеет всех трудностей; но этого ждать не так долго, как вы полагаете».— «Господин Рамо, вы льстите ей, вы слишком добры. Из всего урока она только это и запомнит и при случае сумеет мне повторить...»

Проходил час; моя ученица грациозным жестом и с изящным реверансом, которому научилась от учителя танцев, вручала мне конвертик; я клал его в карман, а мать говорила: «Превосходно, сударыня; если бы Жавилье видел вас, он бы вам аплодировал». Из приличия я болтал еще несколько минут, потом удалялся, и вот что называлось тогда уроками музыки.

Я. А теперь стало иначе?

Он. Еще бы! Прихожу, вид у меня серьезный; я тороплюсь положить свою муфту, открываю клавесин, пробую клавиши; я всегда тороплюсь; если меня заставляют ждать хоть минуту, я подымаю крик, как если бы у меня украли мои экю: через час я должен быть там-то, через два часа у герцогини такой-то; к обеду меня ждут у некоей красавицы маркизы, а затем мне надо быть на концерте у барона Багге на улице Нёв де Пти-Шан.

Я. А между тем вас нигде не ждут?

Он. Да, вы правы.

Я. Так зачем же прибегать ко всем этим унизительным уловкам, всем этим мелким, недостойным хитростям?

Он. Унизительным? А почему унизительным, позвольте спросить? Они — дело привычное в моем положении; я не унижаюсь, поступая как все. Не я изобрел эти хитрости, и было бы нелепо и глупо, если бы я не стал к ним прибегать. Правда, я

знаю, что если вы захотите применить здесь какие-то общие правила бог весть какой морали, которая у них у всех на устах, хотя никто из них ее не придерживается, то, может статься, белое окажется черным и черное — белым. Но есть, господин философ, всеобщая совесть, как есть и всеобщая грамматика, и есть в каждом языке исключения, которые у вас, ученых, называются... да подскажите мне... называются...

Я. Идиотизмами.

Он. Совершенно верно. Так вот: всякому сословию присущи исключения из правил всеобщей совести, которые мне бы хотелось назвать идиотизмами ремесла.

Я. Понимаю. Так, например, Фонтенель хорошо говорит, хорошо пишет, хоть слог его и кишит идиотизмами французской речи.

Он. А монарх, министр, откупщик, судья, военный, писатель, адвокат, прокурор, торговец, банкир, ремесленник, учитель пения, учитель танцев — тоже весьма честные люди, хотя и их поведение во многих смыслах отклоняется от правил всеобщей совести и полно моральных идиотизмов. Чем древнее само установление, тем больше идиотизмов, чем тяжелее времена, тем идиотизмы многообразнее. Каков человек, таково и ремесло, и, наоборот, каково ремесло, таков и человек. Вот почему стараешься поднять в цене свое ремесло.

Я. Из всего этого хитросплетения мне ясно только то, что мало есть ремесел, которыми занимаются честно, или мало честных людей, которые честно занимаются своим ремеслом.

Он. Еще чего! Да их вовсе нет, но зато мало и мошенников, кроме тех, что сидят каждый день в своей лавочке, и все было бы сносно, если бы не известное число людей, которые, что называется, усидчивы, аккуратны, точно исполняют свои прямые обязанности, или, что означает то же самое, всегда сидят в своей лавочке и с утра до вечера занимаются своим ремеслом и ничем другим. Недаром только они и богатеют и пользуются уважением.

Я. В силу идиотизмов?

Он. Именно так. Я вижу, что вы меня поняли. И вот есть идиотизм, свойственный почти всем сословиям, так же как есть идиотизмы, свойственные всем странам, всем временам, и как есть всеобщие глупости, и этот всеобщий идиотизм состоит в стремлении получить как можно более обширную практику; всеобщая же глупость состоит во мнении, будто самый искусный тот, у кого практика больше. Вот два исключения из правил всеобщей совести, и с ними нужно сообразоваться. Это своего рода

кредит, само по себе это ничто, приобретающее вес лишь благодаря общественному мнению. Говорят, что доброе имя дороже золота; между тем тот, у кого доброе имя, часто не имеет золота, а в наше время, как я вижу, тот, у кого есть золото, не терпит недостатка и в добром имени. Следует, насколько это возможно, иметь и доброе имя и золото, и эту цель я преследую, когда подымаю себе цену при помощи средств, которые вы называете унизительными уловками, недостойными, мелкими хитростями. Я даю урок, даю его хорошо — таково общее правило; я стараюсь уверить, что уроков у меня больше, чем в сутках часов,— таков идиотизм.

Я. А урок вы даете хорошо?

Он. Да, неплохо, прилично. Основной бас милого дядюшки все это очень упростил. Раньше я воровал деньги моего ученика — да, я воровал их, это бесспорно так; теперь же я зарабатываю их, по крайней мере, не хуже, чем другие.

Я. И вы воровали без угрызений совести?

Он. Без всяких угрызений. Говорят, что, когда вор крадет у вора, черт хохочет. Родители моих учеников купались в богатстве, приобретенном бог весть каким способом; то были придворные, финансисты, крупные негоцианты, банкиры, дельцы; я и целая толпа других, которых они держали на своей службе, помогали им возвращать присвоенное назад. В природе все виды животных пожирают друг друга; в обществе друг друга пожирают все сословия. Мы вершим правосудие друг над другом, не прибегая к закону. Когда-то Дешан, а нынче Гимар мстили финансисту за князя; а самой Дешан за финансиста мстят модистка, ювелир, обойщик, белошвейка, жулик, горничная, повар, булочник. Среди всей этой сутолоки только глупец или бездельник терпит урон, никому не досадив, и это вполне справедливо. Отсюда вы видите, что эти исключения из правил всеобщей совести или эти моральные идиотизмы, о которых столько шумят, называя их *неправедными доходами*,— сущие пустяки и что в конце концов важно лишь иметь правильный глазомер.

Я. Вашим я восхищен.

Он. А нужда! Голос совести и чести звучит весьма слабо, когда желудок вопит вовсю. Как бы то ни было, если я когда-нибудь разбогатею, мне тоже придется возвращать нажитое, и я твердо решил, что прибегну тогда ко всем возможным способам — еде, игре, вину, женщинам.

Я. Но я боюсь, что вы никогда не разбогатеете.

Он. Подозреваю, что так.

Я. Но если бы вы разбогатели, что бы вы стали делать?

Он. То, что делают все разбогатевшие нищие: я стал бы самым наглым негодяем, какого только видел свет. Тут-то я и припомнил бы все, что вытерпел от них, и уж вернул бы сторицей. Я люблю приказывать, и я буду приказывать. Я люблю похвалы, и меня будут хвалить. К моим услугам будет вся Вильморьенова свора, и я им скажу, как говорили мне: «Ну, мошенники, забавляйте меня»,— и меня будут забавлять; «Раздирайте в клочья порядочных людей»,— и их будут раздирать, если только они не вывелись. И потом у нас будут девки, мы перейдем с ними на ты, когда будем пьяны; мы будем напиваться, будем врать, предадимся всяким порокам и распутствам; это будет чудесно. Мы докажем, что Вольтер бездарен, что Бюффон всего-навсего напыщенный актер, никогда не слезающий с ходуль, что Монтескье всего-навсего остроумец; Даламбера мы загоним в его математику. Мы зададим жару всем этим маленьким Катонам вроде вас, презирающим нас из зависти, скромным от гордости и трезвым в силу нужды. А музыка! Вот когда мы займемся ею!

Я. По тому достойному применению, которое вы нашли бы своему богатству, я вижу, какая это жалость, что вы нищий. Вы бы стали вести жизнь, делающую честь всему роду человеческому, весьма полезную для ваших соотечественников, полную славы для вас.

Он. Кажется, вы смеетесь надо мной, господин философ: но вы не знаете, с кем вы шутите; вы не подозреваете, что в эту минуту я воплощаю в себе самую важную часть города и двора. Наши богачи всех разрядов, может быть, и говорили себе, а может быть, не говорили всего того, в чем я признался вам; но бесспорно, что жизнь, которую я стал бы вести на их месте, точь-в-точь соответствует их жизни. Вы, господа, воображаете, что одно и то же счастье годится для всех. Что за странное заблуждение! Счастье, по-вашему, состоит в том, чтобы иметь особое мечтательное направление ума, чуждое нам, необычный склад души, своеобразный вкус. Эти странности вы украшаете названием добродетели, именуете философией, но разве добродетель или философия созданы для всех? Кто может, пусть владеет ими, пусть их бережет. Только представить себе мир мудрым и философичным — согласитесь, что он был бы дьявольски скучен. Знаете — да здравствует философия, да здравствует мудрость Соломона: пить добрые вина, обжираться утонченными яствами, жить с красивыми женщинами, спать в самых мягких постелях; а все остальное — суета.

Я. Как! А защищать свое отечество?

Он. Суета! Нет больше отечества: от одного полюса до другого я вижу только тиранов и рабов.

Я. А помогать своим друзьям?

Он. Суета! Разве есть у нас друзья? А если бы они и были, стоило бы делать из них неблагодарных людей? Присмотритесь хорошенько, и вы увидите, что к этому обычно и приводят оказанные услуги. Признательность есть бремя, а всякое бремя для того и создано, чтобы его сбросить.

Я. А занимать положение в обществе и исполнять свои обязанности?

Он. Суета! Экая важность, есть ли положение или нет — лишь бы быть богатым: ведь положение только для того и занимаешь. Исполнять обязанности — к чему это ведет? К зависти, к волнениям, к преследованиям. Разве так идут в гору? Надо прислуживаться, черт возьми! Надо прислуживаться, ездить к знатным особам, изучать их вкусы, потакать их прихотям, угождать порокам, одобрять несправедливость — вот в чем секрет.

Я. А заниматься воспитанием своих детей?

Он. Суета! Это же дело наставника.

Я. Но ежели этот наставник, набравшись ваших правил, пренебрежет своим долгом — кто понесет наказание?

Он. Ей-богу, не я, а, может быть, муж моей дочери или жена моего сына.

Я. А если и тот и другая погрязнут в разврате и пороках?

Он. Это будет естественно в их положении.

Я. Если они себя опозорят?

Он. При богатстве что бы ни сделать — нельзя опозорить себя.

Я. Если они разорятся?

Он. Тем хуже для них!

Я. Я вижу, что, если вы отказываетесь наблюдать за поведением вашей жены, ваших детей, ваших слуг, вы легко можете пренебречь и вашими делами.

Он. Простите, иногда трудно бывает раздобыть деньги, и благоразумие велит заранее подумать об этом.

Я. Вы мало стали бы заботиться о вашей жене?

Он. Совсем не стал бы, с вашего разрешения. Лучший способ обращения со своей дражайшей половиной — это, как мне кажется, делать то, что ей по нраву. Как, по-вашему, не скучно ли было бы смотреть на общество, если бы каждый исполнял там свои обязанности?

Я. Почему же скучно? Когда я доволен моим утром, тогда и вечер бывает для меня особенно хорош.

О н. Также и для меня.

Я. Если светские люди так прихотливы в выборе своих развлечений, то это — от полной своей праздности.

О н. Не думайте этого: они много суетятся.

Я. Так как они никогда не устают, то никогда и не отдыхают.

О н. Не думайте этого: они вечно переутомлены.

Я. Для них удовольствие — это всегда занятие, а не потребность.

О н. Тем лучше: потребность всегда в тягость.

Я. Они всем пресыщаются. Душа у них тупеет, скука ею овладевает. Тот, кто отнял бы у них жизнь среди этого тягостного изобилия, удружил бы им: им знакома лишь та доля счастья, что притупляется скорее всего. Я не презираю чувственных наслаждений: и у меня есть нёбо, которому доставляет удовольствие изысканное кушанье или прекрасное вино; и у меня есть сердце и есть глаза, и мне приятно смотреть на красивую женщину, приятно чувствовать под моей рукой ее упругую и округлую грудь, прильнув к ее губам, пить сладострастие в ее взорах, замирать в ее объятиях. Меня не смущает и пирушка с друзьями, пусть даже немного буйная. Но я не скрою от вас, что мне бесконечно сладостнее оказать помощь несчастному, благополучно окончив в его пользу какое-нибудь кляузное дело, подать спасительный совет, прочесть занимательную книгу, совершить прогулку в обществе друга или женщины, близкой моему сердцу, провести несколько часов в занятиях с моими детьми, написать удачную страницу, исполнить общественный долг, сказать той, кого я люблю, несколько слов, таких ласковых и нежных, что руки ее обовьются вокруг моей шеи. Есть поступки, ради которых я отдал бы все мое достояние. Великое произведение — «Магомет», но я предпочел бы смыть пятно с памяти Каласов. Один мой знакомый искал убежища в Картахене; то был младший сын в семье, и, по обычаям его родины, все наследство переходило к старшим. В Картахене он узнает, что его старший брат, баловень семьи, отнял у отца и матери, слишком снисходительных к нему, все, что у них было, выгнал их из родового замка и что добрые старики томятся в бедности в каком-то маленьком городке. Что же делает этот младший сын, с которым родители обращались сурово и который поехал искать счастья на чужбине? Он посылает им деньги, спешит устроить свои дела, возвращается богатым, водворяет отца и мать в их доме, выдает замуж сестру. Ах, мой дорогой Рамо, и это время он считал самым счастливым в своей жизни;

он говорил о нем со слезами на глазах, и я, рассказывая вам о нем, чувствую, как сердце мое трепещет от восторга и от радости прерывается речь.

Он. Странные вы существа!

Я. А вы существо, достойное сожаления, если вам непонятно, что над своей судьбой можно возвыситься и что нельзя быть несчастным, если ты совершил такие поступки, как эти.

Он. С подобным видом счастья мне было бы нелегко освоиться, ибо оно встречается редко. Так, вы говорите, следует быть честным?

Я. Чтобы быть счастливым — конечно!

Он. Между тем я вижу бесконечное множество честных людей, которые несчастливы, и бесконечное множество людей счастливых и нечестных.

Я. Вам так кажется.

Он. И не оттого ли, что во мне один раз заговорили здравый смысл и искренность, сегодня вечером мне некуда пойти поужинать?

Я. О нет, это потому, что они не всегда в вас говорили, потому что вы не почувствовали в свое время необходимости обеспечить себе независимое существование, чуждое рабства.

Он. Зависимое оно или независимое, но то, которое я веду, по крайней мере, наиболее удобное.

Я. И наименее надежное и наименее почтенное.

Он. Но наиболее соответствующее моему нраву — бездельника, глупца и негодяя.

Я. Согласен.

Он. И раз уж я могу составить свое счастье пороками, свойственными мне, приобретенными без труда, не требующими усилий для того, чтобы их сохранить, пороками, отвечающими нравам моего народа, приходящимися по вкусу моим покровителям и более соответствующими их мелким личным нуждам, чем добродетели, которые стесняли бы их, потому что с утра до вечера служили бы им укором, то было бы весьма странно, если бы я стал себя терзать, как грешника в аду, лишь бы исковеркать и переиначить себя, лишь бы придать себе не свойственные мне черты, качества, которые я согласен признать во избежание спора весьма почтенными, но которые очень трудно было бы приобрести и применять, которые не привели бы ни к чему, быть может, даже хуже, чем ни к чему, ибо они явились бы постоянной насмешкой над богачами, у которых кормятся нищие вроде меня. Добродетель хвалят, но ее ненавидят, от нее

бегут, она леденит, а между тем в этом мире ноги следует держать в тепле. И к тому же все это неминуемо привело бы меня в дурное расположение духа. Ведь отчего столь часто бывает, что благочестивые люди так черствы, так несносны, так необщительны? Причина в том, что они поставили перед собой цель, их природе не свойственную; они страдают, а когда страдаешь, то заставляешь страдать и других. Это-то не входит ни в мои намерения, ни в намерения моих покровителей: мне надо быть веселым, податливым, забавным, шутливым, смешным. Добродетель заставляет себя уважать, а уважение — вещь неудобная; добродетель заставляет восхищаться, а восхищение — вещь невеселая. Я имею дело с людьми скучающими, и я должен их смешить. А смешат нелепости и сумасбродства,— значит, мне надлежит быть нелепым и сумасбродным, а если бы природа не создала меня таким, всего проще было бы таким притвориться. К счастью, мне нет надобности лицемерить, ведь лицемеров и так уж много, притом всех мастей, не считая тех, кто лицемерит с самим собою. Возьмите шевалье де Ламорльера — шляпа у него сдвинута на ухо, голову он задирает, смотрит на вас через плечо, на боку у него болтается длиннейшая шпага, для всякого, кто этого и не ждет, у него готово оскорбление, и кажется, будто он каждому встречному хочет бросить вызов. А для чего? Все для того, чтобы убедить себя в собственной храбрости. Но он трус. Дайте ему щелчок по носу, и он со всей кротостью примет его. Хотите заставить его понизить тон? Повысьте голос сами, пригрозите ему тростью или двиньте ему коленом в зад. Сам удивившись, что он трус, он спросит вас, кто вам это сказал, от кого вы это узнали; минуту тому назад он сам этого не знал; обезьянья игра в храбреца, ставшая для него давней привычкой, внушила ему высокое о себе мнение; он так долго разыгрывал роль, что принял ее за правду. А вот женщина, которая умерщвляет свою плоть, посещает узников, участвует во всех благотворительных обществах, ходит с опущенными глазами, никогда не посмотрит мужчине в лицо, вечно опасаясь соблазна для собственных чувств,— разве все это может помешать тому, что сердце ее пылает, что вздохи вырываются из ее груди, что страсть ее разгорается, что желание преследует ее и что воображение рисует ей ночью сцены из «Монастырского привратника» или позы из Аретино? Что творится с ней тогда? Что думает о ней ее горничная, вскакивая в одной рубашке с постели и бросаясь на помощь к своей «умирающей» госпоже? Идите спать, Жюстина, не вас в своем бреду зовет ваша госпожа!

А если бы наш друг Рамо в один прекрасный день стал выказывать презрение к богатству, к женщинам, к вкусной еде, к безделью и разыгрывать Катона, кем бы он оказался? Лицемером. Рамо должен быть таким, каков он есть, счастливым разбойником среди разбойников богатых, а не хвастуном, кричащим о своей добродетели, или даже добродетельным человеком, грызущим корку хлеба в одиночестве или вместе с другими нищими. И чтобы уж все сказать напрямик, меня не устраивает ни ваше благополучие, ни счастье мечтателей — таких, как вы.

Я. Я вижу, дорогой мой, что вы и не знаете, что это такое, и даже не способны это узнать.

Он. Тем лучше, черт побери, тем лучше. Иначе я подох бы с голоду, со скуки и, может быть, от угрызений совести.

Я. Если так, единственный совет, какой я могу вам дать, это — поскорее возвратиться в тот дом, откуда вас выгнали из-за вашей опрометчивости.

Он. И делать то, что в прямом смысле вы не порицаете и что немного мне претит в переносном?

Я. Я вам советую.

Он. И невзирая на ту метафору, что мне сейчас не по вкусу, а в другой раз может прийтись и по вкусу?

Я. Что за странности!

Он. Тут нет ничего странного: я готов быть гнусным, но не хочу, чтобы это было по принуждению. Я готов пожертвовать достоинством... Вы смеетесь?

Я. Да, ваше достоинство меня смешит.

Он. У каждого свое. О моем я готов забыть, но по своей собственной воле, а не по чужому приказанию. Допустимо ли, чтобы мне сказали: «Пресмыкайся!» — и чтобы я был обязан пресмыкаться! Это свойственно червю, свойственно и мне; мы оба пресмыкаемся, когда нам дают волю, но мы выпрямляемся, когда нам наступят на хвост; мне наступили на хвост, и я выпрямился. К тому же вы не имеете представления о том, что это за отвратительнейшая кунсткамера. Вообразите меланхолика и угрюмца, терзаемого недугами, наглухо закутавшегося в халат, противного самому себе, да ему и все противно; у него с трудом вызовешь улыбку, хотя бы ты на тысячу ладов изощрялся телом и умом; он остается равнодушен к тому, как забавно кривляется мое лицо и еще забавнее кривляется моя мысль, а ведь, между нами говоря, даже отец Ноэль, этот гадкий бенедиктинец, столь известный своими гримасами, несмотря на весь свой успех при дворе,— скажу это, не льстя ни себе, ни ему,— по сравнению со мной жалкий деревянный паяц. Как я

ни бьюсь, чтобы достигнуть совершенства обитателей сумасшедших домов, ничто не помогает. «Засмеется? Не засмеется?» — вот о чем я спрашиваю себя, когда извиваюсь перед ним, и вы сами посудите, как вредна для таланта подобная неуверенность. Мой ипохондрик, когда нахлобучит на голову ночной колпак, закрывающий ему глаза, напоминает неподвижного китайского болванчика, у которого к подбородку привязана нитка, спускающаяся под кресло. Ждешь, что нитка дернется, а она не дергается, а если и случится, что челюсти раздвинутся, то только для того, чтобы произнести слово, повергающее вас в отчаяние, слово, дающее вам знать, что вас не заметили и что все ваши ужимки пропали даром. Это слово служит ответом на вопрос, который вы, например, задали ему четыре дня тому назад; когда оно сказано, сосцевидный механизм ослабевает и челюсти закрываются.

И тут он начал передразнивать этого человека. Он сел на стул, не двигая головой, нахлобучил шапку по самые брови, свесил руки и, точно автомат, двигая челюстями, произнес: «Да, вы правы, сударыня, тут нужна хитрость».

— Он все время что-нибудь решает, все решает, и притом безапелляционно, решает вечером, утром, за туалетом, за обедом, за ужином, за кофе, за игрой, в театре, в постели и, да простит мне бог, кажется, даже в объятиях своей любовницы. Эти последние решения я не имею возможности услышать, но от остальных я дьявольски устал... Хмурый, унылый, непреклонный, как сама судьба,— вот каков наш патрон.

Против него сидит недотрога, напускающая на себя важность, особа, которой можно было бы решиться сказать, что она хороша собой, ибо она еще в самом деле хороша, хотя на лице ее то тут, то там пятна и она своим объемом стремится превзойти госпожу Бувильон. Я люблю телеса, когда они хороши, но чрезмерность — всегда чрезмерность, а движение так полезно для материи! *Item*;[1] она злее, надменнее и глупее гусыни. *Item*, она претендует на остроумие. *Item*, требуется ее уверять, что ее-то и считаешь самой остроумной. *Item*, она ничего не знает и тоже все решает. *Item*, ее решениям должно аплодировать и ногами и руками, скакать от восторга и млеть от восхищения: «Как это прекрасно, как тонко, как метко сказано, как удачно подмечено, как необыкновенно прочувствовано! И откуда только женщины это берут? Не изучая, только благодаря чутью, благодаря природному уму! Это похоже на чудо! Пусть

[1] Так же, равным образом *(лат.)*.

после этого нам говорят, что опыт, науки, размышление, образование что-то значит!..» И еще и еще повторять подобные глупости и плакать от радости, десять раз на дню сгибаться, склонив перед ней одно колено, а другую ногу вытянув назад: простирая руки к богине, угадывать по глазам ее желания, ловить движения ее губ, ждать ее приказов и бросаться их исполнять с быстротою молнии. Кто захочет унизиться до такой роли, кроме жалкого существа, которое раза два или три в неделю найдет там, чем успокоить свои мятущиеся кишки? И что подумать о других, о таких, как Палиссо, Фрерон, Пуансине, Бакюлар, у которых кое-какие средства есть и подлость которых нельзя извинить урчанием голодного брюха?

Я. Я бы никогда не подумал, что вы так строги.

Он. Я и не строг. Сперва я смотрел, как делают другие, и делал то же, что они, даже несколько лучше их, ибо я откровеннее в моей наглости, лучше разыгрываю комедию, больше изголодался и легкие у меня лучше. Я, очевидно, по прямой линии происхожу от славного Стентора...

И, чтобы дать мне верное представление о мощи этого своего органа, он принялся кашлять с такой силой, что стекла в кафе задребезжали, а шахматисты отвлеклись от своих досок.

Я. Но что за прок от этого таланта?

Он. Вы не догадываетесь?

Я. Нет, я соображаю несколько туго.

Он. Представьте, что завязался спор и еще неясно, на чьей стороне победа; вот я и встаю и с громовым раскатом в голосе говорю: «Сударыня, вы совершенно правы... вот что называется правильным суждением! Держу сто против одного: никто из наших остряков с вами не сравнится. Это выражение просто гениально». Но одобрение не следует выказывать всегда одним и тем же способом; это было бы однообразно, показалось бы неискренним, превратилось бы в пошлость. На помощь тут являются сообразительность, изобретательность; надо уметь подготовить и к месту пустить в ход мажорный решительный тон, уловить случай и минуту. Так, например, когда в чувствах и мнениях полный разброд, когда спор достиг крайней степени ожесточения, когда больше не слушают друг друга и все говорят зараз, надо стать в углу, наиболее отдаленном от поля битвы, подготовиться к взрыву продолжительным молчанием и внезапно бомбой обрушиться на спорящих: никто не владеет этим искусством так, как я. Но в чем я неподражаем, так это в совсем иных вещах — у меня есть и мягкие тона, которые я сопровождаю улыбкой, бесконечное множество ужимок одобрения:

тут работают и нос, и рот, и лоб, и глаза; я отличаюсь особой гибкостью поясницы, особой манерой выгибать спину, поднимать или опускать плечи, вытягивать пальцы, наклонять голову, закрывать глаза и разыгрывать изумление, как будто некий ангельский и божественный голос прозвучал мне с неба; вот это больше всего и льстит. Не знаю, улавливаете ли вы всю силу этой последней позы; изобрел ее не я, но никто не превзошел меня в ее применении. Вот — смотрите, смотрите.

Я. Согласен: это нечто единственное в своем роде.

Он. Считаете ли вы возможным, чтобы мозги тщеславной женщины против этого устояли?

Я. Нет. Следует признать, что талант шута и способность унижаться вы довели до предела совершенства.

Он. Как бы они ни старались, сколько бы их ни было, им до этого не дойти никогда: так, лучший среди них, Палиссо, всегда останется лишь добросовестным учеником. Но если вначале играть эту роль бывает забавно и ты испытываешь известное удовольствие, издеваясь про себя над глупостью тех, кого морочишь, то в конце концов острота ощущений теряется, а потом, после нескольких выдумок, приходится повторяться: остроумие и искусство имеют границы; лишь для господа бога да нескольких редких гениев дорога расширяется по мере того, как они идут вперед. К таким гениям, пожалуй, принадлежит Буре. Про него рассказывают вещи, которые мне, да, даже мне, внушают на его счет самое высокое мнение. *Собачка, книга счастья, факелы* по дороге в Версаль — все это меня поражает и устыжает; так может пропасть охота к собственному ремеслу.

Я. О какой это собачке вы говорите?

Он. Да откуда вы свалились? Как! Вы и в самом деле не знаете, что сделал этот необыкновенный человек, чтобы отвадить от себя собачку и приручить ее к хранителю королевской печати, которому она нравилась?

Я. Не знаю, должен покаяться.

Он. Тем лучше. Ничего более блестящего нельзя себе и представить: вся Европа была в восхищении, и нет придворного, который не испытал бы зависти. Вот вы не лишены находчивости,— посмотрим, как бы вы на его месте взялись за дело. Примите в соображение, что собака любила Буре, что странный наряд министра пугал маленькое животное, что Буре располагал одной только неделей, чтобы преодолеть все трудности. Надо знать все условия задачи, чтобы по достоинству оценить ее решение. Ну, что дальше?

Я. Что дальше? Должен вам признаться, в подобных делах даже и самые легкие вещи ставят меня в тупик.

Он. Слушайте же *(при этом он слегка ударил меня по плечу с обычной своей фамильярностью)*, слушайте и восторгайтесь. Буре заказывает себе маску, которая напоминает лицо хранителя королевской печати, добывает через камердинера его пышную мантию, надевает маску, облачается в мантию, зовет собачку, ласкает ее, дает ей пирожок; затем внезапная перемена декораций, и уже не хранитель королевской печати, а Буре зовет свою собачку и бьет ее. Через каких-нибудь два-три дня таких непрерывных упражнений — с утра и до вечера — собачка приучается убегать от Буре — финансиста и льнуть к Буре — хранителю королевской печати. Но я слишком уж добр; вы — профан, не заслуживающий того, чтобы вас посвящали в чудеса, совершающиеся тут же, рядом с вами.

Я. И все-таки, прошу вас, расскажите про *книгу* и про *факелы*.

Он. Нет, нет. Обратитесь к первому встречному, который вам это расскажет, и пользуйтесь случаем, который нас свел, чтобы узнать такие вещи, каких не знает никто, кроме меня.

Я. Вы правы.

Он. Достать мантию и парик — да, я забыл про парик хранителя печати! Заказать маску, напоминающую его лицо! Маска меня особенно восхищает. Недаром этот человек пользуется величайшим почетом; недаром он имеет миллионы. Есть кавалеры креста Людовика Святого, сидящие без куска хлеба, но к чему же и гоняться за крестом, рискуя свернуть себе шею, когда можно заняться безопасным делом на таком поприще, где всегда обеспечена награда! Вот что называется широкий размах. Но такие примеры повергают в уныние; становится жалко самого себя, и делается тоскливо. Ах, маска, маска! Я дал бы отрезать себе палец, лишь бы додуматься до этой маски.

Я. Но неужели же с вашей страстью ко всяким прекрасным вещам и при вашей легкости на выдумки вы ничего не изобрели?

Он. Прошу прощения. Вот, например, подобострастный изгиб спины, о котором я вам говорил, я рассматриваю почти как свой, хотя завистники, быть может, и будут оспаривать его у меня. Разумеется, им пользовались и до меня, но разве кто-нибудь заметил, как он удобен, чтобы снизу посмеиваться над наглецом, которому выражаешь свое восхищение! У меня более ста приемов, как приступить к обольщению молодой девицы в присутствии ее матери, причем та и не заметит и даже ока-

жется моей пособницей. Едва я вступил на это поприще, как уже отверг все пошлые способы вручения любовных записок; у меня есть десять способов заставить вырывать их у меня из рук, и смею похвастаться, что есть способы и совсем новые. Главное же — у меня талант подбодрить застенчивого молодого человека: благодаря мне добивались успеха и такие, у которых не было ни ума, ни счастливой внешности. Если бы все это написать, за мной признали бы известное дарование.

Я. Вы прославились бы в своем роде?

Он. Не сомневаюсь.

Я. На вашем месте я все это набросал бы на бумаге. Жаль, если это пропадет.

Он. Да, верно; но вы не подозреваете, как мало значения я придаю мето́де и всяким наставлениям! Кто нуждается в протоколах, далеко не пойдет: гении читают мало, делают много и сами создают себя. Возьмите Цезаря, Тюренна, Вобана, маркизу де Тансен, ее брата, кардинала, и его секретаря, аббата Трюбле. А Буре? Кто давал уроки Буре? Никто. Этих редкостных людей создает сама природа. Или вы думаете, что история собачки и маски где-нибудь записана?

Я. Но в часы досуга, когда томление пустого желудка или усталость желудка переполненного гонят от вас сон...

Он. Я об этом подумаю. Лучше писать о великих вещах, чем заниматься мелкими. Тогда душа возносится вверх, воображение возбуждается, воспламеняется и раздается вширь; зато оно суживается, когда в присутствии маленькой Юс мы выражаем удивление по поводу аплодисментов, упрямо расточаемых глупой публикой этой жеманнице Данжевиль, которая играет так пошло, сгибается чуть ли не пополам, когда ходит по сцене, так неестественно все время заглядывает в глаза тому, к кому обращается, сама же занята другим и свои гримасы принимает за некую тонкость, а семенящую походку — за грацию, или напыщенной Клерон, такой худощавой, такой вычурной, такой искусственной и натянутой, что нельзя и передать. Этот дурацкий партер хлопает им без всякого удержу и не замечает, что мы-то и составляем собрание прелестей. Правда, эти прелести несколько растолстели, но что в том? У нас самая красивая кожа, самые красивые глаза, самый хорошенький носик; правда, мало души да походка не слишком легкая, но все же и не столь неуклюжая, как говорят некоторые. Зато что касается чувства, то тут мы каждую заткнем за пояс.

Я. Как понимать все это? Смеетесь вы или говорите всерьез?

Он. Беда в том, что это чертово чувство скрывается в самой глубине, и даже отблеск его не проникает наружу. Но я-то, когда говорю, я знаю, и хорошо знаю, что оно у нее есть. Если оно и не совсем настоящее, то все же вроде настоящего. Надо видеть, как мы обращаемся с лакеями, когда бываем не в духе, какие пощечины закатываем горничным, какие пинки даем «Особым поступлениям», если они хоть чуть-чуть отступают от должной нам почтительности. Это, уверяю вас, чертенок, преисполненный чувства и достоинства... Но вы, кажется, не возьмете в толк, что и думать?

Я. Сознаюсь, не могу разобраться, от чистого ли сердца или по злобе вы так говорите. Я — человек простой, уж благоволите объясняться прямее и оставить ваше красноречие...

Он. Это то, что мы излагаем нашей маленькой Юс насчет Данжевиль и Клерон, кое-где вставляя и смелое словечко. Принимайте меня за негодяя, но не за глупца, хоть вам и ясно, что наговорить всерьез столько нелепостей мог бы только глупец или человек, по уши влюбленный.

Я. Но как хватает у вас дерзости говорить такие вещи?

Он. Этого добиваешься не сразу, но мало-помалу до этого доходишь. *Ingenii largitor venter* [1].

Я. Надо быть уж очень голодным.

Он. Пожалуй. Но какими бы невероятными вам ни казались все эти нелепости, поверьте, что те, к кому мы с ними обращаемся, еще больше привыкли их слышать, чем мы — говорить.

Я. Неужели у кого-нибудь найдется смелость разделять ваше мнение?

Он. Что значит: «у кого-нибудь»? Так думает и говорит все общество.

Я. Те из вас, что не настоящие негодяи, должно быть, настоящие дураки.

Он. Дураки? Уверяю вас, только один и есть — тот, который чествует нас за то, что мы его морочим.

Я. Но как это можно допустить, чтобы тебя так грубо морочили? Ведь превосходство талантов Данжевиль или Клерон не подлежит сомнению.

Он. Ложь, лестную для тебя, выпиваешь залпом, а правду, если она горька, пьешь по каплям. К тому же тон у нас такой проникновенный, такой искренний...

Я. Но, наверно, вам все-таки случалось иногда грешить против правил вашего же искусства и у вас хоть ненароком

---

[1] Брюхо — поставщик ума *(лат.)*.

вырывались горькие и оскорбительные истины: ведь, несмотря на ту презренную, мерзкую, низкую, отвратительную роль, которую вы играете, душа у вас, в сущности, чувствительная, как мне кажется.

О п. У меня? Ничуть. Черт меня побери, если я знаю, кто я, в сущности, такой! Вообще ум у меня круглый, как шар, а нрав гибкий, как ива. Я никогда не лгу, если только мне выгодно говорить правду; никогда не говорю правды, если мне только выгодно лгать. Я говорю то, что мне взбредет в голову; если это умно — тем лучше, если несуразно — на это не обращают внимания. Я и пользуюсь этой свободой. Никогда в жизни я не раздумывал ни перед тем, как заговорить, ни в то время, когда говорю, ни после того, как я уже сказал; зато на меня никто и не обижается.

Я. Но все же это с вами случилось у тех добрых людей, у которых вы жили и которые были к вам так благосклонны.

О п. Что поделаешь? То было несчастье, злоключение, какие порой происходят в жизни; вечного благополучия не существует; мне было слишком хорошо, и так не могло продолжаться. Как вам известно, у нас бывает общество самое многолюдное и самое отборное. Это просто какая-то школа человеколюбия, возрождение древнего гостеприимства. Все поэты, потерпевшие провал, подбираются нами; был у нас Палиссо после своей «Зары», Брет после «Мнимого благодетеля», все осрамившиеся музыканты, все писатели, которых никто не читает, все освистанные актрисы, все ошиканные актеры, целая куча бедняков, пристыженных, жалких паразитов, во главе которых я имею честь стоять, храбрый вождь трусливого войска. Это я приглашаю их к столу, когда они приходят в первый раз, я приказываю подать им вина. А они занимают так мало места! Есть тут какие-то юноши в лохмотьях, не знающие, куда им податься, но у них счастливая внешность; есть и подлецы, которые лебезят перед хозяином и усыпляют его, чтобы потом поживиться прелестями хозяйки. На вид мы веселые, но, в сущности, мы все злимся и очень хотим есть. Волки не так голодны, как мы, тигры не так свирепы. Все, что нам попадается, мы пожираем, как волки после снежной зимы, раздираем на части, как тигры, всех, кто преуспел. Иногда собираются вместе шайки Бертена, Монсожа и Вильморьена — вот когда в зверинце поднимается шум! Нигде не увидишь такого множества унылых, сварливых, злых и ожесточенных зверей. Тут только и слышишь что имена Бюффона, Дюкло, Монтескье, Руссо, Вольтера, Даламбера, Дидро. И одному богу ведомо, какими эпитетами они сопровож-

даются! Умен лишь тот, кто так же глуп, как мы. План «Философов» зародился там, сцену с разносчиком придумал я в подражание «Теологии по-бабьи». Вас там щадят не больше, чем других.

Я. Тем лучше! Может быть, мне даже оказывают больше чести, чем я заслуживаю. Мне было бы стыдно, если бы те, кто дурно говорит о стольких замечательных и честных людях, хорошо отозвались обо мне.

Он. Нас много, и каждый должен принести свою дань. После заклания крупных животных мы расправляемся и с прочими.

Я. Поносить науку и добродетель ради куска хлеба! Дорого же он вам достается.

Он. Я вам говорил уже, что с нами не считаются. Мы всех ругаем, но никого не обижаем. Иногда нас посещают грузный аббат д'Оливе, толстый аббат Леблан, лицемер Баттё; толстый аббат бывает сердит лишь до обеда. Выпив кофе, он разваливается в кресле, упирается ногами в решетку камина и засыпает, как старый попугай на своей жерди. Если шум слишком уж усиливается, он позевывает, потягивается, трет себе глаза и спрашивает: «А? Что такое? Что такое?» — «Речь о том, остроумнее ли Пирон, чем Вольтер?» — «Давайте условимся: речь, значит, идет об остроумии? Не о вкусе? Ведь о вкусе ваш Пирон не имеет и понятия».— «Не имеет...» И вот мы пускаемся в рассуждения о вкусе. Тут хозяин делает рукою знак, чтобы его слушали, ибо вкус — его конек. «Вкус,— говорит он,— вкус — это такая вещь...» Не знаю уж, ей-богу, что это за вещь, да и он не знает.

Иногда у нас бывает дружище Роббе; он угощает нас своими двусмысленными рассказами, чудесами, которые у него на глазах совершали исступленные фанатики, да чтением песен из своей поэмы на сюжет, известный ему до тонкости. Я терпеть не могу его стихов, но люблю слушать, как он их читает; он похож тогда на бесноватого. Все кругом восклицают: «Вот что называется поэт!» Между нами говоря, эта поэзия не что иное, как смесь всякого рода беспорядочных звуков, дикое бормотанье словно у обитателей Вавилонской башни.

Посещает нас и некий простачок, на вид пошлый и глупый, но умный, как черт, и притом хитрее старой обезьяны. Это одно из тех лиц, которые навлекают на себя шутки и щелчки по носу и которых господь создал в назидание людям, судящим по внешности, хотя и зеркало могло бы научить их тому, что быть умным человеком, а походить на глупца — дело

столь же обычное, как прятать глупость под личиной ума. Широко распространенная подлость состоит в том, что какого-нибудь простака выставляют на посмешище; желая позабавить гостей, мы тоже все время обращаемся к нашему простаку; это — ловушка, которую мы расставляем всем вновь прибывшим, и почти каждый в нее попадался.

У этого чудака Рамо меня иной раз поражала меткость наблюдений над людьми и их характерами, и я ему это высказал.

— Дело в том,— ответил он мне,— что из дурной компании, так же как и из разврата, извлекается некоторая выгода; утрата невинности вознаграждается утратой предрассудков. В обществе злых людей, где порок выступает без маски, мы по-настоящему и распознаем предрассудки; кроме того, я кое-что читал.

Я. Что же вы читали?

Он. Я читал, читаю и беспрестанно перечитываю Теофраста, Лабрюйера и Мольера.

Я. Превосходные книги.

Он. Они гораздо лучше, нежели думают. Только кто умеет их читать?

Я. Все в меру своих умственных сил.

Он. Почти никто не умеет. А можете вы мне сказать, чего в них ищут?

Я. Развлечения и поучения.

Он. Но какого поучения? Ведь все дело в этом.

Я. Познания своих обязанностей, любви к добродетели, ненависти к пороку.

Он. Я-то извлекаю из них все, что следует делать, и все, чего не следует говорить. Так, когда я читаю «Скупого», я говорю себе: будь скуп, если хочешь, но остерегайся говорить как скупой. Когда я читаю «Тартюфа», я говорю себе: будь, если хочешь, лицемером, но не говори как лицемер. Сохраняй пороки, которые тебе полезны, но избегай сопутствующего им тона и внешнего вида, которые могут сделать тебя смешным. Чтобы обезопасить себя от этого тона, от этого внешнего вида, надо их знать, а указанные авторы превосходно их изобразили. Я — это я, и я остаюсь тем, чем являюсь, но я действую и говорю как подобает порядочному человеку. Я не из тех людей, что презирают моралистов; можно много полезного получить от них, особенно от тех, которые свою мораль приводят в действие. Порок раздражает людей лишь от случая к случаю, а внешние его черты раздражают их с утра до вечера. Пожалуй, лучше быть наглецом, чем иметь внешность наглеца: наглец по складу характера раздражает только время от времени, наглец по внеш-

нему виду раздражает всегда. Не подумайте, впрочем, что я единственный читатель в таком роде; моя заслуга здесь только в том, что я благодаря системе, точному суждению, разумному и правильному взгляду делаю то, что большинство делает просто по чутью. Поэтому от чтения они не становятся лучше меня, а остаются смешными, несмотря на него, между тем как я бываю смешон, лишь когда хочу, и тогда я оставляю их далеко позади себя, ибо искусство, которое учит меня, как в одних случаях не быть смешным, в других учит меня успешно вызывать смех. Тогда я вспоминаю все, что говорили другие, что я сам читал, и к этому прибавляю то, что извлекаю из собственного источника, а он в этом смысле поразительно щедр.

Я. Вы хорошо сделали, что открыли мне эти тайны, иначе я бы решил, что вы сами себе противоречите.

Он. Отнюдь нет, ибо на один случай, когда не следует быть смешным, приходится, к счастью, сто случаев, когда следует смешить. Нет лучшей роли при сильных мира сего, чем роль шута. Долгое время существовало звание королевского шута, но никогда не было звания королевского мудреца. Что до меня, то я шут Бертена и многих других, может быть, в эту минуту и ваш, или, может быть, вы — мой шут. Кто мудр, не стал бы держать шута; следственно, тот, кто держит шута, не мудр; если он не мудр, он сам шут, и будь он королем, он, пожалуй, был бы шутом своего шута. Впрочем, помните, что в области столь изменчивой, как нравы, нет ничего верного или ложного в полном, существенном, всеобъемлющем смысле слова, кроме того, что следует быть таким, каким выгодно быть — то есть добрым или злым, мудрецом или шутом, благопристойным или смешным, честным или порочным. Если бы случайно добродетель могла привести к богатству, я или был бы добродетелен, или притворялся бы добродетельным, как другие. Меня хотели видеть смешным, и я стал смешным. Что до порочности, то ею я обязан одной только природе. Когда я говорю о порочности, то я пользуюсь вашим языком, ибо если бы мы могли понять друг друга, могло бы статься, что вы назвали бы пороком то, что я зову добродетелью, а добродетелью — то, что я зову пороком.

Бывают у нас и авторы из Комической оперы, их актеры и актрисы, а еще чаще их антрепренеры Корби и Моэт, всё люди изобретательные и весьма достойные.

Да, еще забыл упомянуть великих литературных критиков, всех этих писак из «Передового гонца», «Листка объявлений», «Литературного года», «Литературного обозревателя» и «Еженедельного критика».

Я. «Литературный год»! «Литературный обозреватель»! Да этого не может быть: они друг друга ненавидят.

О н. Верно. Но все нищие мирятся за общим котлом. Этот проклятый «Литературный обозреватель»,— черт бы его унес, его и его писания! — этот пес, этот жалкий и жадный аббатишка, этот зловонный ростовщик — вот кто виновник моего несчастья. На нашем горизонте он показался вчера в первый раз, появился он в тот час, который всех нас заставляет выйти из наших берлог,— в час обеда. Счастлив тот из нас, у кого в дурную погоду найдется двадцать четыре су на извозчика. Бывает, что утром посмеешься над собратом, пришедшим по колено в грязи и промокшим до нитки, а вечером сам возвращаешься в таком виде. Был еще один — уж не помню, кто именно,— но несколько месяцев тому назад он здорово сцепился с шарманщиком-савояром, что обосновался у нашего подъезда; у них были финансовые расчеты; кредитор требовал уплаты долга, а должник оказался не при деньгах.

Но вот подается обед, с аббатом обходятся как с почетным гостем, его сажают на первое место. Я вхожу, замечаю его, говорю: «Как, аббат, вы на председательском месте? Что ж, сегодня так и быть, но завтра не взыщите, вы сядете на один прибор дальше, послезавтра еще на один, и так с прибора на прибор, то вправо, то влево, вы будете отодвигаться до тех пор, пока с того места, где однажды до вас сидел я, однажды после меня — Фрерон, однажды после Фрерона — Дора́, однажды после Дора́ — Палиссо, вы наконец бесповоротно пересядете на место рядом со мной, таким же жалким пошляком, как и вы, который *siedo sempre come un maestoso cazzo fra duoi coglioni*» [1].

Аббат, добрый малый, всегда благодушный, засмеялся; хозяйка дома, пораженная моим замечанием и верностью наблюдения, засмеялась; все сидевшие справа и слева от аббата или отодвинутые им на один прибор засмеялись; смеются все, за исключением хозяина, а он сердится и говорит мне слова, которые не имели бы никакого значения, будь мы только вдвоем. «Рамо, вы наглец!» — «Это мне известно, и на этом основании вы припяли меня».— «Вы бездельник».— «Как и все».— «Вы нищий» — «Разве иначе я был бы тут?» — «Я вас прогоню!» — «После обеда я и сам удалюсь».— «Советую вам».

Стали обедать; зубы мои не отдыхали ни минуты. Я славно поел, вдоволь попил — ибо в конце концов это ничего не меняло:

---

[1] Сидит, как великий пройдоха, между двух плутов *(итал.)*.

Племянник Рамо

господин Желудок — персона, на которую я никогда не дулся,— и, покорившись своей участи, хотел уходить; столько народу слышало мои слова, что их надо было привести в исполнение. Довольно долго я бродил по комнатам, разыскивая мою трость и шляпу там, где их не было, и все еще рассчитывая, что хозяин разрешится новым потоком ругани, что кое-кто вступится за меня и что в конце концов мы, побранившись, помиримся. Я все вертелся, все вертелся — ведь у меня-то на душе тяжести не было,— но хозяин был мрачнее и грознее, чем Аполлон у Гомера, когда он мечет свои стрелы в греческое войско: он глубже, чем обычно, надвинул свой колпак и расхаживал взад и вперед, подперев кулаками подбородок. Мадемуазель подходит ко мне. «Да что же особенного случилось, сударыня? Разве я нынче был не такой, как всегда?» — «Вам придется уйти».— «Я уйду... Все же я перед ним не виноват».— «Простите: пригласили господина аббата, и...» — «Так это он перед собой и виноват, что пригласил аббата, а в то же время принимает меня и вместе со мной еще стольких бездельников. Я...» — «Ну полно, голубчик, надо попросить прощения у господина аббата».— «На что мне его прощение?» — «Да полно, все это уладится...»

Меня берут за руку, тащат к креслу аббата; я простираю руки, взираю на аббата в некотором изумлении, ибо кто же и когда же просил прощения у аббата? «Аббат,— говорю я ему,— аббат, все это, не правда ли, весело и смешно?» И тут я рассмеялся и аббат тоже. Итак, здесь меня простили, но еще надо было подступиться к тому, другому, а то, что мне предстояло ему сказать, было дело иного сорта. Не помню уж, как я начал мои извинения: «Милостивый государь, вот этот сумасброд...» — «Слишком уж давно я из-за него мучаюсь; я больше слышать не хочу о нем».— «Ему досадно...» — «Да и мне досадно».— «Этого с ним больше не случится».— «Чтобы любой прохвост...»

Уж не знаю, был ли это один из тех дней, когда он так не в духе, что даже сама мадемуазель боится подойти к нему и все старается смягчить, или, может быть, он плохо слышал то, что я говорил, или я плохо сказал, но получилось еще хуже. Ах, черт! Да разве он не понимает, что я — как ребенок и что бывают случаи, когда мне на все наплевать? И потом, да простит меня господь, неужели у меня не будет хоть маленькой передышки! И стальной паяц износился бы, если бы его с утра до вечера и с вечера до утра дергали за веревочку. Я должен разгонять их скуку — таково условие, но надо же и мне когда-нибудь позабавиться. Среди всей этой путаницы в голове у меня пронеслась роковая мысль, наполнившая меня высокомерием,

мысль, вселившая в меня гордость и надменность,— мысль о том, что без меня им не обойтись, что я человек необходимый.

Я. Да, я тоже думаю, что вы им весьма полезны, но что вам они еще полезнее. Другого столь милого дома вам, пожалуй что, и не найти, а они взамен шута, которого им недостает, найдут сотню других.

О н. Сотню таких шутов, как я! Они попадаются вовсе не так часто, господин философ! Пошлые шуты — другое дело. От глупости требуется больше, чем от таланта или добродетели. Я в своей области редкость — да, большая редкость. Теперь, когда меня с ними нет, что они делают? Скучают зверски. Я неистощимый кладезь несуразностей. У меня каждую минуту готова была выходка, смешившая их до слез. Я заменял им целый сумасшедший дом.

Я. Зато вы имели стол, постель, одежду — и камзол, и штаны, и башмаки — и каждый месяц по золотому.

О н. Да, это положительная сторона, барыш; но вы ничего не говорите об обязанностях. Во-первых, как только разносился слух о новой пьесе, приходилось в любую погоду рыскать по всем парижским чердакам, пока я не находил автора, раздобывать рукопись для прочтения и ловко вставлять намек на то, что тут есть роль, которую как нельзя лучше исполнила бы одна знакомая мне особа. «А кто же это, позвольте узнать?» — «Кто? Милый вопрос! Это сама грация, сама прелесть, изящество».— «Вы имеете в виду госпожу Данжевиль? Вы, может быть, с ней знакомы?» — «Да, немного знаком, но это не она».— «Так кто же?» Я совсем шепотом называл имя. «Она?» — «Да, она!» — повторял я, несколько сконфуженный, ибо и я порой не лишен стыда, и надо было видеть, как при этом имени физиономия поэта вытягивалась, а иной раз мне смеялись прямо в глаза. Однако волей иль неволей надо было привести его к обеду, а он, опасаясь связать себя, жался, отнекивался. И надо бы видеть, как со мной обходились, если эти переговоры не удавались! Тут я оказывался тупицей, олухом, дураком; я ни на что не был годен; я не заслуживал даже стакана воды. Но куда хуже бывало, когда пьесу играли и приходилось среди шиканья публики,— а она, что ни говори, судит правильно,— бесстрашно, в полном одиночестве хлопать в ладоши, привлекать к себе все взгляды, спасая иногда актрису от свистков, и слышать подле себя шепот: «Это переодетый лакей ее любовника... Да уймется ли этот негодяй?..» Никто не знает, что может толкать на такие поступки; думают, что глупость, а между тем здесь есть причина, которая извиняет все.

Я. Даже нарушение гражданских законов.

Он. Но под конец меня уже стали знать и говорили: «О, это Рамо!» Меня могло выручить какое-нибудь ироническое замечание, которое я ронял для того, чтобы спасти от насмешки мои одинокие аплодисменты, а его истолковывали в обратном смысле. Согласитесь, что только ради очень большой выгоды можно так издеваться над публикой и что этот тяжкий труд стоил всякий раз дороже какого-нибудь жалкого экю!

Я. Почему вы не брали помощников?

Он. Иногда приходилось, и мне от этого бывала кое-какая выгода. Прежде чем отправиться на место пытки, надо было заучить те блистательные места роли, где надлежало задать тон. Если мне случалось их забыть или перепутать, я, возвращаясь, дрожал от страха; поднимался такой крик, что вам и не вообразить себе. А дома надо было ухаживать за целой сворой собак; правда, я по глупости сам вменил себе это в обязанность. На мне также лежал надзор за кошками; и я был безмерно счастлив, если Мику́ удостаивала меня только царапины, раздирая мне кожу на руке или манжеты. Крикетта подвержена коликам, и я растирал ей живот. Раньше у нашей хозяйки бывали приступы ипохондрии, а теперь она страдает расстройством нервов. Не говорю о легких недомоганиях, которых при мне нисколько не стесняются. Ну да что тут — я никого никогда не собирался стеснять. Я читал, что какой-то государь, прозванный Великим, дежурил иногда у судна своей любовницы. С домочадцами держатся запросто, а я в те дни был домочадцем больше, чем кто-либо другой. Я апостол простоты и непринужденности; я проповедовал им собственным примером и никогда не оскорблялся. Мне только не надо было мешать. Я уже обрисовал вам хозяина. Хозяйка же начинает прибавлять в весе. Надо только послушать милые вещи, которые люди рассказывают на этот счет.

Я. Но вы не из числа этих людей?

Он. А почему бы нет?

Я. Да потому, что по меньшей мере неприлично выставлять в смешном свете своих благодетелей.

Он. Но разве не хуже на правах благодетеля унижать того, кому покровительствуешь?

Я. Но если бы покровительствуемый сам по себе не был низок, ничто не давало бы покровителю такого права.

Он. А если бы люди не были смешны сами по себе, никто не сочинял бы о них забавных россказней. И к тому же — моя ли вина, что они водятся со всяким сбродом? Моя ли вина, что

они окружили себя сбродом, что их обманывают, что над ними издеваются? Когда решаешься жить с людьми вроде нас, а судишь здраво, надо ждать бесчисленных пакостей. Когда нас берут в дом, не знают разве, кто мы такие, не знают, что мы корыстные, низкие, вероломные душонки? Если нас знают, то все в порядке. Заключается молчаливое соглашение, что нам будут делать добро, а мы рано или поздно отплатим за добро, которое нам сделают, злом. Разве нет такого соглашения между человеком и его обезьяной или попугаем? Лебрен вопит по поводу того, что Палиссо, собутыльник его и друг, сочинил на него куплеты. Палиссо и должен был сочинить куплеты, и не прав Лебрен. Пуансине вопит по поводу того, что Палиссо ему приписал куплеты, которые сам сочинил на Лебрена. Палиссо и должен был приписать Пуансине куплеты, которые он сочинил на Лебрена, и не прав Пуансине. Маленький аббат Рей вопит по поводу того, что его друг Палиссо отбил у него любовницу, к которой он его и ввел, а не надо было вводить такого Палиссо к своей любовнице или уж следовало готовиться потерять ее. Палиссо исполнил свой долг, и не прав аббат Рей. Книготорговец Давид вопит по поводу того, что его кампаньон Палиссо спал или хотел спать с его женой; жена книготорговца Давида вопит по поводу того, что Палиссо дает понять, будто он с нею спал, но, как бы то ни было, Палиссо свою роль сыграл, а не правы Давид и его жена. Гельвеций вопит по поводу того, что Палиссо вывел его на сцене бесчестным человеком, а между тем должен ему деньги, выпрошенные на то, чтобы поправить здоровье, подкормиться и приодеться. Но мог ли он ожидать иного образа действий от человека, замаравшего себя всякими гнусностями, который просто ради забавы убедил друга отречься от своей религии, который завладевает имуществом своих компаньонов, у которого нет ни стыда, ни совести, ни чувств, который *fas et nefas*[1] стремится к богатству, который дни считает по числу содеянных подлостей и который сам себя изобразил на сцене как опаснейшего мошенника — бесстыдство, которому, по-моему, не найдется примера в прошлом и не найдется в будущем? И виноват тут не Палиссо, а Гельвеций. Ежели юного провинциала свести в версальский зверинец, а он по глупости просунет руку в клетку тигра или пантеры, и ежели рука молодого человека останется в пасти хищного зверя,— кто тут будет виноват? Все это предусмотрено молчаливым соглашением, и тем хуже для тех, кто о нем не знает или забывает. Этим священ-

[1] Всеми правдами и неправдами *(лат.)*.

ным и всеобъемлющим соглашением можно оправдать стольких людей, которых мы обвиняем в злонравии, меж тем как нужно бы самих себя упрекать в глупости! Да, толстая графиня, это вы виноваты, когда собираете вокруг себя тех, кого у людей вашей породы принято называть тварями, и когда эти твари делают вам гадости, заставляют и вас их делать и навлекают на вас негодование порядочных людей. Порядочные люди делают то, что должны, твари — тоже, и виноваты вы, что принимаете их. Если бы Бертен мирно и мило жил со своей любовницей, если бы в силу своей порядочности они водили только порядочные знакомства, если бы они окружали себя людьми даровитыми, известными в обществе своей добродетелью, если бы время, отнятое от блаженных часов, которые они проводили бы вдвоем, наслаждаясь любовью, говоря о ней в тиши одиночества, если бы это время они посвятили небольшому кружку просвещенных, избранных друзей,— поверьте, на их счет не появлялось бы ни хороших, ни дурных выдумок! А что с ними произошло? То, чего они заслуживали: они были наказаны за свою неосмотрительность, и провидение от века предназначило нас на то, чтобы воздавать должное Бертенам нынешнего дня, а подобных нам из числа наших племянников оно предназначило на то, чтобы воздавать должное Мопсожам и Бертенам будущего. Но в то самое время, как мы приводим в исполнение его справедливые приговоры над глупостью, вы, изображая нас такими, каковы мы на самом деле, приводите в исполнение его справедливые приговоры над нами. Что бы вы о нас подумали, если бы мы, при наших постыдных нравах, стали требовать всеобщего уважения? Что мы безумцы. А разумны ли те, которые ждут честного поведения от людей, уже родившихся порочными? Расплата в этом мире наступает всегда. Есть два генеральных прокурора: один — тот, что стоит у ваших дверей и наказывает за проступки против общества, другой — сама природа. Ей известны все пороки, ускользающие от законов. Вы предаетесь разврату с женщинами — у вас будет водянка; вы пьянствуете — у вас будет чахотка; вы пускаете к себе негодяев и живете в их обществе — вас будут обманывать, осмеивать, презирать; самое простое — смириться перед справедливостью этих приговоров и сказать себе: «Поделом». Тут надо либо одуматься и исправиться, либо остаться таким, каков есть, но на вышеупомянутых условиях.

Я. Вы правы.

Он. Впрочем, из всех этих гадких рассказов ни один не выдуман мною, я ограничиваюсь ролью пересказчика. Ходит,

вот слух, что несколько дней тому назад, часов в пять утра, вдруг раздался отчаянный шум; звонили во все звонки, слышались глухие прерывистые крики, словно кого-то душили: «Ко мне, помогите, задыхаюсь, умираю!» Крики эти неслись из апартаментов патрона. Бегут на помощь. Наша толстая тварь, уже потерявшая голову, уже не помнившая себя, уже ничего не видевшая, как это бывает в такие минуты, приподымалась на обеих руках и со всего размаху обрушивалась на некие части его тела всей тяжестью своих двухсот или трехсот фунтов, упоенная быстротой, какую порождает самое неистовство удовольствия. Стоило немалого труда вызволить его. И на кой черт маленькому молоточку взбрело в голову лечь под такую тяжелую наковальню?

Я. Вы сквернослов. Поговорим о других вещах. Все время, что мы беседуем, у меня на языке вертится вопрос.

Он. Что же вы так долго задерживали его?

Я. Я боялся, что он будет нескромным.

Он. После всего, что я вам открыл, я уже и не знаю, какие у меня могут быть тайны от вас.

Я. Вы не сомневаетесь в том, как я сужу о вашем характере?

Он. Отнюдь нет. Я в ваших глазах существо весьма мерзкое, весьма презренное; таким я порою кажусь и себе, но редко; своим порокам я чаще радуюсь, чем огорчаюсь из-за них. В вашем презрении вы проявляете больше постоянства.

Я. Это верно. Но зачем и вы показываете мне всю вашу низость?

Он. Прежде всего потому, что добрую ее долю вы уже знаете и что, признаваясь вам в остальном, я думал больше выиграть, чем потерять.

Я. Как же это так? Объясните, пожалуйста.

Он. Если уж быть великим в чем-либо, то прежде всего в дурных делах. На мелкого жулика плюют, но большому преступнику нельзя отказать в известном уважении; его мужество поражает вас, его свирепость приводит в содрогание. Цельность характера ценится во всем.

Я. Но этой почтенной цельности характера в вас-то еще нет. Как я вижу, вы еще не стойки в ваших правилах. Неясно, прирожденное ли в вас злонравие или оно развито искусственным путем и достаточно ли далеко вы уже прошли по этому пути.

Он. Согласен, но я стараюсь изо всех сил. И разве у меня не хватило скромности признать, что есть существа более совер-

шенные, чем я? Разве не говорил я с глубочайшим восхищением о Буре? Буре, по-моему,— первый человек во всем мире.

Я. Но тотчас же после Буре стоите вы?

О н. Нет.

Я. Тогда — Палиссо?

О н. Да, Палиссо, но не только он один.

Я. Кто же достоин разделять с ним второе место?

О н. Авиньонский отступник.

Я. Мне никогда не доводилось слышать об авиньонском отступнике, но это, должно быть, человек весьма примечательный.

О н. Он как раз таков.

Я. История великих людей меня всегда занимала.

О н. Охотно верю. Жил этот человек у одного из добрых и честных потомков Авраама, каковые этому патриарху верующих были обещаны в количестве, равном числу звезд на небе.

Я. У еврея?

О н. У еврея. Сперва он внушил к себе сострадание, затем — благоволение, наконец — доверие самое полное, ибо так всегда и происходит: мы настолько полагаемся на наши благодеяния, что редко скрываем свои тайны от того, кого осыпали милостями. И можно ли искоренить неблагодарность, если мы сами подвергаем человека соблазну безнаказанно проявить сие свойство? Это справедливое соображение у нашего еврея не возникло. И вот он признался вероотступнику, что совесть не позволяет ему есть свинину. Вы сейчас увидите, какую выгоду изобретательный ум может извлечь из подобного признания. Несколько месяцев он проявлял все большую и большую заботливость, пока не увидел, что его еврей тронут всем этим вниманием, полностью покорен и убежден, будто во всем племени Израиля ему не найти лучшего друга... Оцените осмотрительность этого человека! Он не спешит, он дает плоду созреть, прежде чем трясти ветку. Излишний пыл мог бы погубить все дело. Величие же характера обычно вытекает из естественного равновесия между несколькими противоположными свойствами.

Я. Да оставьте ваши рассуждения и продолжайте рассказ.

О н. Иначе нельзя; бывают дни, когда я должен рассуждать. Это — болезнь, которую следует предоставить ее течению. Так на чем же я остановился?

Я. На близости, так прочно установившейся между евреем и вероотступником.

О н. И плод созрел... Но вы меня не слушаете. О чем это вы задумались?

Я. О неровности вашего голоса, который то повышается, то понижается.

Он. Разве голос у порочного человека может оставаться всегда одинаковым?.. Однажды вечером отступник приходит к своему другу растерянный, бледный как смерть, что-то невнятно лепечет, дрожит всем телом. «Что с вами?» — «Мы погибли».— «Погибли! Но почему?» — «Погибли, говорю я вам, и безвозвратно».— «Да объяснитесь!» — «Сейчас, только дайте мне прийти в себя».— «Да полно, успокойтесь»,— говорит ему еврей, вместо того чтобы сказать: «Ты отъявленный мошенник; я не знаю, что ты мне собираешься сообщить, но ты отъявленный мошенник, ты разыгрываешь испуг».

Я. А почему он должен был так ему сказать?

Он. Да потому, что тот притворялся и не знал меры, это ясно для меня, а вы меня больше не прерывайте. «Мы погибли... погибли!.. безвозвратно!» Неужели вы не чувствуете всей фальши этих *погибли,* столько раз повторяемых!.. «Предатель донес на нас святой инквизиции, на вас как на еврея, на меня как на отступника, как на гнусного отступника...» Обратите внимание, что предатель не краснея прибегает к самым крайним выражениям. Требуется больше мужества, нежели принято думать, чтобы назвать себя своим настоящим именем. Вы и не знаете, что значит дойти до этого.

Я. Ну, конечно, не знаю. Однако этот гнусный отступник...

Он. Притворяется, но притворство его — весьма искусное. Еврей приходит в ужас, рвет на себе бороду, катается по полу, уже видит сбиров у своих дверей, видит себя в плаще приговоренного, видит приготовленный для него костер. «Друг мой, дорогой друг мой, единственный друг мой, что же делать?» — «Что делать? Всюду показываться, для вида соблюдать величайшее спокойствие, вести себя как всегда. Это судилище действует тайно, но медленно; нужно воспользоваться его медлительностью, чтобы все продать. Я найму корабль или поручу нанять его через третье лицо — да, через третье лицо, так лучше. Мы погрузим на корабль ваше имущество, потому что оно-то главным образом и не дает им покоя, и мы с вами отправимся искать свободы под другим небом, молиться нашему богу и в безопасности исполнять закон Авраама и нашей совести. А сейчас самое важное — раз уж мы находимся в таком опасном положении — избегать малейшей неосторожности...»

Сказано — сделано. Судно зафрахтовано, снабжено припасами, матросы наняты, имущество еврея — на корабле; завтра на рассвете будут подняты паруса; завтра они уже смогут и ве-

селю поужинать, и спокойно уснуть; завтра они ускользнут от своих гонителей. Ночью отступник встает, крадет у еврея бумажник, кошелек и драгоценности, садится на корабль — и уплывает... И вы думаете, это все? Ну, не тут-то было. Когда мне рассказывали эту историю, я угадал то, что утаил еще от вас, дабы испытать вашу проницательность. Вы правильно делаете, что живете честно, из вас получился бы лишь мелкий жулик! Пока что и вероотступник является именно таким: он — презренный негодяй, на которого никто не желал бы походить. Но все величие его злодейства в том, что он сам и донес на своего друга израильтянина, который уже утром был схвачен святой инквизицией, а через несколько дней весело и ярко пылал на костре. Вот так-то вероотступник спокойно овладел имуществом этого проклятого потомка людей, которые распяли нашего спасителя.

Я. Не знаю, чему больше ужасаться — гнусности вашего вероотступника или тону, которым вы о нем рассказываете.

Он. Про это я вам и говорил: чудовищность поступка такова, что спасает его от вашего презрения, и вот почему я был так чистосердечен. Я хотел показать вам, какого совершенства я достиг в моем искусстве, вырвать у вас признание, что я хоть оригинален в своей гнусности, поставить себя в вашем мнении наряду с великими мерзавцами, а затем воскликнуть: *Vivat Mascarillus, fourbum imperator!* [1] Ну давайте, господин философ, веселее, хором: *Vivat Mascarillus, fourbum imperator!*

И тут он начал петь фугой что-то совсем уж необычайное: мелодия то была величественна и полна торжественности, то легка и шаловлива; только что он пел басом, а через миг уже переходил к верхним партиям; руками и вытянутой шеей он мне указывал на места, требующие выдержки, он исполнял и на ходу сочинял некую песнь ликования, по которой было видно, что хорошая музыка ему более близка, чем хорошие нравы.

Что до меня, то я не знал, оставаться ли мне с ним или бежать, смеяться или негодовать. Я остался, намереваясь перевести разговор на какую-нибудь тему, которая рассеяла бы ужас, объявший мою душу. Мне становилось почти невыносимым присутствие человека, обсуждавшего чудовищный поступок, мерзкое злодеяние так, как знаток в живописи или в поэзии разбирает произведения изящного вкуса или как моралист либо историк отмечает и освещает обстоятельства какого-нибудь героического подвига. Я невольно нахмурился; он это заметил и спросил:

---

[1] Да здравствует Маскариль, король плутов! *(лат.)*

— Что с вами? Может быть, вам не по себе?

Я. Слегка. Но это пройдет.

Он. У вас вид удрученный, как у человека, которого мучит тревожная мысль.

Я. Это так и есть...

Мы оба молчали некоторое время, а он ходил, насвистывая и напевая; чтобы возобновить разговор о его таланте, я его спросил:

— Что вы делаете теперь?

Он. Ничего.

Я. Это очень утомительно.

Он. Я и так уж был глуп, а вот пошел послушать музыку Дуни и других наших молодых мастеров — и теперь совсем ума решился.

Я. Вы одобряете этот род музыки?

Он. Еще бы!

Я. И вы находите красивыми эти новые песни?

Он. Будь я проклят, если сужу иначе! Как это преподнесено! И какая правдивость! Какая сила выражения!

Я. Всякое искусство, основанное на подражании, имеет своим образцом природу. Какой же образец у композитора, когда он сочиняет песню?

Он. Почему не взглянуть на дело с точки зрения более высокой? Что такое песня?

Я. Признаюсь вам, что этот вопрос мне не по силам. Ведь все мы таковы, что в памяти у нас сохраняются только слова, которые нам кажутся понятными в силу частого повторения и даже верного их применения, но в уме — какая неясность представлений. Когда я произношу слово *песня,* у меня представление не более ясное, чем у вас и большинства других людей, когда они говорят: *репутация, хула, честь, порок, добродетель, целомудрие, пристойность, стыд, посмешище.*

Он. Пение — это подражание путем звуков, расположенных по определенной шкале, изобретенной искусством или, если вам угодно, внушенной самой природой,— подражание с помощью либо голоса, либо музыкального инструмента естественным шумам или проявлениям страсти. И вы видите, что это определение, если изменить в нем то, что требует изменений, точно подойдет и к живописи, и к красноречию, и к скульптуре, и к поэзии. Теперь возвратимся к вашему вопросу — что же служит образцом для композитора или певца? Речь, если этот образец — живой и мыслящий, шум, если это — образец неодушевленный. Речь следует рассматривать как одну линию, а пение —

как другую, извивающуюся вокруг первой. Чем сильнее и правдивее будет речь, прообраз пения, тем в большем количестве точек ее пересечет напев; чем правдивее будет напев, тем он будет прекраснее, и вот это-то превосходно поняли наши молодые композиторы. Когда слышишь фразу: «Я жалок и несчастен», кажется, будто это — жалоба скряги; если бы он и не пел, то те же ноты звучали бы в его словах, обращенных к земле, которой он вверяет свое золото: «Земля, сокровище прими!» А эта девочка, которая чувствует, как бьется ее сердце, которая краснеет, смущается и просит знатного господина отпустить ее,— разве она иначе бы выразилась? Во всех этих произведениях столько характерных черт, такое бесконечное разнообразие речи! Это дивно, прекрасно, можете мне поверить! Пойдите, пойдите послушать арию, где юноша, чувствуя приближение смерти, восклицает: «Уходит жизнь!» Вслушайтесь в пение, вслушайтесь в партию оркестра, а потом скажите, есть ли разница между голосом действительно умирающего и звуками этой арии; вы увидите, как линия мелодии полностью совпадает с линией речи. Не говорю уже о ритме, который теперь является одним из условий пения, ограничиваюсь только выразительностью, и нет ничего более бесспорного, чем следующие слова, которые я где-то прочел: *«Musices seminarium accentus»* — интонация есть питомник мелодии. Судите же теперь, насколько трудно и насколько существенно уметь сочинять речитатив, и если хорош речитатив, не может быть, чтобы искусный знаток не сделал из него хорошей арии. Я не стал бы утверждать, что тот, кто хорошо исполняет речитатив, хорошо будет петь, но меня бы удивило, если бы тот, кто поет хорошо, не сумел бы хорошо исполнить речитатив. И верьте всему, что я вам сказал, ибо это сущая правда.

Я. Я бы рад был поверить вам, если бы не одно маленькое сомнение.

Он. Какое сомнение?

Я. Да ведь если эта музыка так прекрасна, то, значит, творения божественного Люлли, Кампра́, Детуша, Мурс и, между нами говоря, даже вашего бесценного дядюшки несколько плоски.

Он, наклоняясь к моему уху, ответил:

— Я бы не хотел, чтобы меня слышали, а здесь много людей, которые меня знают. Но музыка эта и в самом деле такова. Тут дело для меня не в *бесценном* дядюшке, если уж вы так называете его. Он — камень. Я мог бы у него на глазах околеть от жажды, а он бы и стакана воды не подал мне. Но как бы он там

ни разделывал свои хон-хон-хин-хин, тю-тю-тю, тюрлютютю на октавах да на септимах под дьявольскую трескотню, все же те, кто начинает разбираться в подобных вещах и не принимает бренчанье за музыку, никогда не примирятся с этим. Всякому, кто бы он ни был и какое бы положение ни занимал, следовало бы запретить полицейским приказом исполнение *«Stabat»*[1] Перголезе. Этот *«Stabat»* надо было бы сжечь рукой палача. Право же, эти проклятые скоморохи с их «Служанкой-госпожой», с их «Траколло» натворили нам дел. В прежнее время по́ четыре, по пять, по шесть месяцев не сходили со сцены «Танкред», «Иссе», «Галантная Европа», «Галантная Индия», «Кастор», «Лирические таланты»; «Армида» ставилась без конца. Теперь же все это рушится одно за другим, как карточные домики. Недаром Ребель и Франкёр мечут громы и молнии. Они твердят, что все пропало, что они разорены и что, если и дальше будут терпеть эту поющую ярмарочную сволочь, французская музыка полетит к черту, и что Королевской Опере в тупике Пале-Рояль придется закрывать лавочку. Доля истины тут есть. Дряхлые приверженцы старины, которые вот уже лет тридцать или сорок ходят туда каждую пятницу, вместо прежнего удовольствия испытывают скуку и зевают, сами не понимая почему: они задают себе этот вопрос и не могут на него ответить. Что бы им спросить меня! Пророчество Дуни исполнится, и если дело пойдет так же и дальше, то, даю голову на отсечение, лет через пять после появления на сцене «Художника, влюбленного в свою модель» и кошка не забредет в знаменитый тупик. Забавные люди! Отказались от своих симфоний, чтобы играть итальянские, и решили, что сумеют приноровить к ним свой слух, ничего не думая менять в своей вокальной музыке, как будто симфония по отношению к пению не то же самое, что пение по отношению к правдивой декламации, если только отвлечься от некоторой вольности, какую вносит в симфонию диапазон инструмента и подвижность пальцев, как будто скрипка не обезьяна по отношению к певцу, который сам станет обезьяной по отношению к скрипке, когда со временем трудное займет место прекрасного. Первый, кто исполнил Локателли, стал апостолом новой музыки. Нет, нас уже не обмануть! Что же это, нас будут приучать к порывам страсти или к явлениям природы, выраженным с помощью пения, декламации, инструментов — ибо этим и ограничивается круг всех музыкальных средств,— а мы все же сохраним вкус к полетам, копьям, ореолам, триумфам, победам? Как

[1] Скорбящая [матерь] *(лат.)*.

бы не так! Они вообразили, что в то время, как будут плакать или смеяться над сценами музыкальных трагедий или комедий, в то время, как до их слуха донесутся голоса ярости, ненависти, ревности, подлинные стоны любви, насмешки, шутки театра французского или итальянского, они будут по-прежнему оставаться поклонниками «Рагонды» или «Платеи» (уж это — что ни говори: тара-ра-ра́, тара-ра-ри́). Непрестанно ощущая, с какой легкостью, с какой гибкостью, с какой нежностью гармония итальянской речи, ее просодия, эллипсы и инверсии отвечают требованиям искусства, движению и выразительности, музыкальным переходам и ритмическому чередованию звуков, они будто бы по-прежнему останутся в неведении насчет того, как их родной язык неуклюж, туп, тяжел, громоздок, педантичен и однообразен! Да, да, они уверили себя, что, пролив слезы вместе с матерью, сокрушенной смертью сына, содрогнувшись от слов тирана, приказывающего совершить убийство, они не будут томиться скукой от своих феерий, от нелепой мифологии, от сладеньких мадригалов, свидетельствующих как о дурном вкусе поэта, так и об убожестве искусства, которое довольствуется ими! Забавные люди! Такого не бывает и не может быть; правда, добро и красота имеют свои права; их оспаривают, но в конце концов ими восхищаются; то, что не отмечено их печатью, может некоторое время вызывать восхищение, но в конце концов вызовет зевоту. Зевайте ж, милостивые государи, зевайте сколько угодно, не стесняйтесь! Постепенно устанавливается царство природы и царство той троицы, которой вовек не одолеют врата адовы, царство правды, порождающей сына — добро, от которого берет начало красота — дух святой. Пришлый бог смиренно становится на алтаре рядом с туземным идолом; он понемногу укрепляется; в один прекрасный день он толкает локтем своего соседа, и — бац! — идол оказывается на земле. Говорят, что иезуиты так насаждали христианство в Китае и в Индии, и, что бы ни говорили янсенисты, такой метод в политике, преследующей свою цель без шума, без кровопролития, без мученичества, без единого клока вырванных волос, представляется мне наилучшим.

Я. Все, что вы сейчас сказали, довольно разумно.

Он. Разумно! Тем лучше! Но черт меня подери, если я об этом хлопочу. Это выходит само собой. Я поступаю так, как поступают музыканты в оперном тупике, когда появляется мой дядюшка. Попадешь в цель — ну что ж, в добрый час. Ведь любой угольщик лучше расскажет о своем ремесле, чем целая академия, чем все Дюамели на свете...

И вот он начинает разгуливать, напевая про себя арии из «Острова безумных», из «Художника, влюбленного в свою модель», из «Кузнеца» и «Жалобщицы»; время от времени он восклицает, поднимая к небу и руки и глаза: «Разве это не прекрасно, черт возьми, разве это не прекрасно! И как это можно иметь уши и еще задавать себе подобные вопросы?» Он все более воодушевлялся и пел сперва совсем тихо, потом, по мере того, как росло его возбуждение, повышал голос; затем появились жесты, гримасы лица и конвульсии всего тела; и я сказал себе: «Ну вот! Опять он теряет голову, и готовится новая сцена...»

И в самом деле, она разражается. «Я жалок и несчастен... Отпустите меня, господин мой... Земля, сокровище прими, мое ты злато сохрани. Душа моя и жизнь моя. Земля, земля!.. А вот и наш дружочек, а вот и наш дружочек! *Aspettare e non venire... A Zerbina penserete... Sempre in contrasti con te si sta...*» [1] Он нагромождал одну на другую и перемешивал десятки арий — итальянских, французских, трагических, комических, самых разнохарактерных. То глубоким басом он спускался в глубь ада, то, надрываясь и переходя на фальцет, раздирал небесные выси; походкой, осанкой, движениями он старался передать различные оперные роли, то впадая в ярость, то смягчаясь, от властного тона переходя к насмешке. Вот перед нами плачущая девушка — он показывает все ее жеманство; вот жрец, вот царь, вот тиран; он угрожает, приказывает, отдается гневу; вот раб — он покоряется, смиряется, сокрушается, сетует, смеется; и нигде он не нарушает ни тона, ни ритма, ни смысла слов, ни характера арии.

Все шахматисты оставили доски и обступили его; прохожие, привлеченные шумом, столпились у окон кофейни. От взрывов хохота дрожал потолок. Он же ничего не замечал, он продолжал петь во власти какого-то исступления ума, какого-то восторга, столь близкого к безумию, что было сомнительно, вернется ли к нему рассудок и не придется ли его, поющего отрывки из «Жалоб» Иомелли, усадить в карету и везти прямо в сумасшедший дом. Он с необыкновенной точностью, искренностью и жаром повторял лучшие места каждой из пьес: прекрасный речитатив, где пророк рисует опустошение Иерусалима, он оросил потоками слез, которые исторг и у всех окружающих. Здесь было все: и нежность напева, и сила выражения, и скорбь. Он выделял те места, где особенно выступало мастерство ком-

[1] Ждать и не приходить... Подумайте о Цербине... Вечно с тобой приходится спорить... *(итал.)*

позитора. От партии вокальной он переходил к партии оркестровой, которую тоже внезапно обрывал, чтобы вернуться к пению, сплетая так одно с другим, что сохранялась вся связь и единство целого; он овладел нашими душами и держал их в состоянии самого необычайного напряжения, какое я когда-либо испытывал. Восторгался ли я? Да, восторгался. Был ли я растроган? Да, я был растроган, однако оттенок чего-то смешного проступал в этих чувствах и их искажал.

Но то, как он подражал различным инструментам, заставило бы вас разразиться хохотом. Надув щеки, он хриплым голосом передавал звучание валторн и фаготов; для гобоя он переходил на звуки громкие и гнусавые; изображая струнные инструменты, звучание которых он старался воспроизвести самым точным образом, он невероятно ускорял темп; пикколо он передавал свистом, для больших флейт ворковал; он кричал, пел, суетился как безумный, один изображал и танцоров, и танцовщиц, и певцов, и певиц, и весь оркестр — целый оперный театр — и, исполняя зараз двадцать самых различных ролей, то бегал как одержимый, то внезапно останавливался, сверкая глазами, с пеной у рта.

Было смертельно жарко, и пот, выступивший у него на лбу, струился по морщинам, стекал по щекам, смешивался с пудрой волос, лился на одежду и оставлял на ней полосы. Чего он только не делал у меня на глазах! Он плакал, смеялся, вздыхал, смотрел то с нежностью, то со спокойствием, то с яростью. Вот перед нами женщина вне себя от горя, вот — несчастный, весь во власти своего отчаяния, вот воздвигается храм, а вот уже и птицы, умолкающие на закате, воды, лепечущие где-нибудь в уединенном и прохладном месте или потоком низвергающиеся с горы, гроза, буря, стоны тех, кто сейчас погибнет, сливающиеся с воем ветра, с раскатами грома. То была ночь с ее мраком, то были тень и тишина, ибо тишина тоже изображается звуками. Но он уже ничего не соображал.

Как человек, только что очнувшийся после глубокого сна или долгой задумчивости, он, тупо удивляясь, остановился в совершенном изнеможении, не в состоянии шевельнуться. Он осматривался кругом, как путник, который заблудился и стремится определить место, где он находится; он ждал, когда к нему вернутся силы и сознание; он машинально вытирал себе лицо. Подобно человеку, который при пробуждении увидел бы вокруг своей постели множество людей, сам полностью утратив и память и представление о том, что он делал, он внезапно воскликнул: «Да что же это, господа, что же это такое? Что

вы смеетесь, чему вы удивляетесь? Что такое?» Затем прибавил: «Вот что́ называется музыка и музыкант! И все же, господа, есть пассажи у Люлли, не заслуживающие презрения. Пусть кто-нибудь попробует, не меняя слов, лучше написать сцену *«Ах, я дождусь...»*. Ручаюсь, что не выйдет! Не заслуживают презрения некоторые места и у Кампра́, а также скрипичные пьесы моего дядюшки, его гавоты, выходы солдат, жрецов... *«Бледные факелы, ночь, что ужаснее мрака!..», «Боги Тартара, боги забвения...» (Тут он напряг свой голос, форсируя звук: соседи стали высовываться из окон, а мы затыкали уши пальца́ми. Он прибавил):* Здесь ведь нужны сильные легкие, мощный голос, бездна воздуха. А скоро у нас вознесение; крещение и пост прошли. Они же все еще не знают, что́ класть на музыку, а значит, и не знают, что требуется композитору. Лирическая поэзия еще не родилась, они еще увидят ее. Слушая Перголезе, Саксонца, Терраделью, Траэтту и других, читая Метастазио, они должны будут к ней прийти».

Я. Как это так? Неужели Кино, Ламот, Фонтенель ничего в этом не смыслили?

О н. В новом стиле поэзии — ничего. Во всех их очаровательных стихотворениях нет и шести строчек сряду, которые можно было бы положить на музыку. Есть там замысловатые сентенции, легкие, изящные и нежные мадригалы. Но если вы хотите узнать, насколько они бесплодны для нашего искусства, самого мощного из всех искусств, включая даже и искусство Демосфена, пусть вам прочитают вслух отрывки из стихотворений; они покажутся вам холодными, вялыми, однообразными. Ведь в них отсутствует то, что могло бы служить основой для пения; я бы уж предпочел, чтобы на музыку клали «Максимы» Ларошфуко или «Мысли» Паскаля. Только животный крик страсти даст то, что нужно нам; выражения его должны быстро сменять друг друга; фраза должна быть короткой, смысл ее — четким и сгущенным; композитор должен иметь возможность располагать целым и каждой его частью, опуская или повторяя одно слово, прибавляя недостающее, выкручивать фразу в разные стороны, как губку, не разрушая ее. Вот почему французская лирическая поэзия гораздо менее податлива, чем поэзия тех языков, которые от природы обладают преимуществом гибкости, ибо в них порядок слов свободнее. «Жестокий варвар, вонзи кинжал в мою грудь; я готова принять роковой удар; решайся ж — вонзай!.. Ах! я томлюсь, я умираю... И тайным пламенем мои пылают чувства... Жестокая любовь, чего ты хочешь от меня?.. Верни мне сладостный покой, мою отраду...

Верни рассудок мне...» Страсти должны быть сильными, любовь у композитора и у лирического поэта должна достигать высшего предела. Ведь ария почти всегда заключает собой акт. Нам нужны восклицания, междометия, паузы, перебои, утверждения, отрицания; мы взываем, мы умоляем, мы кричим, мы стонем, мы плачем, мы смеемся от души. Не надо остроумия, не надо эпиграмм, не надо изысканных мыслей — все это слишком далеко от простой природы. И не подумайте, что образцом нам могут послужить игра актеров в театре и их декламация. Как бы не так! Образец нам нужен более энергический, менее жеманный, более правдивый. Простая речь, обыкновенный голос страсти тем необходимее для нас, чем однообразнее язык, чем менее он выразителен. Крик животного или человека, охваченного страстью, только и внесет в него жизнь...

Пока он говорил мне это, окружавшая нас толпа разошлась, либо ничего не понимая, либо не испытывая интереса к его речам,— ибо вообще дитя, так же как и взрослый человек, и взрослый человек, так же как и дитя, предпочитают забавное поучительному; все вернулись к игре, и мы в нашем углу остались одни. Он сидел на скамейке, прислонив голову к стене, свесив руки, полузакрыв глаза.

— Не знаю, что со мной, — сказал он мне, — когда я пришел сюда, я был свеж и бодр, а сейчас я разбит, я изнемогаю, словно десять лье прошел пешком. Это сделалось со мной внезапно.

Я. Не желаете ли чего-нибудь прохладительного?

О н. Буду рад. Я охрип, силы изменяют мне, и что-то побаливает грудь. Так бывает со мной почти каждый день, сам не знаю с чего.

Я. Что же вы выпьете?

О н. Что вам будет угодно. Я не привередлив. Нужда научила меня довольствоваться чем попало.

Нам подали пиво, лимонад; он наливает большой стакан и два-три раза подряд осушает его. Затем, как будто восстановив свои силы, он громко откашливается, опять приходит в возбуждение и продолжает:

— Но не кажется ли вам удивительно странным, господин философ, что является какой-то иностранец, какой-то итальянец Дуни и учит нас, как сделать нашу музыку выразительной, как подчинить пение ритму, тактам, интервалам, правилам декламации, не нарушая просодии? А ведь это не такая уж премудрость. Всякий, кто слышал, как нищий на улице просит милостыню, как предается ярости мужчина, как неистовствует ревни-

вая женщина, как терзается отчаянием влюбленный, как льстец — да, да, как льстец принимает вкрадчивый тон и медоточиво растягивает слоги, — словом, кто слышал выражение любой страсти, лишь бы она по своей силе заслуживала стать для композитора образцом, должен был бы обратить внимание на два обстоятельства: во-первых, что слоги долгие или короткие не обладают постоянной длительностью и что между их длительностью даже нет никакого определенного соотношения, что страсть распоряжается просодией почти как ей угодно, что она прибегает к самым значительным интервалам и что человек, восклицающий в глубочайшей скорби: «О, как несчастен я!» — доводит слог, несущий восклицание, до самой высокой и пронзительной ноты, а прочие слоги заставляет опуститься до самых глубоких и низких тонов, понижая голос на октаву или делая больший интервал и сообщая каждому звуку долготу, соответствующую характеру мелодии, притом не оскорбляя слуха и не сохраняя ни в долгих, ни в кратких слогах долготы и краткости, свойственной им в спокойной речи. Какой путь мы прошли с тех пор, как называли чудом музыкальной декламации вставную арию из «Армиды»: «Соперник твой Рено (коль быть им кто-то может)» или «Послушны мы ее приказу» из «Галантной Индии»! Теперь же эти чудеса заставляют меня с жалостью пожимать плечами. Искусство движется вперед так быстро, что я не знаю, куда оно придет. А пока что давайте выпьем.

Он выпивает еще два или три стакана, уже не соображая, что делает. Он мог бы теперь захлебнуться так же незаметно для себя, как перед тем иссяк, но я отодвинул бутылку, он же в своей рассеянности продолжал ее искать. Тогда я сказал:

— Как это возможно, что при таком тонком вкусе, при такой глубокой восприимчивости к красотам музыки вы так слепы к красотам нравственным, так безразличны к прелестям добродетели?

О н. Очевидно, для них нужно особое чувство, которого у меня нет, нужна струнка, которой я не наделен, или она такая слабая, что́ не звенит, сколько бы ее ни дергали; а может быть, причина в том, что я всегда жил среди хороших музыкантов и злых людей, и поэтому слух мой стал весьма тонким, сердце — глухим. К тому же здесь есть и нечто врожденное. Кровь моего отца и кровь моего дяди — одна и та же кровь, а моя кровь — та же, что кровь моего отца; отцовская молекула была жесткая и грубая, и эта проклятая первичная молекула поглотила все остальное.

Я. Любите вы своего сына?

Он. Люблю ли я этого маленького дикаря! Да я от него без ума!

Я. И вы ничего не предпримете, чтобы пресечь в нем действие проклятой отцовской молекулы?

Он. Мне кажется, мои усилия были бы напрасны. Если ему предназначено стать человеком честным, я не помешаю этому; но если бы молекуле было угодно, чтобы он стал негодяем, как его отец, мои старания сделать из него человека честного принесли бы ему великий вред. Так как воспитание все время шло бы вразрез с влиянием молекулы, его тянуло бы сразу в две противоположные стороны, и он бы шел, шатаясь, по жизненному пути, как и множество других людей, равно неуклюжих и в добрых и в злых делах. Таких людей мы называем тварями, пользуясь определением, самым страшным из всех, ибо оно означает посредственность и выражает последнюю степень презрения. Великий негодяй — это великий негодяй, но отнюдь не тварь. Прежде чем отцовская молекула одержала бы в ребенке верх и довела бы его, как меня, до полного падения, прошло бы бесконечно много времени; он потерял бы свои лучшие годы. Пока что я ничего с ним не делаю, я предоставляю его себе, наблюдаю за ним. Он уже лакомка, подлипала, плут, лентяй, лгун. Боюсь, что в нем проступает его порода.

Я. А вы сделаете из него музыканта, чтобы сходство было полным?

Он. Музыканта! Музыканта! Иногда я со скрежетом зубовным смотрю на него и говорю: «Я тебе, кажется, шею сверну, если ты когда-нибудь будешь знать хоть одну ноту».

Я. А почему так, позвольте спросить?

Он. Это ни к чему не ведет.

Я. Это ведет ко всему.

Он. Да, если достигнуть совершенства. Но кто же может рассчитывать, что его ребенок достигнет совершенства? Десять тысяч шансов против одного, что из него выйдет такой же жалкий скрипач, как я. Знаете ли вы, что легче, может быть, найти ребенка, способного управлять королевством, стать великим королем, чем способного стать великим скрипачом?

Я. Мне кажется, что в обществе безнравственном, утопающем в разврате и роскоши, человек даже со средним, но приятным талантом быстро составит себе карьеру и фортуну. Я сам присутствовал при следующем разговоре между своего рода покровителем и своего рода просителем. Последнего направили к первому, как к человеку благожелательному, склонному помочь. «Что же вы умеете, сударь?» — «Я порядочно знаю мате-

матику».— «Ну что ж, обучайте математике; после того как вы лет десять — двенадцать протаскаетесь по парижским улицам, у вас будет рента ливров в триста — четыреста».— «Я изучал право и сведущ в юриспруденции».— «Если бы Пуффендорф и Гроций воскресли, они бы умерли с голоду под забором».— «Я очень хорошо знаю историю и географию».— «Если б существовали родители, принимающие близко к сердцу воспитание своих детей, ваше благополучие было бы обеспечено, но таких родителей нет».— «Я довольно хороший музыкант».— «Ну, что ж вы это сразу не объявили? Чтобы показать вам, какую пользу можно извлечь из этого таланта, скажу вам, что у меня есть дочь. Вы будете приходить каждый день от половины восьмого до девяти часов вечера давать ей урок и получать от меня двадцать пять луидоров в год. Вы будете с нами завтракать, обедать, ужинать. Остальная часть времени в вашем распоряжении; вы сможете располагать ею, как вам заблагорассудится».

Он. Что же сталось с этим человеком?

Я. Если бы он был благоразумен, он составил бы себе состояние, единственное, что вы, кажется, имеете в виду.

Он. Несомненно, да — золото, золото! Золото — это все, а все прочее без золота — ничто. И вот, вместо того чтобы набивать ребенку голову отменными правилами, которые ему необходимо скорее позабыть, чтобы не превратиться в нищего, я, когда у меня есть луидор, что случается со мной не часто, сажусь против него. Я вытаскиваю луидор из кармана, с восторгом показываю его, подымаю глаза к небу, целую этот луидор и, чтобы еще лучше объяснить сыну важность священной монеты, лепечу, пальцами изображая все, что можно на нее приобрести,— хорошие штанишки, красивую шапочку, вкусное пирожное. Затем я опять кладу луидор в карман, гордо разгуливаю, приподымаю полу камзола, хлопаю по карману — и вот так-то я даю ему понять, что от этого луидора идет и вся моя уверенность в себе.

Я. Лучшего и не придумать. Но если бы вдруг случилось, что, всецело проникшись сознанием ценности луидора, он...

Он. Я вас понял. На это надо закрывать глаза: нет такого нравственного правила, которое не заключало бы в себе какого-либо неудобства. В худшем случае пришлось бы пережить неприятную минуту — вот и все.

Я. Даже приняв в расчет столь смелые и мудрые взгляды, я продолжаю думать, что было бы полезно сделать из него музыканта. Я не знаю другого пути, которым можно бы столь быстро приблизиться к великим мира сего, чтобы ревностнее угождать их порокам, а собственные обратить себе на пользу.

Он. Это правда, но я составил план, как достичь успеха более быстрого и надежного. Ах, если бы это была девочка! Но так как совершается не то, что хочешь, надо принимать то, что дается, извлекать из этого выгоду; а потому, в отличие от большинства отцов, которые не могли бы сделать ничего худшего, даже если бы они задумали погубить своих детей, я решил не допускать глупости и не давать спартанского воспитания ребенку, которому суждено жить в Париже. Если воспитание окажется неудачным, виноват буду не я, а нравы моего народа. Пусть за это отвечает кто может. Я хочу, чтобы мой сын был счастлив или — а это то же самое — чтобы он был человеком уважаемым, богатым и влиятельным. Я немного знаю самые легкие пути, ведущие к этой цели, и научу его заблаговременно. Если мудрецы вроде вас меня и осудят, толпа и успех оправдают меня. У него будет золото, ручаюсь вам. Если золота будет много, у него ни в чем не окажется недостатка — даже в вашем почтении и уважении.

Я. Тут вы можете и ошибиться.

Он. Или он без этого обойдется, как и многие другие.

Во всем этом было много такого, что обычно думают, чем руководствуются, но чего не говорят. Вот, в сущности, в чем самое резкое различие между моим собеседником и большинством наших ближних. Он сознавался в пороках, свойственных ему, свойственных и другим, но он не лицемерил. Он был не более и не менее отвратителен, чем они; он был только более откровенен и более последователен в своей испорченности, а порою и глубже проникнут ею. Я содрогался при мысли о том, чем станет его ребенок при таком наставнике. Несомненно, что при подобном взгляде на воспитание, столь точно соответствующем нашим нравам, он пойдет далеко, если только его карьера не оборвется раньше времени.

Он. О, ничего не бойтесь. Самое важное, самое трудное, о чем больше всего и должен заботиться хороший отец, состоит вовсе не в том, чтобы развить в ребенке пороки, которые его обогатят, или смешные свойства, которые в нем оценят знатные люди (это делают все, если не ради системы, как я, то подражая другим и обучаясь у них), а в том, чтобы внушить ему чувство меры, искусство ускользать от позора, бесчестья и законов. Все это — диссонансы в общественной гармонии, которые должны быть верно распределены, подготовлены и оправданы. Нет ничего более плоского, нежели ряд безукоризненных аккордов;

необходимо нечто острое — такое, что дробило бы луч света и рассеивало его лучи.

Я. Превосходно. Этим сравнением вы из области нравственности возвращаете меня к музыке, от которой я невольно отклонился, и я вам очень благодарен, ибо — не скрою от вас — предпочитаю в вас видеть не моралиста, а музыканта.

Он. Я, однако, весьма посредственный музыкант и гораздо сильнее в морали.

Я. Сомневаюсь, но если бы оно и было так, все равно: я — человек порядочный, и ваши правила — не мои.

Он. Тем хуже для вас. Ах, если бы мне ваши таланты!

Я. Оставим мои таланты и возвратимся к вашим.

Он. Если бы я умел изъясняться, как вы! Но у меня язык чертовски неясный, наполовину светский и книжный, наполовину площадной.

Я. Я говорю плохо. Я умею говорить только правду, а это, как вы знаете, не всегда имеет успех.

Он. Но я вовсе не затем хотел бы иметь ваш талант, чтобы говорить правду, а как раз наоборот — чтобы лгать. Если бы я умел писать, мастерить книги, сочинять посвящения, одурманивать глупца восхвалением его заслуг, вкрадываться в доверие к женщинам!

Я. И все это вы умеете в тысячу раз лучше, нежели я. Я был бы даже недостоин идти к вам в ученики.

Он. Сколько великих качеств пропадает зря, и вы даже не знаете им цены!

Я. Они приносят мне ровно столько, сколько стоят.

Он. Если б было так, вы не ходили бы в этой плохо сшитой одежде, в этом камзоле из грубой материи, в этих шерстяных чулках, в этих тяжелых башмаках, в этом старомодном парике.

Я. Согласен. Надо быть очень неловким, чтобы не достичь богатства, когда позволяешь себе ради этой цели все. Но ведь есть и люди вроде меня, которые богатство не считают самой драгоценной вещью в мире,— странные люди!

Он. Весьма странные. С таким складом ума никто не родится, люди сами создают его себе, ибо он не заложен в природе.

Я. В природе человека?

Он. Человека. Все живущее, не исключая и человека, добивается своего благополучия за счет того, от кого оно зависит, и я уверен, что, если бы моего маленького дикаря я предоставил самому себе, ничего ему не объясняя, он захотел бы богато одеваться, роскошно есть, пользоваться расположением мужчин, любовью женщин и наслаждаться всеми благами жизни.

Я. Если бы маленький дикарь, предоставленный самому себе, сохранил все свое неразумие, а с глупостью грудного младенца еще соединил в себе бурные страсти тридцатилетнего мужчины, он свернул бы шею отцу и обесчестил бы свою мать.

Он. Это доказывает необходимость хорошего воспитания, да и кто же ее оспаривает? И что такое хорошее воспитание, как не то, которое без опасности и неудобств ведет ко всевозможным радостям жизни?

Я. Я почти согласен с вами, но воздержимся от объяснений.

Он. Почему?

Я. Да я боюсь, что наше согласие — только кажущееся и что, если мы станем рассуждать об опасностях и неудобствах, мы уже не сойдемся во мнениях.

Он. Ну так что же?

Я. Оставим это, прошу вас. То, что я знаю на этот счет, я вам не внушу, а вы с большей легкостью научите меня тому, чего я не знаю и что известно вам из области музыки. Поговорим о музыке, дорогой Рамо, и вы мне объясните, как это могло случиться, что при вашем чутье, вашей памяти и умении передавать лучшие места из произведений великих композиторов, при том энтузиазме, который они возбуждают в вас и которым вы заражаете других, вы не создали ничего значительного...

Вместо ответа он стал качать головой и, подняв палец кверху, произнес:

— А звезда! Звезда! Когда природа создавала Лео, Винчи, Перголезе, Дуни, она улыбалась; она приняла вид внушительный и торжественный, создавая дорогого дядюшку Рамо, которого десяток лет называли великим Рамо и о котором скоро уже не будет и речи. Когда она смастерила его племянника, она состроила гримасу, и еще одну, и еще раз гримасу.

При этих словах он сам делал гримасы, какие только возможно: они выражали презрение, пренебрежение, насмешку, а пальцы его как будто мяли кусок теста, и он улыбался нелепым формам, какие ему придавал. Потом он отшвырнул странного уродца и проговорил:

— Вот так она и создала меня и так бросила рядом с другими уродцами, из которых одни отличались толстым и отвисшим животом, короткой шеей, выпученными глазами, апоплексическим складом; у иных шея была кривая; были там и сухопарые, с бойкими глазами, нос крючком. Все начали покатываться со смеху, увидев меня, а я, увидев их, подбоченился и тоже стал покатываться со смеху, ибо дураки и сумасшедшие тешатся, глядя друг на друга; они друг друга ищут, их друг к

другу влечет. Если бы, попав к ним, я не располагал уже готовой пословицей: «Деньги дураков — добро умных», я бы должен был выдумать ее. Я почувствовал, что природа мою законную долю положила в кошелек этих уродцев, и я начал измышлять тысячи способов, чтобы вернуть ее себе.

Я. Эти способы я знаю; вы мне рассказывали о них, и я ими очень восхищался. Но почему при таком обилии средств вы не испробовали еще одно: создать произведение искусства?

Он. Это вроде того, что один светский человек советовал аббату Леблану. Аббат рассказывал: «Маркиза Помпадур берет меня за руку, подводит к порогу Академии, там она отдергивает руку, я падаю и ломаю себе обе ноги». Светский человек ему на это: «Ну что же, господин аббат, надо было встать и вышибить дверь головой». Аббат ему отвечает: «Это я и попробовал сделать, и знаете ли, что из этого для меня получилось? Шишка на лбу...»

Рассказав эту историйку, мой чудак принялся расхаживать взад и вперед с опущенной головой, с видом задумчивым и подавленным; он вздыхал, лил слезы, сокрушался, подымал к небу и руки и глаза, бил себя кулаком по голове с риском проломить себе череп или сломать пальцы. «А все-таки,— говорил он,— мне кажется, здесь что-то есть; но сколько я ни бью, ни трясу, ничего отсюда не выходит». Потом он снова еще сильнее затряс головой и заколотил себя по лбу, говоря: «Либо никого тут нет, либо не желают отвечать».

Мгновение спустя он уже принимал горделивую осанку, поднимал голову, прикладывал к сердцу правую руку; он опять начал расхаживать и повторял: «Я чувствую, да, я чувствую...»

Тут он изображал человека, который раздражается, возмущается, смягчается, приказывает, умоляет и, нисколько не готовясь, произносил речи, выражавшие гнев, сострадание, ненависть, любовь; он с поразительной тонкостью и правдивостью воспроизводил внешние проявления страстей; затем прибавил:

— Вот, кажется, оно и есть. Дело подвигается. Вот что значит найти акушера, который умеет вызвать и ускорить схватки и заставить ребенка выйти. Когда я один, я берусь за перо, хочу писать, грызу себе ногти, чешу лоб. И что ж? Божество отсутствует — спокойной ночи, будьте здоровы. Я уверил себя, что у меня есть талант, а дописав строчку, я читаю, что я — дурак, дурак, дурак. Но можно ли чувствовать, возвышаться духом, мыслить, ярко живописать, когда вращаешься среди таких людей, встречи с которыми ищешь только ради корысти, когда

видишь да слышишь только такие разговоры и пересуды: «Сегодня на бульваре было очаровательно. Вы видели маленькую савоярку? Она играет бесподобно. У господина такого-то лошади чудо как хороши — серые в яблоках, такие, что лучше и не вообразить. А красавица госпожа такая-то стареет. И разве можно в сорок лет носить такую прическу? Молодая такая-то была вся в брильянтах, которые ей не стоят ничего».— «Вы хотите сказать: стоят... дорого».— «Да нет».— «А где вы ее видели?» — «На представлении «Потерянного и найденного сына Арлекина». Сцена отчаяния была разыграна так хорошо, как никогда. Ярмарочный полишинель орет во все горло, но нет у него тонкости, нет души. Госпожа такая-то родила двойню; каждому отцу будет по ребенку». И неужели вы считаете, что когда целый день говоришь, повторяешь и слышишь подобный вздор, то это воодушевляет и вдохновляет на что-нибудь великое?

Я. Нет. Лучше запереться у себя на чердаке, пить воду, есть черствый хлеб и стараться обрести самого себя.

Он. Может быть, но мне для этого недостает мужества И к тому же пожертвовать своим счастьем ради сомнительного успеха! Да еще имя, которое я ношу!.. Рамо! Зваться Рамо — это стеснительно. Талант — не то что дворянство, которое наследуется и слава которого возрастает, переходя от деда к отцу, от отца к сыну, от сына к внуку, причем прадед не требует от своих потомков никаких особых заслуг. Старый род разветвляется на целые поколения глупцов, но это неважно! Иначе обстоит дело с талантом. Только для того, чтобы приобрести известность отца, надо стать искуснее его. Надо унаследовать его жилку... Жилка мне не досталась, но зато размялась рука, смычок ходит, горшок на плите кипит. Если это и не слава, то все-таки бульон.

Я. На вашем месте я бы не считал, что этим все сказано. Я пытался бы.

Он. А вы думаете, я не пытался? Мне не было и пятнадцати лет, когда я сказал себе впервые: «Что это с тобой, Рамо? Ты мечтаешь. А о чем ты мечтаешь? О том, что хорошо бы быть или стать автором чего-нибудь такого, что привело бы в восхищение весь мир. Ну вот, стоит только подуть да пошевелить рукой, стоит только пожелать да захотеть — и дело в шляпе». В возрасте более зрелом я повторял те же детские слова. Сейчас я их тоже повторяю и все продолжаю стоять подле статуи Мемнона.

Я. Что вы хотите сказать этой статуей Мемнона?

О н. Кажется, понятно. Подле статуи Мемнона было множество других статуй, на которые также падали лучи солнца, но ведь отзывалась только она одна. Поэт — это Вольтер. А еще кто? Вольтер. А третий кто? Вольтер. А четвертый? Вольтер. Композитор — это Риальдо да Капуа, это Гассе, это Перголезе, это Альберти, это Тартини, это Локателли, это Террадельяс, это мой дядя, это маленький Дуни, у которого ни вида, ни фигуры, но зато он чувствует, черт побери, зато он певуч и выразителен. А все прочее подле этих нескольких Мемнонов — только пара ушей, воткнутых в дубину. Зато и нищи мы, так нищи, что просто благодать! Ах, господин философ, нищета — ужасная вещь. Вот она затаилась, села на корточки, разинула рот, чтобы глотнуть хотя несколько капель ледяной воды, льющейся из бочки Данаид. Не знаю, обостряет ли эта вода ум философа, но она чертовски холодит голову поэта. Плохо поется под этой бочкой. Счастлив уж тот, кто сможет хоть примоститься под ней! Я тоже под ней сидел, но не сумел удержаться. Была со мной раз такая глупость. Путешествовал я по Богемии, Германии, Швейцарии, Голландии, Фландрии, у черта на рогах.

Я. Все под дырявой бочкой?

О н. Под дырявой бочкой. Был такой еврей, богатый и щедрый, любитель музыки и моих безумств. Я сочинял как бог на душу положит, дурачился, ни в чем не терпел недостатка. Еврей мой был человек закона и соблюдал его во всей строгости — с друзьями иногда, с чужими — всегда. Попал он в скверную историю, и ее стоит вам рассказать, потому что она забавная.

Жила в Утрехте одна очаровательная куртизанка. Христианкой этой он пленился и отправил к ней слугу с векселем на довольно крупную сумму. Капризное создание отвергло его дары. Еврей впал в отчаяние. Слуга его говорит: «Чего вам так сокрушаться? Вы хотите поспать с хорошенькой женщиной — так нет ничего проще, и это будет женщина даже еще более красивая, чем та. Это моя жена, и я вам уступаю ее за ту же цену». Сказано — сделано, слуга оставляет у себя вексель, а еврей проводит ночь с его женой. Приходит срок платить по векселю. Еврей дает представить его ко взысканию и объявляет подложным. Начинается процесс. Еврей решает: «Никогда этот человек не осмелится рассказать, каким образом он получил с меня вексель, и я его не оплачу». На суде он спрашивает: «От кого вы получили этот вексель?» — «От вас».— «Под деньги, данные взаймы?» — «Нет».— «Под товары?» — «Нет».— «За какие-нибудь услуги?» — «Нет, но не в этом дело: вексель — мой, подписали его вы, и вы по нему заплатите».— «Я не подписывал

его».— «Так, значит, я его подделал?» — «Вы или кто другой, у кого вы состоите на службе».— «Я подлец, а вы мошенник. Послушайте, не доводите меня до крайности. Я все скажу. Себя я опозорю, но и вас погублю...» Еврей не посчитался с этой угрозой, и на следующем заседании суда слуга рассказал, как было дело. Порицанию подверглись оба, еврея приговорили уплатить по векселю, а деньги пошли на пособие бедным. Тогда я и расстался с ним. Вернулся я сюда. Что тут было делать? Ведь надо было или умирать с голоду, или что-то предпринимать. В голове у меня возникали всякие планы. То я решал завтра же поступить в провинциальную труппу, все равно — актером ли или музыкантом в оркестре; на другой день я уже подумывал о том, чтобы заказать одну из тех картин, которые привязывают к шесту и ставят на перекрестке, и кричать во всю глотку, показывая на нее: «Вот город, где он родился; вот он прощается со своим отцом-аптекарем; вот он в столице и разыскивает дом своего дядюшки... Вот он на коленях перед дядюшкой, который гонит его... Вот он с евреем...», и так далее, и так далее. На следующее утро я вставал с твердым намерением присоединиться к уличным певцам; это было бы вовсе не так плохо; мы бы устраивали концерты под окнами дорогого дядюшки, а он лопнул бы от злости. Но я принял другое решение...

Тут он остановился, принял сперва позу скрипача, держащего свой инструмент и ретиво перебирающего струны, а затем — позу человека, изнемогающего от усталости, теряющего силы, шатающегося на ногах, готового испустить последний вздох, если ему не бросят кусок хлеба; палец, указывавший на полуоткрытый рот, говорил о последней крайности, в которой он находится. Потом он сказал:

— Разумеется, мне бросали кусок. А мы, трое или четверо голодных, дрались из-за него. Ну как в такой нужде возвышенно мыслить, творить что-нибудь прекрасное?

Я. Да, это трудно.

Он. Прыгая со ступеньки на ступеньку, я попал в тот самый дом. Там я катался как сыр в масле. Но я его покинул. Придется сызнова пилить струны и прибегать к помощи пальца, указывающего на открытый рот. В мире нет ничего устойчивого. Сегодня на колесе, завтра под колесом. Распоряжаются нами проклятые случайности, и распоряжаются весьма плохо...

Затем, допив то, что оставалось в бутылке, он обратился к своему соседу:

— Сударь, сделайте милость, дайте щепотку табаку. Красивая у вас табакерка. Вы не музыкант?

— Нет.

— Тем лучше для вас, ведь музыканты — жалкие существа, достойные сострадания. Судьбе было угодно сделать меня одним из них, а между тем где-нибудь на Монмартре есть мельница и, может быть, мельник или работник мельника, который никогда ничего другого не услышит, кроме стука колес, хотя мог бы сочинить самые прекрасные арии. На мельницу, на мельницу, Рамо! Твое место — там.

Я. Чем бы ни занимался человек, он всегда предназначен к этому природой.

Он. Но она делает странные промахи. Что до меня, то я не могу подняться на ту высоту, при взгляде с которой все сливается: и человек, ножницами подстригающий дерево, и гусеница, грызущая его листья, так что видишь только двух насекомых, из которых каждое занято своим делом. Взберитесь-ка на эпицикл Меркурия и там, если вам это по вкусу, подобно Реомюру, который делит мух на классы портных, землемеров, косарей, делите людей на классы столяров, плотников, скороходов, танцоров, певцов,— это уж будет ваше дело, и я в него не стану вмешиваться. Я живу в этом мире и в нем остаюсь. Но если от природы человеку свойственно иметь аппетит,— а я все возвращаюсь к аппетиту, ощущению, которое я всегда испытываю,— и если порой бывает нечего есть, то, по-моему, это вовсе не порядок. Что это за хозяйство, черт возьми! Одни обжираются, а в то же время у других людей нечем перекусить, хоть они и обладают желудком столь же назойливым, как они сами, и вновь и вновь испытывают голод. Но что хуже всего — так это неестественная поза, в которой нас держит нужда. Человек нуждающийся ходит не так, как другие: он прыгает, ползает, изгибается, он пресмыкается; жизнь свою он проводит в том, что принимает разные позы.

Я. А что такое позы?

Он. Подите спросите у Новера. В нашем мире их гораздо больше, чем может изобразить его искусство.

Я. Вот и вы тоже, пользуясь выражением вашим или Монтеня, *взобрались на эпицикл Меркурия* и взираете оттуда на различные пантомимы человеческого рода.

Он. Нет — говорю вам, нет; я слишком грузен, чтобы подняться так высоко. Подоблачные пространства я предоставляю журавлям, а сам жмусь к земле. Я осматриваюсь по сторонам и принимаю те или иные позы или забавляюсь, глядя на позы, принимаемые другими. Я мастер пантомимы, вы сейчас это увидите.

Тут он начинает улыбаться, изображая человека, исполненного восхищения, человека умоляющего и человека услужливого. Правую ногу он выставил вперед, левую отставил, спину выгнул, голову приподнял, взгляд словно прикован к чьим-то глазам, рот приоткрыт, руки протянуты к какому-то предмету; он ждет приказания, получает его, он летит стрелой, возвращается, исполнив его, отдает отчет. Он весь внимание; он поднимает всякую упавшую вещь; кладет подушку или подставляет скамеечку кому-то под ноги; он берет блюдечко, пододвигает стул, открывает дверь, затворяет окно, задергивает занавески, следит за хозяином и хозяйкой; он застывает в неподвижности, свесив руки, сдвинув ноги; он слушает, он старается читать по лицам; и он произносит:

— Вот моя пантомима, примерно та же, что у всех льстецов, царедворцев, лакеев и бедняков.

Дурачества этого человека, рассказы аббата Галиани, необыкновенные вымыслы Рабле не раз погружали меня в глубокое раздумье. Это — три источника, где я запасаюсь смешными масками, которые надеваю на лица самых важных особ; и в каком-нибудь прелате я вижу Панталоне, в некоем президенте — сатира, в монахе — борова, в министре — страуса, в первом его секретаре — гуся.

Я. Но, по-вашему, выходит, что в этом мире великое множество бедняков, и я не знаю никого, кто бы не проделывал некоторых па из вашего танца.

Он. Вы правы. Во всем королевстве только один человек и ходит — это сам монарх. Все прочие лишь принимают позы.

Я. Монарх? Тут тоже кое-что можно возразить. Неужто вы думаете, что порой и рядом с ним не оказываются маленькая ножка, изящная прическа, маленький носик, которые заставляют его немного заняться пантомимой? Тот, кто нуждается в другом, тем самым терпит нужду и принимает позы. Король принимает позу перед своей любовницей и перед богом; он выделывает па из своей пантомимы. Министр перед своим королем выделывает па царедворца, льстеца, лакея или нищего. Толпа честолюбцев перед министром выделывает ваши па на сотни ладов, одно отвратительнее другого. Важный аббат в брыжах и сутане, по крайней мере, раз в неделю проделывает их перед тем, от кого зависят бенефиции. И, право же, то, что вы называете пантомимой нищих,— это великий хоровод нашего мира. У каждого есть своя маленькая Юс и свой Бертен.

О н. Это утешает меня.

В то время как я говорил, он совершенно уморительно передразнивал позы тех, кого я перечислял. Например, когда речь шла о маленьком аббате, он под мышкой держал шляпу, а в левой руке требник; правой рукой он приподнимал полы своей сутаны; он шел, слегка склонив голову к плечу, опустив глаза, так безукоризненно изображая лицемера, что я словно воочию увидел автора «Опровержений» перед епископом Орлеанским. Когда я говорил о льстецах и честолюбцах, он прямо ползал на брюхе. Это был Буре перед генеральным контролером.

Я. Разыграно превосходно,— сказал я ему.— Есть, однако, человек, не прибегающий к пантомиме. Это — философ, у которого ничего нет и которому ничего не надо.

О н. А где искать этого зверя? Если у него ничего нет, он страдает; если он ничего не просит, он ничего и не получает... и всегда будет страдать.

Я. Нет, Диоген смеялся над потребностями.

О н. Но ведь нужна же одежда.

Я. Нет, он ходил совершенно голый.

О н. В Афинах иногда бывает и холодно.

Я. Не так, как здесь.

О н. Есть приходилось тоже.

Я. Разумеется.

О н. А за чей счет?

Я. За счет природы. К кому обращается дикарь? К земле, к животным, к рыбам, к деревьям, к травам, к кореньям, к ручьям.

О н. Неважный стол.

Я. Зато большой.

О н. Плохо сервированный.

Я. Однако с него-то и собирают, когда сервируют наши столы.

О н. Но вы все же согласитесь, что искусство наших поваров, пирожников, трактирщиков, рестораторов, кондитеров тоже вносит нечто свое. У вашего Диогена при столь строгой диете должен был быть весьма покладистый желудок.

Я. Вы ошибаетесь. Образ жизни киника когда-то был образом жизни наших монахов и отличался теми же добродетелями. Киники — это же были афинские кармелиты и францисканцы.

О н. Ловлю вас на слове. Значит, и Диоген выплясывал пантомиму — если не перед Периклом, то, во всяком случае, перед Лаисой и Фрипой?

Я. Вы и тут ошибаетесь. Другие дорого платили куртизанке, а ему она отдавалась ради одного удовольствия.

Он. А если случалось, что куртизанка была занята, а кинику было невтерпеж...

Я. Он возвращался в свою бочку и обходился без нее.

Он. И вы мне советуете брать с него пример?

Я. Голову даю на отсечение, что это лучше, чем пресмыкаться, унижаться и торговать собой.

Он. Но мне нужна хорошая постель, хорошая еда, теплая одежда зимой, легкая — летом, нужны спокойствие, деньги и много других вещей, которыми я лучше буду обязан благодетелям, чем добуду их трудом.

Я. Это потому, что вы бездельник, обжора, трус, низкая душа.

Он. Я вам это, кажется, и говорил.

Я. Житейские блага имеют, конечно, свою цену, но вы не знаете, ценой каких жертв вы их приобретаете. Вы танцуете, танцевали и будете танцевать гнусную пантомиму.

Он. Это правда. Но она мне дешево обходилась, а теперь и даром обходится. И потому-то было бы неправильно, если бы я усвоил другую повадку, которая была бы для меня настолько мучительна, что пришлось бы отказаться от нее. Но из ваших слов мне становится ясно, что моя милая покойная жена была своего рода философ. Бесстрашная она была, как лев. Иногда у нас не бывало хлеба и мы сидели без гроша. Мы распродали почти все наше тряпье. Я бросался на кровать, я ломал себе голову, у кого бы занять экю, который не нужно было бы отдавать. А она, веселая как птичка, садилась за клавесин и пела, сама себе аккомпанируя. У нее горло было соловьиное — жалко, что вы не слышали ее. Когда я участвовал в каком-нибудь концерте, я брал ее с собой. По дороге я ей говорил: «Ну, сударыня, заставьте восхищаться собой, покажите ваш талант и все ваше очарование. Увлекайте, ошеломляйте...» Мы являлись, она пела, она увлекала, ошеломляла! Увы! Я потерял бедную малютку. Кроме таланта, у нее был ротик, в который едва можно было сунуть палец, зубки — точно ряд жемчужин, а какие глаза, ноги, кожа, щеки, груди! Ноги — как у серны, торс — как у статуи. Рано или поздно она бы покорила по меньшей мере самого откупщика налогов. Какая была походка, какие бедра! Ах, боже мой, какие бедра!

Тут он начал изображать походку своей жены. Он мелко семенил, закидывал голову, играл веером, вертел бедрами. То была самая забавная и самая нелепая карикатура на наших кокеток.

Затем, продолжая свой рассказ, он добавил:

— Я гулял с ней повсюду: в Тюильри, в Пале-Рояле, на бульварах. Нельзя было и думать, что она так и останется со мной. Когда она без шляпы, в коротенькой кофточке переходила улицу по утрам, вы бы остановились, залюбовались; четырьмя пальцами вы легко обхватили бы ее стан. Все те, что шли за ней следом, что смотрели на ее семенящие ножки и мерили взглядом пышные бедра, обрисовывавшиеся под тоненькой юбочкой, ускоряли шаг. Она подпускала их к себе и быстро поворачивалась, глядя на них своими большими черными блестящими глазами, так что те останавливались как вкопанные. Лицевая сторона медали не уступала оборотной. Но — увы! — я ее утратил, и все мои надежды на фортуну рассеялись вместе с ней. Я только ради этого и женился на ней, я открыл ей мои планы, а она была слишком умна, чтобы не поверить в них, и слишком рассудительна, чтобы их не одобрить.

И вот он уже всхлипывает, плачет.

— Нет, нет,— говорит он,— я больше никогда не утешусь. С тех пор я живу как монах.

Я. С горя?

О н. Если хотите — да. Но верней — для того, чтобы жить своей головой... Взгляните, однако, который час, мне пора в Оперу.

Я. Что сегодня дают?

О н. Оперу Доверня. В музыке у него есть и неплохие места; жаль только, что он не первый их сочинил. Среди покойников всегда найдутся такие, которые приводят в отчаяние живых. Но что поделаешь? *Quisque suos (non) patimur manes*[1]. Однако уже половина шестого. Слышу колокол, который призывает к вечерне аббата Кане, да и меня. Прощайте, господин философ! Не правда ли, я все тот же?

Я. К несчастью, да.

О н. Пусть бы только это несчастье продлилось еще лет сорок: хорошо смеется тот, кто смеется последним.

---

[1] Каждый несет свою кару *(лат.)*.

ЖАК-ФАТАЛИСТ И ЕГО ХОЗЯИН

ПЕРЕВОД Г. ЯРХО

Как они встретились? — Случайно, как все люди.— Как их звали? — А вам какое дело? — Откуда они пришли? — Из соседнего селения.— Куда они направлялись?

Хозяин не говорил ничего, а Жак говорил: его капитан уверял, что все, что случается с нами хорошего или дурного, предначертано свыше.

Хозяин. Громкие слова!

Жак. Капитан добавлял, что у всякой пули — свой жребий.

Хозяин. И он был прав...

Помолчав некоторое время, Жак воскликнул:

— Черт бы побрал трактирщика и его трактир!

Хозяин. Зачем же посылать к черту ближнего? Это не по-христиански.

Жак. Так вот, напился я его дрянным вином и забыл сводить лошадей на водопой. Это заметил отец, он вышел из себя; я мотнул головой; он схватил палку и пощекотал мне спину не слишком ласково. В то время проходил мимо нас полк, направлявшийся в лагерь под Фонтенуа; я с досады поступил в рекруты. Пришли куда надо, и произошло сражение.

Хозяин. И в тебя попала пуля.

Жак. Угадали: огнестрельная рана в колено, и одному богу известно, сколько приятных и неприятных последствий она повлекла за собой. Они цепляются друг за друга не хуже звеньев мундштучной цепочки. Так, например, не будь этого выстрела, не довелось бы мне в жизни ни влюбиться, ни хромать.

Хозяин. Ты, значит, был влюблен?

Жак. Еще как!

Хозяин. Благодаря выстрелу?

Жак. Благодаря выстрелу.

Хозяин. А ты мне об этом не заикнулся!

Жак. Разумеется.

Хозяин. А почему?

Жак. Потому, что об этом не стоило рассказывать ни раньше, ни позднее.

Хозяин. А может быть, теперь настало время поведать о твоих любовных приключениях?

Жак. Почем знать?

Хозяин. А ну-ка, попробуй начать...

Жак приступил к своему повествованию. Было уже за полдень; в воздухе стояла духота; Хозяин заснул. Ночь застала их в открытом поле, и они сбились с пути. Хозяин ужасно рассвирепел и стал изо всех сил стегать лакея хлыстом, а бедный малый приговаривал при каждом ударе: «И это, видимо, также было предначертано свыше...»

Вы видите, читатель, что я нахожусь на верном пути и что от меня зависит помучить вас и отсрочить на год, на два или на три рассказ о любовных похождениях Жака, разлучив его с Хозяином и подвергнув каждого из них всевозможным случайностям по моему усмотрению. Почему бы мне не женить Хозяина и не наставить ему рога? Не отправить Жака на Антильские острова? Не послать туда же Хозяина? Не вернуть обоих во Францию на том же корабле? Как легко сочинять небылицы! Но на сей раз и тот и другой отделаются дурно проведенной ночью, а вы — этой отсрочкой.

Занялась заря. Вот они уселись в седла и двинулись в путь.

И куда же они направляются? — Вы уже второй раз задаете мне этот вопрос, и второй раз я вам отвечу: «А какое вам дело? Если я затрону эту тему, то прощайте любовные похождения Жака...»

Некоторое время они ехали молча. Когда каждый из них несколько успокоился, Хозяин сказал лакею:

— На чем же, Жак, мы остановились, когда ты рассказывал о своей любви?

Жак. Кажется, на поражении неприятельской армии. Люди спасаются бегством, их преследуют, всякий думает о себе. Я лежу на поле битвы, похороненный под грудой убитых и раненых, а число их было очень велико. На следующий день меня кинули вместе с дюжиной других в повозку и отвезли в один из наших госпиталей. Ах, сударь мой, нет более мучительной раны, чем в колено!

Хозяин. Послушай, Жак, ты надо мной смеешься?

Жак. Нисколечко, сударь, не смеюсь. Там бог весть сколько косточек, сухожилий и прочих штучек, которые не знаю уж как называются...

Позади них, везя на седле девушку, ехал человек, смахивавший на крестьянина. Он слышал их беседу и сказал:

— Господин прав...

Неизвестно, к кому относилось слово «господин», но как слуга, так и хозяин восприняли его недоброжелательно, и Жак ответил нескромному собеседнику:

— Как ты смеешь соваться не в свое дело?

— Это именно мое дело, ибо я, с вашего дозволения, лекарь и намерен вам доказать...

Тогда сидевшая позади него женщина заявила:

— Господин доктор, поедемте своей дорогой и оставим в покое этих людей, которым вовсе не нравится, чтоб им что-либо доказывали.

— Нет,— возразил лекарь,— я хочу им доказать и докажу...

Обернувшись, чтобы приступить к доказательствам, он толкнул свою спутницу, она потеряла равновесие и упала на землю, причем нога ее запуталась в полах его одежды, а задравшиеся юбки закрыли ей голову. Жак спешился, высвободил ногу бедной женщины и оправил ее юбки. Не знаю, начал ли он с юбок или сперва высвободил ее ногу, но если судить о самочувствии потерпевшей по ее крикам, то она была тяжело ранена. Тут Хозяин Жака сказал лекарю:

— Вот что значит доказывать.

А лекарь отвечал:

— Вот что значит не выслушивать доказательств...

Но Жак обратился к упавшей и поднятой им женщине:

— Утешьтесь, любезная: тут ни вы, ни господин доктор, ни я, ни мой Хозяин ни при чем; просто свыше было предначертано, что сегодня, на этой самой дороге, в этот самый час господин доктор окажется болтуном, мы с Хозяином — двумя ворчунами, а вы получите ушиб головы и покажете нам свой зад...

Во что превратилось бы это приключение в моих руках, приди мне только прихоть вас посердить! Я воспользовался бы этой женщиной, превратил бы ее в племянницу священника из соседней деревни; взбунтовал бы тамошних поселян; придумал бы битвы и любовные утехи, так как у нашей крестьянки под бельем оказалось прекрасное тело. Жак и его Хозяин заметили это: любовь зачастую вспыхивает даже и без такой соблазнительной приманки. Почему бы Жаку не влюбиться второй раз? Почему бы ему снова не стать соперником, и даже счастливым соперником, своего Хозяина?

Разве это с ним уже бывало? — Снова вопрос! Вы, значит, не хотите, чтобы Жак продолжал рассказ о своих любовных

похождениях? Давайте объяснимся раз навсегда: доставит вам это удовольствие или не доставит? Если доставит, то посадим крестьянку на седло позади ее спутника, предоставим им ехать своей дорогой и вернемся к нашим путешественникам.

На сей раз Жак сказал Хозяину:

— Вот как повелось у нас в мире! Вы никогда не бывали ранены и понятия не имеете о том, что значит получить пулю в колено, а хотите убедить меня, у которого сломана чашка и который хромает уже двадцать лет...

Хозяин. Может быть, ты и прав. Но этот нахальный лекарь виною тому, что ты застрял в повозке вместе с товарищами и находишься далеко от госпиталя, от выздоровления и от того, чтобы влюбиться.

Жак. Как бы вашей милости ни было угодно думать, а боль в колене у меня была отчаянная; она возрастала еще от лежания в жесткой повозке и езды по ухабистой дороге: и при каждом толчке я испускал громкий крик.

Хозяин. Ибо свыше было предначертано, чтоб ты кричал.

Жак. Безусловно. Я истекал кровью, и мне пришлось бы плохо, если б наша повозка, последняя в веренице, не остановилась у хижины. Там, по моей просьбе, меня сняли и положили на землю. Молодая женщина, стоявшая в дверях хижины, вошла внутрь и почти тотчас же вернулась со стаканом и бутылкой вина. Я поспешил разок-другой глотнуть. Повозки, предшествовавшие нашей, тронулись вперед. Меня хотели вывернуть обратно к товарищам, но я крепко вцепился в платье той женщины и в окружающие предметы, заявив, что не вернусь в повозку и что если умирать, так уж лучше умирать здесь, чем двумя милями дальше. С этими словами я упал в обморок. Очнувшись, я оказался раздетым и лежащим на постели в углу хижины; меня окружали мужлан хозяин, его жена, оказавшая мне помощь, и несколько маленьких детей. Жена смочила край фартука уксусом и терла мне им нос и виски.

Хозяин. Ах, негодяй! Ах, подлец!.. Вижу, бестия, куда ты гнешь!

Жак. И вовсе, сударь, ничего не видите.

Хозяин. Разве не в эту женщину ты влюбился?

Жак. А хотя бы и в нее,— что тут такого? Разве мы властны влюбляться или не влюбляться? И разве, влюбившись, мы властны поступать так, словно бы этого не случилось? Если бы то, что вы собираетесь мне сказать, было предначертано свыше, я сам подумал бы об этом; я надавал бы себе пощечин, бился бы головой о стену, рвал бы на себе волосы,— но дело бы от этого

ничуть не изменилось, и мой благодетель все равно обзавелся бы рогами.

Хозяин. Но если рассуждать по-твоему, то нет такого проступка, который бы не сопровождался угрызениями совести.

Жак. Я уже не раз ломал себе голову над тем, что вы мне сейчас сказали; и все же я невольно всякий раз возвращаюсь к изречению моего капитана: «Все, что случается с нами хорошего или дурного, предначертано свыше». А разве вы знаете, сударь, какой-нибудь способ уничтожить это предначертание? Могу ли я не быть самим собой? И, будучи собой, могу ли поступать иначе, чем поступаю я сам? Могу ли я быть собой и в то же время кем-то другим? И был ли хоть один момент со дня моего рождения, когда бы это было иначе? Убеждайте меня, сколько вам угодно; возможно, что ваши доводы окажутся весьма резонными; но если мне свыше предначертано, чтоб я признал их необоснованными, то что прикажете делать?

Хозяин. Я думаю над тем, стал ли твой благодетель рогоносцем потому, что так было предначертано свыше, или так было предначертано свыше потому, что ты сделал рогоносцем своего благодетеля.

Жак. И то и другое было предначертано рядышком. И было предначертано одновременно. Это как великий свиток, который постепенно медленно разворачивается...

Вы догадываетесь, читатель, как я мог бы растянуть беседу на тему, о которой столько говорилось и столько писалось в течение двух тысяч лет без всякой пользы. Если вы мне мало благодарны за то, что я рассказал, то будьте мне более благодарны за то, о чем умолчал.

Поспорив между собой, оба наши теолога не пришли ни к какому соглашению, как это нередко бывает при теологических спорах, а между тем наступила ночь. Места, по которым они проезжали, были небезопасны во все времена, а теперь более чем когда-либо, так как вследствие бездеятельности администрации и нищеты число злоумышленников сильно возросло. Наши путешественники остановились на жалком постоялом дворе. Им отвели комнату с перегородкой, состоявшей из одних щелей, и постлали две постели на козлах. Они заказали ужин; их попотчевали водой из лужи, черным хлебом и прокисшим вином. У трактирщика, трактирщицы, детей, слуг,— словом, у всех — вид был зловещий. В одной из соседних комнат царило шумное веселье и раздавался безудержный смех десятка грабителей, при-

бывших несколько раньше и завладевших всей провизией. Жак был довольно спокоен, чего далеко нельзя было сказать про его Хозяина. Этот испытывал величайшую тревогу, в то время как лакей уплетал ломти черного хлеба и, морщась, запивал их несколькими стаканами дрянного вина. Они пребывали в этом состоянии, когда раздался стук в дверь: то был трактирный слуга, которому эти наглые и опасные соседи велели отнести нашим путешественникам на тарелке все обглоданные кости съеденной ими птицы. Жак с негодованием схватил пистолеты Хозяина.

— Куда ты?

— Не мешайте!

— Куда ты, спрашиваю я тебя?

— Хочу урезонить этих каналий.

— Да знаешь ли ты, что их добрый десяток?

— А хоть бы сотня: число тут ни при чем, если свыше предначертано, что их все-таки недостаточно.

— Черт бы побрал твое дурацкое изречение!..

Жак увернулся от своего Хозяина и скользнул в комнату головорезов, держа в каждой руке по заряженному пистолету.

— Ложись! — крикнул он.— Быстрей! Первому, кто шевельнется, я размозжу череп!..

У Жака был такой серьезный вид и такой решительный тон, что эти плуты, ценившие жизнь не менее порядочных людей, безмолвно встали из-за стола, разделись и легли. Хозяин Жака, не уверенный, чем кончится это приключение, поджидал его с трепетом. Жак вернулся, нагруженный скарбом этих людей; он завладел им, чтобы у разбойников не явилось желание встать; а кроме того, он погасил свет и запер дверь на два оборота ключа, который держал в той же руке, что и пистолет.

— Теперь, сударь,— объявил он Хозяину,— нам остается только завалить эту дверь своими постелями и заснуть мирным сном...

Он тут же принялся передвигать постели, хладнокровно и кратко рассказывая Хозяину подробности своей экспедиции.

Хозяин. Черт, а не человек! Ты, значит, веришь...

Жак. Ни верю, ни не верю.

Хозяин. А если б они отказались лечь?

Жак. Этого не могло быть.

Хозяин. Почему?

Жак. Потому что этого они не совершили.

Хозяин. А если б они встали?

Жак. Тем хуже или тем лучше.

Хозяин. Если... если... если...

Жак. Если вскипятить море, то, как говорится, сварится много рыбы. Какого черта, сударь! Только что вы полагали, что мне угрожала большая опасность, и это было совершенно ложно; теперь вы полагаете, что вам самим угрожает большая опасность, а это, быть может, еще более неверно. Все мы в этом доме боимся друг друга, а это доказывает, что все мы — глупцы...

С этими словами он вмиг разделся, лег и заснул. Хозяин, съев тоже ломоть черного хлеба и запив его глотком дрянного вина, внимательно прислушался, посмотрел на храпевшего Жака и сказал: «Черт, а не человек!» По примеру слуги он растянулся на своем одре, но его сон был далеко не таким крепким и сладким.

На рассвете Жак почувствовал на себе чью-то толкавшую его руку: то была рука Хозяина, который звал шепотом:

— Жак! Жак!

Жак. Что еще?

Хозяин. Светает.

Жак. Может быть.

Хозяин. Так вставай же!

Жак. Зачем?

Хозяин. Чтобы поскорее отсюда убраться.

Жак. Зачем?

Хозяин. Потому что здесь плохо.

Жак. Кто знает, будет ли нам лучше в другом месте?

Хозяин. Жак!

Жак. Ну что «Жак! Жак!» Право, черт, а не человек!

Хозяин. Сам ты черт! Жак, друг мой, прошу тебя.

Жак протер глаза, зевнул несколько раз, потянулся, встал, не спеша оделся, отодвинул постели, вышел из комнаты, спустился вниз, отправился на конюшню, оседлал и взнуздал лошадей, разбудил еще спавшего трактирщика, уплатил за ночлег, забрал с собой ключи от обеих комнат, и вот наши путешественники снова двинулись в дорогу.

Хозяин желал ехать рысью, а Жак желал ехать шагом, не отступая от своей системы. Когда они очутились на довольно далеком расстоянии от своего печального убежища, Хозяин, услышав какое-то позвякивание, доносившееся из кармана Жака, спросил его, что это означает. Жак ответил, что это ключи от обеих комнат.

Хозяин. Почему ты их не вернул?

Жак. Потому, что теперь придется взломать обе двери: одну — чтоб освободить наших соседей из заключения, другую — чтобы получить их одежду; а пока что мы выиграем время.

Хозяин. Отлично, Жак! Но зачем нам выигрывать время?

Жак. Зачем? Право, не знаю.

Хозяин. А если ты хочешь выиграть время, то почему сдель шагом?

Жак. Не ведая, что предначертано свыше, не знаешь ни чего хочешь, ни как лучше поступить, а потому следуешь своей фантазии, именуемой разумом, или разуму, еще более опасному, нежели фантазия, ибо он ведет не то к добру, не то к злу.

Хозяин. Можешь ли ты мне сказать, что такое безумец и что такое мудрец?

Жак. Почему бы нет?.. Безумец... Обождите!.. Безумец — это несчастный; а следовательно, счастливец — это мудрец.

Хозяин. А что такое счастливый человек и несчастливый?

Жак. Ну, это совсем просто. Счастливый человек — тот, чье счастье предначертано свыше, и, следовательно, тот, чье несчастье там предначертано, есть человек несчастный.

Хозяин. А кто предначертал свыше счастье и несчастье?

Жак. А кто создал великий свиток, в котором все предначертано? Некий капитан, друг моего капитана, охотно отдал бы целый экю, чтоб это узнать; мой капитан не дал бы за это ни гроша, и я тоже. Ибо к чему это привело бы? Разве таким путем я избежал бы ямы, в которой должен сломать себе шею?

Хозяин. Полагаю, что избежал бы.

Жак. А я полагаю, что нет, ибо в таком случае должна была бы оказаться ошибочной одна строчка в великом свитке, который содержит правду — одну только правду, неоспоримую правду. Как! В великом свитке было бы написано: «Жак в такой-то день сломает себе шею»,— и Жак шеи не сломает? Неужели вы предполагаете, что это возможно, кто бы ни был автором великого свитка?

Хозяин. На этот счет можно было бы многое сказать...

Жак. Мой капитан считал, что осторожность — предположение, на основании которого опыт разрешает нам рассматривать выпавшие на нашу долю обстоятельства как причины неких последствий, ожидаемых нами в будущем с радостью или со страхом.

Хозяин. И ты что-нибудь в этом понимаешь?

Жак. Конечно; я мало-помалу привык к его речам. Кто, говорил он, вправе похвастаться, что обладает достаточным опытом? Разве тот, кто мнит себя во всеоружии таких познаний, никогда не попадал впросак? Да существует ли на свете человек, способный правильно оценивать обстоятельства, в которых находится? Вычисление, которое мы проделываем в своей голове,

и то, которое сделано свыше,— это два разных вычисления. Руководим ли мы судьбой или она руководит нами? Сколько мудро обдуманных планов провалилось и сколько еще провалится? Сколько бессмысленных планов осуществилось и сколько их осуществится еще? Вот что мой капитан повторял мне после взятия Берг-оп-Зома и Пор-Маона, и он добавлял еще, что осторожность не обеспечивает нам счастливого исхода, но утешает и оправдывает нас в случае неудачи, а потому он спал в своей палатке накануне баталии не хуже, чем на гарнизонной квартире, и шел в бой, как на бал. Да, глядя на него, вы могли бы воскликнуть: «Черт, а не человек!»

Тут их беседа была прервана шумом и криками, раздавшимися позади неподалеку от них; они обернулись и увидели толпу людей, вооруженных вилами и дубинами и бежавших к ним со всех ног. Вы, конечно, подумаете, что то были хозяева харчевни, их слуги и разбойники, о которых мы упоминали. Вы, конечно, подумаете, что поутру, за отсутствием ключей, разбойники вышибли двери и заподозрили наших путешественников в похищении пожитков. Жак тоже подумал так и процедил сквозь зубы: «Будь они прокляты, эти ключи, вместе с фантазией или разумом, заставившим меня забрать их! Будь проклята осторожность!» и т. д.

Вы, конечно, подумаете, что эта маленькая армия обрушится на Жака и его Хозяина, что произойдет кровавое побоище, посыплются палочные удары, раздадутся пистолетные выстрелы. И от меня зависит, чтобы так оно и случилось; но тогда — прощай историческая правда, прощай рассказ о любовных похождениях Жака. Нет, никто не преследовал наших путешественников, и я не знаю, что произошло на постоялом дворе после их отъезда. Они продолжали путь, не зная, куда направляются, хотя приблизительно знали, куда хотят направиться; скуку и усталость разгоняли они с помощью болтовни и молчания, как это в обычае у тех, кто ходит, а иногда и у тех, кто сидит.

Совершенно очевидно, что я не пишу романа, поскольку пренебрегаю тем, чем не преминул бы воспользоваться романист. Тот, кто счел бы написанное мною за правду, был бы в меньшем заблуждении, чем тот, кто счел бы это за басню.

На сей раз первым заговорил Хозяин; он начал с обычного своего припева:

— Ну, Жак, рассказывай о своих любовных похождениях!

Жак. Не помню, на чем я остановился. Меня так часто прерывали, что я с тем же успехом мог бы начать с начала.

Хозяин. Нет, нет. Придя в себя от обморока, случившего-

гося с тобой перед хижиной, ты очутился в постели, и тебя окружили домочадцы.

Жак. Хорошо. Прежде всего надо было спешно раздобыть лекаря, а все лекари жили не менее чем за милю. Крестьянин приказал одному из своих сыновей сесть на лошадь и съездить за ближайшим лекарем. Тем временем крестьянка подогрела густое вино, изорвала на лоскутья старую мужнину рубаху и припарила мне колено, обложила его компрессами и обмотала повязками. В остатки вина, послужившего для припарок, всыпали щепотку сахара величиной с муравьиный завтрак и дали мне выпить, а затем попросили меня запастись терпением. Время было позднее, и хозяева сели ужинать. Вот уже и ужин окончился, а мальчишка все не возвращался, и лекаря не было видно. Отец рассвирепел. Человек от природы сумрачный, он дулся на жену и был всем недоволен. Он сурово отослал остальных детей спать. Жена его села на скамью и принялась за пряжу, а муж начал расхаживать взад и вперед, затевая с ней ссору по всякому поводу.

«Если б ты сходила на мельницу, как я тебе говорил...» — и он заканчивал фразу тем, что укоризненно покачивал головой в сторону моей постели.

«Завтра схожу».

«Надо было сходить сегодня, как я тебе говорил... А остатки соломы в риге? Почему ты их не подобрала?»

«Завтра подберу».

«Наш запас подходит к концу; тебе следовало подобрать их сегодня, как я тебе говорил... А куча ячменю, который портится в амбаре,— бьюсь об заклад, ты и не подумала его поворошить».

«Дети сделали это».

«Надо было самой. Если б ты была в амбаре, то не стояла бы в дверях...»

Тем временем прибыл лекарь, затем другой, затем третий в сопровождении мальчугана из хижины.

Хозяин. Ты запасся лекарями, как святой Рох — шляпами.

Жак. Первого не оказалось дома, когда за ним приехал мальчишка; но жена дала знать другому, а третий прибыл вместе с нашим посыльным. «Здорово, кумовья! И вы здесь?» — сказал первый остальным. Спеша ко мне изо всех сил, лекари изрядно вспотели, и теперь их мучила жажда. Они уселись за стол, с которого еще не успели прибрать. Жена спустилась в погреб и принесла оттуда бутылку. «Какого черта понесло ее к дверям!» — проворчал муж сквозь зубы. Лекари принялись

нить, толковать о болезнях, свирепствующих в округе, стали перечислять клиентов. Я испустил стон. «Сейчас,— заявляют мне,— мы займемся вами». После первой бутылки попросили вторую в счет моего леченья, дальше третью и четвертую, все в счет моего леченья; при каждой новой бутылке муж неизменно восклицал: «Какого черта понесло ее к дверям!»

Что бы мог какой-нибудь другой автор, а не я, извлечь из этих трех лекарей, их беседы за четвертой бутылкой, несчетного числа их чудодейственных исцелений, из нетерпения Жака, хмурости крестьянина, болтовни сельских эскулапов о колене Жака, их разногласий, мнения одного, что Жак умрет, если не отрезать ему немедленно ногу, мнения другого, что необходимо извлечь пулю вместе с застрявшим куском одежды и сохранить бедняге ногу! Между тем вы увидели бы Жака, сидящего на постели, с жалостью разглядывающего свою ногу и говорящего ей последнее «прости», подобно одному из наших генералов, очутившемуся в руках Дюфуара и Луи. Третий лекарь вынужден был держаться в стороне, дожидаясь, когда первые два поссорятся и перейдут от руготни к действиям.

Я избавлю вас от всех тех описаний, которые вы найдете в романах, в старинной комедии и в обществе. Когда я услыхал восклицание крестьянина по поводу жены: «Какого черта понесло ее к дверям!» — мне вспомнился мольеровский Гарпагон, говорящий о своем сыне: «Какого черта понесло его на эту галеру!» — и я понял, что мало быть правдивым, а надо еще быть и забавным; и по этой-то причине мольеровское восклицание «Какого черта понесло его на эту галеру!» навсегда войдет в язык, тогда как восклицание моего крестьянина «Какого черта понесло ее к дверям!» никогда не станет поговоркой.

Жак поступил со своим Хозяином не так деликатно, как я с вами; он не подарил ему ни малейшей подробности, рискуя вторично нагнать на него сон. Таким образом, в конечном счете завладел пациентом если не самый искусный, то самый сильный из трех костоправов.

Не вздумай только, скажете вы, вынимать на наших глазах ланцет, резать тело, проливать кровь и показывать нам хирургическую операцию! Что-о? Это, по-вашему, дурной тон?.. В таком случае опустим и хирургическую операцию; но, по крайней мере, разрешите Жаку сказать своему Хозяину то, что он действительно ему сказал: «Ах, сударь, какой это ужас — вправлять раздробленное колено!» — а Хозяину — ответить ему, как раньше: «Послушай, Жак, ты надо мной смеешься...» Но ни за какие сокровища в мире я не уволю вас от рассказа о

том, что не успел Хозяин Жака дать ему этот дурацкий ответ, как лошадь его споткнулась и упала, а сам он изо всех сил ударился коленом об острый камень и завопил благим матом: «Умираю! Раздробил колено!»

Хотя Жак, добрейшая душа на свете, был нежно привязан к своему Хозяину, однако же хотелось бы мне знать, что происходило в глубине его души, если не в первый момент, то, по крайней мере, тогда, когда выяснились легкие последствия падения, и мог ли он не испытывать тайной радости по поводу события, показавшего его Хозяину, каково быть раненным в колено. Я был бы также не прочь, о читатель, если бы вы мне сказали, не предпочел ли бы Хозяин получить хотя бы и более тяжелую рану, только бы не в колено, или же он был более чувствителен к боли, нежели к стыду.

Придя несколько в себя от падения и тревоги, Хозяин сел в седло и раз пять-шесть пришпорил лошадь, которая помчалась с быстротой молнии; точно так же поступила и лошадь Жака, ибо между этими двумя животными установилась такая же близость, как и между их всадниками; то были две пары друзей.

Когда обе лошади, запыхавшись, снова пошли обычным шагом, Жак сказал Хозяину:

— Ну-с, сударь, что вы об этом думаете?

Хозяин. О чем, собственно?

Жак. О ране в колено.

Хозяин. Я с тобой согласен: это одно из самых ужасных ранений.

Жак. В вашем колене?

Хозяин. Нет, нет — в твоем, в моем, во всех коленях на свете.

Жак. Ах, сударь, сударь, вы это недостаточно продумали; поверьте, мы жалеем только самих себя.

Хозяин. Вот вздор!

Жак. Ах, если б я так же умел говорить, как умею думать! Но свыше было предначертано, что в голове у меня будут вертеться мысли, а слов я не найду.

Тут Жак запутался в весьма искусных и, быть может, правильных метафизических рассуждениях. Он пытался убедить Хозяина в том, что за словом «боль» не стоит никакой идеи и что оно получает смысловое значение только с того момента, когда вызывает в нашей памяти уже пережитое ощущение. Хозяин спросил Жака, рожал ли он когда-нибудь.

— Нет,— отвечал Жак.

— А как, по-твоему, рожать очень больно?

— Разумеется.

— Тебе жаль женщин, когда они рожают?

— Очень.

— Ты, значит, иногда жалеешь и других?

— Я жалею тех, кто в отчаянии ломает руки или рвет на себе волосы, испуская крики, так как по личному опыту знаю, что этого не делают, когда не страдают; но в отношении самых болей, испытываемых женщиной, мне ее нисколько не жаль: ибо я, слава богу, не знаю, что это такое. Но возвращаясь к страданию, знакомому и вам вследствие вашего падения, а именно — к случаю с моим коленом...

Хозяин. Нет, Жак: возвращаясь к истории твоих увлечений, ставших и моими благодаря испытанным мною огорчениям...

Жак. Итак, повязка наложена, я чувствую некоторое облегчение, костоправ ушел, а мои хозяева удалились и легли спать. Их комната была отделена от моей неплотно сколоченными досками, оклеенными серыми обоями и украшенными несколькими цветными картинками. Мне не спалось, и я слышал, как жена говорила мужу:

«Перестань, мне не до баловства: бедняга умирает у наших дверей!»

«Жена, ты мне это после расскажешь».

«Не трогай меня. Если ты не перестанешь, я встану с постели. Какое в этом удовольствие, когда на душе тяжело?»

«Ну, коли ты заставляешь себя просить, то сама и будешь внакладе».

«Я вовсе не заставляю себя просить, но ты иногда бываешь таким черствым... таким... таким...»

После короткой паузы муж снова заговорил:

«А теперь признай, жена, что своим глупым сердоболием ты поставила нас в затруднительное положение, из которого почти нет выхода. Год тяжелый; нам еле хватает на себя и на детей. Хлеб-то как дорог! И вина нет. Была бы хоть работа,— но богачи жмутся; беднякам нечего делать: на один занятой день приходится четыре свободных. Долгов никто не платит; заимодавцы так ожесточились, что отчаяние берет; а ты выбрала время приютить какого-то незнакомца, чужого человека, который останется здесь столько времени, сколько угодно будет богу и лекарю, вовсе не намеревающемуся вылечить его поскорее, ибо эти господа стараются затянуть болезни как можно дольше, а с

твоим нахлебником, у которого нет ни гроша, мы израсходуем вдвое или втрое больше. Как ты отделаешься от этого человека? Да говори же, жена, объясни толком».

«Разве с тобой можно говорить?»

«По-твоему, я не в духе, по-твоему, я ворчу! Ну, а кто же будет в духе? Кто не будет ворчать? В погребе было немножко вина; а теперь один бог знает, надолго ли его хватит. Костоправы выпили за один вечер больше, чем мы с детьми за целую неделю. А лекарю кто заплатит? Ведь он, как ты понимаешь, даром ходить не станет».

«Здорово, нечего сказать. Так оттого, что мы в нужде, ты хочешь наградить меня ребенком, словно их у нас не хватало?»

«Не будет ребенка».

«Нет, будет; я чувствую, что понесу».

«Ты так всегда говоришь».

«И ни разу не ошиблась, когда у меня после этого в ухе свербело... А сейчас свербит, как никогда».

«Врет твое ухо».

«Не трогай меня! Оставь мое ухо! Перестань, говорю тебе! С ума ты сошел! Сам поплатишься».

«Да нет же, ведь почитай с Ивановой ночи ничего такого не было».

«Ты добьешься того, что... А через месяц будешь дуться, точно это моя вина».

«Нет, нет».

«А через девять будет еще хуже».

«Нет, нет».

«Ты сам захотел?»

«Да, да».

«Так помни! И не говори мне, как в прошлые разы».

И вот слово за слово, от «нет, нет» к «да, да», этот человек, сердившийся на жену за человеколюбивый поступок...

Хозяин. Я бы тоже так рассуждал.

Жак. Надо сознаться, что муж этот не отличался слишком большой последовательностью; но он был молод, а жена его красива. Никогда не плодят так много детей, как в годы нужды.

Хозяин. В особенности нищие.

Жак. Лишний ребенок им нипочем: его кормит благотворительность. А кроме того, это — единственное бесплатное удовольствие; ночью без всяких расходов утешаешься от невзгод, постигших тебя днем... Впрочем, доводы этого человека не становились от этого менее разумными. Рассуждая так, я почувствовал сильнейшую боль в колене и вскричал: «Ах, колено!»

А муж вскричал: «Ах, жена!..» А жена вскричала: «Ах, муженек!.. Ведь... этот человек там!»

«Ну, там! Так что ж из того?»

«А он, быть может, нас слышал».

«И пусть».

«Я не посмею завтра ему показаться».

«Почему? Разве ты мне не жена? Разве я тебе не муж? А зачем же жена мужу, а муж жене, если не для этого?»

«Ох, ох!»

«Что еще?»

«Ухо!»

«Ну что — ухо?»

«Свербит, как никогда».

«Спи, пройдет».

«Не смогу. Ох, ухо! Ох, ухо!..»

«Ухо, ухо! Легко сказать — ухо!..»

Не стану вам рассказывать о том, что произошло между ними; но жена, повторив несколько раз подряд тихим и торопливым голосом: «ухо, ухо», принялась лепетать отрывочными слогами: «у...хо...», и это «у...хо...», а также нечто непередаваемое, сопровождавшееся молчанием, убедило меня, что ее ушная боль утихла от той или иной причины. Это доставило мне удовольствие; а ей — и говорить нечего.

Хозяин. Жак, положи руку на сердце и поклянись, что ты влюбился не в эту женщину.

Жак. Клянусь.

Хозяин. Тем хуже для тебя.

Жак. Тем хуже или тем лучше. Вы, по-видимому, полагаете, что женщины, обладающие таким же ухом, как она, охотно слушаются.

Хозяин. По моему мнению, это предначертано свыше.

Жак. А по-моему, там далее начертано, что они недолго слушаются того же человека и не прочь послушать и другого.

Хозяин. Возможно.

И вот наши собеседники затеяли бесконечный спор о женщинах: один утверждал, что они добрые, другой — что они злые, и оба были правы; один — что они глупые, другой — что они ума палата, и оба были правы; один — что они лживы, другой — что они искренни, и оба были правы; один — что они скупы, другой — что они щедры, и оба были правы; один — что они красивы, другой — что они безобразны, и оба были правы; один — что они болтливы, другой — что они сдержанны на язык; один — что они откровенны, другой — что скрытны; один — что они

невежественны, другой — что просвещенны; один — что они благонравны, другой — что распутны; один — что они ветреницы, другой — что рассудительны; один — что они рослые, другой — что маленькие; и оба были правы.

В то время как они продолжали этот спор, которого хватило бы на то, чтобы обойти вокруг земли, не прерывая его ни на мгновение и не убедив друг друга, грянула гроза, заставившая их направиться...— Куда? — Куда? Читатель, ваше любопытство меня крайне стесняет. Что вам за дело до этого? Какой вам прок, если вы узнаете, что направились они в Понтуаз или в Сен-Жермен, к богоматери Лоретской или к святому Иакову Компостельскому? Если вы будете настаивать, то я скажу вам, что направились они к... да-с, почему бы мне вам и не сказать... к огромному замку, на фронтоне которого красовалась надпись: «Я не принадлежу никому и принадлежу всем. Вы бывали там прежде, чем вошли, и останетесь после того, как уйдете».— Вошли ли они в замок? — Нет, ибо надпись врала, или они бывали там прежде, чем вошли.— Но они, во всяком случае, оттуда вышли? — Нет, ибо надпись врала, или оставались там после того, как ушли.— А что они там делали? — Жак говорил то, что было предначертано свыше, а Хозяин — что ему хотелось; и оба были правы.— Какую компанию нашли они там? — Пеструю.— Что там говорили? Немного правды и много лжи.— А умные люди там были? — Где их не бывает! Нашлись также и любопытные, которых избегали, как чумы. Жак и его Хозяин возмущались во время всей прогулки...— Значит, там прогуливались? — Там только это и делали, когда не сидели или не лежали... Особенно возмущались Жак и его Хозяин двадцатью смельчаками, захватившими самые роскошные апартаменты, так что нашим путешественникам почти всегда было тесно; эти смельчаки, вопреки общему праву и истинному смыслу надписи, претендовали на то, что замок предоставлен им в полную собственность; с помощью известного числа подкупленных ими негодяев они убедили в этом множество других подкупленных теми негодяев, готовых за мелкую мзду повесить или убить первого, кто осмелится им противоречить; тем не менее во времена Жака и его Хозяина некоторые иногда на это осмеливались.— Безнаказанно? — Как когда.

Вы скажете, что я просто развлекаюсь и, не зная, куда девать своих путешественников, прибегаю к аллегориям, обычному прибежищу бесплодных умов. Жертвую для вас своей аллегорией и всеми выгодами, которые я мог бы из нее извлечь;

готов согласиться с вами в чем угодно, лишь бы вы не приставали ко мне относительно последнего пристанища Жака и его Хозяина, независимо от того, добрались ли они до большого города и ночевали у шлюх, провели ли ночь у старого друга, чествовавшего их по мере своих возможностей, нашли ли приют у нищенствующих монахов, которые предоставили им скверный ночлег и скверную пищу, да и то нехотя, приняли ли их в палатах вельможи, где среди всяческого изобилия они нуждались во всем необходимом, вышли ли они поутру из большой харчевни, после того как их заставили заплатить втридорога за скверный ужин, сервированный на серебряных блюдах, и за постели с штофным пологом и сырыми, измятыми простынями, воспользовались ли гостеприимством сельского священника, со скромным доходом, бросившегося облагать контрибуцией птичьи дворы прихожан, чтоб раздобыть яичницу и куриное фрикасе, или напились отличными винами, предались чревоугодию и схватили жестокое расстройство желудка в богатой бернардинской обители. Хотя вам все это представляется одинаково возможным, однако Жак держался иного мнения: он считал реально возможным только то, что было предначертано свыше.

Но в каком бы месте дороги вам ни угодно было их застать, достоверно то, что не сделали они и двадцати шагов, как Хозяин сказал Жаку, взяв перед тем, по своему обыкновению, понюшку табаку:

— Ну, Жак, рассказывай свои любовные похождения.

Вместо ответа Жак воскликнул:

— К черту любовные похождения! Ведь я, кажется, забыл...

Хозяин. Что ты забыл?

Жак не ответил, но принялся выворачивать свои карманы и тщетно ощупывать себя повсюду. Его дорожный кошелек остался под подушкой, и не успел он сознаться в этом Хозяину, как тот вскричал:

— К черту твои любовные похождения! Ведь часы-то мои висят над камином!

Жак не заставил просить себя; он тотчас же поворачивает и не спеша (ибо он никогда не спешил) возвращается в...— В огромный замок? — Вовсе нет. Из всех возможных обиталищ, которые я вам перед тем перечислил, выберите наиболее подходящее к данному случаю.

Тем временем Хозяин продолжал путь, и теперь, когда он расстался со своим слугой, я, право, не знаю, кому из двух мне отдать предпочтение. Если вы хотите последовать за Жаком, то берегитесь: поиски кошелька и часов могут так затя-

нуться и усложниться, что он долго еще не нагонит Хозяина. единственного своего поверенного, и тогда — прощай любовные похождения Жака. Если, предоставив ему одному разыскивать кошелек и часы, вы вздумаете составить компанию Хозяину, то это будет учтиво, но для вас крайне утомительно: вы еще не знаете этой породы людей. В его голове идей мало; если же ему случается сказать что-нибудь толковое, то он обязан этим памяти или вдохновению. У него такие же глаза, как у нас с вами, но смотрит ли он — обычно бывает неясно. Он не спит, он также и не бодрствует: он отдается процессу существования; это его обычная функция. Автомат ехал вперед, иногда оборачиваясь, чтоб взглянуть, не возвращается ли Жак; он сходил с коня и шел пешком, снова садился в седло, скакал с четверть мили, сходил и, усевшись наземь, надевал повод на руку и подпирал голову кулаками. Устав от этой позы, он вставал и глядел вдаль, ища глазами Жака. Но о Жаке не было и помину. Тогда он начинал сердиться и, не замечая, говорит ли вслух или про себя, восклицал: «Где этот мерзавец! Кобель! Негодяй! Что он там возится? Неужели нужно столько времени, чтоб разыскать кошелек и часы? И вздрючу же я его! Как бог свят, вздрючу!» Затем он пытался нащупать часы в кармане, где их вовсе не было, и продолжал сокрушаться, ибо не знал, как ему быть без часов, без табакерки и без Жака: то были три главных занятия в его жизни, которая проходила в нюхании табаку, в смотрении на часы, в расспрашивании Жака, и все это в разных комбинациях. Лишившись часов, он принужден был ограничиться табакеркой, которую поминутно открывал и закрывал, как это случается и со мной, когда я скучаю. Количество табака, которое остается к вечеру в моей табакерке, прямо пропорционально удовольствию и обратно пропорционально скуке, испытанным мною в этот день. Прошу вас, читатель, освоиться с этой манерой выражаться, которую я перенял из математики, так как я считаю ее точной наукой и потому часто буду к ней прибегать.

Ну как? Вам, вероятно, уже надоел Хозяин; а так как слуга все еще к нам не идет, то не отправиться ли нам самим к нему? Бедный Жак! В ту минуту, когда мы о нем говорим, он скорбно восклицает: «Значит, свыше было предначертано, что в тот же день я буду задержан как разбойник на большой дороге, что будут грозить меня отправить в тюрьму, обвинят в обольщении служанки!»

Подъезжая шажком к замку... то есть не к замку, а к последнему месту ночлега, он поравнялся с одним из странствующих разносчиков, именуемых коробейниками, и тот крикнул:

— Господин кавалер! Подвязки, пояса, шнурки для часов, табакерки по последней моде, настоящие жабаки, кольца, брелоки, печатки! Часы, сударь, часы, прекрасные золотые часы, чеканные, с двойной крышкой, совсем как новые...

Жак отвечал:

— Я именно ищу часы, но только не твои...— и по-прежнему, не торопясь, продолжал свой путь.

Не успел он отъехать, как ему почудилось, будто свыше предначертано, что этот человек должен предложить ему часы Хозяина. Он поворачивает назад и говорит коробейнику:

— Эй, приятель, покажи-ка мне свои золотые часы; сдается мне, что они в моем вкусе.

— Честное слово,— возразил коробейник,— тут не будет ничего удивительного: это прекрасные, первосортные часы, работы Жюльена Леруа. Нет и минуты, как они у меня; достались мне задешево, и я не стану дорожиться. По-моему, лучше наживать по грошам, да зато часто. Плохие нынче пришли времена: мне теперь такой оказии в три месяца не представится. Вы смахиваете на честного человека, и лучше уж вам, нежели кому-либо другому, воспользоваться этим случаем...

Тем временем разносчик поставил свой короб на землю, раскрыл его и вынул часы, которые Жак тут же признал — без всякого удивления, ибо как он никогда не торопился, так он почти никогда и не удивлялся. Внимательно рассмотрев часы, он сказал про себя: «Да, они самые...» — а затем обратился к коробейнику:

— Вы правы: прекрасные, первосортные часы и, насколько мне известно, отлично ходят...— Он сунул часы в кармашек и добавил: —Большое спасибо, приятель!

— Как большое спасибо?

— Да-с, это часы моего Хозяина.

— Я не знаю вашего хозяина. Это мои часы; я их честно купил и честно за них заплатил...

Схватив Жака за шиворот, он принялся вырывать у него часы. Жак подходит к своей лошади, достает пистолет и приставляет его к груди нападающего.

— Прочь, или ты покойник! — говорит он ему.

Испуганный коробейник выпускает врага. Жак снова садится на лошадь и неторопливо направляется к городу, думая про себя: «Часы найдены, поищем теперь наш кошелек».

Разносчик поспешно закрывает короб, вскидывает его на плечи и кричит, преследуя Жака:

— Вор! Вор! Убийца! Помогите! Сюда! Ко мне!..

Пора была страдная, и поля были усеяны хлебопашцами. Все побросали серпы, столпились вокруг этого человека и спрашивали, где же вор, где же убийца.

— Вот он! Вот он!

— Как! Вон тот, что не торопясь едет к городским воротам?

— Он самый.

— Бросьте, вы с ума сошли; разве воры так ездят?

— Вор, вор, говорю я вам; он силой отнял у меня золотые часы...

Хлебопашцы не знали, как им согласовать крики торговца со спокойным аллюром Жака.

— Ах, дорогие мои,— восклицал тем временем коробейник,— я разорен, если вы мне не поможете; они стоят тридцать луидоров и ни одного лиара меньше. Помогите, он увозит мои часы, и если удерет, то часы пропали...

За дальностью расстояния Жаку не слышны были эти крики, но зато он мог легко разглядеть скопление народа; тем не менее это не побудило его прибавить шагу. Наконец, посулив крестьянам награду, коробейник уговорил их пуститься вдогонку за Жаком. И вот толпа мужчин, женщин и детей рванулась вперед с криками: «Вор! Вор! Убийца!» — а следом за ними и коробейник (насколько позволяла ему ноша) с теми же криками: «Вор! Вор! Убийца!..»

Они входят в город, ибо Жак и его Хозяин ночевали накануне в городе; я только что об этом вспомнил. Жители покидают дома, присоединяются к крестьянам и коробейнику и бегут, крича: «Вор! Вор! Убийца!..» Все они одновременно настигают Жака. Коробейник бросается на него. Жак ударом сапога сваливает его наземь, а тот тем не менее орет:

— Мошенник! Жулик! Мерзавец! Отдай часы! Ты мне их отдашь, но тебя все равно повесят...

Жак, сохраняя хладнокровие, обращается к ежеминутно растущей толпе и говорит:

— Здесь есть полицейский чиновник; пусть меня отведут к нему: там я докажу, что мошенник не я, а, быть может, этот человек. Правда, я отнял у него часы, но это часы моего Хозяина. Меня знают в этом городе: позавчера вечером мы с Хозяином приезжали сюда и гостили у окружного судьи, его старого друга.

Если я не сказал вам, что Жак и его Хозяин проезжали через Консиз и останавливались у тамошнего окружного судьи, то лишь потому, что это не пришло мне в голову раньше.

— Пусть отведут меня к господину окружному судье,— сказал Жак и тут же спешился.

Он находился в центре шествия: он, лошадь и коробейник. Они идут и приходят к воротам окружного судьи. Жак, лошадь и коробейник входят внутрь, причем Жак и коробейник держат друг друга за петли камзолов. Толпа остается снаружи.

Что же тем временем делал Хозяин Жака? Он дремал на краю проезжей дороги, надев повод на руку, а лошадь паслась вокруг спящего, насколько позволяла длина привязи.

Не успел окружной судья увидать Жака, как он воскликнул:

— Ах, это ты, мой бедный Жак! Что привело тебя сюда одного?

— Часы моего Хозяина, забытые им на камине и обнаруженные мною в котомке этого человека, а заодно и наш кошелек, который я оставил под подушкой: он найдется, если вы прикажете.

— И если это предначертано свыше...— добавил судья.

Тут же он приказал позвать своих слуг, и тут же коробейник, указав на рослого малого с подозрительной физиономией, недавно поступившего на службу к судье, воскликнул:

— Вот этот продал мне часы!

Судья, приняв строгий вид, обратился к коробейнику и своему слуге:

— Оба вы заслуживаете галер: ты — за то, что продал часы, а ты — за то, что купил...

Затем он сказал слуге:

— Верни купцу деньги и сейчас же снимай ливрею!

И коробейнику:

— Поторопись выбраться из этого края, если не хочешь повиснуть здесь навсегда. У вас обоих такое ремесло, которое не может кончиться добром... А теперь, Жак, займемся твоим кошельком.

Тогда выступила без всякого зова особа, присвоившая себе кошелек: она оказалась высокой, стройной девицей.

— Кошелек, сударь, у меня,— сказала она хозяину,— но я не крала, а он сам дал мне его.

— Я дал вам кошелек?

— Да.

— Это возможно, но черт меня возьми, если я помню...

Судья сказал Жаку:

— Знаешь, Жак, не будем распространяться дальше.

— Сударь...

— Я вижу, что она хорошенькая и покладистая.

— Сударь, клянусь вам...

— Сколько денег было в кошельке?

— Около девятисот семнадцати ливров.

— Ах, Жавота! Девятьсот семнадцать ливров за одну ночь — это слишком много и для вас и для него. Дайте-ка сюда кошелек!

Девица отдала кошелек судье, который вынул оттуда экю и шесть франков.

— Вот вам за труды,— сказал он, бросая ей экю.— Вы стоите дороже для всякого другого, кроме Жака. Желаю вам ежедневно получать вдвое, но вне моего дома; вы меня поняли?.. А ты, Жак, поторопись сесть на лошадь и вернуться к своему хозяину.

Жак отвесил судье поклон и удалился без возражений, говоря самому себе:

«Плутовка, бесстыдница! Видно, свыше было предначертано, что поспит с ней другой, а платить буду я... Ну, Жак, утешься: разве с тебя не достаточно и того, что ты нашел кошелек и часы и что это так дешево тебе обошлось?»

Жак садится на лошадь и расталкивает народ, скопившийся у дома судьи; но так как ему было обидно, что столько людей принимают его за вора, то он вынул часы из кармана и на глазах у всех проверил время; затем он пришпорил лошадь, не привыкшую к этому, а потому помчавшуюся во весь опор. Жак имел обыкновение предоставлять ей полную свободу, ибо находил в равной степени неудобным как удерживать ее, когда она скакала, так и подгонять, когда она плелась шагом. Мы думаем, что управляем судьбой, а на самом деле она всегда управляет нами; судьбой же для Жака было все, что его касалось или с ним сталкивалось: его лошадь, его Хозяин, монах, собака, женщина, мул, ворона. Итак, лошадь понесла его полным ходом к Хозяину, который дремал на краю дороги, надев повод на руку, как я вам уже говорил. В то время повод сдерживал лошадь; однако когда Жак подъехал, повод был на месте, а лошади уже и след простыл. Видно, какой-то жулик подкрался к спящему, тихонько перерезал повод и увел лошадь. Топот коня, на котором подъехал Жак, разбудил Хозяина, и первым его словом было:

— Вернись только, вернись только, бездельник! Я тебя!..

Тут он принялся зевать во весь рот.

— Зевайте, сударь, зевайте,— заметил Жак,— а где ваша лошадь?

— Моя лошадь?

— Да, ваша лошадь...

Хозяин, тут же сообразив, что у него украли лошадь, вздумал было оттузить Жака поводом, но тот сказал:

— Потише, сударь, я сегодня не в настроении терпеть удары; один — куда ни шло, но после второго я удеру и оставлю вас здесь...

Эта угроза сразу смягчила гнев Хозяина, и он спросил более мягким тоном:

— Мои часы?

— Вот они.

— А кошелек?

— Вот он.

— Ты долго провозился.

— Не слишком для всего того, что проделал. Выслушайте меня. Я отправился туда, дрался, взбудоражил всех крестьян, взбудоражил всех горожан, меня сочли за грабителя с большой дороги, отвели к судье, подвергли двум допросам, я чуть было не подвел под виселицу двух молодцов, заставил прогнать лакея, выставить из дому служанку, подвергся обвинению в том, что переночевал с особой, которой никогда не видал, но которой мне тем не менее пришлось заплатить, и вот я здесь.

— Пока я тебя дожидался...

— Пока вы меня дожидались, свыше было предначертано, что вы заснете и что у вас уведут лошадь. Ну что же, забудем об этом. Лошадь потеряна, но, быть может, свыше было предначертано также и то, что вы ее найдете.

— Ах, лошадь! Бедная моя лошадь!

— Скулите хоть до утра, этим делу не поможешь.

— Как же нам быть?

— Садитесь позади меня, или если предпочитаете, то давайте оба снимем сапоги, привяжем их к седлу моей лошади и будем продолжать путь пешком.

— Ах, лошадь, бедная моя лошадь!

Они порешили идти пешком, причем Хозяин время от времени восклицал: «Ах, лошадь, бедная моя лошадь!» — а Жак вкратце излагал свои приключения. Когда он дошел до обвинения, предъявленного ему девицей, Хозяин спросил:

— И ты действительно с ней не почевал?

Жак. Нет, сударь.

Хозяин. Но заплатил?

Жак. Именно так.

Хозяин. Со мной однажды был худший случай.

Жак. Вы заплатили после того, как переночевали?

Хозяин. Угадал.

Жак. Не расскажете ли вы мне об этом?

Хозяин. Прежде чем перейти к моим любовным похождениям, покончим сперва с твоими. Ну-с, Жак, рассказывай про свою любовь, которую я согласен считать первой и единственной в твоей жизни, несмотря на приключение со служанкой консизского окружного судьи, ибо если ты и ночевал с ней, то это еще не значит, что ты в нее влюблен. Мы ежедневно ночуем с женщинами, которых не любим, и не ночуем с женщинами, которых любим. Но, ах!..

Жак. Что еще за «ах»?.. В чем дело?

Хозяин. Ах, моя лошадь!.. Не сердись, друг мой Жак; стань на место моей лошади, представь себе, что я тебя потерял, и скажи, разве не стал бы ты ценить меня больше, если б я воскликал: «Ах, Жак, бедный мой Жак!»?

Жак улыбнулся и сказал:

— Я остановился, если не ошибаюсь, на беседе крестьянина с женой в ночь после перевязки. Я немного поспал. Супруги встали позднее обыкновенного.

Хозяин. Надо думать.

Жак. Проснувшись, я тихонько раздвинул полог и увидал у дверей крестьянина, его жену и лекаря, устроивших там тайное совещание. После того, что я подслушал ночью, мне нетрудно было угадать, о чем шла речь. Я каплянул. Лекарь сказал мужу:

«Он проснулся. Сходите-ка, кум, в погреб; хлебнем по глотку: это придаст руке твердость; затем я сниму повязки, и мы позаботимся об остальном».

Вино принесли и распили, ибо на профессиональном наречии хлебнуть по глотку значит осушить по меньшей мере бутылку; после чего лекарь подошел к моей постели и спросил:

«Как провели ночь?»

«Недурно».

«Дайте руку... Так, так, пульс неплохой, лихорадка почти прошла. Посмотрим колено... Помогите-ка нам, кума»,— добавил он, обращаясь к хозяйке, стоявшей за пологом у постели.

Она позвала одного из ребятишек.

«Нам не ребенок нужен, а вы: одно неверное движение причинит лишнюю возню на целый месяц. Подойдите ближе».

Хозяйка подошла, опустив глаза.

«Держите вот эту ногу, здоровую, а я займусь другой. Тише, тише... Ко мне, еще немного... Теперь слегка направо. голубчик... направо, говорю я тебе... вот так...»

Я вцепился обеими руками в простыню, скрежетал зубами, а пот катился с моего лица.

«Не сладко, приятель?»

«Совсем не сладко».

«Вот так. Отпустите ногу, кума, возьмите подушку; пододвиньте стул и положите ее туда... Слишком близко... Немножко подальше... Дайте руку, приятель, жмите крепче. Ступайте за кровать, кума, и возьмите его под мышки... Превосходно!.. Как, кум, осталось там еще что-нибудь в бутылке?»

«Нет».

«Станьте на место жены, и пусть она сбегает за другой. Так, так, лейте полней... Кума, оставьте своего мужа там, где он находится, и подойдите ко мне...»

Хозяйка снова позвала ребенка.

«Ах, черта с два, я же вам говорил, что ребенок здесь не годится. Опуститесь на колени, подсуньте руку под икру... Вы дрожите, кума, словно совершили преступление; ну-с, смелее!.. Поддержите левой ляжку повыше перевязки... Отлично!»

И вот швы разрезаны, повязка разбинтована, корпия снята, и рана моя обнажена. Лекарь щупает сверху, снизу, с боков и при каждом прикосновении повторяет:

«Невежда! Осел! Олух! Тоже — сует свой нос в хирургию! Отрезать ногу, такую ногу! Да она проживет столько же, сколько и другая: я вам за это отвечаю».

«Значит, я выздоровею?»

«И не такие у меня выздоравливают».

«И буду ходить?»

«Будете».

«Не хромая?»

«Это, приятель, другое дело; ишь чего захотели! Мало того, что я спас вам ногу? Впрочем, если будете хромать, то не слишком. Вы плясать любите?»

«Очень».

«Если и будете немного хуже ходить, то плясать будете лучше... Принесите-ка, кума, подогретое вино... Нет, сперва дайте обыкновенного... еще стаканчик: это помогает при перевязке».

Он пьет; приносят подогретое вино, делают мне припарку, накладывают корпию, кладут меня в постель, уговаривают, если удастся, вздремнуть, затягивают полог; допивают начатую бутылку, достают из погреба вторую, и опять начинается совещание между лекарем, крестьянином и его женой.

Крестьянин: «Это надолго, кум?»

Лекарь: «Очень надолго... Ваше здоровье!»

Крестьянин: «На сколько? На месяц?»

Лекарь: «На месяц! Кладите два, три, четыре,— трудно

сказать. Задеты коленная чашка, бедренная кость, берцовая... Ваше здоровье, кума!»

Крестьянин: «Господи помилуй — четыре месяца! Зачем его сюда пустили? Какого черта понесло ее к дверям?»

Лекарь: «А теперь за мое здоровье: я хорошо поработал».

Крестьянка: «Ты опять за свое, друг мой. А что ты мне обещал сегодня ночью? Ну погоди, ты еще пожалеешь!»

Крестьянин: «Но посуди сама: как нам быть с этим человеком? Будь хоть год-то не такой плохой...»

Крестьянка: «Позволь мне сходить к священнику».

Крестьянин: «Посмей только, я обломаю тебе бока».

Лекарь: «Почему, кум? Моя к нему ходит».

Крестьянин: «Это ваше дело».

Лекарь: «За здоровье моей крестницы! Как она поживает?»

Крестьянка: «Спасибо, хорошо».

Лекарь: «Ну, кум, за здоровье вашей жены и моей! Обе они — прекрасные жены».

Крестьянин: «Ваша поумней, она не сделала бы такой глупости и не...»

Крестьянка: «Послушай, кум, его можно отвезти к серым сестрам?»

Лекарь: «Что вы, кума! Мужчину — мужчину к монахиням! Тут есть маленькое препятствие, так, чуть-чуть побольше мизинца... Выпьем за монахинь, они славные девушки».

Крестьянка: «Какое же препятствие?»

Лекарь: «А вот какое: ваш муж не хочет, чтоб вы ходили к священнику, а моя жена не хочет, чтоб я ходил к монахиням... Еще глоточек, куманек! Может быть, винцо нас надоумит. Вы не расспрашивали этого человека? Возможно, что он не без средств».

Крестьянин: «Это солдат-то!»

Лекарь: «У солдата бывают отец, мать, братья, сестры, родные, друзья — словом, кто-нибудь под солнцем... Хлебнем еще по глоточку, а теперь удалитесь и не мешайте мне орудовать».

Я передал вам слово в слово беседу лекаря, крестьянина и крестьянки; но разве не в моей власти было присоединить к этим добрым людям какого-нибудь негодяя? Жак увидел бы, как его — или вы увидели бы, как Жака — стаскивают с постели, оставляют на большой дороге или кидают в яму.— И, наверно, убивают? — Нет, не убивают. Я сумел бы позвать кого-нибудь на помощь — скажем, солдата из того же отряда; но это так

пахло бы «Кливлендом», что хоть нос зажимай. Правдивость! Прежде всего правдивость! — Правдивость, скажете вы, зачастую бывает холодна, обыденна и плоска; например, ваш рассказ о перевязке Жака правдив, но что в нем интересного? Ничего! — Согласен.— Если уж быть правдивым, то как Мольер, Реньяр, Ричардсон, Седен: правдивость не лишена пикантных черт, которые можно уловить, если обладаешь гениальностью.— Да, если обладаешь гениальностью; а если не обладаешь? — Тогда не надо писать.— А если, на беду, ты похож на того поэта, которого я отправил в Пондишери? — Что это за поэт? — Этот поэт... Но если вы будете меня перебивать, читатель, или если я буду перебивать себя сам, то что же станется с любовными похождениями Жака? Поверьте мне, оставим в покое поэта... Крестьянин и крестьянка удалились...— Нет, нет, историю про пондишерийского поэта.— Лекарь приблизился к постели Жака...— Историю поэта из Пондишери! Поэта из Пондишери!— Как-то раз пришел ко мне молодой поэт; такие навещают меня ежедневно... Но послушайте, читатель, какое это имеет отношение к путешествию Жака-фаталиста и его Хозяина?..— Историю поэта из Пондишери! — После обычных комплиментов по адресу моего ума, таланта, вкуса, доброжелательства и прочих любезностей, которым я не верю, хотя мне их повторяют уже свыше двадцати лет, и, быть может, искренне, молодой поэт вытащил из кармана бумажку. «Это стихи»,— сказал он. «Стихи?» — «Да, сударь, и я надеюсь, что вы будете так добры высказать свое мнение».— «Любите ли вы правду?» — «Да, сударь, и жду ее от вас».— «Вы ее услышите...» Тут читатель спросит: Как! Неужели вы так глупы и полагаете, что поэты ходят к вам за правдой? — Да.— И у вас хватит глупости ее высказывать? — Безусловно.— Не прибегая ни к каким околичностям? — Разумеется; всякие околичности, даже хорошо замаскированные,— не что иное как грубое оскорбление; при точном истолковании они означают, что вы скверный поэт, а раз у вас не хватает силы духа, чтоб выслушать правду, то вы всего-навсего пошляк.— Ваша откровенность всегда приводила к успешным результатам? — Почти всегда... Читаю стихи молодого поэта и говорю ему: «Ваши стихи плохи, и, кроме того, я убежден, что вы никогда не сочините лучших».— «В таком случае мне придется писать дрянь, так как я не в силах от этого отказаться».— «Какое ужасное проклятье! Поймите, сударь, как низко вы падете! Ни боги, ни люди, ни лавки не прощают поэтам посредственности: так говорил Гораций».— «Знаю».— «Вы богаты?» — «Нет».— «Бедны?» — «Очень беден».— «И вы собираетесь присоединить к бед-

ности смехотворное ремесло бездарного поэта? Вы испортите свою жизнь, наступит старость: старый, нищий и скверный поэт,— ах, сударь, какая роль!» — «Сознаю, но ничего не могу с собой поделать...» (Тут Жак сказал бы: «Так предначертано свыше»).— «Есть ли у вас родные?» — «Есть».— «Чем они занимаются?» — «Они ювелиры».— «Сделают ли они что-нибудь для вас?» — «Возможно».— «В таком случае ступайте к вашим родным и попросите их одолжить вам несколько драгоценностей. Затем садитесь на корабль и отправляйтесь в Пондишери; воспойте дорогу в скверных стихах, а по прибытии составьте себе состояние. Составив состояние, возвращайтесь обратно и сочините столько скверных стихов, сколько вам заблагорассудится, но только не печатайте их, ибо нехорошо разорять ближнего...» Прошло около двенадцати лет после этого совета, и молодой человек снова явился ко мне; я его не узнал. «Сударь,— сказал он мне,— вы послали меня в Пондишери. Я побывал там, скопил тысяч сто франков. Вернулся обратно; снова пишу стихи и принес вам показать... Они все еще плохи?» — «Все еще; но ваша судьба устроена, а потому я согласен, чтоб вы продолжали писать плохие стихи».— «Я так и собираюсь сделать...»

Лекарь приблизился к постели Жака, но тот не дал ему рта раскрыть.

«Я все слышал»,— сказал он...

Затем, обращаясь к своему Хозяину, Жак добавил... вернее, собирался добавить, ибо тот прервал его. Хозяин устал от ходьбы; он уселся на краю дороги и вглядывался в путешественника, который направлялся в их сторону, надев на руку повод лошади, следовавшей за ним.

Вы, вероятно, подумаете, читатель, что это та самая лошадь, которую украли у Хозяина, но вы ошибетесь. Так должно было бы случиться в романе немного раньше или немного позже, тем или иным манером; но это не роман; я, кажется, уже говорил вам об этом и повторяю еще раз. Хозяин сказал Жаку:

— Видишь ли ты вон того человека?

Жак. Вижу.

Хозяин. У него, по-моему, отличная лошадь.

Жак. Я служил в пифантерии и ничего не смыслю в лошадях.

Хозяин. А я командовал в кавалерии и смыслю.

Жак. А дальше что?

Хозяин. А вот что. Я хочу, чтоб ты отправился к этому человеку и предложил ему уступить нам лошадь, разумеется — за деньги.

Жак. Это безумие, но я все-таки пойду. Сколько вы намерены дать за нее?

Хозяин. До ста экю...

Посоветовав своему Хозяину не засыпать, Жак направляется навстречу путешественнику, просит продать ему лошадь, расплачивается и уводит ее.

— Ты видишь, Жак,— сказал ему Хозяин,— что если у тебя есть свои предчувствия, то у меня свои. Хороша лошадка. Наверно, продавец клялся, что она безукоризненна, но в отношении лошадей все люди — барышники.

Жак. А в каком же отношении они не барышники?

Хозяин. Ты сядешь на нее и уступишь мне свою.

Жак. Пусть так.

Вот они оба верхами, и Жак добавляет:

— Когда я покидал родительский дом, отец, мать, крестный подарили мне каждый что-нибудь в меру своих скромных средств; кроме того, у меня было отложено пять луидоров, которые Жан, мой старший брат, дал мне перед своей злополучной поездкой в Лиссабон... (Тут Жак принялся плакать, а Хозяин стал уверять его, что так было предначертано свыше.) Я и сам сотни раз говорил себе это, и тем не менее не могу удержаться от слез...

И вот Жак всхлипывает, а затем начинает рыдать вовсю. Его Хозяин берет понюшку табаку и смотрит на часы. Наконец, зажав повод в зубах и вытерев глаза обеими руками, Жак продолжал:

— Пять луидоров Жана, рекрутский задаток да подарки родных и друзей составили сумму, из которой я не тронул еще ни гроша. Эти сбережения оказались весьма кстати; не находите ли вы, сударь?

Хозяин. Тебе невозможно было дольше оставаться в хижине?

Жак. Даже за деньги.

Хозяин. А что понесло твоего брата в Лиссабон?

Жак. Вы, кажется, нарочно меня сбиваете. Ведь с вашими вопросами мы скорее объедем вокруг света, чем я успею до конца вам рассказать свои любовные похождения.

Хозяин. Не все ли равно, лишь бы ты говорил, а я тебя слушал! Разве это не два основных пункта? Чего ты сердишься; ты бы лучше меня поблагодарил.

Жак. Брат отправился в Лиссабон искать вечного покоя. Жан, брат мой, был парень со смекалкой, это принесло ему несчастье; родись он таким же дураком, как я, ему пришлось бы

лучше; но так было предначертано свыше. Было предначертано, что нищенствующий кармелит, каждый сезон приходивший в нашу деревню выпрашивать яйца, шерсть, коноплю, фрукты, вино, остановится у моего отца, собьет с толку Жана, брата моего, и что Жан, брат мой, примет постриг.

Хозяин. Жан, брат твой, был кармелитом?

Жак. Да, сударь, и даже босоногим кармелитом. Жан был делец, умница, сутяга; его почитали за стряпчего нашей деревни. Он знал грамоте и смолоду занимался расшифровкой и перепиской старинных грамот. Он прошел через все должности ордена, будучи поочередно привратником, келарем, садовником, ризничим, помощником эконома и казначеем; он так успешно продвигался вперед, что не преминул бы составить благосостояние всей нашей семьи. Он выдал замуж — и весьма удачно — двух наших сестер и нескольких деревенских девушек. Когда он шел по улицам, то отцы, матери и дети подходили к нему и кричали: «Добрый день, брат Жан! Как поживаете, брат Жан?» Нет никакого сомнения, что когда он входил в какой-нибудь дом, то вместе с ним входила небесная благодать; а если там была дочь, то спустя два месяца после его посещения она шла под венец. Бедный брат Жан! Честолюбие сгубило его. Монастырский эконом, к которому его приставили в качестве помощника, был стар. Монахи передавали, будто Жан, замыслив наследовать ему после его кончины, перевернул вверх дном весь архив, сжег старые записи и изготовил новые, так что по смерти старого эконома сам черт не разобрался бы в грамотах общины. Если нужен был какой-нибудь документ, то приходилось терять месяц на его розыски, да и то он не всегда находился. Отцы раскусили уловку брата Жана и ее цель: они серьезно взялись за дело, и брат Жан, вместо того чтоб, согласно своим расчетам, стать экономом, был посажен на хлеб и на воду и подвергся изрядному бичеванию, пока не сообщил тайну реестров другому брату. Монахи безжалостны. Выведав у брата Жана все нужные им сведения, они заставили его носить уголь в лабораторию, где дистиллируют кармелитскую воду. И вот брат Жан, бывший казначей ордена и помощник эконома,— в должности угольщика! Брат Жан был самолюбив, он не мог вынести потери влияния и величия и только ждал случая избавиться от этого унижения.

О ту пору прибыл в обитель молодой монах, прославший чудом ордена за речи в церковном суде и с амвона; звали его отцом Ангелом. У него были красивые глаза, красивое лицо, а руки и кисти — достойные резца скульптора. И вот он проповедует, проповедует, исповедует, исповедует, старые духовники

Жак-фаталист и его Хозяин

покинуты святошами; святоши перешли к молодому отцу Ангелу; накануне воскресенья и праздничных дней лавочка отца Ангела облеплена исповедующимися мужчинами и женщинами, а старые духовники тщетно поджидают клиентов в своих опустелых исповедальнях; особенно огорчило их... Но не оставить ли мне, сударь, историю брата Жана и не вернуться ли к своим любовным похождениям: это, быть может, будет повеселее.

Хозяин. Нет, нет; понюхаем табачку, посмотрим на часы и будем продолжать.

Жак. Пусть так, если вам хочется...

Но лошадь Жака была другого мнения: она ни с того ни с сего закусывает удила и несется в овраг. Как Жак ни сжимает колени, как ни осаживает ее, а упрямая скотина выскакивает из оврага и карабкается во всю прыть по пригорку, где внезапно останавливается, и Жак, оглянувшись во все стороны, видит себя окруженным виселицами.

Всякий на моем месте, любезный читатель, не преминул бы снабдить эти виселицы их жертвами и уготовить Жаку печальную «сцену узнания». Поступи я так, вы, может статься, мне бы и поверили, ибо бывают и более удивительные случайности; но это не приблизило бы нас к истине: виселицы были пусты.

Жак дал лошади отдышаться, и она по своей воле спустилась с пригорка, выкарабкалась из оврага и подвезла Жака к его Хозяину, который воскликнул:

— Ах, мой бедный друг, как ты меня напугал! Я уже считал тебя мертвым... Но ты задумался; о чем ты задумался?

Жак. О том, на что я там наткнулся.

Хозяин. На что же ты наткнулся?

Жак. На виселицы, на эшафот.

Хозяин. Черт подери! Дурная примета. Но не забывай своей доктрины. Если свыше так предначертано, то как ни вертись, любезный друг, а ты будешь повешен; если же это свыше не предначертано, то лошадь соврала. Либо она вдохновлена свыше, либо она с норовом; будь осторожен!..

После короткого молчания Жак потер лоб, словно отмахиваясь от неприятной мысли, а затем неожиданно продолжал:

— Старые монахи держали совет и порешили какой бы то ни было ценой и каким бы то ни было способом отделаться от посрамлявшего их молокососа. Знаете ли, что они предприняли?.. Да вы меня, сударь, не слушаете.

Хозяин. Слушаю, слушаю; продолжай.

Жак. Они подкупили привратника, такого же старого негодяя, как они сами. И этот старый негодяй обвинил молодого

монаха в вольностях с одной из святош в монастырской приемной и клятвенно подтвердил, что все сам видел своими глазами. Может быть, это была правда, а может, и нет,— как знать? Самое забавное заключается в том, что на другой день после этого обвинения приора обители вызвали в суд по иску некоего лекаря, который требовал платы за лечение от дурной болезни того самого мерзавца-привратника, а также за отпущенные ему лекарства... Сударь, вы меня не слушаете, и я угадываю причину вашей рассеянности: бьюсь об заклад, что это — виселицы.

Хозяин. Не стану отрицать.

Жак. Вы не спускаете глаз с моего лица; разве у меня зловещий вид?

Хозяин. Нет, нет.

Жак. Это значит: «Да, да». Ну что ж, если я вас пугаю, мы можем расстаться.

Хозяин. Вы начинаете сходить с ума, Жак; разве вы не уверены в себе?

Жак. Нет, сударь; а кто уверен в себе?

Хозяин. Всякий порядочный человек. Неужели Жак, честный Жак не испытывает отвращения к преступлению?.. Однако, милый друг, бросим спорить и продолжайте ваш рассказ.

Жак. Воспользовавшись клеветой или злословием привратника, монахи сочли себя вправе устраивать тысячи дьявольских шуток, тысячи каверз отцу Ангелу, рассудок которого, по-видимому, помутился. Они вызвали врача, подкупили его, и тот удостоверил, что монах рехнулся и что ему необходимо подышать воздухом родины. Если бы вопрос шел о том, чтоб удалить или запереть отца Ангела, то это было бы делом одной минуты; но среди посвященных с ним святош были важные дамы, с которыми приходилось считаться. «Увы, бедный отец Ангел! Какая жалость!.. А был цветом нашей обители!» — «Что же с ним такое случилось?» На этот вопрос отвечали не иначе как со вздохом и воздев очи к небу; если же вопрошавшая настаивала, то опускали взоры и умолкали. Иногда после этих кривляний добавляли: «О господи! Что станет с нами!.. У него еще бывают временами ясные мысли... проблески гения... Быть может, это вернется, но надежды мало... Какая потеря для обители!..» Тем временем обращение с отцом Ангелом все ухудшалось; монахи всячески старались довести его до того состояния, которое ему приписывали, и им бы это удалось, если бы над ним не сжалился брат Жан. Да что вам долго рассказывать! Однажды вечером, когда все улеглись спать, раздался стук в дверь; мы встаем, отпираем: перед нами отец Ангел и мой брат в пере-

одетом виде. Они провели у нас весь следующий день, а на другое утро спозаранку дали стрекача. Уезжали они не с пустыми руками, ибо Жан, обнимая меня, сказал: «Я выдал замуж твоих сестер; если б я остался в монастыре еще два года тем, кем был, то ты стал бы самым богатым мызником в нашей округе; но все перевернулось, и вот лишь это я могу для тебя сделать. Прощай, Жак; если мне и отцу Ангелу повезет, ты получишь свою долю...» Затем он сунул мне в руку пять луидоров, о коих я вам говорил, и другие пять для той девушки, которую он последней выдал замуж и которая перед тем произвела на свет толстого мальчишку, как две капли воды похожего на брата Жана.

Хозяин (*раскрывая табакерку и кладя часы в карман*). А зачем они отправились в Лиссабон?

Жак. Чтоб поспеть к землетрясению, которое не могло случиться без них; чтоб оказаться раздавленными, поглощенными землей, сожженными, как было предначертано свыше.

Хозяин. Ах, монахи, монахи!

Жак. Лучший из них не стоит медного гроша.

Хозяин. Я знаю это не хуже тебя.

Жак. Разве вы побывали в их руках?

Хозяин. Я отвечу тебе в другой раз.

Жак. Но почему они такие злые?

Хозяин. Вероятно, потому, что они монахи... А теперь вернемся к твоим любовным похождениям.

Жак. Нет, сударь, не стоит.

Хозяин. Разве ты не желаешь, чтоб я их знал?

Жак. Я-то желаю, а вот судьба не желает. Неужели вы не замечаете, что всякий раз, как я открываю рот, черт впутывается в это дело и случается какое-нибудь происшествие, которое затыкает мне глотку? Я не кончу, говорю вам; это предначертано свыше.

Хозяин. Попытайся, дружок.

Жак. А не лучше ли вам начать свои? Может быть, это прогнало бы наваждение, и тогда мой рассказ пошел бы глаже. Я думаю, что вся причина в этом; знаете, сударь, иногда мне кажется, что со мной говорит судьба.

Хозяин. И тебе помогает, когда ты ее слушаешься?

Жак. Ну да; помните день, когда она мне сказала, что ваши часы находятся на спине коробейника?..

Хозяин стал зевать; зевая, он ударял пальцем по табакерке, и, ударяя пальцем по табакерке, глядел вдаль, и, глядя вдаль, сказал Жаку:

— Что там налево от тебя? Ты не видишь?

Ж а к. Вижу и бьюсь об заклад, что это помешает мне продолжать, а вам начать свой рассказ...

Жак был прав. Так как то, что они заметили, двигалось к ним, а они двигались к нему, то вследствие такого встречного движения расстояние быстро сократилось, и они увидели колымагу, затянутую черной материей и запряженную четверкой черных лошадей в черных попонах, которые покрывали им головы и ниспадали до подков; на запятках двое лакеев в черном, за колымагой двое других, тоже в черном, верхом на черных опять-таки конях с черными чепраками; на козлах черный кучер в шляпе с опущенными полями, повязанной черным крепом, который свисал вдоль его левого плеча; кучер этот опустил голову на грудь и еле держал вожжи, а потому не столько он управлял лошадьми, сколько они управляли им. Вот оба наши путешественника поравнялись с похоронными дрогами. Тотчас же Жак испускает крик, скорее падает, нежели сходит с лошади, рвет на себе волосы, катается по земле и кричит: «Капитан! Мой бедный капитан! Это он! Он, вне всякого сомнения! Вот его герб!..» Действительно, на колымаге находился гроб, прикрытый покровом, на покрове шпага с перевязью, а подле гроба священник, с молитвенником в руках, распевающий псалмы. Колымага продолжала двигаться. Жак следовал за ней с сетованиями, Хозяин следовал за Жаком с проклятиями, а слуги подтвердили Жаку, что это похоронная процессия его капитана, скончавшегося в соседнем городе, откуда его везли в усыпальницу предков. С тех пор как этот офицер вследствие смерти другого офицера, своего друга, капитана того же полка, лишился удовольствия драться хотя бы раз в неделю, он впал в меланхолию, от которой угас в несколько месяцев. Жак, отдав капитану должную дань в форме похвал, сожалений и слез, извинился перед своим Хозяином, сел на лошадь, и они поехали дальше.

Но, ради господа, автор, скажете вы, куда же они направлялись?..— Но, ради господа, читатель, отвечу я вам, разве кто-нибудь знает, куда он направляется? А вы сами — куда вы направляетесь? Не напомнить ли мне вам приключения Эзопа? Однажды вечером, летом или зимой — ибо греки купаются во все времена года,— его хозяин Ксантипп сказал ему: «Эзоп, наведайся в баню; если там мало народу, мы пойдем и выкупаемся...» Эзоп уходит. По дороге он встречает афинский дозор. «Куда ты идешь?» — «Куда иду? — отвечает Эзоп.— Не знаю».— «Не знаешь? Ступай в тюрьму!» — «Значит, я прав,— возразил Эзоп.— Ведь я же говорил вам, что не знаю, куда иду; я хотел пойти в баню, а вот иду в тюрьму...» Жак следовал за

своим Хозяином, как вы за вашим; Хозяин Жака следовал за своим хозяином, как Жак — за ним.— Кто же был хозяином Хозяина Жака? — Послушайте, разве в мире мало хозяев? У Хозяина Жака приходилось сто на одного, как и у вас. Но среди стольких хозяев Хозяина Жака, видимо, не было ни одного хорошего, так как он менял их изо дня в день.— Ведь он человек.— Такой же страстный человек, как вы, читатель; такой же любопытный человек, как вы, читатель; такой же назойливый человек, как вы, читатель.— А зачем же он задавал вопросы? — Странный вопрос! Он задавал их, чтоб узнавать и пересказывать, как вы, читатель...

Хозяин Жака сказал:

— Ты, по-видимому, не расположен продолжать рассказ о своих похождениях.

Жак. Ах, бедный капитан! Он отправился туда, куда мы все отправимся и куда лишь по странной случайности не отправились раньше. Ой-ой-ой!..

Хозяин. Ты, кажется, плачешь, Жак?.. «Плачь без стеснения, ибо ты вправе плакать, не стыдясь; смерть освободила тебя от чопорности, связывавшей тебя при жизни покойного. У тебя нет тех оснований скрывать свое горе, какие были бы, чтоб скрывать свое счастье: никто не сделает из твоих слез выводов, какие сделали бы из твоей радости. К несчастным бывают снисходительны. А к тому же в подобных случаях надлежит выказывать себя либо сострадательным, либо бесчувственным, и, рассуждая здраво, лучше обнаружить сердечную склонность, нежели навлечь на себя подозрение в черствости. Плачь безудержно, чтобы меньше терзаться; плачь сильнее, дабы скорее выплакаться. Вспоминай о нем, преувеличивай его достоинства: его проницательность при исследовании глубочайших материй, его ловкость при обсуждении наиболее тонких из них, его безупречный вкус при выборе особенно важных, его способность вкладывать содержание в самые сухие. А с каким искусством он защищал обвиняемых! Его снисходительность внушала ему в тысячу раз больше мыслей, нежели обвиняемому — шкурный интерес и самолюбие; он был строг лишь к себе самому: не только не искал оправданий для легких оплошностей, случайно им совершенных, но старался раздуть их со злобностью врага, старался с придирчивостью ревнивца принизить ценность своих достоинств, строго расследуя мотивы, побудившие его к этому поступку, быть может, против воли. Не предписывай своим сожалениям другого срока помимо того, какой предпишет им время. Подчинимся же мировому порядку,

когда мы теряем своих друзей, как подчиняемся ему, когда он располагает нами; примиримся без отчаяния с приговором судьбы, их осудившим, как мы примиримся без сопротивления с тем, который она произнесет над нами. Долг погребения — не последний долг души. Земля, которую разгребают в данную минуту, закроется над могилой твоего любимого; но твоя душа сохранит все свои чувства».

Жак. Все это прекрасно, сударь, но какое мне до этого дело? Я потерял моего капитана, я в отчаянии, а вы, как попугай, повторяете мне обрывок утешения, сказанного каким-то мужчиной или какой-нибудь женщиной другой женщине, которая потеряла любовника.

Хозяин. Думается, что это говорила женщина.

Жак. А я полагаю, что мужчина. Но все равно, мужчина или женщина, а я вторично спрашиваю вас, какое мне до этого дело? Что я, по-вашему,— возлюбленная моего капитана? Мой капитан, сударь, был порядочным человеком, а я всегда был честным малым.

Хозяин. Кто же это оспаривает, Жак?

Жак. Так на кой черт мне ваше утешение, выраженное мужчиной или женщиной другой женщине? Может быть, в сотый раз вы мне ответите.

Хозяин. Нет, Жак, ты должен сам догадаться.

Жак. Я могу ломать себе голову всю свою жизнь и все-таки не догадаюсь; так проканителишься до страшного суда.

Хозяин. Мне показалось, Жак, что, пока я читал, ты внимательно меня слушал.

Жак. Все смехотворное обычно привлекает внимание.

Хозяин. Вот и прекрасно, Жак.

Жак. Я чуть было не расхохотался, когда вы упомянули о строгой благопристойности, которая стесняла меня при жизни капитана и от которой я избавился после его смерти.

Хозяин. Вот и прекрасно, Жак. Этого я и добивался. Скажи сам, можно ли было найти лучший способ для твоего утешения? Ты плакал; заговори я о причине твоей печали — что бы из этого вышло? Ты бы еще больше расплакался, и я тебя окончательно расстроил бы. Но я отвлек твое внимание смехотворным надгробным словом и маленькой ссорой, последовавшей после этого между нами. Признайся, что в данный момент мысль о твоем капитане так же далека от тебя, как катафалк, который его везет в последнее обиталище. А потому я думаю, что ты можешь продолжать рассказ о своих любовных похождениях.

Жак. Я тоже так думаю.

«Доктор,— сказал я костоправу,— далеко ли отсюда до вашего дома?»

«С добрую четверть мили, не меньше».

«Вы живете с удобствами?»

«Да, неплохо».

«Найдется ли у вас свободная кровать?»

«Нет».

«Как! А если заплатить, и хорошо заплатить?»

«О, если заплатить, и хорошо заплатить, то другое дело. Но, дружище, у вас не такой вид, чтоб вы могли платить, и притом еще хорошо».

«Это мое дело. А найду ли я у вас уход?»

«Наилучший. Моя жена все время ухаживала за больными; а старшая дочь бреет встречного и поперечного и снимает повязки не хуже меня самого».

«Сколько же вы возьмете с меня за постой, харчи и уход?»

Лекарь почесал за ухом:

«За постой... за харчи... за уход... А кто за вас поручится?»

«Я буду платить поденно».

«Вот золотые слова!..»

Кажется, сударь, вы меня не слушаете?

Хозяин. Да, Жак, свыше было предначертано, что ты на сей раз — и, вероятно, не в последний — будешь говорить, а тебя не будут слушать.

Жак. Когда не слушают собеседника, то либо вовсе не думают, либо думают не о том, о чем он говорит; что из двух вы делали?

Хозяин. Последнее. Я размышлял о словах слуги в трауре, сопровождавшего колымагу; он сказал тебе, что вследствие смерти приятеля твой капитан лишился удовольствия драться хотя бы раз в неделю. Тебе это понятно?

Жак. Конечно.

Хозяин. А мне представляется загадкой, и ты меня обяжешь, если объяснишь.

Жак. А какое вам до всего этого дело?

Хозяин. Никакого; но когда ты разговариваешь, то, вероятно, хочешь, чтоб тебя слушали.

Жак. Разумеется.

Хозяин. Так вот: скажу тебе по совести, что не могу за себя поручиться, пока эти непонятные слова сверлят мне мозг. Избавь меня, пожалуйста, от этого.

Жак. Хорошо. Но поклянитесь, по крайней мере, что вы больше не будете меня перебивать.

Хозяин. Клянусь на всякий случай.

Жак. Дело в том, что мой капитан, славный человек, честный человек, достойный человек, один из лучших офицеров корпуса, но человек несколько чудаковатый, познакомился и сдружился с другим офицером, таким же славным, честным, достойным человеком, тоже хорошим офицером, но таким же чудаковатым, как он сам...

Жак собрался было приступить к рассказу о своем капитане, как вдруг они услыхали, что их нагоняет множество людей и лошадей. Это оказалась та же похоронная процессия, возвращавшаяся по собственным следам. Ее окружали...

Стражники откупного ведомства? — Нет.— Верховые объездной команды? — Возможно. Но как бы то ни было, а впереди процессии шли: священник в сутане и стихаре со связанными за спиной руками, черный кучер со связанными за спиной руками и два черных лакея со связанными за спиной руками. Если кто был поражен, то это Жак. «Мой капитан,— воскликнул он,— мой бедный капитан жив! Слава тебе, господи!..» Вслед за тем Жак повернул лошадь, пришпорил ее и поскакал во весь опор навстречу мнимым похоронам. Он был уже в тридцати шагах от процессии, когда стражники откупного ведомства или верховые объездной команды прицелились в него из ружей, крича: «Стой! Поворачивай — или смерть!..» Жак тотчас же остановился, мысленно вопросил судьбу, и ему показалось, что она ответила: «Поезжай назад». Он так и сделал. А его Хозяин сказал:

— Ну, Жак, что там такое?

Жак. Право, не знаю.

Хозяин. Но что за причина?

Жак. Тоже не знаю.

Хозяин. Вот увидишь, что это контрабандисты, набившие гроб запрещенными товарами, и что их предали откупному ведомству те же самые мерзавцы, у которых они купили товар.

Жак. Но при чем тут колымага с гербом моего капитана?

Хозяин. А может быть, это похищение. Возможно, что в гробу спрятана женщина, или девушка, или монахиня: не сават делает мертвеца.

Жак. Но при чем тут колымага с гербом моего капитана?

Хозяин. Пусть это будет все, что тебе угодно, только кончай историю о капитане.

Жак. Вы все еще интересуетесь этой историей? Но мой капитан, быть может, еще жив.

Хозяин. Какое это имеет отношение к делу?

Жак. Я не люблю говорить о живых, так как сплошь и рядом приходится краснеть за то хорошее или дурное, что о них было сказано: за хорошее, которое они портят, и за дурное, которое они исправляют.

Хозяин. Не подражай ни тусклому панегиристу, ни едкому хулителю; говори так, как оно есть.

Жак. Легко ли! Ведь у всякого свой характер, своя корысть, свой вкус, свои страсти, побуждающие его преувеличивать или смягчать. «Говори так, как оно есть!..» Да этого, быть может, не случится и двух раз на день во всем большом городе! Разве тот, кто вас слушает, обладает лучшими данными, чем тот, кто говорит? Отнюдь нет. А потому едва ли и два раза на день во всем большом городе вас понимают так, как вы говорите.

Хозяин. Какого черта, Жак! Твои правила запрещают пользоваться языком и ушами, говорить что бы то ни было, слушать что бы то ни было и верить чему бы то ни было! Тем не менее говори по-своему, я буду слушать по-своему и поверю, насколько удастся.

Жак. Дорогой Хозяин, жизнь соетоит из недоразумений. Бывают недоразумения в любви, недоразумения в дружбе, недоразумения в политике, в денежных делах, в религии, в литературе, в коммерции, недоразумения с женами, с мужьями...

Хозяин. Брось свои недоразумения и пойми, что величайшее недоразумение — это вдаваться в мораль, когда дело касается исторических фактов. Валяй историю капитана.

Жак. Если в этом мире не говорится почти ничего, что было бы понято так, как оно сказано, то и не делается (а это еще хуже!) почти ничего, что было бы воспринято так, как оно сделано.

Хозяин. Весьма возможно, что на всей земле не найдется головы, наполненной столькими парадоксами, как твоя.

Жак. Что же тут дурного? Парадоксы не всегда лживы.

Хозяин. Конечно.

Жак. Мы с капитаном приехали в Орлеан. Во всем городе только и было разговоров что о происшествии, недавно случившемся с одним горожанином по имени Лепелетье, человеком, настолько проникнутым жалостью к несчастным, что в результате его чрезмерных пожертвований у него от довольно большого состояния остались только крохи на жизнь, и он переходил из дома в дом, стараясь раздобыть в суме ближнего ту милостыню, которую уже не мог добывать из своей.

Хозяин. И ты полагаешь, что относительно поступков этого человека существовало два мнения?

Ж а к. Нет, среди бедных не существовало; но богачи почти без исключения считали его чем-то вроде сумасшедшего, а родные чуть было не отдали под опеку за мотовство. В то время как мы подкреплялись в харчевне, толпа праздных людей окружила брадобрея с той же улицы, разыгрывавшего из себя оратора, и крпчала ему:

«Вы же там были: расскажите, как все произошло».

«Охотно,— сказал местный оратор, только и ждавший случая, чтоб развязать язык.— Мой клиент, господин Оберто, стоял на пороге своего дома, что против церкви Капуцинов. Господин Лепелетье подходит к нему и говорит: «Господин Оберто, не пожертвуете ли что-нибудь моим друзьям?» — ибо, как вам известно, он так называет бедных. «Нет, господин Лепелетье». Тот продолжает настаивать: «Если б только вы знали, в чью пользу я ходатайствую о вашем милосердии! Это бедная женщина: она только что родила, и у нее нет тряпки, чтоб завернуть ребенка».— «Не могу».— «Это молодая и красивая девушка, которая лишилась работы и куска хлеба: ваша щедрость, быть может, спасет ее от распутной жизни».— «Не могу».— «Это ремесленник, живший только собственным трудом; он намедни сломал ногу, сорвавшись с лесов».— «Не могу, говорю вам».— «Проникнитесь сожалением, господин Оберто, и будьте уверены, что вам никогда не представится случая совершить более достойный поступок».— «Не могу, никак не могу».— «Мой добрый, мой милосердный господин Оберто...» — «Господин Лепелетье, оставьте меня в покое; когда я хочу жертвовать, то не заставляю себя просить». С этими словами господин Оберто поворачивается к нему спиной и входит в свою лавку, куда господин Лепелетье следует за ним; из лавки они идут в закрытое помещение, а оттуда в квартиру; и там господин Оберто, которому надоел господин Лепелетье, дает ему пощечину...»

Мой капитан порывисто вскакивает с возгласом:

«И тот его не убил?»

«Что вы, сударь! Разве ни с того ни с сего убивают человека?»

«Но пощечина, черт возьми! Пощечина! А он как поступил?»

«Как он поступил? Он принял веселый вид и сказал господину Оберто: «Это — мне, а что же моим бедным?..»

Ответ Лепелетье привел в восторг всех слушателей, за исключением моего капитана, который заявил:

«Ваш Лепелетье, господа, просто прохвост, низкая личность, трус, подлец, за которого, впрочем, заступилась бы вот

эта шпага, если б я оказался там; а ваш Оберто был бы рад, если бы отделался только потерей ушей».

Оратор возразил:

«Вижу, сударь, что вы не дали бы этому наглецу времени раскаяться в своей ошибке, броситься к ногам господина Лепелетье и предложить ему свой кошелек».

«Конечно, нет».

«Вы — воин, а господин Лепелетье — христианин; у вас разные взгляды на пощечину».

«Щеки у всех людей, дорожащих честью, одинаковы».

«Евангелие держится несколько иных воззрений».

«Мое евангелие находится в сердце и в ножнах; другого я не знаю...»

Где ваше евангелие, Хозяин, мне неизвестно; мое начертано свыше; каждый расценивает обиду и благодеяние по-своему; и, может статься, у нас самих меняются взгляды в течение нескольких мгновений нашей жизни.

Хозяин. Дальше, проклятый болтун, дальше...

Когда Хозяин сердился, Жак умолкал, погружаясь в раздумье, и нередко прерывал молчание только каким-нибудь словом, связанным с его мыслями, но имевшим такое же отношение к их беседе, какое имеют между собой отдельные выхваченные из книги отрывки. Это самое и случилось, когда он сказал:

— Дорогой Хозяин...

Хозяин. Ага, заговорил наконец! Радуюсь за нас обоих, ибо мы уже начали скучать: я — оттого, что тебя не слушаю, а ты — оттого, что не говоришь. Рассказывай дальше...

Жак приготовился было начать историю капитана, как вдруг лошадь его во второй раз метнулась вправо от проезжей дороги и, проскакав с добрую четверть мили по длинной равнине, остановилась посреди виселиц... Посреди виселиц!.. Странные повадки у этой лошади: возить своего всадника к эшафоту!..

— Что бы это значило? — спросил Жак.— Не предостережение ли судьбы?

Хозяин. Не иначе, друг мой. Твоя лошадь обладает даром предвидения, и самое худшее — это то, что все предвещания, внушения, предупреждения свыше при помощи снов и видений ни к чему не ведут: событие все равно совершается. Советую тебе, друг мой, очистить свою совесть, привести в порядок делишки и как можно скорее досказать мне историю своего капитана и своих любовных приключений, так как я был бы крайне огорчен, если бы потерял тебя, не дослушав их до конца. Терзайся хотя бы еще больше, чем сейчас, к чему это

приведет? Ровно ни к чему. Приговор судьбы, дважды произнесенный твоей лошадью, будет приведен в исполнение. Вспомни, не должен ли ты кому-нибудь. Сообщи мне свою последнюю волю, и будь покоен,— она будет свято выполнена. Если ты что-нибудь похитил у меня, то я тебе это дарю; испроси только прощения у господа и не обкрадывай меня больше в течение того более или менее короткого срока, который нам остается прожить вместе.

Жак. Сколько я ни роюсь в своем прошлом, не вижу, чем бы я мог провиниться перед мирским правосудием. Я не крал, не убивал, не насиловал.

Хозяин. Тем хуже; по зрелом размышлении я предпочел бы — и не без основания,— чтобы преступление уже было совершено, а не чтоб тебе предстояло его совершить.

Жак. Помилуйте, сударь, может быть, меня повесят не за свою, а за чужую вину.

Хозяин. Весьма вероятно.

Жак. Возможно также, что меня повесят только после моей смерти.

Хозяин. И это допустимо.

Жак. Возможно также, что меня вовсе не повесят.

Хозяин. Сомневаюсь.

Жак. Возможно, впрочем, что мне предначертано свыше только присутствовать при повешении кого-нибудь другого, и почем знать — кого именно? Может статься, он близко, а может статься, и далеко.

Хозяин. Пусть тебя повесят, голубчик Жак, раз того хочет судьба и твоя лошадь это подтверждает; но не будь нахалом: брось свои наглые предположения и закончи историю своего капитана.

Жак. Не сердитесь, сударь: бывали случаи, что вешали вполне порядочных людей; это называется судебной ошибкой.

Хозяин. Это огорчительные ошибки. Поговорим о чем-нибудь другом.

Жак, несколько утешенный разнообразными толкованиями, которые придумал для пророчеств лошади, продолжал:

— Когда я поступил в полк, то застал там двух офицеров примерно одинакового возраста, происхождения, ранга и родовитости. Одним из них был мой капитан. Отличались они друг от друга только тем, что один был богачом, а другой нет. Богачом был мой капитан. Такое сходство обычно порождает сильнейшую симпатию или антипатию; в данном случае оно вызвало и то и другое...

Тут Жак остановился, и это происходило с ним во время повествования всякий раз, когда его лошадь поворачивала голову направо или налево. Затем для продолжения рассказа он повторял свою последнюю фразу, словно после икоты.

— ...Оно вызвало и то и другое. Порою они были лучшими друзьями в мире, а иногда — смертельными врагами. В дни дружбы они стремились быть вместе, угощали друг друга, обнимали, делились своими горестями, радостями, заботились друг о друге, советовались по поводу секретнейших дел, домашних обстоятельств, мечтаний, страхов, надежд на продвижение по службе. Но случись им встретиться на другой день, они, не глядя друг на друга, проходили мимо, гордо скрещивали взгляды, называли друг друга «милостивый государь», обменивались резкими словами, хватались за шпаги и затевали поединок. Стоило, однако, кому-нибудь из них быть раненным, как другой кидался к приятелю, плакал, впадал в отчаяние, провожая его до дома и дежуря у его постели до полного его выздоровления. Через некоторое время — неделю, две или месяц — все начиналось снова, и с минуты на минуту этим милым людям... этим милым людям грозила гибель от дружеской руки, причем убитого едва ли пришлось бы жалеть больше, чем оставшегося в живых. Им не раз указывали на нелепость такого поведения; да и сам я, получив на то разрешение от своего капитана, говорил ему: «А что будет, сударь, если вас угораздит убить его?» При этих словах он начинал плакать, закрывая глаза платком, а затем метался по комнате, как сумасшедший. Два часа спустя либо приятель приводил его домой раненным, либо он оказывал ту же услугу приятелю. Увы, ни мои уговоры... ни мои уговоры, ни увещания других не приводили ни к чему; и не нашлось другого средства, как их разлучить. Военный министр узнал об удивительном упорстве, с каким они переходили от одной крайности к другой, и мой капитан был назначен комендантом крепости со строгим приказом немедленно отправиться на место службы и с запрещением его покидать; другой приказ прикреплял его приятеля к полку... Кажется, эта проклятая лошадь сведет меня с ума... Не успели эти предписания дойти до моего капитана, как он, сославшись на желание поблагодарить министра за оказанную ему честь, отправился ко двору и заявил, что он достаточно состоятелен и что его лучший друг имеет такие же права на королевские милости, что полученный им пост вознаградил бы его друга за службу, поправил бы его дела и что он лично был бы этому очень рад. Поскольку у министра не было других намерений, как разлучить этих странных людей, а

великодушные поступки к тому же всегда вызывают умиление, то было решено... Перестанешь ли ты вертеть головой, проклятая скотина?.. Было решено, что капитан останется в полку, а его приятель займет должность коменданта крепости.

Как только их разлучили, они почувствовали неодолимую потребность видеть друг друга и оба впали в мрачную меланхолию. Мой капитан выхлопотал себе полугодичный отпуск, чтобы нюхнуть воздуха родины; но в двух милях от гарнизона он продал свою лошадь, нарядился крестьянином и отправился пешком в крепость, где комендантом был его друг. Видимо, они уже раньше сговорились насчет этой затеи. Он приходит... Вот проклятая скотина! Ступай куда хочешь! Опять, что ли, нашлась поблизости виселица, которую тебе желательно навестить?.. Смейтесь, смейтесь, сударь; это действительно очень забавно... Так вот, он приходит; но свыше было предначертано, что, какие бы меры предосторожности приятели наши ни принимали, чтобы скрыть радость своей встречи и соблюсти все же внешние формы почтения, какие крестьянину подобает оказывать коменданту, солдаты и несколько офицеров, которые случайно оказались при этом свидании, будучи в курсе их отношений, что-то заподозрили и поспешили предупредить плац-майора.

Плац-майор, человек осторожный, улыбнулся при этом сообщении, но тем не менее отнесся к нему с должным вниманием. Он окружил коменданта шпионами. Их первое донесение гласило, что комендант редко выходит из дому, а крестьянин вовсе не выходит. Было совершенно невероятно, чтобы эти два человека жили неделю вместе и не поддались своей странной мании; это могло случиться.

Видите, читатель, как я предупредителен? От меня одного зависело стегнуть лошадей, тащивших задрапированную черным колымагу, у ближайшего жилища собрать Жака, его Хозяина, стражников откупного ведомства или верховых объездной команды вместе с прочей процессией, прервать историю капитана и изводить вас сколько захочется; но для этого пришлось бы солгать, а я не признаю лжи, разве только когда она полезна или вынужденна. Между тем остается фактом, что ни Жак, ни его Хозяин не встретили больше задрапированной колымаги и что Жак, по-прежнему беспокоясь о странных повадках своей лошади, продолжал рассказ:

— Однажды шпионы донесли майору, что комендант и крестьянин сильно между собой повздорили, что затем они вы-

шли вместе, причем крестьянин шел первым, а комендант с видимым сожалением следовал за ним, и что оба они зашли к местному банкиру, где до сих пор еще находятся.

Впоследствии выяснилось, что, не надеясь больше увидеться, они решили драться до смертельного исхода и что в самый разгар этой неслыханно жестокой затеи верный долгу нежнейшей дружбы капитан, который был богат, потребовал, чтоб приятель принял у него вексель на двадцать четыре тысячи ливров: этот вексель должен был обеспечить ему жизнь за границей в случае смерти капитана. Капитан не соглашался драться без этого условия; приятель же отвечал на это предложение: «Неужели, друг мой, ты думаешь, что, убив тебя, я смогу еще жить?»... Надеюсь, Хозяин, вы не заставите меня закончить наше путешествие на этой вздорной скотине?..

Они вместе вышли от банкира и направились к городским воротам, но тут их окружили майор и несколько офицеров. Хотя эта встреча носила словно бы случайный характер, тем не менее наши два друга, или, если хотите, недруга, не поддались на обман. Крестьянин не стал скрывать, кто он такой. Эту ночь они провели в уединенном доме. На другой день, чуть занялась заря, мой капитан, несколько раз обняв приятеля, расстался с ним, чтобы никогда больше не увидеться. Не успел он прибыть на родину, как скончался.

Хозяин. Откуда ты взял, что он умер?

Жак. А гроб? А колымага с его гербом? Мой бедный капитан умер,— я в этом уверен.

Хозяин. А священник со связанными за спиной руками? А эти люди со связанными за спиной руками? А стражники откупного ведомства или верховые объездной команды? А возвращение процессии в город? Нет, твой капитан жив,— я в этом уверен. Но не знаешь ли ты, что сталось с его приятелем?

Жак. История его приятеля — это дивная строка великого свитка, или того, что предначертано свыше.

Хозяин. Надеюсь...

Лошадь Жака не позволила Хозяину продолжать; она понеслась с быстротой молнии прямо по проезжей дороге, не сворачивая ни вправо, ни влево. Жак исчез; Хозяин же его, убежденный, что дорога ведет к виселицам, держался за бока от смеха. А поскольку Жак и его Хозяин хороши только вместе и ничего не стоят порознь, как Дон Кихот без Санчо или Ричардетто без Феррагюса (чего недооценили ни продолжатели Сервантеса, ни подражатель Ариосто — монсеньер Фортигверра),

то давайте, читатель, побеседуем между собой, покамест они снова не встретятся.

Вы намерены принять историю капитана за басню, но вы не правы. Уверяю вас, что в том самом виде, в каком Жак рассказывал ее своему Хозяину, я слышал ее в Доме Инвалидов, уж не помню в каком году, в день святого Людовика за столом у господина Сент-Этьена, тамошнего майора; а рассказчик, который говорил в присутствии нескольких других офицеров из того же полка, знавших это дело, был человек степенный и вовсе не похожий на шутника. А посему повторяю вам, как применительно к данному случаю, так и на будущее: будьте осмотрительны, если не хотите в разговоре Жака с его Хозяином принять правду за ложь, а ложь за правду. Я вас должным образом предупредил, а дальше умываю руки.— Какая странная пара, скажете вы.— Так вот что вызывает в вас недоверие! Во-первых, природа столь разнообразна, особенно в отношении инстинктов и характеров, что даже воображение поэта не в состоянии создать такой диковины, образчика которой вы не нашли бы в природе с помощью опыта и наблюдения. Я сам, говорящий с вами, встретил двойника «Лекаря поневоле», которого считал до тех пор сумасброднейшим и забавнейшим измышлением.— Как! Двойника того мужа, которому жена говорит: «У меня трое детей на руках» и который отвечает ей: «Поставь их на землю...» — «Они просят хлеба...» — «Накорми их березовой кашей»? — Именно так. Вот его беседа с моей женой:

«Это вы, господин Гусс?»

«Да, сударыня, я, а не кто-нибудь другой».

«Откуда вы идете?»

«Оттуда, куда ходил».

«Что вы там делали?»

«Чинил испортившуюся мельницу».

«Чью мельницу?»

«Не знаю; я не подрядился чинить мельника».

«Вы отлично одеты вопреки своему обыкновению; отчего же под столь опрятным платьем вы носите такую грязную рубашку?»

«У меня только одна рубашка».

«Почему же у вас только одна?»

«Потому что у меня одновременно бывает только одно тело».

«Мужа нет дома, но надеюсь, это не помешает вам у нас пообедать?»

«Нисколько: я ведь не одалживал ему ни своего желудка, ни своего аппетита».

«Как поживает ваша супруга?»

«Как ей угодно; это не мое дело».

«А дети?»

«Превосходно».

«А тот, что с такими красивыми глазками, такой, пухленький, такой гладенький?»

«Лучше других: он умер».

«Учите вы их чему-нибудь?»

«Нет, сударыня».

«Как! Ни читать, ни писать, ни закону божьему?»

«Ни читать, ни писать, ни закону божьему».

«Почему же?»

«Потому что меня самого ничему не учили, и я не стал от этого глупее. Если у них есть смекалка, они поступят как я; если они дураки, то от моего учения они еще больше поглупеют...»

Повстречайся он вам, вы можете заговорить с ним, не будучи знакомы. Затащите его в кабачок, изложите ему свое дело, предложите отправиться с вами за двадцать миль,— он отправится; используйте его и отошлите, не заплатив ни гроша,— он уйдет вполне довольный.

Слыхали ли вы о некоем Премонвале, дававшем в Париже публичные уроки математики? Он был его другом... Но, может быть, Жак и его Хозяин уже встретились; хотите вернуться к ним или предпочитаете остаться со мной? Гусс и Премонваль вместе содержали школу. Среди учеников, толпами посещавших их заведение, была молодая девушка, мадемуазель Пижон, дочь искусного мастера, изготовившего те две великолепные планисферы, которые перенесли из Королевского сада в залы Академии наук. Каждое утро мадемуазель Пижон отправлялась в школу с папкой под мышкой и готовальней в муфте. Один из профессоров, Премонваль, влюбился в свою ученицу, и в промежутки между теоремами о телах, вписанных в сферу, поспел ребенок. Папаша Пижон был не такой человек, чтоб терпеливо выслушать правильность этого короллария. Положение любовников становится затруднительным, они держат совет; но поскольку у них нет ни гроша, то какой же толк может быть от такого совещания? Они призывают на помощь своего приятеля Гусса. Тот, не говоря ни слова, продает все, что имеет,— белье, платье, машины, мебель, книги; сколачивает некоторую сумму, впихивает влюбленных в почтовую карету, верхом сопровождает

их до Альп; там он высыпает из кошелька оставшуюся мелочь, передает ее друзьям, обнимает их, желает им счастливого пути, а сам, прося милостыню, идет пешком в Лион, где расписывает внутренние стены мужского монастыря и на заработанные деньги, уже без попрошайничества, возвращается в Париж.

Это просто прекрасно.— Безусловно! И, судя по этому героическому поступку, вы полагаете, что Гусс был образцом нравственности? Так разуверьтесь: он имел о ней не больше понятия, чем щука.— Быть не может! — А между тем это так. Я беру его к себе в дело; даю ему ассигновку в восемьдесят ливров на своих доверителей; сумма проставлена цифрами; как же он поступает? Приписывает нуль и получает с них восемьсот ливров.— Что за гнусность! — Гусс в такой же мере бесчестен, когда меня обкрадывает, в какой честен, когда отдает все ради друга; это беспринципный оригинал. Восьмидесяти ливров ему было недостаточно, он росчерком пера добыл восемьсот, в которых нуждался. А ценные книги, которые он мне преподнес! — Что еще за книги? — Но как быть с Жаком и его Хозяином? Как быть с любовными похождениями Жака? Ах, читатель, терпение, с которым вы меня слушаете, доказывает, как мало вы интересуетесь моими героями, и я испытываю искушение оставить их там, где они находятся... Мне нужна была ценная книга, он мне ее приносит; спустя несколько времени мне нужна другая ценная книга; и он снова мне ее приносит; я хочу заплатить, но он не берет денег. Мне нужна третья ценная книга...

«Этой я вам не достану,— говорит он.— Вы слишком поздно сказали: мой сорбоннский доктор умер».

«Что общего между вашим сорбоннским доктором и книгой, которая мне нужна? Разве вы первые две книги взяли в его библиотеке?»

«Разумеется».

«Без его согласия?»

«А зачем мне нужно было его согласие, чтобы совершить акт справедливого распределения? Я только переместил книги, перенося их оттуда, где они были бесполезны, туда, где им найдут достойное применение...»

Вот и судите после этого о человеческих поступках! Но что замечательно, так это история Гусса и его жены... Понимаю вас, вам наскучило, и вы бы не прочь были вернуться к нашим двум путешественникам. Читатель, вы обращаетесь со мной как с автоматом, это невежливо: «Рассказывайте любовные похождения Жака,— не рассказывайте любовных похождений Жака... Выкладывайте историю Гусса,— мне наскучила ис...» Я, конеч-

но, иногда должен следовать вашим прихотям, но необходимо также, чтоб иногда я следовал и своим, не говоря уж о том, что всякий слушатель, позволивший мне начать рассказ, тем самым обязывается дослушать его до конца.

Я сказал вам: «во-первых», а сказать «во-первых» — значит обещать, что вы скажете по меньшей мере «во-вторых». Итак, во-вторых... Послушайте меня!.. Нет, не слушайте, я буду говорить для себя... Быть может, капитана и его приятеля терзала слепая и скрытая ревность: дружба не всегда в силах подавить это чувство. Труднее всего простить другому его достоинства. Не опасались ли они какой-нибудь несправедливости по службе, которая одинаково оскорбила бы их обоих? Сами того не подозревая, они старались заранее отделаться от опасного соперника, испытать его на предстоящий случай. Но как можно подумать это о человеке, который великодушно уступает комендантскую должность неимущему приятелю! Да, уступает; но если б его лишили этой должности, он, быть может, потребовал бы ее с обнаженной шпагой. Когда среди военных кого-нибудь обходят чином, это не приносит никакой чести счастливцу, но бесчестит его соперника. Однако оставим все это и скажем, что уж таков был их заскок. Разве не у всякого человека бывает свой заскок? Заскок наших двух офицеров был в течение нескольких веков манией всей Европы, его называли «рыцарским духом». Все эти блестящие витязи, вооруженные с головы до ног, носившие цвета своих дам, восседавшие на парадных конях, с копьем в руке, с поднятым или опущенным забралом, обменивавшиеся гордыми и вызывающими взглядами, угрожавшие, опрокидывавшие друг друга в пыль, усеивавшие обширное турнирное поле обломками оружия, были лишь друзьями, завидовавшими чьей-либо доблести. В тот момент, когда эти друзья на противоположных концах ристалища держали копья наперевес и всаживали шпоры в бока своих боевых коней, они превращались в смертельных врагов и нападали друг на друга с таким же бешенством, как на поле битвы. Как видите, эти два офицера были лишь паладинами, родившимися в наши дни, но верными старинным нравам. Всякая добродетель и всякий порок на время расцветают, а потом выходят из моды. Было время грубой силы, было время физической ловкости. Храбрость пользуется то бо́льшим, то меньшим почетом; чем она становится обыденней, тем меньше ею хвастаются, тем меньше ее восхваляют. Последите за склонностями людей — и вы найдете таких, которые как будто родились слишком поздно: они принадлежат другому веку. И почему бы нашим двум воинам не затевать еже-

дневные и опасные поединки исключительно из желания нащупать слабую сторону противника и одержать над ним верх? Дуэли повторяются во всяких видах в обществе: среди священников, судейских, литераторов, философов; у каждого звания свои копья и свои рыцари, и самые почтенные, самые занимательные из наших ассамблей суть только маленькие турниры, где иногда носят цвета своей дамы — если не на плече, то в глубине сердца. Чем больше зрителей, тем жарче схватка; присутствие женщин доводит пыл и упорство до крайних пределов, и стыд перенесенного на их глазах поражения никогда не забывается.

А Жак?.. Жак въехал в городские ворота, проскакал по улицам под крики детей и достиг противоположного предместья, где лошадь его ринулась в маленькие низкие ворота, причем между перекладиной этих ворот и головой Жака произошло ужасное столкновение, от которого либо перекладина должна была треснуть, либо Жак упасть навзничь; как передают, случилось последнее. Жак упал с проломленным черепом и потерял сознание. Его подняли и привели в чувство с помощью ароматического спирта; мне даже кажется, что владелец дома пустил ему кровь.— Он был лекарем? — Нет. Между тем подоспел Хозяин Жака, спрашивавший о нем у всех встречных:

— Не видели ли вы высокого, худого человека на пегой лошади?

— Он только что промчался, и с такой быстротой, словно его нес сам черт; вероятно, он уже прикатил к своему хозяину.

— А кто же его хозяин?

— Палач.

— Палач?

— Да; ведь это его лошадь.

— А где живет палач?

— Довольно далеко, но не трудитесь туда ходить; вот, кажется, слуги тащат того самого человека, о котором вы спрашивали и которого мы приняли за одного из лакеев.

Но кто же разговаривал так с Хозяином Жака? Без сомнения — трактирщик, у дверей которого тот остановился; это был низенький человечек, пузатый как бочка; рукава его рубашки были засучены до локтей, на голове миткалевый колпак, живот повязан кухонным фартуком, а на боку большой нож.

— Скорей, скорей кровать для этого несчастного! Костоправа, врача, аптекаря! — крикнул ему Хозяин Жака.

Тем временем Жака положили перед ним на землю; на лбу у него был большой толстый компресс, веки опущены.

— Жак, Жак!

— Это вы, сударь?

— Да, я; взгляни на меня.

— Не могу.

— Что случилось?

— Да все эта лошадь! Проклятая лошадь! Завтра вам расскажу, если только не умру за ночь.

В то время как его вносили и поднимали по лестнице, Хозяин Жака командовал шествием, прикрикивая:

— Осторожно! Тише! Тише, черт побери! Вы его ушибете! Эй ты, что держишь ноги, поворачивай направо, а ты, что держишь голову, сворачивай налево!

Между тем Жак шептал:

— Значит, свыше было предначертано...

Не успели Жака уложить, как он крепко заснул. Хозяин провел ночь у его изголовья, щупал ему пульс и беспрестанно смачивал компресс примочкой от ран. Жак застал его за этим занятием при своем пробуждении и спросил:

— Что вы тут делаете?

Хозяин. Ухаживаю за тобой. Ты мне слуга, когда я болен или здоров; но я твой слуга, когда ты заболеваешь.

Жак. Очень рад узнать, что вы так человеколюбивы; это свойство в отношении слуг присуще далеко не всем господам.

Хозяин. Как поживает твоя голова?

Жак. Не хуже перекладины, против которой она устояла.

Хозяин. Возьми простыню в зубы и тереби покрепче... Что ты чувствуешь?

Жак. Ничего; кувшин как будто цел.

Хозяин. Тем лучше. Ты, кажется, хочешь встать?

Жак. А как же, по-вашему?

Хозяин. По-моему, тебе следует лежать.

Жак. А я думаю, что нам следует позавтракать и ехать дальше.

Хозяин. Где твоя лошадь?

Жак. Я оставил ее у прежнего владельца, честного человека, порядочного человека, который взял ее назад за ту же цену, за какую нам ее продал.

Хозяин. А знаешь ли ты, кто этот честный, этот порядочный человек?

Жак. Нет.

Хозяин. Я скажу тебе по дороге.

Жак. Почему же не сейчас? Что за тайна?

Хозяин. Тайна или не тайна, а не все ли равно, узнаешь ли ты сейчас или позже?

Жак. Да, все равно.

Хозяин. Но тебе нужна лошадь.

Жак. Трактирщик, вероятно, с охотой уступит одну из своих.

Хозяин. Посиди еще немного, а я об этом позабочусь.

Хозяин спускается вниз, заказывает завтрак, покупает лошадь, возвращается к Жаку и застает его одетым. Вот они подкрепились и пускаются в путь: Жак — утверждая, что неприлично уезжать, не отдав ответного визита горожанину, у ворот которого он чуть было не лишился жизни и который так любезно оказал ему помощь; Хозяин — успокаивая его по поводу такой щепетильности заверением, что он хорошо вознаградил служителей горожанина, донесших раненого до трактира. Жак же, в свою очередь, возражал, что деньги, данные слугам, не снимают с него обязательств перед их господином, что таким поведением вызывают в людях сожаление о совершенном благодеянии и отвращение к нему, а на себя накликают славу неблагодарного человека.

— Я слышу, сударь, все, что этот горожанин говорит обо мне, ибо он сам сказал бы то же, будь он на моем месте, а я на его...

Они выезжали из города, когда им повстречался высокий, крепкий мужчина в отороченной тесьмой шляпе, в платье с галуном на любой рост; он шел один, если не считать двух бежавших впереди него собак. Не успел Жак его заметить, как мгновенно соскочил с лошади, воскликнул: «Это он!» — и бросился ему на шею. Ласки Жака, казалось, очень смущали хозяина собак; он тихонько его отпихивал и говорил:

— Сударь, вы оказываете мне слишком много чести.

— Нисколько; я обязан вам жизнью и, право, не знаю, как вас отблагодарить.

— Вы не знаете, кто я.

— Разве вы не тот предупредительный горожанин, который оказал мне помощь, пустил кровь и сделал перевязку, когда моя лошадь...

— Да, это так.

— Разве вы не тот честный горожанин, что купил у меня назад лошадь за ту же цену, по которой мне ее продали?

— Тот самый.

И Жак снова принялся целовать его то в одну, то в другую щеку; Хозяин улыбался, а собаки, задрав морды, стояли, как бы

застыв в изумлении от сцены, которую видели впервые. Жак, добавив к выражениям благодарности множество поклонов, на которые его благодетель не отвечал, и множество пожеланий, принятых весьма холодно, снова сел на лошадь, сказав своему Хозяину:

— Я питаю глубочайшее почтение к этому человеку, но вы должны мне подробнее рассказать о нем.

Хозяин. А почему он представляется вам таким почтенным?

Жак. Потому, что человек, не придающий значения своим услугам, должен быть обязательным от природы и обладать укоренившейся привычкой к благотворительности.

Хозяин. По каким признакам вы судите об этом?

Жак. По безразличному и холодному виду, с которым он отнесся к моей благодарности; он мне не поклонился, не сказал ни слова — казалось, не узнал меня и теперь, быть может, думает с презрением: «Вероятно, этому путешественнику чужды благодеяния и стоит больших усилий совершить справедливый поступок, раз он так расчувствовался...» Что же такого нелепого в моих речах, заставляющего вас покатываться со смеху? Во всяком случае, вы должны сказать мне имя этого человека, чтобы я занес его в свои таблички.

Хозяин. Охотно; пишите.

Жак. Я вас слушаю.

Хозяин. Пишите: человек, к которому я питаю глубочайшее почтение...

Жак. Глубочайшее почтение...

Хозяин. Это...

Жак. Это...

Хозяин. Палач из ***.

Жак. Палач?

Хозяин. Да, да, палач.

Жак. Можете ли вы объяснить мне значение этой шутки?

Хозяин. Я не шучу. Последи за звеньями этого происшествия. Тебе нужна лошадь: судьба направляет тебя к прохожему, а прохожий оказался палачом. Его лошадь дважды тащит тебя к виселицам; в третий раз она везет тебя к палачу; там ты падаешь, лишившись чувств; тебя несут — и куда же? — в трактир, в убежище, во всеобщее пристанище. Слышал ли ты, Жак, рассказ о смерти Сократа?

Жак. Нет.

Хозяин. Это был афинский мудрец. А быть мудрецом всегда было опасно. Сограждане Сократа приговорили его

выпить цикуту. И вот Сократ поступил как ты: он обошелся весьма любезно с палачом, предложившим ему этот яд. Признайся, Жак, ведь ты своего рода философ. Я знаю, что эта порода людей ненавистна сильным мира сего, перед которыми они не преклоняют колен; ненавистна судейским, являющимся в силу своей должности защитниками предрассудков, против которых философы борются; ненавистна священникам, которые редко видят философов у своих алтарей; ненавистна поэтам, людям беспринципным и по глупости смотрящим на философию как на топор для изящных искусств, не считаясь с тем, что даже те из них, кто подвизался на гнусном поприще сатиры, были только льстецами; ненавистна народам, бывшим во все времена рабами тиранов, которые их угнетали, мошенников, которые их надували, и шутов, которые их потешали. Таким образом, я, как видишь, сознаю, как опасно быть философом и как важно то признание, которого я от тебя требую, но я не стану злоупотреблять твоей тайной. Жак, друг мой, ты — философ; я скорблю о тебе; и если только возможно прочесть в настоящем то, чему предстоит когда-нибудь случиться, и если то, что предначертано свыше, иногда может быть предвидено людьми задолго до его свершения, то смерть твоя будет философской и ты позволишь накинуть на себя петлю столь же охотно, как Сократ принял чашу с цикутой.

Жак. Вы говорите не хуже любого пророка; но, к счастью, сударь...

Хозяин. Кажется, ты не слишком веришь тому, что я сказал; а это окончательно подкрепляет мои предчувствия.

Жак. А вы-то сами, сударь, верите этому?

Хозяин. Верю; но если б даже и не верил, то это ничего бы не изменило.

Жак. Почему?

Хозяин. Потому что опасность грозит только тем, кто говорит, а я молчу.

Жак. А предчувствиям вы верите?

Хозяин. Я смеюсь над ними, но, по правде говоря, с трепетом. Некоторые удивительно оправдываются. К этим сказкам привыкаешь с раннего детства. Если твои сны раз пять-шесть сбудутся и после этого тебе приснится, что твой друг умер, то, проснувшись, ты отправишься к нему, чтобы узнать о его здоровье. Но в особенности трудно отделаться от тех предчувствий, которые ты испытываешь, когда событие происходит на расстоянии, и которые носят символический характер.

Жак. Иногда вы рассуждаете так глубокомысленно и

хитроумно, что я вас не понимаю. Не поясните ли вы свою мысль примером?

Хозяин. Это нетрудно сделать. Одна женщина жила в деревне со своим восьмидесятилетним мужем, страдавшим каменной болезнью. Муж простился с ней и поехал в город, чтобы удалить камни. Накануне операции он написал жене: «В ту минуту, когда ты получишь это письмо, я буду лежать под ланцетом брата Козьмы...» Ты знаешь эти обручальные кольца, которые состоят из двух половинок: на одной выгравировано имя мужа, на другой — имя жены. У этой женщины, в то время как она читала письмо мужа, было на пальце такое кольцо. Так вот, в этот самый момент ее кольцо распалось: половина с ее именем осталась на пальце, а половинка с именем мужа скатилась на письмо и рассыпалась на кусочки... Как, по-твоему, Жак, найдется ли человек, обладающий достаточной рассудительностью и достаточной твердостью духа, которого бы такое происшествие и при таких обстоятельствах не потрясло? И действительно, женщина чуть было не умерла от ужаса. Ее страх прошел только тогда, когда письмо от мужа, полученное со следующей почтой, известило ее, что операция прошла благополучно, что он вне опасности и надеется обнять ее к концу месяца.

Жак. И он в самом деле обнял ее?

Хозяин. Да.

Жак. Я задал вам этот вопрос, так как несколько раз замечал, что предчувствия лукавы. Сначала обвиняешь их в том, что они солгали, а минуту спустя оказывается, что они сказали правду. Таким образом, сударь, по-вашему, случай с символическим предчувствием относится ко мне, и вы против воли полагаете, что мне грозит смерть, на манер того философа?

Хозяин. Не стану скрывать от тебя; но чтобы прогнать эту печальную мысль, не мог ли бы ты...

Жак. Продолжить историю своих любовных похождений?

Жак продолжал рассказ. Мы покинули его, если не ошибаюсь, в обществе лекаря.

Лекарь: «Боюсь, как бы ваша история с коленом не затянулась больше чем на один день».

Жак: «Не все ли равно? Она затянется ровно настолько, насколько это предначертано свыше».

Лекарь: «По стольку-то в день за постой, харчи и уход составит кругленькую сумму».

Жак: «Речь, доктор, идет не о сумме за все время; сколько в день?»

Лекарь: «Двадцать пять су; недорого?»

Жак: «Слишком дорого; я бедный малый, доктор; сбросьте половину и позаботьтесь как можно скорее, чтобы меня перенесли к вам».

Лекарь: «Двенадцать с половиной су — это ни то ни се; кладите тринадцать».

Жак: «Двенадцать с половиной... Ну, пусть тринадцать... По рукам!»

Лекарь: «И вы будете платить поденно?»

Жак: «Уж как договорились».

Лекарь: «Дело в том, что жена — баба бывалая; она, видите ли, не понимает шуток».

Жак: «Ах, доктор, прикажите поскорее перенести меня к вашей бывалой бабе».

Лекарь: «По тринадцать су в день — это в месяц составит девятнадцать ливров десять су. Кладите двадцать франков».

Жак: «Пусть будет двадцать».

Лекарь: «Вы хотите получить хороший стол, хороший уход и быстро выздороветь. Помимо пищи, помещения и услуг, надо считать еще лекарства, белье и...»

Жак: «Словом?»

Лекарь: «Словом, за все про все двадцать четыре франка».

Жак: «Пусть двадцать четыре; но без хвостика».

Лекарь: «Один месяц — двадцать четыре франка; два месяца — сорок восемь ливров; три месяца — семьдесят два ливра. Ах, как была бы довольна моя докторша, если, переехав к нам, вы бы уплатили авансом половину этой суммы!»

Жак: «Согласен».

Лекарь: «Но она была бы еще более довольна...»

Жак: «Если бы я заплатил за квартал? Хорошо».

Жак продолжал:

— Лекарь разыскал хозяев, предупредил их о нашем договоре, и через минуту муж, жена и дети собрались вокруг моей кровати, довольные и веселые; посыпались бесчисленные вопросы о моем здоровье, о моем колене, похвалы их куму-лекарю и его жене, потоки пожеланий,— и какая приветливость, какое сочувствие, какое старание мне услужить! Хотя лекарь и не говорил им, что у меня водятся кое-какие деньжонки, но они знали своего куманька; он брал меня к себе, и этого было достаточно. Я расплатился с хозяевами; дал детям несколько мелких монеток, которые, однако, родители не надолго оставили в их руках. Был ранний час. Крестьянин отправился в поле, жена вскинула на плечи корзину и удалилась; дети, опечаленные и недовольные тем, что у них отняли деньги, исчезли, так что

когда понадобилось поднять меня с лежанки, одеть и положить на носилки, то не оказалось никого, кроме лекаря, который принялся кричать во всю глотку; но никто его не слышал.

Хозяин. А Жак, который любит разговаривать сам с собой, вероятно, сказал: «Не плати никогда вперед, если не хочешь, чтобы тебе плохо служили».

Жак. Нет, сударь, момент был более подходящим для того, чтобы выйти из себя и выругаться, чем для того, чтобы читать проповеди. Я выхожу из себя, ругаюсь, а затем уже делаю моральные выводы; но, пока я рассуждал, лекарь вернулся с двумя крестьянами, нанятыми им для того, чтобы перенести меня за мои же деньги, о чем он не преминул поставить меня в известность. Эти люди оказали мне первые услуги при моем водворении на самодельных носилках, которые состояли из тюфяка, положенного на шесты.

Хозяин. Слава тебе господи! Наконец-то ты в доме лекаря и влюблен в его жену или дочь.

Жак. Кажется, сударь, вы ошибаетесь.

Хозяин. И ты думаешь, что я буду дожидаться три месяца в доме лекаря, прежде чем услышу от тебя первое слово о твоих любовных похождениях? Нет, Жак, это невозможно! Избавь меня, пожалуйста, от описания дома, характера лекаря, права его жены и перипетий твоего исцеления; перескочи через все это. К делу, любезный, к делу! Колено твое почти выздоровело, ты в достаточной мере поправился и влюблен.

Жак. Хорошо, я влюблен, раз уж вы так торопитесь.

Хозяин. В кого влюблен?

Жак. В высокую восемнадцатилетнюю брюнетку: прекрасно сложена, крупные черные глаза, маленький алый ротик, красивые руки, дивные пальчики. Ах, сударь, какие пальчики! Эти самые пальчики...

Хозяин. Тебе кажется, что ты все еще держишь их.

Жак. Эти самые пальчики вы не раз брали украдкой в руки и держали, и только от них зависело позволить вам то, что вы хотели с ними сделать.

Хозяин. Этого, Жак, я никак не ожидал.

Жак. И я тоже.

Хозяин. Сколько ни ломаю себе голову, не могу припомнить ни высокой брюнетки, ни дивных пальчиков; попробуй говорить яснее.

Жак. Согласен; но при условии, что мы вернемся обратно и войдем в дом лекаря.

Хозяин. Ты полагаешь, что это предначертано свыше?

Жак. Решайте сами; во всяком случае, здесь, на земле, предначертано, что *chi va piano, va sano* [1].

Хозяин. И что *chi va piano, va lontano* [2], а я хотел бы уже приехать.

Жак. Что же вы решили?

Хозяин. Поступай как знаешь.

Жак. В таком случае мы снова у костоправа, и свыше было предначертано, что мы туда вернемся. Лекарь, его жена и дети так умело сговорились опустошить мой кошелек всякого рода мелкими грабежами, что это им вскоре удалось. Колено мое хотя и не зажило, но казалось на пути к исцелению; рана почти затянулась, я мог ходить с помощью костыля, и у меня оставалось еще восемнадцать франков. Никто так не любит говорить, как заики; никто так не любит ходить, как хромоножки. Как-то в хороший осенний день задумал я совершить длинную прогулку; от деревни, где я жил, до соседней было около двух миль.

Хозяин. А как эта деревня называлась?

Жак. Если я вам скажу, вы догадаетесь обо всем. Прибыв туда, я зашел в харчевню, передохнул, подкрепился. День клонился к концу, и я собирался вернуться восвояси, когда в харчевне, где я находился, послышались снаружи резкие крики, испускаемые какой-то женщиной. Я вышел. Люди столпились вокруг нее. Она лежала на земле, рвала на себе волосы и говорила, указывая на осколки большой крынки:

«Без денег, целый месяц без денег! Кто же будет в это время кормить моих бедных детей? Управитель, у которого душа черствее камня, мне гроша не уступит. Как я несчастна! Без денег, целый месяц без денег!..»

Все жалели ее; вокруг нее только и раздавалось: «Бедная женщина! Бедная женщина!» — но никто не полез в карман за деньгами. Я быстро подошел к ней и спросил:

«Что с вами случилось, милая моя?»

«Что со мной случилось? Разве вы не видите? Меня послали купить крынку масла; я поскользнулась, упала, крынка разбилась, и вот масло, которым она была полна до краев...»

Тут подошли крохотные ребятишки этой женщины; они были полуголые, а скверная одежонка матери свидетельствовала о нищете всего семейства. И мать и дети принялись вопить. Вы меня знаете: достаточно было бы и десятой доли такого зре-

[1] Кто идет медленно, идет уверенно *(итал.)*.

[2] Кто идет уверенно, идет далеко *(итал.)*. Обе итальянские поговорки соответствуют русской пословице: «Тише едешь — дальше будешь».

лища, чтобы меня растрогать; все во мне проникло жалостью, и слезы выступили у меня на глазах. Прерывающимся голосом спросил я у женщины, на сколько денег было в кувшине масла. «На сколько? — отвечала она, воздевая руки вверх.— На девять франков; это больше, чем я могу заработать в месяц...» Тотчас же развязав кошелек и бросив ей два полных экю, я сказал: «Вот вам, милая моя, двенадцать франков» — и, не дожидаясь благодарственных излияний, направился по дороге в деревню.

Хозяин. Жак, вы совершили прекрасный поступок.

Жак. Я совершил глупость, с вашего разрешения. Не успел я отойти и ста шагов, как признался себе в этом; на полпути я повторил то же самое, но уже выразительнее, а придя к лекарю с пустыми карманами, испытал последствия этого на собственной шкуре.

Хозяин. Может быть, ты и прав, и моя похвала была так же неуместна, как твоя жалость... Нет, нет, Жак, я настаиваю на своем первом мнении: пренебрежение собственными нуждами — вот главная заслуга твоего поступка. Предвижу последствия: ты будешь жертвой бесчеловечности лекаря и его жены; они прогонят тебя; но если б даже тебе пришлось умирать перед их дверью на навозной куче, ты умирал бы на ней довольный собой.

Жак. Такой силой духа, сударь, я не обладаю. С трудом продвигался я вперед, сожалея (должен вам сознаться) о своих двух экю, которые уже нельзя было вернуть, и портя этим сожалением доблесть своего поступка. Я был на равном расстоянии от обеих деревень, и день уже окончательно угас, когда трое грабителей вышли из кустов, окаймлявших дорогу, бросились на меня, опрокинули, обшарили мои карманы и крайне удивились, найдя у меня столь незначительную сумму. Они рассчитывали на более крупную добычу; будучи свидетелями оказанного мною в деревне благодеяния, они вообразили, что у того, кто так легко швыряет лупдор, таких луидоров должно быть по меньшей мере два десятка. Рассердившись на то, что их надежды не оправдались и что из-за пригоршни жалких су они подвергли себя опасности быть вздернутыми на дыбу, если по моей жалобе их изловят и я их опознаю, грабители колебались с минуту, не прикончить ли меня. К счастью, они, услыхав шум, пустились наутек, и я отделался несколькими ушибами, полученными во время падения и ограбления. После бегства бандитов я пошел своей дорогой и, как мог, добрался до деревни; прибыл я в два часа ночи, бледный, обессиленный, страдая от увеличившейся боли в колене и от ударов, полученных мною в разные части

тела. Лекарь... Что с вами, сударь? Вы стиснули зубы, размахиваете руками, словно перед вами враг...

Хозяин. Да, да; я хватаю шпагу, кидаюсь на разбойников и мщу за тебя. Скажи мне, как могло случиться, что составитель великого свитка предназначил такую награду за столь великодушный поступок? Почему я, жалкий человек, преисполненный недостатков, вступаюсь за тебя, а его, который спокойно позволил напасть на тебя, сбить с ног, терзать, топтать, называют вместилищем всех совершенств?

Жак. Тише, тише, сударь: то, что вы сказали, чертовски попахивает костром.

Хозяин. Что ты озираешься?

Жак. Смотрю, нет ли поблизости кого-нибудь, кто бы нас подслушивал... Лекарь пощупал мне пульс и определил лихорадку. Я улегся, не обмолвившись ни словом о происшествии, и предался размышлениям на своем одре, ибо имел дело с двумя душонками... и, боже, с какими душонками! У меня не было ни гроша и ни малейшего сомнения в том, что на другой день, после моего пробуждения, от меня потребуют условленную поденную плату.

Тут Хозяин, обхватив руками шею своего слуги, воскликнул:

— Бедный Жак, как ты поступишь? Что с тобой будет? Твое положение меня пугает.

Жак. Успокойтесь, сударь, ведь я здесь.

Хозяин. Совсем забыл; мне казалось, что наступило утро, что я подле тебя, у лекаря, в момент твоего пробуждения и что пришли требовать с тебя денег.

Жак. Не знаешь, сударь, ни чему радоваться, ни чем огорчаться в этой жизни. Добро влечет за собой зло, зло влечет добро. Мы шествуем в ночи под покровом того, что предначертано свыше, одинаково неразумные как в своих желаниях, так и в своих радостях и горестях. Когда я пла́чу, то иногда убеждаюсь, что я дурак.

Хозяин. А когда смеешься?

Жак. Опять-таки убеждаюсь, что я дурак; между тем я не могу удержаться от того, чтобы не плакать или не смеяться, и это меня бесит. Я тысячу раз пытался... Всю ночь я не сомкнул глаз...

Хозяин. Постой, сначала скажи, что ты такое пытался?

Жак. Смеяться над всем. Ах, если б мне это удалось!

Хозяин. А зачем это тебе?

Жак. Чтоб избавиться от забот, не нуждаться ни в чем, быть самому себе хозяином, чувствовать себя одинаково хоро-

шо — как прислонив голову к тумбе на углу улицы, так и положив ее на мягкую подушку. Таким я и бываю иногда; но, черт его знает, это долго не длится: твердый и непреклонный, как скала, в важных случаях, я нередко становлюсь в тупик при малейшем противоречии или от любого пустяка; так и хочется надавать себе пощечин. В конце концов я отказался от этой мысли и решил остаться таким, каким был; а поразмыслив немного, пришел к убеждению, что это сводится к тому же самому, ибо не все ли равно, каковы мы? Это другой вид покорности судьбе, но более легкий и удобный.

Хозяин. Более удобный — это бесспорно.

Жак. Поутру лекарь отдернул полог моей кровати и сказал:

«Ну, дружище, покажите колено, а то я сегодня далеко уезжаю».

«Доктор,— ответил я мученическим тоном,— мне хочется спать».

«Очень рад. Это хороший признак».

«Не мешайте мне спать. Не стоит менять повязку».

«Ну ладно, спите на здоровье...»

С этими словами он задернул полог, а я бодрствую. Час спустя лекарша снова его отдернула и провозгласила:

«Ну, дружище, вот ваши обсахаренные гренки».

«Госпожа лекарша,— отвечал я страдальческим тоном,— мне не хочется есть».

«Кушайте, кушайте, все равно не заплатите ни больше, ни меньше».

«У меня нет аппетита».

«Тем лучше! Останется мне и детям».

С этими словами она задернула полог, позвала детей, и они принялись уплетать мои обсахаренные гренки.

Читатель, мне очень хочется знать, что ты скажешь, если я сделаю паузу и вернусь к истории человека, имевшего только одну рубашку, ибо у него было лишь одно тело? Ты скажешь, что я зашел, говоря вольтеровским языком, в тупик, или, выражаясь грубо, залез на задворки, откуда не знаю как выбраться, и прибегаю к нелепым побасенкам, чтоб выиграть время и выпутаться из тех, которые начал. Нет, читатель, ты заблуждаешься полностью. Мне известно, как Жак избавится от беды; а то, что я тебе расскажу о Гуссе — человеке, обладавшем одновременно только одной рубашкой, так как у него было одновременно только одно тело,— вовсе не басня.

Дело было в троицын день, когда я утром получил записку

от Гусса, умолявшего меня навестить его в тюрьме, куда его засадили. Одеваясь, я поразмыслил над его невзгодой и решил, что, должно быть, его портной, булочник, виноторговец или домохозяин выхлопотал приказ об его аресте, который и был приведен в исполнение. Прихожу и застаю его в одной компании с другими лицами зловещей наружности. Спрашиваю его, кто эти люди.

«Старик с очками на носу — человек ловкий и превосходный калькулятор, пытающийся согласовать книги, которые он ведет, со своим личным счетом. Это дело нелегкое — мы с ним это обсуждали,— но я уверен, что он своего добьется».

«А вон тот?»

«Это глупец».

«Нельзя ли пояснее?»

«Глупец, который изобрел машину для подделки кредитных билетов — дрянную машинку, обладающую кучей недостатков».

«А третий, в ливрее, который играет на виолончели?»

«Он здесь ненадолго; быть может, сегодня вечером или завтра утром его отправят в Бисетр, так как его дело — пустяковое».

«А ваше?»

«Мое еще незначительнее».

После этого он встал, положил свой колпак на постель, и в то же мгновение его тюремные сожители исчезли. Войдя в комнату, где помещался Гусс, я застал его в халате, сидящим за маленьким столиком; он чертил геометрические фигуры и работал так же спокойно, как если бы был у себя дома. Вот мы одни.

«А что вы здесь делаете?»

«Работаю, как видите».

«Кто вас сюда засадил?»

«Я сам».

«Вы сами?»

«Да, сударь».

«Как же вы это сделали?»

«Так же, как сделал бы с другим. Я затеял тяжбу против самого себя, выиграл ее, и, в силу решения, состоявшегося не в мою пользу, а также последовавшего за ним постановления, меня взяли и отвели сюда».

«Вы с ума спятили?»

«Нет, сударь; я рассказываю вам все так, как оно есть».

«Не можете ли вы затеять против себя другую тяжбу, выиграть ее и, в силу нового решения и постановления, выйти на свободу?»

«Нет, сударь».

Жак-фаталист и его Хозяин

У Гусса была хорошенькая служанка, которая служила ему половиной гораздо чаще, чем его законная половина. Это неравное распределение нарушило семейный мир. Хотя трудно было досадить этому человеку, которого не пугали никакие скандалы, однако же он решил покинуть жену и поселиться со служанкой. Но все его имущество состояло из мебели, машин, рисунков, орудий и домашней утвари; и он предпочел обобрать жену догола, нежели уйти из дому с пустыми руками, и вот что он задумал. Он решил выдать служанке векселя, дабы она предъявила их ко взысканию и добилась описи и продажи его вещей, которые должны были с моста Сен-Мишель перекочевать на квартиру, где он собирался обосноваться со своей возлюбленной. В восторге от своей идеи, он выписывает векселя, подает их ко взысканию, нанимает двух поверенных. И вот он бегает от одного к другому, преследуя самого себя с превеликим рвением; превосходно нападает и слабо защищается; вот его приговаривают к уплате долга со всеми законными последствиями; вот он мысленно уже завладел всем, что было у него в доме; но дело обернулось иначе. Он нарвался на прехитрую негодяйку, которая, вместо того чтоб описать мебель, взялась за него самого и добилась его ареста и заключения в тюрьму. Таким образом, сколь бы странными ни показались вам те загадочные ответы, которые он мне давал, они тем не менее были правдивы.

В то время как я рассказывал вам эту историю, которую вы сочтете за басню...— А история человека в ливрее, пиликавшего на виолончели? — Обещаю сообщить ее, читатель; честное слово, она от вас не уйдет, а пока позвольте мне вернуться к Жаку и его Хозяину... Жак и его Хозяин достигли жилища, где им предстояло провести ночь. Было поздно; городские ворота оказались запертыми, и путешественникам пришлось остановиться в предместье. И вдруг я слышу шум...— Вы слышите? Да вас там вовсе не было! При чем тут вы? — Вы правы... Итак, Жак... его Хозяин... Раздается страшный шум. Я вижу двух мужчин...— Вы ничего не видите; при чем тут вы? Вас там вовсе не было.— Вы правы. Двое мужчин сидели за столом подле двери занимаемой ими комнаты, разговаривая довольно спокойно; какая-то женщина, подбоченившись, изрыгала на них потоки брани, а Жак пытался успокоить эту женщину, причем она так же мало обращала внимания на его миролюбивые увещания, как и те двое, к которым она обращалась, на ее поношения.

— Погодите, любезная; немного терпения, придите в себя! — говорил Жак.— Что, собственно, случилось? Эти господа похожи на вполне порядочных людей.

— Это они порядочные люди? Это злодеи без жалости, без души, без всякого чувства. Что им сделала эта бедная Николь, что они так зверски с ней обошлись? Ее, наверно, изуродовали на всю жизнь.

— Может статься, беда не так велика, как вам кажется.

— Удар был ужасный, говорю я вам; они ее изуродовали.

— Надо проверить; надо послать за врачом.

— Уже послали.

— Надо уложить ее в постель.

— Ее уже уложили, и она стонет так, что сердце разрывается. Бедная Николь!

Во время этих сетований звонили с одной стороны и кричали: «Хозяйка, вина!..» Она отвечала: «Иду». Звонили с другой стороны и кричали: «Хозяйка, белья!» Она отвечала: «Иду, иду».

А из другого угла дома рассвирепевший человек вопил:

— Проклятый болтун! Безудержный болтун! Чего ты не в свое дело суешься? Или хочешь, чтоб я прождал здесь до утра? Жак! Жак!

Трактирщица, горе и раздражение которой несколько улеглись, сказала Жаку:

— Сударь, оставьте меня, вы слишком добры.

— Жак! Жак!

— Поторопитесь. Ах, если б вы знали все беды этого несчастного существа!..

— Жак, Жак!

— Ступайте же; кажется, вас хозяин кличет.

— Жак! Жак!

Действительно, это был Хозяин Жака, который разделся сам и, умирая от голода, выходил из себя, оттого что ему не подавали. Жак поднялся к нему, а минуту спустя пришла трактирщица, которая в самом деле выглядела подавленной.

— Тысячу извинений, сударь,— заявила она Хозяину Жака.— Бывают такие случаи в жизни, которые нелегко перенести. Что прикажете подать? У меня есть куры, голуби, отличная заячья корейка, кролики: наш край славится хорошими кроликами. А может быть, вам угодно речной птицы?

Согласно своему обычаю, Жак заказал Хозяину такой же ужин, как и себе. Блюда подали, и во время еды Хозяин говорил Жаку:

— Черт тебя возьми, что ты делал там внизу?

Жак. Быть может — хорошее, быть может — дурное; почем знать?

Хозяин. Что же хорошее или дурное ты делал внизу?

Жак. Я не допустил, чтобы эту женщину избили двое мужчин, которые сидели там и по меньшей мере сломали руку служанке.

Хозяин. А может быть, для нее было бы лучше, если б ее избили?..

Жак. Для этого имелось бы десять весьма резонных причин. Величайшая удача, случившаяся со мной в жизни...

Хозяин. Это то, что тебя избили?.. Налей!

Жак. Да, сударь, избили ночью на большой дороге, когда я возвращался, как сказано, из деревни, отдав свои деньги и сделав, по моему мнению, глупость, а по вашему — прекрасный поступок.

Хозяин. Помню... Налей!.. А какая причина ссоры, которую ты старался прекратить, и дурного обращения с дочерью или служанкой хозяйки?..

Жак. Право, не знаю.

Хозяин. Ты не знаешь сути дела — и вмешиваешься! Это не вяжется ни с осторожностью, ни со справедливостью, ни с принципами... Налей!..

Жак. Я не знаю, что такое принципы, если это не правила, устанавливаемые для других в интересах самого себя. Я думаю так, а не могу удержаться, чтоб не поступить иначе. Все проповеди напоминают рассуждения королевских эдиктов; все проповедники хотели бы, чтобы мы исполняли их поучения, так как нам от этого, может быть, всем будет лучше, а им-то уж наверное... Добродетель...

Хозяин. Добродетель, Жак, прекрасная вещь; и злые и добрые отзываются о ней хорошо... Налей!..

Жак. Ибо она выгодна для первых и для вторых.

Хозяин. А почему ты считаешь за счастье, что тебя избили?

Жак. Время позднее; вы поужинали, и я тоже; мы оба устали. Давайте-ка ляжем спать.

Хозяин. Это невозможно: трактирщица не все еще подала нам. А пока что продолжай рассказ о своих любовных похождениях.

Жак. На чем бишь я остановился? Прошу вас, сударь, и на этот раз и в будущем — напоминайте мне об этом.

Хозяин. Хорошо; и, выполняя свою суфлерскую обязанность, скажу, что ты лежал в постели, без денег, с сильным недомоганием, в то время как лекарша с детьми уплетала твои обсахаренные гренки.

Жак. Тут послышался шум экипажа, остановившегося у дверей дома. Входит лакей и спрашивает:

«Не здесь ли живет бедный солдат с костылем, который вчера вечером вернулся из соседней деревни?»

«Здесь,— ответила лекарша.— А зачем он вам?»

«Хочу взять его в коляску и увезти с собой».

«Он в постели; отдерните полог и поговорите с ним».

Жак дошел до этого места, когда появилась трактирщица и спросила:

— Что вам угодно на сладкое?

Хозяин. То, что у вас найдется.

Трактирщица, даже не дав себе труда спуститься, крикнула из комнаты:

— Нанон, принесите фрукты, бисквиты, варенье...

При этих словах Жак сказал про себя: «Наверно, изуродовали ее дочь; тут, пожалуй, и не так еще рассвирепеешь...»

А Хозяин обратился к трактирщице:

— Вы только что были очень сердиты?

Трактирщица. А кто бы не рассердился? Бедное существо ничего им не сделало; не успела она войти в их комнаты, как я слышу визг — но какой визг!.. Слава богу! Я немножко успокоилась: лекарь полагает, что все обойдется; все же у нее два сильных ушиба: один — в голову, другой — в лопатку.

Хозяин. Давно ли она у вас?

Трактирщица. Не больше двух недель. Ее бросили на соседней почте.

Хозяин. Как — бросили?

Трактирщица. Ну да, бросили. Есть люди, которые бесчувственнее камня. Она чуть было не утонула, переплывая здешнюю речку; ее точно чудом к нам занесло, и я взяла ее из жалости.

Хозяин. Сколько ей лет?

Трактирщица. Вероятно, года полтора...

При этих словах Жак покатился со смеху:

— Это сучка!

Трактирщица. Прелестнейшее животное на свете: я не отдам своей Николь и за десять луидоров. Бедная Николь!

Хозяин. У вас нежное сердце, сударыня.

Трактирщица. Вы правы, я забочусь о своих домашних животных и о слугах.

Хозяин. Отлично делаете. Кто же те люди, которые так обошлись с Николь?

Трактирщица. Два хозяйчика из соседнего города. Они

не перестают шушукаться между собой и воображают, будто никто не знает, о чем они говорят и что с ними случилось. Нет и трех часов, как они здесь, а все их дело мне уже доподлинно известно. Оно очень забавно; если вы торопитесь спать не больше меня, то я расскажу вам эту историю так, как их слуга поведал ее моей служанке, своей землячке, а та сообщила моему мужу, который пересказал ее мне. Теща младшего из них проезжала здесь менее трех месяцев тому назад, против воли направляясь в провинциальный монастырь, где она протянула недолго; она вскоре умерла, и вот почему наши молодые люди в трауре... Но я и сама не заметила, как принялась за их историю. Прощайте, господа, доброй ночи! Хорошее у меня вино?

Хозяин. Отличное.

Трактирщица. Вы довольны ужином?

Хозяин. Очень довольны. Только шпинат был несколько пересолен.

Трактирщица. У меня иногда бывает тяжелая рука. Постели превосходные, и белье свежее: оно служит не больше двух раз.

С этими словами трактирщица удалилась, а Жак и его Хозяин легли в постель, смеясь над недоразумением, заставившим их принять сучку за дочь или служанку хозяйки, и над привязанностью этой особы к брошенной собачонке, находившейся у нее две недели. Жак сказал Хозяину, затягивая тесьму на его ночном колпаке:

— Бьюсь об заклад, что эта женщина предпочитает свою Николь всем прочим обитателям харчевни.

Хозяин ответил:

— Возможно, Жак; но давай спать.

Пока Жак и его Хозяин отдыхают, я выполню свое обещание и расскажу об арестанте, пиликавшем на виолончели, или, вернее, о его сотоварище — его милости Гуссе.

— Этот третий арестант,— сказал он мне,— служит управляющим в знатном доме. Он влюбился в пирожницу с Университетской улицы. Пирожник — простофиля, который больше следил за своей печкой, чем за поведением жены. Но если нашим любовникам не мешала ревность мужа, то мешало постоянное его присутствие. Что ж они сделали, чтобы преодолеть это препятствие? Управляющий подал своему вельможе жалобу, в которой выставлял пирожника человеком дурных нравов, пьяницей, не вылезающим из трактира, зверем, который колотит жену, честнейшую и несчастнейшую из женщин. На основании

этой жалобы он добился приказа об аресте мужа, и этот приказ, лишавший мужа свободы, был передан в руки полицейскому комиссару для немедленного приведения в исполнение. Случилось так, что полицейский комиссар был другом пирожника. Они иногда вместе захаживали к виноторговцу; пирожник приносил пирожки, а полицейский комиссар платил за бутылочку. И вот наш комиссар, захватив с собой приказ, проходит мимо дверей пирожника и делает ему условный знак. Они усаживаются за стол и запивают вином пирожки. Комиссар осведомляется у приятеля, как идет его торговля.

«Отлично».

«Не втянули ли тебя в какое-нибудь подозрительное дело?»

«Нет».

«А враги у тебя есть?»

«Не замечал».

«Ладно ли ты живешь со своими родными, с соседями, с женой?»

«Живу с ними в дружбе и в мире».

«Как же ко мне попал приказ о твоем аресте? — спросил полицейский.— Если б я намеревался исполнить свой долг, я схватил бы тебя за шиворот, приготовил бы здесь поблизости карету и отвез бы тебя в место, указанное в этом приказе. Ну-ка, прочти...»

Пирожник прочел и побледнел. Полицейский сказал ему:

«Успокойся, подумаем-ка лучше вместе, что нам предпринять для моей и твоей безопасности. Кто у тебя бывает?»

«Никого».

«Жена твоя кокетлива и красива».

«Я предоставляю ей полную волю».

«Кто-нибудь заглядывается на нее?»

«Как будто нет, если не считать одного управляющего, который иногда заходит, чтоб жать ей руки и молоть вздор; но все это делается в моей лавке, при мне, в присутствии подмастерьев, и я думаю, что между ними не происходит ничего, противного добродетели и чести».

«Ты простофиля?»

«Возможно; но удобнее считать свою жену порядочной женщиной, и я так и поступаю».

«А чей же это управитель?»

«Господина де Сен-Флорантена».

«А из чьей канцелярии, как ты думаешь, исходит приказ об аресте?»

«Вероятно, из канцелярии де Сен-Флорантена».

«Ты угадал».

«Как! Ест мои пирожки, обнимает мою жену и сажает меня под стражу! Это слишком гадкий поступок: не могу поверить».

«Ты простофиля! Как выглядит твоя жена в последние дни?»

«Скорее грустной, чем веселой».

«А управляющий был давно у тебя?»

«Кажется, вчера... Да, да, именно вчера».

«Ты ничего не заметил?»

«Я мало примечаю; но мне показалось, что, расставаясь, они делали друг другу знаки головой, как если бы один говорил «да», а другой — «нет».

«Чья же голова говорила «да»?»

«Управляющего».

«Либо они неповинны, либо они соучастники. Послушай, друг мой, не ходи домой, укройся в каком-нибудь надежном месте — в Тампле, в Аббатстве или где вздумаешь, и предоставь мне действовать; но только смотри...»

«Не показываться и молчать?»

«Вот именно».

В то же самое время шпионы сновали около дома пирожника. Сыщики, наряженные на все лады, обращаются к пирожнице и спрашивают, где ее муж; она отвечает одному, что он болен, другому — что он отправился на именины, третьему — что он на свадьбе, а когда вернется, она не знает.

На третий день к двум часам утра пришли предупредить полицейского комиссара, что какой-то человек, закутанный в плащ от самого носа, тихохонько отворил парадную дверь и так же тихо прокрался в дом пирожника. Тотчас же полицейский в сопровождении комиссара, слесаря, извозчичьей кареты и нескольких стражников отправляется к месту происшествия. Открывают отмычкой дверь; полицейский и комиссар без шума поднимаются по лестнице. Стучат в спальню пирожницы — никакого ответа. Стучат вторично — никакого ответа. На третий раз изнутри спрашивают:

«Кто там?»

«Откройте».

«Кто там?»

«Откройте! Именем короля».

«Хорошо,— говорит управляющий пирожнице, с которой лежал в постели.— Опасности нет: это полицейский пришел выполнить приказ об аресте. Открой, я назовусь, он уйдет, и все будет кончено».

Пирожница в одной рубашке отпирает дверь и снова ложится в постель.

Полицейский: «Где ваш муж?»

Пирожница: «Его нет дома».

Полицейский *(раздвигая полог)*: «А кто же это здесь?»

Управитель: «Это я, управляющий господина де Сен-Флорантена».

Полицейский: «Вы лжете! Вы пирожник, ибо тот, кто спит с пирожницей,— это и есть пирожник. Вставайте, одевайтесь и следуйте за мной!»

Пришлось повиноваться: его привели сюда. Министр, узнав о проделке управляющего, одобрил поступок полицейского, который должен прийти за ним сегодня в сумерки, чтобы из этой тюрьмы препроводить его в Бисетр, где благодаря экономии наших администраторов он будет получать свою порцию хлеба, унцию говядины и сможет пиликать на виолончели с утра до вечера...

А что, если и мне тоже приложить голову к подушке в ожидании, когда Жак и его Хозяин проснутся? Как вы полагаете?

На другой день Жак поднялся на рассвете, высунул в окно голову, чтоб узнать, какая погода, убедился, что она отвратительная, снова улегся и предоставил своему Хозяину и мне спать, сколько душе угодно.

Жак, его Хозяин и прочие путешественники, остановившиеся в том же доме, надеялись, что к полудню небо прояснится; но ничуть не бывало; и так как ручей, отделявший предместье от города, настолько надулся и разбух от дождя, что опасно было переправляться через него, то те, чей путь лежал в этом направлении, решили лучше потратить день и переждать. Одни принялись беседовать, другие — ходить взад и вперед, высовывать нос наружу, разглядывать небо и возвращаться обратно, ругаясь и топая ногами; некоторые разговаривали о политике и пили, многие забавлялись игрой, а остальные курили, спали и бездельничали. Хозяин сказал Жаку:

— Надеюсь, что Жак вернется к рассказу о своих любовных похождениях и что небо пожелает продержать меня здесь в дурную погоду достаточно долго, чтобы не лишить удовольствия дослушать их до конца.

Жак. Небо пожелает! Никогда не знаешь, чего оно желает и чего нет, да и само оно, быть может, этого не знает. Мой бедный капитан, которого уже нет на свете, повторял мне это сотни раз; и чем дольше я живу, тем больше признаю, что он прав... За вами дело, сударь!

Хозяин. Помню. Ты остановился на экипаже и лакее, которому лекарша разрешила отдернуть полог кровати и поговорить с тобой.

Жак. Лакей подошел к постели и сказал мне: «Ну, приятель, вставайте, одевайтесь и едем». Я ответил ему из-под одеяла, не видя его и не показываясь ему на глаза: «Не мешайте мне спать, приятель, и уезжайте».

Лакей возражает, что у него есть приказ от его хозяина, что он должен его исполнить.

«А ваш хозяин, распоряжающийся незнакомым ему человеком, распорядился ли уплатить то, что я здесь задолжал?»

«С этим уже покончено. Торопитесь: вас ждут в замке, и поверьте, вам будет там гораздо лучше, чем здесь, если только вы оправдаете возбужденное вами любопытство».

Я даю себя уговорить: встаю, одеваюсь, и меня ведут под руки. Я уже простился с лекаршей и собрался сесть в экипаж, когда эта женщина, подойдя ко мне, дернула меня за рукав и попросила отойти с ней в угол комнаты, чтобы сказать мне несколько слов.

«Вот что, друг мой,— заявила она,— вы, кажется, не можете на нас пожаловаться: доктор спас вам ногу, я хорошо ухаживала за вами, и я надеюсь, что вы не забудете о нас в замке».

«А что я могу для вас сделать?»

«Попросить, чтобы моего мужа пригласили вас перевязывать. Там куча народу. Это лучшая клиентура в округе. Сеньор — человек щедрый; он хорошо платит, и от вас зависит составить наше счастье. Муж несколько раз пытался туда проникнуть, но безуспешно».

«Разве в замке нет лекаря, госпожа докторша?»

«Конечно, есть».

«А будь этот лекарь вашим мужем, приятно ли было бы вам, если б ему повредили и выжили его оттуда?»

«Этому лекарю вы ничем не обязаны, а моему мужу, кажется, кое-чем обязаны: если вы, как раньше, ходите на обеих ногах, то это — его рук дело».

«А если ваш муж сделал мне добро, то я, по-вашему, должен сделать другому зло? Будь хотя бы это место свободным...»

Жак собрался продолжать, когда вошла трактирщица, держа на руках завернутую в пеленки Николь, целуя ее, жалея, лаская и причитая над ней, как над ребенком:

— Бедная моя Николь! Она всю ночь напролет провизжала. А вы, господа, хорошо спали?

Хозяин. Отлично.

Трактирщица. Тучи заволокли небо со всех сторон.

Хозяин. Очень досадно.

Трактирщица. Господа далеко едут?

Жак. Мы сами не знаем.

Трактирщица. Господа следуют за кем-нибудь?

Жак. Мы ни за кем не следуем.

Трактирщица. Господа едут или останавливаются в зависимости от дел, встречающихся им по дороге?

Жак. У нас нет никаких дел.

Трактирщица. Господа путешествуют для своего удовольствия?

Жак. Или для своего неудовольствия.

Трактирщица. Желаю вам первого.

Жак. Ваше желание не стоит выеденного яйца; будет то, что предначертано свыше.

Трактирщица. Ага! Значит, женитьба?

Жак. Быть может, да; быть может, нет.

Трактирщица. Будьте осторожны, господа. Тот человек, что находится внизу и что так зверски обошелся с моей бедной Николь, вступил в нелепейший брак... Дай, бедная собачонка, дай я тебя поцелую; и обещаю, что ничего подобного больше не случится. Видите, как она дрожит всем телом?

Хозяин. А что особенного в женитьбе этого человека?

На этот вопрос хозяйка отвечала:

— Там, внизу, какой-то шум; пойду сделаю распоряжения и вернусь, чтобы вам рассказать...

Муж ее, устав кричать: «Жена! Жена!» — поднимается наверх, не замечая, что за ним следует его кум. Трактирщик сказал жене:

— Какого черта ты здесь околачиваешься?

Затем, обернувшись, он заметил кума:

— Вы принесли мне денег?

Кум. Нет, куманек, вы отлично знаете, что у меня их нет.

Трактирщик. У вас нет? Я сумею смастерить их из вашего плуга, ваших лошадей, ваших быков и вашей кровати. Как, негодяй!

Кум. Я не негодяй.

Трактирщик. А кто же ты? Ты нуждаешься, не знаешь, чем засеять поле; твой помещик, которому надоело тебе одалживать, не хочет больше ничего давать. Ты приходишь ко мне; эта женщина за тебя вступается; проклятая болтушка, причина всех совершенных мною в жизни глупостей, уговари-

вает меня ссудить тебя; я даю тебе в долг; ты обещаешь вернуть и десять раз увиливаешь. Но будь покоен, я канителить не стану. Вон отсюда!

Жак и его Хозяин собрались было походатайствовать за беднягу, но трактирщица, приложив палец к губам, подала им знак, чтоб они молчали.

Трактирщик. Вон отсюда!

Кум. Все, что вы сказали, куманек, сущая правда; но правда также и то, что судебные приставы сейчас находятся у меня и что через несколько минут мы будем доведены до нищенской сумы — моя дочь, сын и я.

Трактирщик. Этой участи ты и заслуживаешь. Зачем ты приходил сегодня утром? Я бросаю доливку бочек, выхожу из погреба, а тебя нет. Вон отсюда, говорю тебе!

Кум. Да, я заходил, кум; но побоялся плохого приема, повернул назад и сейчас тоже ухожу.

Трактирщик. И хорошо сделаешь.

Кум. А теперь бедная моя Маргарита, такая благоразумная, такая хорошенькая, пойдет в Париж в услужение.

Трактирщик. В Париж, в услужение! Ты хочешь сделать из нее шлюху?

Кум. Не я хочу, а тот жестокий человек, который со мной говорит.

Трактирщик. Я — жестокий человек? Ничего подобного: никогда им не был, ты это отлично знаешь...

Кум. Я больше не в состоянии прокормить ни дочь, ни сына: дочь пойдет в услужение, а сын в солдаты.

Трактирщик. И я буду тому причиной? Ни под каким видом! Ты злой человек; пока я жив, ты будешь моим мучением. Ну, сколько тебе надо?

Кум. Ничего мне не надо. Я в отчаянии оттого, что вам должен, но отныне этого больше не будет. Своими оскорблениями вы причиняете больше зла, чем делаете добра услугами. Будь у меня деньги, я швырнул бы их вам в лицо; но у меня нет ни гроша. Моя дочь станет тем, чем богу угодно; мальчик даст себя убить, если так нужно; я буду просить милостыню, но не у ваших дверей. Нет, нет, никаких больше обязательств по отношению к такому нехорошему человеку, как вы. Выручайте деньги за моих волов, лошадей и орудия; подавитесь ими! Вы родились, чтобы плодить неблагодарных, а я не хочу им быть. Прощайте!

Трактирщик. Жена, он уходит! Удержи его.

Трактирщица. Ну, куманек, обсудим, как вам можно помочь.

К у м. Мне не нужна такая помощь, она слишком дорого обходится...

Трактирщик шепотом повторяет жене: «Да не пускай же его, удержи! Дочь в Париж! Сына в армию! Сам он на паперти! Не допущу!»

Тем временем жена прилагала тщетные усилия: крестьянин был человек с гонором, не хотел ничего понимать и всячески упирался. Трактирщик со слезами на глазах взывал к Жаку и его Хозяину, повторяя:

— Господа, постарайтесь его урезонить...

Жак с Хозяином вмешались в это дело; все одновременно умоляли крестьянина. Я никогда не видел человека...— Вы никогда не видели! Да вас там и не было! Скажите лучше: никто никогда не видел.— Пусть так. Никто не видел человека более огорченного отказом и более обрадованного согласием взять от него деньги, чем этот трактирщик; он обнимал жену, обнимал кума, обнимал Жака и его Хозяина, восклицая:

— Пусть поскорее сбегают к нему и прогонят этих ужасных приставов.

К у м. Согласитесь все же...

Т р а к т и р щ и к. Соглашаюсь с тем, что я все порчу. Но что ты хочешь, кум? Уж я такой, какой есть. Природа сделала меня самым жестоким и самым нежным человеком; я не умею ни соглашаться, ни отказывать.

К у м. Не могли ли бы вы стать другим?

Т р а к т и р щ и к. Я уже в таком возрасте, когда не исправляются; но если бы те, кто обратился ко мне первыми, распекли меня так, как ты, я, вероятно, стал бы лучше. Благодарю тебя, кум, за урок; может статься, он пойдет мне на пользу... Жена, спустись поскорее вниз и дай ему все, что нужно. Поторопись и не заставляй его ждать; можешь потом вернуться к этим господам, с которыми ты, кажется, отлично спелась...

Жена и кум сошли вниз, трактирщик постоял еще минутку; когда он удалился, Жак сказал Хозяину:

— Вот странный человек! Небо наслало эту дурную погоду и задержало нас здесь, так как ему было угодно, чтобы вы выслушали мои любовные похождения; но что же теперь ему угодно?

Хозяин, зевая и постукивая по табакерке, растянулся в кресле и ответил:

— Жак, нам предстоит еще не один день прожить вместе, если только...

Ж а к. Словом, небу угодно, чтоб я сегодня молчал, а го-

ворила трактирщица; это — болтунья, которой ничего лучшего и не надо; пускай же говорит.

Хозяин. Ты сердишься?

Жак. Дело в том, что я тоже люблю поговорить.

Хозяин. Твой черед придет.

Жак. Или не придет.

Понимаю тебя, читатель «Вот,— говоришь ты,— настоящая развязка для «Ворчуна-благодетеля»! Согласен с тобой. Будь я автором этой пьесы, я ввел бы в нее персонаж, который приняли бы за эпизодический, но который бы им не был. Этот персонаж появлялся бы несколько раз, и присутствие его было бы оправдано. Сперва он явился бы, чтобы просить пощады; но боязнь плохого приема заставила бы его удалиться до возвращения Жеронта. Побуждаемый вторжением судебных приставов в его жилище, он набрался бы храбрости и вторично отправился бы к Жеронту; но тот бы отказался его принять. Наконец я вывел бы его в развязке, где он сыграл бы точно такую же роль, как крестьянин у трактирщика; у него тоже была бы дочка, которую он собирался бы пристроить у торговки дамскими нарядами, и был бы сын, которого он взял бы из школы, чтоб отдать в услужение, а сам бы он тоже решил просить милостыню до тех пор, пока ему не станет противна жизнь. Публика увидела бы ворчливого благодетеля у ног этого человека; его распекли бы по заслугам; он был бы принужден обратиться к окружающей его семье, чтоб умилостивить своего должника и заставить его снова принять помощь. Ворчливый благодетель был бы наказан; он обещал бы исправиться, но в последнюю минуту снова вернулся бы к своему обычаю, рассердившись на действующих лиц, которые любезно уступали бы друг другу дорогу при входе в дом; он крикнул бы им резко: «Черт бы побрал церемо...» — но тут же остановился бы на полуслове, сказав своим племянницам: «Ну-с, племянницы, подайте мне руку и войдем».— А дабы связать этот персонаж со всем сюжетом, вы сделали бы его ставленником Жеронтова племянника? — Отлично.— И дядя одолжил бы деньги по просьбе этого племянника? — Превосходно.— И это послужило бы причиной, почему дядя разгневался на племянника? — Именно так.— А развязка этой пьесы не была ли бы публичным повторением в присутствии всей семьи того, что каждый из них перед тем делал в отдельности? — Вы угадали.— Если я встречу когда-нибудь Гольдони, то расскажу ему сцену в харчевне.— И хорошо сде-

лаете; он такой искусник, что лучше не надо, и воспользуется этим как следует.

Трактирщица вернулась, продолжая держать в руках Николь, и сказала:

— Надеюсь, что у вас будет хороший обед; только что пришел браконьер; стражник сеньора не замедлит...

С этими словами она взяла стул. И вот она садится и принимается за рассказ.

Трактирщица. Слуг надо бояться: у хозяев нет худших врагов...

Жак. Сударыня, вы не знаете, что говорите; есть хорошие слуги и есть плохие; и, может быть, хороших слуг больше, чем хороших хозяев.

Хозяин. Жак, ты несдержан и допускаешь точно такую же нескромность, как та, которая тебя возмутила.

Жак. Но ведь хозяева...

Хозяин. Но ведь слуги...

Ну-с, читатель, почему бы мне не затеять сильнейшей ссоры между этими тремя лицами? Почему бы Жаку не взять хозяйку за плечи и не вышвырнуть ее из комнаты? Почему бы хозяйке не взять Жака за плечи и не выставить его вон? И почему бы мне не сделать так, чтоб вы не услыхали ни истории хозяйки, ни истории любовных похождений Жака? Но успокойтесь, этого не случится. И потому трактирщица продолжала:

— Надо признать, что если есть немало злых мужчин, то есть также много злых женщин.

Жак. И незачем далеко ходить, чтоб их найти.

Трактирщица. Как вы смеете вмешиваться! Я — женщина и могу говорить о женщинах, что желаю; мне не нужно вашего одобрения.

Жак. Мое одобрение не хуже всякого другого.

Трактирщица. У вас, сударь, есть слуга, который корчит из себя умника и не оказывает вам должного почтения. У меня тоже есть слуги, и пусть бы кто-нибудь из них только посмел...

Хозяин. Жак, замолчите и не мешайте хозяйке рассказывать.

Трактирщица, ободренная этими словами, встает, накидывается на Жака, подбоченивается, забывает, что держит на руках Николь, роняет ее, и вот Николь, ушибленная и барахтающаяся в пеленках, лает на полу во всю мочь, а трактирщица присоединяет свои крики к лаю Николь, Жак присоединяет свои взрывы хохота к лаю Николь и к крикам трактирщицы, а

Хозяин Жака открывает табакерку, берет понюшку и не может удержаться от смеха. На постоялом дворе полный переполох.

— Нанон, Нанон, скорей, скорей, принесите бутылку с водкой!.. Бедная Николь умерла... Распеленайте ее... Какая вы неловкая!

— Лучше не умею.

— Как она визжит! Оставьте меня, пустите... Она умерла... Смейся, балбес! Есть действительно чему смеяться!.. Моя бедная Николь умерла!

— Нет, сударыня, нет. Она поправится; вот уже шевелится...

Нанон пришлось тереть водкой нос собаки и вливать ей в пасть этот напиток; хозяйка стенала и распекала наглых лакеев, а служанка говорила:

— Взгляните, сударыня: она открыла глаза; вот уже на вас смотрит.

— Бедное животное — ну, просто говорит! Кто тут не расчувствуется!

— Да приласкайте же ее, сударыня, хоть немножко; ответьте ей что-нибудь.

— Поди сюда, бедная Николь! Скули, дитя мое, скули, если тебе от этого легче. Как у людей, так и у животных своя судьба; она шлет радость сварливому, крикливому, обжорливому тунеядцу и горе какому-нибудь достойнейшему на свете существу.

— Хозяйка права, на свете нет справедливости.

— Молчите! Спеленайте ее снова, уложите под мою подушку и помните, что при малейшем ее визге я примусь за вас. Поди сюда, бедный зверек, я поцелую тебя еще разок, прежде чем тебя унесут. Да поднеси же ее ближе, дура ты этакая!.. Собаки такие добрые; они лучше...

Жак. ...Отца, матери, братьев, сестер, детей, слуг, мужа...

Трактирщица. Ну да; не смейтесь, пожалуйста. Они невинны, они верны, они никогда не причиняют нам зла, тогда как все прочие...

Жак. Да здравствуют собаки! Нет в мире ничего более совершенного.

Трактирщица. Если есть что-нибудь более совершенное, то уж, во всяком случае, это не человек. Хотела бы я, чтобы вы видели пса нашего мельника; это кавалер моей Николь. Среди вас нет никого, сколько бы вас ни было, кого бы он не оконфузил. Чуть рассветет, как он уже тут: пришел за целую милю. Становится за окном, и начинаются вздохи — такие вздохи, что

жалость берет. Какая бы ни была погода, он тут; дождь струится по его телу; лапы вязнут в песке, уши и кончик носа едва видны. Разве вы способны на нечто подобное даже ради самой любимой женщины?

Хозяин. Это очень галантно.

Жак. А с другой стороны, где женщина, достойная такого поклонения, как ваша Николь?

Но страсть к животным не являлась, как можно было бы подумать, главной страстью хозяйки; главной ее страстью была страсть к болтовне. Чем охотнее и терпеливее вы ее слушали, тем больше достоинств она вам приписывала, а потому она не заставила себя дважды просить, чтобы возобновить прерванный рассказ об удивительном браке; единственным ее условием было — чтобы Жак хранил молчание. Хозяин поручился за своего слугу. Слуга этот небрежно развалился в уголке, закрыл глаза, нахлобучил шапку на самые уши и наполовину повернулся спиной к трактирщице. Хозяин кашлянул, сплюнул, высморкался, вынул часы, посмотрел время, вытащил табакерку, щелкнул по крышке, взял понюшку, а хозяйка приготовилась вкусить сладостное удовольствие многоглаголания.

Она собралась было начать, как вдруг услыхала вой собачонки.

— Нанон, присмотрите за этим бедным зверьком... Я так взволнована, что не помню, на чем остановилась.

Жак. Да вы еще не начинали.

Трактирщица. Те двое мужчин, с которыми я бранилась из-за своей несчастной Николь, когда вы приехали, сударь...

Жак. Говорите: господа.

Трактирщица. Почему?

Жак. Потому что нас до сих пор так величали, и я к этому привык. Мой Хозяин зовет меня Жак, а прочие — господин Жак.

Трактирщица. Я не называю вас ни Жаком, ни господином Жаком, я с вами не разговариваю... («Сударыня!» — «Что тебе?» — «Счет пятого номера».— «Посмотри на камине».) Эти двое мужчин — дворяне; они едут из Парижа и направляются в поместье старшего.

Жак. Откуда это известно?

Трактирщица. Они сами сказали.

Жак. Хорошее доказательство!

Хозяин сделал знак трактирщице, из которого она поняла, что у Жака в голове не все в порядке. Она ответила Хозяину сочувственным пожатием плеч и добавила:

— В его возрасте! Это печально.

Жак. Печально никогда не знать, куда едешь.

Трактирщица. Старшего зовут маркизом Дезарси. Он был охотником до развлечений, человеком весьма галантным и не верившим в женскую добродетель.

Жак. Он был прав.

Трактирщица. Господин Жак, не перебивайте меня.

Жак. Госпожа хозяйка «Большого оленя», я с вами не разговариваю.

Трактирщица. Тем не менее господин маркиз натолкнулся на особу весьма своеобычную, которая оказала ему сопротивление. Ее звали госпожа де Ла Помере. Она была женщиной нравственной, родовитой, состоятельной и высокомерной. Господин Дезарси порвал со всеми своими знакомыми, общался только с госпожой де Ла Помере; он ухаживал за ней с величайшим усердием, стараясь всякими жертвами доказать ей свою любовь, и предлагал ей даже руку; но эта женщина была так несчастна с первым своим мужем, что... («Сударыня!» — «Что тебе?» — «Ключ от ящика с овсом».— «Посмотри на гвоздике, а если нет, то не торчит ли он в ящике».) ...что предпочла бы подвергнуться любым неприятностям, только лишь не опасностям второго брака.

Жак. Значит, так было предначертано свыше.

Трактирщица. Госпожа де Ла Помере жила очень уединенно. Маркиз был старым другом ее мужа; он бывал у нее раньше, и она продолжала его принимать. Если не считать его склонности к волокитству, то он был, что называется, человеком чести. Настойчивые преследования маркиза, подкрепленные его личными достоинствами, молодостью, приятной внешностью, проявлениями самой искренней страсти, одиночеством, потребностью ласки, словом — всем тем, что заставляет нас поддаться обольщению мужчины... («Сударыня!» — «Что тебе?» — «Почтарь пришел».— «Отведи в зеленую комнату и угости, как всегда».) ...возымели свое действие. Оказав против своей воли сопротивление маркизу в течение нескольких месяцев, потребовав от него, согласно обычаю, самых торжественных клятв, госпожа де Ла Помере осчастливила поклонника, и он наслаждался бы сладчайшей участью, если бы сумел сохранить чувства, в которых клялся своей возлюбленной и которые она питала к нему. Да, сударь, любить умеют одни только женщины; мужчины ничего в этом не смыслят... («Сударыня!» — «Что тебе?» — «Монах за подаянием».— «Дай ему двенадцать су за этих господ, шесть за меня, и пусть обойдет остальные номе-

ра».) После нескольких лет совместной жизни госпожа де Ла Помере показалась маркизу чересчур однообразной. Он предложил ей бывать в обществе, она согласилась; он предложил ей принимать у себя некоторых дам и кавалеров, и она согласилась; он предложил ей устраивать парадные обеды, и она согласилась. Мало-помалу он стал пропускать день-другой, не заглядывая к ней, мало-помалу он перестал являться на парадные обеды, которые сам устраивал, мало-помалу он сократил свои посещения; у него появились неотложные дела; приходя к своей даме, он бросал вскользь какое-нибудь слово, разваливался в кресле, брал брошюру, отбрасывал ее, разговаривал со своей собакой или дремал. По вечерам же его расстроенное здоровье требовало, чтоб он уходил пораньше: так предписал Троншен. «Великий человек этот Троншен, честное слово! Не сомневаюсь, что он спасет нашу приятельницу, от которой остальные врачи отказались». С этими словами он брал трость и шляпу и уходил, иногда забыв поцеловать свою избранницу. («Сударыня!» — «Что тебе?» — «Пришел бочар».— «Пусть спустится в погреб и осмотрит винные бочки».) Госпожа де Ла Помере догадывалась, что ее не любят; необходимо было удостовериться, и вот как она за это взялась... («Сударыня!» — «Иду, иду».)

Трактирщица, которой надоели эти помехи, сошла вниз и, по-видимому, приняла меры, чтоб положить им конец.

Трактирщица. Однажды после обеда она сказала маркизу:

«Друг мой, вы мечтаете».

«И вы тоже, маркиза».

«Да, и мечты мои довольно печальны».

«Что с вами?»

«Ничего».

«Неправда. Расскажите же мне, маркиза,— добавил он, зевая,— это развлечет и вас и меня».

«Разве вам скучно?..»

«Нет; но бывают дни...»

«Когда скучаешь».

«Ошибаетесь, друг мой; клянусь, вы ошибаетесь; но действительно бывают дни... Сам не знаю, отчего это происходит».

«Друг мой, я уже давно собираюсь поговорить с вами откровенно, но боюсь вас огорчить».

«Что вы! Разве вы можете меня огорчить?»

«Может быть, и могу; но это не моя вина, и небо тому свидетель...» («Сударыня!.. Сударыня! Сударыня!» — «Но я же запретила звать меня ради кого бы то ни было или чего бы то ни

было; позови мужа».— «Он ушел».) Не взыщите, господа, я сейчас вернусь.

Хозяйка сходит вниз, возвращается обратно и продолжает свой рассказ:

— «...Случилось это без моего согласия, без моего ведома, благодаря проклятью, тяготеющему, по-видимому, над всем родом человеческим, ибо даже я, даже я не убереглась от него».

«Ах, это исходит от вас... Чего же мне бояться!.. О чем идет речь?..»

«Маркиз, речь идет... Я в отчаянии; я приведу вас в отчаяние, и, учтя все это, может быть, будет лучше, если я ничего не скажу».

«Нет, друг мой, говорите; неужели вы скроете от меня что-либо в глубине своего сердца? Ведь первое условие нашего соглашения заключалось в том, чтобы моя и ваша души были до конца открыты друг перед другом».

«Да, это так, и вот что особенно меня тяготит: ваш упрек восполняет тот гораздо более серьезный упрек, который я делаю самой себе. Неужели вы не заметили, что я уже не так весела, как прежде? Я потеряла аппетит; я пью и ем только потому, что этого требует рассудок; сон меня покинул. Наши самые интимные встречи перестали меня радовать. По ночам я спрашиваю себя и говорю: разве он стал менее обходителен? Нет. Разве вы можете упрекнуть его в каких-нибудь подозрительных связях? Нет. Разве его любовь к вам ослабела? Нет. Но раз ваш друг остался таким, каким был, то почему же изменилось ваше сердце? Но ведь это так, вы не можете скрыть этого от себя: вы дожидаетесь его уже не с таким нетерпением, и вы уже не так радуетесь его приезду. Где беспокойство, когда он, бывало, запоздает? Где сладостное волнение при грохоте его экипажа, или когда о его приезде докладывали, или когда он появлялся? Вы его больше не испытываете».

«Как, сударыня?».

Тогда маркиза де Ла Помере закрыла глаза руками, склонила голову и умолкла на некоторое время, а затем продолжала:

«Маркиз, я ожидала вашего удивления и всех тех горьких слов, которые вы мне скажете. Пощадите меня, маркиз... Нет, не щадите, скажите их мне: я выслушаю их с покорностью, ибо я их заслужила. Да, дорогой маркиз, это правда... Да, я... Но разве не достаточно большое несчастье то, что это случилось, и стоит ли, скрывая его, прибавлять к нему позорную и низкую ложь? Вы остались таким же, а ваша подруга переменилась; ваша подруга уважает вас, почитает вас так же и даже больше,

чем прежде; но... но женщина, привыкшая, как она, изучать переживания глубочайших тайников своей души и ни в чем себя не обманывать, не может скрыть от себя, что любовь оттуда ушла. Это открытие ужасно, но тем не менее соответствует действительности. Маркиза де Ла Помере, я, я оказалась непостоянной! Легкомысленной!.. Маркиз, приходите в бешенство, ищите самых отвратительных названий — я уже заранее назвала себя ими; называйте и вы меня, я готова принять их все... все, кроме названия лживой женщины, от которого, надеюсь, вы меня избавите, ибо я поистине никогда таковой не была...» («Жена!» — «Что тебе?» — «Ничего».— «В этом доме не имеешь ни минуты покоя, даже в такие дни, когда почти нет народу и может показаться, что нечего делать. Очень плохо быть трактирщицей, да еще с таким олухом мужем!») С этими словами госпожа де Ла Помере откинулась в кресле и заплакала. Маркиз упал перед ней на колени и воскликнул:

«Вы очаровательная женщина, восхитительная женщина, и второй такой нет на свете! Ваша прямота, ваша честность привели меня в смущение, и я должен был бы умереть от стыда. Ах! Какое преимущество надо мной дает вам эта честность! Какой великой вы являетесь в моих глазах и каким ничтожным кажусь я себе! Вы заговорили первой, но первым провинился я. Друг мой, ваша искренность побуждает меня к тому же; я был бы чудовищем, если б она меня не побуждала, и признаюсь вам, что история вашего сердца — это слово в слово история моего собственного. Все, что вы себе говорили, я тоже себе говорил; но я молчал, я страдал и не знаю, когда бы у меня хватило духу сказать вам».

«Да так ли это, друг мой?»

«Без всякого сомнения. И нам остается только взаимно поздравить друг друга: мы одновременно избавились от того хрупкого и обманчивого чувства, которое нас соединяло».

«Правда; какое это было бы ужасное несчастье, если б моя любовь продолжалась, в то время как ваша уже остыла!»

«Или если бы она умерла во мне раньше».

«Вы правы, я это чувствую».

«Никогда вы не казались мне такой привлекательной, такой прелестной, как в эту минуту, и если бы прошлый опыт не приучил меня к осмотрительности, я подумал бы, что люблю вас больше, чем когда-либо».

С этими словами маркиз взял ее руки и стал целовать их... («Жена!» — «Что тебе?» — «Пришел торговец сеном».— «Посмотри в счетную книгу».— «А где книга?.. Сиди, сиди,— на-

шел».) Скрыв смертельную досаду, разрывавшую ее сердце, госпожа де Ла Помере обратилась к маркизу:

«Как же мы поступим, маркиз?»

«Мы не обманывали друг друга; вы имеете право на полное мое уважение, а я, думается мне, не окончательно еще потерял право на ваше; мы будем видеться по-прежнему и наслаждаться доверчивостью нежнейшей дружбы. Это избавит нас от всяких неприятностей, от всяких мелких обманов, всяких упреков, всяких дрязг, обычно сопутствующих умирающей любви; мы будем бывать в свете; я стану поверенным ваших побед и не скрою от вас своих, если мне случится одержать таковые, в чем, впрочем, я весьма сомневаюсь, ибо вы сделали меня требовательным. Это будет прелестно! Вы поможете мне советами, я не откажу вам в своих, если произойдут какие-либо угрожающие обстоятельства, при которых они могут вам понадобиться. Кто знает, что может случиться?..»

Жак. Никто.

Трактирщица. «...Вероятнее всего, чем дальше я зайду в своих приключениях, тем больше вы выиграете от сравнения, и я вернусь более влюбленным, более нежным, более убежденным, нежели когда-либо в том, что госпожа де Ла Помере была единственной женщиной, созданной для моего счастья; а после этого возвращения можно биться о заклад, что я останусь при вас до конца своей жизни».

«А если случится, что по вашем возвращении вы меня больше не застанете? Ведь человек, маркиз, не всегда бывает справедлив; нет ничего невозможного в том, что я почувствую склонность, каприз, даже страсть к кому-нибудь, кто не стоит вас».

«Я, безусловно, буду в отчаянии, но не посмею жаловаться. Я буду винить судьбу, разлучившую нас, когда мы были соединены, и сблизившую, когда мы уже не сможем сблизиться...»

После этой беседы они принялись рассуждать о непостоянстве человеческого сердца, о непрочности клятв, об узах брака... («Сударыня!» — «Что тебе?» — «Дорожная карета».)

— Господа,— сказала хозяйка,—я должна вас покинуть. Сегодня вечером, справившись со всеми делами, я вернусь и докончу рассказ об этом происшествии, если вам любопытно будет послушать... («Сударыня!..», «Жена!», «Хозяйка!..» — «Иду, иду».)

После ухода трактирщицы Хозяин сказал своему слуге:

— Жак, заметил ли ты одно обстоятельство?

Жак. Какое именно?

Хозяин. А то, что эта женщина рассказывает гораздо более складно, чем можно ждать от хозяйки постоялого двора.

Жак. Действительно, так! Постоянные помехи со стороны домочадцев выводили меня из терпения.

Хозяин. И меня тоже.

А ты, читатель, говори без притворства,— ибо мы находимся в разгаре полной откровенности,— не желаешь ли ты бросить эту изысканную и многословную болтунью хозяйку и вернуться к любовным похождениям Жака? Я лично не стою ни за то, ни за другое. Когда эта женщина возвратится, болтун Жак охотно вернется к своей роли и захлопнет дверь у нее под носом; он только скажет ей в замочную скважину: «Покойной ночи, сударыня, Хозяин спит, я тоже ложусь: придется отложить конец истории до нашего следующего приезда».

«Первая взаимная клятва двух человеческих существ была дана у подножия скалы, рассыпавшейся в пыль; в свидетели своего постоянства они призвали небо, которое ни минуты не бывает одинаковым; все и в них, и вокруг них было преходяще, а они верили, что их сердца не подвержены переменам. О дети! Вечные дети!..» Не знаю, чьи эти рассуждения: Жака ли, его Хозяина или мои; несомненно, что они принадлежат кому-нибудь из нас троих и что им предшествовали и за ними последовали многие другие, которые заняли бы нас, то есть Жака, его Хозяина и меня до ужина, до вечера, до возвращения трактирщицы, если б Жак не сказал своему Хозяину:

— Знаете, сударь, все великие сентенции, приведенные вами только что ни к селу ни к городу, не стоят старой басни, которую рассказывают на посиделках в нашей деревне.

Хозяин. А что это за басня?

Жак. Это басня о Ноже и Ножнах. Однажды Нож и Ножны повздорили; Нож и говорит Ножнам: «Ножны, подруга моя, вы — негодяйка, так как каждый день принимаете новые Ножи...» Ножны ответили Ножу: «Друг мой Нож, вы — негодяй, так как каждый день меняете Ножны...» — «Не то вы мне обещали, Ножны...» — «Нож, вы первый меня обманули...» Спор этот происходил за столом; тот, кто сидел между ними, обратился к ним и сказал: «И вы, Нож, и вы, Ножны, хорошо поступили, изменив друг другу, ибо вам хотелось изменить; но вы были неправы, обещая не изменять. Разве вы не видите, Нож, что господь создал вас для многих Ножен, а вас, Ножны, для многих Ножей? Вы считали безумцами те Ножи, которые клялись совершенно отказаться от Ножен, и те Ножны, которые давали обет обойтись без Ножей; и вы не подумали о том, что вы, Ножны, были почти столь же безумны, обещая ограничиться одним Ножом, а вы, Нож,— обещая ограничиться одними Ножнами».

Тут Хозяин сказал Жаку:

— Твоя басня не слишком нравственная, но зато веселая. Знаешь, какая странная мысль пришла мне в голову? Я женю тебя на нашей трактирщице; и я думаю о том, как поступил бы муж, любящий поговорить, при жене, которая только и делает это самое.

Жак. Он поступил бы так же, как я делал в первые двенадцать лет своей жизни, когда жил у дедушки и бабушки.

Хозяин. Как их звали? Чем они занимались?

Жак. Они были старьевщиками. У моего деда Язона было несколько детей. Вся семья состояла из людей серьезных: они вставали, одевались, шли по своим делам; возвращались, обедали и отправлялись назад, не проронив ни слова. Вечером они усаживались на стулья: мать и дочери ткали, шили, вязали, не проронив ни слова; сыновья отдыхали; отец читал Ветхий завет.

Хозяин. А ты что делал?

Жак. Я бегал по комнате с кляпом во рту.

Хозяин. Как — с кляпом?

Жак. Да, с кляпом; и этому проклятому кляпу я обязан страстью к болтовне. Иногда проходила целая неделя, и никто в доме Язона не открывал рта. В течение своей жизни — а жизнь ее была долгой — бабушка не сказала ничего, кроме: «Продается шляпа», а дедушка, который ходил на аукционах выпрямившись, заложив руки под сюртук,— ничего, кроме: «Одно су». Бывали дни, когда он чуть было не переставал верить в Библию.

Хозяин. Почему?

Жак. Из-за повторений, которые он считал суесловием, недостойным святого духа. Он говорил, что повторяющие одно и то же — глупцы, которые считают, что их слушатели тоже глупцы.

Хозяин. Жак, не хочешь ли ты искупить долгое молчание, которое из-за кляпа хранил в течение двенадцати лет у твоего дедушки, а также пока рассказывала хозяйка, и...

Жак. Вернуться к истории моих любовных приключений?

Хозяин. Нет, к той, на которой ты меня покинул: о приятеле твоего капитана.

Жак. Ах, сударь, какая у вас жестокая память!

Хозяин. Жак, мой миленький Жак!..

Жак. Чему вы смеетесь?

Хозяин. Тому, чему буду смеяться еще не раз: как ты в детстве бегал у своего дедушки с кляпом во рту.

Жак. Бабушка вынимала его, когда никого не было, и если

дедушка это замечал, то бывал недоволен и говорил: «Продолжайте в том же духе, и этот малый станет величайшим болтуном, какой когда-либо был на свете». Его предсказание сбылось.

Хозяин. Ну, Жак, мой миленький Жак,— историю приятеля твоего капитана!

Жак. Я не отказываюсь; но вы не поверите.

Хозяин. Разве она такая уж странная?

Жак. Нет, но она уже однажды случилась с другим — с французским военным, которого, кажется, звали господином де Герши.

Хозяин. Ну что ж, я скажу, как тот французский поэт, который сочинил довольно удачную эпиграмму и заявил другому, приписавшему ее себе в его присутствии: «Почему бы, сударь, вам ее и не сочинить? Ведь я же ее сочинил...» Почему бы приключению, рассказанному Жаком, и не случиться с приятелем его капитана, раз оно случилось с французским военным де Герши. Но, рассказывая о нем, ты разом убьешь двух зайцев, ибо передашь мне историю и того и другого, которой я не знаю.

Жак. Тем лучше! Но поклянитесь, что это так.

Хозяин. Клянусь.

Читатель, мне очень бы хотелось потребовать и от тебя такой же клятвы; но я только обращу твое внимание на одну странность в характере Жака, видимо унаследованную им от своего дедушки Язона, молчаливого старьевщика; а именно, Жак хоть и любил поговорить, но, в противность болтунам, не выносил повторений. А потому он не раз говаривал своему Хозяину:

— Сударь, вы готовите мне печальное будущее; что станет со мной, когда мне нечего будет больше сказать?

— Ты будешь повторять.

— Чтоб Жак стал повторять! Свыше предначертано противное, и если б мне когда-либо случилось повториться, я не удержался бы, чтоб не воскликнуть: «Ах, если бы дедушка тебя услыхал!..» — и пожалел бы о кляпе.

Жак. В те времена, когда играли в азартные игры на Сен-Жерменской и Лаврентьевской ярмарках...

Хозяин. Да ведь эти ярмарки в Париже, а приятель твоего капитана был комендантом пограничной крепости.

Жак. Ради бога, сударь, не мешайте мне рассказывать... Несколько офицеров вошли в лавку и застали там другого офицера, беседовавшего с хозяйкой. Один из вошедших предложил

ему сыграть в пас-дис; а надобно вам знать, что после смерти моего капитана его приятель, став богачом, стал также и игроком. Итак, приятель моего капитана (или господин де Герши) соглашается. Судьба присуждает стаканчик противнику, который выигрывает, выигрывает, выигрывает, так что конца не видно. Игра разгорелась, играли уже на квит, квит на квит, на меньшую часть, на большую часть, на полный квит, на полный квит на квит, когда одному из присутствовавших вздумалось сказать господину де Герши (или приятелю моего капитана), что ему следовало бы остановиться и прекратить игру, так как есть люди более ловкие, чем он. Услыхав это замечание, которое было всего лишь шуткой, приятель капитана (или господин де Герши) решил, что имеет дело с мошенником; он сразу полез в карман, вытащил преострый нож, и когда его противник положил руку на кости, чтобы бросить их в стаканчик, он вонзил ему нож в руку и, пригвоздив ее к столу, сказал: «Если кости фальшивые, то вы — шулер; а если они правильные, то я виноват...» Кости оказались правильными. Господин де Герши заявил: «Очень сожалею и предлагаю любую сатисфакцию...» Но приятель моего капитана отнесся к делу иначе; он сказал: «Я потерял свои деньги; я пронзил руку порядочного человека; но в качестве компенсации я снова приобрел приятное право драться, сколько душе угодно...» Пригвожденный офицер удаляется и идет перевязывать рану. Выздоровев, он отыскивает пригвоздившего его офицера и требует от него удовлетворения; тот (или господин де Герши) находит требование справедливым. Приятель моего капитана обнимает его за шею и говорит: «Я ждал вас с невыразимым нетерпением...» Они отправляются на место поединка. Пригвоздивший, то есть господин де Герши (или приятель моего капитана) падает, пронзенный насквозь шпагой противника; пригвожденный поднимает его, велит отнести домой и говорит: «Государь мой, мы еще увидимся...» Господин де Герши не ответил; приятель же моего капитана сказал: «Государь мой, я на это рассчитываю». Они дрались во второй, в третий и до восьми или десяти раз, и пригвоздивший постоянно оставался на месте поединка. Оба они были выдающимися офицерами, оба — достойными людьми; их дуэль наделала много шуму; вмешалось министерство. Одного удержали в Париже, другого прикрепили к его посту. Господин де Герши подчинился требованиям двора; приятель моего капитана пришел в отчаяние; такова разница между двумя храбрыми по характеру личностями, из которых одна разумна, а у другой не все винтики в порядке.

До этого момента приключения господина де Герши и приятеля моего капитана одинаковы; и вот почему (заметьте, Хозяин!) я упоминал и того и другого. Но тут я их разделю и буду говорить только о приятеле моего капитана, ибо остальное касается только его. Ах, сударь, вот где вы увидите, как мало мы распоряжаемся своей судьбой и какие странные вещи начертаны в великом свитке!

Приятель моего капитана, или пригвоздивший, просит о разрешении съездить к себе на родину; ему разрешают. Путь его лежит через Париж. Он занимает место в пассажирской карете. В три часа ночи этот экипаж проезжает мимо Оперы; публика выходит с бала. Три или четыре юных вертопраха в масках решают позавтракать вместе с путешественниками; на рассвете подкатывают к станции. Всматриваются друг в друга. Неописуемое удивление! Пригвожденный узнает пригвоздившего. Тот протягивает ему руку, обнимает его и рассыпается перед ним в восторгах от столь счастливой встречи; тотчас же они заходят за сарай, хватаются за шпаги, один в рединготе, другой в домино; пригвоздивший, то есть приятель моего капитана, снова остается на поле битвы. Его противник посылает к нему на помощь, а сам садится за стол с приятелями и прочими путешественниками, весело пьет и закусывает. Одни уже собирались продолжать путь, другие — вернуться в столицу на почтовых, не снимая масок, когда снова появилась трактирщица, положив конец рассказу Жака.

Вот она тут, и предупреждаю вас, читатель, что уже не в моих силах выслать ее вон.— Почему? — Потому, что она предстала с двумя бутылками шампанского, в каждой руке по бутылке; а свыше предначертано, что всякий оратор, который обратится к Жаку с подобным предисловием, непременно будет им выслушан.

Она входит, ставит обе бутылки на стол и говорит:

— Ну-с, господин Жак, давайте мириться...

Хозяйка была уже не первой молодости, но женщина рослая и дородная, подвижная, приятной наружности, полная, с несколько крупным ртом, но красивыми зубами, широкими скулами, глазами навыкате, высоким лбом, прекраснейшей кожей, открытым лицом, живым и веселым, довольно крупными руками, но с восхитительными пальцами, такими тонкими, что хоть рисуй их или лепи. Жак взял ее за талию и смачно поцеловал; его злопамятство никогда не могло устоять против бутылки доброго вина и пригожей женщины; так было предначертано свыше ему, тебе, читатель, мне и многим другим.

— Сударь,— обратилась она к Хозяину Жака,— разве вы нас не поддержите? Поверьте, отсюда хоть сто миль скачи, не найдешь лучшего винца на всей дороге.

С этими словами она сунула одну бутылку между колен и откупорила ее; при этом она с удивительной ловкостью зажала большим пальцем горлышко, не упустив ни одной капли вина.

— Скорей, скорей ваш стакан! — кричит она Жаку. Жак подносит стакан; трактирщица, слегка отведя палец в сторону, выпускает из бутылки воздух, и вот все лицо Жака покрыто пеной. Жак доволен веселой шуткой; трактирщица хохочет, Жак и его Хозяин тоже хохочут. Выпили по нескольку стаканчиков один за другим, чтоб убедиться в качестве вина, после чего трактирщица говорит:

— Слава богу, все улеглись по кроватям; меня не будут прерывать, и я смогу продолжать свой рассказ.

Жак посмотрел на нее глазами, природный огонь которых разгорелся еще сильнее под влиянием шампанского, и сказал ей или своему господину:

— Наша хозяйка была хороша как ангел; как вы думаете, сударь?

Хозяин. Была! Черт подери, Жак, да она и сейчас хороша!

Жак. Вы правы, сударь: но я сравниваю ее не с другой женщиной, а с ней самой, когда она была молода.

Трактирщица. Теперь я не многого стою; а вот надо было на меня посмотреть, когда двумя большими и двумя указательными пальцами можно было обхватить мою талию. За четыре мили сворачивали, чтоб побывать в нашем трактире. Но оставим в покое все разумные и неразумные головы, которые я вскружила, и вернемся к госпоже де Ла Помере.

Жак. А не выпить ли нам сперва по стаканчику за неразумные головы, которые вы вскружили, или за мое здоровье?

Трактирщица. С большим удовольствием; были среди них и такие, которые этого стоили, включая вашу или не включая. Знаете ли вы, что в течение десяти лет я помогала разным офицерам по-честному и по-благородному? Я выручила очень многих, которым без меня трудно было бы снарядиться в поход. Все это были славные люди; я не могу на них пожаловаться, да и они на меня. Никогда никаких расписок; правда, они иногда заставляли меня подолгу ждать; но через два, три или четыре года я получала назад свои денежки...

Тут она принимается за перечисление офицеров, оказавших ей честь черпать из ее кошелька, а именно: господин такой-

то, полковник такого-то полка, господин такой-то, капитан такого-то полка,— и вдруг у Жака вырывается возглас:

— Капитан! Мой милый капитан?! Так вы его знали?

Трактирщица. Знала ли я его? Высокий, хорошо сложенный, несколько сухопарый, лицо благородное и строгое, ноги упругие, две крошечные родинки на правом виске. Вы, значит, служили?

Жак. Служил ли я!

Трактирщица. Я еще больше люблю вас за это; от вашего прежнего ремесла у вас должны были сохраниться добрые замашки. Выпьем за здоровье вашего капитана!

Жак. Если только он жив.

Трактирщица. Мертв или жив — не все ли равно? Разве военный человек не создан для того, чтобы быть убитым? Ведь после десяти осад и шести сражений ему страстно хочется умереть на руках у этих черных каналий... Но вернемся к нашей истории и выпьем еще по глотку.

Хозяин. Честное слово, хозяйка, вы правы.

Трактирщица. Очень рада, что вы так думаете.

Хозяин. Да, винцо у вас превосходное.

Трактирщица. Ах, вот как! Вы говорите о моем вине? Ну что ж, и в этом вы тоже правы. Не припоминаете ли, на чем мы остановились?

Хозяин. Помню: на окончании вероломнейшего признания.

Трактирщица. Маркиз Дезарси и госпожа де Ла Помере обнялись, совершенно друг другом очарованные, и расстались. Чем больше эта дама сдерживала себя в его присутствии, тем сильнее были ее страдания после его ухода. «Увы, это правда,— воскликнула она,— он меня больше не любит!..» Не стану вдаваться в подробности по поводу совершаемых нами безумств, когда нас покидают: вы, мужчины, слишком бы заважничали. Я уже говорила вам, что эта женщина отличалась гордостью; но, кроме того, она была мстительна. Когда первые порывы бешенства улеглись и она снова вступила в полное обладание своим разумом и чувствами, ей пришла в голову мысль, что хорошо было бы отомстить, но отомстить так жестоко, что ужаснулись бы все, кто в будущем вздумал бы соблазнить и обмануть честную женщину. И она отомстила, жестоко отомстила; ее месть осуществилась, но никого не исправила; с той поры нас соблазняли и обманывали не менее гнусно.

Жак. Это годилось бы для других; но для вас!..

Трактирщица. Увы, и для меня в первую очередь! Ах, как мы глупы! Хоть бы эти гадкие мужчины выгадывали от пе-

ремены!.. Но оставим это. Как же она поступит? Она еще не знает, она обдумывает.

Жак. Что, если пока она обдумывает...

Трактирщица. Правильно сказано. Обе наши бутылки пусты... («Жан!» — «Что прикажете, сударыня?» — «Принеси две бутылки из тех, что стоят в глубине за дровами».— «Слушаюсь».) И вот, подумав, госпожа де Ла Помере остановилась на таком плане. Она знавала когда-то одну провинциалку, ради тяжбы приехавшую в Париж вместе со своей дочерью, молодой, прекрасной и хорошо воспитанной девицей. По дошедшим до маркизы слухам, эта женщина, разоренная проигрышем процесса, дошла до того, что открыла притон. У нее собирались, играли, ужинали, и обычно один или два гостя оставались и проводили ночь либо с матерью, либо с дочерью, по своему выбору. Маркиза приказала одному из своих людей разыскать этих особ. Их нашли, пригласили к госпоже де Ла Помере, которую они едва помнили. Эти женщины, принявшие имя госпожи и мадемуазель д'Энон, не заставили себя дожидаться: на другой же день мать отправилась к маркизе. После полагающихся учтивостей госпожа де Ла Помере спросила у д'Энон, что она делала раньше и чем занимается теперь, после проигрыша тяжбы.

«Признаюсь вам откровенно,— возразила та,— что я занимаюсь опасным, гадким и малодоходным ремеслом, которое мне противно, но приходится по одежке протягивать ножки. Я уже было решилась отдать дочь в Оперу, но у нее только маленький камерный голосок, и она всегда была посредственной танцовщицей. Во время тяжбы и после нее я водила мою дочь к судейским, к вельможам, к прелатам, к откупщикам, которые брали ее на время, но затем бросали. И не потому, что она не была прелестна как ангел, не обладала благородством и грацией, а лишь оттого, что она лишена всякой склонности к разврату и что у нее нет никакого таланта оживлять бессилие пресыщенных мужчин. Но больше всего повредило нам то, что дочь влюбилась в одного аббатика из благородных, нечестивого, неверующего, распутного, лицемерного и вдобавок еще врага философии, имени которого я хотела бы вам не называть: но это самый гнусный из всех тех, кто для достижения епископского звания избрал путь самый верный и к тому же менее всего требующий каких-либо дарований. Не знаю, что именно он внушал моей дочери, приходя каждое утро читать ей пасквили, которыми выслуживал себе обед, ужин или плохонькую закуску. Будет ли он или не будет епископом? По счастью, они поссорились. Моя дочь спросила его как-то, знает ли он тех, против кого пишет,

и он ответил: «Нет»; спросила, придерживается ли он сам иных взглядов, чем те, над которыми смеется, и он ответил: «Нет»; тогда она дала волю пылкости своего нрава и заявила ему, что он самый злобный и фальшивый из окружающих людей».

Госпожа де Ла Помере осведомилась, пользуются ли они большой известностью.

«К сожалению, слишком большой».

«Насколько я вижу, вы не особенно дорожите своим ремеслом?»

«Ни капельки не дорожу, а моя дочь каждый день повторяет мне, что самое жалкое положение кажется ей лучше нашего; и ее постоянная грусть окончательно отвращает от нее...»

«А если бы мне вздумалось устроить вам обеим самую блестящую судьбу, вы бы согласились?»

«Мы бы согласились и на гораздо меньшее».

«Но мне надобно сначала знать, обещаете ли вы мне строго соблюдать те советы, которые я вам буду давать».

«Каковы бы они ни были, вы можете быть в этом уверены».

«И вы будете выполнять мои указания по первому моему требованию?»

«Мы будем нетерпеливо их ждать».

«Этого с меня достаточно; возвращайтесь домой; вы не замедлите их получить. Пока что избавьтесь от своей обстановки, продайте все, не оставляйте себе даже платьев, если они яркие; это противоречило бы моим планам...»

Жак, который начал заинтересовываться, сказал хозяйке:

— Не выпить ли нам за здоровье госпожи де Ла Помере?

Трактирщица. Охотно.

Жак. А также госпожи д'Энон.

Трактирщица. Идет.

Жак. Вы не откажетесь также выпить и за мадемуазель д'Энон, у которой приятный камерный голос, мало способностей к танцам и меланхолия, принуждающая ее к печальной необходимости принимать каждый вечер нового любовника.

Трактирщица. Не смейтесь. Нет ничего хуже. Если б вы знали, какая это пытка, когда не любишь...

Жак. За мадемуазель д'Энон, которая терпит такую пытку!

Трактирщица. Выпьем.

Жак. Хозяйка, любите ли вы вашего мужа?

Трактирщица. Я должна хорошенько подумать, прежде чем отвечу.

Жак. В таком случае, вас следует пожалеть, так как, насколько мне кажется, у него отличное здоровье.

Трактирщица. Не все то золото, что блестит.

Жак. За отличное здоровье вашего трактирщика!

Трактирщица. Пейте один.

Хозяин. Жак! Жак, друг мой, ты слишком усердствуешь.

Трактирщица. Не беспокойтесь, сударь, это благородное вино; завтра и следа не останется.

Жак. Ну, раз завтра не останется и следа, а сегодня вечером мне наплевать на свой рассудок, то разрешите, сударь, разрешите, хозяюшка, еще один тост, который близок моему сердцу,— тост в честь аббата мадемуазель д'Энон.

Трактирщица. Фи, господин Жак! Ведь это же лицемер, честолюбец, невежда, клеветник, нетерпимый человек — так, кажется, называют тех, кто охотно удавил бы всех инакомыслящих.

Хозяин. Вам неизвестно, любезная хозяйка, что этот самый Жак — своего рода философ и что он очень интересуется мелкими глупцами, которые позорят себя и то дело, которое они так плохо защищают. Жак говорит, что его капитан называл их противоядием от всяких Юэ, Николей и Боссюэ. Он ничего в этом не смыслил, да и вы тоже... Ваш муж уже лег?

Трактирщица. Давным-давно.

Хозяин. И он позволяет вам беседовать таким образом?

Трактирщица. Наши мужья хорошо закалены... Госпожа де Ла Помере садится в карету, разъезжает по предместьям, наиболее отдаленным от квартала, где живут мать и дочь д'Энон, снимает маленькую квартирку в приличном доме, поблизости от приходской церкви, меблирует ее со всей возможной поспешностью, приглашает д'Энон с дочерью к обеду и водворяет их там в тот же день или несколько дней спустя, оставив им предписание относительно поведения, которого они должны были придерживаться.

Жак. Хозяйка, мы забыли выпить за здоровье госпожи де Ла Помере и маркиза Дезарси; это непристойно.

Трактирщица. Пейте, пейте, господин Жак, погреб еще не опустел... Вот ее предписание, или, по крайней мере, то, что я из него запомнила:

«Вы не будете посещать публичных гуляний, дабы вас не узнали.

Вы не будете никого принимать, даже соседей и соседок, чтобы казалось, что вы живете в полном уединении.

Вы с завтрашнего дня прикинетесь ханжами, дабы вас почитали за таковых.

Вы обзаведетесь одними только благочестивыми книгами, дабы ничто в вашем окружении не могло вас выдать.

Вы не пропустите ни одного богослужения в вашем приходе как в праздники, так и в будни.

Вы добьетесь доступа в приемную какой-нибудь обители; болтовня затворниц может принести нам пользу.

Вы сведете близкое знакомство с викарием и священниками вашего прихода, так как мне могут понадобиться их свидетельские показания.

Вы никого из них, как правило, принимать не будете.

Вы дадите себе труд исповедоваться и причащаться по меньшей мере два раза в месяц.

Вы примете свое родовое имя, так как оно звучит благородно и так как рано или поздно о вас наведут справки в вашей провинции.

Вы изредка будете раздавать мелкие пожертвования, но сами ни под каким предлогом ничего не будете принимать. Надо, чтоб вас считали ни богатыми, ни бедными.

Вы будете прясть, вязать, вышивать и отдавать свою работу для продажи дамам-патронессам.

Вы будете соблюдать величайшую умеренность: две крошечные порции из харчевни — и это все.

Ваша дочь не будет выходить на улицу без вас, так же как и вы без нее. Вы не пренебрежете никакими средствами, чтобы без особых усилий послужить для других назидательным примером.

Особенно, повторяю вам, вы не должны пускать к себе священников, монахов и святош.

По улицам вы будете ходить с опущенными глазами: в церкви для вас не будет существовать ничего, кроме бога.

Согласна с тем, что это суровый образ жизни, но он продлится недолго, и я обещаю вам крупнейшую награду. Подумайте, посоветуйтесь; если эти стеснительные условия превышают ваши силы, то скажите мне откровенно: я не обижусь и не удивлюсь. Я забыла вам также напомнить, чтобы вы приучили себя к мистическому пустословию и освоились с историей Ветхого и Нового завета, дабы вас принимали за закоренелых святош. Прикиньтесь янсенистками или молинистками, по вашему усмотрению; но лучше всего придерживаться взглядов вашего священника. Не забудьте при всяком случае ни к селу ни к городу ополчаться против философов; кричите, что Вольтер антихрист; заучите наизусть произведение вашего аббатика и цитируйте его, если понадобится...»

К этому госпожа де Ла Помере присовокупила:

«Я не буду вас навещать, ибо недостойна общаться со столь

Жак-фаталист и его Хозяин

святыми особами; пусть, однако, это вас не тревожит: вы иногда будете тайно приходить сюда, и мы в тесном кругу вознаградим себя за ваш покаянный режим. Но, играя в благочестие, остерегайтесь действительно впасть в него... Что касается расходов на ваше маленькое хозяйство, то я принимаю их на себя. Если моя затея удастся, вы не будете нуждаться во мне; если она не удастся не по вашей вине, то я достаточно богата, чтоб обеспечить вам приличную и более приятную участь, чем та, которою вы пожертвовали ради меня. Но главное — это повиновение, повиновение моей воле, абсолютное, безграничное, без которого я ни за что не ручаюсь в настоящем и ничего не обещаю в будущем».

Хозяин *(пощелкивая по своей табакерке и поглядывая на часы)*. Дьявольская баба! Упаси меня, господи, повстречаться с такой!

Трактирщица. Терпение, терпение! Вы ее еще не знаете.

Жак. А в ожидании этого, прекрасная хозяюшка, не перекинуться ли нам словечком с бутылочкой?

Трактирщица. Господин Жак, мое шампанское придает мне красоту в ваших глазах.

Хозяин. Мне уже давно хочется задать вам один, быть может, нескромный вопрос, и я больше не могу удерживаться.

Трактирщица. Задавайте.

Хозяин. По-моему, вы родились не в харчевне.

Трактирщица. Да, это так.

Хозяин. Вы принадлежали к более высокому кругу и попали сюда в силу необыкновенных обстоятельств.

Трактирщица. Не отрекаюсь.

Хозяин. Не прервать ли нам на минутку историю госпожи де Ла Помере?

Трактирщица. Невозможно. Я охотно рассказываю чужие похождения, но не свои. Скажу вам только, что я воспитывалась в Сен-Сире, где мало читала Евангелие, но читала много романов. От королевского аббатства до харчевни — большой путь.

Хозяин. Я удовлетворен; будем считать, что я у вас ничего не спросил.

Трактирщица. В то время как обе наши ханжи служили назидательным примером и добрая слава о их благочестии и святости распространялась по округе, госпожа де Ла Помере внешне выказывала маркизу уважение, дружбу и полное доверие. Он неизменно встречал радушный прием, его не бранили, на него не дулись даже после долгого отсутствия; он посвящал

ее в свои любовные похождения, и она притворялась, будто они ее искренне забавляют. Она давала ему советы в трудных случаях и изредка заговаривала о браке, но таким безразличным тоном, что нельзя было заподозрить с ее стороны никаких личных мотивов. Когда маркиз иногда обращался к ней с теми нежными и галантными речами, которых нельзя избежать по отношению к бывшей возлюбленной, она либо улыбалась, либо не обращала на них внимания. Если послушать ее, то сердце ее безмолвствовало: она-де сама не подозревала, что для ее счастья достаточно было такого друга, как он, а кроме того, годы якобы брали свое и темперамент ее охладевал.

«Как! У вас ничего нет, в чем бы вы могли мне признаться?»

«Нет».

«А молодой граф, дорогая моя, который так настойчиво ухаживал за вами в пору моего владычества?»

«Я перестала его принимать, и мы больше не видимся».

«Необычайная причуда! За что вы его отстранили?»

«Он мне больше не нравится».

«Ах, сударыня, я, кажется, угадал: вы меня все еще любите».

«Возможно».

«Вы надеетесь, что я вернусь».

«Почему бы нет?»

«И хотите обеспечить за собой безупречное поведение».

«Пожалуй».

«И если бы, по счастью или к несчастью, я снова оказался у ваших ног, вы вменили бы себе в заслугу молчание о моих провинностях».

«Вы прекрасного мнения о моей деликатности и моем великодушии».

«После такого поступка я считаю вас способной на любое проявление героизма».

«Я не прочь, чтоб вы так думали».

«Честное слово, вы для меня опаснейшая женщина; я в этом уверен».

Жак. И я тоже.

Трактирщица. Это положение длилось примерно месяца три, когда госпожа де Ла Помере решила, что настало время нажать главную пружину. В один прекрасный летний день, когда маркиз должен был у нее обедать, она приказала передать д'Энон и ее дочери, чтоб они отправились в Королевский сад. Маркиз явился, обед был ранний; откушали, и откушали весело. Затем госпожа де Ла Помере предложила маркизу

совершить прогулку, если только он не имеет в виду чего-либо более приятного. В тот день не было ни оперы, ни комедии; маркиз сам отметил это, и судьбе было угодно, чтоб опять-таки он, желая заменить веселое зрелище полезным, пригласил маркизу посетить Королевскую кунсткамеру. Приглашение это, как вы легко можете себе представить, не встретило отказа. И вот заложили лошадей; едут; приехали в Королевский сад и смешались с толпой, разглядывая все и не видя ничего, как и все прочие.

Читатель, я забыл описать вам мизансцену, в которой действуют указанные здесь персонажи: Жак, Хозяин и трактирщица: по причине этого упущения вы слышали, что они говорили, но вы их не видели; однако лучше поздно, чем никогда. Хозяин — налево, в ночном колпаке и в халате, небрежно развалился в большом ковровом кресле, положив платок на локотник и держа табакерку в руке. Трактирщица — в глубине, против двери, у стола, на котором стоит ее стакан. Жак, без шляпы, оперся локтем на стол и склонил голову между двух бутылок; две другие — на полу рядом с ним.

— Выйдя из кунсткамеры, маркиз и его приятельница отправились гулять по саду. Не успели они свернуть в первую аллею направо от входа, поблизости от Ботанической школы, как госпожа де Ла Помере воскликнула с удивлением:

«Это они! Я не ошиблась: это действительно они».

Тотчас же она покидает маркиза и устремляется навстречу двум нашим притворщицам. Младшая д'Энон была очаровательна в своем простеньком наряде, который, не бросаясь в глаза, тем не менее приковывал к себе внимание.

«Ах, это вы, сударыня?»

«Да, я».

«Как вы поживаете? Я не видала вас целую вечность».

«Вы знаете о постигших нас несчастиях: пришлось покориться участи и жить по нашим скромным средствам; нельзя бывать в свете, когда не можешь поддерживать свой ранг с достоинством».

«Но покинуть меня — меня, которая удалилась от света! Впрочем, со свойственной мне рассудительностью я всегда считала его скучным».

«Недоверие — одно из печальных последствий нищеты: бедняки боятся быть назойливыми».

«Назойливыми — по отношению ко мне! Такое подозрение равносильно обиде».

«Сударыня, я в этом неповинна; много раз напоминала я о вас матушке, но она говорила: «Госпожа де Ла Помере?.. Нет, дочь моя, никто о нас не думает».

«Какая несправедливость! Присядем, побеседуем. Вот маркиз Дезарси: это мой друг, и его присутствие нас не стеснит. Как ваша дочь выросла! Как она похорошела с тех пор, как мы не видались!»

«Наше положение обладает тем преимуществом, что ограждает нас от многого такого, что вредно для здоровья; взгляните на ее лицо, на ее руки: вот что значит умеренная и правильная жизнь, нормальный сон, работа, чистая совесть, а это немало...»

Присели; завели дружескую беседу. Мать говорила хорошо; дочь говорила мало. И та и другая выдерживали благочестивый тон, но без натяжки и жеманства. Они собрались удалиться задолго до наступления сумерек. Им заявили, что время раннее; но мать шепнула довольно громко на ухо госпоже де Ла Помере, что им предстоит еще служба в церкви и что они ни в коем случае не могут дольше оставаться. Они уже отошли на некоторое расстояние, когда госпожа де Ла Помере упрекнула себя в том, что не спросила их адрес и не дала им свой.

«Такой оплошности,— добавила она,— я бы в прежнее время не сделала».

Маркиз поспешил ее исправить; они приняли к сведению адрес госпожи де Ла Помере, но, несмотря на все настояния маркиза, не пожелали сообщить свой. Он не осмелился предложить им свою карету, но признался госпоже де Ла Помере, что ему очень хотелось это сделать.

Маркиз не преминул спросить у своей приятельницы, кто такие ее знакомые.

«Это два существа более счастливые, чем мы с вами. Посмотрите, каким здоровьем они обладают, какая безмятежность написана на их лицах! Какой благопристойностью дышат их речи! В нашем кругу вы не встретите ничего подобного. Мы относимся с сожалением к набожным людям, а они жалеют нас, и, в конце концов, я готова думать, что они правы».

«Неужели, маркиза, вы собираетесь стать святошей?»

«А почему бы нет?»

«Берегитесь, мне не хотелось бы, чтоб наш разрыв, если вообще можно говорить о разрыве, завел вас так далеко».

«А вы предпочли бы, чтоб я снова пустила к себе молодого графа?»

«Предпочел бы».

«И вы мне это советуете?»

«Без колебаний».

Госпожа де Ла Помере в высшей степени сердечно и трогательно рассказала маркизу все, что знала о семье, родине, прежнем состоянии и проигранной тяжбе обеих святош; затем добавила:

«Эти женщины отличаются исключительным благородством, особенно дочь. Согласитесь, что с ее внешностью ей было легко при желании великолепно обеспечить себя; но они предпочли честную бедность позорному богатству; их средства настолько скромны, что я, право, не знаю, чем они существуют. Они работают день и ночь. Переносить бедность, в которой родился, умеют многие, но перейти от настоящего богатства к нищенскому существованию, довольствоваться им, находить в нем радость — вот чего я не понимаю. Это последствия веры. Что бы ни говорили наши философы, а вера — прекрасная вещь».

«В особенности для несчастных».

«А кто же в той или иной мере не несчастен?»

«Готов ручаться, что вы станете святошей».

«Велика беда! Наша жизнь — такая малость по сравнению с вечностью».

«Да вы уже говорите как миссионер».

«Я говорю как убежденная женщина. Ответьте, маркиз, положа руку на сердце,— разве все наши богатства не казались бы нам жалким хламом, если бы мы больше думали о будущей жизни и больше бы опасались возмездия за гробом? Было бы величайшим безумием соблазнить молодую девушку или женщину, любящую мужа, и сознавать при этом, что можешь внезапно умереть в ее объятиях и обречь себя на вечные муки».

«Тем не менее ежедневно кого-нибудь соблазняют».

«Оттого, что нет веры; оттого, что люди стараются забыться».

«Дело в том, что наши религиозные воззрения оказывают мало влияния на наши нравы. Но уверяю вас, дорогая моя, вы полным ходом устремляетесь к исповедальне».

«Это лучшее, что я могла бы сделать».

«Какое безумие! Вам предстоит грешить с приятностью еще добрых двадцать лет; не упускайте этой возможности; а потом вы еще успеете покаяться и, если пожелаете похвастаться этим, упасть к ногам священника... Но вот поистине невеселый разговор! Вы погрузились в мрачные фантазии; таковы послед-

ствия ужасающего одиночества, на которое вы себя обрекли. Поверьте мне, призовите молодого графа; вам не будут мерещиться ни ад, ни дьявол, и вы останетесь такой же очаровательной, какой были раньше. Вы опасаетесь, что я буду упрекать вас за это, в случае если мы снова с вами соединимся. Но ведь этого может и не произойти. И вот, исходя из предположения, в большей или в меньшей степени обоснованного, вы лишаете себя сладчайшего из удовольствий. Право, честь оказаться безупречнее меня не стоит такой жертвы».

«Конечно; но не это меня удерживает...»

Они говорили еще о многом, но я всего не припомню.

Жак. Хозяйка, выпьем по стаканчику: это освежает память.

Трактирщица. Выпьем... Пройдясь несколько раз по аллеям, госпожа де Ла Помере и маркиз сели в карету. Она сказала:

«Как это меня старит! Ведь когда мы жили в Париже, она еще под стол пешком ходила».

«Вы говорите о дочери той дамы, которую вы встретили на прогулке?»

«Да, это как в саду, где свежие розы сменяют увядшие. Вы ее хорошо рассмотрели?»

«Ну конечно».

«И как вы ее находите?»

«Рафаэлевская головка мадонны на теле его же Галатеи; и к этому восхитительный голос!»

«Какая скромность во взгляде!»

«Какие прекрасные манеры!»

«Таких высоконравственных речей я не слыхала ни от одной девушки. Вот что значит воспитание!»

«Или хорошие задатки».

Маркиз довез госпожу де Ла Помере, которая поспешила сообщить нашим святошам, что они прекрасно исполнили свою роль и что она ими чрезвычайно довольна.

Жак. Если они будут продолжать как начали, то господину маркизу не отвертеться, будь он хоть самим чертом.

Хозяин. Я хотел бы знать их намерения.

Жак. А я не хотел бы: это испортило бы все дело.

Трактирщица. С того дня маркиз стал чаще навещать госпожу де Ла Помере, которая заметила это, но не подала виду. Она никогда первая не заговаривала об обеих святошах, а дожидалась, пока он сам не затронет этой темы, что он и делал с плохо скрываемым нетерпением.

Маркиз: «Виделись ли вы с вашими друзьями?»

Госпожа де Ла Помере: «Нет».

Маркиз: «Знаете, это не особенно великодушно. Вы богаты; они находятся в нужде, а вы даже не приглашаете их изредка пообедать с вами».

Госпожа де Ла Помере: «Я полагала, что господин маркиз знает меня несколько лучше. Любовь некогда приписывала мне достоинства; а теперь дружба приписывает мне недостатки. Я приглашала их раз десять, но безуспешно. Они отказываются приехать ко мне по каким-то непонятным соображениям, а когда я их навещаю, то мне приходится оставлять карету на углу и являться к ним не иначе как в простом платье, без румян и алмазов. Не приходится слишком удивляться их осторожности: достаточно одной лживой сплетни, чтобы восстановить против них некоторых благотворителей и лишить их поддержки. По-видимому, маркиз, делать добро не так-то просто».

Маркиз: «В особенности когда делаешь его святошам».

Госпожа де Ла Помере: «...Которые пользуются малейшим предлогом, чтобы его отклонить. Если б узнали, что я принимаю в них участие, то сказали бы: «Госпожа де Ла Помере им покровительствует... они ни в чем не нуждаются...» И всем благодеяниям конец».

Маркиз: «Благодеяниям!»

Госпожа де Ла Помере: «Да, сударь, благодеяниям».

Маркиз: «Вы с ними знакомы, а они дошли до благодеяний?»

Госпожа де Ла Помере: «Еще раз, маркиз, я вижу, что вы меня не любите и что большая часть вашего уважения растаяла вместе со страстью. Кто вам сказал, что если эти женщины дошли до приходских благодеяний, то это по моей вине?»

Маркиз: «Тысяча извинений, сударыня, я не прав. Но по какой причине отказываются они от доброжелательной помощи приятельницы?»

Госпожа де Ла Помере: «Ах, маркиз, мы, светские люди, весьма далеки от щепетильных деликатностей, свойственных робким душам. Они не от всякого согласны принять помощь».

Маркиз: «Тем самым они лишают нас лучшего способа искупить безумства нашей ветреной жизни».

Госпожа де Ла Помере: «Нисколько. Предположим, что господин маркиз Дезарси умилен их несчастием,— почему бы ему не передать им своего дара через более достойные руки?»

Маркиз: «...И менее верные?»

Госпожа де Ла Помере: «Бывает».

Маркиз: «А как вы думаете, если я пошлю им двадцать луидоров, они откажутся?»

Госпожа де Ла Помере: «Уверена. Неужели этот отказ покажется вам неуместным со стороны матери, у которой прелестная дочь?»

Маркиз: «А знаете ли вы, что у меня было искушение их навестить?»

Госпожа де Ла Помере: «Охотно верю. Маркиз, маркиз, берегитесь! Вот порыв великодушия, который и очень внезапен, и очень подозрителен».

Маркиз: «Пусть так, но как по-вашему — они приняли бы меня?»

Госпожа де Ла Помере: «Конечно, нет. Одной роскоши вашего выезда, вашей одежды, ваших лакеев было бы достаточно, чтобы, в соединении с чарами этой молодой особы, вызвать сплетни соседей и соседок и погубить их».

Маркиз: «Вы меня огорчаете, так как это, конечно, не входит в мои намерения. Значит, мне нельзя будет ни помочь им, ни видеть их?»

Госпожа де Ла Помере: «Полагаю, что так».

Маркиз: «Но не мог ли бы я оказать им помощь через вас?»

Госпожа де Ла Помере: «Я не считаю ваши побуждения достаточно чистыми, чтобы принять такое поручение».

Маркиз: «Это жестоко!»

Госпожа де Ла Помере: «Да, жестоко; вы правильно выразились».

Маркиз: «Какое предположение! Маркиза, вы надо мной смеетесь! Молодая девушка, которую я видел всего лишь раз...»

Госпожа де Ла Помере: «Но она из числа тех немногих, которых не забываешь, если увидишь».

Маркиз: «Правда, такие лица не забываются».

Госпожа де Ла Помере: «Берегитесь, маркиз: вы готовите себе огорчения, и я предпочитаю уберечь вас от них, чем утешать впоследствии. Не равняйте ее с теми, кого вы знали: она на них не похожа; таких не ослепишь, они неприступны. Она вас слушать не станет, и вы от нее ничего не добьетесь».

После этой беседы маркиз вдруг вспомнил о каком-то неотложном деле; он поспешно встал и удалился в задумчивости.

В течение довольно продолжительного времени маркиз не пропускал ни одного дня, чтоб не навестить госпожу де Ла Помере; но он приходил, усаживался и хранил молчание. Госпожа де Ла Помере говорила одна. Через четверть часа он вставал и удалялся.

Затем он сделал месячный перерыв, после которого снова явился, но грустный, подавленный чем-то, расстроенный. Посмотрев на него, маркиза сказала:

«Какой у вас вид! Откуда вы? Можно подумать, что вы провели это время в доме свиданий».

Маркиз: «Приблизительно так и было. С отчаяния я окунулся в ужасный разврат».

Госпожа де Ла Помере: «Как! С отчаяния?»

Маркиз: «Да, с отчаяния...»

Вслед за тем он принялся молча расхаживать взад и вперед; он подходил к окнам, глядел в небо, останавливался перед госпожой де Ла Помере; приближался к дверям, звал своих лакеев, которым ему было нечего сказать, отсылал их назад; возвращался в комнату, к тому месту, где работала госпожа де Ла Помере, не обращавшая на него внимания, пытался заговаривать, но не решался. Наконец госпожа де Ла Помере сжалилась над ним и сказала:

«Что с вами? Вы пропадаете на целый месяц, возвращаетесь с лицом покойника и бродите как неприкаянная душа!»

Маркиз: «Я больше не в силах сдерживаться и должен вам все сказать. Дочь вашей подруги произвела на меня глубокое впечатление; я предпринял все, решительно все, чтоб ее забыть; но чем больше я старался, тем чаще ее вспоминал. Образ этого ангельского существа неотступно преследует меня; окажите мне большую услугу».

Госпожа де Ла Помере: «Какую?»

Маркиз: «Мне необходимо снова повидаться с ней, и ваше содействие крайне меня обязало бы. Я прибег к помощи своих слуг. Они узнали, что эти дамы ходят только в церковь и обратно. Десять раз я останавливался на их пути; они меня даже не заметили. Я напрасно дежурил у их дверей. Благодаря им я стал сначала развратен, как обезьяна сапажу, затем благочестив, как ангел: за две недели я не пропустил ни одной обедни. Ах, друг мой, какое лицо! Как она прекрасна!..»

Госпоже де Ла Помере все это было известно.

«Иначе говоря,— ответила она маркизу,— после того как вы сделали все, чтоб исцелиться, вы не упустили ни одного из безумств, и в этом вы преуспели».

Маркиз: «Да, преуспел, и в такой мере, что не смогу вам описать. Неужели вы не сжалитесь надо мной и откажете мне в счастье ее повидать?»

Госпожа де Ла Помере: «Дело трудное, но я им займусь; впрочем, при одном условии: вы оставите этих несчастных в

покое и перестанете им докучать. Не скрою от вас, что они горько жаловались мне на ваши преследования, и вот их письмо...»

Письмо, показанное маркизу, было составлено ими сообща. Дочь якобы написала его по приказу матери: оно было преисполнено достоинства, кротости, наивности, изящества и ума — словом, всего того, что могло вскружить голову маркизу. А потому он каждое слово сопровождал восклицанием, каждую фразу перечитывал и плакал от радости; он говорил госпоже де Ла Помере:

«Согласитесь, сударыня, что лучше написать было нельзя...»

Госпожа де Ла Помере: «Пожалуй».

Маркиз: «...И что от каждой строки проникаешься восхищением и почтением к женщинам такого склада».

Госпожа де Ла Помере: «Так оно и должно быть».

Маркиз: «Я готов дать слово, но просил бы вас не отказаться от своего».

Госпожа де Ла Помере: «Право, маркиз, я не благоразумнее вас. Должно быть, вы сохранили надо мной ужасную власть; это меня пугает».

Маркиз: «Когда я увижу ее?»

Госпожа де Ла Помере: «Не знаю. Прежде всего надо найти способ устроить это так, чтоб не возбудить подозрений. Они не могут заблуждаться насчет ваших намерений; подумайте только, какого мнения будут они о моих стараниях, если заподозрят, что я действую с вами заодно!.. Но между нами говоря, маркиз, к чему мне все эти хлопоты? Какое мне дело до того, любите вы или нет, безумствуете или нет?.. Распутывайте сами этот клубок. Роль, которую вы хотите мне навязать, носит какой-то странный характер».

Маркиз: «Друг мой, если вы меня покинете, я погиб. Не буду говорить о себе, ибо это вас обидит; но заклинаю вас теми милыми и достойными существами, которые вам так дороги; вы знаете меня; охраните их от всех тех безумств, на которые я способен. Я пойду к ним; да, я пойду, предупреждаю вас; я взломаю дверь, ворвусь против их воли, усядусь, не знаю, что скажу, что сделаю; ибо нет ничего такого, чего бы вы не могли опасаться при том бешеном состоянии, в котором я нахожусь...»

— Заметьте, господа,— добавила хозяйка,— что с первого до последнего момента этой истории каждое слово, сказанное маркизом Дезарси, вонзалось ножом в сердце госпожи де Ла Помере. Она задыхалась от негодования и гнева, а потому ответила маркизу дрожащим и прерывающимся голосом:

«Да, вы правы. Если б меня любили так, как вы любите ее,

то, быть может... Но оставим это... Не ради вас я буду хлопотать; однако надеюсь, маркиз, что вы предоставите мне достаточно времени».

Маркиз: «Как можно меньше, как можно меньше!»

Жак. Ах, хозяйка, какая чертовка! Хуже самого ада! Я просто дрожу: необходимо выпить глоток, чтобы оправиться... Неужели вы хотите, чтоб я пил один?

Трактирщица. Я ничуть не напугана... Госпожа де Ла Помере промолвила про себя: «Я страдаю, но страдаю не одна. Жестокий человек! Не знаю, как долго продлятся мои терзания, но твои я постараюсь сделать вечными...» Она промучила маркиза целый месяц ожиданием обещанной встречи, иначе говоря,— предоставила ему изнывать и опьяняться, и под предлогом смягчения тяжести столь долгой отсрочки позволила ему говорить ей о своей страсти.

Хозяин. И, говоря о ней, разжигать ее.

Жак. Какая женщина! Какая чертовка! Хозяйка, мой страх удвоился.

Трактирщица. Итак, маркиз ежедневно приходил беседовать с госпожой де Ла Помере, которая ухитрилась лукавейшими речами довести его до белого каления, ожесточить и окончательно погубить. Он узнал все о месте, где они жили раньше, о их воспитании, о их доходах, о несчастьях, постигших этих женщин; постоянно возвращался к этому предмету, ибо все считал, что он еще недостаточно обо всем осведомлен, и не переставал умиляться. Маркиза указывала ему на усиление его страсти и, будто бы желая его предостеречь, подготовляла его к последствиям.

«Маркиз,— говорила она ему,— берегитесь, как бы это не завело вас слишком далеко; в один прекрасный день может случиться, что моя дружба, которою вы так странно злоупотребляете, не оправдает меня ни в моих, ни в ваших глазах. Конечно, ежедневно совершаются еще бо́льшие безумства, но я боюсь, маркиз, что вы получите эту девушку только на условиях, которые до сих пор не были в вашем вкусе».

Когда госпожа де Ла Помере сочла маркиза достаточно подготовленным для осуществления задуманного дела, она сговорилась с обеими женщинами, что они придут к ней обедать; маркиз же должен был застать их врасплох, одетыми так, как это принято в деревне. Все это было приведено в исполнение.

Не успели подать второе блюдо, как доложили о маркизе. И он, и госпожа де Ла Помере, и обе д'Энон мастерски разыграли смущение.

«Сударыня,— сказал маркиз госпоже де Ла Помере,— я приехал из имения; уже слишком поздно, чтобы возвращаться домой, где меня не ждут сегодня вечером, и я льщу себя надеждой, что вы не откажетесь накормить меня обедом...»

С этими словами он взял кресло и присел к столу. Прибор поставили так, что маркиз оказался рядом с матерью и напротив дочери. Он взглядом поблагодарил госпожу де Ла Помере за этот знак внимания. После первой минуты замешательства наши притворщицы овладели собой; завязался разговор, стало даже весело. Маркиз оказывал весьма глубокое внимание матери и проявлял сдержанную вежливость по отношению к дочери. Старания маркиза не сказать ничего лишнего и не позволить себе ничего такого, что могло бы отпугнуть гостей, доставляло всем трем женщинам тайное, но, однако, забавное развлечение. Они оказались настолько бесчеловечными, что заставили маркиза битых три часа говорить о благочестии, и госпожа де Ла Помере сказала ему:

«Такие речи служат лучшей похвалой вашим родителям; первые уроки никогда не изглаживаются из памяти. Вы отлично усвоили все тонкости божественной любви: можно подумать, что вы питались только Франциском Сальским. Не были ли вы часом также и квиетистом?»

«Не могу припомнить...»

Излишне говорить, что наши ханжи вложили в разговор весь запас грации, ума, обольщения и хитрости, каким обладали. Коснулись мимоходом и вопроса о страстях, причем мадемуазель Дюкенуа (таково было ее настоящее имя) высказала мысль, что есть только одна опасная страсть. Маркиз ее поддержал. Между шестью и семью обе женщины удалились, причем удержать их не было никакой возможности: госпожа де Ла Помере и госпожа Дюкенуа сошлись на том, что необходимо строго блюсти религиозные обязанности, ибо без этого почти каждый день духовного счастья был бы испорчен раскаянием. И вот они уехали, к величайшему огорчению маркиза, и маркиз остался один на один с госпожой де Ла Помере.

Госпожа де Ла Помере: «Итак, маркиз, разве я не бесконечно добра? Найдите-ка в Париже другую женщину, которая согласилась бы сделать что-либо подобное!»

Маркиз *(падая перед ней на колени):* «Признаю: нет ни одной, которая бы походила на вас. Ваша доброта приводит меня в смущение: вы единственный истинный друг, какой только существует на свете».

Госпожа де Ла Помере: «Уверены ли вы, что всегда будете одинаково чувствовать цену моей любезности?»

Маркиз: «Я был бы чудовищем неблагодарности, если бы усомнился в этом».

Госпожа де Ла Помере: «Перейдем на другую тему. Каково состояние вашего сердца?»

Маркиз: «Не скрою от вас: эта девушка должна быть моей, или я погибну».

Госпожа де Ла Помере: «Она, безусловно, будет вашей, но вопрос — в качестве кого».

Маркиз: «Посмотрим».

Госпожа де Ла Помере: «Маркиз, маркиз, я знаю вас, я знаю их; смотреть больше нечего».

Около двух месяцев маркиз не появлялся у госпожи де Ла Помере, и вот что он предпринял за это время. Он познакомился с духовником матери и дочери. Тот был другом милейшего аббатика, о котором я вам говорила. Духовник этот, использовав сначала все лицемерные отговорки, к каким обычно прибегают в нечистых делах, и продав возможно дороже святость своего сана, согласился на все желания маркиза.

Каверзы свои этот божий человек начал с того, что отвратил от подопечных госпожи де Ла Помере расположение приходского священника и убедил его лишить их пособия, выдаваемого общиной, так как они будто бы нуждались меньше других. Он рассчитывал, что лишения заставят их покориться его намерениям.

Затем он постарался на исповеди вызвать разлад между матерью и дочерью. Выслушивая жалобы матери на дочь, он преувеличивал проступки одной и разжигал недовольство другой. Если дочь жаловалась на мать, он намекал на то, что власть родителей над детьми ограниченна и что, если преследования матери переходят известные границы, можно избавить дочь от ее тирании. В качестве наказания он приказывал ей вторично прийти на исповедь.

В другой раз он мимоходом коснулся ее чар, которые, по его словам, были одним из опаснейших даров господа: они даже произвели сильное впечатление на одного достойного человека, которого он не назвал, хотя имя его было нетрудно угадать. Затем он перешел к беспредельности небесного милосердия и к снисхождению по отношению к грехам, вызываемым особыми обстоятельствами, к слабостям человеческой природы, в которых

всякий находит себе оправдание, к силе и естественности некоторых наклонностей, от которых не свободны даже самые святые люди. Он спросил ее также, не испытывает ли она желаний, не бывает ли у нее пылких снов, не волнует ли ее присутствие мужчин. Он обсуждал с нею вопрос, должна ли женщина уступать или противиться мужским желаниям и тем самым погубить или осудить на вечные муки существо, за которое была пролита кровь Христова, причем сам он не брался решать эту проблему. Затем он испускал тяжелые вздохи, воздевал глаза к небу, молился за заблудшие души... Девушка не мешала ему ораторствовать. Ее мать и госпожа де Ла Помере, которым она подробно пересказывала речи своего духовного отца, внушали ей признания, клонившиеся к тому, чтоб его подстрекать.

Жак. Ваша де Ла Помере — злобная женщина.

Хозяин. Жак, не торопись осуждать. Кто причина ее злобы? Маркиз Дезарси. Будь он таким, каким клялся и каким должен был быть,— и тебе не в чем было бы упрекнуть госпожу де Ла Помере. Когда мы двинемся в путь, ты возьмешь на себя роль ее прокурора, а я — ее защитника. Что же касается презренного искусителя-священника, то делай с ним что хочешь.

Жак. Священник — такой дурной человек, что после этого случая я, пожалуй, больше не пойду на исповедь. А вы как, хозяйка?

Трактирщица. Я не перестану бывать у моего старика священника: он не любопытен и довольствуется тем, что ему рассказывают.

Жак. Не выпить ли нам за здоровье вашего священника?

Трактирщица. На этот раз я вас поддержу, так как он человек хороший: по воскресеньям и праздничным дням он разрешает девкам и парням плясать, а мужикам и бабам приходить ко мне в харчевню, лишь бы только они не выходили оттуда пьяными. За здоровье моего священника!

Жак. За его здоровье!

Трактирщица. Наши дамы не сомневались, что божий человек сделает попытку передать письмо своей прихожанке; он так и поступил, но с какими предосторожностями! Он не знал, от кого оно; он не сомневался, что послал его какой-нибудь благодетель и милостивец, узнавший о их нужде и предлагавший им помощь. «Впрочем, вы девушка примерных нравов, мать ваша осторожна, и я требую, чтобы вы вскрыли письмо не иначе как в ее присутствии». Мадемуазель Дюкенуа приняла послание и передала матери, которая тотчас же направила его госпоже де Ла Помере. Та, заручившись этой бумагой, послала за свя-

щенником, осыпала его заслуженными упреками и пригрозила пожаловаться на него начальству, если еще раз услышит о подобных проделках.

В этом письме маркиз рассыпался в восхвалениях самого себя и в похвалах мадемуазель Дюкенуа; он описывал все неистовства своей страсти и предлагал применить решительные средства, вплоть до похищения.

Отчитав священника, госпожа де Ла Помере пригласила к себе маркиза, изложила ему, насколько такое поведение недостойно галантного кавалера, до какой степени это может ее скомпрометировать, показала ему письмо и заявила, что, несмотря на соединявшую их дружбу, она будет вынуждена представить письмо в суд или передать его госпоже Дюкенуа, если ее дочь станет жертвой какого-нибудь скандала.

«Ах, маркиз,— говорила она ему,— любовь развратила вас; вы рождены порочным, ибо создатель всего великого внушает вам одни лишь мерзостные поступки. Чем провинились перед вами эти две бедные женщины, что вы стараетесь прибавить к их нищете еще и позор? Вы преследуете молодую девушку потому, что она красива и хочет остаться добродетельной? Вы хотите, чтоб она возненавидела один из ценнейших небесных даров? А я — чем заслужила я роль вашей соучастницы? Нет, маркиз, падите к моим ногам, просите прощения и поклянитесь оставить в покое моих несчастных приятельниц».

Маркиз обещал не предпринимать больше ничего без ее согласия, но заявил, что добьется обладания этой девушкой любой ценой.

Он не сдержал своего слова. Мать была осведомлена обо всем, а потому маркиз не поколебался обратиться к ней. Он признал преступность своих намерений, предложил значительную сумму, а в будущем все, что позволят обстоятельства; к его письму была приложена шкатулка с крупными драгоценностями.

Три дамы устроили совещание. Мать и дочь уже склонялись к тому, чтобы принять предложение; но это не входило в расчеты госпожи де Ла Помере. Она напомнила о данном ей обещании, пригрозила все открыть, и, к великому огорчению наших святош, особенно дочери, которой пришлось вынуть из ушей весьма понравившиеся ей серьги с подвесками, шкатулка и письмо были отосланы обратно в сопровождении письма, исполненного гордости и негодования.

Госпожа де Ла Помере пожаловалась маркизу на то, как мало можно доверять его обещаниям. Он пробовал сослаться на невозможность впутывать ее в такое дело.

«Маркиз, маркиз! — сказала госпожа де Ла Померс.— Я уже предупреждала вас и снова повторяю: вы просчитались; но теперь уже поздно читать вам проповеди, это было бы излишней тратой слов — все средства исчерпаны».

Маркиз согласился с ней и попросил разрешения предпринять последнюю попытку, а именно — обеспечить рентой обеих женщин, разделить с ними свое состояние и предоставить им в пожизненное владение один городской и один загородный дом.

«Делайте что хотите,— заявила маркиза,— я только против применения силы; знайте, друг мой, что истинная порядочность и добродетель имеют мало цены в глазах тех, кому дано счастье обладать ими. Ваши новые предложения будут столь же безуспешны, как и прежние: я знаю этих женщин и готова держать пари».

Маркиз делает новое предложение. Новое совещание трех дам. Мать и дочь молча ждут решения госпожи де Ла Помере. Маркиза молча расхаживает взад и вперед, затем говорит:

«Нет, нет, этого недостаточно для моего истерзанного сердца».

И она сразу же велела им отказать маркизу. Обе женщины залились слезами, бросились к ее ногам и стали объяснять, как ужасно в их положении отвергнуть такое огромное состояние, которое они могли принять без каких-либо неприятных последствий. Госпожа де Ла Помере сухо заявила:

«Неужели вы воображаете, что все это я делаю для вас? Кто вы такие? Чем я вам обязана? Не от меня ли зависит отправить вас обратно в ваш притон? Если то, что вам предлагают, для вас слишком много, то для меня это слишком мало. Пишите, сударыня, ответ, который я вам продиктую; я хочу, чтоб он был отослан при мне».

Мать и дочь вернулись домой огорченные, но еще более напуганные.

Жак. Вот бешеная женщина! Чего ей еще надо? Как! Пожертвовать половиной огромного состояния, по ее мнению, недостаточно, чтоб искупить любовное охлаждение?

Хозяин. Жак, ты никогда не был женщиной, тем более — порядочной женщиной, и судишь по своему характеру, весьма мало похожему на характер госпожи де Ла Помере. Знаешь, что я тебе скажу? Боюсь, что брак маркиза Дезарси со шлюхой был предначертан свыше.

Жак. Если он там предначертан, значит он совершится.

Трактирщица. Маркиз не замедлил появиться у госпожи де Ла Помере.

«Ну как? — спросила она.— Как приняли новое предложение?»

Маркиз: «Оно было сделано и отвергнуто. Я в отчаянии. Мне хотелось бы вырвать из сердца эту злосчастную страсть, вырвать самое сердце, но я не могу. Взгляните на меня, маркиза: не находите ли вы некоторого сходства между мной и этой девушкой?»

Госпожа де Ла Помере: «Я вам не говорила, но я это заметила. Дело, однако, не в том; на что вы решились?»

Маркиз: «Я ни на что не решился. Иногда мне хочется сесть в дорожную карету и ехать на край света; минуту спустя силы меня покидают, я чувствую себя разбитым, в голове туман, полное отупение, и я не знаю, что предпринять».

Госпожа де Ла Помере: «Не советую вам пускаться в путешествие; не стоит доезжать до Вильжюива, чтобы тотчас же вернуться».

На другой день маркиз написал маркизе, что уезжает в свое поместье, что останется там возможно дольше и умоляет ее походатайствовать за него перед ее приятельницами, если представится случай. Отсутствие его длилось недолго; он вернулся с намерением жениться.

Жак. Мне жаль бедного маркиза.

Хозяин. А мне — нет.

Трактирщица. Он подъехал к дому госпожи де Ла Помере. Ее не было дома. Вернувшись, она застала его сидящим в кресле с закрытыми глазами и погруженным в глубокую задумчивость.

«Ах, это вы, маркиз! Прелести деревни недолго вас удерживали».

«Нет,— отвечал он,— мне всюду не по себе, и я вернулся, чтобы совершить величайшую глупость, на какую только может решиться человек моего звания, возраста и характера. Но лучше жениться, чем так страдать. Я решил жениться».

Госпожа де Ла Помере: «Маркиз, это серьезное дело и требует размышлений».

Маркиз: «Я уже размышлял, и размышлял серьезно: несчастнее, чем сейчас, я никогда не буду».

Госпожа де Ла Помере: «Вы можете и ошибаться».

Жак. Ах, предательница!

Маркиз: «Вот, наконец, дорогая моя, поручение, которое я, как мне кажется, могу передать вам, не оскорбляя вашего достоинства. Повидайтесь с матерью и дочерью: расспросите мать, узнайте чувства дочери и сообщите им о моем намерении».

Госпожа де Ла Помере: «Не торопитесь, маркиз. Я думала, что знаю их в той мере, в какой мне до сих пор было нужно. Но когда речь идет о счастье моего друга, он позволит мне осведомиться о них подробнее. Я наведу справки о них на их родине и обещаю вам проследить их жизнь в Париже шаг за шагом».

Маркиз: «Эти предосторожности кажутся мне излишними. Бедные женщины, не поддавшиеся соблазнам, которые я им предлагал, могут быть только исключительными существами. Перед такими обещаниями не устояла бы даже герцогиня. К тому же не сами ли вы говорили...»

Госпожа де Ла Помере: «Да, я вам это говорила; но разрешите мне удовлетворить мое желание».

Жак. Сука! Мерзавка! Подлая тварь! И зачем только сходятся с такой женщиной!

Хозяин. А зачем было соблазнять ее, а после бросить?

Трактирщица. Зачем было бросать ее без всякой причины?

Жак *(указывая на небо)*. Сударь!

Маркиз: «Почему бы и вам, маркиза, не выйти замуж?»

Госпожа де Ла Помере: «За кого прикажете?»

Маркиз: «За молодого графа: он умен, знатен, богат».

Госпожа де Ла Помере: «А кто поручится мне за его верность? Уж не вы ли?»

Маркиз: «Нет; но мне кажется, что верность мужа — вещь второстепенная».

Госпожа де Ла Помере: «Согласна; но при всем том я, пожалуй, могу обидеться, а я мстительна».

Маркиз: «Ну так что же? Вы отомстите: это в порядке вещей. Мы сообща снимем особняк и составим вчетвером приятнейшее общество».

Госпожа де Ла Помере: «Все это прекрасно; но я не выйду замуж. Единственный человек, которого я, быть может, могла выбрать в мужья...»

Маркиз: «Это я?»

Госпожа де Ла Помере: «Могу сознаться в этом теперь, когда все кончено».

Маркиз: «А почему вы не сказали мне этого раньше?»

Госпожа де Ла Помере: «Факты доказывают, что я поступила разумно. Та, которую вы избрали, подходит вам во всех отношениях больше, чем я».

Трактирщица. Госпожа де Ла Помере навела справки так тщательно и быстро, как ей хотелось. Она предъявила мар-

кизу самые лестные отзывы, одни из Парижа, другие из провинции. Затем она предложила ему обождать еще две недели, чтобы обдумать окончательно. Эти две недели показались ему вечностью; наконец маркиза была вынуждена уступить его нетерпению и просьбам. Первое свидание произошло у приятельниц; договорились обо всем, устроили помолвку, подписали брачный контракт; маркиз преподнес госпоже де Ла Помере великолепный алмаз, и брак был заключен.

Жак. Какое коварство и какая месть!

Хозяин. Она непостижима.

Жак. Избавьте меня от разочарования первой брачной ночи; до этого момента я не вижу никакой особенной беды.

Хозяин. Молчи, простофиля!

Трактирщица. Брачная ночь сойдет отлично.

Жак. А я думал...

Трактирщица. Думайте то, что сказал вам хозяин... (И, говоря это, она улыбалась и, улыбаясь, провела рукой по лицу Жака и прищемила ему пальцами нос.) Но это случилось на следующий день...

Жак. Разве на следующий день не повторилось то же самое?

Трактирщица. Не совсем. На следующий день госпожа де Ла Помере написала маркизу письмецо, приглашая его заехать к ней по важному делу. Маркиз не заставил себя ждать.

Когда маркиза приняла его, лицо ее выражало сильнейшее негодование. Речь ее была краткой. Вот она:

«Маркиз,— сказала госпожа де Ла Помере,— узнайте меня поближе. Если бы все женщины достаточно уважали себя, чтоб карать обиду так, как я, то люди, подобные вам, были бы редкостью. Вам досталась честная женщина — я; она отомстила, женив вас на особе, которая вполне вас достойна. Уходите отсюда и наведайтесь на улицу Травестьер, в гостиницу «Гамбург», вам расскажут там про грязное ремесло, которым ваша жена и теща занимались в течение десяти лет под именем д'Энон».

Трудно передать изумление и смущение бедного маркиза. Он не знал, что подумать; но его сомнения длились не дольше, чем ему было нужно, чтобы проскакать с одного конца города до другого. Домой он в этот день не возвращался; он бродил по улицам. Теща и жена возымели некоторые подозрения относительно того, что случилось. При первом ударе входного молотка теща бросилась в свои покои и заперлась на ключ; жена стала ждать одна. Увидев супруга, она прочитала на его лице овладев-

шее им бешенство. Она упала перед ним на колени и молча прижалась головой к паркету.

«Уходите, низкая женщина! — произнес он.— Прочь от меня!..»

Она попыталась подняться, но упала, ударившись лбом об пол и протянув руки к ногам маркиза.

«Сударь,— простонала она,— попирайте меня, топчите меня: я этого заслуживаю; делайте со мной все, что угодно, но пощадите мою мать...»

«Уходите,— повторил маркиз,— уходите! Достаточно того позора, которым вы меня покрыли; избавьте меня от преступления...»

Несчастная осталась в том положении, в котором была, и ничего не ответила. Маркиз сидел в кресле, сжимая голову руками; тело его свисало набок, и он то и дело повторял:

«Уйдите!»

Молчание и неподвижность бедняжки поразили его; он повторил еще громче:

«Уходите! Разве вы меня не слышите?..»

Затем он нагнулся, сильно толкнул ее и, заметив, что она без чувств и почти без жизни, схватил ее за талию, положил на диван и на мгновение остановил на ней взгляд, в котором поочередно сменялись гнев и жалость. Он позвонил; вошли лакеи; позвали служанок, которым маркиз сказал:

«Унесите вашу госпожу, ей дурно; перенесите ее в комнату и позаботьтесь о ней...»

Спустя несколько минут он потихоньку послал узнать, как она себя чувствует. Ему сказали, что она пришла в себя от первого обморока, но что припадки продолжаются, что они часты и длительны и что нельзя ни за что поручиться. Час или два спустя он снова послал украдкой проведать о ее состоянии. На этот раз ему сообщили, что она задыхается и что у нее появилась какая-то очень громкая икота, которую слышно на весь двор. В третий раз — дело было под утро — ему доложили, что она долго плакала, что икота утихла и больная как будто задремала.

На следующий день маркиз приказал заложить карету и исчез на две недели; никто не знал, куда он девался. Однако перед отъездом он позаботился обо всем необходимом для матери и дочери и приказал слушаться жены, как самого себя.

В течение этого времени обе женщины пребывали наедине друг с другом и почти не разговаривали; дочь плакала, иногда начинала стонать, рвала на себе волосы, а мать не смела к ней подойти, чтобы ее утешить. У одной на лице отражалось отчая-

ние, у другой — ожесточение. Дочь раз двадцать говорила матери: «Мама, уйдем отсюда, бежим». И столько же раз мать противилась этому и возражала: «Нет, дочка, надо остаться; посмотрим, что будет. Не убьет же нас этот человек!..» — «О боже,— стонала дочь,— пусть бы уж он нас убил». Мать отвечала: «Ты бы лучше молчала и не говорила глупостей».

По возвращении маркиз заперся в своем кабинете и написал два письма: одно — жене, другое — теще. Теща уехала в тот же день и поселилась в кармелитском монастыре соседнего города, где умерла недавно. Дочь оделась и дотащилась до покоев мужа, куда он, по-видимому, приказал ей явиться. Переступив порог, она упала на колени.

«Встаньте»,— сказал ей маркиз.

Но, вместо того чтоб подняться, она потащилась к нему ползком, дрожа всем телом; волосы ее разметались, корпус несколько перегнулся вперед, руки свисали, голова была откинута назад, взгляд устремлен в его глаза, лицо в слезах.

«Мне кажется,— сказала она, прерывая каждое слово рыданием,— что ваше сердце, справедливо разгневанное, смягчилось и что, быть может, со временем я заслужу прощение. Умоляю вас, сударь, не торопитесь меня прощать. Столько честных девушек стали бесчестными женами; быть может, я явлю собой пример противного. Я еще недостойна того, чтобы вы со мной сблизились; повремените, но оставьте мне надежду на прощение. Удалите меня от себя; вы увидите мое поведение, вы сможете судить о нем; я буду счастлива, безмерно счастлива, если вы удостоите изредка звать меня к себе. Укажите мне самый отдаленный уголок в вашем доме, где мне будет позволено жить; я останусь там безропотно. Ах, если б я могла совлечь с себя имя и титул, которые меня заставили украсть, и после этого умереть,— я тотчас же сделала бы это, чтобы угодить вам. Слабость, соблазн, чужой авторитет, угрозы побудили меня совершить гнусный поступок; но не думайте, сударь, что у меня злобный нрав: нет, это не так, раз я не поколебалась явиться к вам, когда вы меня позвали, и осмеливаюсь теперь посмотреть вам в глаза и говорить с вами. Ах, если бы вы могли читать в моем сердце и видеть, как далеки от меня прежние прегрешения, как чужды замашки мне подобных! Разврат коснулся меня, но не пристал ко мне. Я знаю себя и отдаю себе отчет в том, что по своим вкусам, чувствам, характеру я родилась достойной чести вам принадлежать. О, если бы в ту пору я могла с вами свободно видеться, то стоило бы сказать одно только слово,— и, кажется, у меня хватило бы на это мужества. Сударь, располагайте мной

по своему усмотрению: прикажите своим людям войти, пусть отнимут у меня все, пусть бросят на улицу — я на все согласна. Какую бы судьбу вы мне ни уготовили, я подчинюсь: отдаленное поместье, мрак монастыря удалят меня с ваших глаз навсегда; прикажите, и я отправлюсь туда. Ваше счастье еще не погублено навеки, и вы можете меня забыть...»

«Встаньте,— мягко сказал маркиз,— я вас простил: даже в минуту нанесенного мне оскорбления я уважал в вас свою супругу; с моих уст не сорвалось ни одного слова, которое унизило бы вас, и, во всяком случае, я раскаиваюсь, если и допустил его, и вам никогда больше не придется услышать ничего унизительного, если вы запомните, что нельзя сделать своего супруга несчастным, не разделив его участи. Будьте честны, будьте счастливы и постарайтесь, чтоб и мне выпала та же доля. Встаньте, прошу вас, жена моя, встаньте и поцелуйте меня; встаньте, маркиза, вам не пристала такая поза; встаньте, госпожа Дезарси!..»

Во время этой речи она закрыла лицо руками и склонила голову на колени маркиза; но при словах «жена моя» и «госпожа Дезарси» она поднялась, бросилась к мужу и обняла его, почти задыхаясь от страдания и восторга; затем она отпустила его, упала наземь и принялась целовать ему ноги.

«Ах! — воскликнул маркиз.— Ведь я сказал вам, что я простил; но я вижу, что вы этому не верите».

«Суждено, чтобы это произошло так и чтобы я никогда вам не верила»,— отвечала она.

Маркиз же добавил:

«Право, я ни в чем не раскаиваюсь, и эта Помере, вместо того чтоб отомстить, оказала мне великую услугу. Жена моя, пойдите оденьтесь; тем временем уложат наши чемоданы. Мы отправимся в мое поместье и останемся там, пока не сможем показаться здесь без всяких неприятных последствий для вас и для меня...»

Они почти три года не были в столице.

Жак. Бьюсь об заклад, что эти три года протекли как один день, что маркиз Дезарси оказался превосходнейшим мужем и что ему досталась превосходнейшая жена.

Хозяин. Участвую в половине, хотя, право, не знаю — почему, так как я был далеко не в восторге от нее во время всех махинаций ее матери и госпожи де Ла Помере. Ни минуты боязни, никаких колебаний, никаких угрызений совести; она подчинялась этому бесконечному обману без всякого отвращения. Все, что от нее требовали, она беспрекословно испол-

няла; она исповедовалась, причащалась, смеялась над религией и ее служителями. Она казалась мне такой же лживой, такой же презренной, такой же злобной, как и обе другие... Хозяюшка, вы недурно рассказываете, но вы еще не проникли во все глубины драматического искусства. Если вы хотите, чтоб эта молодая девушка заинтересовывала, то надо было наделить ее чистосердечием и показать нам ее в роли невинной жертвы, действующей под давлением матери и госпожи де Ла Помере; надо было сделать так, чтобы жесточайшее обращение принудило ее против воли участвовать в ряде непрерывных злодеяний в течение года, и таким образом подготовить примирение мужа и жены. Когда выводят на сцену персонаж, то роль его должна быть цельной; а потому, милая хозяюшка, разрешите спросить вас: неужели девушка, строящая козни вместе с двумя негодяйками,— это та самая жена, которую вы видели у ног ее мужа? Вы погрешили против правил драматургии: все это было бы дико и для Аристотеля, и для Горация, и для Лебоссю, и для Вида.

Трактирщица. Я рассказывала не для вида, а так, как все было на деле, ничего не опуская, ничего не прибавляя. Но кто знает, что происходило в глубине сердца этой молодой девушки, и не грызло ли ее тайное отчаяние в те самые минуты, когда она, казалось, поступала особенно дурно!

Жак. На сей раз, хозяйка, я согласен с мнением моего господина и надеюсь, что он мне простит, так как это редко со мной случается; я согласен также с его Вида, которого я не знаю, и с прочими названными им господами, тоже мне неизвестными. Если бы мадемуазель Дюкенуа, бывшая д'Энон, была порядочной девушкой, это было бы заметно.

Трактирщица. Порядочная или не порядочная, а из нее вышла отличная жена, муж с нею чувствует себя как король и не променяет ее ни на кого.

Хозяин. Поздравляю его: он более удачлив, чем благоразумен.

Трактирщица. Пожелаю вам доброй ночи. Уже поздно, а мне полагается ложиться последней и вставать первой. Проклятое ремесло! Спокойной ночи, господа, спокойной ночи! Я обещала вам, не помню уж по какой причине, историю нелепого брака и, кажется, сдержала свое слово. Господин Жак, вам нетрудно будет заснуть: у вас глаза уже слипаются. Прощайте, господин Жак.

Хозяин. Неужели, хозяюшка, никак нельзя познакомиться с вашими собственными похождениями?

Трактирщица. Нет.

Жак. Вы, видно, страстный любитель рассказов?

Хозяин. Это правда; я нахожу их поучительными и забавными. Хороший рассказчик — редкое явление.

Жак. Вот почему я и не люблю рассказов, разве только когда сам рассказываю.

Хозяин. Ты предпочитаешь плохо рассказывать, чем молчать?

Жак. Пожалуй.

Хозяин. А я предпочитаю, чтобы плохо рассказывали, чем вовсе ничего не слушать.

Жак. Это устраивает нас обоих.

Не знаю, каковы были мысли трактирщицы, Жака и его Хозяина, если они не нашли ни одного оправдания для мадемуазель Дюкенуа. Разве эта девушка могла оценить коварный замысел госпожи де Ла Помере? Разве она не была готова принять предложения маркиза и не предпочла бы сделаться его любовницей, нежели женой? Разве она не находилась непрестанно под угрозами и деспотической властью маркизы? Можно ли осуждать ее за сугубое отвращение к своему гнусному ремеслу? А если проникнуться к ней за это уважением, то вправе ли мы требовать от нее особенной деликатности, особенной щепетильности в выборе способов, чтобы с ним развязаться?

Но не полагаете ли вы, читатель, что более удачную апологию госпоже де Ла Помере состряпать было бы труднее? Вы, может быть, предпочли бы послушать по этому поводу беседу Жака и его Хозяина? Но им предстояло еще обсудить столько значительно более интересных вещей, что они, вероятно, пренебрегли бы этой темой. Позвольте же мне на минутку заняться ею.

Вас охватывает бешенство при имени госпожи де Ла Помере, и вы восклицаете: «Вот ужасная женщина! Вот лицемерка! Вот злодейка!..» Оставьте восклицания, оставьте возмущение, оставьте пристрастия; давайте обсудим. Ежедневно совершаются еще более гнусные поступки, но без всякой изобретательности. Вы можете ненавидеть госпожу де Ла Помере, можете ее бояться; однако презирать ее вы не станете. Месть ее страшна, но не запятнана никакими корыстными мотивами. Вам не сказали, что она бросила маркизу в лицо прекрасный алмаз, который он ей преподнес: однако она так именно и поступила: я знаю это из вернейших источников. Она не стремилась ни

увеличить свое состояние, ни приобрести какой-либо почетный титул. Как? Если б эта женщина совершила нечто подобное, чтобы наградить своего мужа за его заслуги, если б она отдалась министру или хотя бы правителю канцелярии ради орденской ленты или майорского чина или хранителю списка бенефициев ради доходного аббатства,— это показалось бы вам естественным, и вы сослались бы на обычай; а когда она мстит за вероломство, вы возмущаетесь, не отдавая себе отчета в том, что вы просто не способны почувствовать такое же глубокое негодование, как она, или почти не цените женской добродетели. Подумали ли вы о жертвах, которые госпожа де Ла Помере принесла маркизу? Не стану говорить вам о том, что ее кошелек был для него всегда открыт и что она подчинялась всем его прихотям и желаниям, что она перестроила свою жизнь. Она пользовалась в обществе величайшим уважением благодаря строгости своих нравов; а теперь она спустилась до общего уровня. Когда она уступила ухаживаниям маркиза, про нее говорили: «Наконец-то эта безупречная госпожа де Ла Помере стала такой же, как мы...» Она замечала иронические улыбки, слышала шутки, нередко краснела от них и опускала взор; она испила всю чашу горечи, уготованной женщине, чье безукоризненное поведение являлось упреком для окружавших ее дурных нравов; ей пришлось перенести скандальную огласку, при помощи которой мстят неосторожным святошам, притворяющимся честными женщинами. Она была гордой и предпочла бы умереть от боли, нежели появиться в свете осмеянной и заклейменной позором отвергнутой добродетели и брошенной любовницы. Такой был у нее характер, что это происшествие осуждало ее на тоску и уединение. Мужчины убивают друг друга из-за жеста или из-за намека, а порядочной женщине — оскорбленной, обесчещенной, обманутой — нельзя бросить предателя в объятия куртизанки? Ах, читатель, вы очень легкомысленны в своих похвалах и очень строги в своих порицаниях! Но, может быть, вы скажете, что упрекаете маркизу не столько за самое действие, сколько за прием, что не одобряете этой упорной злобы, всего злого клубка обманов и лжи, продолжавшихся чуть ли не целый год. Ни я, ни Жак, ни его Хозяин, ни трактирщица тоже этого не одобряем. Но вы всё прощаете первому побуждению, а я замечу вам, что если оно у одних бывает мимолетным, то у госпожи де Ла Помере и женщин с подобным характером оно тянется долго. Душа их иногда всю жизнь остается под впечатлением первой минуты обиды; а что в этом дурного или несправедливого? Я усматриваю в ее поступке не совсем обычную месть; я готов

одобрить закон, который осуждал бы на общение с куртизанками мужчину, соблазнившего и бросившего порядочную женщину: развратный мужчина должен быть достоянием развратных женщин.

Пока я рассуждаю, Хозяин Жака храпит с таким видом, словно он меня слушает, а сам Жак, которому ножные мускулы отказываются служить, бродит босиком и в рубахе по комнате, опрокидывая все, что попадается под руку, и будит своего Хозяина.

— Жак, ты пьян,— говорит Хозяин из-за полога.

— Вроде того.

— В котором часу ты намерен лечь спать?

— Сейчас, сударь. Дело в том... дело в том...

— В чем дело?

— В бутылке есть еще остатки, которые могут выдохнуться. Я ненавижу початые бутылки: они будут мне мерещиться, как только я лягу, и тогда — прощай сон. Честное слово, наша хозяйка — отличная женщина, и ее шампанское — отличное винцо; было бы жаль, если б оно выдохлось... Вот оно почти все уже и в безопасности... теперь не выдохнется...

И, продолжая болтать, Жак в рубахе и босиком сделал несколько глотков без знаков препинания, как он выражался, то есть из бутылки в стакан и из стакана в глотку. Существуют две версии относительно того, что случилось после того, как он потушил свечу. Одни утверждают, будто он стал пробираться ощупью вдоль стены, не находя своей кровати и приговаривая: «Право слово, ее нет, а если и есть, то свыше предначертано, что я ее не найду; в том и в другом случае придется обойтись без нее»,— после чего он решил расположиться в двух креслах. По уверениям других, свыше было предначертано, что Жак запутается ногами между кресел, упадет на пол и пролежит там до утра. Завтра или послезавтра вы трезво обсудите, которая из этих двух версий вам более по душе.

Оба наши путешественника, улегшиеся поздно и несколько одурманенные вином, спали долго: Жак — на полу или на двух креслах, в зависимости от версии, которую вы предпочтете, Хозяин — с бóльшими удобствами, на своей постели. Трактирщица поднялась к ним и объявила, что день не обещает быть хорошим, но что если бы даже погода позволила им продолжать путь, то они рисковали бы жизнью или были бы задержаны разлившимся потоком, через который им надлежало переправиться. Несколько всадников, не пожелавших ей поверить, уже вернулись. Хозяин спросил Жака:

— Как быть?

Жак ответил:

— Сперва позавтракаем с нашей хозяйкой: это нас надоумит.

Та подтвердила, что это мудрая мысль. Подали завтрак. Трактирщица не прочь была повеселиться; Хозяин готов был ее поддержать. Но Жак страдал: он ел нехотя, пил мало, молчал. Последний симптом особенно внушал тревогу: это было последствие плохо проведенной ночи и скверной постели, на которой он спал. Он жаловался на боль во всем теле; его осипший голос указывал на простуженное горло. Хозяин посоветовал ему прилечь, но он не пожелал. Трактирщица предложила ему луковый суп. Он попросил, чтобы протопили комнату, так как его знобит, приготовили ему ячменный отвар и принесли бутылку белого вина,— все это было незамедлительно исполнено. И вот трактирщица ушла, и Жак со своим Хозяином остались наедине. Хозяин подходил к окну, говорил: «Чертовская погода!»,— смотрел на свои часы (единственные, которым он доверял), брал понюшку табаку, не преминув повторить всякий раз свое восклицание: «Чертовская погода!»,— обращался к Жаку и добавлял: «Отличный случай докончить историю твоих любовных приключений! Но когда болен, плохо рассказываешь о любви и прочих вещах. Посмотри, проверь себя: если можешь продолжать, то продолжай, а если нет, то выпей свой отвар и спи».

Жак полагал, что молчание ему вредно, что он животное болтливое и что важнейшее преимущество его службы, особенно им ценимое, заключалось в возможности наверстать те двенадцать лет, которые он провел с кляпом во рту у своего дедушки,— да смилуется над ним господь!

Хозяин. Так рассказывай же, раз это доставляет удовольствие нам обоим. Ты остановился на каком-то бесчестном предложении лекарской жены: речь шла, кажется, о том, чтобы выставить того, кто пользовал обитателей замка, и посадить на его место ее мужа.

Жак. Вспомнил! Но, простите, минуточку. Надо промочить горло.

Он наполнил большой кубок отваром, налил туда немного белого вина и выпил до дна. Этот рецепт он заимствовал у своего капитана, а господин Тиссо, заимствовавший его у Жака, рекомендует это снадобье в своем трактате о народных болезнях. Белое вино, говорят Жак и господин Тиссо, способствует мочеиспусканию, является мочегонным средством, придает вкус

отвару и поддерживает тонус желудка и кишок. Выпив стакан своего лекарства, Жак продолжал:

— Итак, я вышел из лекарского дома, сел в коляску, прибыл в замок и очутился среди его обитателей.

Хозяин. А тебя там знали?

Жак. Конечно. Помните некую женщину с крынкой масла?

Хозяин. Отлично помню.

Жак. Эта женщина была поставщицей управляющего и челяди. Жанна растрезвонила всем в замке о милосердии, которое я проявил к ней; это дошло до владельца; от него не скрыли удары ногами и кулаками, которыми я был награжден за свою доброту ночью на большой дороге. Он приказал разыскать меня и перенести к нему. Вот я там. Меня осматривают, расспрашивают, мной восхищаются. Жанна обнимает меня и благодарит.

«Устройте его поудобнее,— говорит сеньор слугам,— и пусть у него ни в чем не будет недостатка... А вы,— обратился он к врачу,— навещайте его поаккуратнее...»

Все было в точности исполнено. Ну-с, сударь, кто знает, что предначертано свыше? И пусть теперь рассудят, хорошо ли, плохо ли отдавать свои деньги, несчастье ли быть избитым... Не случись этих двух обстоятельств, господин Деглан никогда бы не слыхал о Жаке.

Хозяин. Господин Деглан! Сеньор де Мирмон! Так ты был в Мирмонском замке у моего старого друга, отца господина Деформа, интенданта провинции?

Жак. Совершенно верно. И юная брюнетка со стройной талией, с черными глазами...

Хозяин. Это Дениза, дочь Жанны?

Жак. Она самая.

Хозяин. Ты прав, это одно из самых красивых и добродетельных созданий на двадцать лье в окружности. Я и большинство посетителей замка Дегланов тщетно предпринимали все, что только от нас зависело, чтобы ее соблазнить; не было среди нас ни одного, кто не совершил бы ради нее величайших глупостей, при условии, что она сделает ради него одну маленькую.

Так как Жак молчал, то Хозяин спросил его:

— О чем ты задумался? Что ты бормочешь?

Жак. Я бормочу молитву.

Хозяин. Разве ты молишься?

Жак. Иногда.

Хозяин. Что же ты говоришь?

Жак. Я говорю: «О создатель великого свитка, чей перст начертал свыше все письмена! Кто бы ты ни был, ты всегда

знал то, что мне суждено; да будет благословенна воля твоя! Аминь».

Хозяин. Ты с таким же успехом мог бы помолчать.

Жак. Быть может — да, быть может — нет. Я молюсь на всякий случай и, что бы ни случилось, не стану ни радоваться этому, ни жаловаться, если только буду владеть собой; но, к сожалению, я непостоянен и причудлив, я забываю принципы моего капитана, я смеюсь и плачу, как дурак.

Хозяин. Разве твой капитан никогда не плакал и не смеялся?

Жак. Редко... Однажды утром Жанна привела свою дочь и, обращаясь сперва ко мне, сказала: «Сударь, вы находитесь в прекрасном замке, где вам будет лучше, чем у вашего лекаря. О, в особенности вначале: за вами будут превосходно ухаживать; но я знаю слуг, я достаточно долго служу сама: мало-помалу их усердие остынет. Хозяева не будут больше думать о вас; и если ваша болезнь затянется, то вас забудут — да так забудут, что, явись у вас фантазия умереть с голоду, вам никто не воспрепятствует...» Затем, обращаясь к дочери, она продолжала: «Слушай, Дениза, я хочу, чтобы ты навещала этого человека четыре раза в день: утром, в обеденное время, в пять часов и за ужином. Я хочу, чтоб ты повиновалась ему, как мне самой. Поняла? Смотри, чтоб это было исполнено!»

Хозяин. Знаешь ли ты, что случилось с бедным Дегланом?

Жак. Нет, сударь; но если мои пожелания о его благополучии не осуществились, то не потому, что были неискренни. Он пристроил меня к командору де Лабуле, погибшему по пути на Мальту; командор пристроил меня к своему старшему брату, капитану, который, быть может, умер теперь от свища; капитан пристроил меня к младшему брату, генеральному прокурору в Тулузе, который сошел с ума и которого родня поместила в сумасшедший дом. Господин Паскаль, генеральный прокурор в Тулузе, поместил меня к графу де Турвилю, предпочитавшему отрастить бороду в капуцинской рясе, нежели рисковать жизнью; граф Турвиль поместил меня к маркизу дю Белуа, бежавшему в Лондон с иностранцем; а маркиз дю Белуа поместил меня к одному из своих двоюродных братьев, разорившемуся на женщин и удравшему на Антильские острова; этот двоюродный брат рекомендовал меня господину Герисану, завзятому ростовщику, размещавшему деньги господина де Рузе, сорбоннского доктора, а де Рузе пристроил меня к мадемуазель Ислен, вашей содержанке, поместившей меня к вам, которому

я, согласно вашему обещанию, буду обязан куском хлеба на старости лет, если останусь вам верен, а для нашей разлуки как будто нет причин. Жак создан для вас, а вы — для Жака.

Хозяин. Ты переменил немало хозяев за короткий срок.

Жак. Да, меня иногда прогоняли.

Хозяин. За что?

Жак. Я родился болтливым, а все эти люди хотели, чтобы я молчал. Не то что у вас, где я был бы уволен на другой же день, если бы вдруг умолк. Я обладаю пороком, который вам как раз по душе. Но что случилось с господином Дегланом? Расскажите мне, пока я приготовлю себе глоток отвара.

Хозяин. Ты жил у него в замке и никогда не слыхал про его пластырь?

Жак. Нет.

Хозяин. Эту историю мы прибережем на дорогу; а та, другая, чересчур коротка. Он составил себе состояние игрой. Любовь свела его с одной женщиной, которую ты, быть может, видел в замке,— женщиной умной, серьезной, молчаливой, оригинальной и суровой. Однажды она сказала ему: «Или вы любите меня больше игры — тогда дайте слово, что не будете играть; или вы любите игру больше меня — и тогда не говорите мне о ваших чувствах и играйте сколько угодно». Деглан дал слово, что не будет больше играть. «Ни по крупной, ни по маленькой?» — «Ни по крупной, ни по маленькой». Лет десять жили они в известном тебе замке, когда Деглану, отправившемуся в город по делу, выпало несчастье повстречать у нотариуса старого своего партнера по брелану, который затащил его обедать в какой-то притон. Там Деглан в один присест проиграл все свое состояние. Его возлюбленная оказалась неумолима. Она была богата; назначив Деглану скромную пенсию, она рассталась с ним навсегда.

Жак. Жаль; он был порядочным человеком.

Хозяин. Как твое горло?

Жак. Плохо.

Хозяин. Оттого, что ты много говоришь и мало пьешь.

Жак. Я не люблю ячменного отвара и люблю говорить.

Хозяин. Итак, Жак, ты у Деглана, возле Денизы, а Денизе мать приказала навещать тебя по меньшей мере четыре раза в день. Ах, плутовка! Предпочесть какого-то Жака!

Жак. Какого-то Жака! Какой-то Жак, сударь,— такой же человек, как и всякий другой.

Хозяин. Ошибаешься, Жак: какой-то Жак не такой же человек, как всякий другой.

Жак. Иногда он лучше всякого другого.

Хозяин. Жак, ты забываешься! Продолжай историю своих любовных похождений и помни, что ты есть и всегда будешь только каким-то Жаком.

Жак. Если бы в лачуге, где мы нарвались на грабителей, Жак не оказался чуть-чуть потолковей своего господина...

Хозяин. Жак, ты нахал! Ты злоупотребляешь моей добротой. Если я имел глупость сдвинуть тебя с места, то сумею водворить тебя обратно. Жак, возьми свою бутылку и свой котелок и ступай вниз.

Жак. Хорошо вам говорить, сударь; я чувствую себя здесь отлично и не сойду вниз.

Хозяин. А я говорю тебе, чтоб ты спустился.

Жак. Я уверен, что вы сказали это не всерьез. Как, сударь, после того как в течение десяти лет вы приучали меня жить с вами запанибрата...

Хозяин. Мне угодно, чтоб это прекратилось.

Жак. После того как вы столько времени терпели все мои наглости...

Хозяин. Я не желаю их больше терпеть.

Жак. После того как вы сажали меня за свой стол, называли своим другом...

Хозяин. Ты не знаешь, что значит слово «друг», когда старший называет так своего подчиненного.

Жак. Все знают, что ваши приказания не стоят ломаного гроша, если они не одобрены Жаком. И после того как вы связали свое имя с моим столь прочно, что одно стало неотделимо от другого и все привыкли говорить: «Жак и его Хозяин»,— вам вдруг вздумалось их разъединить! Нет, сударь, этому не бывать. Свыше предначертано, что, пока жив Жак, пока жив его Хозяин и даже после того, как оба они умрут, всегда будут говорить: «Жак и его Хозяин».

Хозяин. А я говорю, Жак, что ты сойдешь вниз, и сойдешь немедленно, так как я тебе приказываю.

Жак. Сударь, прикажите мне что угодно, кроме этого, если хотите, чтоб я послушался.

Тут Хозяин встал, взял Жака за петлю камзола и сказал серьезно:

— Ступай вниз.

Жак невозмутимо ответил:

— Не пойду.

Хозяин, крепко встряхнув его, повторил:

— Ступай вниз, грубиян! Слушайся!

Жак снова возразил:

— Грубиян — если вам так угодно; но грубиян не сойдет вниз. Слушайте, сударь: что я раз себе втемяшил, того колом не выбьешь, как говорит пословица. Напрасно вы кипятитесь: Жак останется там, где был, и не сойдет вниз.

Тут Жак и его Хозяин, которые сдерживались до этой минуты, теряют власть над собой и кричат во всю глотку:

— Сойдешь!

— Не сойду!

— Сойдешь!

— Не сойду!

На этот шум прибегает трактирщица и осведомляется о случившемся. Сперва ей на это ничего не отвечают, а только продолжают кричать: «Сойдешь!» — «Не сойду!» Но затем Хозяин, у которого было тяжело на сердце, стал прохаживаться по комнате и цедить сквозь зубы: «Видано ли что-нибудь подобное?» Удивленная трактирщица стояла перед ними: «Господа, что случилось?»

Жак с прежним хладнокровием ответил:

— У Хозяина неладно в голове, он сумасшедший.

Хозяин. Ты хочешь сказать: «дурак»?

Жак. Как угодно вашей милости.

Хозяин (*обращаясь к трактирщице*). Вы слышали?

Трактирщица. Он не прав; но мир, господа, мир! Пусть говорит кто-нибудь один, чтоб я поняла, о чем идет речь.

Хозяин *(Жаку)*. Говори, грубиян.

Жак *(Хозяину)*. Говорите сами.

Трактирщица *(Жаку)*. Ну-с, господин Жак, начинайте; хозяин вам приказывает; в конце концов хозяин — это хозяин...

Жак дал разъяснение трактирщице. Выслушав его, она сказала:

— Господа, согласны ли вы взять меня в посредники?

Жак и его Хозяин *(в один голос)*. Охотно, охотно, хозяюшка.

Трактирщица. И обязуетесь честным словом исполнить решение?

Жак и его Хозяин. Честное слово, честное слово!..

Тогда трактирщица, усевшись за стол и приняв тон и позу строгого судьи, сказала:

— Заслушав заявление господина Жака и приняв во внимание факты, доказывающие, что его хозяин — добрый, очень добрый, слишком добрый хозяин, а Жак — неплохой слуга, хотя

Жак-фаталист и его Хозяин

и несколько склонный смешивать полное и неотчуждаемое владение с временным и безосновательным пользованием, я аннулирую равенство, установившееся между ними с течением времени, и тотчас же его восстанавливаю. Жак сойдет вниз и, сойдя вниз, снова поднимется; ему будут возвращены все прерогативы, коими он до сих пор пользовался. Хозяин протянет ему руку и скажет дружески: «Здравствуй, Жак, очень рад снова тебя видеть...» А Жак ему ответит: «А я, сударь, рад вновь вас найти...» И я запрещу когда-либо вспоминать об этом деле и возвращаться к вопросу о прерогативах хозяина и слуги. Нам угодно, чтобы один приказывал и чтобы права одного и обязанности другого оставались такими же неопределенными, как это было раньше.

Вынеся это постановление, которое она заимствовала из современного произведения, написанного по поводу точно такой же ссоры и где от одного конца королевства до другого хозяин кричал слуге: «Сойди вниз!» — а слуга кричал, в свою очередь: «Не сойду!» — трактирщица сказала Жаку:

— Дайте мне руку без дальнейших рассуждений...

Жак с прискорбием воскликнул:

— Значит, свыше было предначертано, что я сойду вниз!..

Трактирщица. Свыше предначертано, что когда поступаешь в услужение к хозяину, то надо слушаться, подчиняться, идти вперед, отступать назад, останавливаться, причем ноги не властны ослушаться приказаний головы. Дайте мне руку и выполняйте то, что велено...

Жак подал руку хозяйке, но не успели они переступить порог, как Хозяин бросился к Жаку, обнял его, отпустил Жака, обнял трактирщицу и, обнимая того и другого, воскликнул:

— Свыше предначертано, что я никогда не отделаюсь от этого чудака и, пока я буду жив, он останется моим господином, а я его слугой...

А трактирщица добавила:

— И, насколько можно судить, вы оба в этом не раскаетесь.

Трактирщица, уладив ссору, которую она приняла за первую и которая по сути была сотой в числе других такого же рода, усадила Жака и отправилась по своим делам, а Хозяин сказал Жаку:

— Теперь, когда мы обрели хладнокровие, то, по здравом рассуждении, не следует ли...

Жак. Следует, давши слово, его держать; и раз мы обязались честью не возвращаться к этому делу, то незачем о нем и говорить.

Хозяин. Ты прав.

Жак. Но, не возвращаясь к этому делу, не могли ли бы мы разумным соглашением предотвратить на будущее сотни других таких же размолвок?

Хозяин. Согласен.

Жак. Пункт первый: поскольку свыше предначертано, что я вам необходим и что вы, как мне о том ведомо, не можете обойтись без меня, я буду злоупотреблять этими преимуществами всякий раз, как мне представится случай.

Хозяин. Помилуй, Жак, кто же устанавливал подобные оговорки?

Жак. Устанавливал или не устанавливал, а так повелось с давних времен, так ведется теперь и будет вестись до скончания веков. Неужели вы думаете, что другие не пытались избавиться от этого постановления и что вы хитрее их? Откажитесь от этой мысли и подчинитесь закону необходимости, преступить который не в ваших силах.

Пункт второй: поскольку Жак не может не знать своего влияния и своей власти над Хозяином, а Хозяин — не признавать своей слабости и отделаться от снисходительности, то Жак будет и дальше дерзить, а Хозяин, в целях сохранения мира,— не замечать этого. Все это устроено без нашего ведома, все было скреплено свыше в то время, когда природа создавала Жака и его Хозяина. Предначертано, что вы получите звание, а я — права. Не пытайтесь противиться воле природы: это пустая затея.

Хозяин. Но в таком случае твоя доля лучше моей.

Жак. А кто это оспаривает?

Хозяин. Но в таком случае мне остается только занять твое место, а тебе — мое.

Жак. Знаете, что бы тогда произошло? Вы потеряли бы звание и не приобрели бы прав. Останемся же такими, какими мы были; честное слово, мы оба недурны, и пусть остаток нашей жизни послужит для создания поговорки.

Хозяин. Какой поговорки?

Жак. «Жак правит своим Хозяином». Мы будем первыми, про которых это скажут, а затем начнут повторять про тысячи других, гораздо лучших, чем мы с вами.

Хозяин. Я нахожу это тягостным, очень тягостным.

Жак. Хозяин, дорогой Хозяин, вы напрасно топчете шипы: они лишь больней врежутся. Итак, мы договорились.

Хозяин. Какая цена такому договору, раз закон непреложен?

Жак. Большая. Разве бесполезно раз навсегда четко и ясно установить, чего держаться? Все наши ссоры происходили

до сих пор по одной причине: мы недостаточно определенно сговорились, что вы будете называться моим Хозяином, а что на самом деле я буду вашим. Но теперь мы договорились, и нам остается только применить это в жизни.

Хозяин. Но где, черт возьми, ты все это вычитал?

Жак. В великой книге. Ах, сударь, сколько ни размышляй, сколько ни думай, сколько ни ройся во всех книгах мира, вы останетесь неучем, если не заглянете в великую книгу...

После обеда погода прояснилась. Несколько путешественников сообщили, что поток можно перейти вброд. Жак сошел вниз; Хозяин самым щедрым образом рассчитался с трактирщицей. У ворот харчевни собралась довольно большая толпа людей, задержанных там непогодой и намеревавшихся пуститься в дальнейший путь; в их числе были Жак и его Хозяин, нелепо женившийся маркиз и его спутники. Пешеходы берут свои палки и котомки, другие устраиваются в повозках и в колясках, всадники садятся на лошадей и пьют посошок на дорогу. Предупредительная хозяйка держит бутылку в руке, подает и наполняет стаканы, не забывая и себя самое; ей говорят любезности, она отвечает на них учтиво и весело. Пришпоривают коней, кланяются и уезжают.

Случилось так, что Жаку с его Хозяином и маркизу Дезарси с его спутником пришлось ехать по одной дороге. Из этих четырех лиц вы незнакомы только с последним. Ему едва минуло двадцать два или двадцать три года. На его лице была написана робость; голова была несколько наклонена влево; он был молчалив и не особенно освоился со светскими манерами. Отвешивая поклон, он наклонял туловище, но не сгибал ног; сидя, он имел привычку хвататься за полы кафтана и скрещивать их на коленях, прятать руки в карманы и слушать других почти что с закрытыми глазами.

Жак разгадал его по этим повадкам и, наклонившись к уху своего Хозяина, шепнул:

— Бьюсь об заклад, что этот молодой человек носил монашескую рясу.

— Почему, Жак?

— Вот увидите.

Четверо наших путешественников ехали вместе, беседуя о дожде, о хорошей погоде, о трактирщице, о трактирщике, о ссоре маркиза Дезарси по поводу Николь. Эта прожорливая и грязная сука то и дело терлась об его чулки; тщетно попытавшись

несколько раз прогнать ее салфеткой, он вышел из себя и довольно сильно пихнул ее ногой... И вот тотчас же завязывается разговор о странном пристрастии женщин к животным. Каждый высказывает свое мнение. Хозяин, обращаясь к Жаку, говорит:

— А как ты об этом думаешь, Жак?

В ответ на это Жак спросил Хозяина, не заметил ли он, что, как бы ни была велика нужда бедных людей, они тем не менее всегда держат собак, что эти собаки, будучи выучены проделывать всякие штуки, ходить на задних лапах, плясать, прыгать в честь короля, прыгать в честь королевы, прикидываться мертвыми, оказываются благодаря этой дрессировке несчастнейшими существами на свете. Отсюда он заключал, что всякий человек хочет командовать над другим и что так как животное стоит ниже последнего класса граждан, коими командовали все прочие классы, то люди заводят зверей, чтобы командовать хоть кем-нибудь.

— Словом,— добавил Жак,— у всякого есть своя собака. Министр — собака короля, правитель канцелярии — собака министра, жена — собака мужа или муж — собака жены; Любимчик — это ее собака, а Тибо — собака нищего с угла. Когда Хозяин заставляет меня говорить, в то время как мне хочется молчать, что бывает редко,— продолжал Жак,— когда он заставляет меня молчать, в то время как мне хочется говорить, что ему нелегко сделать; когда он просит меня рассказывать ему историю моих любовных похождений, в то время как мне хочется побеседовать о чем-нибудь другом; когда я начинаю историю моих любовных похождений, в то время как он меня перебивает,— что я такое, если не его собака? Слабовольные люди — это собаки упрямых людей.

Хозяин. Эту привязанность к животным я замечал не у одних бедных людей; многие важные дамы, Жак, окружают себя целой сворой собак, не говоря уже о кошках, попугаях, всяких птицах.

Жак. Это происходит по их вине и по вине окружающих. Они не любят никого, никто их не любит, и они бросают собакам чувство, которое им некуда девать.

Маркиз Дезарси. Любить животных или бросать сердце собакам — странный взгляд на вещи.

Хозяин. Того, что отдают этим животным, хватило бы на пропитание двум или трем беднякам.

Жак. А вас это удивляет?

Хозяин. Нет.

Маркиз Дезарси поглядел на Жака, улыбнулся по поводу его рассуждений и, обращаясь к Хозяину, сказал:

— У вас довольно необыкновенный лакей.

Хозяин. Лакей! Вы очень снисходительны: это я его лакей, и не далее как сегодня утром он чуть было не доказал мне этого по всей форме.

Беседуя таким образом, они добрались до ночлега и заночевали вместе. Хозяин Жака ужинал с господином Дезарси. Жаку и молодому человеку сервировали отдельно. Хозяин в нескольких словах изложил маркизу историю Жака и его фаталистический образ мыслей. Маркиз поведал о своем спутнике. Тот был прежде премонстрантом и покинул орден в связи со странным приключением; приятели рекомендовали этого молодого человека маркизу, который взял его в секретари за неимением лучшего. Тогда Хозяин Жака сказал:

— Странно!

Маркиз Дезарси. Что вы тут находите странного?

Хозяин. Я говорю о Жаке. Не успели мы прибыть в харчевню, которую покинули утром, как Жак шепнул мне: «Сударь, взгляните на этого молодого человека; бьюсь об заклад, что он был монахом».

Маркиз Дезарси. Он угадал — не знаю только, по какому признаку. Вы рано ложитесь?

Хозяин. Обычно нет; а сегодня меня и подавно не клонит ко сну, так как ехали мы всего лишь полдня.

Маркиз Дезарси. Если вы не можете заполнить время чем-либо более полезным или приятным, я расскажу вам историю моего секретаря; она не из обычных.

Хозяин. Я послушаю ее с удовольствием.

Понимаю вас, читатель; вы говорите: «А где же любовные похождения Жака?..» Вы думаете, я любопытен менее вашего? Разве вы забыли, что Жак любил говорить, и в особенности о себе,— мания, общая людям его ремесла, мания, извлекающая их из ничтожества, возводящая их на трибуну и превращающая мгновенно в интересную личность? Какая причина, по-вашему, привлекает чернь на публичные казни? Безжалостность? Заблуждаетесь: народ вовсе не бесчеловечен; будь у него возможность, он вырвал бы из рук правосудия несчастного, вокруг эшафота которого толпятся люди. Он отправляется на Гревскую площадь смотреть зрелище, о котором сможет по возвращении рассказать в своем предместье; каково зрелище, ему безразлич-

но, лишь бы он играл роль, лишь бы он мог собрать соседей и его бы слушали. Дайте на бульварах интересное представление — и площадь казни будет пустовать. Народ падок до зрелищ, так как он забавляется, когда их видит, и еще больше забавляется, когда о них после рассказывает. Народ страшен в бешенстве; но оно длится недолго. Собственная нужда сделала его сердобольным; он отвращает взгляд от ужасного зрелища, ради которого пришел, умиляется и идет домой в слезах... Все, что я вам сейчас говорю, заимствовано у Жака, в чем я охотно признаюсь, так как не люблю рядиться в чужие перья. Понятие порока, понятие добродетели были неизвестны Жаку; он полагал, что человек рожден на радость или на горе. Когда при нем произносили слова «награда» или «кара», он пожимал плечами. По его представлениям, награда была поощрением для добрых, кара — пугалом для злых. «Что же еще могут они представлять собой,— говорил он,— раз свободы нет, а судьба наша предначертана свыше?» Человек, по его мнению, с такой же неизбежностью шествует по пути славы или позора, как шар, который обладал бы сознанием, катится по откосу горы; и если б цепь причин и следствий, составляющих жизнь человека с момента рождения до последнего вздоха, была бы нам известна, мы убедились бы, что человек поступает лишь так, как вынужден поступать. Я не раз спорил с ним без пользы и толка. Действительно, что возразить тому, кто говорит: «Какова бы ни была сумма элементов, которые меня составляют, я един; но одна причина влечет только одно следствие; я всегда был единой причиной, а потому мог произвести только одно следствие, и потому мое существование — только ряд неизбежных следствий». Так рассуждал Жак, следуя поучениям своего капитана. Различие между миром физическим и миром духовным он считал бессмыслицей. Капитан начинил ему голову всеми этими идеями, заимствовав их сам у Спинозы, которого знал наизусть. Можно подумать, что при такой системе Жак ничему не радовался, ничем не огорчался; но это было не так. Он вел себя примерно как мы с вами. Благодарил своего благодетеля, чтоб он продолжал делать ему добро. Сердился на несправедливого человека, а когда ему замечали, что в таких случаях он походит на собаку, кусающую камень, которым в нее бросили, он отвечал: «Камень, укушенный собакой, не исправится, а несправедливого человека палка проучит». Нередко он бывал так же непоследователен, как мы с вами, и склонен был забывать свои принципы, за исключением особых обстоятельств, где его философии суждено было брать верх над ним; тогда он заявлял:

«Так должно было случиться, ибо это предначертано свыше». Он старался предотвратить зло и бывал осторожен, несмотря на величайшее презрение к осторожности. Когда же событие совершалось, он возвращался к своему припеву, и это его утешало. В остальном же он славный малый, откровенный, честный, смелый, преданный, верный, очень упрямый, еще более болтливый и, так же как мы с вами, огорчен тем, что лишен надежды когда-нибудь досказать до конца историю своих любовных похождений. А поэтому советую вам, читатель, примириться с этим и взамен любовных похождений Жака удовольствоваться похождениями секретаря маркиза Дезарси. К тому же он как живой стоит у меня перед глазами, этот бедный Жак, у которого шея обмотана большим платком; его дорожная кубышка, прежде наполненная добрым вином, содержит теперь только ячменный отвар; он кашляет, проклиная покинутую им хозяйку и ее шампанское, чего бы он не сделал, если бы вспомнил, что все предначертано свыше, даже его простуда.

А кроме того, читатель, все любовные побасенки да любовные побасенки! Одну, две, три, четыре я вам уже рассказал, три или четыре еще предстоят; слишком много любовных побасенок! Правда, поскольку мы пишем для вас, надо либо отказаться от вашего одобрения, либо руководствоваться вашим вкусом, а вы решительно стоите за любовные побасенки. Все ваши новеллы в стихах и в прозе — любовные побасенки; почти все ваши поэмы, элегии, эклоги, идиллии, песни, послания, комедии, трагедии, оперы — любовные побасенки. Со дня своего рождения вы питаетесь одними только любовными баснями и все еще не пресытились. Всех вас, мужчины и женщины, взрослые и дети, держат и еще долго будут держать на этой диете, и она вам не надоест. Поистине, это изумительно! Мне хотелось бы, чтобы история секретаря маркиза Дезарси тоже оказалась любовной басней, но боюсь, что это не так и что она вам надоест. Тем хуже для маркиза Дезарси, для Хозяина, для Жака, для вас, читатель, а также для меня.

— Наступает момент, когда все девочки и мальчики впадают в меланхолию; их мучит смутное беспокойство, которое распространяется на все, не находя исхода. Они ищут одиночества, плачут, умиляются монастырской тишиной; картина мирной жизни, якобы царящей в обители, соблазняет их. Они принимают за глас божий, зовущий их к себе, первые вспышки пробуждающегося темперамента; и именно тогда, когда природа предъявляет к ним свои требования, они избирают путь, противный ее велениям. Заблуждение длится недолго: требования

природы становятся все более властными; они узнают их, и затворенное в обители существо испытывает сожаления, его терзают истерики, безумие и отчаяние...

Так начал маркиз Дезарси свое повествование.

— Охваченный в семнадцать лет отвращением к свету, Ришар (так зовут моего секретаря) бежал из дому и стал премонстрантом.

Хозяин. Премонстрантом? Это хорошо. Они белы как лебеди, и основатель их ордена, святой Норберт, упустил в своем статуте только одно...

Маркиз Дезарси. Дать каждому из монахов по визави.

Хозяин. Если б у амуров не было в обычае ходить голышом, они стали бы премонстрантами. Этот орден усвоил совсем особую политику. Его членам разрешают водиться с герцогинями, маркизами, графинями, женами председателей и откупщиков, но только не с мещанками. Как бы ни была хороша купчиха, вы редко увидите премонстранта в лавке.

Маркиз Дезарси. Ришар говорил мне это. Он принял бы схиму после двух лет послушничества, если бы родители не воспротивились этому. Отец потребовал его возвращения домой и предложил проверить свое призвание, соблюдая монастырский образ жизни в течение года: договор был честно соблюден обеими сторонами. По прошествии этого срока Ришар попросил разрешения постричься. Отец отвечал: «Я предоставил вам год для принятия окончательного решения; надеюсь, что вы не откажетесь отложить его еще на такой же срок; при этом я согласен, чтобы вы провели его вне дома». В течение этой второй отсрочки аббат ордена приблизил Ришара к себе. В это-то время он и был втянут в происшествие, которое случается только в монастырях. Во главе одной из обителей ордена стоял человек совсем особого склада; звали его отцом Гудсоном. Отец Гудсон обладал весьма интересной наружностью: открытый лоб, овальное лицо, орлиный нос, большие голубые глаза, округлые щеки, красивый рот, точеные зубы, очень тонкая улыбка, копна светлых волос, придававших достоинство его привлекательным чертам; он был умен, образован, весел, отличался приятными манерами и речами, любовью к порядку и к труду; но в то же время ему были свойственны бешеные страсти, неудержимое влечение к удовольствиям и к женщинам, склонность к интригам, доходившая до предела, самые распутные нравы и безграничный деспотизм в управлении обителью. Когда ему вверили ее на попечение, там царил невежественный янсенизм, учение шло плохо,

мирские доходы духовенства были в беспорядке, религиозные обязанности находились в забвении, службы отправлялись без должной пристойности, свободные помещения были заняты распутными школярами. Отец Гудсон обратил этих янсенистов в правую веру или вовсе удалил их из обители, взял в свои руки учение, наладил доходы, восстановил дисциплину, изгнал беспутных школяров, ввел порядок и пристойность в отправление богослужений — и превратил свою общину в одну из самых примерных. Гудсон применял строгости к другим, но не к себе; он был не так глуп, чтобы нести то железное ярмо, которое наложил на подчиненных; за это они питали к Гудсону скрытую, а потому особенно сильную и опасную злобу. Всякий был ему враг и соглядатай; всякий исподтишка старался проникнуть за завесу его поведения; всякий вел счет его тайным распутствам; всякий хотел его погубить: он не мог сделать шагу, чтобы за ним не следили; он не успевал завести любовную связь, как о ней уже знали.

Аббату ордена был отведен дом, прилегавший к монастырю. В доме имелись две двери: одна выходила на улицу, другая вела в обитель. Гудсон взломал замки этих дверей; аббатство превратилось в арену его ночных оргий, а постель аббата — в ложе его развлечений. С наступлением ночи он самолично впускал через наружную дверь в апартаменты аббата женщин всякого звания: там устраивались изысканные ужины. У Гудсона была исповедальня, и он совратил всех тех из своих прихожанок, кто своей внешностью этого заслуживал. Среди них была одна премиленькая кондитерша, славившаяся в околотке своим кокетством и чарами; Гудсон, не имевший возможности ходить к ней, запер ее в своем серале. Этот своеобразный способ увода не преминул возбудить подозрение у родных и у супруга. Они направились к нему. Гудсон растерялся. Но в то время как эти люди излагали ему свою беду, зазвонил колокол: было шесть часов вечера; Гудсон приказывает им умолкнуть, обнажает голову, встает, осеняет себя крестным знамением и произносит прочувственным и проникновенным голосом: «*Angelus Domini nuntiavit Mariae*» [1]. И вот отец и братья кондитерши, смущенные своим подозрением, говорят супругу, спускаясь с лестницы: «Сын мой, вы дурак!..», «Брат мой, как вам не стыдно? Человек, который читает *Angelus*,— да ведь это же святой!».

Однажды зимой, когда Гудсон возвращался под вечер в монастырь, к нему пристала одна из тех особ, что ловят всех про-

[1] «Ангел господень возвестил Марии...» *(лат.)*.

хожих; она показалась ему хорошенькой, он последовал за ней; но не успели они войти, как дозор — тут как тут. Такая неудача погубила бы всякого другого; но Гудсон был человек с головой и благодаря этому происшествию снискал благоволение и покровительство начальника полиции. Представ перед ним, он сказал следующее:

«Меня зовут Гудсон; я настоятель обители. Когда я в нее вступил, там царил полный беспорядок: ни наук, ни дисциплины, ни благонравия; службой пренебрегали до непристойности; расстройство дел грозило разорением в скором будущем. Я все восстановил; но я человек и предпочел обратиться к совращенной женщине, нежели к порядочной. А теперь можете располагать мною по своему усмотрению...»

Начальник полиции посоветовал ему впредь быть осмотрительнее, обещал сохранить в тайне это происшествие и выразил желание познакомиться с ним поближе.

Тем временем окружавшие его враги послали, каждый со своей стороны, генералу ордена донесения, в которых излагали все, что знали о дурном поведении Гудсона. Сопоставление этих донесений усилило их значение. Генерал был янсенистом, а потому был не прочь отомстить за преследования, которым Гудсон подверг его единомышленников. Он с удовольствием распространил бы на всю секту обвинение в разврате, падавшее на защитника буллы и распущенной морали. Вследствие этого он передал донесения о разных поступках и повадках Гудсона в руки двух официалов, которых отправил с тайным поручением расследовать и юридически засвидетельствовать его поведение; при этом он наказал им соблюдать в этом деле исключительную осмотрительность как единственное средство внезапно уличить виновного и лишить его покровительства двора и епископа Мирепуаского, в глазах которого янсенизм был величайшим грехом, а подчинение булле *Unigenitus* — первейшей добродетелью. Мой секретарь Ришар был одним из этих двух официалов.

И вот оба они уезжают из епископского подворья, останавливаются у Гудсона и келейно приступают к расследованию. Вскоре им удается составить такой длинный список прегрешений, что его хватило бы для заключения *in pace*[1] пятидесяти монахов. Пребывание там обоих официалов тянулось долго, но действовали они так ловко, что ничего не вышло наружу. Гудсон, несмотря на всю свою предусмотрительность, был близок к гибели, о которой ничего не подозревал. Тем не менее недоста-

[1] В монастырском карцере.

точное уважение, оказанное ему приезжими, тайна их появления, их приходы и уходы, то вместе, то порознь, частые совещания с другими монахами, лица, которых они навещали и которые навещали их, возбудили в нем сомнения. Он стал следить за ними и лично, и через других; вскоре их миссия стала для него очевидной. Нисколько не смутившись, он старательно занялся изысканием способа не столько избежать угрожавшей ему беды, сколько навлечь беду на головы обоих официалов; и вот удивительная уловка, к которой он прибегнул.

Незадолго перед тем он совратил молодую девушку, которую укрывал в маленькой квартире Сен-Медарского квартала. Явившись туда, он обратился к ней со следующей речью:

«Дитя мое, все обнаружено, мы погибли; не пройдет и недели, как вас заточат, а что будет со мной, право, не знаю. Не отчаивайтесь, не печальтесь; поборите свою тревогу. Выслушайте меня и сделайте то, что я вам скажу, сделайте это как следует, а я позабочусь об остальном. Завтра я уезжаю за город. Во время моего отсутствия сходите к двум монахам, которых я вам назову. (И он назвал ей обоих официалов.) Попросите разрешения переговорить с ними тайно. Придя к ним, бросьтесь на колени, молите о помощи, взывайте к чувству справедливости, просите их содействия перед генералом, на которого они, как вам известно, имеют большое влияние, плачьте, рыдайте, рвите на себе волосы, расскажите им всю нашу историю, и расскажите таким образом, чтобы вызвать в них жалость к вам и отвращение ко мне».

«Как, сударь! Рассказать им?..»

«Да, вы расскажете, кто вы, из какой семьи, как я совратил вас на исповеди, как похитил у родителей и скрыл в этом доме. Вы скажете, что, отняв у вас честь и введя вас в грех, я бросил вас в нищете и вы не знаете, как быть дальше».

«Помилуйте, отец мой...»

«Исполните то, что я вам сказал, и то, что мне остается еще сказать, или приготовьтесь к своей и моей гибели. Эти двое монахов не преминут отнестись к вам с сочувствием, заверить вас в своем содействии и попросить второго свидания, на которое вы должны дать согласие. Они осведомятся о вас и о ваших родных, а так как вы расскажете им одну только правду, то у них не возникнет никаких подозрений. После первого и второго свидания я сообщу вам, как надо поступить на третьем. Постарайтесь только хорошо сыграть свою роль».

Все произошло так, как задумал Гудсон. Он предпринял вторую поездку. Официалы известили об этом молодую девуш-

ку; она снова зашла в обитель. Они попросили ее повторить свою печальную историю. Пока она рассказывала ее одному, другой записывал в записной книжке. Они сожалели о ее судьбе, сообщали ей о горе ее родителей, которое было далеко не притворным, и обещали полную безопасность ей и быструю кару соблазнителю, но при условии, что она подпишет свое разоблачение. Это, казалось, возмутило ее; они стали настаивать, и она согласилась. Оставалось только установить день и час для составления показания, что требовало подходящего времени и места... «Здесь невозможно: приор может вернуться и меня заметить...» Девушка и официалы расстались, предоставив друг другу время, чтобы уладить эти детали.

В тот же день Гудсон узнал обо всем, что случилось. Он был в восторге: близится момент его торжества; скоро он покажет этим молокососам, с кем они имеют дело!

«Возьмите перо,— сказал он девушке,— и назначьте им свидание в месте, которое я укажу. Я уверен, что они найдут его подходящим. Это — приличный дом, и занимающая его женщина пользуется среди соседей и жильцов наилучшей репутацией».

Женщина эта, однако, принадлежала к числу тех тайных интриганок, притворяющихся святошами, которые втираются в самые достойные семьи, прибегают к елейному, сердечному, вкрадчивому тону и обманывают доверие матерей и дочерей, чтобы сбить их с пути добродетели. Гудсон пользовался ею для этой цели, она была его сводней. Посвятил ли он ее в свою тайну или нет — сказать не могу.

Действительно, оба посланца генерала согласились на свидание. И вот они в обществе молодой девушки. Посредница удаляется. Приступают к составлению нужного им акта, как вдруг в доме поднимается страшный шум.

«Вы к кому, господа?»

«К тетке Симон» (так звали сводню).

«Вот ее дверь».

Раздается сильный стук.

«Отвечать мне?» — спрашивает девушка монахов.

«Отвечайте».

«Отворить?»

«Отворите!..»

Последнее приказание произнес полицейский надзиратель, состоявший в дружеских отношениях с Гудсоном, ибо кого только приор не знал! Он открыл надзирателю все про козни официалов и продиктовал ему его роль.

«Ого! — сказал полицейский, входя.— Два монаха наедине с девицей! Недурненькая!..»

Молодая девушка была так непристойно одета, что невозможно было усомниться в ее ремесле и в том, какие дела свели ее с монахами, из которых старшему не было и тридцати лет. Те же клялись в своей невиновности. Надзиратель ухмылялся, взяв за подбородок девушку, бросившуюся к его ногам и молившую о пощаде.

«Мы в приличном доме»,— заявили монахи.

«Да, да — в приличном»,— отвечал надзиратель.

«Мы пришли по важному делу».

«Знаем мы, за какими важными делами сюда ходят. А вы что скажете, мадемуазель?»

«Сударь, они говорят истинную правду».

Тем не менее надзиратель принялся тоже составлять дознание, и так как в его протоколе было приведено только простое и голое изложение фактов, то монахам пришлось подписать его. Спускаясь вниз, они увидели жильцов, высыпавших на площадки лестниц перед квартирами, большое скопление народа перед домом, экипаж и стражников, которые усадили их в коляску под глухой гул проклятий и гиканья. Монахи прикрыли лица плащами и впали в отчаяние; вероломный же надзиратель воскликнул:

«Ах, отцы мои, зачем было посещать такие места и этих тварей? Впрочем, дело пустяковое; полиция приказала мне передать вас в руки вашего настоятеля, а он человек любезный и снисходительный; он не станет придавать этому делу больше значения, чем оно заслуживает. Не думаю, чтобы в ваших обителях поступали так же, как у жестоких капуцинов. Вот если бы вам пришлось отвечать перед ними, я бы вас пожалел».

Во время этой речи надзирателя экипаж подвигался к монастырю; толпа росла, окружала его, бежала перед ним и за ним во весь опор. В одном месте раздавалось: «Что такое?» — в другом: «Это монахи...» — «Что они натворили?» — «Их застали у девчонок...» — «Премонстранты у девчонок?!!» — «Ну да; они идут по стопам кармелитов и францисканцев».

И вот они приехали. Надзиратель выходит из экипажа, стучит раз, стучит два, стучит три; наконец ему отпирают. Докладывают Гудсону, который заставляет прождать себя добрых полчаса, чтоб раздуть скандал вовсю. В конце концов он является. Надзиратель шепчет ему на ухо; делает вид, будто заступается за монахов, а Гудсон будто сурово отклоняет его ходатайство; затем приор со строгим лицом твердо говорит ему:

«В моей обители нет развратных монахов; эти люди — приезжие и мне неизвестны; быть может, это переодетые негодяи; поступайте с ними как вам угодно».

После этих слов двери за ним захлопываются; надзиратель возвращается в экипаж и объявляет беднягам, которые сидят в нем ни живы ни мертвы:

«Я сделал что мог; никогда бы не подумал, что отец Гудсон так суров. И зачем только черт носит вас к шлюхам!»

«Если та, у которой вы нас застали, принадлежит к их числу, то мы отправились к ней не для распутства».

«Ха-ха-ха! И это вы рассказываете старому надзирателю, отцы мои! Кто вы такие?»

«Мы монахи и носим рясу нашего ордена».

«Помните, что завтра ваше дело разъяснится; говорите правду; может быть, я смогу вам услужить».

«Мы сказали правду... Но куда нас везут?»

«В Малый Шатле».

«В Малый Шатле? В тюрьму?»

«Я очень сожалею...»

Действительно, туда и отвезли Ришара и его товарища; но в намерения Гудсона не входило оставить их там. Он сел в дорожную карету, отправился в Версаль, переговорил с министром и представил ему дело в таком свете, в каком нашел нужным.

«Вот, монсеньер, чему подвергаешь себя, когда преобразуешь распущенную обитель и изгоняешь оттуда еретиков! Еще минута — и я погиб бы, я был бы обесчещен. Но травля этим не ограничится: вы еще услышите все мерзости, которыми мыслимо очернить порядочного человека; прошу вас, однако, вспомнить, что наш генерал...»

«Знаю, знаю и скорблю за вас. Услуги, оказанные вами церкви и вашему ордену, не будут забыты. Избранники господни во все времена терпели гонения, они умели их сносить; научитесь подражать их доблести. Рассчитывайте на милость и покровительство короля. Ах, монахи, монахи! Я сам был монахом и знаю по опыту, на что они способны».

«Если ради блага церкви и государства вашему преосвященству суждено меня пережить, то я не боюсь продолжать свое дело».

«Я не премину выручить вас из беды. Ступайте».

«Нет, монсеньер, нет, я не уйду, пока не добьюсь именного листа, позволяющего отпустить этих заблудших монахов...»

«Вижу, что вы близко принимаете к сердцу честь религии и вашей рясы и готовы ради этого даже позабыть личные оби-

ды; это вполне по-христиански, и хотя я умилен, однако нисколько не удивляюсь этому со стороны такого человека, как вы. Дело не получит огласки».

«Ах, монсеньер, вы преисполнили мою душу радостью! В настоящую минуту я больше всего опасался именно этого».

«Я сейчас же приму меры».

В тот же вечер Гудсон получил приказ об освобождении узников, а на другой день, едва наступило утро, Ришар с сотоварищем находились в двадцати милях от Парижа, эскортируемые полицейским чином, который доставил их в орденскую обитель. Он также привез с собой письмо, в котором предписывалось генералу прекратить подобные затеи и подвергнуть наших обоих монахов дисциплинарному взысканию.

Это происшествие смутило врагов Гудсона. Не было во всей обители такого монаха, который не дрожал бы под его взглядом. Спустя несколько месяцев ему дали богатое аббатство. Это преисполнило генерала смертельной досадой. Он был стар и опасался, как бы Гудсон не стал его преемником. Ришара же он очень любил.

«Мой бедный друг,— сказал он ему однажды,— что станет с тобой, если ты попадешь под власть Гудсона? Меня это пугает. Ты еще не принял пострига; послушай меня, скинь рясу!..»

Ришар последовал его совету и вернулся в отчий дом, находившийся неподалеку от того аббатства, где обосновался Гудсон.

Гудсон и Ришар посещали те же дома, а потому им трудно было не встретиться; и действительно, они встретились. Однажды Ришар находился у владелицы замка, расположенного между Шалоном и Сен-Дизье, но ближе к Шалону, чем к Сен-Дизье, и на расстоянии ружейного выстрела от гудсоновского аббатства.

Эта дама сказала ему:

«Здесь живет ваш бывший приор; он очень приятный человек, но что он, в сущности, собой представляет?»

«Лучший из друзей и опаснейший из врагов».

«А вам не хотелось бы повидаться с ним?»

«Нисколько».

Не успел он ответить, как раздался грохот въезжающего во двор кабриолета, и оттуда вышел Гудсон в сопровождении одной из прелестнейших женщин округи.

«Вы увидитесь с ним против своей воли,— сказала владелица замка,— ибо это он».

Хозяйка и Ришар идут навстречу аббату Гудсону и особе, вышедшей из кабриолета. Дамы обнимаются. Гудсон, подойдя к Ришару и узнав его, восклицает:

«Ах, это вы, мой любезный Ришар! Вы хотели меня погубить: я прощаю вас; простите и вы мне вашу поездку в Малый Шатле, и забудем об этом».

«Согласитесь, господин аббат, что вы поступили как отъявленный негодяй».

«Возможно».

«И что, если бы с вами поступили по справедливости, ведь тогда не я, а вы совершили бы поездку в Шатле».

«Возможно... Но своим обращением я, по-видимому, обязан угрожавшей мне тогда опасности. Ах, дорогой Ришар, как много я об этом передумал, и как я переменился!»

«Вы приехали с очаровательной женщиной».

«Я не замечаю более этих чар».

«Какая фигура!»

«Мне это безразлично».

«Какие пышные формы!»

«Рано или поздно начинаешь питать отвращение к удовольствию, которым наслаждался на коньке кровли с риском ежеминутно сломать себе шею».

«У нее чудеснейшие руки!»

«Я больше не дотрагиваюсь до этих рук. Здравый ум постоянно возвращает нас к канонам нашего звания, в коих и заключается истинное счастье».

«А глаза, которые она украдкой направляет на вас! Признайте как знаток, что никто еще не глядел на вас таким сверкающим, таким ласковым взором. Какая грация, какая воздушность, какое благородство в походке, в движениях!»

«Мне не до мирской суеты; я читаю Писание и размышляю над деяниями отцов церкви».

«И изредка над совершенствами этой дамы... Далеко ли она живет от Монсе? Молод ли ее супруг..»

Гудсон, рассердившись за эти вопросы и видя, что Ришар не принимает его за святого, вдруг воскликнул:

«Дорогой Ришар, вам на меня на...., и вы правы».

Любезный читатель, прости мне это крепкое словцо и согласись, что здесь, как и в большинстве хороших побасенок, вроде беседы Пирона с покойным аббатом Ватри, приличные выражения испортили бы все.— Что это за беседа Пирона с аббатом Ватри? — Спросите о ней у издателя его произведений, который не решился ее обнародовать; но он не станет упрямиться и вам ее расскажет.

Наши четверо путешественников снова соединились в замке: пообедали, и пообедали весело, а вечером разошлись с обе-

щанием увидеться... Пока маркиз Дезарси беседовал с Хозяином Жака, Жак, со своей стороны, не играл в молчанку с господином секретарем Ришаром, который счел его за исключительного оригинала; оригиналы встречались бы среди людей гораздо чаще, если б, с одной стороны, воспитание, а с другой — вращение в свете не стирали бы их, как хождение по рукам стирает чекан с монеты. Было поздно; часы уведомили и господ и слуг о том, что пора отдохнуть, и все последовали их совету.

Раздевая своего Хозяина, Жак спросил:

— Сударь, любите ли вы картины?

Хозяин. Да, но только в рассказах; когда же вижу их в красках и на полотне, то, хотя и высказываю свое мнение с апломбом любителя, однако же, признаюсь, ровно ничего в них не смыслю; я бы сильно затруднился отличить одну школу от другой; готов принять Буше за Рубенса или за Рафаэля, дрянную копию за бесподобный оригинал, мог бы оценить в тысячу экю шестифранковую мазню и в шесть франков — тысячефранковую вещь; я покупал картины только на мосту Нотр-Дам, у некоего Трамблена, который в мое время породил немало нищеты и разврата и погубил талант молодых учеников Ван-Лоо.

Жак. Как же это?

Хозяин. Какое тебе дело? Описывай свою картину и будь краток, так как меня клонит ко сну.

Жак. Станьте напротив фонтана. Невинно убиенных младенцев или неподалеку от ворот Сен-Дени; это два аксессуара, которые обогатят композицию.

Хозяин. Я уже там.

Жак. Взгляните на карету посреди улицы; ремень на оглобле у нее порван, и она лежит на боку.

Хозяин. Вижу.

Жак. Из нее вылезает монах с двумя девицами. Монах улепетывает вовсю. Кучер торопится сойти с козел. Его собака погналась за монахом и ухватила его за рясу; монах прилагает все усилия, чтоб избавиться от нее. Одна из девиц, в задравшемся платье, с обнаженною грудью, держится за бока от смеха. Другая, которая ударилась лбом и набила себе шишку, опирается о дверцы и сжимает голову обеими руками. Тем временем собралась чернь, с криком сбежались мальчишки, торговцы и торговки высыпали на пороги лавок, а прочие зрители поглядывают из окон.

Хозяин. Ах ты черт, Жак! Твоя композиция отменно стройна, богата, забавна, разнообразна и полна движения. По

нашем возвращении в Париж отнеси ее Фрагонару, и ты увидишь, что он из нее сделает.

Жак. После признания о степени вашей компетентности в живописи я могу принять вашу похвалу, не опуская глаз.

Хозяин. Бьюсь об заклад, что это одно из похождений аббата Гудсона.

Жак. Угадали.

Пока эти добрые люди спят, я хочу предложить тебе, читатель, один вопрос, который ты можешь обсудить на своей подушке, а именно: что вышло бы из младенца, родившегося от аббата Гудсона и госпожи де Ла Помере? — Может быть, порядочный человек.— Может быть, бесподобный мошенник.— Ты скажешь мне это завтра утром.

Утро это наступило, и наши путешественники расстались, ибо маркиз Дезарси должен был ехать не по той дороге, по которой ехали Жак и его Хозяин.— Мы, значит, вернемся к любовным приключениям Жака? — Надеюсь; несомненно, однако, что Хозяин уже посмотрел на часы, взял понюшку табаку и сказал Жаку:

— Ну, Жак, продолжай рассказ.

Вместо ответа Жак сказал:

— Черт их знает! С утра до вечера они не перестают дурно отзываться о жизни и, однако же, не решаются с ней расстаться! Потому ли, что эта жизнь в конечном счете не так плоха, или потому, что они в будущем опасаются еще худшей?

Хозяин. И то и другое. Кстати, Жак, веришь ли ты в загробную жизнь?

Жак. И не верю, и не не верю; просто я о ней не думаю. Я по возможности наслаждаюсь той, которая нам отпущена в задаток грядущей.

Хозяин. Я чувствую себя как в коконе, и мне хочется думать, что когда-нибудь бабочка, или моя душа, разорвав оболочку, вылетит навстречу искуплению.

Жак. Вы придумали прелестный образ.

Хозяин. Не я; он попался мне в книге итальянского поэта Данте, именуемой «Комедия об аде, чистилище и рае».

Жак. Странный сюжет для комедии!

Хозяин. Там есть дивные места, в особенности в «Аде». Данте заключает ересиархов в огненные могилы, откуда вырывается пламя и разносит гибель на далекое расстояние; неблагодарных — в ниши, где они проливают слезы, застывающие у

них на щеках; лентяев — тоже в нищи, и говорит об этих последних, что кровь у них течет из вен и что ее вылизывают презренные черви... Но по какому поводу был твой выпад против нашего презрения к жизни, которую мы боимся утратить?

Жак. По поводу того, что рассказал мне секретарь маркиза Дезарси о муже хорошенькой женщины, приехавшей в кабриолете.

Хозяин. Да ведь она вдова!

Жак. Она потеряла мужа во время своего путешествия в Париж; этот чудак и слушать не хотел о соборовании. Примирить его с колпачком поручили владелице того замка, где Ришар встретился с аббатом Гудсоном.

Хозяин. Что ты имеешь в виду под колпачком?

Жак. Я имею в виду колпачок, который надевают на новорожденных.

Хозяин. Понимаю. Так как же они его околпачили?

Жак. Все уселись вокруг камина. Врач, пощупав пульс, показавшийся ему очень слабым, тоже подсел к остальным. Дама, о которой идет речь, подошла к кровати и задала несколько вопросов, однако не повышая голоса больше, чем требовалось, чтобы умирающий не пропустил ни одного слова из того, что ему надлежало услышать; после этого завязался разговор между дамой, доктором и несколькими присутствующими, о чем я вам сейчас и поведаю.

Дама: «Итак, доктор, что нового вы нам сообщите про герцогиню Пармскую?»

Доктор: «Я только что был в одном доме, где мне сказали, что состояние ее безнадежно».

Дама: «Герцогиня всегда была богобоязненной. Почувствовав опасность, она тотчас же пожелала исповедоваться и приобщиться святых тайн».

Доктор: «Священник церкви святого Роха везет ей в Версаль священную реликвию; но она прибудет слишком поздно».

Дама: «Не одна инфанта подает подобные примеры. Герцог де Шеврез, который был очень болен, не стал ждать, чтоб ему предложили святые дары, а сам попросил об этом, чем весьма обрадовал всю семью».

Доктор: «Ему стало гораздо лучше».

Один из присутствовавших: «Несомненно, что это не ускорит смерть, а напротив».

Дама: «Право, этот обряд необходимо исполнить, как только наступает опасность. Больные, по-видимому, не сознают, как тяжело окружающим делать людям, находящимся при смерти,

подобные предложения и в то же время насколько им это необходимо».

Доктор: «Я выхожу от пациента, который два дня тому назад спросил меня: «Как вы меня находите, доктор?» — «Сильная лихорадка, сударь, и частые припадки».— «Скоро ли у меня будет припадок?» — «Нет; но возможно, что к вечеру».— «Раз так, то я уведомлю одного человека, с которым должен уладить одно дельце, пока у меня голова еще в порядке». Он исповедался и причастился. Возвращаюсь вечером; никакого рецидива. Вчера ему было лучше; сегодня он совсем в норме. За время своей практики я неоднократно наблюдал такое действие святых даров».

Больной *(лакею)*: «Подайте мне курицу».

Жак. Ему подают курицу, он хочет ее разрезать, но у него не хватает сил; тогда ему разрезают крылышко на мелкие кусочки; он требует хлеба, набрасывается на него, делает усилие, чтоб разжевать кусок, которого не может проглотить, и выплевывает его в салфетку; затем он просит чистого вина, пригубливает и говорит: «Я чувствую себя отлично...» Полчаса спустя его не стало.

Хозяин. Эта дама все же ловко взялась за дело... Ну-с, а твои любовные похождения?

Жак. А наше условие?

Хозяин. Помню... Ты в замке Дегланов, и старая поставщица Жанна велела своей юной дочери Денизе навещать тебя четыре раза в день и ухаживать за тобой. Но прежде чем продолжать, скажи мне, сохраняла ли до этого Дениза свою невинность?

Жак *(покашливая)*. Думаю, что да.

Хозяин. А ты?

Жак. От моей и след простыл.

Хозяин. Значит, Дениза не была твоей первой любовью?

Жак. Почему?

Хозяин. Потому что невинность отдают той, которую любят, как бывают любимы той, которая вам свою отдает.

Жак. Иногда — да, иногда — нет.

Хозяин. А как ты свою потерял?

Жак. Я не терял ее, а, собственно говоря, сбыл.

Хозяин. Расскажи-ка мне про эту сделку.

Жак. Это будет первой главой из святого Луки, бесконечный ряд *Genuit*[1], начиная от первой и кончая Денизой.

---

[1] Родил *(лат.)*.

Хозяин. Которая думала похитить у тебя невинность и не похитила?

Жак. И до Денизы — две соседки по хижине.

Хозяин. Которые думали сорвать твою невинность и не сорвали?

Жак. Нет.

Хозяин. Вдвоем проморгать одну невинность! Экая косолапость!

Жак. Вижу, сударь, по приподнятому правому уголку вашей губы и по сморщенной левой ноздре, что мне лучше добровольно исполнить ваше желание, чем заставлять себя просить; к тому же горло у меня еще больше разболелось, а продолжение моих любовных приключений будет длинным, и у меня хватит духу разве только на один или два рассказа.

Хозяин. Если бы Жак хотел доставить мне большое удовольствие...

Жак. То что бы он сделал?

Хозяин. Он начал бы с потери своей невинности. Знаешь, я всегда интересовался описанием этого великого события.

Жак. Разрешите узнать, почему?

Хозяин. Ибо из всех подобных актов только этот обладает известной остротой; остальные же являются плоскими и пошлыми повторениями. Я уверен, что из всех грехов хорошенькой парижанки духовник внимательно выслушивает только этот.

Жак. Ах, сударь, сударь, у вас извращенное воображение; боюсь, что на смертном одре дьявол явится вам с тем же атрибутом, с каким он явился к Феррагуту.

Хозяин. Возможно. Но бьюсь об заклад, что тебя научила уму-разуму какая-нибудь распутная баба из твоей деревни?

Жак. Не бейтесь об заклад: проиграете.

Хозяин. Значит, служанка твоего священника?

Жак. Не бейтесь об заклад: снова проиграете.

Хозяин. В таком случае ее племянница?

Жак. Она отличалась сварливостью и ханжеством — два свойства, которые отлично сочетаются; но оба они не в моем вкусе.

Хозяин. На этот раз я, кажется, угадал.

Жак. Не думаю.

Хозяин. В один ярмарочный или базарный день...

Жак. Это не было ни в ярмарочный, ни в базарный день.

Хозяин. ...Ты отправился в город.

Жак. Я не отправлялся в город.

Хозяин. И свыше было предначертано, что ты повстречаешь в харчевне одну из этаких уступчивых особ и что ты напьешься...

Жак. Дело было натощак; а свыше было предначертано, что вы будете сегодня тратить силы на ложные догадки и приобретете недостаток, от которого меня отучили, а именно страсть к угадыванию — и всегда мимо. Таков, сударь, каким вы меня видите, я был однажды крещен.

Хозяин. Если ты намерен начать рассказ о потере невинности с момента твоего крещения, то мы не скоро дойдем до дела.

Жак. Итак, у меня были крестный и крестная. Дядюшка Черт, самый лучший тележник в деревне, имел сына. Черт-отец был моим крестным, Чертов сын — моим другом. В возрасте восемнадцати — девятнадцати лет мы оба влюбились одновременно в прехорошенькую портниху, по имени Жюстина. Она не слыла очень суровой, но вздумала почему-то поломаться и вот выбор ее пал на меня.

Хозяин. Это одно из тех женских чудачеств, в которых невозможно разобраться.

Жак. Все жилище моего крестного, тележника Черта, состояло из лавки и чердака. Его кровать помещалась в глубине лавки. Чертов сын, мой приятель, спал на чердаке, куда забирался с помощью лестницы, находившейся приблизительно на одинаковом расстоянии от постели отца и от входной двери.

Когда Черт, мой крестный, погружался в глубокий сон, Чертов сын, мой приятель, тихонько отворял дверь, и Жюстина поднималась на чердак по маленькой лестнице. На другое утро спозаранку, до пробуждения Черта-отца, Чертов сын спускался с чердака, отворял дверь, и Жюстина исчезала, как приходила.

Хозяин. Чтобы отправиться на какой-нибудь другой чердак, свой или чужой.

Жак. Почему бы и нет? Связь Чертова сына и Жюстины протекала довольно гладко, но ей суждено было прекратиться; так было предначертано свыше, и так оно случилось.

Хозяин. Ее прекратил отец?

Жак. Нет.

Хозяин. Мать?

Жак. Ее не было в живых.

Хозяин. Соперник?

Жак. Да нет же, черт возьми! Сударь, свыше предначертано, что вы не угомонитесь до конца своей жизни: вы будете угадывать, и, повторяю, каждый раз мимо.

Однажды под утро, когда друг мой Чертов сын, более утомленный, чем обычно, то ли работой предыдущего дня, то ли ночными удовольствиями, мирно почивал в объятиях Жюстины, у подножия лестницы раздался громовой голос:

«Черт! Черт! Проклятый лентяй! Уж благовестили к «Ангелу господню»; уже половина шестого, а он еще на чердаке! Не намерен ли ты прохлаждаться до полудня? Или мне слазить и спустить тебя оттуда скорей, чем бы тебе хотелось? Черт! Черт!»

«Что, батюшка?»

«Где ось, которую ждет этот ворчун мызник? Ты хочешь, чтоб он опять поднял шум?»

«Ось готова, он может получить ее через четверть часа...»

Предоставляю вам судить о тревоге Жюстины и моего бедного друга, Чертова сына.

Хозяин. Я уверен, что Жюстина поклялась больше не ходить на чердак и вернулась туда в тот же вечер. Но как выбралась она в то утро?

Жак. Если вы намереваетесь строить догадки, то я умолкаю... Между тем Чертов сын соскочил с кровати на босу ногу, схватил штаны, перекинул камзол через руку. Пока он одевается, Черт-отец бормочет сквозь зубы:

«С тех пор как он втюрился в эту шлюху, все пошло шиворот-навыворот. Но надо положить этому конец; дольше терпеть нельзя: мне надоело. Будь это еще девка, которая бы того стоила; а то мразь, бог весть какая мразь! Ах, если б увидела это покойница, которая до ногтей была пропитана устоями, то давно бы при всем честном народе на паперти отдубасила она одного, а другой выцарапала бы глаза после большой обедни, ибо ее ничем нельзя было остановить; но если я до сих был добрым и они думают, что это будет продолжаться, то они сильно ошибаются».

Хозяин. А Жюстина слышала все это со своего чердака?

Жак. Несомненно. Тем временем Чертов сын отправился к мызнику, перекинув ось через плечо, а Черт-отец принялся за работу. Ударив два-три раза топором, он почувствовал, что хочет понюшки; он ищет табакерку в кармане, ищет у изголовья постели и не находит.

«Вероятно, ее забрал, как всегда, этот прощелыга,— сказал он.— Посмотрим, нет ли ее наверху...»

И вот он взбирается на чердак. Мгновение спустя он вспоминает, что у него нет трубки и ножа, и снова поднимается на чердак.

Хозяин. А Жюстина?

Ж а к. Она поспешно забрала свое платье и скользнула под кровать, где растянулась на животе ни жива ни мертва.

Х о з я и н. А твой друг Чертов сын?

Ж а к. Сдав ось, приладив ее и получив деньги, он прибежал ко мне и поведал об ужасном положении, в котором находился. Немного позабавившись над ним, я сказал:

«Слушай, Чертов сын, погуляй по деревне или где тебе угодно, а я выручу тебя из беды. Прошу только об одном: не торопи меня...» Вы улыбаетесь, сударь; что это значит?

Х о з я и н. Ничего.

Ж а к. Мой друг, Чертов сын, уходит. Я одеваюсь, так как еще не вставал. Отправляюсь к его отцу. Не успел тот меня заметить, как воскликнул с радостью и удивлением:

«Это ты, крестник? Откуда тебя несет и зачем пришел в такую рань?..»

Крестный действительно питал ко мне дружбу, а потому я откровенно сказал ему:

«Дело не в том, откуда я иду, а как вернусь домой».

«Ах, крестник, ты становишься распутником; боюсь, что сын мой и ты — два сапога пара. Ты не ночевал дома».

«Отец полагает, что я не вправе так себя вести».

«Он вправе считать, что ты не вправе так себя вести. Но сперва позавтракаем, бутылка нас умудрит».

Х о з я и н. Жак, у этого человека были здравые взгляды.

Ж а к. Я отвечал ему, что не хочу ни пить, ни есть и что умираю от усталости и желания выспаться. Старик Черт, который в молодости не спасовал бы в таких делах ни перед кем, добавил, ухмыляясь:

«Эй, крестник, вероятно, она хорошенькая и ты не клал охулки на руку? Вот что: сын мой вышел; ступай на чердак и ложись на его постель... Но еще словечко перед тем, как он вернется. Он — твой друг; когда вы будете наедине, скажи ему, что я им недоволен, очень недоволен. Его развратила мне одна девчонка, Жюстина; ты ее, наверно, знаешь (кто из деревенских парней ее не знает!); ты окажешь мне настоящее одолжение, если отвратишь его от этой твари. Прежде это был, как говорится, отличный малый; но после злосчастного знакомства с ней... Да ты не слушаешь; у тебя глаза слипаются. Ступай отдохни...»

Иду наверх, раздеваюсь, поднимаю одеяло, простыни, щупаю повсюду: никакой Жюстины! Тем временем Черт, мой крестный, говорит:

«Ах, дети, проклятые дети! И этот тоже огорчает своего отца».

Не найдя Жюстины на кровати, я заподозрил, что она находится под ней. В конуре царила кромешная тьма. Наклоняюсь, щупаю, вожу руками, наталкиваюсь на ее руку, схватываю ее и притягиваю к себе; Жюстина, дрожа, выползает из-под лежака. Я целую ее, успокаиваю, подаю ей знак, чтоб она легла на кровать. Она складывает руки, падает к моим ногам, обнимает мои колени. Если бы было светло, я не устоял бы перед этой немой сценой; но когда потемки не внушают страха, они внушают предприимчивость. К тому же ее прежние отказы бередили мне сердце. Вместо ответа я пихнул ее к лестнице, ведущей в лавку. У нее от страха вырывается крик. Черт, услыхав его, говорит:

«Он бредит...»

Жюстина стала терять сознание; ее колени подкосились; в отчаянии она шептала глухим голосом:

«Он придет... он идет... вот он поднимается... Я погибла!»

«Нет, нет,— отвечал я тихо,— не бойся, молчи, ложись...»

Она продолжает отказываться; я стою на своем; она уступает, и вот мы друг подле дружки.

Хозяин. Предатель! Мерзавец! Знаешь ли ты, какое преступление собираешься совершить? Ты насилуешь девушку — если не физически, то, по крайней мере, при помощи страха. Если бы тебя привлекли к суду, ты узнал бы всю строгость закона, карающего похитителей.

Жак. Не знаю, изнасиловал ли я ее, но знаю, что ни я ей зла не причинил, ни она мне. Сперва, отводя рот от моих поцелуев, она приблизила его к моему уху и прошептала:

«Нет, нет, Жак! Нет...»

Тогда я притворился, будто хочу сойти с кровати и направиться к лестнице. Она удерживает меня и снова говорит на ухо:

«Никогда бы не поверила, что ты такой злой; вижу, что мне нечего ждать от тебя пощады; но, по крайней мере, обещай, поклянись...»

«В чем?»

«В том, что Чертов сын ничего не узнает».

Хозяин. Ты обещал, ты поклялся, и все прошло хорошо.

Жак. И еще раз очень хорошо.

Хозяин. И очень хорошо еще раз!

Жак. Вы говорите так, словно при этом присутствовали. Между тем мой друг, Чертов сын, потеряв терпение, тревожась и устав бродить вокруг дома, возвращается, не дождавшись меня, к отцу, который говорит ему с досадой:

«Ты потратил много времени на чепуху...»

Сын отвечает ему с еще большей досадой:

«Пришлось обстругать эту проклятую ось с обоих концов: она оказалась слишком толстой».

«Я же тебя предупреждал; но ты все хочешь делать по-своему».

«Обстругать легче, чем прибавить».

«Возьми-ка вот этот обод и доделай его за дверью».

«Почему за дверью?»

«Потому что шум инструмента может разбудить твоего друга Жака!»

«Жака!»

«Да, Жака; он там, на чердаке, отдыхает. Эх, как мне жаль отцов: одних за одно, других за другое. Ну что же? Пошевеливайся! Если ты будешь стоять там как болван, склонив голову, раскрыв рот и опустив руки, дело не подвинется...»

Чертов сын, мой приятель, в бешенстве кидается к лестнице; Черт, мой крестный, сдерживает его и говорит:

«Куда ты? Дай выспаться бедному малому; он изнемогает от усталости. Случись тебе быть на его месте, ты бы не захотел, чтоб тревожили твой покой».

Хозяин. А Жюстина и это слышала?

Жак. Как вы меня.

Хозяин. А ты что делал?

Жак. Смеялся.

Хозяин. А Жюстина?

Жак. Она сняла чепец, рвала на себе волосы, воздевала глаза к небу (по крайней мере, я так полагаю) и ломала себе руки.

Хозяин. Жак, ты варвар: у тебя каменное сердце.

Жак. Нет, сударь, нет: я обладаю чувствительностью; но я приберегаю ее для более важного случая. Расточители этой ценности так швыряются ею, когда нужно экономить, что у них ничего не остается, когда надо быть щедрым... Тем временем я одеваюсь и схожу вниз. Черт-отец говорит:

«Тебе необходимо было выспаться; когда ты пришел, ты был похож на мертвеца, а теперь ты розовый и свежий, как младенец, пососавший грудь. Сон — отличная вещь... Черт! Спустись в погреб и притащи бутылку, чтобы мы могли приступить к завтраку. Ну как, крестник, теперь ты охотно позавтракаешь?»

«Очень охотно».

И вот бутылка принесена и поставлена на рабочий стол; мы стоим вокруг. Черт-отец наполняет стаканы для себя и для меня; Чертов сын, отстраняя свой, говорит свирепым голосом:

«Мне не хочется пить в такую рань».

«Ты не хочешь пить?»

«Нет».

«Ага, я понимаю, в чем дело; знаешь, крестник, тут попахивает Жюстиной; верно, он заходил к ней и не застал ее или поймал с другим; это отвращение к бутылке неестественно, запомни мои слова».

Я: «Весьма возможно, что вы правы».

Чертов сын: «Жак, довольно шуток, уместных или неуместных: я их не терплю».

Черт-отец: «Если он не хочет пить, то это не должно мешать нам. Твое здоровье, крестник!»

Я: «Ваше, крестный! Чертов сын, друг мой, выпей с нами. Ты слишком огорчаешься из-за пустяков».

Чертов сын: «Я уже вам сказал, что не стану пить».

Я: «Если твой отец угадал, то что ж тут такого? Вы встретитесь, объяснитесь, и ты признаешь, что был неправ».

Черт-отец: «Эх, оставь его! Разве не справедливо, чтоб эта тварь наказала его за огорчение, которое он мне причиняет? Ну, еще глоток — и вернемся к твоему делу. По-видимому, мне придется отвести тебя к отцу; что мне, по-твоему, ему сказать?»

Я: «Все, что вам будет угодно, все, что вы сотни раз слыхали от него, когда он приводил к вам вашего сына».

Черт-отец: «Пойдем...»

Он выходит, я следую за ним, мы приближаемся к нашим дверям; я впускаю его одного. Сгорая от нетерпения послушать беседу крестного с моим отцом, я прячусь в закуток за перегородку, чтобы не упустить ни слова.

Черт-отец: «Ну, кум, придется простить его на этот раз».

«За что простить-то?»

«Ты притворяешься, будто не знаешь».

«Я не притворяюсь, а просто не знаю».

«Ты сердишься, и ты прав».

«Я вовсе не сержусь».

«Вижу, что сердишься».

«Пусть так, если тебе угодно; но расскажи прежде всего, какую глупость он натворил».

«Три-четыре раза в счет не идут. Встречается кучка молодых парней и девушек; пьют, танцуют, смеются, часы бегут; смотришь, а дома дверь уже на запоре...»

Крестный, понизив голос, добавил:

«Они нас не слышат; но, по чести, разве мы были разумнее в их возрасте? Знаешь ли, кто дурные отцы? Это те, кто

забыл про грешки своей молодости. Скажи, разве мы с тобой не таскались по ночам?»

«А ты, кум, скажи, разве мы не вступали в связи, не нравившиеся нашим родителям?»

«Да я больше кричу, чем в самом деле сержусь. Поступай так же».

«Но Жак ночевал дома, по крайней мере, нынче; я в этом уверен».

«Ну что ж, если не нынче, так вчера. Но так или иначе, а ты не сердишься на своего малого?»

«Нет».

«И после моего ухода не накажешь его?»

«Ни в коем случае».

«Даешь слово?»

«Даю».

«Честное слово?»

«Честное слово».

«Все улажено, иду домой...»

Когда крестный был уже на пороге, отец, ласково ударив его по плечу, сказал:

«Черт, друг мой, тут кроется какая-то загвоздка; наши парни — прехитрые бестии, и я боюсь, что здесь сегодня попахивает какой-то каверзой; но со временем все выйдет наружу. Прощай, кум».

Хозяин. Чем же кончилось приключение твоего друга, Чертова сына, с Жюстиной?

Жак. Как должно было. Он рассердился, а она — еще больше; она заплакала, он разнежился; она поклялась, что я лучший из друзей; я поклялся, что она честнейшая девушка в деревне. Он нам поверил, попросил прощения, полюбил нас и стал уважать больше прежнего. Таковы начало, середина и конец потери мною невинности. Теперь, сударь, скажите мне, пожалуйста, какую мораль вы выводите из этой непристойной истории?

Хозяин. Надо лучше знать женщин.

Жак. А вы нуждались в таком поучении?

Хозяин. Надо лучше знать друзей.

Жак. Неужели вы думаете, что среди них найдется хотя бы один, который откажется от вашей жены или дочери, если она захочет завлечь его в свои сети?

Хозяин. Надо лучше знать родителей и детей.

Жак. Ах, сударь, и те и другие во все времена попеременно обманывали и будут обманывать друг друга.

Хозяин. Ты высказал вечные истины, но их не мешает повторять почаще. Каков бы ни был следующий рассказ, который ты мне обещал, будь уверен, что только дурак не найдет в нем ничего поучительного. А теперь продолжай.

Читатель, меня грызет совесть: я приписал Жаку или его Хозяину несколько рассуждений, по праву принадлежащих тебе; если так, то возьми их обратно: наши путешественники не обидятся. Мне показалось, что тебе не понравилось имя Черт. Хотел бы я знать, почему? Это подлинное имя моего тележника; записи о крещении, записи о смерти, брачные договоры подписаны: «Черт». Чертовы потомки, которые теперь держат лавку, зовутся Черти. Когда их маленькие дети проходят по улице, люди говорят: «Вот Чертовы дети». Произнося имя Буль, вы вспоминаете величайшего мебельного мастера, который когда-либо существовал. В округе, где жил Черт, никто не скажет «черт», чтобы не вспомнить при этом знаменитейшего из известных тележников. Черт, имя коего мы читаем во всех требниках начала столетия, приходился ему родственником. Если кто-либо из Чертовых потомков прославится каким-нибудь великим деянием, собственное имя Черт будет звучать для вас не менее внушительно, чем Цезарь или Конде. Дело в том, что есть черт и Черт, как есть Гийом и Гийом. Когда я говорю просто Гийом, то вы не примете его ни за завоевателя Великобритании, ни за суконщика из «Адвоката Патлена»; просто Гийом не будет ни героическим, ни мещанским именем; то же и черт. Просто черт не означает ни великого тележника, ни кого-либо из его заурядных предков или потомков. Говоря по чести, может ли вообще собственное имя быть хорошего или дурного тона? Улицы кишат псами с кличкой Помпей. Отбросьте же свою ложную щепетильность, а не то я поступлю с вами, как лорд Чатам с членами парламента; он сказал им: «Сахар, сахар, сахар; что тут смехотворного?..» А я скажу вам: «Черт, Черт, Черт; почему человеку не называться Чертом?» Один офицер говорил своему генералу, великому Конде, что есть гордые чертовы дети, вроде Черта-тележника; славные чертовы дети, вроде нас с вами; пошлые чертовы дети, вроде очень многих других.

Жак. Дело было на свадьбе, брат Жан выдавал замуж дочь одного соседа. Я был шафером. Меня посадили за стол между двумя насмешниками нашего прихода; я имел вид превеликого дурака, хотя и был им в меньшей степени, нежели они думали.

Они задали мне несколько вопросов по поводу брачной ночи; я отвечал малость глуповато; они покатились со смеху, а жены этих шутников крикнули им с другого конца:

«Что случилось? Почему вы так веселитесь?»

«Это слишком смешно,— ответил один из них жене,— я расскажу тебе нынче ночью».

Другая, не менее любопытная, задала мужу тот же вопрос, и он отвечал ей таким же образом.

Трапеза продолжается, а вместе с ней вопросы и мои несуразности, взрывы смеха и удивление жен. После трапезы — танцы; после танцев — раздевание супругов, похищение подвязки; я — в своей постели, насмешники — в своих; и вот они рассказывают женам про непонятное, невероятное обстоятельство, а именно, что двадцатидвухлетний парень, рослый и сильный, довольно пригожий, расторопный и вовсе не глупый, оказался невинен — да, невинен, как младенец, только что покинувший чрево матери, и жены изумляются не меньше мужей. А на другой день Сюзанна подала мне знак и сказала:

«Жак, ты не занят?»

«Нет, соседка; чем могу вам служить?»

«Я хотела бы... хотела бы...— И при этом «хотела бы» она жмет мне руку и смотрит на меня каким-то особенным взглядом.— Я хотела бы, чтобы ты взял наш садовый нож и пошел в общинную рощу помочь мне нарезать две-три связки хвороста, так как это слишком тяжело для меня одной».

«Весьма охотно, госпожа Сюзанна...»

Беру нож, и мы отправляемся. По дороге Сюзанна кладет мне голову на плечо, теребит меня за подбородок, дергает за уши, щиплет бока. Приходим. Место на склоне. Сюзанна растягивается на одеяле во всю длину, поближе к верху, раздвигает ноги и закладывает руки за голову. Я, работая ножом, нахожусь ниже ее в зарослях; Сюзанна сгибает ноги, прижимая каблуки к ляжкам; согнутые колени приподнимают юбку, а я работаю ножом в зарослях, машу им вовсю, размахиваю вслепую, нередко мимо. Наконец Сюзанна говорит:

«Скоро ли ты кончишь, Жак?»

«Когда прикажете, госпожа Сюзанна».

«Разве ты не видишь,— добавила она вполголоса,— что мне хочется, чтобы ты кончил...»

И я кончил, перевел дух и снова кончил; а Сюзанна...

Хозяин. Лишила тебя невинности, которой не было?

Жак. Да; но она не далась в обман, а улыбнулась и промолвила:

«Ловко ты провел моего муженька, жулябия!»

«Что вы хотите сказать, госпожа Сюзанна?»

«Ничего, ничего; впрочем, ты меня отлично понимаешь. Обними меня еще несколько раз таким же образом, и я тебе это прощу...»

Я стянул вязанки, перекинул их через плечо, и мы вернулись — она к себе, а я к себе.

Хозяин. Без привала в пути?

Жак. Без привала.

Хозяин. Значит, от общинной земли до деревни было недалеко?

Жак. Не дальше, чем от деревни до общинной земли.

Хозяин. Большего Сюзанна не стоила?

Жак. Может быть, стоила для другого или в другой день: всякому моменту своя цена.

Спустя несколько времени госпоже Маргарите (так звали жену второго насмешника) понадобилось молоть зерно, а сходить на мельницу ей было недосуг; она попросила моего отца, чтоб он послал кого-нибудь из своих сыновей. Так как я был самый старший, то она не сомневалась, что выбор падет на меня; так оно и случилось. Госпожа Маргарита уходит от нас; я следую за ней; гружу мешок на осла и веду его на мельницу. Зерно смолото, и вот мы оба, я и осел, довольно грустные плетемся обратно, ибо я думал, что потрудился даром. Но я ошибся. Между деревней и мельницей был небольшой лесок; там я застал госпожу Маргариту сидящей на краю дороги. Дело шло к сумеркам.

«Жак, наконец-то! — сказала она.— Знаешь ли ты, что я прождала тебя смертельных два часа?..»

Читатель, ты ужасно придирчив. Я готов согласиться, что слова «смертельных два часа» напоминают городских дам, а что тетка Маргарита сказала бы: «добрых два часа».

Жак. «Дело в том, что воды было мало, мельница работала медленно, мельник нализался, и я, несмотря на все свои старания, не мог вернуться раньше».

Маргарита: «Садись, поболтаем немножко».

Жак: «Охотно, госпожа Маргарита».

И вот я усаживаюсь рядом с ней, чтобы поболтать, а между тем мы оба молчим. Наконец я говорю ей:

«Вы собирались со мной разговаривать, госпожа Маргарита, и не проронили ни слова».

Маргарита: «Я раздумываю над тем, что мой муж сказал о тебе».

Жак: «Не верьте ни одному слову: он насмешник».

Маргарита: «Он уверяет, что ты ни разу не влюблялся».

Жак: «В этом он прав».

Маргарита: «Как! Ни разу в жизни?»

Жак: «Ни разу».

Маргарита: «В твои годы ты не знаешь, что такое женщина?»

Жак: «Простите, госпожа Маргарита».

Маргарита: «А что такое женщина?»

Жак: «Женщина?»

Маргарита: «Да, женщина?»

Жак: «Постойте... Это мужчина в юбке, в чепце и с толстыми грудями...»

Хозяин. Ах, мерзавец!

Жак. Первая не обманулась, но мне хотелось обмануть вторую. На мой ответ госпожа Маргарита залилась безудержным хохотом; я с удивлением спросил ее, чему она смеется. Госпожа Маргарита ответила, что смеется над моей простотой.

«Как, в твоем возрасте ты знаешь не больше этого?»

«Нет, госпожа Маргарита».

Тут она умолкла, и я тоже.

«Госпожа Маргарита,— повторил я,— мы уселись, чтобы поболтать, а вот вы молчите, и мы не болтаем. Что с вами, госпожа Маргарита? Вы задумались?»

Маргарита: «Да, задумалась... задумалась... задумалась...»

При этих «задумалась» грудь ее вздымается, голос слабеет, тело дрожит, глаза закрываются, рот раскрывается, она испускает глубокий вздох и лишается чувств; я притворяюсь, будто опасаюсь за ее жизнь, и восклицаю в ужасе:

«Госпожа Маргарита! Госпожа Маргарита! Да скажите же что-нибудь! Госпожа Маргарита, вам дурно?»

Маргарита: «Нет, мой мальчик; дай мне минутку передохнуть... Не знаю, что это со мной случилось... Сразу как-то налетело...»

Хозяин. Она врала?

Жак. Врала.

Маргарита: «Я задумалась».

Жак: «Вы всегда так задумываетесь, когда лежите ночью подле мужа?»

Маргарита: «Иной раз».

Жак: «А ему не страшно?»

Маргарита: «Он привык...»

Маргарита понемногу пришла в себя и сказала:

Жак-фаталист и его Хозяин

«Я думала над тем, что с неделю тому назад, на свадьбе, мой муж и муж Сюзанны смеялись над тобой; меня разобрала жалость, и, не знаю отчего, мне стало как-то не по себе».

Жак: «Вы очень добры».

Маргарита: «Я не люблю, когда насмехаются. Я задумалась над тем, что они при первом же случае снова подымут тебя на смех, и это меня опять огорчит».

Жак. «От вас зависит, чтоб это не повторилось».

Маргарита: «Каким образом?»

Жак: «Научив меня...»

Маргарита: «Чему?»

Жак: «Тому, чего я не знаю и что так насмешило вашего мужа и мужа Сюзанны; тогда они перестанут смеяться».

Маргарита: «Ах, нет, нет! Я знаю, что ты хороший мальчик и никому не расскажешь; но я ни за что не посмею».

Жак: «Почему?»

Маргарита: «Нет, не посмею!..»

Жак: «Ах, госпожа Маргарита, научите меня, ради бога; я вам буду ужасно благодарен, научите меня...»

Умоляя ее таким образом, я сжимал ей руки, и она сжимала мои; я целовал ее в глаза, а она меня в губы. Тем временем стало совсем темно. Тогда я сказал ей:

«Я вижу, госпожа Маргарита, что вы недостаточно хорошо ко мне относитесь и не хотите меня научить; это меня очень огорчает. Давайте встанем и вернемся домой...»

Госпожа Маргарита не ответила; она взяла мою руку, направила — не знаю куда, но, во всяком случае, я воскликнул: «Да тут ничего нет! Ничего нет!»

Хозяин. Ах, мерзавец, архимерзавец!

Жак. Во всяком случае, она была почти раздета, а я еще в большей степени. Во всяком случае, я не отнимал руки от того места, где ничего не было, а она положила свою руку ко мне на то место, где кое-что было. Во всяком случае, я оказался под ней, а, следовательно, она на мне. Во всяком случае, я ей нисколько не помогал, так что ей пришлось взять все на себя. Во всяком случае, она так старательно отдалась обучению, что одно мгновение мне казалось, будто она умирает. Во всяком случае, будучи взволнован не меньше ее и не зная, что говорю, я воскликнул: «Ах, госпожа Сюзанна, это так приятно!»

Хозяин. Ты хочешь сказать: «госпожа Маргарита»?

Жак. Нет, нет. Во всяком случае, я спутал имена и, вместо того чтобы сказать: «госпожа Маргарита», сказал: «госпожа Сюзон». Во всяком случае, я признался госпоже Маргарите, что

то, чему, по ее мнению, научила она меня в этот день, преподала мне, правда несколько иначе, госпожа Сюзон три-четыре дня тому назад. Во всяком случае, она сказала: «Так это Сюзон, а не я?» Во всяком случае, я ответил: «Ни та, ни другая». Во всяком случае, пока она потешалась над собой, над Сюзон, над обоими мужьями и осыпала меня подходящими ругательствами, я очутился на ней, а, следовательно, она подо мной, и пока она признавалась мне, что это доставило ей большое удовольствие, но не столько, сколько первый способ, она снова очутилась надо мной, а я, следовательно, под ней. Во всяком случае, после нескольких минут отдыха и молчания ни она не была наверху, ни я внизу, ни она внизу, ни я наверху, а оба мы лежали рядышком, причем она наклонила голову вперед и прижалась обеими ляжками к моим ляжкам. Во всяком случае, будь я менее учен, госпожа Маргарита научила бы меня всему, чему можно научить... Во всяком случае, нам стоило больших усилий добраться до деревни. Во всяком случае, горло мое разболелось еще сильнее, и мало шансов, чтобы я мог снова говорить раньше, чем через две недели.

Хозяин. А ты после виделся с этими женщинами?

Жак. Много раз, с вашего позволения.

Хозяин. С обеими?

Жак. С обеими.

Хозяин. И они не поссорились?

Жак. Напротив,— помогая друг другу, они еще больше сдружились.

Хозяин. Наши жены поступили бы так же, но каждая со своим милым. Ты смеешься...

Жак. Не могу удержаться от смеха всякий раз, как вспомню маленького человечка, кричащего, ругающегося, шевелящего головой, ногами, руками, всем телом и готового броситься с высоты стога, рискуя разбиться насмерть.

Хозяин. А кто этот человечек? Муж Сюзон?

Жак. Нет.

Хозяин. Муж Маргариты?

Жак. Нет... Вы неисправимы; так будет до конца вашей жизни.

Хозяин. Кто же он?

Жак не ответил на этот вопрос, а Хозяин добавил:

— Скажи же мне только, кто этот человечек.

Жак. Однажды ребенок, сидя на полу у прилавка белошвейки, кричал благим матом. Торговка, которой надоел его крик, спросила:

«Дружок, чего ты кричишь?»

«Они хотят, чтоб я сказал «а»!»

«А почему же тебе не сказать «а»?»

«Потому что не успею я сказать «а», как они захотят, чтобы я сказал «бе»... Дело в том, что не успею я сказать вам имя человечка, как мне придется досказать остальное».

Хозяин. Возможно.

Жак. Нет, обязательно.

Хозяин. Но, друг мой, Жак, назови мне имя человечка. Тебе самому смертельно хочется, не правда ли? Исполни мое желание.

Жак. Это был человечек вроде карлика, горбатый, кривой, заика, косой, ревнивец, распутник, влюбленный в Сюзон и, быть может, ее любовник. Занимал он должность сельского викария.

Жак походил на ребенка белошвейки, с той лишь разницей, что, с тех пор как у него стало болеть горло, его трудно было заставить сказать «а», но раз уже начав, он сам доходил до конца алфавита.

Жак. Я был наедине с Сюзон в ее риге.

Хозяин. Конечно, не зря?

Жак. Разумеется. Приходит викарий; сердится, ругается, гневно спрашивает у Сюзон, что она делает наедине в отдаленнейшей части риги с самым развратным мальчишкой во всей деревне.

Хозяин. Ты, как я вижу, уже пользовался хорошей репутацией.

Жак. И по заслугам. Он действительно разгневался и к этим словам прибавил еще много других похуже. Я тоже вышел из себя. От оскорбления к оскорблению дошли мы до рукоприкладства. Я хватаю вилы, просовываю ему между ногами, зубец сюда, зубец туда, и швыряю его на стог, ни дать ни взять как охапку сена...

Хозяин. А стог был высокий?

Жак. По меньшей мере футов десять, и коротышке было трудно слезть оттуда, не сломав себе шеи.

Хозяин. А затем?

Жак. Затем я отстраняю косынку Сюзон, беру ее за грудь, ласкаю; она сопротивляется. В риге находилось ослиное седло, которым мы уже пользовались; я толкаю ее на седло.

Хозяин. Задираешь ей юбки?

Жак. Задираю юбки.

Хозяин. А викарий все это видел?

Жак. Как я вас.

Хозяин. И он молчал?

Жак. Отнюдь нет. Не помня себя от бешенства, он заорал: «Уби...уби...убивают! Пожар... пожар... пожар! Во... во... воры!..» И вот прибегает муж, который, по нашим расчетам, был далеко.

Хозяин. Жаль; я не люблю священников.

Жак. И вы были бы в восторге, если б я у него на глазах...

Хозяин. Сознаюсь, что да.

Жак. Сюзон успела подняться; я привожу себя в порядок, убегаю, и все, что воспоследовало, знаю уже со слов Сюзон. Увидав викария на стоге сена, муж расхохотался.

Викарий: «Смейся, смейся... ду...ду...рак ты этакий!..»

Муж следует его приглашению, заливается еще пуще прежнего и спрашивает, кто его туда посадил.

Викарий: «Спу...спу...спусти... меня... на...на землю...»

Муж продолжает хохотать и осведомляется, как ему за это взяться.

Викарий: «Как... как!.. Так же... как... я сюда... взо...взо... брался... на...на... вилах...»

«Тысячу пиявок, вы правы. Вот что значит ученость!..»

Муж берет вилы и подставляет их викарию; тот садится на них тем же манером, каким я его поддел; муж обносит его два-три раза по риге на своем орудии и затягивает какое-то подобие фобурдона, а викарий кричит:

«Спу...спу...спусти... меня... ка...ка...налья!.. Спу...спу... стишь ли ты... меня... на...наконец?..»

А муж говорит:

«А почему бы, господин викарий, не поносить мне вас так по всем деревенским улицам? Вот была бы невиданная процессия!..»

Однако муж спустил его на землю, и викарий отделался страхом. Не знаю, что именно он затем ему сказал, так как Сюзон удрала, и я слышал только:

«Не...не...годяй... ты...ты... бьешь... свя...свя...священника... Я... от...от...отлучу... тебя... ты... бу...будешь... про... про... проклят...»

Говорил это горбун, а муж преследовал его и колотил вилами. Прибегаю вместе с толпой; завидев меня, муж направляет вилы в мою сторону.

«Подойди-ка, подойди!» — кричит он.

Хозяин. А Сюзон?

Жак. Она выкрутилась.

Хозяин. Удачно?

Жак. Разумеется; женщины всегда удачно выкручиваются, когда их не ловят с поличным... Чему вы смеетесь?

Хозяин. Тому же, чему буду, как ты, смеяться всякий раз, как вспомню маленького викария, восседающего на вилах мужа.

Жак. Спустя некоторое время после этого приключения, которое дошло до моего отца и по поводу которого он тоже немало смеялся, я поступил в солдаты, как уже вам рассказывал...

Одни говорят, что Жак промолчал или прокашлял несколько минут, другие — что он снова хохотал, после чего Хозяин обратился к нему:

— А история твоих любовных похождений?

Жак покачал головой и не ответил.

Как здравомыслящий, нравственный человек, почитающий себя философом, может забавляться пересказом таких пустых побасенок? — Во-первых, читатель, это вовсе не побасенки, а исторические факты, и, повествуя о шалостях Жака, я чувствую себя не более, а может статься, и не менее повинным, нежели Светоний, когда он рассказывает нам о разврате Тиберия. Между тем ты читаешь Светония и не делаешь ему никаких упреков. Почему ты не хмуришь брови при чтении Катулла, Марциала, Горация, Ювенала, Петрония, Лафонтена и многих других? Почему не говоришь ты стоику Сенеке: «Какое нам дело до бражничанья твоего раба с его вогнутыми зеркалами!» Отчего ты снисходителен только к мертвецам? Призадумавшись над этим пристрастием, ты убедишься, что оно порождено каким-нибудь порочным принципом. Если ты невинен, то не станешь меня читать; если испорчен, то прочтешь без дурных для себя последствий. Возможно, что мои доводы тебя не убедят; тогда открой предисловие Жана-Батиста Руссо, и ты найдешь у него мою апологию. Кто из вас осмелится осуждать Вольтера за то, что он написал «Девственницу»? Никто. Значит, ты имеешь несколько разных весов для взвешивания человеческих поступков.— Но вольтеровская «Девственница», скажешь ты, шедевр.— Тем лучше: ее больше будут читать.— А твой «Жак» — только невыносимый винегрет из фактов, как подлинных, так и вымышленных, лишенных грации и порядка.— Тем лучше: моего «Жака» будут меньше читать. С какой бы стороны ты ни повернул дело, ты не прав. Если мое произведение удачно, оно доставит тебе удовольствие; если плохо, оно не причинит зла. Нет книги невиннее плохой книги. Я забавляюсь описанием

твоих дурачеств под вымышленными именами; твои дурачества меня смешат, а мое описание тебя сердит. Положа руку на сердце, читатель, я думаю, что худший злюка из нас двоих — это не я. Меня бы вполне удовлетворило, если бы я так же легко мог себя обезопасить от твоей клеветы, как ты — оградить себя от скуки и вреда моего сочинения. Оставьте меня в покое, скверные лицемеры! Совокупляйтесь, как разнузданные ослы, но позвольте мне говорить о совокуплении; я разрешаю вам действие, разрешите же мне слова. Вы смело говорите: убить, украсть, обмануть, а это слово вы только осмеливаетесь цедить сквозь зубы. Чем меньше так называемых непристойностей вы высказываете на словах, тем больше их остается у вас в мыслях. А чем вам досадил половой акт, столь естественный, столь необходимый и столь праведный, что вы исключаете его наименование из вашей речи и воображаете, будто оно оскверняет ваш рот, ваши глаза и уши? Гораздо полезнее, чтобы выражения, наименее употребляемые, реже печатаемые и наиболее замалчиваемые, стали наиболее известными и наиболее распространенными; да так оно и есть; ведь слово *futuo*[1] не менее популярно, чем слово хлеб; нет возраста, который бы его не знал, нет идиомы, где бы его не было, у него тысяча синонимов на всех языках; оно внедряется в каждый из них, не будучи ни названо, ни произнесено, без образа, и пол, который практически пользуется им более всего, обычно более всего его замалчивает. Слышу, как вы восклицаете: «Фу, циник! Фу, бесстыдник! Фу, софист!..» Ну что ж! Оскорбляйте достойного автора, чьи произведения вы постоянно держите в руках; я выступаю здесь только в роли его толмача. Благопристойность его стиля почти является гарантией чистоты его нравов; таков Монтень. *«Lasciva est nobis pagina, vita proba»*[2].

Остаток дня Жак и его Хозяин провели не раскрывая рта. Жак кашлял, а Хозяин говорил: «Какой ужасный кашель!» — смотрел на часы, не замечая этого, открывал табакерку, сам того не ведая, и брал понюшку, ничего не чувствуя; в этом убеждает меня то, что он совершал эти движения три-четыре раза кряду и в том же порядке. Минуту спустя Жак снова кашлял, а Хозяин говорил: «Вот чертов кашель! Впрочем, ты нализался у трактирщицы по уши. Да вчера вечером с секретарем ты тоже себя не пощадил: подымаясь по лестнице, ты качался и не знал, что говоришь; а теперь ты сделал десять привалов,

---

[1] Я совокупляюсь *(лат.)*.

[2] Пусть непристойны стихи, жизнь безупречна моя *(лат.)*.

и бьюсь об заклад, что в твоей кубышке не осталось ни капли вина...» Затем он ворчал сквозь зубы, смотрел на часы и угощал свои ноздри.

Я забыл тебе сказать, читатель, что Жак никогда не отправлялся в путь без кубышки, наполненной лучшим вином; она висела на его седельной луке. Всякий раз, как Хозяин прерывал его каким-нибудь пространным замечанием, он отвязывал кубышку, пил, не прикладывая ко рту, и клал ее на место лишь после того, как Хозяин умолкал. Забыл я также вам сказать, что во всех случаях, требующих размышления, он прежде всего запрашивал кубышку. Надлежало ли разрешить нравственный вопрос, обсудить факт, предпочесть одну дорогу другой, начать, продолжать или бросить дело, взвесить все «за» и «против» политического акта, коммерческой или финансовой операции, разумности или неразумности закона, исхода войны, выбора трактира, в трактире — выбора комнаты, в комнате — выбора постели,— первое его слово гласило: «Спросим кубышку», а последнее: «Таково мнение кубышки и мое». Когда судьба представлялась ему неясной, он запрашивал кубышку; она была для него своего рода переносной Пифией, умолкавшей, как только пустела. В Дельфах Пифия, задрав одежду и сидя голым задом на треножнике, получала свое вдохновение снизу вверх; Жак, восседая на лошади, запрокинув голову к небу, откупорив кубышку и наклонив ее горлышко ко рту, получал свое вдохновение сверху вниз. Когда Пифия и Жак изрекали свои предсказания, они оба были пьяны. Жак говорил, что святой дух спустился к апостолам в кубышке, и называл пятидесятницу праздником кубышки. Он оставил небольшое сочинение о всякого рода предсказаниях, сочинение глубокое, в котором отдает предпочтение прорицаниям Бакбюк, или при посредстве кубышки. Несмотря на все свое уважение к медонскому кюре, он не соглашался с ним, когда тот, вопрошая божественную Бакбюк, прислушивался к бульканью в брюшке бутылки. «Люблю Рабле,— говорит он,— но правду люблю еще больше». Он называет его еретическим энгастримитом и приводит сотни доводов, один лучше другого, в пользу того, что подлинные прорицания Бакбюк, или бутылки, раздавались исключительно из горлышка. В числе выдающихся последователей Бакбюк, истинных приверженцев кубышки в течение последних веков, он называет Рабле, Лафара, Шапеля, Шолье, Лафонтена, Мольера, Панара, Гале, Ваде. Платон и Жан-Жак Руссо, превозносившие доброе вино, не прикладываясь к нему, были, по его мнению, ложными друзьями кубышки. Кубышке некогда

было посвящено несколько знаменитых святилищ: «Еловая шишка», «Тампль» и «Загородный кабачок», историю которых он написал отдельно. Он блестяще живописует энтузиазм, горячность, огонь, охвативший, да и в наши дни охватывающий, бакбюковцев или перигорцев, когда к концу трапезы они опираются локтями о стол и им грезится божественная Бакбюк, или священная бутыль, которая появляется среди них, шипит, вышвыривает свой головной убор и покрывает своих поклонников пророческой пеной. Книга его украшена двумя портретами, под которыми подписано: «Анакреонт и Рабле, первосвященники бутылки, один у древних, другой у современных народов».

Неужели Жак пользовался термином «энгастримит»?..— Почему бы нет, читатель? Капитан Жака был бакбюковцем и мог знать это выражение, а Жак, подхватывавший все слова капитана,— его запомнить; но на самом деле «энгастримит» принадлежит мне, а в основном тексте мы читаем: «чревовещатель».

Все это прекрасно, скажете вы, но где же любовные похождения Жака? — О любовных похождениях Жака знает один только Жак, а его мучит боль в горле, заставляющая его Хозяина хвататься за часы и за табакерку и огорчающая его не меньше вас.— Что будет с нами? — Право, не знаю. В этом случае следовало бы запросить Бакбюк, или священную бутыль; но культ ее упал, храмы опустели. Как при рождении нашего божественного спасителя исчезли оракулы язычества, так после смерти Гале умолкли оракулы Бакбюк: не стало великих поэм, не стало образцов неподражаемого красноречия, не стало произведений, отмеченных печатью опьянения и гения; все теперь рассудочно, размеренно, академично и плоско. О божественная Бакбюк! О священная бутыль! О божество Жака! Вернись к нам!.. У меня является желание, читатель, занять тебя рассказом о рождении божественной Бакбюк, о чудесах, его сопровождавших и за ним последовавших, о дивном ее царствовании и бедствиях, сопряженных с ее удалением; и если болезнь горла нашего друга Жака затянется, а его Хозяин будет упорствовать в своем молчании, вам придется удовольствоваться этим эпизодом, который я постараюсь растянуть, пока Жак не выздоровеет и не вернется к своим любовным похождениям...

Здесь в беседе Жака с его Хозяином имеется поистине досадный пробел. Какой-нибудь потомок Нодо, председателя суда де Броса, Фрейнсгемия или отца Бротье заполнит его когда-ни-

будь, а потомки Жака и его Хозяина, владельцы этой рукописи, будут хохотать над ним до упаду.

Надо думать, что Жак, которого воспаление горла принудило к молчанию, прекратил рассказывать свои любовные похождения и Хозяин приступил к рассказу о своих. Это только предположение, которое я привожу здесь без всякой ответственности. После нескольких строк пунктиром, указывающих на пропуск, говорится: «Ничего нет грустнее в этом мире, как быть дураком...» Жак ли произносит эти слова или его Хозяин? Это могло бы послужить темой для длинного и тонкого рассуждения. Если Жак достаточно нагл, чтоб обратиться с подобными словами к своему Хозяину, так тот, со своей стороны, достаточно откровенен, чтоб обратиться с ними к самому себе. Но как бы то ни было, очевидно, совершенно очевидно, что дальше говорит уже Хозяин.

Хозяин. Это происходило накануне ее именин, а денег у меня не было. Моего закадычного друга, шевалье де Сент-Уэна, ничто не могло смутить.

«У тебя нет денег?» — сказал он.

«Нет».

«Ну что ж: так надо их сделать».

«А ты знаешь, как их делают?»

«Без сомнения».

Сент-Уэн одевается, мы выходим, и он ведет меня окольными улицами в небольшой темный дом, где мы подымаемся по узкой грязной лестничке на четвертый этаж и входим в довольно просторное помещение с весьма странной меблировкой. Среди прочих вещей стояли рядышком три комода, все различной формы; над средним помещалось зеркало с карнизом, слишком высоким для потолка, так что оно на добрые полфута заходило за комод; на этих комодах лежали всевозможные товары, в том числе два триктрака: вдоль стен были расставлены стулья, причем не было двух одинаковых; в ногах кровати — роскошная кушетка; перед одним из окон — вольера без птицы, но совсем новая, перед другим — люстра, подвешенная на палке от метлы, оба конца которой покоились на спинках двух дрянных соломенных кресел; дальше направо и налево картины — одни на стенах, другие сваленные в кучу.

Жак. Это попахивает делягой за целое лье.

Хозяин. Ты угадал. И вот мой шевалье и господин Лебрен (так звали нашего торговца и посредника по ростовщическим делам) бросаются друг другу в объятия.

«Ах, это вы, господин шевалье!»

«Да, я, дорогой Лебрен».

«Куда вы пропали? Целая вечность, как я вас не видел. Грустные времена, не правда ли?»

«Очень грустные, дорогой Лебрен. Но дело не в том; выслушайте меня, мне надо сказать вам два слова...»

Я присаживаюсь. Шевалье и Лебрен уходят в уголок и беседуют между собой. Могу передать тебе из их разговора только несколько слов, подхваченных мною на лету:

«Кредитоспособен?»

«Безусловно».

«Совершеннолетний?»

«Более чем совершеннолетний».

«Это сын того?»

«Да, сын».

«Знаете ли вы, что два наших последних дела...»

«Говорите тише».

«Отец?»

«Богат».

«Стар?»

«И дряхл».

Лебрен громко:

«Нет, господин кавалер, я не желаю больше ни во что вмешиваться: это всегда плохо кончается. Вы говорите, это ваш друг? Отлично! У него вид честного человека, но...»

«Дорогой Лебрен!»

«У меня нет денег».

«Но у вас есть знакомства».

«Все это негодяи, прожженные жулики. Господин шевалье, неужели вам не надоело проходить через их руки?»

«Нужда не знает закона».

«Нужда, которая вас донимает, пустячная нужда: это буйотка, партия в лото, какая-нибудь девчонка».

«Любезный друг...»

«Ну, хорошо, хорошо: я бессилен, как ребенок; а кроме того, вы в состоянии заставить любого человека нарушить клятву. Позвоните! Я узнаю, дома ли Фуржо... Нет, не звоните, Фуржо отведет вас к Мервалю».

«А почему не вы?»

«Я? Нет! Я поклялся, что этот ужасный Мерваль никогда не будет обслуживать ни меня, ни моих друзей. Вам придется поручиться за вашего приятеля, который, быть может... который, без сомнения, порядочный человек: мне придется поручиться за вас перед Фуржо, а Фуржо — за меня перед Мервалем».

Тем временем вошла служанка и спросила:

«Сходить к господину Фуржо?»

Лебрен служанке:

«Нет, ни к кому... Господин кавалер, я не могу, я, право, не могу».

Шевалье обнимает, увещает его:

«Дорогой Лебрен! Дорогой друг!..»

Я подхожу, присоединяю свои просьбы к просьбам кавалера:

«Господин Лебрен! Дорогой господин Лебрен!..»

Лебрен уступает.

Служанка, улыбавшаяся при виде этой комедии, ушла и во мгновение ока вернулась с хроменьким человечком в черной одежде и с палкой в руке: заика, лицо сухое и морщинистое, взгляд живой. Шевалье повернулся к нему и сказал:

«Ну-с, господин Матье де Фуржо, мы не можем терять ни минуты, ведите нас поскорее...»

Фуржо, не обращая на него внимания, развязал маленький замшевый кошелек.

Шевалье сказал Фуржо:

«Смеетесь вы, что ли? Дело касается нас...»

Я подошел, вынул экю, сунул его шевалье, который передал его служанке, взяв ее за подбородок. Между тем Лебрен говорил Фуржо:

«Я вам запрещаю; не водите к нему этих господ!»

Фуржо: «Почему, господин Лебрен?»

Лебрен: «Потому что он жулик и плут».

Фуржо: «Мне известно, что господин де Мерваль... но всякий грех прощается, а кроме того, я не знаю никого, кто в данную минуту был бы при деньгах...»

Лебрен: «Поступайте как хотите, Фуржо. Господа, я умываю руки».

Фуржо *(Лебрену)*: «Господин Лебрен, разве вы не пойдете с нами?»

Лебрен: «Я? Упаси меня боже! Это мерзавец, которого я не желаю больше видеть во всю мою жизнь».

Фуржо: «Но без вас мы не уладим этого дела».

Шевалье: «Конечно. Пойдемте, дорогой Лебрен, вы окажете мне услугу, вы обяжете приличного человека, попавшего в тиски; не отказывайте мне, идемте!»

Лебрен: «Чтобы я пошел к Мервалю! Я! Я!..»

Шевалье: «Да, вы; вы пойдете со мной...»

Поддавшись на уговоры, Лебрен позволил себя увести, и вот мы — Лебрен, шевалье, Матье де Фуржо и я — направляемся к своей цели, а шевалье, дружески похлопывая Лебрена по ладони, говорит мне:

«Лучший человек в мире, обязательнейший человек, верный друг...»

Лебрен: «Мне кажется, господин шевалье, что вы можете заставить меня даже подделать деньги».

Жак. Матье де Фуржо...

Хозяин. Что ты хочешь сказать?

Жак. Матье де Фуржо... Я хочу сказать, что шевалье де Сент-Уэн знает этих людей вдоль и поперек; это плут, спевшийся с канальями.

Хозяин. Вероятно, ты прав... Трудно себе представить человека более мягкого, более обходительного, более достойного, более вежливого, более доброго, более сострадательного, более бескорыстного, чем господин де Мерваль. Когда мое совершеннолетие и моя платежеспособность были установлены, господин де Мерваль принял особенно задушевный и грустный вид и сказал нам с душевным, искренним сочувствием, что он в отчаянии, что в это самое утро он был вынужден выручить друга, находившегося в самых стесненных обстоятельствах, и что у него нет ни гроша. Затем, обращаясь ко мне, он добавил:

«Государь мой, не жалейте о том, что вы не пришли раньше; мне было бы неприятно вам отказать, но я бы это сделал: долг дружбы прежде всего...»

И вот мы все в величайшем удивлении; шевалье, даже Лебрен и Фуржо — у ног Мерваля, и Мерваль говорит им:

«Господа, вы меня знаете: я люблю давать в долг ближнему и стараюсь не испортить услуги, заставляя себя просить; но, даю слово благородного человека, в доме не найдется и четырех луидоров...»

Я был похож среди этих людей на осужденного, выслушавшего свой приговор.

«Шевалье,— сказал я,— пойдемте, раз эти господа не могут ничего сделать...»

Но шевалье отвел меня в сторону и сказал:

«Забыл ты, что ли? Ведь сегодня канун ее именин. Помни: я предупредил ее, и она ожидает от тебя какого-нибудь знака внимания. Ты ее знаешь: это не потому, что она корыстна, но, как все женщины, она не любит быть обманутой в своих ожиданиях. Возможно, что она уже похвасталась перед отцом, ма-

терью, тетками, подругами; и после этого ей будет обидно, если она не сможет ничего им показать...»

И вот он снова возвращается к Мервалю и пристает к нему еще настойчивее. Тот заставляет долго тормошить себя и наконец говорит:

«У меня глупейшая натура: не могу видеть ближнего в нужде. Я размышляю; мне приходит в голову мысль».

Шевалье: «Какая мысль?»

Мерваль: «Почему бы вам не взять товары?»

Шевалье: «А у вас есть?»

Мерваль: «Нет, но я знаю женщину, которая вам их отпустит: славная женщина, честная женщина».

Лебрен: «Да, но которая продаст нам хлам на вес золота, а получим мы гроши».

Мерваль: «Ничуть не бывало: это будут очень красивые ткани, золотые и серебряные вещицы; всевозможные шелка, жемчуга, несколько драгоценных камней; вам придется потерять безделицу на этих предметах. Она очаровательная особа, поверьте, удовлетворится пустяком, лишь бы была гарантия; а товары эти делового происхождения и достались ей очень дешево. Впрочем, взгляните сами; за осмотр с вас ничего не возьмут...»

Я заявил Мервалю и шевалье, что не занимаюсь торгашеством, но что, если б даже мне это предложение не претило, у меня все равно в данном случае не было бы времени им воспользоваться. Тут предупредительные господа Лебрен и Матье де Фуржо воскликнули в один голос:

«За этим дело не станет: мы продадим их за вас; придется только полдня повозиться...»

И заседание было отложено на двенадцать часов у господина Мерваля; тот, ласково похлопав меня по плечу, сказал слащавым и проникновенным голосом:

«Рад вам услужить, государь мой; но, поверьте мне, делайте пореже такие займы: они всегда кончаются разорением. Было бы просто чудом, если бы вам повстречались еще раз в этой стране такие честные дельцы, как господа Лебрен и Матье де Фуржо...»

Лебрен и Фуржо де Матье, или Матье де Фуржо, поблагодарили его поклоном и сказали, что он очень добр, что они до сих пор старались по совести вести свои маленькие дела и что их не за что хвалить.

Мерваль: «Ошибаетесь, господа, ибо кто в наше время поступает по совести? Спросите у господина шевалье де Сент-Уэна; он должен знать кое-что об этом».

И вот мы выходим от Мерваля, который с площадки лестницы спрашивает, может ли он на нас рассчитывать и послать за торговкой. Мы отвечаем утвердительно и в ожидании часа встречи отправляемся все вчетвером обедать в соседний трактир.

Матье де Фуржо заказал обед, отличный обед. Во время десерта к нашему столу подошли две девчонки со своими дребезжалками. Лебрен пригласил их присесть. Их заставили выпить, поболтать, сыграть кое-что. Пока трое моих сотрапезников забавлялись тем, что тискали одну из девиц, другая, сидевшая рядом со мной, шепнула мне тихо:

«Сударь, вы находитесь в скверной компании: среди этих людей нет ни одного, который не был бы на примете у полиции».

Мы покинули харчевню в условленный час и отправились к Мервалю. Я забыл тебе сказать, что этот обед истощил не только кошелек шевалье, но и мой; по дороге Лебрен сообщил Сент-Уэну, а тот передал мне, что Матье де Фуржо требует десять луидоров за посредничество и что меньше этого ему предложить нельзя; если мы его удовлетворим, то получим товары дешевле и легко сможем вернуть эту сумму при продаже.

Приходим к Мервалю, где нас уже опередила торговка со своими товарами. Мадемуазель Бридуа (так ее звали) рассыпалась в любезностях и реверансах и выложила перед нами ткани, полотна, кружева, перстни, алмазы, золотые тавлинки. Мы отобрали от всего. Лебрен, Матье де Фуржо и шевалье делали оценку, а Мерваль вел запись. Общая сумма составила девятнадцать тысяч семьсот семьдесят ливров, на каковые я собрался выдать расписку, когда мадемуазель Бридуа сказала мне, делая реверанс (а она ни к кому не обращалась без реверанса):

«Сударь, вы намерены заплатить в срок?»

«Безусловно»,— отвечал я.

«В таком случае,— возразила она,— вам должно быть безразлично, выдать ли мне расписки или векселя».

Слово «вексель» заставило меня побледнеть. Кавалер заметил это и сказал мадемуазель Бридуа:

«Векселя, сударыня? Но векселя поступят на рынок, и неизвестно, в какие руки они попадут».

«Вы шутите, господин шевалье; разве мы не знаем, с каким уважением следует относиться к лицам вашего ранга?..»

И снова реверанс.

«Такие бумаги держат в своем бумажнике; их выпускают только после наступления срока. Вот взгляните!..»

И опять реверанс... Она извлекает бумажник из кармана; читает имена целой кучи лиц всякого звания и положения. Кавалер подошел ко мне и сказал:

«Векселя! Это чертовски серьезное дело! Подумай о том, что ты делаешь. Впрочем, эта особа смахивает на порядочную женщину, а кроме того, до наступления срока либо ты, либо я будем при деньгах».

Жак. И вы подписали векселя?

Хозяин. Подписал.

Жак. Когда дети уезжают в столицу, то у отцов в обычае читать им маленькое наставление: «Не бывайте в дурном кругу, угождайте начальству точным исполнением долга, блюдите свою религию, избегайте девиц дурного поведения и мошенников, а в особенности никогда не подписывайте векселей»...

Хозяин. Что ты хочешь? Я поступил, как другие: первое, что я забыл, это было наставление моего отца. И вот я запасся товарами на продажу; но мне нужны были деньги. Там было несколько пар кружевных манжет, очень красивых; шевалье забрал их себе по своей цене и сказал:

«Вот уже часть твоих покупок, на которой ты ничего не потеряешь».

Матье де Фуржо облюбовал часы и две золотые тавлинки, стоимость которых обязался тотчас же внести; остальное Лебрен взял к себе на хранение. Я сунул в карман роскошный гарнитур с манжетами; это был один из цветочков букета, который я намеревался преподнести. Матье де Фуржо мгновенно вернулся с шестьюдесятью луидорами: десять он удержал в свою пользу, а остальные пятьдесят отдал мне. Он заявил, что не продал ни часов, ни тавлинок, а заложил их.

Жак. Заложил?

Хозяин. Да.

Жак. Знаю, у кого.

Хозяин. У кого?

Жак. У девицы с реверансами, у Бридуа.

Хозяин. Верно. К манжетам и гарнитуру я присоединил красивый перстень и коробочку для мушек, выложенную золотом. В кошельке у меня лежало пятьдесят луидоров, и мы с шевалье были в великолепном настроении.

Жак. Все это прекрасно. Меня интересует только бескорыстие этого господина Лебрена; неужели он вовсе не имел доли в добыче?

Хозяин. Полно смеяться, Жак; ты не знаешь господина Лебрена. Я предложил поблагодарить его за услуги; он рас-

сердился, ответил, что я, по-видимому, принимаю его за какого-нибудь Матье де Фуржо и что он никогда не попрошайничал.

«Вот он каков, этот дорогой Лебрен! — воскликнул шевалье.— Всегда верен себе; но нам было бы стыдно, если бы он оказался честнее нас...»

И шевалье тут же отобрал из товаров две дюжины платков, отрез муслина, которые стал навязывать Лебрену для подарка жене и дочери. Лебрен принялся разглядывать платки, которые показались ему очень красивыми, муслин, который он нашел очень тонким, а наше предложение — настолько радушным, что, принимая во внимание возможность в скором времени отблагодарить нас за это продажей находящихся у него вещей, он позволил себя уговорить. И вот мы вышли и мчимся во всю прыть извозчичьей лошади к дому той, которую я любил и которой предназначались гарнитур, манжеты и перстень. Подарок был превосходно принят. Со мною были ласковы. Тут же примерили гарнитур и манжеты; перстень оказался прямо создан для пальчика. Мы поужинали, и поужинали весело, как ты можешь себе представить.

Жак. И остались ночевать?

Хозяин. Нет.

Жак. Значит, шевалье остался?

Хозяин. Вероятно.

Жак. При том темпе, каким вы мчались, пятидесяти луидоров не надолго хватило.

Хозяин. Да. Спустя неделю мы отправились к Лебрену узнать, сколько выручено от продажи остальных вещей.

Жак. Ничего или очень мало. Лебрен был грустен, ругал Мерваля и девицу с реверансами, называл их жуликами, негодяями, мошенниками, клялся не иметь с ними больше никаких дел и вручил вам около семисот или восьмисот франков.

Хозяин. Приблизительно так: восемьсот семьдесят ливров.

Жак. Итак, если я только умею считать, восемьсот семьдесят ливров Лебрена, пятьдесят луидоров Мерваля или Фуржо, накинем еще пятьдесят луидоров за гарнитур, манжеты, перстень,— вот и все, что вам досталось из ваших девятнадцати тысяч семисот семидесяти пяти ливров в товарах. Мерваль был прав: не каждый день приходится иметь дело с такими достойными людьми.

Хозяин. Ты забыл про манжеты, взятые шевалье по своей цене.

Жак-фаталист и его Хозяин

Жак. Но шевалье, вероятно, никогда больше о них не упоминал?

Хозяин. Да, это так. Ну, а об обеих тавлинках и часах, заложенных Матье, ты ничего не скажешь?

Жак. Тут я уж не знаю, что сказать.

Хозяин. Между тем наступил срок платежа по векселям.

Жак. И ни вам, ни шевалье не прислали денег.

Хозяин. Мне пришлось скрываться. Уведомили родных; один из моих дядей приехал в Париж. Он подал жалобу в полицию на всех этих мошенников. Жалобу переслали полицейскому чиновнику; чиновник был старым покровителем Мерваля. Он ответил, что, поскольку делу дан законный ход, полиция уже ничего не может сделать. Заимодавец, принявший в заклад тавлинки, привлек к суду Матье. Меня впутали в дело. Судебные издержки оказались столь огромными, что, по продаже часов и тавлинок, не хватило для полного расчета еще пятисот или шестисот франков.

Ты этому не поверишь, читатель. А если я скажу тебе, что продавец лимонада, живший по соседству от меня и недавно скончавшийся, оставил двух бедных сироток в младенческом возрасте. Комиссар явился к покойному и опечатал все имущество. Затем печати сняли, составили опись и распродали все их добро; за продажу выручили около девятисот франков. Из этих денег, за вычетом издержек, осталось по два су на каждого сироту; им вложили в руки эти гроши и отвели их в приют.

Хозяин. Ужасно.

Жак. А между тем все остается так и поныне.

Хозяин. Тем временем отец мой скончался. Я погасил векселя и вышел из своего убежища, где, должен признать к чести шевалье и моей подруги, они составляли мне компанию с удивительным постоянством.

Жак. И вот вы по-прежнему под влиянием шевалье и вашей красотки; и ваша красотка водит вас за нос еще больше прежнего.

Хозяин. Почему ты так думаешь?

Жак. Почему? Потому, что, когда вы стали сами себе хозяином и владельцем приличного состояния, надо еще было околпачить вас окончательно, то есть сделать настоящим мужем.

Хозяин. Думаю, что таково было их намерение; но оно не увенчалось успехом.

Жак. Либо вы счастливец, либо они оказались большими растяпами.

Хозяин. Но мне кажется, что голос у тебя менее хриплый и что ты говоришь свободнее.

Жак. Вам только так кажется; дело обстоит иначе.

Хозяин. Не мог ли бы ты продолжать историю своих любовных похождений?

Жак. Нет.

Хозяин. И ты склоняешься к тому, чтоб я продолжал историю своих?

Жак. Я склоняюсь к тому, чтобы сделать перерыв и приложиться к кубышке.

Хозяин. Как! С твоим воспаленным горлом ты опять приказал наполнить кубышку?

Жак. Да; но ячменным отваром, черт бы его побрал! А потому мне не приходит в голову ни одна мысль; хожу как дурак и не перестану так ходить, пока в кубышке будет один только отвар.

Хозяин. Что ты делаешь!

Жак. Выливаю отвар; я боюсь, как бы он не принес нам несчастья.

Хозяин. Ты спятил!

Жак. Спятил или не спятил, а в кубышке не останется даже слезинки.

Пока Жак выливает содержимое кубышки на землю, Хозяин смотрит на часы, открывает табакерку и собирается продолжать свою историю любовных похождений. А я, читатель, склонен заткнуть ему рот, показав издали старика военного, сутулого, скачущего верхом во всю прыть, или молодую крестьянку в маленькой соломенной шляпке и в красной юбке, идущую пешком или восседающую на осле. А почему бы старику военному не оказаться капитаном Жака или приятелем капитана? — Но ведь он умер.— Вы думаете?.. Почему бы молодой крестьянке не оказаться госпожой Сюзон, или госпожой Маргаритой, или хозяйкой «Большого оленя», или Жанной, или ее дочерью Денизой? Сочинитель романов не преминул бы так поступить; но я не люблю романов, за исключением романов Ричардсона. Я пишу историю; моя история либо заинтересует, либо не заинтересует; во всяком случае, меня это нисколько не заботит. Мое намерение — быть правдивым; я его исполнил. А потому я не стану возвращать брата Жана из Лиссабона; жирный приор, едущий нам навстречу в кабриолете с молоденькой и хорошенькой женщиной, не будет аббатом Гудсоном.— Но ведь

аббат Гудсон умер.— Вы думаете? Разве вы были на его похоронах? — Нет.— А потому он жив или умер — как вам будет угодно. От меня зависит остановить кабриолет, выпустить оттуда приора и его спутницу и в связи с этим нанизать ряд событий, вследствие чего вы не узнаете ни любовных похождений Жака, ни любовных похождений его Хозяина; но я пренебрегаю всеми этими способами и только прихожу к убеждению, что с помощью некоторого воображения и нескольких стилистических прикрас легко смастерить роман. Будем придерживаться правды и, пока Жак не вылечится от воспаления горла, предоставим говорить его Хозяину.

Хозяин. Однажды утром шевалье явился ко мне грустный; накануне он, моя (или его, а быть может, и наша) возлюбленная, отец, мать, тетки, кузины и я провели день за городом. Он спросил меня, не совершил ли я какой-либо неосторожности, которая заставила бы родителей заподозрить мою страсть. Затем он сказал, что, встревоженные моим ухаживанием, отец и мать допросили дочь; что если я питаю честные намерения, то мне ничего не стоит в них признаться, и семья почтет за честь принять меня на таких условиях; но что если я в течение двух недель не объяснюсь открыто, то меня попросят прекратить посещения, которые привлекают к себе внимание, служат предметом сплетен и вредят репутации их дочери, отваживая от нее выгодных женихов, достойных сделать предложение без риска получить отказ.

Жак. Ну как, сударь, есть у Жака нюх?

Хозяин. Шевалье добавил:

«Две недели — срок короткий. Вы любите, вас любят; как вы поступите через две недели?»

Я без обиняков ответил кавалеру, что ретируюсь.

«Ретируетесь! Значит, вы не любите?»

«Люблю, и сильно люблю; но у меня есть родные, имя, звание, притязания, и я никогда не решусь похоронить все эти преимущества в лавке какой-нибудь мещаночки».

«Могу я им это объявить?»

«Если угодно. Однако, шевалье, внезапная щепетильность этих людей меня удивляет. Они позволили дочери принимать от меня подарки; двадцать раз оставляли меня наедине с нею; она посещает балы, ассамблеи, спектакли, гульбища в городе и за городом с первым, кто предложит ей свой экипаж; они спокойно спят, пока у нее музицируют и разговаривают; ты свободно посещаешь их дом, когда тебе заблагорассудится, а между нами говоря, шевалье, когда тебя пускают в какой-нибудь дом,

то туда можно пустить и другого. Их дочь пользуется дурной славой. Я не верю тому, что о ней говорят, но и не стану также это опровергать; однако ты признаешь, что ее родители могли несколько раньше побеспокоиться о чести своего дитяти? Хочешь, чтобы я сказал тебе правду? Меня почитали у них за простофилю, которого собирались приволочь за нос к ногам приходского священника. Они ошиблись; я нахожу мадемуазель Агату очаровательной; она вскружила мне голову: это явствует из тех невероятных расходов, в которые я пустился ради нее. Я не отказываюсь продолжать, но только с условием, что впредь она будет немного подобрее. Я не намерен вечно расточать время, состояние и вздохи у ее ног, когда могу использовать их целесообразнее в другом месте. Ты передашь эти последние слова мадемуазель Агате, а все предыдущее — ее родителям... Либо наше знакомство должно прекратиться, либо я буду принят на новых условиях, и мадемуазель Агата найдет для меня лучшее применение, нежели прежде. Припомните, шевалье: когда вы ввели меня к ней, вы обещали мне легкую победу, которой я не дождался. Шевалье, вы меня надули».

Шевалье: «Честное слово, я сам был введен в заблуждение. Кто бы подумал, что при такой легкомысленной внешности, при таком непринужденном и веселом тоне эта девушка окажется маленьким драконом добродетели!»

Жак. Черт возьми, сударь, это здорово! Вы, значит, раз в жизни проявили смелость?

Хозяин. Бывали и такие дни. На сердце у меня лежали приключения с ростовщиками, мое бегство от девицы Бридуа в обитель святого Иоанна Латеранского, но больше всего — строгость мадемуазель Агаты. Мне немножко надоело быть в дураках.

Жак. Как же вы поступили после этой смелой речи, обращенной к вашему милому другу, шевалье де Сент-Уэну?

Хозяин. Я сдержал слово и прекратил свои посещения.

Жак. *Bravo! Bravo! mio caro maestro!*[1]

Хозяин. Прошло недели две, и я не получал никаких вестей, если не считать шевалье, который старательно докладывал мне о впечатлении, произведенном на семью моим отсутствием, и убеждал меня не сдаваться. Он говорил:

«Там начинают удивляться, переглядываются, шушукаются; спрашивают, какая может быть причина вашего недовольства. Девица ломается; сквозь ее притворно равнодушный

---

[1] Браво, браво, мой дорогой хозяин! *(итал.)*

тон видно, что она уязвлена; она заявляет: «Этот господин больше не появляется; значит, он не хочет, чтобы его видели; тем лучше, это его дело...» Затем она делает пируэт, начинает напевать, отходит к окну, возвращается, но уже с красными глазами; все замечают, что она плакала».

«Плакала!»

«Затем она садится, берет свою работу, хочет приступить к ней, но приступить не может. Кругом беседуют; она молчит; пытаются ее развеселить, она сердится; предлагают ей игру, прогулку, спектакль — она соглашается, а когда все готовы, ей приходит в голову что-нибудь другое, но мгновение спустя надоедает... Ага, ты смутился! Больше я тебе ничего не скажу».

«Значит, шевалье, вы полагаете, что, если бы я вернулся...»

«Полагаю, что ты сделал бы глупость. Надо твердо стоять на своем, надо быть решительным. Если вернешься незваный, ты погиб. Пусть эти люди наберутся ума-разума».

«А если меня не позовут?»

«Тебя позовут».

«А если будут тянуть слишком долго?»

«Тебя скоро позовут. Черт подери! Такого человека, как ты, не легко заменить! Если ты вернешься по своей воле, на тебя будут дуться, заставят дорого заплатить за твою выходку, тебя впрягут в такое ярмо, в какое пожелают; придется подчиниться, придется преклонить колени. Хочешь ты быть господином или рабом, к тому же сильно пришибленным рабом? Выбирай. По правде говоря, ты поступил несколько необдуманно: трудно принять тебя за безмерно влюбленного человека; но что сделано, то сделано, и если из этого можно извлечь пользу, то не следует упускать случая».

«Она плакала!»

«Ну так что же, что плакала? Пусть лучше она плачет, чем ты».

«Но если меня не позовут?»

«Тебя позовут, будь спокоен. Когда я прихожу, то не вспоминаю о тебе, словно тебя нет на свете. Наконец меня спрашивают, видел ли я тебя; я равнодушно отвечаю то «да», то «нет»; затем разговор переходит на другие предметы, но все же обязательно возвращается к твоему бегству. Заговаривает либо отец, либо мать, либо тетка, либо Агата: «После такого внимания, какое мы ему оказали!.. Сочувствия, которое мы проявили к его тяжбе!.. Любезного обхождения моей племянницы!.. Учтивостей, которыми я его осыпала! Сколько раз клялся он нам в своей привязанности! Верьте после этого людям!.. Откры-

вайте двери своего дома перед теми, кто хочет у вас бывать!.. Полагайтесь на друзей!»

«А Агата?»

«В доме — полное недоумение, могу тебя заверить».

«А Агата?»

«Агата отводит меня в сторону и говорит: «Понимаете ли вы что-нибудь в поведении своего друга? Вы столько раз уверяли, что он меня любит; вы, конечно, сами этому верили: да и почему бы вам не верить? Я тоже верила, я...» Тут она останавливается, голос ее слабеет, глаза наполняются слезами... Но что я вижу! Ты и сам прослезился! Больше я ничего не скажу, дело решенное. Я понимаю, чего ты хочешь, но этого не будет. Если ты сделал глупость, убежав от них без всякого смысла, то я не позволю тебе повторить ее, бросившись им на шею. Надо извлечь выгоду из этого происшествия, чтобы подвинуть твое дело с Агатой; пусть она убедится, что держит тебя не настолько крепко, чтоб не могла потерять, пусть она примет меры, чтоб тебя сохранить. Ограничиться поцелуем руки после того, что ты сделал! Но по совести, шевалье, ведь мы друзья: ты можешь, не погрешая против чести, довериться мне: ты ничего у нее не добился?»

«Ничего».

«Врешь; притворяешься целомудренным».

«Я, быть может, так бы и поступил, будь у меня для этого основание; но клянусь, я не имел счастья солгать».

«Это необъяснимо: ведь ты вовсе не такой неловкий... Как! Неужели она ни разу не проявила слабости?»

«Нет».

«Может быть, она и проявила, но ты не заметил и упустил случай? Боюсь, как бы ты не вел себя чуть-чуть глуповато; это свойственно таким честным, деликатным и сентиментальным людям, как ты».

«Ну, а вы, шевалье,— спросил я,— что вы там делаете?»

«Ничего».

«У вас нет никаких притязаний?»

«Прошу прощения! Они были, и даже довольно долго; но ты «пришел, увидел, победил». Я заметил, что на тебя усиленно смотрят, а меня совершенно не замечают, и намотал себе это на ус. Мы остались добрыми друзьями: мне поверяют свои крохотные мысли, иногда следуют моим советам; и за неимением лучшего я согласился на второстепенную роль, на которую ты меня обрек».

Жак. Я хочу отметить два обстоятельства, сударь. Первое:

мне ни разу не удалось рассказать свою историю без того, чтобы тот или иной черт меня не перебил, а ваша течет без перерыва. Такова жизнь: один вертится между шипами и не колется; другой тщательно следит, куда ставить ноги, и все же натыкается на шипы посреди лучшей дороги и возвращается домой ободранный до потери сознания.

Хозяин. Разве ты забыл свой припев: великий свиток и предначертания свыше?

Жак. Второе: я настаиваю на том, что ваш шевалье де Сент-Уэн — отъявленный мазурик и что, поделив ваши деньги с ростовщиками Лебреном, Мервалем, Матье де Фуржо, или Фуржо де Матье, и Бридуа, он старается навязать вам свою любовницу, но, разумеется, самым честным образом, пред лицом нотариуса и священника, чтобы затем разделить с вами и жену... Ой, горло!..

Хозяин. Знаешь ли, что ты делаешь? Вещь очень обычную и крайне наглую.

Жак. Я на это способен.

Хозяин. Ты жалуешься на то, что тебя прерывают, и сам прерываешь других.

Жак. Это — последствие дурного примера, который вы мне подали. Мать хочет заниматься амурами и требует, чтобы дочь была благоразумна; отец хочет быть расточительным и требует от сына бережливости; хозяин хочет...

Хозяин. Прервать своего лакея, прерывать его, сколько вздумается, и требует, чтобы лакей его не прерывал.

Не опасаешься ли ты, читатель, что здесь повторится сцена, имевшая место в трактире, когда один кричал: «Ты спустишься вниз!», а другой: «Нет!» Отчего бы мне не прожужжать вам уши: «Буду перебивать!..» — «Не будешь перебивать!»? Несомненно, если я немного раззадорю Жака или его Хозяина, то начнется ссора; а если она начнется, то бог весть чем кончится. Правда, однако, заключается в том, что Жак скромно отвечал Хозяину:

— Я вас не перебиваю, я только пользуюсь вашим разрешением и беседую с вами.

Хозяин. Пусть так; но это еще не все.

Жак. Какую же еще непристойность мог я совершить?

Хозяин. Ты опережаешь рассказчика и лишаешь его предвкушаемого им удовольствия удивить тебя; ты упорствуешь в своей неуместной прозорливости, угадываешь то, что ему

хотелось тебе сказать, и вот — ему остается только умолкнуть, и я умолкаю.

Жак. Ах, сударь!

Хозяин. Черт бы побрал умных людей!

Жак. Согласен; но у вас не хватит жестокости...

Хозяин. Признай, по крайней мере, что ты этого заслуживаешь.

Жак. Признаю; но после этого вы посмотрите на часы, возьмете понюшку табаку, гнев ваш утихнет, и вы будете продолжать свою историю.

Хозяин. Этот чудак делает со мной что хочет...

Спустя несколько дней после моей беседы с шевалье он снова явился ко мне; у него был вид триумфатора.

«Ну как, приятель? — сказал он.— В другой раз будете верить моим предсказаниям? Я же говорил вам, что сила на вашей стороне; вот вам письмо от крошки; да, письмо, письмо от нее...»

Письмо это было очень ласковым: упреки, жалобы и прочее; и вот я снова водворился у них.

Ты бросаешь мою книгу, читатель. Что случилось? Ах, кажется я угадал: тебе хочется заглянуть в письмо? Г-жа Риккобони не преминула бы тебе его показать. А письмо, которое г-жа де Ла Помере продиктовала своим ханжам? Я уверен, что ты жалеешь и о нем. Хотя его было бы труднее составить, чем письмо Агаты, и я не приписываю себе особого таланта, я все же полагаю, что справился бы с ним; однако все это не было бы чем-то новым: с ним случилось бы то же, что с великолепными речами Тита Ливия в его «Истории Рима» и кардинала Бентиволье в его «Фландрских войнах». Их читаешь с удовольствием, но они разрушают иллюзию. Историк, приписывающий своим героям речи, которых они не говорили, способен приписать им поступки, которых они не совершали. Вот почему умоляю тебя обойтись без этих двух писем и продолжить чтение.

Хозяин. У меня спросили о причине моего бегства; я сказал первое, что взбрело на ум, и все пошло по-прежнему.

Жак. Иначе говоря, вы продолжали тратить деньги, а ваши любовные дела не подвигались ни на шаг.

Хозяин. Шевалье расспрашивал о моих успехах и, казалось, терял терпение.

Жак. Он, может быть, действительно терял терпение.

Хозяин. Почему?

Ж а к. Почему? Потому, что...

Х о з я и н. Договаривай же.

Ж а к. Ни в коем случае; надо предоставить рассказчику...

Х о з я и н. Мои уроки идут тебе на пользу; это меня радует... Однажды шевалье предложил мне совершить с ним прогулку. Мы отправились на день за город. Выехали рано утром. Пообедали в трактире и поужинали там же; вино оказалось превосходным; мы много выпили, беседуя о правительстве, религии и любовных делах. Никогда шевалье не выказывал мне еще такого доверия, такой дружбы; он рассказал все приключения своей жизни с самой невероятной откровенностью, не скрывая от меня ни хорошего, ни плохого. Он упрекал себя только за один поступок из своего прошлого и не надеялся простить себе его до гроба.

«Признайтесь в нем своему другу, шевалье: вам станет легче. Ну что? О чем идет речь? Вероятно, какой-нибудь пустяк, который ваша щепетильность преувеличила?»

«Нет, нет! — возгласил кавалер, опуская голову на ладони и стыдливо закрывая ими лицо.— Это гнусность, непростительная гнусность. Поверите ли? Я, шевалье де Сент-Уэн, однажды обманул — да, обманул своего друга».

«А как это случилось?»

«Увы! Мы с ним были приняты в одном доме,— вот как теперь мы с вами. Там была девушка вроде мадемуазель Агаты; он был влюблен в нее, а она — в меня; он разорялся на нее, а я пользовался ее милостями. У меня никогда не хватало смелости признаться в этом, но, если мы с ним встретимся, я открою ему все. Эта ужасная тайна, которую я ношу в своем сердце, давит меня; я должен во что бы то ни стало избавиться от этого бремени».

«И отлично сделаете, шевалье».

«Вы советуете?»

«Безусловно, советую».

«А как, вы думаете, мой приятель отнесется к этому сообщению?»

«Если он вам друг, если он справедлив, он найдет для вас извинение в своем сердце; он будет тронут вашей прямотой и раскаянием; он бросится вам на шею и поступит так, как я поступил бы на его месте».

«Вы полагаете?»

«Полагаю».

«И вы бы так поступили?»

«Без всякого сомнения...»

Шевалье тотчас встает, со слезами на глазах подходит ко мне и, раскрыв объятия, говорит:

«Друг мой, поцелуйте же меня!»

«Как, шевалье! — восклицаю я.— Так это вы? Так это я? Так это мерзавка Агата?»

«Да, друг мой. Все же возвращаю вам слово; вы можете поступить со мной, как вам будет угодно. Если вы полагаете, как и я, что сия обида не заслуживает прощения, то не прощайте меня; встаньте, уходите, при встрече бросайте на меня презрительные взгляды и предоставьте мне терзаться и мучиться. Ах, друг мой, если бы вы знали, какую власть приобрела над моим сердцем маленькая негодница! Я родился с честными наклонностями; судите сами, как я страдал из-за недостойной роли, до которой унизился. Сколько раз я отворачивал от нее взгляд, чтобы перевести его на вас, мучась предательством ее и своим! Непонятно, как вы этого никогда не замечали...»

Между тем я был неподвижен, как каменный Термин; слов шевалье я почти не слыхал.

«Ах, презренный! — воскликнул я.— Как, шевалье! Вы! Вы! Мой друг!»

«Да, я был им и продолжаю быть, так как располагаю секретом не столько своим, сколько ее, который может высвободить вас из пут этой твари. Меня приводит в отчаяние, что вы ничего от нее не добились в возмещение за все свои благодеяния».

(Тут Жак принялся хохотать и свистеть.)

Да это же комедия Коле «Истина в вине»...— Читатель, ты не знаешь, что говоришь, ты стараешься разыграть умника, а на самом деле ты — глупец. Это вовсе не истина в вине, а как раз наоборот: это ложь в вине. Я сказал вам грубость; очень сожалею и прошу прощения.

Хозяин. Гнев мой постепенно остыл. Я обнял шевалье; он снова сел на стул, облокотился о стол и прижал к глазам сжатые кулаки, не осмеливаясь взглянуть на меня.

Жак. Он был так огорчен! А вы оказались настолько добры, что бросились его утешать? *(И Жак снова свистнул.)*

Хозяин. Я счел наиболее уместным превратить все это в шутку. При каждом веселом замечании смущенный шевалье повторял:

«Нет на свете другого такого человека, как вы; вы единственный в своем роде, я вас не стою. Не думаю, чтобы у меня хватило великодушия и силы простить такую обиду, а вы шутите; это беспримерно. Друг мой, как мне загладить свою вину?.. О нет, это загладить нельзя! Никогда, никогда не забуду я

своего поступка и вашего великодушия; эти две черты глубоко запечатлены вот здесь. Одну я буду вспоминать, чтобы презирать себя, другую — чтобы вами восхищаться и усиливать свою привязанность к вам».

«Что вы, что вы, шевалье! Вы преувеличиваете и свой поступок и мой. Выпьем за ваше здоровье... Ну так за мое, шевалье, если вы не хотите, чтобы за ваше».

Шевалье мало-помалу набрался смелости. Он рассказал мне все подробности своего вероломства, осыпая себя самыми жестокими эпитетами, и разнес на все корки и дочь, и мать, и отца, и теток, и всю семью, которую изобразил в виде сборища каналий, не достойных меня, но вполне достойных его; это его собственные слова.

Жак. И вот почему я никогда не советую женщинам иметь дело с людьми, которые пьют. Я не меньше презираю вашего шевалье за нескромность в любви, чем за вероломство в дружбе. Черт побери! Он мог поступить как порядочный человек и предупредить вас... Но нет, сударь, я настаиваю на своем: это мазурик, прожженный мазурик. Не знаю, чем все это кончится; боюсь, что он снова обманывает нас, разоблачая свой обман. Вырвитесь, вырвитесь как можно скорее сами из этого трактира и избавьтесь от общества этого человека.

Тут Жак схватился за кубышку, забыв, что там не было ни отвара, ни вина. Хозяин расхохотался. Жак кашлял с добрую четверть часа. Хозяин вынул часы и табакерку и продолжал свою историю, которую я прерву, если позволите, хотя бы только для того, чтоб побесить Жака, доказав ему, что он ошибся и что свыше вовсе не предначертано, чтоб его всегда прерывали, а Хозяина никогда.

Хозяин *(к шевалье)*: «После всех ваших рассказов я надеюсь, что вы перестанете с ними встречаться».

«Встречаться с ними!.. Конечно; но как досадно уйти, не отомстив! Они предавали, обманывали, осмеивали, обирали порядочного человека; они злоупотребили страстью и слабостью другого порядочного человека (ибо я все же осмеливаюсь считать себя таковым) и впутали его в целый ряд мерзостей; они чуть было не подстрекнули двух друзей к взаимной ненависти и кровопролитию, ибо признайтесь, дорогой мой, что, обнаружив мои недостойные происки, вы, как человек храбрый, быть может, могли бы испытать желание мести...»

«Нет, дело не дошло бы до того. Да и почему бы? Из-за чего? Из-за оплошности, от которой никто не в силах уберечься? Разве она мне жена? Да и то... Разве она мне дочь? Нет, это

просто шлюха; и вы думаете, что из-за какой-то шлюхи... Оставим это, друг мой, и выпьем. Агата молодая, резвая, беленькая, пышная, пухленькая. У нее крепкое тело, не правда ли? У нее очень нежная кожа. Насладиться ими — блаженство, и вы были, наверно, достаточно счастливы в ее объятиях, чтобы еще думать о своих друзьях».

«Если чары какой-нибудь особы и наслаждения могут уменьшить вину, то нет под небесами менее преступного человека, чем я».

«Ах, шевалье, я беру назад свое слово, отказываюсь от снисходительности и хочу поставить одно условие, при котором согласен забыть ваше предательство».

«Говорите, друг мой, приказывайте, не скрывайте; должен ли я броситься из окна, повеситься, утопиться, пронзить грудь ножом...»

И шевалье тут же хватает лежавший на столе нож, расстегивает воротник, распахивает сорочку и с блуждающим взором приставляет правой рукой острие ножа к впадине левой ключицы, словно приготовившись по первому моему приказанию покончить с собой по обычаю древних.

«Дело идет не об этом, шевалье; бросьте ваш дрянной нож».

«Я его не брошу, я этого заслуживаю; подайте только знак».

«Бросьте ваш дрянной нож, говорю я вам; я вовсе не требую такой высокой платы за ваш проступок».

Между тем он все еще держал острие ножа у ключицы; я схватил его за руку, вырвал нож, отбросил его подальше и, поднеся бутылку к его стакану, наполнил его до краев и сказал:

«Сперва выпьем, а затем вы узнаете страшное условие, при котором я согласен вас простить. Итак, Агата — очень сочная, очень страстная особа?»

«Ах, друг мой, как жаль, что вам тоже не удалось это изведать!»

«Постой; пусть нам принесут бутылку шампанского, а затем ты опишешь мне одну из ваших ночей... Любезный предатель, твое прощение последует за окончанием этого рассказа. Итак, начинай. Разве ты меня не слышишь?»

«Слышу».

«Мое решение кажется тебе слишком жестоким?»

«Нет».

«Ты замечтался? Что я от тебя потребовал?»

«Рассказа об одной из моих ночей с Агатой».

«Именно так».

Тем временем шевалье мерил меня взглядом с головы до

пят и говорил сам себе: «Такая же фигура; почти тот же возраст; а если б и была какая-нибудь разница, то отсутствие света, воображение, рисующее ей меня, рассеют ее подозрения...»

«О чем ты думаешь, шевалье? Твой стакан полон, и ты не приступаешь к рассказу».

«Я думал, друг мой; я уже обдумал, этим все сказано. Обними меня, мы будем отомщены,— да, будем. Это подлость с моей стороны; она не достойна меня, но она достойна маленькой мерзавки. Ты требовал от меня рассказа об одной из моих ночей?»

«Да; разве это чрезмерное требование?»

«Нет; но если я вместо рассказа предоставлю тебе такую же ночь?»

«Это, пожалуй, будет еще лучше». *(Жак засвистал.)*

Тотчас же шевалье вынимает из кармана два ключа: один маленький, другой большой.

«Маленький — от наружной двери,— говорит он,— большой — от прихожей Агаты; оба они к твоим услугам. Вот путь, который я ежедневно проделываю уже около шести месяцев; ты пойдешь по моим стопам. Ее окна, как тебе известно, расположены по фасаду. Я прогуливаюсь вдоль улицы, пока они освещены. Условный сигнал — горшок с васильками, стоящий на окне; если я его вижу, я подкрадываюсь к входной двери, отпираю, вхожу, запираю, поднимаюсь наверх возможно бесшумнее, сворачиваю в маленький коридор, что направо; первая дверь налево по этому коридору ведет, как вы знаете, к ней. Отпираю дверь вот этим большим ключом, прохожу в ее гардеробную, находящуюся направо; там стоит маленький ночник, при свете которого раздеваюсь со всеми удобствами. Дверь комнаты Агаты отворена; вхожу и ложусь рядом с ней на постель. Поняли?»

«Отлично понял».

«Так как поблизости есть люди, то мы молчим».

«А кроме того, полагаю, у вас найдется дело получше, чем болтать».

«В случае тревоги я могу соскочить с постели и запереться в гардеробной; но этого еще ни разу не было. Обычно мы расстаемся около четырех часов утра. Если удовольствия или сон заставят нас задержаться, то мы встаем вместе; она сходит вниз, а я остаюсь в гардеробной, одеваюсь, читаю, отдыхаю, дожидаюсь часа, чтобы можно было явиться. Затем тоже спускаюсь, здороваюсь, обнимаю всех, как будто я только что пришел».

«Тебя ждут этой ночью?»

«Меня ждут каждую ночь».

«И ты готов уступить мне свое место?»

«От всего сердца. Я нисколько не досадую на то, что ты предпочел ночь рассказу о ней; но я хотел бы...»

«Договаривай; чтобы тебе услужить, я готов почти на все».

«Я хотел бы, чтобы ты остался в ее объятиях до утра; я явлюсь, застану вас вместе...»

«Ах нет, шевалье, ты слишком зол!»

«Слишком зол? Не в такой мере, как ты думаешь. Сперва я разденусь в гардеробной».

«Ты чертовски изобретателен, шевалье. Но это неосуществимо: если ты отдашь мне ключи, то их у тебя не будет».

«Ах, друг мой, как ты глуп!»

«Не слишком, как мне кажется».

«А почему бы нам не войти обоим вместе? Ты отправишься к Агате, а я останусь в гардеробной, пока ты не дашь мне знак, о котором мы условимся».

«Честное слово, это так забавно, так сумасбродно, что меня подмывает согласиться. Но, рассуждая здраво, я предпочитаю отложить этот фарс до какой-нибудь из следующих ночей».

«Ага, понимаю: твое намерение — отомстить за нас несколько раз».

«Если ты согласен?»

«Вполне».

Жак. Ваш шевалье совершенно сбил меня с толку. Я предполагал...

Хозяин. Ты предполагал...

Жак. Нет, сударь, можете продолжать.

Хозяин. Мы пили за предстоящую ночь, за последующие, за ту, когда Агата очутится между мной и шевалье, и наговорили по этому поводу тысячу абсурдов. К шевалье вернулась приятная веселость, и тема нашей беседы была не из грустных. Он снабдил меня предписаниями относительно ночного поведения, из которых далеко не все были одинаково исполнимы; но после длинного ряда благоразумно проведенных ночей я, пожалуй, мог поддержать честь шевалье в первую из них, какие бы чудеса он про себя ни рассказывал; и тут посыпались нескончаемые подробности об умелости, сговорчивости, совершенствах Агаты. К опьянению вином шевалье с бесподобным искусством прибавлял опьянение страстью. Время до любовного свидания или до мести тянулось для нас долго; наконец мы встали из-за стола. Шевалье заплатил; это случилось с ним впервые. Мы уселись в наш экипаж; мы были пьяны, а наш кучер и лакеи — еще больше нас.

Читатель, кто может помешать мне скинуть здесь в овраг кучера, лошадей, господ и слуг? Если овраг тебя пугает, то кто помешает мне доставить их здравыми и невредимыми в город, где их экипаж зацепится за другой, в котором я помещу каких-нибудь молодых пьяниц? Произойдет перебранка, ссора, засверкают шпаги, начнется побоище по всем правилам. Что мешает мне, если вы не любите побоищ, заменить молодых людей мадемуазель Агатой и какой-нибудь из ее теток? Но ничего подобного не случилось. Шевалье и Хозяин Жака прибыли в Париж. Последний надел платье шевалье. Полночь; они под окнами Агаты; свет гаснет, горшок с васильками — на условленном месте. Они еще раз проходят от одного конца улицы до другого; шевалье напоминает приятелю свои наставления. Они подходят к дверям; шевалье отпирает, впускает приятеля, оставляет себе ключ от входной двери, передает ему коридорный ключ, запирает за ним, удаляется...

И после лаконичного описания этих подробностей Хозяин Жака продолжал свое повествование:

— Помещение было мне знакомо. Поднимаюсь по лестнице на цыпочках, отпираю коридорную дверь, закрываю ее, вхожу в гардеробную, освещенную ночником; раздеваюсь; дверь в спальню открыта, вхожу и направляюсь к алькову, где бодрствует Агата. Откидываю полог, и в то же мгновение две обнаженные руки обхватывают меня и влекут к себе; я не сопротивляюсь, ложусь, меня осыпают ласками, я отвечаю тем же. И вот я счастливейший из смертных, и это длится до тех пор, пока...

Пока Хозяин Жака не заметил, что его слуга спит или притворяется спящим.

— Ты заснул! — воскликнул он.— Ты заснул, шельма, в самый интересный момент моей истории!..

Жак только и подкарауливал этот момент.

— Проснешься ли ты?

— Не думаю.

— Почему?

— Если я проснусь, то может проснуться и боль в горле; и мне кажется, что лучше нам обоим отдохнуть...

И голова Жака падает на грудь.

— Ты свернешь себе шею.

— Безусловно, если так предначертано свыше. Разве вы не в объятиях мадемуазель Агаты?

— Да.

— Не чувствуете ли вы себя там хорошо?

— Очень хорошо.

— Ну и оставайтесь!

— Чтоб я остался! Легко сказать!

— По крайней мере, пока я не узнаю историю с пластырем Деглана.

Хозяин. Ты мстишь мне, злодей.

Жак. Хоть бы и так, сударь. После того как вы прерывали историю моих любовных похождений тысячами вопросов, столькими же причудами без малейшего протеста с моей стороны, разве я не вправе просить вас, чтобы вы оборвали свою и сообщили мне историю с пластырем добряка Деглана, которому я столь многим обязан, который увез меня от лекаря в тот момент, когда я, без гроша в кармане, не знал, куда деваться, и у которого я познакомился с Денизой. А не будь Денизы, я бы не сказал вам ни слова обо всем этом путешествии. Хозяин, дорогой Хозяин, расскажите историю с пластырем Деглана; вы можете сокращать ее как хотите, но дремота, которая меня охватила и с которой я не в силах совладать, безусловно, пройдет, и вы сможете рассчитывать на все мое внимание.

Хозяин *(пожав плечами)*. По соседству с Дегланом жила прелестная вдова, которая обладала некоторыми свойствами, общими с одной куртизанкой прошлого века. Добродетельная по рассудительности, развратная по темпераменту, жалеющая на другой день о глупости, совершенной накануне, она провела жизнь, переходя от наслаждения к раскаянию и от раскаяния к наслаждению, причем ни привычка к наслаждению не убила в ней раскаяния, ни привычка к раскаянию не убила охоты к наслаждению. Я видел ее в последние минуты; она говорила, что наконец избавляется от двух злейших врагов. Муж, снисходительно относившийся к единственному недостатку, в котором мог ее упрекнуть, жалел ее, пока она жила, и долго оплакивал после смерти. По его мнению, было бы столь же неестественно запретить его жене любить, как запретить ей утолять жажду. Он прощал ее многочисленные победы ради щепетильной разборчивости, с которой она к ним относилась. Никогда не принимала она ухаживаний дурака или каверзника; свои милости она дарила только в награду за талант или честность. Сказать про человека, что он был ее любовником,— значило признать его достойной личностью. Зная свое легкомыслие, она никому не обещала верности. «Я дала в жизни,— говорила она,— только одну ложную клятву, и это — моя брачная клятва». Испарялось ли чувство, которое к ней питали, улетучивалось ли чувство, которое питала она,— все оставались ее друзьями. Не было

на свете более разительного примера расхождения между порядочностью и добрыми нравами. Нельзя было никак сказать, что она отличается добрыми нравами; но все признавали, что трудно найти более честное создание. Ее духовник редко видел ее у подножия алтаря, но во всякое время он мог располагать ее кошельком для бедных. Она в шутку говорила, что религия и законы — два костыля, которые не следует отнимать у тех, у кого слабые ноги. Женщины опасались ее общества для своих мужей, но мечтали о нем для своих детей.

Жак, процедив сквозь зубы: «Погоди, я отплачу тебе за этот скучнейший портрет»,— добавил:

— Вы, по-видимому, влюбились в эту женщину до безумия?

Хозяин. Это непременно бы случилось, если бы Деглан не опередил меня. Деглан влюбился в нее...

Жак. Сударь, разве история с пластырем Деглана и история с его любовью так тесно связаны между собой, что их нельзя разделить?

Хозяин. Можно; пластырь — просто случай, а остальное — рассказ о том, что произошло, пока они любили друг друга.

Жак. А произошло много событий?

Хозяин. Много.

Жак. В таком случае, если вы будете растягивать их так же, как словесный портрет, то мы не вылезем из них до самой троицы, и тогда — прощай и ваши и мои любовные похождения.

Хозяин. А зачем же ты меня сбивал?.. Видел ли ты у Деглана ребенка?

Жак. Злого, упрямого, дерзкого и хилого? Видел.

Хозяин. Это незаконный сын Деглана и прекрасной вдовы.

Жак. Много горя принесет ему этот ребенок! Он — единственный сын: это первое основание, чтобы стать негодяем; он знает, что будет богат: это второе основание, чтобы стать негодяем.

Хозяин. А так как он хил, его ничему не учат; его не стесняют, ни в чем ему не препятствуют: третье основание, чтобы стать негодяем.

Жак. Однажды ночью этот маленький сумасброд принялся испускать нечеловеческие крики. И вот весь дом перепуган; прибегают к нему. Он хочет, чтобы к нему пришел отец.

«Твой отец спит».

«Все равно я хочу, чтоб он встал; хочу, хочу, хочу...»

«Он нездоров».

«Все равно пусть встанет; хочу, хочу...»

Будят Деглана; он накидывает халат на плечи, идет.

«Вот и я, милый; что тебе»?

«Я хочу, чтоб они все пришли».

«Кто?»

«Все, кто в замке».

Их приводят — господ, слуг, приезжих, сотрапезников, Жанну, Денизу, меня с моим больным коленом — словом, всех, кроме одной расслабленной привратницы, которой дали убежище в хибарке, отстоявшей на четверть мили от замка. Он требовал, чтобы сходили за ней.

«Да ведь теперь полночь, дитя мое».

«Я хочу, я хочу».

«Ты знаешь, что она живет очень далеко».

«Хочу, хочу».

«Она стара и не может ходить».

«Хочу, хочу».

Пришлось послать за несчастной привратницей; ее приносят, так как прийти ей было бы не легче, чем прибежать вприпрыжку. Когда все собрались, он хочет, чтоб его подняли с кровати и одели. Его поднимают и одевают. Он хочет, чтобы мы перешли в парадный салон и чтобы его посадили посредине зала в большое отцовское кресло. Это исполняют. Он хочет, чтобы мы взялись за руки. Он хочет, чтобы мы танцевали вокруг него, и мы принимаемся танцевать вокруг него. Но самое лучшее — это конец...

Хозяин. Я надеюсь, что ты избавишь меня от конца.

Жак. Нет, нет, сударь, вы дослушаете до конца... Он думал, что может безнаказанно рисовать портрет матери размерами в добрые четыре локтя...

Хозяин. Жак, я тебя избаловал.

Жак. Тем хуже для вас.

Хозяин. Ты не можешь простить мне длинного и скучного портрета вдовы; но, кажется, ты мне с избытком отплатил за эту неприятность своей длинной и скучной историей о капризах ребенка.

Жак. Если вы так думаете, то возвращайтесь к истории отца; но довольно портретов, сударь; я смертельно ненавижу портреты.

Хозяин. А почему ты ненавидишь портреты?

Жак. Они всегда так непохожи, что если случайно встретишь оригинал, его никак не узнаешь. Расскажите мне факты,

передайте дословно речи, и я сразу увижу, с каким человеком имею дело. Одно слово, один жест иной раз сообщали мне больше, чем болтовня целого города.

Хозяин. Однажды Деглан...

Жак. Когда вы не бываете дома, я иногда захожу в вашу библиотеку, беру книгу, и обычно это — историческое сочинение.

Хозяин. Однажды Деглан...

Жак. Проглядываю описание портретов.

Хозяин. Однажды Деглан...

Жак. Простите, сударь, машина была заведена и должна была довертеться до конца.

Хозяин. Довертелась?

Жак. Довертелась.

Хозяин. Однажды Деглан пригласил к обеду прекрасную вдову и нескольких соседей-дворян. Царство Деглана приходило к концу, а среди приглашенных был человек, к которому уже влекло эту непостоянную особу. Сели за стол; Деглан и его соперник разместились рядом с прекрасной вдовой. Деглан изощрял свой ум, чтоб оживить разговор; он обращался к вдове с галантнейшими речами; но она была рассеянна, вовсе его не слушала и не отрывала глаз от соперника. Деглан держал в руках сырое яйцо; конвульсивно, в порыве ревности, он сжал кулак, и яйцо, выдавленное из скорлупы, растеклось по лицу соседа. Тот взмахнул рукой. Деглан схватил его за руку и шепнул на ухо: «Будем считать, сударь, что я получил ее...» Воцарилось глубокое молчание; прекрасной вдове сделалось дурно. Обед был невеселый и быстро окончился. Выходя из-за стола, вдова попросила Деглана и его соперника зайти к ней; все, что женщина, соблюдая скромность, могла сделать, чтобы их помирить, она сделала; она молила, плакала, падала в обморок, сжимала руки Деглану, обращала взоры, увлажненные слезами, на его соперника. Одному она говорила: «И вы говорите, что любите меня...», другому: «И вы уверяете, что меня любили...», а обоим: «Но вы хотите меня погубить, хотите сделать меня притчей во языцех, предметом ненависти и презрения всей округи. Кто бы из вас двоих ни отнял жизнь у другого, я отказываюсь впредь встречаться с ним; он не может быть ни моим другом, ни любовником; я проникнусь к нему ненавистью, которая прекратится только с моею жизнью...» Затем, теряя силы, она сказала: «Бессердечные люди, обнажите шпаги и проткните мне грудь; если, умирая, я увижу вас обнимающимися, я умру без сожаления!..» Деглан и его соперник стояли неподвижно или

пытались оказать ей помощь; иногда глаза их наполнялись слезами. Наконец пришло время расставаться. Прекрасную вдову доставили домой ни живой ни мертвой.

Жак. Ну и что же? К чему было рисовать портрет этой женщины? Разве я теперь не знал бы всего того, что вы о ней сказали?

Хозяин. На другой день Деглан навестил свою очаровательную изменницу; он застал у нее своего соперника. Но каково было удивление его соперника и красавицы, когда они заметили на правой щеке Деглана черный пластырь.

«Что это такое?» — спросила вдова.

Деглан: «Ничего».

Соперник: «Небольшой флюс?»

Деглан: «Это пройдет».

Побеседовав несколько минут, Деглан ушел и, выходя, сделал сопернику знак, который был отлично им понят. Соперник спустился следом за ним вниз; они пошли по разным сторонам улицы, встретились за садом прекрасной вдовы, скрестили шпаги, и соперник Деглана упал на землю, раненный хоть и тяжело, но не смертельно. Пока его уносили домой, Деглан возвратился к вдове, сел возле нее, и они беседовали еще некоторое время о случившемся накануне. Вдова спросила, что означает эта огромная нелепая мушка на его щеке. Он встал и взглянул на себя в зеркало.

«Действительно,— сказал он,— она слишком велика...»

Он взял у вдовы ножницы, снял пластырь, урезал его на самую малость, затем приклеил к прежнему месту и спросил:

«Как вы теперь меня находите?»

«Чуточку менее смешным, чем раньше».

«Это уже кое-что значит».

Соперник Деглана выздоровел. Новая дуэль, в которой победа осталась за Дегланом; и так пять или шесть раз подряд; и после каждого поединка Деглан уменьшал свой пластырь на полоску и снова приклеивал его к щеке.

Жак. Чем же кончилась эта история? Мне кажется, что, когда меня принесли в замок, он не носил своего черного кружка.

Хозяин. Нет, не носил. Все закончилось с жизнью прекрасной вдовы. Глубокое огорчение, которое она испытала, окончательно расстроило ее и без того слабое здоровье.

Жак. А Деглан?

Хозяин. Однажды, когда мы прогуливались вместе, ему подали записку; он прочел ее и сказал:

«Да, это был славный человек, но смерть его меня не печалит...»

Тотчас же он сорвал со щеки остаток своего черного кружка, превратившегося благодаря частому подрезыванию в обыкновенную мушку. Вот история Деглана. Ну как? Жак удовлетворен, и я могу рассчитывать на то, что он выслушает историю моих любовных похождений или вернется к своей?

Жак. Ни на то, ни на другое.

Хозяин. Почему?

Жак. Потому что жарко, потому что я устал, потому что это очаровательное место, потому что нам будет приятно под тенью деревьев и потому что, наслаждаясь прохладой на берегу ручья, мы сможем отдохнуть.

Хозяин. Согласен; но твоя простуда?

Жак. Она произошла от жары, а врачи говорят, что против всякого яда есть противоядие.

Хозяин. Это верно как в моральном смысле, так и в физическом. Я заметил одно странное явление: нет такого правила морали, из которого не сделали бы медицинского афоризма, и наоборот: редко попадается такой медицинский афоризм, из которого не сделали бы правила морали.

Жак. Так и должно быть.

Они спешились и растянулись на траве. Жак спросил своего хозяина:

— Вы спите или бодрствуете? Если бодрствуете, я сплю; если спите, я бодрствую.

Хозяин ответил:

— Спи, спи!

— Значит, я могу рассчитывать на то, что вы бодрствуете? Ибо на сей раз мы рискуем лишиться обеих лошадей.

Хозяин вынул часы и табакерку; Жак задремал, но поминутно вскакивал и спросонья размахивал руками. Хозяин спросил:

— Какой дьявол вселился в тебя?

Жак. Меня донимают мухи и комары. Хотел бы я узнать от кого-нибудь, на что нужны эти бесполезные твари?

Хозяин. А если ты этого не знаешь, то неужели они ни на что уж не нужны? Природа не создает ничего бесполезного и лишнего.

Жак. Конечно; раз какой-нибудь предмет существует, то он должен существовать.

Хозяин. Когда у тебя избыток крови, особенно дурной крови, как ты поступаешь? Зовешь лекаря, и он выпускает тебе

два-три тазика. Так вот комары, на которых ты жалуешься,— это туча маленьких крылатых лекарей, прилетающих, чтоб колоть тебя своими маленькими ланцетами и вытягивать кровь каплю за каплей.

Жак. Да, но без разбора, не справляясь с тем, слишком ли много ее у меня или слишком мало. Приведите сюда чахоточного и увидите, что ваши маленькие крылатые лекари будут жалить и его. Они думают о себе, и все живое думает о себе, и только о себе. Если это вредит другому — наплевать, лишь бы себе не в обиду...

Затем он похлопал руками в воздухе, приговаривая:

— К черту маленьких крылатых лекарей!

Хозяин. Жак, знаешь ли ты басню о Гаро?

Жак. Знаю.

Хозяин. Что ты о ней думаешь?

Жак. Дрянная басня.

Хозяин. Легко сказать!

Жак. И доказать нетрудно. Если бы вместо желудей на дубе росли тыквы, разве этот дурак Гаро заснул бы под дубом? А если б он не заснул под дубом, то не все ли равно было бы его носу, падают ли оттуда тыквы или желуди? Читайте эту басню своим детям.

Хозяин. Один философ, твой тезка, запрещает читать ее.

Жак. У всякого свои взгляды, и Жан-Жак не Жак.

Хозяин. Тем хуже для Жака.

Жак. Кто может быть в этом уверен, пока мы еще не дошли до последнего слова последней строки той страницы, которую мы заполняем в великом свитке!

Хозяин. О чем ты думаешь?

Жак. Я думаю о том, что, пока вы говорили, а я отвечал, вы говорили независимо от своей воли, а я отвечал независимо от своей.

Хозяин. А еще о чем?

Жак. Еще? Что мы с вами две живые и мыслящие машины.

Хозяин. А на что же теперь направлена твоя воля?

Жак. Да все осталось по-прежнему. Только в обеих машинах действует еще одна пружина.

Хозяин. И эта пружина...

Жак. Черт меня побери, если я думаю, что она может действовать без причины. Мой капитан говорил: «Дайте причину, и от нее произойдет действие: от слабой причины — слабое действие; от мгновенной причины — мгновенное действие; от

перемежающейся причины — перемежающееся действие; от временной причины — временное действие; от прекращенной причины — никакого действия».

Хозяин. Но я чувствую,— по крайней мере, мне так кажется,— будто внутри себя я свободен, точно так же, как я чувствую, что думаю.

Жак. Мой капитан говорил: «Да, вы чувствуете это теперь, когда ничего не хотите; но захотите ли вы свалиться с лошади?»

Хозяин. Так что же, и свалюсь!

Жак. Радостно, без отвращения, без усилия, как тогда, когда вам заблагорассудится слезть у ворот постоялого двора?

Хозяин. Не совсем; но не все ли мне равно, лишь бы я свалился и доказал себе, что я свободен.

Жак. Мой капитан говорил: «Как! Неужели вы не видите, что без моего возражения вам никогда не пришла бы в голову фантазия сломать себе шею? Выходит, что я беру вас за ногу и выбрасываю из седла. Если ваше падение что-либо доказывает, то не то, что вы свободны, а лишь то, что вы спятили». Мой капитан говорил еще, что пользование свободой, осуществляемое без основания, является типичным свойством маньяка.

Хозяин. Это для меня слишком мудрено; но, в отличие от тебя и твоего капитана, я верю, что хочу, когда хочу.

Жак. Но если вы и сейчас и всегда были хозяином своей воли, то почему бы вам не захотеть и не влюбиться в мартышку? Почему не перестали вы любить Агату, когда вам этого хотелось? Три четверти нашей жизни, сударь, мы проводим в том, что хотим чего-либо и не делаем этого.

Хозяин. Да, это так.

Жак. И делаем, когда не хотим.

Хозяин. Докажи-ка это.

Жак. Если вам угодно.

Хозяин. Угодно.

Жак. Будет сделано, а теперь поговорим о другом...

После этих шуток и нескольких других речей в том же духе собеседники умолкли. Жак приподнял поля своей огромной шляпы: она же — дождевой зонтик в дурную погоду, солнечный зонтик в хорошую, головной убор во всякую погоду, темный склеп, в котором один из лучших умов, когда-либо существовавших, вопрошал судьбу в важных случаях. Когда поля шляпы были подняты, лицо находилось приблизительно в середине всей фигуры; когда они были спущены, Жак не видел перед собой и

на расстоянии десяти шагов, отчего у него создалась привычка держать нос по ветру, так что о его шляпе можно было по справедливости сказать:

Os illi sublime dedit, coelumque tueri
Jussit, et erectos ad sidera tollere vultus [1].

Итак, Жак, приподняв свою огромную шляпу и блуждая взором по полям, заметил землепашца, который тщетно колотил одну из двух лошадей, впряженных в плуг. Лошадь эта, молодая и сильная, легла в борозду, и сколько землепашец ни дергал ее за повод, сколько ни просил, ни ласкал, ни угрожал, ни ругался, ни бил,— животное лежало неподвижно и упорно отказывалось подняться.

Жак, поразмыслив некоторое время над этой сценой, сказал своему Хозяину, который также обратил на нее внимание:

— Знаете ли, сударь, что там происходит?

Хозяин. А что же, по-твоему, там происходит, кроме того, что я вижу?

Жак. Не угадываете?

Хозяин. Нет. А ты угадал?

Жак. Угадал, что это глупое, заносчивое, ленивое животное — городской житель, который, гордясь прежним своим званием верховой лошади, презирает плуг; словом, эта лошадь олицетворяет Жака, которого вы видите перед собой, и других таких же подлых негодяев, бросивших деревню, чтоб носить ливрею в городе, и предпочитающих выпрашивать кусок хлеба на улицах или умирать с голоду, вместо того чтобы вернуться к земледелию — самому полезному и почетному из ремесел.

Хозяин расхохотался, а Жак, обращаясь к землепашцу, до которого не долетали его слова, сказал:

— Бедный малый, бей, бей, сколько влезет: у нее уже выработался характер, и ты оборвешь еще не один ремешок у своего кнута, прежде чем внушишь этой гнусной твари хоть сколько-нибудь подлинного достоинства и малейшую охоту к труду...

Хозяин продолжал смеяться. Жак, наполовину от нетерпения, наполовину из жалости, встал, направился к землепашцу и, не пройдя и двухсот шагов, повернулся к своему Хозяину и закричал:

— Сударь, сюда, сюда! Это ваша лошадь, ваша лошадь!

Действительно, это была она. Не успело животное узнать

[1] Высокое дал он лицо человеку и в небо прямо глядеть повелел, подымая к созвездиям очи *(лат.)*.

Жака и его Хозяина, как оно поднялось по своей воле, встряхнуло гривой, задрожало, встало на дыбы и с нежностью приблизило морду к морде своего сотоварища. Тем временем Жак с возмущением цедил сквозь зубы:

— Мерзавка, гадина, лентяйка! Закатить бы тебе двадцать пинков!..

Хозяин, напротив, целовал лошадь, одной рукой гладил ей бок, другой похлопывал по спине и, чуть не плача от радости, восклицал:

— Моя лошадь! Моя бедная лошадь! Наконец-то я тебя нашел!

Землепашец недоумевал.

— Я вижу, господа,— сказал он,— что эта лошадь принадлежала вам; тем не менее я владею ею вполне законно: я купил ее на последней ярмарке. Если бы вы, однако, пожелали взять ее назад за две трети той цены, которую я уплатил за нее, то вы оказали бы мне большую услугу, ибо я не знаю, что с ней делать. Когда выводишь ее из конюшни, она сам дьявол; когда хочешь запрячь — еще того хуже; когда она попадает на поле, она ложится и скорее позволит себя убить, нежели потерпит, чтобы на нее надели хомут или навьючили на спину мешок. Не смилуетесь ли вы, господа, надо мной и не избавите ли меня от этого проклятого животного? Красавец конь, но годится только, чтоб приплясывать под всадником; а мне это ни к чему...

Ему предложили в обмен любую из двух других лошадей на выбор; он согласился, и оба наши путешественника не спеша вернулись к тому месту, где отдыхали, и оттуда, к своему удовлетворению, увидели, что лошадь, уступленная ими землепашцу, безропотно примирилась со своим новым положением.

Жак. Что скажете, сударь?

Хозяин. Что скажу? Скажу, что тебя вдохновляет либо бог, либо дьявол, хоть и не знаю, кто именно. Жак, друг мой, боюсь, что в тебя вселился дьявол.

Жак. Почему дьявол?

Хозяин. Потому, что ты творишь чудеса, и твои поучения крайне подозрительны.

Жак. А что общего между поучениями, которые читаешь, и чудесами, которые творишь?

Хозяин. Вижу, что ты не знаком с доном Ла Тастом.

Жак. А что говорит этот дон Ла Таст, с которым я не знаком?

Хозяин. Он говорит, что и бог и дьявол одинаково творят чудеса.

Жак. А как же он отличает божьи чудеса от дьявольских?

Хозяин. На основании поучений. Если поучения хороши, то чудеса — от бога, а если плохи, то — от дьявола.

Здесь Жак засвистал, а затем добавил:

— А кто скажет мне, темному невежде, относительно того, хороши ли или плохи поучения творящего чудеса? Эх, сударь, сядем на наших кляч! Какое нам дело, с помощью бога или Вельзевула нашлась ваша лошадь? Разве поступь у нее станет хуже от этого?

Хозяин. Нет. Однако, Жак, если ты одержим...

Жак. А есть какое-нибудь средство от этого?

Хозяин. Средство? Только одно — заклинание бесов, а до тех пор... пить одну только освященную воду.

Жак. Мне, сударь, пить воду! Чтобы Жак пил освященную воду! Да лучше пусть тысяча чертей вселится в меня, чем я выпью хоть каплю освященной или неосвященной воды. Разве вы не заметили, что я гидрофоб?..

Ах, гидрофоб! Жак сказал: «гидрофоб»?..— Нет, нет, читатель; сознаюсь, что это слово исходит не от него. Но при такой строгой критике ты не сможешь прочесть ни одной сцены из любой комедии или трагедии, ни одного диалога, чтобы не обнаружить авторского слова в устах его персонажей. Жак сказал: «Сударь, разве вы еще не заметили, что при виде воды я впадаю в бешенство?..»

Ну-с, перефразировав его слова, я был менее правдив, но более краток.

Они снова сели на лошадей, и Жак сказал Хозяину:

— В своих любовных похождениях вы дошли до того места, когда, дважды изведав счастье, собирались испытать его в третий раз.

Хозяин. Как вдруг дверь, ведшая в коридор, отворилась. И вот комната полна народу, который толчется и галдит; я вижу свет, слышу голоса мужчин и женщин, говорящих одновременно. Кто-то резко отдергивает полог, и передо мной отец, мать, тетки, кузены, кузины и полицейский комиссар, который говорит внушительным тоном:

«Господа, пожалуйста, без шума: преступление налицо; но мы имеем дело с галантным человеком; есть только одно средство исправить зло; он не преминет им воспользоваться и не допустит, чтоб его принудили к этому на основании закона...»

При каждом слове отец и мать осыпали меня упреками; тетки и кузины не скупились на самые отборные эпитеты по адресу Агаты, которая спрятала голову под одеялами. Я нако-

дился в оцепенении и не знал, что отвечать. Обращаясь ко мне, комиссар сказал насмешливо:

«Сударь, хоть вам здесь и очень удобно, все же соблаговолите встать и одеться...»

Я повиновался и облачился в свое платье, которым заменил платье шевалье. Пододвинули стол; комиссар принялся составлять акт. Между тем другие всеми силами удерживали мать, чтоб она не убила дочь, а отец успокаивал ее:

«Не волнуйся, жена, не волнуйся; если ты убьешь дочь, то дела этим не поправишь. Все обойдется благополучно...»

Присутствующие сели на стулья и приняли различные позы, выражавшие скорбь, негодование или гнев. Отец, отчитывая жену, говорил:

«Вот что значит плохо присматривать за дочерью!..»

А мать отвечала:

«Но он с виду был таким добродушным, приличным человеком! Кто бы мог подумать!»

Остальные хранили молчание. Кончив составлять протокол, его зачитали вслух; а так как он заключал в себе одну только истину, я подписал его и спустился вместе с комиссаром, который весьма учтиво предложил мне сесть в карету, дожидавшуюся у ворот, откуда меня отвезли прямо в Фор-л'Эвек в сопровождении многочисленной стражи.

Жак. В Фор-л'Эвек! В тюрьму!

Хозяин. В тюрьму; и начался скандальный процесс. Речь шла ни более, ни менее, как о том, чтоб я женился на мадемуазель Агате; родители и слышать не хотели ни о чем другом. Утром в мою камеру явился шевалье. Он уже все знал. Агата была в отчаянии; родители — вне себя; самого шевалье осыпали упреками за вероломство приятеля, которого он привел в их дом; это он явился причиной их несчастья и бесчестья дочери. На этих бедных людей жалко было смотреть. Он попросил разрешения переговорить с Агатой наедине; это удалось ему не без труда. Агата чуть не выцарапала ему глаза, она обзывала его самыми ужасными именами. Он ожидал этого; дал ей успокоиться, после чего попытался ее урезонить. «Но эта девица,— добавил шевалье,— сказала мне нечто поставившее меня в тупик, и я не нашелся, что ей ответить».

«Отец и мать застали меня с вашим другом; рассказать ли им, что, ночуя с ним, я думала, что провожу ночь с вами?..»

Он возразил:

«Но, говоря по совести, считаешь ли ты, что мой друг должен на тебе жениться?»

«Нет, предатель, нет, негодяй! — воскликнула она.— Тебя, тебя следовало бы присудить к этому».

«От тебя зависит выручить меня из беды»,— сказал я шевалье.

«Каким образом?»

«Каким образом? Объявив, как было дело».

«Я пригрозил Агате; но, конечно, я этого не исполню. Неизвестно, принесет ли нам пользу это средство, но зато доподлинно известно, что оно покроет нас позором. А виноват ты».

«Я?»

«Да. Если бы ты согласился на обман, который я тебе предложил, Агату застали бы с двумя мужчинами, и все кончилось бы посмешищем. Но поскольку случилось иначе, надо загладить твою оплошность».

«Не можешь ли ты, шевалье, объяснить мне одно обстоятельство? Мое платье оказалось на месте, а твое в гардеробной; честное слово, сколько я ни думаю, не могу разрешить этой загадки. Я подозреваю Агату; мне пришло в голову, что она догадалась об обмане и была заодно со своими родителями».

«Быть может, видели, как ты поднимался по лестнице; несомненно только одно — что не успел ты раздеться, как мне прислали мое платье и потребовали твое».

«Это со временем объяснится...»

В то время как мы с шевалье огорчались, утешали друг друга, обвиняли, ругали и мирились, вошел комиссар; шевалье побледнел и поспешил удалиться. Комиссар был порядочный человек, что иногда случается; перечитав дома протоколы, он вспомнил, что когда-то учился вместе с молодым человеком, носившим мою фамилию; ему пришло на ум, не прихожусь ли я родственником или даже сыном его однокашнику; так оно и оказалось. Перво-наперво он спросил меня, кто был человек, удравший при его приходе.

«Он вовсе не удрал, а ушел,— сказал я.— Это мой закадычный друг, шевалье де Сент-Уэн».

«Ваш закадычный друг! Забавные у вас друзья. Знаете ли вы, сударь, что это он явился меня предупредить? Его сопровождали отец девицы и другой родственник».

«Он?»

«Он самый».

«Вы в этом уверены?»

«Вполне уверен; но как вы его назвали?»

«Шевалье де Сент-Уэн».

«А, шевалье де Сент-Уэн! Ну, теперь все ясно. А знаете ли

вы, кто ваш друг, ваш закадычный друг, шевалье де Сент-Уэн? Мошенник, человек, известный множеством преступных проделок. Полиция предоставляет свободу людям такого рода только ради некоторых услуг, которые они ей оказывают. Они жулики и разоблачители жуликов. Вероятно, считают, что, предотвращая или раскрывая преступления, они приносят больше пользы, чем вреда — своими поступками...»

Я рассказал комиссару свое печальное приключение так, как оно произошло на самом деле. Он взглянул на него не слишком благосклонно, ибо то, что служило к моему оправданию, не могло быть ни приведено, ни показано на суде. Тем не менее он взялся вызвать отца и мать, как следует допросить дочь, растолковать дело судье и не упустить ничего, что могло бы помочь мне; он предупредил меня, что, если этих людей хорошо подучили, власти окажутся бессильными.

«Как, господин комиссар, я буду вынужден жениться?»

«Жениться — это было бы слишком жестоко; до этого дело не дойдет, но придется согласиться на вознаграждение за ущерб, и в таких случаях сумма бывает значительной...»

Послушай, Жак, мне кажется, что ты хочешь мне что-то сказать.

Жак. Да; я хотел сказать, что вы действительно оказались неудачливей меня, хотя я заплатил и не ночевал с девицей. Впрочем, я без труда разгадал бы подоплеку вашего приключения, если б Агата оказалась беременной.

Хозяин. Не отказывайся пока что от своей догадки: действительно, спустя некоторое время после моего задержания комиссар сообщил мне, что она подала ему заявление о беременности.

Жак. И вот вы отец ребенка...

Хозяин. Которому не повредил.

Жак. Но к зачатию которого вы не причастны.

Хозяин. Ни покровительство судьи, ни все хлопоты комиссара не спасли меня, и делу был дан законный ход; но так как и дочь, и ее родители пользовались дурной славой, то я избежал брачной мышеловки. Меня приговорили к значительному штрафу, к возмещению расходов на роды, а также к принятию на себя издержек по содержанию и воспитанию ребенка, созданного трудами и стараниями моего друга, шевалье де Сент-Уэна, вылитой миниатюрой которого он был. Мальчик, которым счастливо разрешилась мадемуазель Агата, оказался крепышом; его отдали хорошей кормилице, которой я плачу по сей день.

Жак. А сколько лет вашему сударику-сыну?

Хозяин. Скоро будет десять. Я все время держал его в деревне, где школьный учитель обучал его читать, писать и считать. Это поблизости от того места, куда мы направляемся, и я воспользуюсь случаем, чтобы заплатить этим людям причитающуюся им сумму, взять его от них и приспособить к ремеслу.

Жак и его Хозяин еще раз заночевали в пути. Они находились слишком близко от цели путешествия, чтобы Жак мог вернуться к истории своих любовных похождений; к тому же его болезнь далеко еще не прошла. На другой день они прибыли... — Куда? — Честное слово, не знаю. — А за каким делом они туда ехали? — За каким пожелаете. Разве Хозяин Жака посвящал в свои дела каждого встречного и поперечного? Как бы то ни было, на них потребовалось не более двух недель. — Закончились они благополучно или неудачно? — Этого я еще не знаю. Болезнь Жака прошла благодаря двум одинаково неприятным ему средствам: диете и отдыху.

Однажды утром хозяин сказал своему слуге:

— Жак, взнуздай и оседлай коней; наполни также свою кубышку; мы поедем туда, куда ты знаешь.

Это было так же быстро сделано, как сказано. И вот они направляются к месту, где в течение десяти лет вскармливают за счет Хозяина Жака ребенка шевалье де Сент-Уэна. На некотором расстоянии от покинутого ими жилища Хозяин обратился к Жаку со следующими словами:

— Жак, что ты скажешь о моих любовных похождениях?

Жак. Что свыше предначертано много странного. Вот ребенок, рожденный бог весть при каких обстоятельствах. Кто знает, какую роль сыграет в мире этот внебрачный сынок? Кто знает, рожден ли он для счастья или для гибели какой-нибудь империи?

Хозяин. Ручаюсь тебе, что ничего подобного не случится. Я сделаю из него хорошего токаря или хорошего часовщика. Он женится; у него родятся потомки, которые до конца веков будут обтачивать в этом мире ножки для стульев.

Жак. Да, если так предначертано свыше. Но почему бы не выйти из лавки токаря какому-нибудь Кромвелю? Тот, кто приказал обезглавить своего короля, вышел из лавки пивовара, и разве не говорят теперь...

Хозяин. Оставим это. Ты выздоровел, тебе известны мои любовные похождения, и, по совести, ты не вправе уклоняться от рассказа о своих.

Жак. Все этому противится. Во-первых, остающийся нам путь мал; во-вторых, я забыл место, на котором остановился; в-третьих, у меня какое-то предчувствие, что этой истории не суждено кончиться, что мой рассказ принесет нам несчастье и что не успею я к нему приступить, как он будет прерван каким-нибудь счастливым или несчастным происшествием.

Хозяин. Если оно будет счастливым, тем лучше.

Жак. Согласен; предчувствие мне говорит, что оно будет несчастным.

Хозяин. Несчастным! Пусть так; но разве оно все равно не случится, будешь ли ты говорить или молчать?

Жак. Кто знает!

Хозяин. Ты родился слишком поздно — на два или три века.

Жак. Нет, сударь, я родился вовремя, как все люди.

Хозяин. Ты был бы великим авгуром.

Жак. Я не вполне знаю, что такое авгур, да и знать не хочу.

Хозяин. Это одна из важнейших глав твоего трактата о прорицаниях.

Жак. Она уже так давно написана, что я не помню ни слова. Но вот, сударь, кто знает больше, чем все авгуры, гуси-прорицатели и священные куры республики,— это кубышка. Посоветуемся с кубышкой.

Жак взял кубышку и долго с нею советовался. Хозяин вынул часы и табакерку, посмотрел, который час, и взял понюшку табаку, а Жак сказал:

— Судьба как будто представляется мне сейчас менее мрачной. Скажите, на чем я остановился?

Хозяин. Ты находишься в замке Деглана, твое колено немного зажило, и мать Денизы поручила ей ухаживать за тобой.

Жак. Дениза послушалась. Рана на колене почти зажила; я даже смог проплясать хороводную в ту ночь, когда раскапризничался ребенок; тем не менее я временами терпел невыносимые муки. Тамошнему лекарю, который был несколько ученее своего собрата, пришло на ум, что эти боли, возвращавшиеся с таким упорством, могли происходить от наличия инородного тела, оставшегося в тканях после извлечения пули. По этой причине однажды он рано утром зашел в мою комнату, приказал придвинуть стол к постели, и когда откинули полог, я увидел на этом столе кучу острых инструментов; Дениза, сидевшая у моего изголовья, заливалась горючими слезами; мать ее стояла

довольно печальная, скрестив руки. Лекарь, скинувший камзол и засучивший рукава, держал в правой руке ланцет.

Хозяин. Ты меня пугаешь.

Жак. Я тоже испугался.

«Приятель,— сказал мне лекарь,— не надоело ли вам страдать?»

«Очень надоело».

«Хотите перестать страдать и вместе с тем сохранить ногу?»

«Конечно».

«Так снимите ногу с постели и предоставьте мне работать».

Я выставляю ногу. Лекарь берет ручку ланцета в зубы, охватывает мою ногу левой рукой, крепко ее зажимает, снова вооружается ланцетом, сует его острие в отверстие раны и делает широкий и глубокий разрез. Я и глазом не моргнул, но Жанна отвернулась, а Дениза, испустив резкий крик, почувствовала себя дурно...

Тут Жак прервал свой рассказ и сделал новое нападение на кубышку. Нападения эти были тем чаще, чем короче были промежутки, или, говоря языком математиков, обратно пропорциональны промежуткам. Он был так точен в своих измерениях, что полная при отъезде кубышка аккуратно оказывалась пустой к приезду. Господа чиновники из ведомства путей сообщения сделали бы из нее отличный шагомер. При этом каждое нападение на кубышку имело свои основания. Последнее нападение должно было привести Денизу в чувство и дать самому Жаку оправиться от боли в колене, причиненной операцией лекаря. Дениза оправилась, и Жак, подбодрившись, продолжал.

Жак. Этот огромный разрез вскрыл рану до основания, и лекарь извлек оттуда щипцами малюсенький кусочек сукна от моих штанов, который там застрял; именно его присутствие причиняло мне боль и мешало ране окончательно зарубцеваться. После этой операции здоровье благодаря стараниям Денизы стало ко мне возвращаться: и боль и лихорадка исчезли, вернулись аппетит, сон и силы. Дениза делала мне перевязки с бесконечной точностью и деликатностью. Стоило посмотреть, как осторожно снимала она повязку, как боялась причинить мне малейшую боль, как смачивала рану. Я сидел на постели, она становилась на одно колено, клала мою ногу на свою ляжку, до которой я изредка дотрагивался; рука моя лежала на ее плече, и я глядел на нее с нежностью, которую, как мне кажется, она

разделяла. По окончании перевязки я брал Денизу за обе руки, благодарил, не знал, что сказать, не знал, как выразить свою признательность; она стояла, потупив взоры, и молча слушала меня. Ни один коробейник не приходил в замок без того, чтобы я чего-нибудь у него не купил: то косынку, то несколько локтей ситца или муслина, то золотой крестик, то бумажные чулки, то перстенек, то гранатовое ожерелье. Когда вещь оказывалась приобретенной, вся трудность заключалась для меня в том, чтобы ее предложить, а для Денизы — в том, чтобы ее принять. Сначала я ее показывал Денизе, а если она нравилась ей, то говорил: «Дениза, я купил ее для вас...» Если она соглашалась, то моя рука дрожала, когда я передавал вещицу, а рука Денизы — когда она ее принимала. Однажды, не зная, что еще ей подарить, я купил подвязки; они были шелковые, с вензелями, раскрашенными в белый, красный и голубой цвета. Утром, до прихода Денизы, я положил их на спинку кресла, стоявшего возле моей постели. Дениза, сразу же заметив их, вскричала:

«Какие прелестные подвязки!»

«Это для моей подружки»,— отвечал я.

«У вас, значит, есть подружка, господин Жак?»

«Конечно; разве я вам этого еще не говорил?»

«Нет. Она, должно быть, очень мила?»

«Да, очень мила».

«И вы очень ее любите?»

«От всего сердца».

«А она вас тоже?».

«Право, не знаю. Эти подвязки я купил для нее, и она обещала оказать мне одну милость, от которой я сойду с ума, если ее удостоюсь».

«Какую же это милость?»

«Из этих двух подвязок я сам надену на нее одну...»

Дениза покраснела, неверно поняв мои слова; она подумала, что подвязки предназначаются для другой, и стала грустной: она делала неловкие движения, искала принадлежности, нужные для перевязки, смотрела на них и не видела; она опрокинула вино, только что ею подогретое; подошла к моей постели, чтобы наложить повязку; взяла мою ногу дрожащей рукой, развязала бинты, а когда надо было припарить рану, она забыла все, что было нужно для этого; сходила за необходимым, перевязала меня, и я тут же увидел, что она плачет...

«Дениза, вы, кажется, плачете? Что с вами?»

«Ничего».

«Кто-нибудь вас огорчил?»

«Да».
«А кто этот злодей?»
«Вы».
«Я?»
«Да».
«Как же это случилось?»
Вместо ответа она перевела взгляд на подвязки.
«Так это заставило вас плакать?»
«Да».
«Ах, Дениза, перестаньте плакать: я купил их для вас».
«Правду ли вы говорите, господин Жак?»
«Истинную правду; и в доказательство — вот они».
Но, поднося ей подвязки, я удержал одну из них; лицо ее сквозь слезы озарилось улыбкой. Я взял ее за руку, подвел к постели, положил ее ногу на край, поднял ей юбки до колен, где она прижала их руками, поцеловал ей щиколотку, надел подвязку, которую держал; но не успел я это сделать, как вошла Жанна, ее мать.
Хозяин. Вот неприятный визит!
Жак. Может быть — да, может быть — нет. Вместо того чтобы обратить внимание на наше смущение, она заметила только подвязку в руках дочери.
«Какая прелестная подвязка! — сказала она.— Но где же другая?»
«На моей ноге,— отвечала Дениза.— Он сказал, что купил их для своей подружки, и я решила, что это для меня. Не правда ли, мама, раз я надела одну, то могу оставить себе и другую?»
«Ах, господин Жак, Дениза права: одна подвязка без другой не годится, и вы не захотите отнять ее».
«Почему бы нет?»
«Дениза этого не хочет, и я тоже».
«В таком случае договоримся: я надену ее на Денизу в вашем присутствии».
«Нет, нет, это невозможно».
«Тогда пусть отдаст мне обе».
«И это тоже невозможно».

Но тут Жак и его Хозяин доехали до окраины деревни, где хотели повидать ребенка шевалье де Сент-Уэна и его кормильцев. Жак умолк; Хозяин же его сказал:
— Спешимся и сделаем перерыв.

— Зачем?

— Затем, что, судя по всему, ты приближаешься к концу своей истории.

— Не совсем.

— Когда доходишь до колена, остается немного пути.

— Сударь, у Денизы ляжки длиннее, чем у других женщин.

— Все-таки спешимся.

Они спешились; Жак сошел первым и бросился помогать Хозяину; но не успел тот вложить ногу в стремя, как ремень лопнул, и мой шевалье, опрокинувшись назад, больно шлепнулся бы о землю, если бы не очутился в объятиях своего лакея.

Хозяин. Так вот как ты обо мне заботишься, Жак! Ведь я мог повредить себе бок, сломать руку, размозжить голову, быть может — разбиться насмерть.

Жак. Велика беда!

Хозяин. Что ты сказал, грубиян? Постой, постой, я научу тебя разговаривать!..

И Хозяин, дважды обернув кисть ремешком кнута, кинулся преследовать Жака, а Жак, заливаясь хохотом,— бегать вокруг лошади, Хозяин — клясться, браниться, беситься с пеной у рта и тоже бегать кругом, осыпая Жака потоком ругательств; эта беготня продолжалась до тех пор, пока оба они, обливаясь потом и изнемогая от усталости, не остановились — один по одну, другой по другую сторону лошади, Жак — задыхаясь и хохоча, Хозяин — задыхаясь и обращая на него гневные взгляды. Когда они слегка перевели дух, Жак сказал своему Хозяину:

— Согласен ли мой Хозяин признать...

Хозяин. Что еще должен я признать, собака, мошенник, негодяй? Что ты гнуснейший из всех лакеев, а я несчастнейший из господ?

Жак. Разве не доказано с очевидностью, что мы по большей части действуем независимо от нашей воли? Скажите, положа руку на сердце: хотели вы делать хоть что-нибудь из того, чем занимались все эти полчаса? Разве вы не были моей марионеткой и не продолжали бы быть моим паяцем в течение месяца, если б я это задумал?

Хозяин. Как! Все это было шуткой с твоей стороны?

Жак. Да, шуткой.

Хозяин. И ты ожидал, что ремень лопнет?

Жак. Я это подготовил.

Хозяин. И ты меня дергал за ниточку, чтобы я бесновался по твоему капризу?

Жак. Именно.

Хозяин. Твой наглый ответ был обдуман заранее?

Жак. Да, заранее.

Хозяин. Ты опасный мерзавец.

Жак. Скажите лучше, что благодаря моему капитану, сыгравшему со мной однажды подобную штуку, я стал тонким мыслителем.

Хозяин. А если бы я все-таки поранил себя?

Жак. Свыше, а также в моем предвидении было предначертано, что этого не случится.

Хозяин. Присядем, нам необходимо отдохнуть.

Они садятся, и Жак говорит:

— Черт бы побрал дурака!

Хозяин. Ты, разумеется, говоришь о себе?

Жак. Да, о себе: я не оставил ни одной капли в кубышке.

Хозяин. Не жалей: я бы выпил ее, так как умираю от жажды.

Жак. Черт бы вторично побрал дурака, который не оставил двух капель!

Хозяин умоляет Жака продолжить свою историю, чтоб обмануть усталость и жажду; Жак отказывается, Хозяин дуется. Жак предоставляет ему дуться; наконец, еще раз упомянув о несчастье, которое может случиться от этого, он принимается за историю своих любовных похождений и говорит:

— В один праздничный день, когда сеньор замка отправился на охоту...

Тут он внезапно остановился, а затем сказал:

— Не могу больше; я не в силах продолжать; мне кажется, что рука судьбы снова схватила меня за горло, и я чувствую, как она его сжимает; ради бога, сударь, разрешите мне прекратить.

— Ну хорошо, прекрати и спроси вон в той ближайшей хижине, где живет муж кормилицы...

Хижина помещалась несколько ниже; они двинулись к ней, каждый держа под уздцы свою лошадь. В ту же минуту дверь отворилась, и оттуда вышел человек; Хозяин испустил крик и схватился за шпагу; человек сделал то же. Обе лошади испугались бряцания оружия; лошадь Жака оборвала повод и убежала; тотчас же шевалье, с которым скрестил оружие Хозяин Жака, упал мертвым на землю. Сбежались местные крестьяне. Хозяин поспешно вскочил в седло и ускакал во всю прыть. Жака схватили, скрутили ему руки за спину и повели к местному судье, который отправил его в тюрьму. Убитый оказался шевалье де Сент-Уэном, которого судьба привела в этот самый

день вместе с Агатой к кормилице их ребенка. Агата рвет на себе волосы над трупом своего любовника. Хозяин Жака уже так далеко, что его и след простыл. Жак, направляясь от дома судьи в тюрьму, сказал:

— Так должно было случиться; это было предначертано свыше...

Тут я остановлюсь, ибо это все, что мне известно об обоих моих героях.— А любовные похождения Жака? — Жак сто раз говорил, что ему было предначертано свыше не докончить этой истории, и он был прав. Вижу, читатель, что тебя это сердит. Ну что ж, продолжай рассказ с того места, на котором Жак остановился, и фантазируй, сколько тебе будет угодно, или навести мадемуазель Агату, справься о названии деревни, где арестовали Жака, повидайся с ним и расспроси его: он не заставит просить себя дважды, чтобы тебя удовлетворить; это развлечет его. На основании его записок, которые не без причин представляются мне подозрительными, я мог бы, может статься, восполнить то, чего здесь не хватает: но к чему? Интересно лишь то, что считаешь истинным. Между тем было бы излишней смелостью высказать без зрелой проверки какое-либо суждение о беседах Жака-фаталиста и его Хозяина — самого значительного произведения, появившегося со времен «Пантагрюэля» мэтра Франсуа Рабле и «Жизни и приключений кума Матье», а потому я перечитаю записки Жака со всем напряжением умственных сил и всей беспристрастностью, на какие способен, и через неделю доложу тебе окончательно свое мнение, с правом взять свои слова назад, если кто-либо поумнее меня докажет, что я ошибся.

Издатель добавляет:

Прошла неделя. Я прочитал названные записки; из трех добавленных к ним параграфов, отсутствующих в принадлежащей мне рукописи, я признаю подлинными первый и последний, а средний считаю вставленным позже. Вот первый из них, предполагающий еще один пропуск в беседе между Жаком и его Хозяином:

В один праздничный день владелец замка отправился на охоту, а остальные его сотрапезники слушали обедню в приходской церкви, находившейся в доброй четверти мили оттуда. Жак в это время был уже одет, а Дениза сидела возле него. Они

хранили молчание; казалось, что они дуются друг на друга, и они действительно дулись. Жак приложил все старания, уговаривая Денизу осчастливить его, но Дениза упорно отказывалась. После продолжительного молчания Жак, проливая горькие слезы, сказал ей жестким и желчным тоном:

«Это оттого, что вы меня не любите...»

Дениза встала с досадой, взяла его за руку, внезапно подвела к постели, села на нее и сказала:

«Так я вас не люблю, господин Жак? Так вот, господин Жак, делайте с несчастной Денизой все, что вам угодно...»

С этими словами она залилась слезами, и рыдания стали ее душить.

Скажите, читатель, что бы вы сделали на месте Жака? — Ничего.— Прекрасно. Жак так и поступил. Он подвел Денизу к креслу, упал перед ней на колени, вытер ей слезы, расцеловал руки, старался утешить ее, ободрить, потом решил, что она его крепко любит, и положился на ее нежные чувства в ожидании минуты, когда ей угодно будет вознаградить его собственные. Такой поступок глубоко тронул Денизу.

Может быть, мне возразят, что, стоя перед Денизой на коленях, он не мог вытирать ей глаза... разве только кресло было очень низким. Рукопись ничего об этом не сообщает, но нетрудно это предположить.

Приведем второй параграф, списанный из «Жизни Тристрама Шенди», если только беседа Жака-фаталиста и его Хозяина не написана раньше этого произведения и мистер Стерн не является плагиатором, чему я не верю, ввиду исключительного уважения, питаемого мною к мистеру Стерну, которого я выделяю среди большинства литераторов его нации, усвоивших обычай обкрадывать нас и при этом еще осыпать ругательствами.

В другой раз дело было утром. Дениза пришла, чтобы сделать Жаку перевязку. Весь замок еще спал. Дениза приблизилась, дрожа. Подойдя к дверям Жака, она остановилась, колеблясь, войти ей или нет. Наконец она с трепетом вошла; довольно долго стояла у постели Жака, не решаясь отдернуть полог. Медленно отстранила она его; с трепетом пожелала Жаку доброго утра, с трепетом осведомилась о проведенной ночи и о его здоровье. Жак ответил, что не сомкнул глаз, что страдал и продол-

жает страдать от невыносимого зуда в колене. Она предложила облегчить его мучения: взяла маленький лоскуток фланели, Жак выставил ногу, и Дениза принялась растирать ее фланелькой под раной — сперва одним пальцем, затем двумя, тремя, четырьмя, всей рукой. Жак смотрел на ее работу и таял от любви. После этого она стала гладить фланелькой по самой ране, с еще красным рубцом —сперва одним пальцем, затем двумя, тремя, четырьмя, всей рукой. Но недостаточно было устранить зуд под коленом и на колене, надо было смягчить его и выше колена; и она принялась тереть довольно крепко — сперва одним пальцем, затем двумя, тремя, четырьмя, всей рукой. Страсть Жака, не переставшего смотреть на свою возлюбленную, возросла до такой степени, что, не будучи в состоянии ей противиться, он кинулся к руке Денизы... и поцеловал ее.

Дальнейшее, однако, не оставляет никакого сомнения насчет плагиата. Плагиатор говорит: читатель, если ты не удовлетворен тем, что я поведал тебе о любовных похождениях Жака, то попробуй выдумать что-нибудь получше; я согласен. Как бы ты ни взялся за это дело, я уверен, что кончишь ты так же, как я.— Ошибаешься, гнусный клеветник, я кончу вовсе не так, как ты. Дениза была добродетельна.— А кто утверждает противное? Жак кинулся к ее руке и поцеловал.— Это у тебя извращенное воображение, и ты выдумываешь то, чего тебе не говорят.— Так как же? Разве он не поцеловал ее руки? — Конечно же. Жак был слишком благоразумен, чтобы совратить ту, которую предназначал себе в жены, и породить в себе сомнение, способное отравить остаток его жизни.— Но в предшествующем параграфе сказано, что Жак приложил все усилия, чтобы Дениза решилась его осчастливить.— Вероятно, тогда он еще не намеревался на ней жениться.

Третий параграф рисует нам Жака, нашего бедного фаталиста, лежащим на соломе в глубине мрачной темницы с закованными в цепи ногами и руками, вспоминающим все сохранившиеся в его памяти философские принципы капитана и склонного поверить, что, быть может, когда-нибудь ему еще придется пожалеть о сыром, вонючем, темном обиталище, где его кормили черным хлебом и водой и где ему приходилось защищать свои ноги и руки от нападений мышей и крыс. Нам сообщают, что, в то время как он предавался этим размышлениям, кто-то взломал двери тюрьмы и его камеры, и он вместе с десятком разбойников обрел свободу и оказалася в шайке Мандрена. Между тем полицейские стражники, преследовавшие Хозяина по пятам, настигли его, схватили и водворили в другую тюрьму. Он вышел

оттуда благодаря заступничеству того же комиссара, который услужил ему во время первого приключения, и в течение двух или трех месяцев жил уединенно в замке Деглана, когда судьба вернула ему слугу, почти столь же необходимого для его счастья, как часы и табакерка. Он не брал понюшки табаку, не проверял времени без того, чтобы всякий раз не вздохнуть: «Что стало с тобой, мой бедный Жак?..» Однажды ночью мандреновцы напали на замок Деглана; Жак узнал жилище своего благодетеля и своей возлюбленной; он вступился за замок и спас его от разграбления. Далее мы читаем волнующие подробности о встрече Жака, его Хозяина, Деглана, Денизы и Жанны:

— Это ты, друг мой?

— Это вы, дорогой мой Хозяин?

— Как ты очутился среди этих людей?

— А как случилось, что я встретил вас здесь?

— Это вы, Дениза?

— Это вы, господин Жак? Сколько я из-за вас слез пролила!

Между тем Деглан кричал:

— Принесите вино и стаканы! Скорей, скорей! Он нам всем спас жизнь!..

Несколько дней спустя умер дряхлый привратник замка; Жак занял его место и женился на Денизе, с помощью которой он старается сейчас продлить род последователей Зенона и Спинозы; Деглан любит его, Хозяин и жена обожают: ибо так было предначертано свыше.

Меня пытались убедить, будто Хозяин Жака и Деглан влюбились в жену Жака. Не знаю, как было на самом деле, но я уверен, что по вечерам Жак говорил сам себе: «Если свыше предначертано, Жак, что ты будешь рогоносцем, то, как ни старайся, а ты им будешь; если же, напротив, начертано, что ты им не будешь, то, сколько б они ни старались, ты им не будешь; а потому спи спокойно, друг мой!..» И он засыпал спокойно.

ПРИМЕЧАНИЯ

МОНАХИНЯ

Роман «Монахиня» написан во второй половине 1760 года.

Замысел его вызревал постепенно. Конец 50-х годов принес сенсационные разоблачения тайн монастырских стен, случаев жестокого изуверства во Франции. По рукам ходила «Книга пророческой жизни Марии Алакок, монахини-визитандинки»; черные сутаны противопоставляли ей «Апологию монашеской жизни». Монастырский быт стал предметом оживленного общественного обсуждения, и Дидро не мог остаться в стороне. Будто бы от лица монахини из Лоншана, особы от природы смиренной, но доведенной до крайности преследованиями, он вместе со своими друзьями распространял письма, разоблачавшие монастырские нравы. Последнее из них появилось в мае 1760 года, а уже в сентябре Дидро упоминает в переписке о работе над новым романом. Решающим толчком послужило судебное дело некой Маргариты Деламар, заточенной в монастырь после скандального расторжения брака. Смерть всех ее братьев и сестер сделала Маргариту единственной наследницей семейного состояния, и она требовала, чтобы обет бедности, принятый под угрозой заключения в исправительный дом для девиц легкого поведения, был расторгнут. Суд отказал в иске, Маргарита Деламар осталась в монастыре пожизненно.

Антирелигиозное и антиклерикальное произведение такой разоблачительной силы, как «Монахиня», невозможно было опубликовать в то время. При жизни Дидро с романом познакомились только доверенные друзья. По свидетельству г-жи Вандель, дочери писателя, он возвращался к своему роману неоднократно. В частности, в 1774 году он привез из России новый отредактированный вариант «Монахини», а в 1780 году передал рукопись преемнику Мельхиора Гримма по немецкой «Литературной корреспонденции», швейцарскому журналисту Мейстеру. В письме к последнему (27 сентября 1780 г.) Дидро писал: «Это — произведе-

ние, в котором живописцы могли бы отыскать для себя много сюжетов, и если бы тому не противилось тщеславие, его истинным эпиграфом были бы слова: «И я тоже художник (son pittor anch'io)». Высказывание это свидетельствует, что Дидро был удовлетворен реалистически-изобразительной стороной своего первого романа.

Произведение впервые увидело свет в 1796 году, на спаде буржуазной революции во Франции, и сыграло значительную роль в антицерковной пропаганде. Обличительный и антирелигиозный пафос романа вызвал его неоднократное запрещение в период реставрации Бурбонов.

Стр. 35. *Марсель* — знаменитый парижский учитель танцев.

Стр. 45. *Фидеикомис* (л а т.) — буквально: порученное совести; институт римского права, перешедший в ряд европейских юридических систем средневековья и нового времени. Согласно воле наследодателя, наследник по закону обязан выдать третьему лицу какую-либо вещь, или определенную долю наследства, или же все наследство целиком.

Стр. 61. *Сульпицианцы* — католический монашеский орден, учрежденный в XVII в., который основывал духовные учебные заведения и руководил ими.

...принять имя янсенистки или молинистки.— Янсенисты и молинисты — антагонистические течения во французском католицизме XVII—XVIII вв.

Стр. 62. *...признаю ли я папскую буллу...*— Имеется в виду пресловутая булла папы Климента XI «Unigenitus» (1713), изданная по требованию ордена иезуитов. Булла, поддержанная Людовиком XIV, который считал янсенистов своими личными врагами, осуждала янсенистов как еретиков и прокламировала верховенство церкви над государством.

Стр. 76. *«Красные каблуки»* — прозвище придворных щеголей во Франции XVII—XVIII вв.

Стр. 122. *Пор-Рояль* — женский монастырь, основанный в 1204 г. В 1625 г. от него отделилось мужское аббатство, обосновавшееся в Париже. Во второй половине XVII в. Пор-Рояль становится оплотом янсенизма и одним из важнейших центров французской культуры.

ПЛЕМЯННИК РАМО

Первый вариант диалога «Племянник Рамо» относится к 1762 году. Он был подвергнут существенной переработке в 1772—1773 и 1779 годах, но, как и многие другие произведения Дидро, при жизни автора не был опубликован. В 1804 году вышел в свет немецкий перевод диалога, сделанный Гете, с комментариями, а в 1821 году — первое французское издание (обратный перевод с немецкого К. де Сора и Л. де Сен-Женье).

Подлинный текст «Племянника Рамо» был издан только в 1823 году Брюэром по рукописной копии, предоставленной ему г-жой де Вандель, дочерью писателя. В этом издании были, однако, опущены резкие политические характеристики и все собственные имена. Наконец, в составе 20-томного Полного собрания сочинений Дидро (издательство Ассезар, Париж, 1875—1877) «Племянник Рамо» был опубликован целиком без всяких купюр.

Герой диалога — племянник Рамо — лицо действительно существовавшее. Жан-Франсуа Рамо родился в Дижоне 30 января 1716 года в семье органиста Клода Рамо, брата знаменитого композитора Жана-Филиппа Рамо (1683—1764). Племянник Рамо окончил иезуитский коллеж в Дижоне, а затем покинул дом отца и многие годы вел беспорядочную жизнь; пытался сделать военную карьеру, учился живописи, игре на музыкальных инструментах и композиции, тонзурировался и потом отказался от духовного звания. В конце 60-х годов министр Сен-Флорантен (см. прим. к стр. 326) запрятал племянника Рамо в дом сумасшедших, где тот и скончался в начале 70-х годов XVIII века.

Племянник Рамо был близок к группе реакционных литераторов Фрерона и Палиссо (см. прим. к стр. 192), которая вела непрерывную войну с Дидро и энциклопедистами.

Стр. 183. *...идти гулять в Пале-Рояль.*— Парк парижского дворца Пале-Рояль, построенного в XVII в., был во времена Дидро открыт для общественного пользования; часть дворцовых построек занимали торговые помещения и кафе. *Рей* — владелец кафе «Регентство» в Пале-Рояле, излюбленного места собраний шахматистов. Здесь часто бывал Дидро.

Легаль, Филидор, Майо, Фубер — известные французские шахматисты XVIII в. Франсуа Андре-Даникан Филидор (1726—1795) был сильнейшим мировым шахматистом XVIII в., автором книги «Анализ шахматной игры» (1749), а также композитором, одним из создателей французской комической оперы.

Стр. 184. *...вышел из монастыря траппистов... был заперт в монастыре бернардинцев.*— В отличие от сурового устава ордена траппистов, который предписывал воздержание в питье и пище, устав бернардинцев разрешал членам братства вольную жизнь и чревоугодие.

Стр. 185. *...того... Рамо, что освободил нас от одноголосия музыки Люлли...*— На творчество Ж.-Ф. Рамо, а также на его теоретические музыкальные работы, положившие начало современному учению о гармонии, оказали сильное влияние эстетические идеи Дидро.

...похоронив флорентийца, сам будет погребен итальянскими виртуозами...— Под «флорентийцем» подразумевается глава классицизма во французской музыке, композитор Жан-Батист Люлли (1632—1687), кото-

рый был выходцем из Италии, но с детства жил в Париже. Рамо-старший явился продолжателем оперного стиля Люлли. Французские просветители выступали против них обоих, против условного музыкального речитатива классицистской оперы за соответствие музыки естественному движению речи, ее смыслу, а также характерам и чувствам персонажей. В этом они опирались на опыт итальянской комической оперы-буфф, которая гастролировала в Париже в 1752—1754 гг.

Стр. 185. *...перед угрозой пережить свою славу. Примеры тому — Мариво и Кребильон-сын.*— После 1746 г. Пьер Мариво (1688—1763) почти не выступал в печати; Кребильон Клод-Проспер-Жолио (1707—1777) —сын драматурга Проспера-Жолио Кребильона, автор не лишенных изящества гривуазных романов и повестей. В 1740 г. за изображение в одном из своих произведений любовных похождений Людовика XV был выслан из Франции и прекратил литературную деятельность.

Стр. 186. *В этой игре он то же, что мадемуазель Клерон на сцене...*— Клерон (Клер-Жозефина-Ипполита де Латюд Лерис; 1723—1803) — выдающаяся французская драматическая актриса, игру которой Дидро разобрал в «Парадоксе об актере» (1773) как образец простого и естественного, чуждого напыщенности и жеманства актерского искусства. Клерон добивалась психологической индивидуализации образа не столько непосредственным чувством, сколько строго рациональным подходом, что соответствовало театральным теориям Дидро. Работая в содружестве с Вольтером, Клерон стала крупнейшим реформатором французского драматического театра XVIII в. в духе «просветительского классицизма». Граф *де Бисси* (1721—1810) — литератор, член академии; был возлюбленным Клерон.

Я бы лучше чувствовал себя подле Диогена и Фрины.— Диоген Синопский (ок. 404—323 до н. э.) — древнегреческий философ-киник, отвергавший блага цивилизации и требовавший, чтобы человек вернулся в первобытное состояние. Свое безразличие к морали довел до полного бесстыдства, ходил нагишом. По преданию, подчеркивая ненужность культуры и комфорта, жил в пустой бочке, прикрываясь рубищем. Фрина (IV в. до н. э.) — афинская гетера, прославленная своей красотой: была натурщицей скульптора Праксителя.

Стр. 187. *Мудрость монаха, описанного Рабле...*— Имеется в виду брат Жан, один из персонажей «Гаргантюа и Пантагрюэля» (кн. I, главы 39—55); отличался жизнелюбием и был фальшиво смиренен только во имя чревоугодия и любви.

...обедал у одного министра...— Имеется в виду герцог де Шуазель, с 1761 г.— военный министр, а с 1766 г.— министр иностранных дел.

Стр. 189. *Бриассон* Антуан-Клод — книгоиздатель и книготорговец, близкий к энциклопедистам.

Барбье — парижский торговец шелковыми тканями.

«Андромаха» (1668), *«Британник»* (1670), *«Ифигения* в Авлиде» (1675), *«Федра»* (1677), *«Аталия»* («Гофолия», 1691) — трагедии Расина (1639—1699).

Стр. 190. *...чтобы Вольтер отличался кротостью Дюкло, простодушием аббата Трюбле, прямотой аббата д'Оливе...*— Дюкло Шарль-Пино (1704—1772) — французский писатель-моралист; Трюбле Никола́-Шарль-Жозеф — литератор, осмеянный Вольтером, академик; Оливе Пьер-Жозеф д' (1682—1768) — филолог, академик. Дидро иронизирует, сопоставляя этих «приятных» людей с Вольтером.

Стр. 191. *Грёз* Жан-Батист (1725—1805) — французский художник, один из основоположников жанровой реалистической живописи; изображал быт и семейные добродетели людей из третьего сословия. Дидро высоко оценил его творчество в своих «Салонах».

Меропа — героиня одноименной трагедии Вольтера (1743). «Меропа» — психологическая трагедия материнской любви, где в образе главной героини сочетаются требования чувства и долга.

...ты бы никогда не написал «Магомета» или похвального слова Мопу́.— «Фанатизм, или Магомет-пророк» (1741) — трагедия Вольтера, обличающая религиозное лицемерие и фанатизм. Мопу Рене-Никола́ де (1714—1792) — хранитель печати Людовика XV, вдохновитель реакционного переворота 1771 г., когда были арестованы и высланы из Парижа оппозиционные члены парламента (парижского верховного суда). Вольтер, враждовавший с парламентами, которые поддерживали официальную церковь, вынося суровые приговоры жертвам религиозного фанатизма, приветствовал эту акцию Мопу в стихах и письмах.

Стр. 192. *«Глубокие бездны Тенара»* и *«Ночь, бесконечная ночь»* — популярные арии из оперы-балета Ж.-Ф. Рамо «Галантная Индия» (1735).

...сотня проходимцев...— Далее следуют имена реакционных литераторов, врагов Дидро. *Палиссо* Шарль (1730—1814) — автор комедии «Философы» (1760), бесстыдного пасквиля на энциклопедистов. *Пуансине* Антуан-Александр (1734—1769), автор комедий и комических опер, и его двоюродный брат Луи (1733—1804), автор трагедии «Бризеида»,— оба посещали казначея ведомства особых поступлений Бертена, то есть были платными доносчиками. *Фрерон* Эли-Катрин (1718—1776) — критик и публицист, редактор журнала «Год литературы», специализировавшийся на травле Вольтера и энциклопедистов; сын его Станислав-Луи-Мари (1754—1802) унаследовал от отца этот высмеянный Вольтером журнал. *Лапорт* Жозеф (1713—1779) — редактор журнала «Литературный обозреватель», автор литературных компиляций. Журнал постоянно колебался между просветительским и реакционным лагерем, склоняясь на сторону последнего.

...в «Трех столетиях» ты прочитал бы, что ты — великий человек...— «Три столетия французской литературы» (1772) — компилятивное сочи-

нение аббата Антуана Сабатье де Кастр, где превозносились многочисленные литературные бездарности, враги энциклопедистов.

Стр. 194. *...вас ждет солома либо у кучера господина де Субиза, либо у вашего приятеля Роббе...*— При дворе герцога де Субиза были конюшни, в которых бездомные могли получить ночлег; Роббе де Бовезе Пьер-Оноре (1714—1792) — второстепенный поэт, которого Палиссо прозвал «приятелем Роббе». Эта кличка осталась при нем и после того, как в 1768 г. он получил королевскую пенсию и жилье в Сен-Жерменском дворце.

Стр. 195. *...господин Вьейар говорит, что она такая добрая...*— Вьейар, сын управляющего минеральных ванн в Пасси, был соседом по загородному имению казначея ведомства особых поступлений Бертена д'Антильи. Последний застал Вьейара со своей содержанкой, актрисой Аделаидой Юс, после чего выгнал ее. Эпизод этот, послуживший источником разных сплетен, подробно рассказан в письмах Дидро к Софи Воллан.

...сын Рамо, дижонского аптекаря...— Отец Рамо был в Дижоне не аптекарем, а органистом и учителем музыки.

Кармонтель (настоящее имя Луи Каружи; 1717—1806) — французский драматург, автор «комедий-пословиц»; был также гравером, создал портреты Рамо, Дидро, Гольбаха, М. Гримма.

Стр. 196. *...толстяка Бержье... госпожи Ламарк...*— Бержье Никола-Сильвестр — богослов, театральный цензор, автор памфлета «Анализ материализма, или Опровержение «Системы природы» на книгу Гольбаха. Ламарк — влиятельная при дворе дама, покровительница Палиссо, способствовавшая постановке его «Философов».

Стр. 199. *Самюэль Бернар* (1651—1739) — откупщик-миллионер, ссужавший деньгами королевский двор при Людовиках XIV и XV.

Красные и синие сироты — воспитанники двух благотворительных приютов, носившие одежду соответствующих цветов и участвовавшие в торжественных похоронах влиятельных лиц.

Локателли Пьетро (1695—1764) — итальянский скрипач и композитор, с 1732 г. жил в Нидерландах.

...концерте Феррари, или Кьябрана...— Речь идет об итальянских скрипачах-виртуозах, выступавших в Париже (1751—1758).

Стр. 200. *...исполняет какую-то вещь Альберти или Галуппи...*— В истории музыки известны многие Альберти; по-видимому, здесь имеется в виду Доменико Альберти, итальянский композитор XVIII в., писавший для клавесина. Галуппи Бальдассаре (1706—1785) — итальянский композитор венецианской оперной школы. Автор двенадцати сонат для клавесина.

Стр. 202. *У меня была жена...*— В возрасте сорока лет Жан-Франсуа Рамо женился на двадцатилетней девице Урсуле-Николь Фрюше, которая родила ему сына. Мать и ребенок умерли четыре года спустя.

...ей восемь лет.— Дочь Дидро Мария-Анжелика родилась в 1753 г.

Стр. 204. *Мадемуазель Лемьер* Мария-Жанна (1733—1786), *мадемуазель Арну* Софи (1744—1803) — оперные певицы, известные легкостью нравов.

Графчик... нашел себе занятие — фарфор господина Монтами.— Здесь имеется в виду особый способ росписи по фарфору, впервые примененный Дидье-Франсуа Аркле де Монтами, другом Дидро. Граф Луи де Лораге (1733—1824), оказавший Монтами материальную поддержку, впоследствии приписывал славу этого изобретения себе.

Этот Превиль... в «Галантном Меркурии»...— Превиль Пьер-Луи (1721—1799) — актер Французской Комедии, игравший в комедии Бурсо (1638—1701) «Галантный Меркурий, или Комедия без названия» сразу шесть больших ролей.

Дюмениль — сценическое имя Марии-Франсуазы Мармон (1713—1802) — выдающейся трагической актрисы, исполнительницы главных ролей в произведениях Расина и Вольтера. Дидро намекает здесь на ее склонность к алкогольным напиткам.

Стр. 205. *Жавилье* — учитель танцев в Париже, принадлежавший к семье танцовщиков Оперы (отец и три сына).

Барон Багге — парижский меломан, голландец по происхождению.

Стр. 206. *...называются... Идиотизмами.*— Имеется в виду грамматический термин «идиоматизм», иронически искаженный Рамо.

Фонтенель Бернар (1657—1757) — французский философ и писатель, последователь Декарта; боролся против церкви и суеверий.

Стр. 207. *Основной бас милого дядюшки...*— В музыковедческих трудах Ж.-Ф. Рамо было, в частности, разработано теоретическое положение об «основном басе», реальном или (при обращении аккорда) подразумевающемся. Ему придавались цифровые обозначения, указывающие на происхождение аккорда и его положение в ладу.

Когда-то Дешан, а нынче Гимар...— Дешан (1730—1775), танцовщица-фигурантка Парижской оперы, которая находилась на содержании знатных особ и была известна скандальными похождениями. Мари-Мадлен Морель (на сцене — Гимар; 1743—1816) — артистка балета Французской Комедии и Парижской оперы, выступавшая, в частности, в опере-балете Ж.-Ф. Рамо «Кастор и Поллукс».

Стр. 208. *...вся Вильморьенова свора...*— Имеются в виду приживальщики откупщика Вильморьена, зятя Буре, генерального откупщика при Людовике XV.

Катоны Старший (234—195 до н. э.) и Младший (95—46 до н. э.) — государственные деятели Рима, известные, в частности, как ревнители добродетели и строгих нравов.

Стр. 210. *...смыть пятно с памяти Каласов.*— Некто Жак Калас, по вероисповеданию кальвинист, был осужден и колесован в 1762 г. по лож-

ному обвинению в убийстве сына с целью будто бы помешать переходу его в католичество. Вольтер добился посмертного оправдания Каласа, подняв всю передовую Францию против абсолютизма и католической церкви.

Стр. 210. *Один мой знакомый...*— Подразумевается шотландский врач XVIII в., близкий к кругу энциклопедистов. К его истории Дидро обращался также в одном из своих писем 1760 г.

Стр. 212. *Ламорльер* Шарль-Луи-Жак (1701—1785) — французский литератор, автор романа «Ангола»; пользовался славой наглеца и скандалиста и возглавлял банду парижских театральных клакеров.

«Монастырский привратник» (1744) — анонимный эротический роман, авторство которого приписывалось аббату Латушу.

Аретино (1492—1556; настоящее имя Пьетро Баччи) — итальянский писатель и драматург эпохи Возрождения. В 1525 г. написал сонеты к эротическим рисункам Джулио Романо, что послужило поводом для его изгнания из Рима.

Стр. 213. *Отец Ноэль* — монах-бенедиктинец из Реймса, ученый, изготовивший, в частности, микроскоп, после чего был оставлен при дворе Людовика XV.

Стр. 214. *Госпожа Бувильон* — гротескный персонаж из «Комического романа» Поля Скаррона (1610—1660), толстуха.

Стр. 215. *Бакюлар* (Д'Арно Бакюлар Франсуа-Тома-Мари; 1718—1805) — малозначительный французский драматург и литератор, которому протежировал Вольтер; позднее — приживальщик в богатых домах Парижа.

Стентор — персонаж «Илиады» Гомера; отличался невероятным громогласием: при осаде Трои пятьсот певцов не смогли заглушить его голос.

Стр. 216. *Буре* Этьен-Мишель (1710—1777) — с 1743 г. генеральный откупщик Людовика XV, известный колоссальным личным состоянием и неумеренной расточительностью. К концу жизни сумел истратить 42 млн. ливров, оставив долги в 5 млн. ливров.

...книга счастья, факелы...— По дороге на виллу Круа-Фонтен, принадлежавшую Буре, куда Людовик XV отправлялся на охоту, короля через каждые двадцать шагов встречал человек с факелом. В другой раз на вилле королю была преподнесена роскошно переплетенная книга с заголовком «Подлинное счастье», первая страница которой была украшена надписью: «Король посетил Буре».

...к хранителю королевской печати...— Имеется в виду Дарнувиль Жан-Батист-Мажо (1701—1794), главный контролер финансов и статс-секретарь при дворе Людовика XV; в 1750 г. был и хранителем печати. Дарнувиль покровительствовал Буре, который, в свою очередь, оказывал ему всяческие услуги.

Стр. 218. *Тюренн, Вобан, маркиза де Тансен.*— Анри де ла Тур д'Овернь, виконт де Тюренн (1611—1675) — выдающийся французский полководец; Себастьен Лепретр де Вобан (1633—1707) — военный инженер и полководец; Клодина-Александрина Герен, маркиза де Тансен (1681—1749) — писательница, возглавлявшая литературный салон; в прошлом монахиня, славилась своими любовными похождениями и финансовыми авантюрами, пользовалась огромным влиянием при дворе. Математик Даламбер, соредактор Дидро по «Энциклопедии», был ее внебрачным сыном.

...аплодисментов, упрямо расточаемых глупой публикой... Данжевиль... или... Клерон...— Данжевиль (Анна-Мария Бото; 1714—1796) — актриса Французской Комедии, выступавшая в ролях субреток. Рамо намекает на инцидент, который произошел в этом театре в 1772 г. При возобновлении трагедии Тома Корнеля «Граф Эссекс» Аделаида Юс взяла себе роль герцогини, на которую притязала Клерон. Тогда последняя выбрала маленькую роль наперсницы. Зрители встретили ее громом аплодисментов и освистали Юс.

Стр. 219. *«Особые поступления»* — то есть казначей ведомства особых поступлений Бертен (см. прим. к стр. 195).

Стр. 220. *«Зара»* (1751) — трагедия Палиссо; «Сирота, или *Мнимый благодетель»* — комедия Антуана *Брета* (1717—1792), малоизвестного литератора и драматурга.

Монсож Тире де — откупщик почт при Людовике XV. Как и *Вильморьен,* был зятем генерального откупщика Буре.

Стр. 221. *...сцену с разносчиком придумал я в подражание «Теологии по-бабьи».*— В комедии Палиссо «Философы» имя Дидро не один раз упоминается в клеветническом контексте именно в сцене с разносчиком. «Теология по-бабьи, или Женщина-доктор» (1731) — комедия иезуита Гийома-Гиацинта Бужана, в которой высмеивались янсенисты.

...толстый аббат Леблан, лицемер Баттё...— Аббат Леблан (1707—1781) — посредственный французский писатель; Баттё Шарль (1713—1780) — писатель и теоретик искусства. Исходным пунктом художественной концепции Баттё являлось требование подражания природе, эклектически соединенное с эстетикой условности рококо. Дидро считал основное сочинение Баттё «Изящные искусства, сведенные к единому принципу» (1746) лишенным всякой научной последовательности.

...сюжет, известный ему до тонкости.— Поэма Роббе де Бовезе была написана на тему о сифилисе. Пирон сказал об авторе, что он «весь изъеден своим сюжетом».

Стр. 222. *Теофраст* (ок. 370—288 до н. э.) — древнегреческий философ и логик; в средние века и период Возрождения получил распространение его моральный трактат «Характеры», где были собраны психологические зарисовки абстрагированных человеческих характеров

(«О скупости», «О лести», «О тщеславии» и т. п.). *Лабрюйер* Жан де (1645—1696) — французский писатель, сатирик-моралист, автор книги «Характеры, или Нравы нашего века» (1688). В начале ее Лабрюйер поместил трактат «Характеры» Теофраста, а далее дал ряд самостоятельных сатирических характеристик нравов современного ему французского общества, исходя уже не из абстрактно взятых сторон, а из общественного положения изображаемых типов («О городе», «О дворе», «О вельможах», «О церкви» и т. п.). Единственный среди французских писателей эпохи классицизма, Лабрюйер правдиво обрисовал обнищание французского крестьянства.

Стр. 223. *«Передовой гонец»* и все далее названные французские листки XVIII в. поддерживали двор и церковь, боролись против идей Просвещения.

Стр. 224. *Жадный аббатишка* — то есть Жозеф де Лапорт (см. прим. к стр. 192).

Дора́ Клод-Жозеф (1734—1780) — поэт и драматург, представитель эротической «легкой поэзии».

Стр. 228. *Лебрен* де Гранвиль (ум. в 1765 г.) — редактор журнала «Литературная слава» (1761); был близок к лагерю Фрерона и Палиссо.

Давид Мишель-Антуан — книгоиздатель, принимал участие в выпуске «Энциклопедии». С другой стороны, помогал Палиссо в издании его газеты.

Гельвеций Клод-Адриен (1715—1771) — французский философ-просветитель, друг Дидро, сотрудничавший в «Энциклопедии» Палиссо вывел его вместе с Дидро в «Философах».

...ради забавы убедил друга отречься от своей религии...— Намек на мистификацию Палиссо: он предложил своему приятелю Пуансине перейти в протестантство, что будто бы являлось непременным условием получения места воспитателя прусского принца. Пуансине согласился.

...сам себя изобразил на сцене...— В анонимной комедии «Сатирик» (1770) Палиссо изобразил собственные проделки, а затем пожаловался цензору, аббату Вуазенону, требуя запрещения порочащей его пьесы и тайно рассчитывая на скандальный успех. Пьеса действительно была запрещена, и Палиссо немедленно напечатал ее за границей.

Стр. 229. *Толстая графиня.*— Имеется в виду госпожа Ламарк (см. прим. к стр. 196).

Стр. 231. *Авиньонский отступник.*— Ходили слухи, что Палиссо бежал из города Авиньона, похитив деньги своих клиентов. В эпитете «отступник», по-видимому, содержится намек на религиозные распри XIV в., когда в Риме находился один папа, а в Авиньоне — другой.

Стр. 234. *Дуни* Эджидио Ромоальдо (1709—1775) — итальянский композитор, с 1757 г. работал во Франции; один из основоположников французской комической оперы. Личный знакомый Дидро.

Стр. 235. *«Я жалок и несчастен»* и *«Земля, сокровище прими!»* — арии из оперы-буфф Дуни «Остров безумных» (1760).

«Уходит жизнь!» — ария из комической оперы Филидора «Кузнец» (1761).

Кампра́, Детуш, Муре.— Кампра Андре (1660—1744), Детуш Андре-Кардиналь (1672—1749), Муре Жан-Жозеф (1682—1738) — французские композиторы XVIII в., эпигоны галантно-пасторального стиля Люлли.

Стр. 236. *«Stabat» Перголезе, «Служанка-госпожа», «Траколло».*— Перголезе Джованни-Батиста (1710—1736) — итальянский композитор, выдающийся представитель неаполитанской оперной школы; музыкальный язык Перголезе пронизан интонациями народной песни. «Служанка-госпожа» (1733) — интермедия к «серьезной» опере Перголезе «Гордый пленник», получившая впоследствии самостоятельное значение в качестве первой итальянской оперы-буфф. «Траколло» — интермедия Перголезе «Ливьетта и Траколло» (1734), была впервые разыграна в антрактах его же «серьезной оперы» «Адриан в Сирии».

...«Танкред», «Иссе», «Галантная Европа», «Галантная Индия», «Кастор», «Лирические таланты»; «Армида» ставились без конца.— «Танкред» (1702) и «Галантная Европа» (1735) — опера и балет Кампра. «Иссе» (1697) — опера («героическая пастораль») А.-К. Детуша; «Галантная Индия» (1735), «Кастор и Поллукс» (1737), «Лирические таланты» (1739) — оперы Ж.-Ф. Рамо; «Армида» (1686) — опера Ж.-Б. Люлли. Все эти произведения — вершины французского музыкального классицизма.

Ребель Франсуа (1701—1775) и *Франкёр* Франсуа (1698—1787) — дирижеры Парижской оперы.

...Королевской Опере в тупике...— Здание Оперы (официально — Королевской академии музыки) было расположено (до пожара 6 апреля 1763 г.) в одном из тупиков Пале-Рояля.

«Художник, влюбленный в свою модель» (1757) — комическая опера Дуни.

Стр. 237. *...«Рагонды» или «Платеи»...*— «Рагонда» (1742) — опера-дивертисмент Муре. «Платея, или Ревнивая Юнона» (1749) — комический балет Рамо.

...чем все Дюамели на свете...— Дюамель дю Монсо Анри-Луи (1700—1782), автор руководства «Искусство угольщика», и Дюамель Жан-Гийом (1730—1816), автор руководства для углекопов «Подземная геометрия»,— братья-ученые, члены Французской Академии.

Стр. 238. *«Жалобщица,* или Тяжба» (1762) — комедия Шарля-Симона Фавара с ариями Дуни.

«Я жалок и несчастен...» — Первые три названные здесь арии — из «Острова безумных» Дуни; три последние — из «Служанки-госпожи» Перголезе.

Стр. 238. *...отрывки из «Жалоб» Иомелли...*— Иомелли Николо́ (1714—1774) — итальянский композитор.

Стр. 240. *«Ах, я дождусь...»* — монолог из героической оперы «Роланд» (действ. IV, явл. 2) Ж.-Б. Люлли на слова поэта и либреттиста Филиппа Кино (1635—1688).

«Бледные факелы...» и *«Боги Тартара...»* — арии из оперы Ж.-Ф. Рамо «Кастор и Поллукс» (1737).

...Саксонца, Терраделью, Траэтту и других... Метастазио...— Саксонец — прозвище в латинских странах немецкого композитора Иоганна Адольфа Хассе (1699—1783), примкнувшего к неаполитанской оперной школе и обновившего ее музыкальный стиль. С 1764 г. Хассе жил и работал в Вене. Терраделья Доменико (1711—1751) — итальянский композитор неаполитанской школы; Траэтта Томазо (1727—1779) — итальянский композитор и капельмейстер, принадлежал к неаполитанской музыкальной школе; в 1768—1775 гг. был придворным капельмейстером в Петербурге; Метастазио Пьетро (настоящая фамилия Трапесси; 1698—1782) — итальянский поэт, драматург и оперный либреттист, основоположник героической «оперы-сериа». На тексты Метастазио писали оперы Пиччини, Гендель, Глюк, Гайдн, Моцарт, а также названный выше Хассе.

Неужели Кино, Ламот, Фонтенель ничего в этом не смыслили? — Кино Филипп (1635—1688) — поэт и драматург, писал либретто для опер Люлли. Ламот Удар-Антуан де (1670—1731) — французский поэт-либреттист и музыкальный критик; Фонтенель (см. прим. к стр. 206) — был автором нескольких оперных либретто.

...чтобы на музыку клали «Максимы» Ларошфуко или «Мысли» Паскаля.— Ларошфуко Франсуа де (1613—1680) — французский писатель-моралист, произведениями которого было обозначено начало идейного кризиса классицизма. В главном своем сочинении, «Размышления, или Моральные изречения и максимы» (1665), Ларошфуко выдвигает в качестве главной побудительной причины человеческих действий себялюбие и эгоистический расчет. Паскаль Блез (1623—1662) — французский философ и писатель, математик и физик, вся творческая деятельность которого отмечена трагическим противоречием между порывами к науке и к религии. Главное его сочинение — «Мысли о религии и о некоторых других вопросах» (1669).

Стр. 244. *Если бы Пуффендорф и Гроций воскресли...*— Пуффендорф Самуэль, барон фон (1632—1694) — немецкий историк и правовед. В главном сочинении, «О естественном праве и праве народов» (1672), обосновал отделение законодательства от теологии и дал ему рациональное («естественное») истолкование. Гроций (настоящее имя Гуго де Гроот; 1583—1645) — голландский политический мыслитель, юрист, философ и историк, основоположник науки международного права. Главное сочинение,

«О праве войны и мира» (1625), выразило тенденцию к освобождению правоведения от опеки богословия и оказало огромное влияние на развитие буржуазной философии права.

Стр. 247. *Когда природа создавала Лео, Винчи...* — Лео Леонардо (1694—1744) и Винчи Леонардо (1690 или 1696—1727) — итальянские композиторы, выдающиеся мастера неаполитанской оперной школы, писавшие на тексты Метастазио.

Стр. 249. *Вы видели маленькую савоярку?* — Имеется в виду комедия Шарля-Симона Фавара «Вечер на бульварах» (1758), где жена драматурга, популярная актриса Жюстина Фавар (1727—1772), исполняла роль савоярки.

«Потерянный и найденный сын Арлекина» (1746) — комедия Карло Гольдони, которая в 1761 г. с успехом шла в Париже, в Итальянской Комедии.

Зваться Рамо — это стеснительно. — Рамо-племянник был автором бездарной апологетической поэмы «Рамеида» (1766), где возвеличивал себя за счет дядюшки.

...продолжаю стоять подле статуи Мемнона. — Мемнон — один из героев Троянской войны в послегомеровских мифах, сын Эос, богини утренней зари, и троянского царя Титона. Статуей Мемнона древние греки называли изображение египетского фараона Аменхотепа III в заупокойном храме в Фивах (XV в. до н. э.). При восходе солнца прогревался воздух в полостях статуи, и она издавала мелодичные звуки, как будто Мемнон приветствовал мать свою Эос.

Стр. 250. *Риналъдо да Капуа* (1715—1771) — итальянский композитор, автор комических опер «Прекрасная женщина» и «Цыганка», которые пользовались большим успехом во время гастролей итальянской оперы-буфф в Париже.

Тартини Джузеппе (1692—1770) — итальянский композитор и теоретик музыки; выдающийся скрипач, усовершенствовавший смычок.

Стр. 252. *Новер* Жан-Жорж (1727—1810) — теоретик хореографического искусства, реформатор балета; в 1775—1780 гг. работал в Парижской опере. Свои эстетические взгляды, близкие к идеям просветителей, Новер изложил в обширном труде «Письма о танце и балетах» (1760).

...взобрались на эпицикл Меркурия... — Выражение заимствовано у Мишеля Монтеня (1533—1592), французского писателя эпохи Возрождения. По Птолемею (II в.), эпициклы — кривые движения планет относительно Земли; по Монтеню же, это означает: подняться от мира низменной реальности до возвышенно-отвлеченной мечты.

Стр. 253. *Галиани* Фернандо, аббат (1728—1787) — итальянский просветитель; экономист, автор «Диалогов о торговле хлебом». Близкий знакомый Дидро.

Стр. 253. *Панталоне* — один из постоянных персонажей итальянской народной комедии масок — богатый старик, скупой и глупый, которого обманывают юные влюбленные.

Стр. 254. *...словно воочию увидел автора «Опровержений» перед епископом Орлеанским.*— Автор «Опровержений» — Габриэль Гошá, издававший журнал «Анализ и опровержение различных современных произведений, направленных против религии» (1753—1765). За свои заслуги перед троном и церковью Гоша получил аббатство с доходом в 3 тысячи ливров. Впоследствии выхлопотал у епископа Орлеанского, заведующего раздачей бенефиций во Франции, еще более выгодную приорию.

Лаиса (V в. до н. э.) — афинская гетера времен Перикла.

Стр. 256. *Доверль* Антуан (1713—1797) — французский композитор, дирижер.

Каждый несет свою кару — цитата из «Энеиды» Вергилия (кн. VI, стих 743).

Кане Этьен, аббат (1694—1782) — французский литератор, друг Даламбера; был меломаном, завсегдатаем Оперы.

ЖАК-ФАТАЛИСТ

Роман «Жак-фаталист и его Хозяин» был написан во время пребывания Дидро в России и Голландии в 1773—1774 году. Впервые опубликован в Германии. В 1785 году Фридрих Шиллер перевел и издал отдельной брошюрой (под названием «Месть женщины») историю г-жи Ла Помере и ее любовника. В 1792 г. «Жак-фаталист» вышел целиком в немецком переводе Милиуса.

В 1794 году революционные власти приступили к сбору неопубликованных рукописей французских писателей. Аутентичная копия «Жака-фаталиста» была предоставлена принцем Генрихом Прусским, братом короля Фридриха II, и увидела свет одновременно с «Монахиней», в 1796 году.

В связи со сходством композиционных и сюжетных приемов «Жака-фаталиста» и романа английского писателя Л. Стерна «Тристрам Шенди» (1767), а также ввиду совпадения некоторых выражений и острот в обоих произведениях враги Дидро обвинили его в плагиате. Любопытно, что он предвидел подобный поворот событий. «Приведем второй параграф, списанный из «Жизни Тристрама Шенди»,— пишет Дидро на последних страницах «Жака-фаталиста»,— если только беседа Жака-фаталиста и его Хозяина не написана раньше этого произведения и мистер Стерн не является плагиатором, чему я не верю ввиду исключительного уважения, питаемого мною к мистеру Стерну, которого я выделяю из большинства литераторов его нации, усвоивших обычай обкрадывать нас и при этом

еще осыпать ругательствами». Фраза эта загадочна, но разгадываема: не заключена ли здесь насмешка Дени Дидро над измышлениями его хулителей?

Лоренс Стерн (1713—1768) был близко знаком со многими французскими просветителями, неоднократно встречался с Дидро, посещал кружок Гольбаха. Общепризнано, что он был воспитан на французской культуре, на идеях энциклопедистов и, конечно, был знаком с их рукописными неопубликованными трудами. Новые в художественном отношении формальные приемы, отсутствие единой сюжетной линии, эпатирование фабульной занимательности, скачки парадоксального чувства и мысли, общие для «Тристрама Шенди» и «Жака-фаталиста», были освоены Дидро еще в «Племяннике Рамо», первый вариант которого был написан в 1762 году. В конце концов для Дидро было неважно, кто зачинатель, Стерн или он; он подчеркнул художественное единомыслие обоих писателей.

Стр. 267. *Берг-оп-Зом* — нидерландская крепость, захваченная французскими войсками под командованием Морица Саксонского в 1747 г., во время войны за «австрийское наследство».

Пор-Маон — крепость и город на острове Минорка, отбитый французскими войсками у англичан в 1756 г.

Стр. 268. *Ты запасся лекарями, как святой Рох — шляпами.*— Странствующий святой Рох изображается обычно с тремя шляпами за спиной.

Стр. 269. *Дюфуар* Пьер (1735—1813) — хирург, автор трактата об огнестрельных ранениях.

Луи Антуан (1723—1792) возглавлял медицинский отдел «Энциклопедии».

Какого черта понесло его на эту галеру! — Реплика эта приписана Гарпагону ошибочно; ее произносит Жеронт из «Плутен Скапена» (действ. II, явл. XI).

Стр. 274. *Понтуаз, Сен-Жермен* — французские города, где находятся католические «святыни».

Стр. 277. *...настоящие жабаки...*— В Париже времен Дидро широкой известностью пользовалась галантерейная торговля Жабака, имя которого стало нарицательным для обозначения ювелирных безделушек, новинок и редкостей.

Жюльен Леруа (1686—1759) — парижский часовой мастер.

Стр. 285. *...так пахло бы «Кливлендом»...*— «Кливленд» — сокращенное название романа аббата Прево «Английский философ, или История Кливленда, побочного сына Кромвеля» (1732), любимого произведения Д. Дидро и Ж.-Ж. Руссо.

Реньяр Жан-Франсуа (1655—1709) — французский комедиограф эпохи классицизма.

Стр. 285. *Ричардсон* Сэмюель (1689—1761) — английский романист эпохи Просвещения, основоположник семейно-бытового романа.

Седен Мишель-Жан (1719—1797) — драматург, находившийся под сильным влиянием драматургической теории Дидро.

Пондишери — центр владений французской Ост-Индской компании (1664—1719), позднее поглощенной созданной Джоном Лоу (1671—1729) Индийской компанией, которая монополизировала почти всю заморскую торговлю Франции.

Ни боги, ни люди, ни лавки не прощают поэтам посредственности...— Перефразировка строк Горация:

. . . . . поэту посредственных строчек
Ввек не простят ни люди, ни боги, ни книжные лавки!

(«Наука поэзии», стихи 372—373. *Перевод М. Гаспарова)*

Стр. 288. *...босоногим кармелитом.*— Католический монашеский орден кармелитов был основан во второй половине XII в. в Палестине, на горе Кармель. С 1245 г. становится европейским орденом нищенствующих монахов. В 1564 г. орден преобразуется в «Братство босоногих кармелитов», носивших сандалии на босу ногу.

...дистиллируют кармелитскую воду.— Кармелитская вода — возбуждающее средство из мелиссы.

Стр. 303. *...продолжатели Сервантеса...*— В 1614 г. было опубликовано анонимное продолжение первой части «Дон Кихота».

Фортигверра Николо́ (1674—1735) — итальянский поэт, автор героикомической поэмы «Ричардетто», персонажи которой были заимствованы у Ариосто и других известных авторов.

«Лекарь поневоле» (1671) — комедия Мольера (см. дейст. I, сц. 1).

Стр. 305. *Премонваль* Пьер (1716—1764) — автор трактатов по прикладной математике. Преподавал в Париже и Берлине.

Пижон Мария-Анна-Виктория (1724—1767) — жена Премонваля; была чтицей при супруге Генриха Прусского.

Стр. 313. *...под ланцетом брата Козьмы.*— Брат Козьма — монашеское имя французского хирурга Жана Базейлака (1703—1781), принадлежавшего к ордену фельянов.

Стр. 317. *Полное экю* — шесть франков (одному франку соответствовало малое экю).

Стр. 319. *...залез на задворки...*— Намек на требование Вольтера в «Философском словаре» (1764—1769) употреблять слово impasse вместо вульгарного cul-de-sac (тупик).

Стр. 320. *Бисетр* — замок неподалеку от Парижа, где размещались детский приют, дом умалишенных и тюрьма.

Стр. 326. *Сен-Флорантен,* граф де ла Врийер (1705—1777) — министр

духовных дел Людовика XV, один из злейших врагов энциклопедистов. Пользовался правом выдачи королевских ордеров на арест.

Стр. 327. *...в Тампле, в Аббатстве...*— Тампль — монастырь ордена тамплиеров близ Парижа, использовался как тюрьма. Аббатство — тюремные здания при монастыре Сен-Жермен де Пре. Поскольку территория Тампля и Аббатства была изъята из общей юрисдикции, здесь находили убежище неплатежеспособные должники.

Стр. 333. *«Ворчун-благодетель»* — комедия итальянского драматурга Карло Гольдони (1707—1793), впервые поставленная театром Французской Комедии в 1771 г. Этот спектакль принес его автору мировую славу.

Стр. 338. *Троншен* Теодор (1709—1781) — популярный в свое время французский врач.

Стр. 344. *Герши* Клод-Луи де Ренье, граф де (ум. в 1768 г.) — офицер, отличившийся в боях во Фландрии и Богемии.

Стр. 345. *Пас-дис* — игра в три игральные кости; выигрыш обеспечивается выпадением десяти и более очков.

Стр. 351. *Юэ* Пьер-Даниэль (1630—1721) — французский литератор духовного звания.

Николь Пьер (1625—1695) — писатель-моралист янсенистской ориентации.

Боссюэ Жак-Бенинь де (1627—1704) — прославленный в религиозных кругах богослов и проповедник, автор «Траурных речей», сторонник автономии французской церкви.

Стр. 353. *Сен-Сир* — военная школа для сыновей дворянства.

Стр. 364. *Не были ли вы... квиетистом?* — Квиетизм (от л а т. quies — покой) — религиозно-этическое учение, проповедовавшее созерцательность, пассивное подчинение «божьей воле» вплоть до безразличия к добру и злу, к собственному страданию и «спасению». Возникло в конце XVII в. как течение оппозиционное по отношению к папе и иезуитскому ордену. Церковная комиссия, которую возглавил Боссюэ, осудила квиетизм как еретическое учение. *Франциск Сальский* (1567—1622) — видный представитель квиетизма.

Стр. 375. *...для Лебоссю и для Вида.*— Лебоссю (1631—1680) — автор классицистического «Трактата об эпической поэме», о котором с похвалою отозвался Буало. Вида Марио Джироламо (1480—1566) — итальянский епископ, автор художественных произведений и трудов по поэтике, в том числе стихотворного трактата на латинском языке «Поэтическое искусство». Оба названных автора исходили из поэтики Аристотеля и Горация.

Стр. 379. *Тиссо* Симон-Андре (1727—1797) — швейцарский врач, автор книги «Советы народу о его здоровье» (1761).

Стр. 389. *Премонстрант* — член монашеского ордена, основанного в 1120 г.

Стр. 392. *Они белы как лебеди...*— Премонстранты одевались в белоснежные мантии, но не носили белья.

Стр. 394. *...защитника буллы...*— См. прим. к стр. 62.

Епископ Мирепуаский (Жан-Франсуа Бойс; 1675—1755) — один из активных преследователей янсенистов.

Стр. 400. *Пирон* Алексис (1689—1773) — французский поэт и драматург, писавший как для «серьезного», так и для ярмарочного театра. Наибольшую известность среди его пьес получила стихотворная комедия «Метромания», поставленная в 1738 г. Французской Комедией, где остроумно высмеивалась графоманская страсть молодых людей из третьего сословия. Пирон не занимал определенной политической позиции, острые его эпиграммы высмеивали и королевский режим, и Вольтера, и энциклопедистов.

Стр. 402. *Я чувствую себя, как в коконе...*— Вся эта реплика представляет собой иронический перифраз из «Божественной комедии» Данте («Чистилище», песнь X):

Вам невдомек, что только черви мы,
В которых зреет мотылек нетленный,
На божий суд взлетающий из тьмы!
(Перев. М. Лозинского)

Стр. 404. *Родил...*— Жак ошибся, упоминаемый «бесконечный ряд» фигурирует в первой главе Евангелия от Матфея, а не Луки и является библейской реминисценцией из Ветхого завета: Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова и т. д.

Стр. 405. *...на смертном одре дьявол явится вам с тем же атрибутом, с каким он явился к Феррагуту.*— Феррагут — герой поэмы «Ричардетто» Фортигверры (см. прим. к стр. 303), был кастрирован недругами. Перед смертью ему явился сам Люцифер, чтобы показать утраченное (песнь X).

Стр. 413. *Конде* — французский аристократический род, боковая ветвь Бурбонов. Здесь речь идет о выдающемся французском полководце, принце Луи II Конде (1621—1686), прозванном «Великим Конде».

...завоевателя Великобритании...— Имеется в виду Вильгельм Завоеватель (1027—1087), вторгшийся в 1066 г. в Англию и установивший владычество норманнской знати.

«Адвокат Патлен» — трехактная комедия Давида-Огюстена Брюэса (1640—1723), созданная на основе одноименного старинного французского фарса.

Лорд Чатам — Уильям Питт («Старший»; 1708—1778) — английский государственный деятель при короле Георге III, руководитель группировки «патриотов» (вигов) в парламенте, сторонников активной колониальной политики. Во время Семилетней войны 1756—1763 гг. способствовал захвату Англией почти всех колониальных владений Франции в Индии и Северной Америке.

Стр. 414. *Похищение подвязки* — старинный брачный обычай во Франции: шафера похищают подвязку новобрачной.

Стр. 420. *Фобурдон* (буквально: «ложный бас») — вид многоголосого церковного пения. Три голоса, образующие «ложный бас», обозначаются в нотах как параллельное трезвучие, а основной голос звучит октавой выше.

Стр. 421. *Жан-Батист Руссо* (1670—1741) — французский поэт, придерживавшийся канонов классицизма.

Стр. 422. *Пусть непристойны стихи...* — Цитата из «Эпиграмм» (кн. I, 4, ст. 9) римского поэта Марциалла (ок. 40—104).

Стр. 423. *Медонский кюре.* — Так называли писателя Франсуа Рабле (1494—1553), который исполнял одно время обязанности приходского кюре в Медоне, пригороде Парижа. *Бакбюк* (иврит) — буквально: бутылка. Так в «Гаргантюа и Пантагрюэле» названа жрица храма Божественной Бутылки.

Энгастримит — по-французски — чревовещатель.

Лафар, Шапель, Шолье, Панар, Гале, Ваде. — Эти французские поэты XVII—XVIII вв., перечисленные здесь наряду с Рабле, Лафонтеном и Мольером, зарекомендовали себя эпикурейцами в «возрожденческом», то есть гедонистическом, смысле слова как поклонники чувственных удовольствий.

Стр. 424. *«Еловая шишка»* — любимый кабачок поэта Франсуа Вийона (род. в 1431 г.).

Нодо — автор литературной мистификации, якобы найденного им в Белграде полного текста романа «Сатирикон» римского поэта Петрония (I в.).

Брос Шарль де (1709—1777) — французский историк, археолог, филолог, сотрудник «Энциклопедии»; автор «Истории VII века Римской республики», в которой пытался реконструировать сохранившиеся фрагменты «Истории» Саллюстия, относящиеся к событиям 78—66 гг. до н. э.

Фрейнсгемий Иоганн (1608—1660) — немецкий философ и филолог, комментатор сочинений римского историка Квинта Курция.

Бротье Габриель (1723—1789) — комментатор и переводчик Тацита.

Стр. 426. *Буйотка* — азартная карточная игра.

Стр. 440. *Риккобони* Мария-Жанна (1713—1792) — актриса театра Итальянской Комедии в Париже и писательница. Здесь намекается на то, что она отомстила своему любовнику за измену, опубликовав в романе «Письма мисс Фанни Бетлер» интимную переписку с ним.

Тит Ливий (59 г. до н. э.— 17 г. н. э.) — римский историк, автор «Римской истории от основания города», живого и увлекательного повествования, весьма популярного в Европе со времен Возрождения.

Бентиволъо Гвидо (1570—1644) — кардинал, автор исторических мемуаров.

Стр. 442. *Термин* — римское божество пограничных межевых знаков — столбов, камней. Их осквернение и порча расценивались как тяжкие преступления.

Коле Шарль (1709—1783) — поэт и драматург-комедиограф, популярный во Франции XVIII в.

Стр. 454. *Гаро* — персонаж басни Лафонтена «Желудь и тыква», олицетворение всем недовольного критика.

Твой тезка.— То есть Жан-Жак Руссо. В педагогическом романе Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1761) речь идет, в частности, о круге чтения для юношества.

Стр. 456. *Высокое дал он лицо человеку...*— Цитата из «Метаморфоз» Овидия (кн. I, стихи 85—86. Перев. С. В. Шервинского).

Стр. 457. *Вижу, что ты не знаком с доном Ла Тастом.*— Ла Таст Луи (ум. в 1754 г.) — епископ-бенедиктинец. богослов мистического направления, защищавший, например, взгляд, что в целях соблазна дьявол способен на благодеяние.

Стр. 469. *«Жизнь и приключения кума Матье».*— Имеется в виду роман аббата Анри-Жозефа Дюлорана (1719—1793) «Кум Матье, или Превратности человеческого ума». В том же 1766 г., когда появилась эта книга, автор ее был осужден на пожизненное заключение в монастырской тюрьме, где и окончил свои дни.

Стр. 471. *Мандрен* Луи (1724—1755) — французский контрабандист, о приключениях которого ходили легенды.

Стр. 472. *Зенон.*— В данном случае имеется в виду не философ Зенон Элейский, а менее известный Зенон из Китиона (ок. 336—264 до н. э.), один из основателей стоицизма.

Л. Воробьев

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Воробьев. Художество и философия в творчестве Дени Дидро 5

МОНАХИНЯ. *Перевод Д. Лившиц и Э. Шлосберг* 29

ПЛЕМЯННИК РАМО. *Перевод А. Федорова* 181

ЖАК-ФАТАЛИСТ И ЕГО ХОЗЯИН. *Перевод Г. Ярхо* 257

Примечания *Л. Воробьева* 475

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ
Том 53

Дени Дидро

МОНАХИНЯ.
ПЛЕМЯННИК РАМО.
ЖАК-ФАТАЛИСТ.

*

Редактор С. Брахман

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Платонова

Корректоры
Т. Кузина и Г. Цветкова

*

Сдано в набор 31/VIII 1972 г. Подписано к печати 9/III 1973 г. Бумага типогр. № 1. Формат 60×84¹/₁₆. 31 печ. л. 28,92 усл. печ. л. 29,93 уч.-изд. л. + 1 вкл. + 6 накидок = 30,57. Тираж (153 001—303 000) экз. Заказ № 2264. Цена 1 р. 75 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Ленина
типография «Красный пролетарий»
Москва, Краснопролетарская, 16